ДК
130
Б98

БЕРНГАРД БЮЛОВ

ВОСПОМИНАНИЯ

ДК
130
Б 94/

БЕРНГАРД БЮЛОВ

ВОСПОМИНАНИЯ

Перевод с немецкого.
Под редакцией и с предисловием
В. М. ХВОСТОВА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПУБЛИЧНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА РСФСР

ОБЪЕДИНЕННАЯ БИБЛИОТЕКА И. К. П.
172143

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1935 ЛЕНИНГРАД

9(43) Доб. 327
Б 98 » 92

Воспоминания Бюлова являются важным источником по истории германского империализма и дают яркую картину правящих кругов германской империи почти за четверть века — с конца XIX в. вплоть до конца империалистической войны. Являясь канцлером германской империи в период наивысшего расцвета германского империализма, сохранив в дальнейшем многочисленные личные связи в рядах германских политических деятелей и вновь вернувшись к активной дипломатической работе в годы войны (римская миссия), Бюлов хорошо знает закулисную сторону германской политики и со многим знакомит читателя. В русском переводе текст сокращен, главным образом за счет отступлений личного характера.

Редактор *Ф. Поморская* Технический редактор *Е. Этингоф*

Сдано в набор 25/V 1935 г. Подписано к печати 28/X 1935 г.
Формат 62 × 94 1/16. Печ. л. 35 1/4. Зн. в 1 печ. л. 45 480. Огиз № 1497.
Заказ тип. № 1829. Тираж 10 тыс. Уполномоченный Главлита Б-11584.
Цена книги 9 руб. Переплет 1 руб.

1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига». Москва, Валовая, 28.

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

Стр.	*Строка*	*Напечатано*	*Следует читать*
22	22 сверху	восприятия; действительно	восприятия действительности;
41	1 снизу	горячих утюгов	zwei Eisen im Feuer haben — употребляется в значении: иметь про запас два или несколько разных средств.
139	17 сверху	водит	ходят
213	10 снизу	но	он
288	15 „	с Спа	в Спа
521	9 „	императору	император
550	19—20 сверху	граф саксонский	граф, саксонский
553	3 „	Кемпелл —	Кемпбелл —
553	5 снизу	Дельбрик	Дельбрюк
561	33 сверху	Фридрих II	Фридрих I
561	11—12 снизу	князь(1848—1852)	князь; 1848—1852

ПРЕДИСЛОВИЕ

Фашистская Германия, тысячью нитей связанная с Германией Вильгельма II, стремится к восстановлению мощи германского империализма.

[illegible] фашистских газет, направленной на то, чтобы «отмежеваться» от «реакции», немецкие фашисты даже и на словах не могут отказаться от «духа Потсдама» и тому подобных, наиболее дорогих их сердцу воспоминаний прошлого. Все это ведет к тому, что время Вильгельма II приобретает для нас не только чисто исторический интерес. Воспоминания Бюлова, который с 1900 по 1909 г. был канцлером Германской империи и прекрасно знал политику, быт и нравы ее правящей верхушки,

[1] *Сталин*, Отчетный доклад XVII съезду партии, «Вопросы ленинизма», изд. 10-е, 1935 г., стр. 551.

9(43) Доб. 327
Б 98 » 92

Воспоминания Бюлова являются важным источником по истории германского империализма и дают яркую картину правящих кругов германской империи почти за четверть века — с конца XIX в. вплоть до конца империалистической войны. Являясь канцлером германской империи в период наивысшего расцвета германского империализма, сохранив в дальнейшем многочисленные личные связи в рядах германских политических деятелей и вновь вернувшись к активной дипломатической работе в годы войны (римская миссия), Бюлов хорошо знает закулисную сторону германской политики и со многим знакомит читателя. В русском переводе текст сокращен, главным образом за счет отступлений личного характера.

Редактор *Ф. Поморская* Технический редактор *Е. Этингоф*

Сдано в набор 25/V 1935 г. Подписано к печати 28/X 1935 г.
Формат 62 × 94 1/16. Печ. л. 35 1/4. Зн. в 1 печ. л. 45 480. Огиз № 1497.
Заказ тип. № 1829. Тираж 10 тыс. Уполномоченный Главлита Б-11584.
Цена книги 9 руб. Переплет 1 руб.

1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига». Москва, Валовая, 28.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Фашистская Германия, тысячью нитей связанная с Германией Вильгельма II, стремится к восстановлению мощи германского империализма, чтобы вступить на путь широчайшей экспансии. «...Еще перед приходом к власти нынешних германских политиков, особенно же после их прихода — в Германии началась борьба между двумя политическими линиями, между политикой старой, получившей отражение в известных договорах СССР с Германией, и политикой «новой», напоминающей в основном политику бывшего германского кайзера, который оккупировал одно время Украину и предпринял поход против Ленинграда, превратив прибалтийские страны в плацдарм для такого похода...»[1]. Конечно современный германский фашизм и довоенная германская империя — далеко не одно и то же. Они принадлежат разным эпохам: один — эпохе всеобщего кризиса капитализма, другая — эпохе расцвета империализма. И тем не менее между ними немало связей. Гитлер старается не только вообще воскресить германский империализм, но и ряд специфических черт старого прусско-германского милитаризма, традиции Фридриха Великого, традиции Бисмарка, воскресить старый «дух Потсдама». Больше того, фашистская Германия связана в основном с теми же социальными слоями, что и старая Германская империя. Огромное большинство властителей современной Германии к тому же лично побывало в старом бюрократическом аппарате, в особенности же в старой армии. При всей фразеологии фашистских газет, направленной на то, чтобы «отмежеваться» от «реакции», немецкие фашисты даже и на словах не могут отказаться от «духа Потсдама» и тому подобных, наиболее дорогих их сердцу воспоминаний прошлого. Все это ведет к тому, что время Вильгельма II приобретает для нас не только чисто исторический интерес. Воспоминания Бюлова, который с 1900 по 1909 г. был канцлером Германской империи и прекрасно знал политику, быт и нравы ее правящей верхушки,

[1] *Сталин*, Отчетный доклад XVII съезду партии, «Вопросы ленинизма», изд. 10-е, 1935 г., стр. 551.

прочтутся поэтому советским читателем не только как исторические мемуары, с редкой, доходящей до цинизма откровенностью рисующие господствующие классы старой Германии. В фигурирующих в них персонажах читатель явственно почувствует близких по духу политическим фигурам современной Германии.

Бюлов сообщает например в своим мемуарах следующее письмо одного из подчиненных ему дипломатов: «После продолжительной беседы с профессором Шиманом его величество император сказал мне приблизительно следующее: «Если в России вскоре все пойдет вверх дном и там, как это предвидит Шен в своих донесениях, будет подготовляться образование целого ряда федеративных республик, то я ни в ксем случае не оставлю балтийские провинции на произвол судьбы, а приду им на помощь; они должны быть присоединены к Германской империи. Поляки, разумеется, будут пытаться распространить свои владения на север до моря. Этого я никогда не допущу. Они могут распространяться на восток и на юго-восток, где у них имеются экономические интересы»[1].

Здесь весьма отчетливо высказана надежда разрешить за счет Украины необычайно трудную задачу установления приемлемой для обеих сторон границы между Германией и восстановленным польским государством, надежда, которую разделяют и многие современные нам немецкие политические деятели.

«Профессор Теодор Шиман, — продолжает Бюлов, — принадлежал к числу тех балтийцев, которые рассматривают все мировое положение с узкой точки зрения своей родины»[2], точнее, ее господствующих классов, в особенности балтийских баронов, добавим мы. Читатель согласится с нами, что не только у повелителей Германии сохранились сходные аппетиты, но что и тип такого «балтийца» не перевелся еще в Германии и что даже некоторые его представители играют при нынешних ее правителях роль, довольно близкую к той, которую в данном случае играл Шиман по отношению к Вильгельму.

Мемуары Бюлова выгодно отличаются от большинства воспоминаний старых немецких сановников той необыкновенной откровенностью, с которой в них повествуется об агрессивных планах германского империализма. Вот беседа Вильгельма II с бельгийским королем Леопольдом в 1904 г. «Я ему сказал, — говорил Вильгельм Бюлову, — что я не позволю со мной шутить. Тот, кто в случае европейской войны не будет со мной, тот будет против меня. Как солдат я принадлежу к школе Фридриха Великого, к школе Наполеона I. Подобно тому как первый начал семилетнюю войну с вторжения в Саксонию, а последний всегда с молниеносной быстротой опережал своих соперников, так и я, поскольку Бельгия не со мною, буду руководиться только стратегическими соображениями». Бельгийский король после этого

---

[1] *Бюлов*, Воспоминания, т. II, гл. XVI, стр. 243, нем. изд.
[2] Там же, стр. 244, нем. изд.

разговора, уезжая, с перепугу даже надел свою каску задом наперед[1]. Дальше Бюлов рассказывает, будто он сам был против нарушения бельгийского нейтралитета. На это мы можем ответить ему, что он писал однажды следующее: «То, что ваше величество говорите относительно Бельгии, бьет прямо в цель. Все дело в том, чтобы бельгийцы заранее и не подозревали, что мы их в случае надобности поставим перед таким фокусом»[2]. Этого Бюлов не рассказал. Весьма откровенно рассказывая в своих воспоминаниях о любовных приключениях своей молодости, свои политические замашки Бюлов кое в чем решил все же скрыть.

Россией и Бельгией не исчерпывались планы германского империализма. «Усердно» занимался Вильгельм II и вопросом об «установлении более тесных отношений с Данией». Как правильно разъяснил ему Бюлов, «союз между могущественной Германской империей и маленькой Данией будет всюду рассматриваться как отказ Дании от своей независимости и как ее присоединение к Германской империи»[3]. Бюлов не задумался также рассказать, как настаивал Вильгельм II во время испано-американской войны на захвате Манилы — обстоятельство, тщательно затушевываемое в немецкой историографии, ибо с ним связан целый клубок исторических реминисценций, не оставшихся без влияния на германо-американские отношения и не потерявших актуального значения.

Относительно июльского кризиса 1914 г. Бюлов неоднократно повторяет, что ни его преемник канцлер Бетман-Гольвег, ни Вильгельм II не хотели войны, что они «влипли» в нее «по глупости». Однако попутно он рассказывает такие факты, которые никак не вяжутся ни с подобным объяснением, ни тем более с трафаретной немецкой точкой зрения на вопрос о «виновниках войны». Как легко может убедиться читатель, общая точка зрения Бюлова на вопрос о «виновниках войны» такова, что войну вызвала Германия, хотя, оговаривается он, и не по злой воле, а по недомыслию.

Такова ли была в действительности политика германского правительства летом 1914 г., как ее изображает Бюлов? Его концепция такова. В силу своей зависимости от Австрии и, главное, своей глупости и неловкости Бетман-Гольвег и Ягов выдали Австрии carte blanche на военную экзекуцию против Сербии. На австро-сербскую войну они шли вполне сознательно. Это Бюлов признает. Но он утверждает, что они надеялись локализовать австро-сербскую войну, в силу своей необыкновенной ограниченности рассчитывая на нейтралитет России, Франции и Англии. Все это охватывается формулой, что германское правительство не хотело войны, но втянулось в нее по глупости. Фактически дело обстояло иначе. Особых надежд на нейтралитет

---

[1] *Бюлов*, Воспоминания, т. II, гл. V, стр. 75, нем. изд.

[2] «Die grosse Politik der europäischen Kabinette», Berlin 1919, B. 19, Teil 2, № 6229.

[3] *Бюлов*, Воспоминания, т. II, гл. V.

России и Франции в Берлине не было. К войне с ними готовились, на нее шли и ее хотели, ибо считали, что военное положение в данный момент благоприятно для Германии. На чей нейтралитет в Берлине действительно надеялись, так это на нейтралитет Англии. Расчеты на нейтралитет Англии и объясняют нам, почему немецкий империализм мог желать войны. Если бы Англия осталась нейтральной, шансы были бы совсем другими, и политика германского империализма не была бы столь безрассудной, какой она фактически оказалась. Бюлов преувеличил глупость германской политики и за счет «глупости» все-таки преуменьшил ее агрессивность.

Во всяком случае Бюлов определенно заявляет, что Германия могла предотвратить войну. По мнению Бюлова, «еще 25 июля мы имели возможность сделать это. Стоило лишь заявить Австрии, что Германия ее не поддержит, что она действует на собственный риск»[1].

Важно, что Бюлов подтверждает, что германское правительство было уверено в нейтралитете Англии. Это важно, ибо это объясняет, как могло оно *желать* войны.

Ценно признание Бюлова, что объявление войны Франции было мотивировано «ложными основаниями. Французам нетрудно было доказать, — пишет он, — что французские летчики не бросали никаких бомб на железнодорожный путь Нюренберг — Ингольштадт»[2]. Это конечно и без Бюлова давно известно, но небезынтересно услышать это из столь авторитетных в данном случае уст. Не хуже и следующее место: «Английские предложения посредничества с самого начала отклонялись, оттягивались или саботировались» со стороны Берлина[3]. Бюлов доказывает также, что германское правительство заранее прекрасно знало содержание ультиматума Сербии. Всех таких признаний здесь не перечислить. Читатель оценит их сам. Оценила их и германская буржуазия. Среди произведений новейшей мемуарной литературы лишь очень немногие могут по произведенному ими впечатлению сравниться с воспоминаниями князя Бюлова. Сам Бюлов умер за год до выхода I тома своей книги. Она была облита грязью. Едва ли можно назвать хоть одну сколько-нибудь крупную немецкую газету или журнал, которые не приняли бы участия в полемике, поднявшейся вокруг этих мемуаров. Что же касается специальной литературы по истории международных отношений, то тут, в немецкой литературе, мемуары Бюлова на некоторое время прямо-таки стали главнейшим объектом внимания. За довольно малыми исключениями эти многочисленные отклики на воспоминания Бюлова давали им чрезвычайно резкую, отрицательную оценку. В итоге этой полемики германский рейхстаг постановил даже вынести портрет Бюлова из своего помещения. Имя его, когда-то стоявшее в списке государственных

[1] *Бюлов*, Воспоминания, т. III, гл. XII, стр. 138, нем. изд.
[2] Там же, гл. XIII, стр. 168, нем. изд.
[3] Там же, гл. XIV, стр. 178, нем. изд.

людей Германской империи на одном из довольно видных мест, котировавшееся как имя едва ли не крупнейшего после Бисмарка государственного деятеля старой Германии, оказалось позорно вычеркнутым из этого списка. Его мемуары объявлялись не имеющими ровно никакой исторической ценности. Это конечно неверно. И ценность их как раз в том, за что немецкая буржуазия и объявила их совершенно нецечными, — в той откровенной картине немецкой правящей среды, которую они дают.

Дело не ограничивается разоблачением агрессивности германского империализма. Мемуары Бюлова дают ряд колоритнейших портретов деятелей Германской империи и прежде всего самого Вильгельма II. Бюлов ненавидит его от всей души. Мемуары Бюлова — орудие личной мести императору за полученную отставку. Если Бюлов, несмотря на всю свою тактическую изворотливость и недюжинный талант рассказчика, все же должен признать те или иные политические ляпсусы, то тут у него наготове один прием, который неизменно помогает ему на протяжении всего повествования. Прием этот заключается в том, чтобы свалить вину на Вильгельма II, на постоянное вмешательство кайзера в политику. Благодаря этому мемуары Бюлова превращаются в форменный четырехтомный пасквиль на Вильгельма II, благо этот пасквиль написать было легко, так как здесь автор мог почти не отклоняться от исторической истины. Целые страницы заполняются изложением разговоров автора мемуаров с высокопоставленными лицами, в которых всячески дебатируется вопрос — нормальный ли человек император или сумасшедший. Целые страницы заполняются пересказом всех глупостей, в разное время наделанных кайзером, причем от этих страниц веет неподдельной злобой обиженного сановника, с удовольствием бросающего грязью в своего повелителя, уволившего его с поста. Мы уже видели, что при этом Бюлов рассказывает вещи, о которых доброму гражданину веймарской республики полагалось молчать, так же как и подданному «третьей империи». Не менее колоритна и следующая «директива» кайзера в письме к своему канцлеру от 1906 г.: «Сначала расстрелять социалистов, поотрубать им головы и обезвредить, — если понадобится, так посредством кровавой бани, — а затем внешняя война. Но не ранее»[1]. Бюлов приводит еще следующую выдержку из донесения Эйленбурга, в 1899 г. сопровождавшего императора в его поездке на север и имевшего от Бюлова поручение следить за тем, какие очередные бредни наполняют «разностороннюю голову» императора в данный момент. «Я уже информировался, — заявил Вильгельм II Эйленбургу, — как далеко простираются мои военные полномочия по отношению к конституции. Я могу в любой момент объявить осадное положение во всем государстве, это мне сказал военный министр». Бюлов подчеркнул это место и ставит за этими словами три восклица-

[1] *Бюлов*, Воспоминания, т. II, стр. 198, нем. изд.

тельных знака. «Нам нужен закон, — продолжал император, — согласно которому достаточно было бы быть социалистом, чтобы быть сосланным на Каролинские острова». Хорошо звучит и рассказ Бюлова о Франце-Иосифе, лучшими часами которого в годы войны были те, когда он слышал или читал, что и «пруссаков» тоже где-то побили.

Рисуя нравы старого времени, Бюлов не останавливается и перед тем, чтобы косвенно задеть самого Бисмарка, хотя, понятно, он и преисполнен к нему безграничного уважения. Оказывается, что создатель Германской империи был по существу и организатором одного из грязнейших скандалов в ее истории, являясь тем, кто первый пустил слух о сексуальных извращениях графа Филиппа Эйленбурга, близкого друга Вильгельма II. Бисмарк сделал это в виде мести за то, что Эйленбург, стремясь занять пост посланника в Мюнхене, спихнул оттуда зятя «железного канцлера» графа Ранцау. Выступающая перед нами картинка нравов прекрасно дополняется ответной сплетней, придуманной Эйленбургом, который распустил слух о противоестественной привязанности дочери Бисмарка к морской свинке. Как известно, процесс Эйленбурга был в свое время замят, и дело не было доведено до конца. Бюлов конечно не упускает случая, чтобы привести некоторые свидетельства за то, что Эйленбург действительно обладал приписывавшимися ему наклонностями. Все это дополняется изложением бесконечных интриг, которые, не стесняясь в средствах, вели друг против друга различные представители высших кругов Германской империи. В итоге получается чрезвычайно яркая, хотя и написанная слишком растянуто из-за массы деталей, но зато прекрасным языком, бытовая картина, рисующая невообразимую грязь, потрясающее моральное разложение, а порой умственную и физическую дегенерацию правящих верхов Германской империи.

Если мы вспомним, сколько сил потратили как политические представители германской буржуазии, так и ее историки на доказательство того, что и сам Вильгельм II и его правительство были самыми большими пацифистами, каких только можно себе представить, то мы поймем, какую неприятность доставил им Бюлов, рассказав о давних захватнических тенденциях главы Германской империи. Первое «преступление» князя Бюлова заключается таким образом в нарушении патриотического долга в деле «опровержения» тезиса о виновности германского правительства в преднамеренной организации мировой войны. Недаром Жюль Камбон назвал мемуары Бюлова самым тяжелым обвинительным документом против Германии, какой только был когда-либо опубликован[1]. Но этим грехи его отнюдь не исчерпываются. В условиях современного кризиса старая Германия все больше и больше стала рисоваться в качестве недосягаемого

[1] *J. Cambon*, Le prince Bülow et ses mémoires, «Revue des deux mondes», 15 avril 1931.

идеала для весьма широких слоев немецкой мелкой буржуазии, и эта идеализация Германской империи сыграла определенную роль в идеологической подготовке торжества немецкого фашизма[1]. Ясно, что та картина, которую изобразил в своих мемуарах Бюлов, отнюдь не способствовала укреплению особенно благоприятных представлений о старом режиме. Вряд ли очень приятны для некоторых патриотических сердец и размышления о процессе Эйленбурга. В самом деле, ведь этот вид «потсдамских традиций» Фридриха II жив и до сих пор у его почитателей. Впрочем мемуары Бюлова вышли до событий 30 июля 1934 г., когда этот момент приобрел особую актуальность. Кроме того Бюлов утверждает в своих мемуарах, что парламентские выборы 1907 г., проведенные им под лозунгом борьбы против центра и против социал-демократии, и последующие попытки сколотить консервативно-либеральный блок он рассматривал как шаги к тому, чтобы повести в дальнейшем Германскую империю по пути постепенной эволюции к парламентаризму. Легко видеть, что в 1931 г. подобная установка прозвучала в Германии тоже совсем не в унисон с основным тоном настроений немецкой буржуазии. Все это объясняет нам, почему та озлобленная критика, с которой набросились на Бюлова разные, еще находящиеся в живых деятели Германской империи, лично задетые им в его мемуарах, и их присяжные защитники из рядов представителей германской исторической науки, нашла широчайший отклик как в политической, так и в научной общественности буржуазной Германии. Вышел даже специальный толстый сборник под характерным названием «Front wider Bülow»[2], в котором на четвертого канцлера излили свой гнев целых 24 автора, начиная с профессоров и задетых Бюловым отставных политиков и кончая графиней Люси Мой, которой редакция сборника предоставила место для опровержения клеветы, возведенной Бюловым на ее отца князя Радолина и заключавшейся в том, что, по словам Бюлова, он очень стыдился польского окончания своей прежней фамилии Радолинский и поэтому страшно обрадовался, когда Фридрих III сделал его князем Радолиным. Общая тенденция всех этих выступлений хорошо выражена известным издателем грандиозной публикации документов германского иностранного ведомства Фридрихом Тимме в предисловии к названному сборнику, в котором он говорит, что авторы собранных в нем статей объединились здесь для отпора Бюлову «ввиду того тяжелого морального удара, который нанесли и еще грозят нанести в дальнейшем престижу Германии мемуары князя Бюлова содержащимся в них изложением исторического прошлого, превосходящим всякие пределы мстительности и ненависти». Другой историк, немало сил посвятивший «разоблачению» ме-

---

[1] См. об этом в резолюции ИККИ по докладу Геккерта о положении в Германии («Коммунистический интернационал», 1933 г., № 11).

[2] «Фронт против Бюлова».

муаров Бюлова, главную заслугу этой критики видит в том, что «сомкнутый в целом фронт немецкой научной критики» «воспрепятствовал повороту в ходе полемики по вопросу о виновниках войны, которого можно было бы опасаться ввиду ожесточенных выпадов против немецких государственных деятелей 1907—1914 гг.» со стороны Бюлова[1].

Интересные вещи пишет Бюлов и насчет социал-демократии. Так, он сообщает нам в одном месте, что, будучи канцлером, он ни минуты не думал, что социал-демократия, оказавшись у власти, начнет осуществлять свою социалистическую программу. Нельзя пройти также мимо той — пусть преувеличенной — оценки, которую дает граф Монтс оппортунистическим элементам социал-демократии в письме к Бюлову от 1895 г.: «Социал-демократия, как говорят хорошо осведомленные люди, завоевывает все более широкий круг приверженцев среди мелких чиновников, почтовых служащих и т. д. Есть надежда, что она постепенно переродится в радикальную левую. Любопытно, что уже сегодня во многих вопросах социал-демократические депутаты являются прямо-таки опорой правительства»[2].

В связи с изложением июльского кризиса Бюлов сообщает чрезвычайно любопытные факты, рисующие германскую социал-демократию как силу, которая не только прикрывала политику правительства, но и прямо форсировала объявление войны. Бюлов задается вопросом: зачем германское правительство поторопилось первым объявить войну России, не предоставив этого ей самой. «Бетман-Гольвег был достаточно неуклюж и неловок, — пишет Бюлов, — чтобы возложить на нас одних одиум объявления войны». Нельзя не согласиться с Бюловым, что с дипломатической точки зрения это было глупостью. Но и глупости имеют объективные основания, и Бюлов раскрывает одну из причин, побудивших Бетмана поторопиться с объявлением войны России. «Основание для этого, как и для многих других ошибочных дипломатических ходов, лежало в соображениях внутренней политики, вернее сказать, в опасениях канцлера в области внутренней политики. Альберт Баллин ярко описывал мне сцену, разыгравшуюся в его присутствии во дворце канцлера в день объявления войны России. Когда Баллин вошел в ту самую садовую гостиную, устроенную прямо на земле, в которой в тот день были приняты такие ужасные решения, он застал там канцлера, который в сильнейшем возбуждении большими шагами ходил взад и вперед по комнате. Перед ним, за столом, заваленным толстыми книгами, сидел тайный советник Криге. Криге был честным, прилежным, усердным чиновником. Его политические дарования однако отнюдь не стояли на уровне его юридических познаний. От времени до времени, так рассказывал мне Баллин, Бетман бросал Криге нетерпеливый

---

[1] *P. Herre* в «Berliner Monatshefte», März 1932, S. 259.
[2] *Бюлов*, Воспоминания, т. I, стр. 37, нем. изд.

вопрос: «Объявление войны России все еще не готово? Я сейчас же должен иметь текст объявления войны России». Совершенно растерянный Криге рылся между тем в крупнейших руководствах по международному праву, начиная с Гуго Гроция и вплоть до Блюнчли, Геффтера, Мартенса, выискивая подходящие образцы. «Собственно говоря, зачем, ваше превосходительство, так страшно торопиться с объявлением войны России?», — позволил себе спросить канцлера Баллин. Бетман ответил: «Без этого я не запасучу поддержки социал-демократов» («Sonst kriege ich die Sozial-Demokraten nicht mit»). Он рассчитывал достигнуть этого, — поясняет Бюлов, — заострив войну, избежать которой ему не удалось, против русского царизма. При этой тактике Бетман оставался вплоть до своей отставки»[1]. Если мы вспомним известные установки германской социал-демократии по вопросу о войне против царизма и если мы учтем, что накануне Бетман имел беседу с Гуго Гаазе, то нам станет понятным, что «заострение» войны именно против России должно было облегчить германской социал-демократии проведение ее предательской политики.

Думается, что сказанное достаточно оправдывает перевод мемуаров на русский язык. Но, понятно, это нисколько не устраняет необходимости считаться с тем фактом, что книга Бюлова насквозь тенденциозна и что весьма многие факты отражены в ней как в кривом зеркале. Мы постараемся показать важнейшие моменты этого рода, но предварительно присмотримся поближе к тому, что представлял собою князь Бернгард фон Бюлов.

* *
*

Бюлов родился 3 мая 1849 г. в поместье Клейн-Флоттбек на Эльбе, недалеко от Гамбурга. Когда читаешь мемуары Бюлова, то создается впечатление, что автор их — природный пруссак: о различных истинно прусских традициях и «добродетелях» он говорит все время в таком тоне, как будто они являются его собственными. В действительности же Бюлов происходил из мекленбургской феодальной знати, из старого рода, дворянское звание которого восходит еще к XII столетию. Отец Бернгарда Бюлова начал свою служебную карьеру в качестве датского чиновника. Он с 1851 г. был датским посланником в Франкфуртском союзном сейме, представляя там Голштинию и Лауэнбург — два государства германского союза, входивших в число владений датского короля. Во Франкфурте он сблизился между прочим с Бисмарком, который с 1851 по 1859 г. представлял в Германском союзном сейме Пруссию. Лишь в 1862 г. Бюлов-отец (его тоже звали Бернгардом) покинул датскую службу, чтобы перейти к великому герцогу Мекленбург-Стрелицкому — в одно из наиболее феодальных и реакционных немецких государств. Еще в 1866 г. отец будущего канцлера как старый консерватор был не особенно-то рад поражению австрийцев

[1] *Бюлов*, Воспоминания, т. III, стр. 168, нем. изд.

при Кениггреце, предрешившему вопрос об объединении Германии под гегемонией Пруссии. В своих мемуарах сын очень хвалит политическую эластичность своего отца; в то время как при стрелицком дворе феодальная камарилья предавалась бессильному брюзжанию по поводу бисмарковской политики, Бюлов, невзирая на свои убеждения, сразу вступил на путь примирения с Пруссией. Эту линию он проводил в качестве мекленбург-стрелицкого посланника в Берлине, куда он был назначен в 1868 г. Затем он просто переходит на имперскую службу и заканчивает свою карьеру в качестве статс-секретаря имперского иностранного ведомства, будучи одним из самых близких сотрудников Бисмарка.

Это обстоятельство обеспечило молодому Бернгарду самые благоприятные условия для блестящей дипломатической карьеры. В 1873 г. Бернгард фон Бюлов поступил на дипломатическую службу. Перед этим он был студентом сначала в Лозанне, а затем в Лейпциге и Берлине, а потом в качестве добровольца участвовал в франко-прусской войне в составе одного из гвардейских гусарских полков. Таким образом молодой Бюлов прошел через студенческие корпорации и побывал в армии, откуда он вышел в чине лейтенанта, т. е. проделал все, что полагается будущему прусскому чиновнику из аристократической среды. Сначала он служил в качестве атташе при иностранном ведомстве в Берлине, а затем — в разных дипломатических чинах, постепенно повышаясь в ранге, — он побывал почти во всех больших европейских столицах, начав с Рима, продолжая Петербургом, Парижем, Лондоном, снова Петербургом, пока в 1888 г. он не был назначен уже на самостоятельный ответственный пост посланника в Бухаресте, а затем, в 1893 г., на пост посла в Риме. Оттуда в 1897 г. он снова возвратился в Берлин, но уже в качестве министра, в качестве статс-секретаря иностранного ведомства[1]. Дальнейшая карьера Бюлова рассказана им в тех трех томах его мемуаров, которые в сокращенном виде предлагаются сейчас вниманию читателя.

* *
*

Когда приходится характеризовать политического деятеля такого масштаба, каким был Бернгард Бюлов, то естественно возникает вопрос о его политических убеждениях. Но ответить на этот вопрос не так-то просто. Конечно он был монархистом, что не помешало ему в его мемуарах облить грязью своего монарха. Конечно, несмотря на ряд заявлений противоположного характера, он был врагом парламентаризма, хотя и не прочь

[1] По конституции Германской империи существовал лишь один ответственный министр — имперский канцлер. Главы отдельных ведомств, носившие звание статс-секретарей, были скорее его помощниками, нежели самостоятельными министрами. При Бисмарке так было и фактически. После его отставки статс-секретари приобрели на деле гораздо большую самостоятельность.

был несколько усилить роль парламента в качестве противовеса придворной камарилье. Конечно он был ярым врагом социализма и рабочего класса — и это уже без всяких «но». Но ведь все это качества, которыми обладало большинство министров, дипломатов, генералов и чиновников Германской империи, начиная с ее создателя и первого ее канцлера Бисмарка.

Но в Бисмарке было и нечто индивидуальное. Он, померанский юнкер, такой реакционер, что более крайнего и представить себе трудно, сумел понять историческую неизбежность объединения Германии, понял, что лучше провести его по-своему, нежели позволить ему пройти вопреки интересам его класса, понял, что по объективным условиям провести его «по-своему», по-прусски, можно. Понял это и блестяще провел при неодобрительном ворчании, а то и просто при враждебных свистках огромной части своего собственного класса. На большее его нехватило, в этом та «ограниченность» Бисмарка, о которой говорил Энгельс.

Бисмарк принадлежит эпохе, когда германский капитализм экономически находился еще в состоянии роста, Бюлов — эпохе империализма и последней стадии капиталистического развития. Бисмарк жил в эпоху, когда после поражения революции 1848 г. германская буржуазия, предав революцию, была вынуждена предоставить прусскому юнкерству устраивать за нее ее политические дела. Юнкер Бисмарк и мог поэтому выполнить «по-своему, по-юнкерски», до известного предела — все же «прогрессивное, историческое дело»[1]. Юнкер Бюлов жил в эпоху, когда юнкерству ничего другого не оставалось делать, как спасать свои старые привилегии, а Германской империи стараться благополучно пройти сквозь горнило борьбы империалистических интересов. Единственным большим новым словом, которое по условиям эпохи еще мог сказать Бюлов, было слово «империализм». Он и сказал его. Но не первым. Ему не суждено было быть германским Дизраэли. Это слово сказали до него разные очень мелкие Дизраэли из пангерманского союза. Но он подхватил его. Подхватил очень громко, в первые же дни своего пребывания у власти, в свойственной ему блестящей форме, бросив крылатое слово о «месте под солнцем». Громко, но неудачно, ибо именно его политика привела к войне 1914 г. и к разгрому Германской империи. К этому мы еще вернемся.

* *
*

Но если у Бернгарда фон Бюлова трудно найти что-либо такое, что он внес нового и оригинального в идейный политический арсенал своего класса, то это не значит, что он был серой индивидуальностью. И именно в отсутствии излишнего количества убеждений, в глубокой оппортунистичности Бюлова

[1] *Ленин*, Соч., т. XVIII, изд. 2-е, стр. 82.

лежит быть может наиболее характерная черта его личности. Мы не ошибемся, если скажем, что у Бюлова и в его личной и в его политической жизни был один девиз — продержаться. Но зато в этом искусстве он имел немного равных себе. Бюлов пишет, что он принял министерский пост с уверенностью, что Германии нужен флот. На деле никакой такой убежденности у него не было. Просто он знал, что этого хочет император и что без флота ему не получить и не удержать своего поста. Он пишет о необходимости поддерживать аграриев, но и это не из классовой солидарности, не из глубоких политических соображений. Просто ему надо было наладить отношения с консерваторами, разладившиеся у правительства после того, как ушел Бисмарк и его преемник Каприви повел невыгодную для аграриев экономическую политику. Без консерваторов — он понимал это — тоже нельзя было продержаться. И так во всем у него были личные цели. Органически соединить с ними большие государственные задачи он не умел. Те задачи, за которые он брался, чтобы «продержаться», он бросал так же легко, как легко брался за них. В последние годы своего канцлерства он уже не форсировал, а тормозил постройку флота. А ведь флот был самым крупным политическим проявлением германского империализма. Так что и в империализме своем он был непоследователен, склоняясь напоследок к компромиссу с Англией на базе отказа от мысли догнать ее на море, т. е. в сущности к капитуляции перед ней без борьбы. Но в искусстве «продержаться» он был очень высок. Можно сказать, что он был блестящим тактиком и в то же время никуда не годным стратегом. Никто не мог лучше и быстрее его придумать выхода из неожиданно наступившей затруднительной ситуации. Он сам рассказывает в своих мемуарах анекдот, пущенный про него в ход одним юмористическим журналом, что иезуит для доказательства, что дважды два — пять, может всегда найти аргумент, но что князь Бюлов найдет для этого целых три аргумента.

Бюлов располагал всеми личными данными, для того чтобы быть прекрасным политическим тактиком: находчивостью, умом, хорошими ораторскими способностями, уменьем «ставить себя». Он был блестящим собеседником, умел очаровывать людей. В его политической практике было немало трудных ситуаций. Он вступил в министерство в очень острый момент в политической жизни Германии. С 1895 г., после ряда лет затишья, начался грандиозный подъем стачечного движения, намного превосходивший все, что видела Германия в этом отношении раньше. Правда, рост ревизионизма, как говорит сам Бюлов, внушал определенные надежды германскому правительству, но эти надежды не уравновешивали страха перед ростом массового движения. Не смолкают голоса в пользу возобновления отмененного в 1890 г. исключительного законодательства против рабочего движения, за переход к политике кровавых репрессий против рабочего класса. Вместе с тем ставится вопрос о пересмотре консти-

туции в смысле отмены всеобщего избирательного права в рейхстаг как предоставляющего некоторые возможности для развертывания классовой борьбы пролетариата.

В связи с этим, а также из-за вопросов экономической политики, одновременно с нарастанием движения масс, внутри самих правящих классов наметился определенный раскол. Все сторонники усиления репрессий, еще большего углубления реакции, а главное, аграрии, задетые введенным Каприви понижением пошлин на сельскохозяйственные продукты, сплотились вокруг отставного Бисмарка в борьбе против правительства. В 1894 г. под соединенными ударами аграриев и связанной с ними юнкерско-военной придворной клики и сторонников исключительных законов главным образом из среды тяжелой индустрии пал канцлер Каприви. Его преемник, дряхлый князь Гогенлоэ, вел политику компромиссов, медленно клонившую к полному торжеству реакции. Бюлову удалось удачно разрешить одну из основных проблем внутренней политики — заделать щель, образовавшуюся внутри господствующих классов. Своим таможенным тарифом он более или менее удовлетворил аграриев. Он разрешил и еще немало трудностей. Он боялся — не без оснований — вступать на путь совсем оголтелых репрессий, но в то же время было необходимо положить конец если не росту социал-демократии, то хоть росту числа социал-демократических голосов в рейхстаге. Удачно проведенной выборной кампанией 1907 г. он нанес социал-демократии крупное поражение. Но разгром социал-демократии на выборах 1907 г., можно сказать, символичен для большей части «успехов» Бюлова. За блестящей внешностью победы скрывалась полная внутренняя бессодержательность. Чуть не вдвое уменьшив число полученных социал-демократических мандатов, Бюлов нисколько не ослабил движения в целом. Больше того, количество голосовавших за социал-демократических кандидатов даже возросло по сравнению с предыдущими выборами. Все дело в том, что при перебаллотировках удавалось не пропускать социал-демократических кандидатов, ибо Бюлов действительно добился того, чтобы голоса, поданные за буржуазные партии, не распылялись, сколотив свой «готтентотский» блок из левых [1] и правых [2] либералов и консерваторов. «Готтентотским» блок этот называли потому, что он образовался из партий, поддерживавших правительство во время прений по вопросу о подавлении восстания негров в германской юго-западной Африке. Не менее мишурным был и «блеск» победы в боснийском вопросе. Царская Россия отступила под влиянием вмешательства Германии в австро-русский конфликт, ибо она еще не оправилась после русско-японской войны и революции 1905 г., но тем явственнее она почувствовала, что ее главный враг именно в Берлине. Боснийский «успех» в конечном

[1] Партия свободомыслящих.
[2] Национал-либеральная партия.

итоге лишь сплотил Антанту. Не иначе, как мы дальше покажем, обстояло дело и с законом о флоте, которого при огромных трудностях с большой ловкостью добился Бюлов. Словом, вся политическая деятельность Бюлова составляет сплошную цепь часто блестящих тактических успехов, из которых однако ни один не решал кардинально ни одной из больших политических проблем, стоявших перед Германской империей. Больше того, сплошь и рядом за внешним торжеством скрывалась даже не только пустота, но прямо-таки вырисовывались новые и грозные опасности.

* *
*

Еще до Бюлова внешняя политика Германской империи приняла империалистический характер. Ленин указывает, что стержнем внешней политики монополистического капитализма является борьба за колонии, за передел мира. Еще Бисмарк встал на путь колониальных захватов — без особого энтузиазма, под давлением особенно заинтересованных в них буржуазных кругов. Но стержнем его политики колониальные захваты конечно не были. Для него на первом плане стояла другая задача: обеспечение внешней безопасности и социальной устойчивости созданного в 1871 г. в итоге франко-прусской войны буржуазно-юнкерского прусско-германского государства. Социальная структура этого государства была такова, что перманентное военное напряжение являлось желательным с точки зрения внутренней политики. Маркс писал, что аннексия Эльзаса и Лотарингии, превратив франко-германскую войну в «европейскую институцию», тем самым оказалась «наилучшим средством» к тому, чтобы «увековечить в обновленной Германии военный деспотизм как необходимое условие для господства над западной Польшей, Эльзасом и Лотарингией», в то время как «возможность мирного развития» привела бы к «растворению» Пруссии в Германии[1]. Армия была лучшей опорой политического влияния монархии и юнкерства в объединенной Германии, а непрерывная опасность французского реванша служила основанием для все большего и большего усиления армии ценой отягощения налогоплательщика. Но если с внутреннеполитической точки зрения угроза реванша была для Бисмарка драгоценным даром, то у реванша была и внешнеполитическая сторона. Оборотной стороной медали был «кошмар коалиций», который с самого 1871 г. ни на минуту не покидал Бисмарка. С какой бы великой державой ни поссорилась Германская империя, у ее врага — кто бы им ни был — всегда был готовый к услугам союзник — Франция. Вот почему дружественные, а по возможности и союзные отношения с Австрией, Англией и Россией были особенной необходимостью с точки зрения внешней безопасности нового германского государства. Понятно, что Бисмарк должен был много раз подумать, прежде чем встать на путь колониальных захватов, которые неизбежно вели к ан-

[1] «Архив Маркса и Энгельса», т. VI, стр. 377—378.

тагонизму с Англией. Он говорил в последние годы своего пребывания у власти, что дружба с Англией для него дороже всей Африки. Но экономические интересы монополистического капитала все больше и больше требовали колоний, и вскоре после отставки старого канцлера германское правительство не смогло больше оставаться на занятой Бисмарком позиции. Все канцлеры Германской империи в общем и целом с разными вариациями проводили политику того буржуазно-юнкерского блока, политической организацией которого и была Германская империя. Но Бисмарк был его представителем на доимпериалистической фазе развития германского капитализма. Теперь пришли новые люди. С 1894 г. колониальные захваты становятся главной целью внешней политики Германии. Бюлов, вступив в должность, продолжал эту политику. Легко видеть, какие опасности таило в себе это новое направление, которое приняла внешняя политика Германской империи, исторически неизбежное, но вовсе не менее опасное при наличии «наследственного врага» в лице Франции и при географическом положении Германии, стиснутой в центре Европы между всеми другими великими державами. Но перспективы колониального грабежа вызывали столь большой аппетит, что постепенно отпадали все сомнения, тормозившие колониальную политику Бисмарка. Из-за островов Самоа на Тихом океане Бюлов дошел до того, что пригрозил Англии не более не менее как разрывом дипломатических сношений. Когда Бюлов диктовал свои мемуары, он видимо не следил за литературой, посвященной его эпохе, иначе он не стал бы скрывать в них этот давно известный факт. И все же, несмотря на такой нажим, колониальные приобретения Германии были более чем скромны.

Но если бы даже германскому империализму и удалось добиться существенного расширения своих колониальных владений, то они принадлежали бы ему только до тех пор, пока это было угодно его английскому сопернику, который господствовал на море на всех подступах ко всем колониям. Вильгельм II однажды заметил, что без флота ему не нужны и колонии. Но дело было не только в колониях. Английский флот мог в любой момент заблокировать германские берега и этим уничтожить немецкую внешнюю торговлю, следовательно парализовать немецкую промышленность, нуждавшуюся в рынках сбыта и в импортном сырье. Надо было построить такой флот, чтобы сломить морскую гегемонию Англии. «Морская сила была естественной и необходимой функцией нашего народного хозяйства», — пишет в своих воспоминаниях адмирал Тирпиц.

Бюлов неоднократно заявляет, что свою основную задачу с самого вступления в должность статс-секретаря, а затем и канцлера он усматривал в том, чтобы обеспечить Германии возможность спокойно построить мощный военный флот и благополучно провести Германию сквозь ту «опасную зону», через которую она при этом неминуемо должна была пройти вследствие неизбежной оппозиции Англии. Из этой «опасной зоны» Герма-

ния могла выбраться лишь в тот момент, когда немецкий военный флот достиг бы таких размеров, что нападение на него стало бы и для Англии сопряжено со слишком большим риском.

Изложенное рассуждение вовсе не является оригинальным измышлением Бюлова. Автором его является не он, а творец германского флота адмирал Тирпиц, который вместе с германским военным флотом создал заодно и целую историко-политическую схему в интересах литературной защиты своей политики. Схема эта держится на предположении, что Англия не сможет одновременно с немцами соответственно усиливать свой собственный флот, так как в этом случае «опасная зона» оказалась бы бесконечной. Точнее говоря, конец-то она все-таки имела бы, но этот конец могла бы положить только война, тем более что крайне мало вероятно, чтобы Англия мирным путем, без попытки померяться силами, пошла на те значительные колониальные уступки, которые удовлетворили бы аппетиты германского империализма. Адмирал Тирпиц был несомненно слишком умным человеком, чтобы не понимать истинного положения дел. Практически он строил свой флот не для обеспечения мира с Англией, а для войны с ней. Тирпиц строил флот не только для того, чтобы помешать Англии разгромить Германию на море, но и для того, чтобы иметь возможность самому угрожать ей. Без этого мысли побудить Англию к уступкам была бы просто наивной. Тирпиц недвусмысленно говорил о необходимости заставить Англию рассматривать Германию как «равноправного» партнера в колониальных вопросах. На его беду английский империализм вовсе не думал отставать в гонке морских сооружений. В этом заключался большой политический просчет Тирпица, а вместе с ним и Бюлова.

Но если Тирпиц всегда утверждал, что действительной причиной англо-германского антагонизма является только экономическое соперничество, что постройка германского флота была только предлогом для травли Германии, то Бюлову нет смысла преуменьшать трудности «опасной зоны» и умалять те объективные препятствия, которые должен был преодолевать политический кормчий, проводивший сквозь нее государственный корабль. Англо-германский антагонизм прошел, по мнению Бюлова, три фазы. Он начался с экономического соперничества еще в 70—80-х годах. Телеграмма Вильгельма президенту Крюгеру обнажила этот антагонизм, до того прикрытый дипломатическими покрывалами. Наконец начало постройки германского флота ввело англо-германские противоречия в третью и наиболее опасную фазу.

Как изображает Бюлов политику, с помощью которой он намеревался провести Германскую империю сквозь «опасную зону»?

Самым главным средством для этого он считает поддержание добрых отношений с Россией, чему он, по его словам, и посвящал неизменно самое большое внимание. Мы знаем, что Бюлову не удалось внести коренной перемены к лучшему в русско-германские отношения. Понятно поэтому, что он подчеркивает ошибочность разрыва русско-германского соглашения в 1890 г. и даже

робко покушается на политическую непогрешимость Бисмарка, указывая на его «единственную ошибку», заключавшуюся в том, что он «плохо обращался» с Горчаковым, и затем, опасаясь, что Александр II настроит против него Вильгельма I во время свидания в Александрове, парировал этот удар, чересчур круто повернув к союзу с Австрией. Читатель приучается к мысли, что улучшение отношений с Россией было возможно только в тех рамках, в которых это позволял франко-русский союз, добиться разрыва которого, по мнению Бюлова, для немецкой политики после ошибок его предшественников стало невозможно.

Остается совершенно непонятным, каким же образом русско-германская дружба могла иметь столь крупное политическое значение, раз ей было суждено оставаться в таких скромных пределах, какие были совместимы с франко-русским союзом. Непонятно, как увязать с этим, что Бюлов соглашается с бывшим германским послом в Петербурге Швейницем, который писал ему: «Я хотел, чтобы наши отношения с Россией так заботливо поддерживались, чтобы на самый худой конец, в случае разложения империи (Zerwürfnis im Reich), мы могли бы иметь русско-прусский союз, безразлично за чей счет». Бюлов соглашается со Швейницем и добавляет еще от себя, что сам он считал необходимым сближение с Россией и не только на случай распада империи, но и без этого. В связи с характером австро-русско-германских отношений Германская империя не должна была закрывать себе возможности договориться с Россией за счет Австро-Венгрии. Если мысль Швейница, поскольку она относилась к Пруссии, была несомненно мыслью глубокой и реалистической, то все рассуждения Бюлова о России обнаруживают удивительную непоследовательность и поверхностность. Это впечатление еще более усилится, если мы напомним, что концессия на Багдадскую железную дорогу с самого начала вызывала крайнее недовольство в Петербурге, так что если флот портил отношения с Англией, то второе по размеру начинание германского империализма — Багдадская дорога — раздражало царскую Россию, которая с полным основанием видела в германском влиянии в Турции новое препятствие к захвату проливов. Германский империализм вел свою захватническую политику таким образом, что сразу нарушал и интересы России и интересы Англии, не ограничивая свои аппетиты каким-либо одним участком — либо борьбой за заокеанские колонии и морское первенство против Англии, либо за Ближний Восток против России. Если говорить о личной ответственности, то именно Бюлов несет ответственность за эту политику.

Едва ли не главной политической темой I тома «Воспоминаний» Бюлова являются переговоры об англо-германском союзе, которые велись с перерывами начиная с 1898 до 1901 г. В свое время — лет десять-пятнадцать назад — под влиянием стремления некоторых германских кругов, среди которых очень видное место принадлежало крайним антисоветским элементам, сде-

лать сближение с Англией основным стержнем внешней поли-
тики послевоенной Германии приобрели широкую популярность
разные исторические «разоблачения» вроде например мемуаров Эк-
кардштейна, одного из сотрудников германского посольства в
Лондоне, которые пытались доказать, будто британский империа-
лизм на рубеже XIX и XX веков горел желанием заключить союз
с германским империализмом. Историки и политики послевоен-
ной Германии широко разрекламировали этот взгляд и сообразно
своим собственным политическим установкам усматривали в
отказе германского правительства заключить этот союз величай-
шую политическую ошибку всего царствования Вильгельма II
ответственность за которую в первую очередь нес, понятно, тог-
дашний канцлер. Из числа приверженцев английской (или, как
ее еще называли, «западной») ориентации особенно выделялись
своей ненавистью к СССР, с одной стороны, реакционные вожди
социал-демократов, с другой — некоторые элементы «правого» ла-
геря германской буржуазии, из которых формировалось гитлеров-
ское движение и которые уже в 1918—1919 гг. подготовляли
интервенцию против Советского союза, а отчасти и фактически
начали ее. Мы имеем в виду авантюру фон дер Гольца. Как
известно, и внешнеполитическая схема, изложенная Гитлером в
его книге «Моя борьба», в качестве основного составного звена
включает борьбу против СССР, опираясь на союз с Англией.
Политическая действительность дала в этом отношении господину
Гитлеру пока не очень много утешительного. В Англии брали
верх элементы, понимающие ту простую истину, что усилив-
шись германский империализм неизбежно снова станет опасным
индустриальным соперником и серьезной военной угрозой для
Англии. Надо сказать, что уже давно доказана также полная
несостоятельность попыток, так сказать, исторически обосновать
возможность прочного, длительного англо-германского союза. Для
марксиста эта возможность уже a priori не является вероятной
в силу одного того, что объективно, в силу уровня своего ин-
дустриального развития, вообще в силу своей потенциальной
мощи, германский империализм является главным и опаснейшим
соперником английского империализма в Европе.

Мемуары Бюлова, которому надо было оправдаться в том,
что он будто бы упустил возможность прочно договориться
с Англией, дают немало новых доказательств тому, что никогда
английский империализм всерьез к союзу с Германией не стре-
мился, что в среде английского правительства один лишь Джозеф
Чемберлен действительно желал этого союза, да и то с единст-
венной целью — германскими руками помешать царской России
нарушить британские интересы на Дальнем Востоке, где она
только что захватила Порт-Артур.

Ряд документов, главным образом писем германского посла
в Лондоне Гацфельда, заставляет признать, что роль отстаивав-
шего союз с Германией Чемберлена внутри кабинета в вопросе
внешней политики до сих пор слишком часто преувеличивала

и что на деле она была в этих вопросах довольно ограниченной, так что Гацфельд не надеялся, что Чемберлен сможет добиться союза вопреки явному противодействию со стороны премьера лорда Сольсбери. Интересны указания на сильное недовольство Сольсбери по поводу приватных переговоров с Чемберленом членов немецкого посольства, что и заставило Гацфельда положить этому конец[1]. В целом ряде мест в мемуарах проскальзывает то огромное влияние, которое оказывало на политику Бюлова антианглийское настроение в немецких консервативных кругах. Очень любопытно например письмо Герберта Бисмарка Бюлову от 1898 г., представляющее, как нам кажется, попытку оказать на последнего прямое давление с целью предотвратить возможный поворот его внешней политики в сторону Англии[2]. Интересно услышать от Бюлова подтверждение той роли, которую сыграло стремление создать сильный военный флот в установлении антибританского курса немецкой внешней политики и в частности в прохладном отношении Бюлова к предложениям Чемберлена.

Очень большого внимания заслуживает сообщение Бюлова — хотя его и нельзя принять за истину без дальнейшего детального анализа, — что ему секретным путем стал известен так называемый Виндзорский договор[3], по которому английское правительство гарантировало Португалии неприкосновенность ее колоний, в то время как перед этим оно только что договорилось с Германией о возможном разделе этих колоний. Если Бюлов, сообщая, что он узнал о существовании Виндзорского договора, говорит правду, то конечно, обнаружив его существование, он должен был весьма скептически настроиться по отношению к возможности надежного соглашения с Англией, в особенности ввиду того, что в англо-германских переговорах о союзе колониальные уступки, которые можно выпросить у Англии, интересовали Бюлова не меньше, нежели то влияние, которое этот союз мог бы оказать на соотношение сил политических группировок держав, — это последнее обстоятельство явственно чувствуется в мемуарах.

Бюлов излагает в своих мемуарах те основные линии внешней политики Германии, которые он намечал в Земмеринге, продумывая свою будущую деятельность, после того как он получил приглашение занять пост статс-секретаря. Просто поражаешься, до чего удивительно бедны мыслью эти его соображения. Не ссориться с Россией, несмотря на франко-русский союз и несмотря на враждебность Франции, с которой Бюлов считается как с непреложным фактом. Строить флот, но так, чтобы Англия не смогла напасть. Крепко держаться союза с Австрией, но не позволить ей вести Германию на поводу. Словом, перечень основных данных фактов международного положения и требование приспособляться к ним и изворачиваться. Ни одной

[1] *Бюлов*, Воспоминания, т. I, стр. 303 и др., нем. изд.
[2] Там же, стр. 216—218, нем. изд.
[3] Там же, стр. 274—275, 426, нем. изд.

творческой мысли, которая пыталась бы наметить пути к кардинальному изменению уже тогда тяжелого внешнего положения Германии. В его мемуарах почти не найти такой мысли и дальше. Мы вообще не найдем в них никакой продуманной системы политики. Ее не было и у Бюлова-канцлера, а если и была, то она так основательно обанкротилась, что вспоминать о ней в своей мемуарной апологии было бы неуместно. Мы имеем в виду теорию балансирования между Россией и Англией, тоже впрочем принадлежавшую не Бюлову, а Гольштейну, всесильному советнику в германском иностранном ведомстве. Это отсутствие всякой системы не случайно. Этот отрицательный момент как раз и является наиболее искренним, наиболее полно выражающим истинную сущность личности автора из всего того, что он рассказывает о себе в своих воспоминаниях.

Мы уже сказали, что никуда не годный стратег князь Бюлов был почти гениальным тактиком. Всего полнее он выразил свой взгляд на политику не своими рассуждениями об отношениях с Россией или об «опасной зоне», а в брошенном мимоходом замечании о противоположности между психологией немца и психологией обитателей столь близкой Бюлову Италии. Первый совершенно лишен дара безошибочного инстинктивного восприятия; действительно, он познает вещи только рационалистически и обязательно должен превратить свои мысли о фактах в абстрактную теоретическую доктрину и детально разработанные планы. Второй, наоборот, избегает этого, надеясь на то, что в трудный момент он найдет необходимый выход, отыскав какую-нибудь остроумную «combinazione». Фактически именно так и вел Бюлов политику Германской империи, вел ее, не имея никаких больших перспектив и просто надеясь на то, что его ловкость позволит ему вывернуться из любого несчастья. Образование Антанты было ответом истории на такую политику. Бюлов часто ссылается на мнения Бисмарка и очевидно очень хотел бы походить на него. На деле они были глубоко противоположными натурами, что сказалось между прочим и на характере их мемуаров. У Бисмарка из его мемуаров получилось изложение продуманной системы политики, у Бюлова — изложение отдельных изолированных тактических ситуаций, которые он не анализирует, но о которых он просто повествует в привычном ему тоне светского козера.

Действительные политические результаты канцлерства Бюлова были весьма плачевны для Германской империи. Но Бюлову нужно конечно совсем иначе изобразить итоги своего канцлерства. В своей старой книге «Deutsche Politik», написанной накануне войны[1], Бюлов рискнул изобразить итоги боснийского кризиса 1908—1909 гг. как величайший успех германской дипломатии. Он писал тогда: «После боснийского кризиса международный политический горизонт прояснился», кризис этот «положил

[1] Есть русский перевод.

конец политике изоляции», и «группа держав (т. е. Антанта), влияние которой было так сильно в Алжезирасе, распалась на куски». Он утверждал также, что одновременно Германия вышла и из «опасной зоны» в своих отношениях с Англией, ибо к этому времени «мы уже перешли полосу подготовительных работ по сооружению флота». Таким путем Бюлов подводил своего читателя к мысли, что, покинув свой пост, он оставил Германию в блестящем дипломатическом положении и что ответственность за последующую катастрофу целиком падает на голову его преемников. Теперь, в своих мемуарах, Бюлов снова повторяет как свое положение о преодолении «опасной зоны», так и, хотя и в несколько смягченной форме, приведенную оценку итогов боснийского кризиса. К 1914 г. Англия якобы уже не могла иметь желание напасть на Германию, риск был бы уже слишком велик, и открывалась перспектива «параллельного» мирного развития Германии и Англии. В качестве доказательства улучшения англо-германских отношений накануне войны он выдвигает соглашения о Багдадской железной дороге и о португальских колониях в Африке, которые были совсем готовы к подписанию, но которые на самом деле конечно ни в какой мере не ликвидировали англо-германского антагонизма.

Таким образом, по мнению Бюлова, англо-германская война вовсе не была объективно неизбежной, как и мировая война вообще. Если она началась, то только вследствие непростительных ошибок канцлера Бетман-Гольвега. Главным источником этих ошибок была та зависимость от Австро-Венгрии, в которую попала германская политика, как будто бы сам Бюлов не обнаружил этой зависимости в 1908—1909 гг. Такова концепция I тома.

Однако во II томе Бюлов как бы забывает, что, излагая в I томе начало своего канцлерства, он по существу, несмотря на незначительные оговорки, отожествил свою политику с политикой Тирпица. Концепция англо-германских отношений, которую мы находим во II томе, совершенно противоречит концепции I тома. Во II томе он сочувственно цитирует донесения Меттерниха, в которых указывалось, что увеличение немецких судостроительных программ приводит только к тому, что Англия тоже предпринимает все новые и новые усилия к поддержанию своей морской мощи. Бюлов как бы не замечает, что, согласившись с Меттернихом, он совершенно разрушил тирпицевскую теорию «опасной зоны», точнее, что он признал, что зона эта по существу никогда не может быть пройдена. И в столь же полном противоречии с фигурирующей в I томе мыслью, что только достаточно сильный флот может дать Германии гарантию от нападения со стороны Англии, особенно в случае русско-германской войны, Бюлов заявляет во II томе об огромной важности, которую он придавал в последние годы своего канцлерства англо-германскому соглашению об ограничении темпов военно-морского строительства. Во второй главе III тома Бюлов излагает беседу с Бетманом непосредственно после своей отставки;

он говорил новому канцлеру о возможности нападения со стороны Англии в случае какого-либо международного конфликта, хотя Германия теперь на море и сильна. И для предотвращения этой опасности он снова рекомендует уже не усиление флота, а соглашение о замедлении темпов строительства военных судов. В чем же проявляется на практике обещанный конец «опасной зоны», этого князь Бюлов не поясняет. Он не говорит также и того, что, настаивая на замедлении сооружения флота, он в сущности признал банкротство своей политики.

Указанные противоречия свидетельствуют вовсе не о литературных только недостатках — дело гораздо глубже. Бюлов по-видимому невольно, сам не замечая этого, вскрыл в своих мемуарах зигзагообразность, непоследовательность своей политики. В I томе он излагает эпоху своей политической жизни, когда он следовал за политикой Тирпица, во II томе — эпоху, когда эта политика привела Германию к изоляции, а сам он понял, хотя и слишком поздно, опасность этой линии. В своих мемуарах Бюлов не сумел затушевать эту непоследовательность своей политики, и это несомненно ровно настолько же повышает их значение как исторического источника, насколько это понижает их ценность для самого автора, стремившегося дать политическую апологию личности князя Бюлова.

* * *

В литературной манере Бюлова необыкновенно ярко отражается его личность. Как в политике он старался не преодолевать, а обходить трудности, так и в своей литературной апологии он с развязностью и спокойствием — с качествами, которые и в жизни редко покидали его, — просто-напросто умалчивает о таком «незначительном» факте, как образование Антанты. Упоминается довольно бегло, что в 1904 г. Англия и Франция заключили договор относительно Марокко. Но что за этим скрывалось образование боевого соглашения против германского империализма, об этом не говорится ни слова. Еще меньше считает он нужным остановиться на англо-русском соглашении 1907 г. Относительно отхода Италии от Тройственного союза, наметившегося еще в самом начале его канцлерства, он ограничивается тем, что приводит свою речь в рейхстаге, где с поразительной смесью развязности и оптимизма он заявил, что в счастливом браке мужу не стоит обижаться, если жена пройдется с кем-либо в лишнем туре вальса. В таких терминах повествуется о факте, означавшем не более не менее, как развал Тройственного союза — той оси, вокруг которой вращалась вся внешняя политика Германской империи.

Особо нужно предупредить читателя относительно той трактовки, которую Бюлов дает в своих мемуарах марокканскому кризису 1905—1906 гг. Ловкий тактик, он и в качестве мемуариста с неподражаемой изворотливостью находит слова и обороты, для того чтобы оправдать себя в каждом отдельном случае. Его концепция марокканского кризиса 1905—1906 гг. совершенно не-

подражаема как по тому остроумию, с которым Бюлов выпутывается перед читателем из одной из величайших своих ошибок, так и по той бесцеремонности, с которой он обходится с фактами. В течение всего кризиса 1905—1906 гг. у Бюлова был только один успех — это свержение Делькассэ. Это обстоятельство и предопределило все изложение марокканского конфликта. Раз это единственный успех, так значит и надо изобразить дело так, чтобы падение Делькассэ встало в центре трактовки всего вопроса. Для этого Бюлов распространяется еще раз на тему о том, что английское правительство, по его мнению, напало бы на Германию только в случае континентальной войны. Войны с Россией он надеялся во всяком случае избежать, а вот во Франции он не мог быть уверенным, пока там сидел Делькассэ. Всю свою марокканскую политику Бюлов изображает поэтому как большой маневр, направленный на то, чтобы свалить Делькассэ. Его отставка «не была только минутным успехом. Его падение парализовало как французский шовинизм, так и английских джинго. Это не только облегчило сооружение нашего флота, но и всю нашу политику»[1]. После описания этого главного своего подвига Бюлов мог уже только кратко коснуться Алжезирасской конференции, сообщив читателю, что алжезирасский акт давал Германии более или менее все, что ей было необходимо; как в большинстве тех случаев, когда Бюлов хочет особенно похвалить свою политику, он делает это ссылкой на мнение постороннего лица — в данном случае одного американского дипломата.

Ни единого слова не сказано о том, что было истинной целью выступления Вильгельма II в Танжере и всей политики противодействия Франции в Марокко. Ни слова о том, что этим путем хотели взорвать Антанту, доказав французскому правительству, что Германия так сильна, что и в блоке с Англией итти против нее слишком опасно. Молчит Бюлов и о том, что вся его политика в марокканском вопросе обанкротилась, ибо на деле Антанта не распалась, а сплотилась. Он скрыл также, что то немногое, что ему все-таки удалось получить на Алжезирасской конференции, он вынужден был уступить французам по франко-германскому соглашению от февраля 1909 г. Об этом соглашении Бюлов вообще не считает нужным даже и упомянуть. Не говорит он и того, что мысль о свержении Делькассэ принадлежит не ему, а одному из высших чиновников иностранного ведомства Гольштейну, что сам он и после визита в Танжер 15 мая 1905 г. написал на полях одного дипломатического донесения, что «Делькассэ нам нисколько не мешает»[2]. Гольштейну принадлежала и вся вообще марокканская политика Бюлова. Бюлов вероятно все уже сам понимал, что политика эта не удалась. Но она занимала во всей его деятельности в целом слишком большое место, чтобы можно было свалить ответственность за нее на Гольштейна. Ведь

[1] *Бюлов*, Воспоминания, т. II, стр. 123, нем. изд.
[2] «Grosse Politik», Berlin 1920, B. 2, № 6660.

это значило бы признать, что в самых важных вопросах он был не самостоятелен. Такое признание было бы правильным, но не выгодным для автора мемуаров. Пришлось стараться изображать черное белым, выставить поражение в виде успеха.

Мы уже видели, что в других случаях Бюлов очень охотно прибегает и к приему переложения ответственности на других. В частности этот прием применен им по отношению к договору в Бьорке. В мемуарах он старается все это неудачное предприятие свалить на Вильгельма. На деле же может быть документально установлено, что он сам возлагал надежды на попытки Вильгельма II добиться союза с Россией, пользуясь ее затруднениями на Дальнем Востоке. Отношения Бюлова с Гольштейном в мемуарах освещены тоже неверно. Бюлов старается умалить роль Гольштейна. Фактически же Гольштейн и при Бюлове ворочал всей внешней политикой. Дело не только в том, что умный и ловкий, но в то же время легкомысленный и ленивый канцлер нуждался в необыкновенной работоспособности, знаниях и деловых навыках этой странной фигуры, которая в течение по крайней мере полутора десятилетий за кулисами направляла работу германской дипломатии. Критики мемуаров Бюлова разоблачили, что Гольштейн, который всегда шел разными темными и не особенно чистыми дорогами, где-то выкрал пачку писем пианиста Таузига к жене Бюлова весьма компрометирующего свойства и этим крепко держал Бюлова в своих руках[1]. Мы видим, что оппоненты Бюлова из рядов немецкой профессуры в пылу полемики за честь разных вильгельмовских чиновников тоже подносят нам некоторые сочные факты, красиво дополняющие картину, нарисованную Бюловым.

Красной нитью через воспоминания Бюлова проводится мысль, будто в отличие от его преемника Бетман-Гольвега он все время умел держать в узде австрийскую политику по отношению к Балканам и не позволял доводить дело до конфликта с Россией. С большим самодовольством излагает он свою политику в балканском кризисе 1908—1909 гг., который был будто бы улажен именно благодаря его политическому такту. Фактически дело обстояло иначе. Он сам писал[2] накануне кризиса, что в восточном вопросе германская политика, поскольку не затронуты экономические интересы Германии, должна определяться пожеланиями Австро-Венгрии. Все, что он говорит в своих мемуарах о своем воздействии на Австрию, носит более или менее бездоказательный характер, и все это отступает перед фактом, что в 1909 г. он заявил России, что в случае, если она не уступит, он позволит Австрии напасть на Сербию. Бюлов забывает, что если война тогда и не возникла, то не благодаря его политике, а просто в силу того, что потрепанная в войне с Японией и пережившая революцию царская Россия не могла тогда воевать и уступила — до следую-

[1] Об этом сообщает проф. Галлер в сб. «Front wider Bülow», стр. 45, примеч.
[2] *Бюлов*, Воспоминания, т. II, стр. 328, нем. изд.

щего конфликта. Бюлов напрасно отрицает, что, когда во время балканского кризиса в 1909 г. со стороны Антанты при поддержке Италии была выдвинута мысль о созыве конференции для обсуждения боснийского вопроса, он отверг эту мысль[1]. Совершенно так же, как в 1914 г., столь резко критикуемый им Бетман-Гольвег отверг все примирительные предложения.

Сомнительным является и версия Бюлова об истории со статьей в «Daily Telegraph», излагавшей разговоры, которые Вильгельм II вел с одним из его английских друзей об англо-германских отношениях. Бюлов излагает дело так, будто он, получив от императора рукопись, не читая отправил ее иностранному ведомству, поручив ознакомиться с ней и вынести суждение о том, можно ли ее опубликовать. Со стороны иностранного ведомства последовал ответ, что нужны лишь отдельные мелкие изменения. После этого Бюлов, якобы опять не читая, отправил статью императору с сообщением, что препятствий к опубликованию не имеется. Статья появилась, и содержавшаяся в ней оскорбительная для английских правящих кругов ложь вызвала в Англии целую бурю негодования. Можно предположить, что Бюлов нарочно пропустил нелепую статью, сознательно желая скомпрометировать кайзера, чтобы усилить свое собственное положение. Скомпрометировать императора ему удалось, но монархия была еще достаточно сильна в Германии, чтобы и после этого Вильгельм смог уволить Бюлова.

Читая мемуары Бюлова, все время следует помнить, что книга написана с целью оправдания на деле далеко не очень-то удачной политики четвертого канцлера Германской империи.

* * *

Мемуары Бюлова появились в 1930—1931 гг. и составляют четыре огромных тома, общей сложностью насчитывающих свыше двух тысяч страниц. Первый том охватывает период времени с 1897 г., когда Бюлов был назначен статс-секретарем иностранного ведомства, и кончая 1903 г., до начала марокканского кризиса, как это значится в подзаголовке, фактически же до образования англо-французской Антанты (это слово Бюлов однако очевидно не хочет употреблять). Второй том обнимает время от образования Антанты до отставки Бюлова летом 1909 г. Третий том — от отставки до конца войны. Четвертый том посвящен юношеским годам и началу дипломатической карьеры автора до назначения его министром.

Из всей этой массы печатной бумаги мы постарались выделить то, что представляет наибольший интерес. Очень много места заполнено у Бюлова бесконечной болтовней, посвященной главным образом светским сплетням, а также чрезвычайно детальному описанию событий, которые автору представлялись

[1] «Oesterreich-Ungarns Aussenpolitik», B. 2, № 1319.

вероятно очень значительными, но историческая значимость коих для нас рисуется в гораздо более скромном виде: так, если Бюлов прогуливался с Вильгельмом II где-то в деревне под Килем, то на описание прогулки у него уходит несколько страниц, не считая изложения происходивших при этом разговоров. Если в процессе своего рассказа бывший рейхсканцлер натолкнулся на какую-либо еще не упоминавшуюся им фамилию, то он не может удержаться, чтобы тут же не выложить все, что ему про данное лицо известно. Особенно интересуют при этом бывшего канцлера такие проблемы, как например кто был в действительности отцом герцога Эрнста Кобург-Готского или в каких собственно взаимоотношениях находился император Франц-Иосиф с госпожей Екатериной Шратт. Все это пересыпано массой анекдотов, так что в мемуарах Бюлова содержится богатейшее собрание разного рода bons mots, пущенных кем-либо в обиход в течение всей долгой жизни автора. Тут и граф Монтс, бывший в свое время прусским посланником при одном из маленьких немецких дворов и явившийся на высочайший прием не в цилиндре, а в котелке. На замечание церемониймейстера Монтс ответил: «Kleiner Hof, kleiner Hut»[1]. Тут и один австрийский деятель, который на вопрос, что, по его мнению, предпримет венское правительство в случае серьезного международного кризиса, ответил, что он не может этого знать, так как ему неизвестно, что является самой большой глупостью. Тут и подробнейшее описание обстоятельств женитьбы тайного советника Гаммана, причем Бюлов считает нужным передать все подробности, описывая, как первый муж будущей жены Гаммана наблюдал все происходившее на их свиданиях через дырочку в подтолке из специально спятой в верхнем этаже комнаты.

Затруднять внимание нашего читателя всеми этими анекдотами и мелочами несомненно не стоило, и мы выпустили все, что, по-нашему, не представляет более широкого политического или историко-бытового интереса. Думается, что книга от этого только выиграла. С другой стороны, мы конечно нарушили этим общий стиль писаний Бюлова — в русском переводе они благодаря этим пропускам будут выглядеть серьезнее, чем это есть в действительности. Выпустили мы также бесчисленные характеристики менее интересных лиц. Недостаток места заставил нас однако выпустить и ряд вопросов политического порядка, если по поводу их мемуары не содержали чего-либо интересного или нового или же давали не только тенденциозное, но и просто искаженное изложение[2]. Понятно, что историк-исследователь должен обратиться к подлиннику. Перевод рассчитан на широкого читателя.

В. Хвостов

---

[1] Двор маленький и шляпа маленькая.

[2] В тех случаях, когда при переводе выпущены целые главы, это оговорено в сносках.

КНИГА ПЕРВАЯ

ОТ НАЗНАЧЕНИЯ СТАТС-СЕКРЕТАРЕМ ДО МАРОККАНСКОГО КРИЗИСА

ГЛАВА I

21 июня 1897 г. на моем письменном столе в палаццо Кафарелли, где в то время помещалось императорское германское посольство в Риме, лежала расшифровка телеграммы иностранного ведомства, в которой мне предлагалось по возможности срочно явиться к его величеству императору на яхту «Гогенцоллерн». Мое состояние можно было сравнить с ощущениями путника, который долго наблюдает надвигающиеся на горизонте тучи, прерываемые редкими вспышками зарницы, и вдруг оказывается настигнутым разразившейся грозой.

На следующее утро я прибыл в Милан и уже читал в «Секоло» телеграмму из Берлина, в которой сообщалось, что мое назначение статс-секретарем является делом решенным. 23 июня на вокзале во Франкфурте-на-Майне меня встретил Филипп Эйленбург. Он настаивал, чтобы я не отказывался от предложения императора. Прежде всего он был заинтересован в том, чтобы иметь в качестве начальника своего личного друга. Далее, он присвоил себе по отношению к императору роль расточающей дары «девушки издалека», из рук которой высочайший друг должен был получить все, чего он желал и к чему стремился. Эйленбург доказывал мне со всей возможной при его мягком характере настойчивостью, что мой отказ не только глубоко огорчит императора, но и будет рассматриваться им как прямое неподчинение или даже дезертирство. Кроме того, принимая во внимание тяжелое внешнее и внутреннее положение страны, я обязан выполнить свой долг перед родиной и не имею права отказываться от нового назначения. Эйленбург обо всем этом говорил несомненно искренно. Он был довольно равнодушен к национальным интересам, но по своему воспитанию и родственным связям он был пруссаком в большей степени, чем его обычно считали.

На прощанье Эйленбург сунул мне в руку записку, говоря: «Это мое последнее слово, моя последняя просьба к тебе; она исходит от преданного дружеского сердца, от сердца патриота. Только в том случае, если ты подойдешь к императору психологически правильно, ты сможешь принести пользу стране; а ты — последняя карта императора Вильгельма II». В записке было

сказано следующее: «Вильгельм II ко всему относится субъективно. Только личные аргументы производят на него впечатление. Он желает поучать других, но очень неохотно позволяет поучать себя. Он не выносит скуки; тяжеловесные, сухие, слишком основательные люди действуют ему на нервы и ничего от него не могут добиться. Вильгельм II хочет блистать и все делать и решать сам. То, что он делает сам, к сожалению, часто получается неудачно. Он жаждет славы, он честолюбив, ревнив. Для того чтобы добиться от него проведения какой-нибудь идеи, надо сделать вид, что идея исходит от него. Вильгельму II все надо преподносить в удобном виде. Он охотно воодушевляет других на рискованные предприятия, но в случае неудачи оставляет их на произвол судьбы. Никогда не забывай, что его величеству время от времени нужно высказывать похвалу. Он принадлежит к тем людям, которые, не получая одобрения от авторитетного лица, впадают в дурное настроение. Ты всегда сможешь найти пути к осуществлению своих желаний, если не преминешь выразить похвалу в тех случаях, когда его величество этого заслуживает. Он благодарен за это, как доброе умное дитя. Если всегда молчать в тех случаях, когда он заслуживает одобрения, он в конце концов склонен будет усматривать в этом недоброжелательность. Мы оба всегда будем стремиться не переходить границы, за которой начинается лесть».

Таково было последнее наставление, сделанное мне Филидо моего выступления на государственную арену. Наставление столь же характерное для него самого, как и для его высочайшего друга.

На следующий день я прибыл в Берлин. Статс-секретаря Маршалля я нашел весьма расстроенным. Перед ним лежала «Норддейтше альгемейне цейтунг», и он прочел мне ядовитую заметку, в которой эта официозная газета сообщала о моем назначении в Берлин: «Императорский посол в Риме фон Бюлов, по имеющимся сведениям, сегодня выезжает оттуда, чтобы направиться ко двору его величества императора. Мы не ошибемся, если скажем, что эта поездка связана с состоянием здоровья статс-секретаря барона фон Маршалля».

Эта заметка, подчеркивавшая расшатанное вследствие напряженной работы и переутомления состояние его здоровья, не без основания огорчила г. фон Маршалля. Он чуял, что за этими коварными строками стоит его друг Кидерлен. Как многие сыны прекрасного Бадена, Маршалль не любил ни «грубых» баварцев, ни «ехидных» швабов. Он знал, что Кидерлен часто поднимал его на смех в берлинском казино и других местах. В своем насмешливом тоне Кидерлен рассказывал, что Маршалль при своем назначении на пост статс-секретаря не знал ни слова ни по-французски, ни по-английски и стал с тех пор гулять в своем саду с французской гувернанткой по правую руку и с английской по левую, надеясь таким путем проникнуть в тайны этих двух мировых языков. Кидерлен также с наслаждением распростра-

нял жестокие слова Бисмарка о «ministre étranger aux affaires»[1]. Высказав свое недовольство подобными «грубостями», Маршалль в серьезном тоне выразил удовлетворение по поводу того, что я, а не Кидерлен или Монтс, назначаюсь его преемником. Во многих отношениях мне якобы будет лучше, нежели ему. По его словам, он потерпел крушение потому, что, несмотря на свою старинную связь с семьей Бисмарков, берущую начало, как и у меня, еще со времен нашей юности во Франкфурте, и несмотря на свое глубокое преклонение перед великим человеком, силою сложившихся обстоятельств он очутился в резкой оппозиции к Бисмаркам — отцу и сыну. Я же с чистой совестью могу выступать перед Бисмарками. Кроме того он, Маршалль, хотя и вышел из консервативной партии, все же был вынужден часто вступать в борьбу с этой партией, которая считает его изменником и соответственным образом к нему относится. Наконец он, несмотря на свое консервативное прошлое и то, что он например был ярко выраженным биметаллистом, должен был согласиться на торговые договоры, которыми аграрии оказались очень недовольны.

После этого важнейшего визита в ведомстве иностранных дел я направился во дворец рейхсканцлера. Канцлер встретил меня цитатой: «Здесь стою я, словно оголенный деревянный ствол».

Уход Маршалля, видимо, не особенно его волновал. Он считал Маршалля оппортунистом, который «держит нос по ветру»; кроме того он слишком упорствовал в своей злобной вражде к семье Бисмарков из-за того, что не мог простить князю некоторых саркастических замечаний о его неспособности руководить внешней политикой, а также не мог забыть той грубой сцены, которую устроил ему Герберг Бисмарк после падения Бисмарков в доме баварского посланника Лерхенфельда. Герберг Бисмарк проявил себя, как это часто с ним бывает, слишком пристрастным и невыдержанным, но по сути дела он был прав, так как в политике, во всяком случае в большой политике, Маршалль плохо разбирается. Он скорее юрист, нежели дипломат. Когда я заметил, что, по моему мнению, Маршалль мог бы быть весьма полезным на некоторых дипломатических постах, например в Константинополе, старый князь ответил, что он предоставляет мне посылать Маршалля, куда мне заблагорассудится, но только не в Париж или Петербург, так как туда он действительно не подходит. Князь Гогенлоэ при этом подчеркнул, что поддержание дружественных взаимоотношений с Россией является делом огромной важности: «Мы должны сделать все возможное, чтобы вновь улучшить отношения и избавиться от последствий той величайшей глупости, которую наша политика допустила семь лет назад, расторгнув договор «перестраховки»[1].

Князь Гогенлоэ нарисовал мне затем картину международного положения; произнесенная им полушопотом, но с полной ясностью мысли речь свидетельствовала о том, что он еще владеет

[1] Игра слов: вместо «ministre des affaires étrangeres» — министр иностранных дел: «министр, чуждый делам».

теми качествами, которые в моих глазах всегда придавали большую ценность его суждениям: спокойное, безусловно трезвое взвешивание различных интересов, вполне реальная политическая оценка сил и целей отдельных европейских государств. Эти два свойства базировались на опыте почти восьмидесятилетней жизни и широком кругозоре grand seigneur'a, который не только многое видел, но которому, что не менее важно, очень мало что импонировало. Если с Маршаллем канцлер расстался без особого сожаления, то уход Беттихера он принимал более близко к сердцу. Беттихер был чиновником в его вкусе: трудолюбивый и готовый по желанию начальства и по приказанию свыше итти как правым, так и левым галопом. Беттихер сумел своей угодливостью завоевать сердце старого князя, который не забывал, что его род был когда-то суверенным и что еще дед его сам назначал и увольнял министров. Беттихер всецело завоевал сердце его светлости тем, что всегда называл его «мой милостивый государь». Гогенлоэ неохотно приносил в жертву своего славного Беттихера бушующему морю консерваторов, стоявших за спиной так называемой «бисмарковской фронды» и союза сельских хозяев...

Проблемы *внутренней* политики, видимо, всецело поглощали внимание князя. В этой области важнейшую роль играли для него два момента: сильное желание сохранить свой ореол либерального государственного деятеля, который он создал себе с 1848 г. и тщательно поддерживал как в Мюнхене, так и в Берлине и Страсбурге; с другой стороны он не желал и терять из-за этого благосклонности и милости императора. Он несколько раз повторил, что желал бы расстаться с императором мирно.

При этом первом свидании с канцлером мы сошлись в убеждении, что в области внутренней политики мы должны стремиться не к тому, чтобы еще больше натравливать партии друг на друга, а по возможности к объединению их для совместной работы. Я согласился с ним, что я, так же как и он, не возлагаю никаких надежд на издание исключительных законов против социал-демократов. В то же время его очень беспокоила идея об изменении или даже полной отмене закона против иезуитов, которую тогда с большим рвением вновь проповедовала партия центра.

К ордену иезуитов Гогенлоэ, хотя он и сам был католиком, питал такое сильное недоверие и отвращение, какое редко встречается даже у самых ревностных протестантов. Он знал массу историй и анекдотов об интригах и преступлениях, совершенных иезуитами в минувшие века. Он был убежден, что иезуиты и сейчас не гнушаются никакими средствами. Несомненно, что они отравили статс-секретаря Франки в Риме. Последний внушал им подозрение своими либеральными наклонностями и тенденцией к соглашению с Итальянским королевством. После одной мессы, которую он служил в иезуитской церкви, один из священников предложил ему шербет, от которого он вскоре скончался с ужасными болями в желудке. Князь Гогенлоэ также сообщил

мне по секрету, что его брат кардинал так боялся, что иезуиты устранят его с помощью испытанных в XVI веке средств рода Борджиа, что распорядился наливать ему вино для святых даров лишь из предварительно закупоренной его слугой бутылки. Любимой поговоркой князя Гогенлоэ было, что существуют три силы, враждебность которых не выгодна для всякого политика: иезуиты, масоны и евреи. Идеалом является привлечение всех их на свою сторону, но это не так-то просто. С другой стороны, не следует никогда всецело подпадать под влияние ни масонов, ни евреев, ни иезуитов, в особенности же иезуитов...

Когда я вышел из иностранного ведомства, у меня осталось впечатление, что не так-то легко будет надолго упрочиться в этой «лавочке», как служащие часто называли свое учреждение. Мой брат Адольф, который по своему характеру был далек от интриг, происков и честолюбия, часто говаривал, что в министерстве густыми облаками нависли испарения интриг, накопившихся там за многие годы.

После ухода великого человека как при честном Каприви, так и при благородно мыслящем Гогенлоэ Гольштейн и Кидерлен несомненно много занимались интригами. Все же они оба, несмотря на свои ошибки, каждый по-своему в первую очередь заботились о благе родины. Гольштейн был стопроцентным пруссаком. Мысль о том, что Пруссия и Германия могут потерять свой престиж или что другие страны нанесут вред Германии, волновала его до глубины души. О нем действительно можно было сказать, что ревностное отношение к интересам нашего отечества заедало его, временами даже затемняло его сознание и превращало его бдительность в преувеличенное недоверие. Роль Кидерлена в отношении Гольштейна походила на роль Санчо Панса при дон Кихоте. Какой бы то ни было подъем или идеалистическое восприятие вещей были ему чужды. Он всегда оставался terre à terre, но в нем было сильно чувство гордости за марку и интересы своей фирмы, за конкурентами которой он ревниво наблюдал. В лице Бетмана на руководящий государственный пост пришел человек, который ничего не понимал в вопросах внешней политики и совершенно не оправдал надежды на то, что он постепенно войдет и «врастет» в курс этих дел. Когда и Кидерлен сошел со сцены и его заменил как физически, так и духовно «маленький» Ягов, наше ведомство иностранных дел все более и более становилось учреждением, где толкались почти лишь одни посредственные люди; работа велась неудовлетворительно, и едва ли можно было найти там хотя бы одного настоящего политика. Ведомство иностранных дел в 1914 г. оказалось тем гнездом, в котором было высижено вредоносное яйцо ультиматума, предъявленного Сербии. Там были совершены почти все те ужасные ошибки, благодаря которым мы были втянуты в войну и проиграли ее.

26-го я прибыл в Киль и немедленно направился на борт «Гогендоллерна».

Император Вильгельм II принял меня на верхней палубе яхты, по которой он одиноко прохаживался взад и вперед. Он протянул мне руку со словами: «Дорогой Бернгард, мне очень жаль вас, а еще больше конгессину (так издавна называли мою жену вдовствующая императрица и ее дети), но теперь вы должны выступить на фронт. Баденец предал меня!» Затем последовал торопливый, многословный и непоследовательный рассказ, из которого явствовало, что Маршалль за спиной его величества вместе с партией центра и демократами плел сети интриг против своего государя. Какова при этом была конечная цель статс-секретаря, не совсем еще выяснилось. Но несомненно, что ничего хорошего он своему государю не желал. Император заявил, что у него имеются доказательства того, что Маршалль замышлял с помощью врагов государства ограничение прав короны и установление парламентской системы. Это заслуживает наказания. Маршалль должен оставить свой пост. Я не мог удержаться, чтобы не выразить своего удивления по поводу этого печального разоблачения. Действительно ли Маршалль преследовал такие дьявольские цели? Император ударил себя своей сильной правой рукой по левой стороне груди. «Здесь у меня доказательства», — сказал он с большой уверенностью. Я намекнул, что мне было бы очень интересно ознакомиться с этими доказательствами, хотя бы для того, чтобы самому уберечься от подобных ловушек. Однако император, говоря охотничьим языком, сделал петлю. «Доказательства я приведу вам как-нибудь потом, — сказал он, — а сейчас я хочу прежде всего сообщить вам, что в начале августа вы будете сопровождать меня в Петербург. Вы были там советником посольства и сможете благодаря этому быть мне особенно полезным. Англичане так подло относятся ко мне, что мы с тем большим рвением должны поддерживать наши отношения с Россией». Я ответил, что предоставляю себя в распоряжение его величества для поездки в Петербург, но до этого прошу предоставить мне отпуск. «Вот как, — сказал император, — а я думал, что с сегодняшнего дня мы будем неразлучны». Я ответил, что я никак не смогу дать окончательного ответа о возможности с чистой совестью принять предложенный мне пост, прежде чем основательно не ознакомлюсь с международным положением по материалам министерства иностранных дел. Ввиду этого я прошу предоставить мне отпуск до конца июля. Я собираюсь отправиться в Земмеринг, где обычно провожу лето. Эта тихая местность является наиболее подходящей, для того чтобы путем спокойных размышлений и изучения материалов притти к определенному решению. Из опыта моей деятельности в качестве посла, а также из истории и газет я знаю, что проблема, которую мне предстоит разрешить, будет заключаться главным образом в том, чтобы построить флот для защиты и сохранения нашей безопасности, но с тем, чтобы сооружение флота не втянуло нас в войну с Англией. Это не совсем просто.

Император отпустил меня самым любезным образом. Как и

раньше в Неаполе, Венеции, а также в Берлине и Потсдаме, у меня создалось впечатление, что трудно быть более любезным, простым и естественным, чем император Вильгельм II. Подводные камни в его характере обнаружились для меня лишь после долгого плавания в императорских водах.

На обеде, к которому я был приглашен, присутствовал король Леопольд II Бельгийский, а также принц Альбрехт Прусский и офицеры, с которыми принц ездил в Лондон в качестве представителя императора на юбилейном торжестве в честь шестидесятилетия царствования королевы Виктории. Король Леопольд приветствовал меня как старого знакомого из Остенде. В обществе немцев его сарказм выступал особенно ярко; обычно он начинал каждый рассказ о разговоре с нашим императором следующим образом: «Его величество император и король имели высокую милость благосклонно сказать мне нижеследующее о его высочайшей точке зрения в данном вопросе; то, что я слышал это из высочайших уст, еще более повысило для меня ценность этого откровения и счастье находиться в его высочайшей близости». Король очень хорошо говорил по-немецки, несмотря на легкий французский акцент. Наша императрица не была обрадована его визитом. Она слышала всевозможные неблагоприятные отзывы о его образе жизни, и при всей своей доброте она не допускала шуток в вопросах морали и нравственности. Ей также не понравилось, что бельгийский король старался привлечь императора к участию в крупных промышленных предприятиях в Восточной Азии, а также в Африке. «Император совершенно не должен связываться с этим отвратительным человеком, — говорила императрица с трогательной заботливостью о своем супруге, в которой сквозило материнское чувство, — кто знает, не надует ли он его. Дай только бог, чтобы он в других делах не давал императору дурных советов». Впрочем наши политические отношения с Бельгией были в то время настолько дружественны и основаны на взаимном доверии, что мелкие недоразумения не могли бы их изменить.

Рассказы возвратившихся из Англии лиц не обрадовали кайзера. Когда принц Альбрехт со своей свитой проходил в торжественной процессии 22 июня по улицам Лондона, толпа неоднократно кричала вслед немцам, намекая на телеграмму Крюгеру: «Может быть, вы хотите телеграфировать дядюшке Крюгеру? Телеграф находится за углом направо». Как рассказывал принц Альбрехт, ряд английских авторитетных лиц говорил ему, что телеграмма Крюгеру произвела в Англии сильное впечатление, быть может не столько на министров и двор, сколько на широкие народные массы и на общественное мнение.

ГЛАВА II

Когда император ушел, князь Гогенлоэ отвел меня в сторону и спросил, как я думаю, не рассердит ли он императора,

если воспользуется пребыванием в Киле для посещения Бисмарка в Фридрихсруэ. Я с полной уверенностью ответил, что не думаю этого. Если он прямо попросит императора о разрешении, то последний возможно и станет его отговаривать, но пост фактум государь едва ли будет волноваться по этому поводу. Канцлер спросил меня, хочу ли я сопровождать его. Я ответил, что почту для себя за особую честь поехать с князем в Фридрихсруэ. «Прекрасно, — сказал канцлер с явно облегченным видом, — тогда поедем вместе».

28 июля в полдень мы прибыли в Фридрихсруэ. На вокзале нас встретил зять князя граф Куно Ранцау. Князь Бисмарк поздоровался с князем Гогенлоэ с изысканной и, как мне показалось, нарочитой вежливостью. Он явно хотел подчеркнуть разницу, которую он делал между третьим и вторым канцлером, так как в отношении последнего он занимал резко враждебную позицию. Я нашел князя Бисмарка сильно постаревшим, но держался он все так же прямо, духовно совершенно не изменился и сохранил властный взгляд и тот же мягкий и тихий голос. Он приветствовал Вильмовского и меня дружеским рукопожатием как старых знакомых. За столом разговор шел о русских имениях князя Гогенлоэ; князь Бисмарк часто возвращался к этой теме и высказал пожелание, чтобы большое и прекрасное имение Верки досталось его второму преемнику.

Во время нашего визита князю Бисмарку не удалось поговорить со мной наедине. Мне казалось, что князю Гогенлоэ это было бы не особенно приятно. Не из ревности, которая была чужда этому истому grand seigneur'у, но вероятно из тех соображений, чтобы при свидании с кайзером он мог с чистой совестью сказать его величеству, что я не имел случая говорить наедине с бывшим рейхсканцлером. В особенности князь хотел иметь возможность с чистой совестью заверить в этом Гольштейна, который внушал ему сильный страх. После отставки князя Бисмарка Гольштейн с упорной злобой настаивал на том, что ни в коем случае нельзя создавать впечатления, будто бы представители нового курса обращаются за советом к великому носителю старого курса или нуждаются в его наставлениях.

Это был мой первый визит в Фридрихсруэ. Я был поражен простотой дома, скромностью мебели, полным отсутствием украшений и художественного вкуса во всей обстановке. На стенах дома в Фридрихсруэ нельзя было найти ни одной хорошей картины, кроме прекрасного портрета князя работы Ленбаха. Сколько-нибудь большой библиотеки также не было видно, а что касается гобеленов или восточных ковров, то их и подавно не было в помине.

По приезде в Земмеринг я приступил к тому, что называл своей «умственной работой». Я захватил с собой некоторые документы, касающиеся наших взаимоотношений с другими странами, в частности с Англией и Россией, а также положения в Восточной Азии. Одновременно я изучал материалы, необходимые для

правильной оценки наших торговых отношений, в особенности с Россией и Америкой.

Одно мне было ясно еще до моего вызова в Киль, что от войны Германия мало может выиграть, зато много потерять. Я не сомневался также в том, что, судя по развитию исторических событий на мировой арене за последние десятилетия, война на европейском континенте едва ли может остаться локализованной, наоборот, каждый европейский конфликт таил в себе опасность превратиться в большую войну со всем связанным с ней ужасным риском. Каждый же год, в течение которого мы с честью сохраняли мир, был для нас выигрышем. Наше население и наша экономическая мощь росли с каждым годом. Наше развитие шло благоприятно, в особенности по сравнению с развитием нашего опаснейшего врага — Франции. Как сохранить мир, которого желал германский народ и который был ему нужен для дальнейшего развития во всех областях жизни? Ответ мог быть только один: никого не провоцировать, но и не позволять никому наступать себе на ноги.

Картина международного положения, сложившегося к 1897 г., как мне представлялось, имела наряду с некоторыми светлыми моментами много глубоких и серьезных теневых сторон. С самого начала германской истории мы вследствие нашего неблагоприятного географического положения в центре Европы были более подвергнуты опасности нападения, нежели какой-либо другой великий народ. Пользуясь выражением, которое я впоследствии употребил в своей «Германской политике»[1], можно сказать, что в сущности наше «окружение» началось с Верденского договора, т. е. с 11 августа 843 г.

Нашим западным соседом был французский народ — самый беспокойный, честолюбивый, тщеславный, самый милитаристический и самый шовинистический из всех европейских народов; со времени последней франко-германской войны этот народ был отделен от нас пропастью, которую, как писал в 1913 г. один выдающийся французский историк, ничто, абсолютно ничто не могло уничтожить. На востоке нас окружали славянские народности, исполненные неприязни к немцу, который был для них учителем высшей культуры и которого они преследовали с той жестокой и злобной ненавистью, которую питает непокорный и грубый воспитанник к своему серьезному и достойному учителю. В большей мере, чем к русским, это относилось к чехам, а в особенности к полякам, которые еще со времени основания Болеславом Храбрым великого польского государства, т. е. с X века, посягали на наши восточные земли. Взаимоотношения между немцами и англичанами в течение столетий подвергались различным изменениям. В общем и целом Джон Булль всегда стоял на той точке зрения, что бедному немецкому родственнику можно оказывать покровительство и протекцию, при случае

[1] Fürst von *Bülow*, Deutsche Politik, Volksausgabe 1916, S. 293.

использовать его для черной работы, но никогда нельзя становиться с ним на равную ногу. По существу никто нас не любил. Такая антипатия существовала еще до того, как зависть к созданным Бисмарком мощи и благосостоянию нашей страны обострила неприязнь к нам. Это неблагожелательное отношение к нам объяснялось между прочим и тем, что мы недооценивали значения внешней формы. Еще греческий философ указывал на то, что люди в подавляющем большинстве судят и воспринимают не по существу вещей, а по внешнему виду. Такая установка с трудом усваивается немцем, всегда серьезным, глубоким, смотрящим в корень вещей, а потому равнодушным к внешней оболочке.

Каково же было наше международное положение спустя семь лет после ухода князя Бисмарка? Каково было положение внутри страны?

Еще до моего назначения в Берлин за все время моей служебной деятельности за границей я стремился поддерживать тесную связь с родиной. Я тщательно наблюдал за развитием внутреннего положения Германии и регулярно следил за большой европейской прессой. Я всегда был в курсе текущих событий, в особенности благодаря переписке с друзьями и коллегами. Наиболее интересными были для меня сообщения графа Монтса. Будучи еще молодым атташе в министерстве иностранных дел, я познакомился с графом Антоном Монтсом. Монтс был карьеристом. Чрезмерно критически настроенный и высокомерный там, где он это полагал для себя позволительным, Монтс отличался подобострастием и назойливостью по отношению к сильным мира сего. Когда я был назначен посланником в Бухаресте, он почувствовал во мне «восходящую звезду» и начал время от времени писать мне письма, в которых в преувеличенных выражениях высказывал мне свою симпатию. Вскоре после этого он предъявил и свой счет за «виляние хвостом». Его деятельность в качестве генерального консула в Будапеште, как и до этого в должности советника посольства в Вене, была не особенно удачной.

Монтса как мало подходящего для дипломатической службы в Европе предполагали отправить в Рио-де-Жанейро. Он обратился ко мне, умоляя о помощи. И мне удалось добиться распоряжения руководящих лиц в министерстве о назначении Монтса не на другое полушарие, а в Ольденбург, в маленькую, уютно расположенную на берегу реки Гунты северогерманскую резиденцию.

Вопросы, над которыми я размышлял в Земмеринге, затронуты лишь в нескольких письмах Монтса. В них этот живой и проницательный наблюдатель информировал меня о возрастающих трудностях, с которыми нам приходилось сталкиваться как во внешней, так и во внутренней политике. Одной из немаловажных причин, вызывавших эти трудности, являлась все возрастающая склонность Вильгельма к самодержавному вмешательству в закономерное течение дел. Перспектива, которая открывалась

мне этими яркими и убедительными в своей непосредственности и беспристрастности письмами, была невеселая.

16 августа 1891 г. Монтс писал мне из Будапешта о положении в Австро-Венгрии, которое играло в нашем политическом балансе большую роль, с тех пор как князь Бисмарк в 1879 г. стремился сблизиться с Австрией и заключил с габсбургской монархией оборонительный союз:

«Уважаемый покровитель! Дуализм[2] при ближайшем рассмотрении представляет собой самое жалкое произведение, которое когда-либо было создано легкомысленными диллетантами. Как долго армия сможет еще оставаться воплощением государственного единства? С какими непреодолимыми трудностями придется столкнуться преемнику, который не будет окружен тем всеобщим уважением, каким пользуется Франц-Иосиф! Мадьяры мадьяризируют только немцев и евреев, т. е. как раз те элементы, которым они в интересах государства не должны были бы запрещать пользоваться немецким языком; в то же время они совершенно беспомощны перед румынами, кроатами и словаками. Если мадьяры достигнут своей цели, т. е. личной унии, то распад Австрии неизбежен. Но вместе с тем территория Венгрии сократится наполовину. Я сомневаюсь, что после этого мы будем еще достаточно сильными, для того чтобы без прямого присоединения этого католического чурбана поддержать в оставшейся Австрии влияние, необходимое для нашего самосохранения и обеспечить себе в будущем достаточно сильное влияние в Венгрии, Кроатии и Трансильвании. Если же мы останемся одни между двумя жерновами — Францией и Россией, мы погибли. Уже сейчас количественное соотношение сил весьма неблагоприятно. На Италию и так рассчитывать не приходится, а одна французская армия численно превосходит нашу. По весьма правильному мнению Клаузевица, при прочих равных условиях количество играет решающую роль. А сколько мы должны были бы оставить на восточной границе, хотя бы для того чтобы оказать австрийской армии моральную поддержку! Известно ли вам между прочим, что во время переговоров о торговом договоре Рудини указал нам на дверь? Если Австрия не уступит в пошлинах на полотно, чего настойчиво требовал Люцати для своих избирателей, то он, Рудини, уйдет и таким образом Тройственный союз вылетит в трубу. Вы не можете себе даже представить, какую панику это вызвало в берлинском министерстве иностранных дел. Как раз в эти критические дни я был в Вене, депеши летели, и эта шутка кончилась конечно тем, что мы приняли итальянские требования. Остроумное выражение Бисмарка о «zwei Eisen im Feuer»[1][3] все же имело свою хорошую сторону. Логически мы должны теперь в Тройственном союзе оказаться в самом невыгодном положении. У нас есть два явных смертельных врага, у Австрии только один. Позиция Италии самая благоприятная, так как вражду с Францией

[1] Двух горячих утюгов.

по существу можно было бы преодолеть, а в худшем случае Англия, которая далека от того, чтобы притти на помощь Германии и Австрии, всегда готова защитить Италию от всякого вторжения. Кроме того Италия недосягаема для России, а альпийскую границу легко защитить от Франции. При такой ситуации настоящим утешением для патриота должно явиться внутреннее положение государства! Regis volutas suprema lex![1]

Куда все это может привести? В наше время подобные вещи, да еще занесенные в книгу города Мюнхена! Весьма грустное впечатление производит также назначение Стаблевского архиепископом в Гнезен-Познани. Поляки непримиримы, в войне против России они все равно будут на нашей стороне, зачем в таком случае делать столь опасную уступку? В Познани и Западной Пруссии немецкий элемент к сожалению постоянно уменьшается. Однако германизация этого района является для нас жизненным вопросом, принимая во внимание положение Берлина и возможную в будущем необходимость аннексировать территорию до Вислы. Все же, несмотря ни на что, никогда не следует, как вы всегда правильно говорили, отчаиваться в будущности нации. Если Германия будет разрушена, европейская цивилизация погибнет. До Одера будет простираться объединенное славянское государство, перед лицом которого остатки Германии и Франции потеряют всякое значение. Имеет ли государь более или менее ясное представление об опасности своего положения? Он вероятно все еще верит в то, что царь о нем высокого мнения. А именно этот царь, являющийся для нас единственным оплотом мира, ненавидит нашего императора, как я слышал из достоверного источника, за то, что тот не любит правды».

На несколько строчек, которые я написал Монтсу из Палермо, где я гостил у моего шурина Кампореале, он ответил мне 1 ноября 1894 г.: «В то время как вы в качестве посла гуляете под пальмами, на родине произошла перемена декораций. Рискуя сообщить вам уже давно известные новости, довожу до вашего сведения то, что я узнал достоверного, но что является только прологом к настоящей драме: прусский председатель министров Бото Эйленбург выработал проект закона о борьбе с революцией, в котором между прочим был затронут вопрос о полицейских предупредительных мерах в отношении прессы. При этом он настаивал на том, чтобы существующие в стране предупредительные меры были приняты империей, а не Пруссией. Противоположную точку зрения, что вперед Пруссия должна выступить с проектом закона о собраниях и союзах, ему удалось провалить во время маневров в Восточной Пруссии с помощью саксонского короля, и император заявил, что он принципиально согласен с тем, что энергичный законопроект для внесения в союзный совет будет выработан Бото Эйленбургом. Однако этот проект получился таким, что его величество убедился в невозможности проведения

[1] «Воля короля — высший закон».

его без государственного переворота. Кроме того королевства [4] заявили о своем отказе поддержать этот проект. В связи с этим его величество, как известно, 23-го посетил Каприви и сообщил ему, что он поручил Бото переработать проект по программе Каприви. Здесь моя нить обрывается. Вам вероятно известны уже подробности об этой головокружительной катастрофе. 25-го я ездил в Брауншвейг, где я утвержден по совместительству в должности посланника, а 26-го в полдень прибыл в Бланкенбург, чтобы приветствовать его величество, вещи которого находились уже в специальном поезде и который намеревался прямо с молебствия за царя у Шувалова в Берлине выехать в Бланкенбург. В этот момент и произошла перемена. В 2 часа в Бланкенбурге была получена телеграмма, что ввиду неотложных государственных дел приезд его величества невозможен. Во второй половине дня там собралось много народу, в том числе Штольберг, Лендорф, Вальдерзее. Все были уверены, что царь умер, но никто об этом не говорил до того, как вечером прибыл первый экстренный номер газеты из Берлина. В частности Вальдерзее еще до субботы не хотел верить в комбинацию с Гогенлоэ и даже на третий день еще не был в этом уверен. Берлинцы указывали на преклонный возраст князя. Часть их вероятно была связана с восточнопрусской аграрной интригой, которая возглавлялась, как известно, обергофмаршалом Августом Эйленбургом. Но все непруссаки были очень рады. Я полагаю, что мы можем быть исключительно довольны результатом. Мы должны быть благодарны: 1) самому Гогенлоэ и его патриотизму, 2) дальновидности Гольштейна, который в свое время поддержал Гогенлоэ и без которого Гогенлоэ едва ли принял бы новый пост. Если Келлер выполнит свои обязанности, т. е., другими словами, если задача ему по плечу, то Гогенлоэ наверное сможет удержаться на своих трех китах: Гольштейне (дипломатия и тончайшее белье внутренней политики), Маршалле (парламент, торговые шутки и черная домашняя работа) и Келлере (администрация и доверенное лицо в прусском министерстве, правда, нуждающееся в реформах). Его тело и дух еще бодры, так что на три года мы без сомнения можем рассчитывать. Но три года — это большой срок. Тогда быть может вам придется заполнить брешь. Как бы я ни желал Вам другой участи, но supremo loco [1], все больше и больше приходят к убеждению, что для высшего поста все же лучше всего подходит дипломат, а кого мы здесь имеем? Однако правление Гогенлоэ может продолжаться и дольше, ему только надо щадить свои силы и ограничить свое личное вмешательство в дела. Несмотря на многочисленных восторженных сторонников, которых он найдет, в особенности в наших кругах, и несмотря на то, что Маршалль и Гольштейн несомненно приложат все усилия, все же недостатка во врагах у бедного Гогенлоэ не будет. Восточная Пруссия, Вальдерзее, императорская главная квартира

[1] В высочайших сферах.

и пожалуй почти весь генералитет, который в случае чего, как стадо баранов, пойдет за своим вожаком, и last not least[1], многоопытный Уллис Микель. Дай только бог, чтобы наши консерваторы поняли дух эпохи. Без них нельзя будет создать большинство, так как базироваться на центре и на либералах значило бы зайти в тупик, в который попала политика Каприви. Хотя это и звучит фривольно, но какой-нибудь социалистический или анархический насильственный переворот может быть привел бы к объединению всех умеренных сторонников сохранения существующего государственного строя, включая часть свободомыслящих и партии центра. И тогда надо будет ковать железо, пока горячо! Тогда можно будет внести в избирательный закон «поправки», но не заменять его другим, так как для этого не оказалось бы требуемого большинства двух третей голосов. Но это все вы при вашей тонкой проницательности и лучшем знании людей понимаете гораздо лучше меня. Дайте нам пока порадоваться солнечным лучам, которые несомненно пробиваются сквозь тучи над нашей родиной. Все общественное мнение в такой степени за Гогенлоэ, что сам бог грома из саксонского леса настраивает «Гамбургише нахрихтен» на мирный лад. Что касается карьеры наших дипломатов, то мне кажется, что сейчас более, чем когда-либо, поскольку Маршалль уже получил так страстно желанный им титул статс-секретаря, представляется случай для Гольштейна. Теперь мы собираем плоды его мудрого руководства иностранными делами (Россия, Англия и пр.). Некоторые наивные люди относят это на счет Каприви, а действительный руководитель незаметно и без всяких почестей стоит в сторонке! Не смог ли бы Фили разъяснить это кайзеру? Но это будет очень трудно. Его величество полагает, что только он сам проводил эту политику. Останется ли при новом царе Вердер послом в Петербурге? Думаю, что при новом положении дел эта задача будет ему не по плечу. Я твердо верю, что новый канцлер сможет удержать нашествие военных на Петербург, так же как он сумел предотвратить наместничество Бото Эйленбурга в Страсбурге. С другой стороны, может быть следовало бы позолотить пилюлю побежденному врагу и предоставить опаснейшему из восточных пруссаков придворному шуту Августу Эйленбургу пост посла, к которому он давно стремится. Кроме него подходящей была бы кандидатура Альверслебена, хотя он и довольно слабохарактерный человек. Как и всякий человек, я немного думаю о себе, и хотя я едва осмеливаюсь мечтать о Брюсселе (*что было бы для меня весьма, весьма желательно*)[2], но во всяком случае мог бы все же надеяться благодаря какому-либо перемещению личного состава уйти с этой моей здешней действительно недостойной должности. Что вы скажете относительно обергувернера Дейнеса? Я говорю это не из личной враждебности, но доверить

---

[1] Хотя и последний, но не менее важный.

[2] Подчеркивания в адресованных мне письмах всегда принадлежат их авторам.

воспитание кронпринца такому ограниченному, одностороннему субъекту — это уже слишком. Неужели его величество так плохо знает своих людей? И вдобавок в его лице мы имеем еще одного злейшего противника Гольштейна, постоянно находящегося под рукой и близко стоящего к императору».

Отрицательные отзывы Монтса о Бото и Августе Эйленбургах, этих двух необычайно умных и сильных волей людях, были несправедливы. Точно так же неправильна и характеристика генерала Дейнеса.

После того как Монтс, в немалой мере благодаря моему ходатайству перед Гогенлоэ, стал посланником в Мюнхене, он писал мне оттуда 24 февраля 1895 г.:

«Получаемые мною из Берлина новости производят нехорошее впечатление. Его величество очень опечален холодностью и отчуждением англичан; ведь ему теперь неудобно будет появиться в Коусе! Поэтому он снова бегает за ними, а следовало бы вести себя прямо противоположным образом! Отправка совершенно излишней депутации лейбгвардейцев, письмо к вышивающей бабушке и устные поручения флигель-адъютанту Арниму к старой горбунье, о которых так же как и об этом письме министерству иностранных дел ничего не было известно. Свое плохое настроение его величество вымещает на консерваторах. Вместо того чтобы итти им навстречу, он к сожалению явно над ними издевается. Как мне говорили, недовольство этих людей, которые фактически являются нашей опорой, возросло до последних пределов. Еврейские коммерции советники очень обижены тем, что на организованном по подписке балу не состоялось торжественного выхода, придворные балы вовсе не устраиваются, потому что его величество хочет наказать берлинское общество за историю с Котце. Короче говоря, картина грустная, а ля Фридрих Вильгельм IV. Хорошо идут дела только во внешней политике. Телеграмму Крюгеру [5] я вполне приветствую. Только бы мы не попятились назад! Политика в Восточной Азии [6] также встречает всеобщее одобрение, как и наша позиция на Золотом Роге [7]. В первую очередь заслуга принадлежит здесь Гольштейну. Конечно без Гогенлоэ он был бы бессилен, но вместе полководец и начальник генерального штаба работают образцово. Неважно только внутреннее положение Германии. В частности в Мюнхене дела идут совсем плохо. Бавария более чем когда-либо стремится к упрочению своей государственной самостоятельности. Мы же то совсем опускаем поводья, то при случае даем волю своей раздражительности. Поведение его величества, который летом в Мюнхене сам открыл перед принцем Людвигом дверцу кареты, а потом не захотел разрешить ему вывесить свой флаг на катере, является типичным. Дом Виттельсбахов сейчас прежде всего обеспечивает себе влияние на армию, настроение которой я должен охарактеризовать как чисто династическое. С отказом от права инспекции мы потеряли всякую власть. На чьей стороне в случае конфликта окажется баварская армия, совершенно ясно. Иллюзии, которые по этому поводу существуют в Берлине,

вызывают у меня только смех. Своеобразно поведение Крайльсгейма. Сообщения Лерхенфельда о хаотическом положении дел в Берлине, видимо, произвели на него такое впечатление, что он теперь держится совершенно независимо. Он очевидно вновь извлек из склада всякого хлама баварскую политику «балансирования». Всюду я сталкиваюсь с его стремлением стать самостоятельным. По отношению ко мне он проявляет больше настойчивости, в то время как его преклонение перед волей короля и клерикальных кругов не имеет границ. Двор — более строптивый, чем когда бы то ни было, взаимные обиды, несмотря на телеграммы вашего превосходительства повсюду отравляют настроение. Лерхенфельд делает все возможное, чтобы раздуть огонь во-всю. В своем кругу он дает обо мне возмущенные отзывы, и не исключена возможность, что в конце концов ему удастся подставить мне ножку, так как его влияние в Берлине очень велико, во всяком случае гораздо больше моего. К счастью Маршалль сейчас, видимо, уже не столь доверчив, как раньше. Если бы мы имели дело только с министерством иностранных дел, то можно было бы урегулировать политику в отношении Баварии, но к сожалению всегда приходится считаться с неожиданностями со стороны высших сфер и никогда нельзя знать, какие факторы здесь оказывают влияние. Бавария является чрезвычайно важным фактором — это краеугольный камень всего германского здания, и всякий шаг требует здесь большой осмотрительности. Превосходно действует правильная бисмарковская политика Гогенлоэ. Я недавно говорил об этом с Швенингером, который сообщил мне, что Бисмарк очень доволен его политикой; сам Швенингер тоже говорил в очень примирительном тоне. Он выразил большое беспокойство по поводу усиления здесь в Баварии партикуляризма, форменного сепаратизма. Так как на юге наши друзья в большинстве своем либеральны, то здесь может привиться лишь умеренно либеральное имперское правительство. Сейчас у нас имеется такое правительство. К счастью его величество снова разбавил водой автократическое вино своих речей. Однако какая-нибудь речь может разрушить работу многих месяцев и даже больше. Если здесь узнают о страданиях его величества по поводу гребных состязаний в Каусе, то все завоеванные благодаря телеграмме Крюгеру позиции будут потеряны нами в одно мгновение. Тогда Лерхенфельд пустит в местные национальные газеты свои лживые измышления. Самую значительную «Münchner neueste Nachrichten» я так выдрессировал, что она очень осторожно обращается с сомнительными берлинскими сообщениями и в случае чего советуется со мной. Но все каналы нельзя закупорить. Говорят, что Лерхенфельд очень ловко агитирует против гражданского кодекса. Я мало надеюсь на то, что он будет принят еще в эту сессию. Положение наших союзников также довольно безотрадное. Финансовое ослабление Италии внушает мне большие опасения. Пятьдесят тысяч человек в Африке — это слишком большое бремя для бедного итальянского государства. А в

Австрии! Возобновление таможенного и торгового союза сотрясает весь старый сарай. Кроме всего этого предстоит крах в Венгрии. Авторитет наших друзей в Австрии все больше идет на убыль. В Венгрии у нас собственно вовсе нет друзей; в глубине души мадьяр ненавидит немца почти так же сильно, как московита. А что будет с Болгарией? Очевидно Лобанов хочет пока оставить бедного Кобурга in suspenso, так как он едва ли сможет найти более услужливого сатрапа[8]. В дальнейшем старая шарманка опять заведет свою песню, а оба жернова — самолюбие болгар и самомнение русских — раздавят Фердинанда так же, как раздавили Александра. Пока мы видим повсюду, не говоря уже о Египте, Японии и т. д., зародыши осложнений. Несколько преувеличенно демонстрируемая нами любовь к миру в условиях суровой действительности едва ли принесет нам пользу, так как мы еще далеко не насыщены (saturiert); в конце концов мы с вечной свирелью мира подмышкой превратимся в посмешище честолюбивых соседей. Однако найти здесь золотую середину очень трудно. Ведь речь прежде всего идет о том, чтобы бросить Англию в огонь. Если при этом поддержка России и Японии будет нам твердо обеспечена, то можно будет во славу божию напасть на Францию. Ведь без этого мы никогда не будем иметь покоя, без внешней войны мы никогда не сможем освободить Германию от ее теперешней конституции, совершенно неприемлемой для более длительного периода времени. С таким рейхстагом и при партикуляризме составных частей (империи) все пойдет прахом. Да хранит вас бог. Передайте мой привет вашей глубокоуважаемой супруге. Всегда ваш благодарный, преданный Антон Монтс».

В свое время Монтс восторженно приветствовал телеграмму его величества президенту Крюгеру и мечтал, чтобы Вильгельм II поскорей опять наступил англичанам на их любимую мозоль. Данная им оценка положения в Баварии и ругань по адресу Крайльсгейма, Лерхенфельда, престарелого принца-регента и принца Людвига не делала ему чести как политическому деятелю. Сомнения графа Монтса в национальном самосознании и преданности баварской армии, которая во время мировой войны с первого до последнего дня храбро и самоотверженно защищала интересы империи, оказались опровергнутыми историческими фактами.

О своих впечатлениях во время одной из поездок в Берлин Монтс сообщил мне 20 мая 1895 г.:

«Маршалль пока остается, хотя он сам проявляет полную покорность судьбе. Вам конечно известно, что Гольштейн в случае немедленного ухода Маршалля хотел поднять вопрос об отставке кабинета. Но, с другой стороны, он не будет возражать против перемен в будущем, если того пожелает его величество. Я все же надеюсь, что буря уляжется. Однако аптекарь Луканус, так же как и настроенная в духе Бисмарка военная челядь императора, занимается подстрекательством против «прокурора». Очень большого внимания заслуживает буйство аграриев. Гоген-

лоэ сказал мне, что к их проектам он относится совершенно отрицательно. Маршалль к сожалению имеет биметаллистическую жилку. Если бы аграрии были лучшими политиками, они наверное сумели бы уломать кайзера. А сейчас Маршалль стоит, как утес среди прибоя. К сожалению под него подкапываются дворянство, двор и самая влиятельная часть нашей бюрократии. Даже такие умные люди, как Лео Буш, совершенно заметались с проектом Каница [9]. Тон консерваторов в рейхстаге становится все более и более раздражительным. В казино Мирбах-Сорквиттен каждый вечер проповедует в кружке микроцефалов. Как мне сообщили из хорошо информированного источника, социал-демократы сейчас находят себе все большее и большее количество приверженцев в среде мелких чиновников, письмоносцев, канцелярских служащих. Надеются, что они постепенно превратятся в леворадикальную партию. Интересно, что уже сейчас социал-демократические депутаты во многих вопросах являются прямой опорой правительства. Трудолюбие и добросовестное отношение к делу этих представителей народа многим давало повод к невыгодным для консервативных депутатов сравнениям. Что вы скажите относительно назначения Билля Бисмарка обер-президентом в Кенигсберге? Я с ним говорил. Он, видимо, очень доволен. На публику это производит весьма хорошее впечатление. Как я достоверно узнал, от этой должности кроме Августа Денгофа отказался также и эксминистр Бото Эйленбург. Келлер не производит на меня хорошего впечатления. Беттихер сильно сдал. В министерстве очень недовольны Шенком, его хотят заменить Хейкингом, который для Каира оказался слишком деятельным. В Буэнос-Айрес же назначается homo novus, некий Мюллер-Рашдау...»

О втором, кратковременном посещении Берлина Монтс писал мне 24 марта 1896 г.:

«Его ве́личество поздоровался со мной на ходу, но с канцлером я имел продолжительную и подробную беседу. Все тот же старый, ясный, спокойный и бесстрастный ум. Он лишь немного жалуется на кайзера и тяжелое бремя своих обязанностей. В министерстве полностью распоряжается Гольштейн. Его трудоспособность достойна удивления, но его нервозность и обидчивость к сожалению возрастают. Взаимоотношения Гольштейна с Александром Гогенлоэ, вторым по влиятельности лицом в министерстве, опять наладились, хотя последний благодаря своей несколько преувеличенной беспечности и слишком явно выраженному пренебрежению к «мандаринам», видимо, нажил себе, а тем самым и своему отцу, многих врагов. Мумм (экстрасухой) [1] путешествовал по Нилу, Пургалес слишком увлекается обедами и своим собственным величием, Клемет трудолюбив, как пчела, но в высшей степени посредственный человек. Ротенган как будто бы проявляет стремление к самостоятельности, но никто не

[1] Мумм — известная марка шампанского.

принимает этого всерьез. Пока он считает дни старого Отто Бюлова, чтобы после него окончательно забрать в свои руки дела при Ватикане. У Маршалля очень приподнятое настроение в связи с его парламентскими успехами. Каковы сейчас его взаимоотношения с Гольштейном, я к сожалению не смог выяснить. Гольштейна очень подавляет неблагосклонность императора. Вот то, что касается министерства. Гораздо менее благоприятное впечатление производят на меня другие стороны берлинской жизни.

Общество представляет собой картину разложения, многочисленные неразумные поступки императора приносят сейчас свои плоды. Кроме придворной челяди и состоящих при нем военных у него к сожалению нет настоящих друзей, да и эти хороши. Благодаря пристрастному (неодинаковому) отношению к князькам он потерял и последние остатки симпатии высшего дворянства. Мелкое аграрное дворянство, и так уже сильно озлобленное, еще более обижено невниманием, проявляемым императором в обществе. Еврейские коммерции советники оскорблены реакционными тенденциями и религиозным ханжеством. Чиновничество также не может процветать, когда таких людей, как Беттихер, продолжают держать у власти и открытое сопротивление мероприятиям правительства находит тайную, но сильную поддержку у различных влиятельных реакционных лиц в Берлине.

И все же сейчас, как и раньше, среди берлинских тайных советников имеется много превосходных людей, которым только начальство и парламентаризм обрезали крылья.

Наконец нехорошо настроение военных кругов. В гвардии всем кажется, что они служат только игрушкой. Способности высшего руководства вызывают многочисленные и серьезные сомнения. Офицерский корпус в большинстве своем живет выше своих средств. Яд социал-демократии все больше проникает в массы рядовых солдат. О парламентских неприятностях я могу вам не рассказывать. Я часто встречаюсь со старыми друзьями по консервативной партии и в ужасе от их образа мыслей, в особенности самых умных из них, как Лео Буш, Гейдебранд и др. И здесь ясно выступает открытая антипатия к его величеству. Вашего бывшего военного атташе Энгельбрехта я также видел. Он, видимо, в очень плохом настроении и покорился судьбе. Надеется на бригаду, а затем на скорую отставку с хорошей пенсией. Из всех этих неприятностей, на фоне которых конечно очень выгодно выделяется примирительная внутренняя политика Гогенлоэ, которую не следует недооценивать, с моей точки зрения вытекает необходимость быть всюду очень осторожным. До тех пор пока Гогенлоэ и Гольштейн крепко держат бразды внешней политики в своих руках, мы сможем еще хорошо лавировать, несмотря на случайные вмешательства императора. Но что будет дальше? При дворе и в обществе все еще говорят о государственном перевороте. Когда возражают, что это было бы концом империи, то следует ответ: тем лучше, тогда мы опять будем иметь великую Пруссию

с тридцатью пятью — сорока миллионами ненадежного населения вместо империи, в которой на десять — двадцать миллионов больше. Слава богу, его величество настроен всецело в немецком и имперском духе. В отношении абсурдного биметаллизма, проекта Каница и т. д. он также занимает совершенно отрицательную позицию. Фили Эйленбурга я видел в Берлине, к сожалению очень переутомленным и несчастным; в прошлое воскресенье я опять его встретил, слава богу, уже значительно посвежевшим и поздоровевшим. Ваш всегда преданный Антон Монтс».

ГЛАВА III

Я уже говорил о том, какое сильное впечатление производила на меня личность Вильгельма II, его живой и оригинальный ум, его любезность и доброта, в тех редких случаях, когда мне раньше приходилось соприкасаться с ним по делам службы.

Теперь положение изменилось. Мне предстояло непосредственно соприкасаться с императором в прозаической повседневной политической работе, предупреждать его слишком быстрые, скороспелые решения, исподволь направлять его на путь известного постоянства. По одному более позднему письму Монтса, в котором он высказался по поводу чрезвычайно неудачной речи, произнесенной Вильгельмом II 22 марта 1897 г. на торжественном обеде Бранденбургского ландтага, я убедился, как трудно будет справиться с этим необычайно способным, но становящимся все более и более самовольным, а подчас совершенно безудержным правителем. Эта речь по своей бестактности превзошла все предыдущие ораторские достижения его величества. После напыщенной хвалы своему деду, «который был бы причислен к лику святых, если бы он жил в средние века и над останками которого в те святые времена вереницы пилигримов из всех стран творили бы молитвы», Вильгельм II заявил, что, по милости божьей, его дед был окружен несколькими честными советниками, которые имели честь приводить в исполнение помыслы своего суверена, этого могущественнейшего человека и великого государя. Однако по сравнению с ним самим эти советники были лишь пигмеями, исполнителями высочайшей, всемилостивейшей воли. Вильгельм II закончил свою речь призывом «всеми средствами бороться против революции, которую уже не останавливает больше вид святого, великого государя». Того, кто читал и слушал эту речь, должно было сильно удивить, что тот же самый монарх, который обратился с подобным воззванием к своим бранденбуржцам, несколько лет назад дал отставку самому ярому противнику всех революционных стремлений князю Бисмарку.

О впечатлении, которое эта речь произвела в Мюнхене, Монтс весьма правильно писал мне: «Недавно высказанные мною опасения по поводу юбилейной речи императора оправдались в такой степени, что это превзошло все мои ожидания. Наши

враги [10] почти не считают нужным скрывать свою радость, лицемерно пожимая плечами по поводу высочайшего оратора, который, собственно говоря, уже невменяем. Национальные круги похожи на вспуганный птичий двор. Образованный южногерманский политик и клерикал возмущены обычной для его величества фальсификацией истории и характеристикой Мольтке и Бисмарка как исполнителей воли великого государя. Выпад против социал-демократии все так же находят очень бестактным. Относительно «причисления к лику святых» (хорошая метафора в устах государя протестантского вероисповедывания!) независимая клерикальная мюнхенская «Vaterland» замечает, что если бы народ стал ходить на богомолье к останкам всех немецких императоров, то ему конечно благодаря этому жилось бы гораздо лучше. Куда мы идем? Маленький, зыбкий, еще не сросшийся с материком клочок земли, на котором держится представитель империи в Баварии, становится все меньше. Сильный поток вроде бранденбургского словоизвержения может окончательно его смыть. Тот козырь, который мы имели здесь в лице покойного, всеми уважаемого императора, сейчас потерян, так как Вильгельма Великого здесь никто не хочет признавать. Простите, если я к вашим многочисленным заботам о «критской пороховой бочке» присоединяю еще этот hors d'oeuvre» [1].

4 июля 1897 г. Монте писал мне: «Ваш замечательный и очень проницательный брат Альфред — я хочу здесь особенно подчеркнуть, что Альфред является и останется и в будущем одним из наших лучших людей, — вероятно уже сообщил вам о моей точке зрения на положение дел. Я хотел бы лишь в связи с внутриполитическим положением Германии напомнить о словах покойного графа Евгения Кинского, который на предложенный ему однажды в Вене вопрос, как же поступит в критический момент венское правительство, ответил: «Разве я знаю, что будет самой большой глупостью». Вы не живете в Германии. Несмотря на всю вашу дальновидность и обширные связи, вы едва ли можете себе представить вполне правильную картину недовольства умов, в особенности здесь, на юге. Единственно отрадным является то, что общность материальных интересов настолько велика, что предохраняет от окончательного развала. Но это и единственно хорошая сторона положения. Император довел антипатию к нему лично до такой степени, которая внушает большие опасения; настолько большие, что дом Виттельсбахов, как это ни странно, предлагает в отношении императора принять во внимание некоторые смягчающие обстоятельства. Речи и жесты принца Людвига также очень типичны. Здесь проявляется чувство солидарности государей и понимание ими того, что если падет Берлин, то распадутся карточные домики монархий и здесь, в Мюнхене, Штутгарте и Грейце. При этом здесь прекрасно осведомлены о состоянии психики императора. Я не верю, чтобы его положение было

[1] Добавочное блюдо, приправа.

таким серьезным, как думают пессимисты, но у меня создалось впечатление, что опасность носит затяжной характер — это подтверждается моими последними наблюдениями». (При свидании с императором наедине в Берлине Монтс нашел его любезным и достаточно благоразумным.) «Потом пришло много народу. Император начал рисоваться, сделался непонятным и неприятным, проявил свою idée fixe, манию преследования в отношении Бисмарка, переоценку старого Вильгельма и пр. Что бы ни говорили, но здесь-то и зарыта собака. Вы себе не представляете, чего только здесь ни услышишь. Из намеков некоторых врачей я понял, что они считают императора пока еще излечимым, но полагают, что эта возможность с каждым днем уменьшается. Фили таких вещей не надо рассказывать, его как чувствительного человека не следует посвящать в подобные размышления, кроме того он вопреки всякой очевидности верит (как мне кажется, искренне), что во всех этих слухах нет ни слова правды. Моя единственная надежда только на самого императора. Может быть он все же как-нибудь поймет и почувствует, что с ним происходит и куда он ведет свое отечество. Если бы он был окружен честными людьми, то, принимая во внимание высокую интеллигентность его величества и частые спокойные и ясные минуты, психологический перелом уже давно должен бы был наступить. Но повидимому излишнее тщеславие и большое количество людей, находящихся под обаянием его личности, могут быстро заглушить хорошие побуждения. Частые переезды с места на место, жизнь от одного торжества до другого, поддерживание знакомства со всеми без разбора не дают возможности внутренне проверить себя. Несмотря на это, я все же уверен, что один год спокойной деревенской жизни при выполнении лишь самых необходимых обязанностей по представительству вновь мог бы восстановить душевное равновесие императора. Если же его величество не решится на этот шаг, то я предвижу непродуманную политику насилия, государственные перевороты, которые в своем хаотическом развитии ударят по их же инициаторам и будут иметь результатом падение императора Вильгельма II. Вместе с тем будет конечно много потеряно как в международных отношениях, так и внутри страны. Плавание против течения сбило в конце концов с пути даже Каприви и его адъютанта Эбмейера. Нация, которой так легко управлять, как ребенком, как ни одним другим народом в мире, больше не позволяет вести себя на поводу у абсолютного монарха, юнкеров и попов. Немец хочет спокойно пользоваться гражданской свободой, причем он охотно признает над собой сильную монархическую власть. А внутреннее положение было бы так благоприятно! Социал-демократ превращается в радикального филистера, его вожди в неменьших разногласиях между собой, нежели корифеи центра. Жадность консервативных аграриев превосходит только их ограниченность. Можно было бы понемногу, посредством divide et impera и без всяких уступок всего добиться от народа, а у нас всегда делается все

обратное тому, что ведет к цели! Этот новый закон о союзах! Как старый Гогенлоэ мог дать на это свое согласие, мне пока неясно, так как в течение некоторого времени я не получаю информации. И потом этот носорог, этот Рекке, да он еще гораздо хуже Келлера. Его выступление было прямо-таки плачевным. Другую красивую песню я мог бы вам спеть о втором «обещании» канцлера, по вопросу об уголовном процессе. Самое худшее — это то, что взгляды так называемого берлинского правительства постоянно меняются в зависимости от смены вдохновителей. Два раза Баварии даровали верховный суд и два раза его у нее отнимали. Патриоту остается действительно только закрыть глаза. Человек с ясным умом видит пропасть, к которой мы идем, но он ничего не может изменить. Так ведь думает и Гольштейн. Между тем в Германии в связи с вмешательством императора во внешнюю политику уже довольно широкие круги стали понимать, как прекрасно преемники великого канцлера исполняют свои обязанности в специально предназначенном для этого учреждении на Вильгельмштрассе. Я мог это констатировать с достоверностью. Только этим можно объяснить, что всеобщее разочарование в законе о союзах, которое, несмотря на ландратов, охватило широкие круги консерваторов, не разрядилось в форме резких нападок на старого канцлера. Гогенлоэ щадили все, относительно меньше всех щадила его «Kreuzzeitung»[11] с ее печальной аграрной свитой. Точно так же до сих пор никто кроме лживых интриганов не требует выполнения второго обещания. Так что я почти надеюсь, что мы достигнем трехлетия канцлерства Гогенлоэ. Но что же дальше? Альфред вероятно рассказал вам, какую глубокую злобу питает его величество к Маршаллю и как Альфред и я настоятельно убеждали Фили, чтобы он оказал против этого противодействие. Фили обещал. Он прекрасно понимает незаменимость Маршалля в данный момент. Но если уйдет Маршалль, уйдет и Гольштейн, а также вероятно и Гогенлоэ, который сейчас с полным основанием сожалеет, что он пожертвовал Бронсартом и не останется без Маршалля. Utinam dii immortales hanc rem bene vertant [1], можем мы сказать. Надеюсь, что увижу вас этим летом. Да хранит вас бог. Передайте мой привет вашей милой, доброй жене. Всегда ваш преданный Антон Монтс».

Информация Монтса о политическом положении давала мне картину положения дел в Германии, если в некоторых деталях, а в особенности в оценках, и не совсем точную, то все же свидетельствующую о тонкой наблюдательности. С точки зрения выполнения предстоявшей мне задачи эта картина была мало утешительна. И что хуже всего, сведения Монтса в основном совпадали с тем, что мне говорили и писали Герберт Бисмарк и Фили Эйленбург, которые хотя и исходили из разных точек зрения, но в конечном итоге приходили к одинаковым выводам. Все то, что они оба мне сообщали относительно быстро угасаю-

[1] О, если бы бессмертные боги обратили это дело на благо!

щего ореола императора, а тем самым к сожалению и короны, о сильно подорванном авторитете правительства, настроении всеобщей неуверенности и недовольства в Германии, с излишком подтверждало те опасения, которые волновали меня еще со времени отставки князя Бисмарка, отставки, проведенной в чрезвычайно непочтительной, грубой и бестактной форме, о чем я в письме от 2 марта 1890 г. из Бухареста тщетно предостерегал Фили Эйлепбурга. «Я мрачно смотрю на будущее», — сказал князь Бисмарк еще в марте 1891 г. госпоже фон Шпитцемберг, жене вюртембергского посланника в Берлине, которая в течение многих лет была в дружбе с Бисмарком и его женой и впоследствии рассказывала мне об этих словах князя. «Самое опасное в характере императора — это то, что он легко поддается всем мимолетным воздействиям и не доступен ни для какого более устойчивого влияния. Он стремится всякое свое желание немедленно претворить в действие, что исключает какое бы то ни было постоянство. К тому же император страдает отсутствием чувства справедливости и верного глазомера. Он не только не уважает, но и не понимает прав других и всегда бьет мимо цели». Так говорил князь Бисмарк госпоже Гильдегард фон Шпитцемберг через год после своей отставки.

Я должен был посвятить свои мысли в первую очередь вопросам внешней политики, руководство которой мне предстояло принять на себя. Оставленное мне Маршаллем наследство было не из приятных и не из легких. Отказавшись возобновить заключенный Бисмарком договор «перестраховки», мы сильно восстановили против себя Россию и тем самым бросили ее в объятия Франции. Англия была глубоко оскорблена телеграммой Крюгеру, а Япония — изобретенным Гольштейном восточноазиатским тройственным союзом. Это в меньшей степени относилось к английскому правительству и руководящим государственным деятелям Японии, нежели к широким массам английского народа и японской интеллигенции. Бестактные заигрывания императора [12] не привели к примирению с Францией, в то время как союз с Россией чрезвычайно усилил самоуверенность французов, а вместе с самоуверенностью и надежду на великий реванш. Прислушиваясь к мирному шуму Фрошницбаха, я изучал положение на международной шахматной доске. Я вскоре понял, что решающая для нас точка находится на берегах Невы. Еще Фридрих Великий писал в своем завещании: «Из всех соседей Пруссии самым опасным является Россия как по своему могуществу, так и по географическому положению. Правители Пруссии после меня будут иметь достаточно оснований поддерживать дружбу с этими варварами». Во время семилетней войны великий король спасся в критический момент только благодаря тому, что в Петербурге вступил на трон новый царь. Наш рост и освобождение после Иены стали возможными лишь благодаря тому, что Фридрих-Вильгельм III, королева Луиза и князь Гарденберг даже из-за тильзитской трагедии не пошли на то, чтобы порвать нить,

связывающую Потсдам с Петербургом. В последние годы царствования Фридриха-Вильгельма III, а в особенности при Фридрихе-Вильгельме IV, нервной чувствительности которого противостояла грубая сила императора Николая и блуждающей фантазии которого импонировала прямолинейная жестокость царя, мы впали в не совсем достойную зависимость от нашего восточного соседа. Но Бисмарк смог добиться освобождения эльбских герцогств в 1864 г., отделения Австрии от Германии и прусской гегемонии в Северной Германии в 1866 г. лишь потому, что он с гениальным равнодушием к чувствам людей с самого вступления на свой пост благодаря правильному отношению к польскому вопросу сумел обеспечить себе тыл со стороны России. В области германо-русских взаимоотношений он только один раз допустил большую ошибку. Кто же непогрешим? Кому удается все? На Берлинском конгрессе 1878 г. Бисмарк плохо отнесся к русскому канцлеру Горчакову, который внушал ему антипатию своим тщеславием и подчеркнутыми парижскими манерами. Это привело к тому, что Горчаков начал настраивать против Германии императора Александра II и русскую «интеллигенцию». В 1879 г. под ложным впечатлением, что царь в Александрове пытался восстановить императора Вильгельма I против его великого министра, Бисмарк слишком быстро и слишком стремительно провел в жизнь союз с Австрией. Однако, после того как ошибки уже были совершены, князь приложил все усилия своего изобретательного и гибкого ума, чтобы оздоровить испортившиеся отношения с Россией. В этом деле он нашел полное понимание и поддержку со стороны своего старого государя, который на смертном одре завещал своему внуку и наследнику: «С Россией поддерживай только хорошие отношения, это принесло нам много пользы». В этих словах звучал не только опыт десятилетий, в них звучала вся история Пруссии.

Император Вильгельм II под влиянием Каприви, Маршалля и last not least Гольштейна отказался от возобновления договора «перестраховки», несмотря на то, что после отставки Бисмарка он лично заявил русскому послу Шувалову, что договор будет нами сохранен в силе. Отказ последовал в очень оскорбительной и бестактной форме. Расторжение договора, как предвидел и предсказал Бисмарк, автоматически повлекло за собой франко-русский союз. Этот союз с течением времени сблизил оба народа и настолько вошел у них в плоть и кровь, что о разрыве нечего было и думать. Подавляющее большинство французов боялось войны, но Эльзас и Лотарингия, Метц и Страсбург не были забыты. Лишь немногие избранные умы видели красивый сон о всеобщем примирении народов и о вечном мире. «Qui dit alliance russe, dit revanche»[1], — сказал в восьмидесятых годах прошлого столетия один боявшийся войны депутат председателю лиги патриотов Полю Деруледу. Последний ответил,

[1] Союз с Россией означает реванш.

успокаивая боязливого депутата: «Qui dit alliance russe, dit sécurité de la France»[1]. Большинство французского народа видело в союзе с Россией если не единственную, то все же очень важную гарантию против нападения Германии. Нечего было и думать, что Россия откажется от этого союза и отвернется от Франции. Ни одно русское правительство не осмелилось бы, да еще при таком слабом государе, как Николай II, расторгнуть союз с Францией. Таким образом нам ничего не оставалось, как в рамках этого союза и невзирая на него поддерживать с Россией такие отношения, которые предохранили бы нас от столкновения с ней. Это было вопросом дипломатического такта и ловкости. «На западе кипяток может пролиться через край, но я не думаю, что мы подвергнемся нападению с востока, если только наша дипломатия проявит ту ловкость, на которую она способна», — сказал 10 июля 1892 г. старик в Саксонском лесу делегации почитателей из Вюртемберга.

Сохранение мирных и дружественных отношений с Россией было возможно лишь при условии тщательного внимания и стремления избегать тех действий, которые могли бы вызвать неисправимое обострение наших взаимоотношений с ней. Мы должны ясно дать понять России, что не хотим и не можем пожертвовать ей Австро-Венгрию. Но Россия всегда должна оставаться под впечатлением, что ведущая роль в Австро-германском союзе принадлежит Германии и что германская политика честно стремится поддерживать хорошие взаимоотношения в духе императора Фридриха Великого и Бисмарка. В особенности у России не должно возникать никаких сомнений в том, что, несмотря на наши экономические интересы в Турции, в дарданельском вопросе мы не будем чинить ей препятствий. В этом чрезвычайно чувствительном для России вопросе мы не должны выступать против нее, а должны предоставить это другим. Открытие доступа для русских военных судов в Дарданеллы в общем не угрожало дальнейшему существованию Турции, но возможность появления русского флота в Средиземном море могла бы быть нежелательной для Франции, Италии и Англии; для нас же это было безразлично. Далее, мы должны не только на словах, но и на деле доказать России, что мы хорошо сознаем свою солидарность с ней в польском вопросе и далеки от мысли козырять против России польской картой. Один французский историк, который избрал своей специальностью как прусско-русские, так и русско-французские отношения, Альберт Вандаль, пустил в ход словечко, что раздел Польши был той «кровавой колыбелью», в которой родилась русско-прусская дружба. Наконец в Петербурге необходимо постоянно в соответствующей форме подчеркивать те династические интересы, которые объединяют оба правительства и оба государства в борьбе против революционной опасности. Для дальновидного человека было ясно, что чем бы ни окончилась

[1] Союз с Россией означает безопасность Франции.

война между обоими северными государствами, расплачиваться за нее по всей вероятности придется династиям.

Взаимоотношения с Англией также имели для нас чрезвычайно важное значение. Англия не стремилась, как это делала Россия, поразить в корень германский дуб. Но она могла бы сорвать много хороших веток и уничтожить красивую листву. Она могла бы отнять у нас колонии, разрушить наше судоходство и торговлю и тем самым уничтожить миллиардные ценности. Я всегда был убежден, что, до тех пор пока мы сумеем сохранять дружественные отношения с Россией, Англия никогда на нас не нападет. Но я никогда не сомневался и в том, что при нашем столкновении с Россией английская политика, которая с почти безошибочным инстинктом действует так, как этого требует польза Англии, в случае русско-германской войны не преминет воспользоваться этим обстоятельством, чтобы уничтожить могущественнейшее государство на континенте и традиционного противника Англии, прежде всего являющегося ее величайшим соперником в мореплавании и торговле. Как раз летом 1897 г. в больших английских газетах появились выпады против Германии, которые нельзя было рассматривать как проходящие настроения и простую бумажную шумиху, так как в них проявлялось то английское самомнение, твердость, непоколебимость и реализм, которые в конечном счете всегда определяли собой внешнюю политику Англии. Когда в восьмидесятых годах германская промышленность стала развиваться сильнее, чем это было желательно английским монополистам, рядовой англичанин начал проявлять беспокойство. Телеграмма Крюгеру от 3 января 1896 г. сорвала ту дружественную завесу, которая до этого маскировала в действительности уже давно не очень сердечные отношения между обоими германскими кузенами. К моменту моего назначения руководителем внешней политики положение германского народа по отношению к английскому было совершенно ясно. Бесконечно трудная задача, стоявшая перед нами, заключалась в том, чтобы довести строительство флота, необходимого нам для защиты тех миллиардных ценностей, которые мы доверяли морю, до такой мощности, при которой нападение на нас являлось бы уже серьезным риском для нападающей стороны, но в то же время не допускать, чтобы строительство флота повлекло за собой войну с Англией.

Наши отношения с Италией в 1897 г. в глазах итальянцев потеряли уже частицу своего первоначального блеска. Когда Бисмарк и после него Каприви — Гольштейн холодно отклонили пожелание Криспи о скорейшем серьезном расхождении Германии с ненавистной в то время Италии Францией [13] итальянцы постепенно начали понимать, что с точки зрения немцев Тройственный союз является скорее страховым обществом, нежели объединением, имеющим своей целью приобретение новых ценностей. Итальянцам также стало ясно, что им придется отказаться от своих планов расширения территории как в северной части

полуострова, на берегах Адриатического моря, так и на западе и на северном побережье Африки. Неудачный исход абиссинской экспедиции и тяжелые последствия начатой Крисни торговой войны с Францией для многих итальянцев явились дальнейшими уроками, из которых они усвоили, что плохие отношения с великой латинской нацией имеют и для них свои теневые стороны. Итальянец — реальный политик. В общем и целом итальянский народ вместе с английским является политически наиболее одаренным среди европейских народов — идет ли речь о монсиньорах, которые из величайшего и древнейшего дворца в мире — Ватикана — управляют международным аппаратом католической церкви, или о министрах, которые на другом берегу Тибра руководят внешней политикой объединенного итальянского королевства. Наше поведение в отношении Италии должно быть осторожным, тактичным и гибким; необходимо с тщательным вниманием соблюдать все тонкости внешнего обращения, что особенно важно именно в этой стране, где так ценится «gentilezza» [1].

Определенное ухудшение нашего международного положения после ухода князя Бисмарка замечалось в отношении Японии. Это положение еще более обострилось благодаря неудавшемуся эксперименту Гольштейна с созданием восточноазиатского тройственного союза, и быть может здесь сыграла немалую роль злосчастная картина императора, которую он снабдил надписью: «Народы Европы, охраняйте ваши священные ценности». Никто не понимал, каким образом священным ценностям европейских народов могло угрожать кроткое учение Будды. Но Вильгельм II со свойственным ему при всем его непостоянстве упорством так помешался на этой мысли, что даже отдельные японцы стали внушать ему отвращение. Несмотря на представления, делавшиеся как мною, так и другими, он лично плохо относился к японским дипломатам и военным; он заставил директоров акционерных обществ — Гамбург-Америка [14] и Северогерманского Ллойда [15] — Валлина и Виганда, которых он, вообще говоря, очень уважал и отличал, повесить эту свою странную картину на всех судах, отплывающих на Дальний Восток, к великой радости англичан, которые до последних дней царствования императора извлекали немалые выгоды из этого оскорбления, нанесенного нами чувствам японцев.

Общий итог изучения мирового положения, к которому я пришел в моем уединении, сводился к тому, что драгоценнейшее благо германского народа — почетный мир может быть сохранен и при постройке нами флота, необходимого для нашей защиты и безопасности. Этой черты нельзя было переступать ни на иоту, но до этого предела мы сможем итти вперед, если наша политика будет вестись с постоянством, мужеством, решительностью, но также и с осторожностью, тактом и, что не менее важно, с ловкостью.

---

[1] Вежливость, тонкость обращения.

Хотя деятельность статс-секретаря иностранных дел в общем и ограничивается областью внешней политики, я все же придерживался того мнения, что разумная и здоровая внешняя политика возможна лишь при правильной оценке внутренних сил и в согласии с течениями и идеями, которые руководят нацией. Поэтому я стремился в те спокойные дни по возможности уяснить себе и наше внутреннее положение. То неприятное и недовольное настроение, которое царило в Германии со времени отставки князя Бисмарка в первой половине 1897 г., теперь получило новую пищу. На торжественном обеде Бранденбургского провинциального ландтага 26 февраля 1897 г. император произнес уже упомянутую мною более чем эксцентрическую речь. В этой речи император сделал и много других ошибок: он спутал сэра Фрэнсиса Дрэка с Бальбоа и Тихий океан с Атлантическим. Подобные маленькие ляпсусы нередко случались с ним в пылу красноречия. Когда на этот раз царственный оратор закончил свою речь, преданные и добросовестные флигель-адъютанты начали перебегать от стула к стулу с просьбой ко всем хранить молчание об «острых» моментах речи. Эта просьба и была выполнена почти всеми присутствующими; но достаточно было наличия одного нескромного гостя, как потом утверждали, либерального депутата, чтобы резкие выражения монарха стали достоянием широкой публики. Общее впечатление от этой речи было плачевным. Со всех сторон раздавались жалобы, что если так будет продолжаться дальше, то наследство, во владение которым вступил Вильгельм II, — это огромное богатство, состоящее из уважения, доверия и популярности в народе, которое длинный ряд прусских королей, а в особенности Вильгельм I оставили правящему в настоящее время молодому государю, — в самом скором времени будет им растрачено. Наиболее резко бранденбургская речь критиковалась в консервативных кругах. Генерал-адъютант граф Карл фон дер Гольц, которому было за восемьдесят лет и который полвека близко стоял к Вильгельму I, высказал мне свое мнение следующими словами: «Император хочет почитать своего деда и вознести его на большую высоту. Но если бы старый государь встал из гроба и прочел бранденбургскую речь, то со своим домороссенным, но здравым человеческим рассудком он сказал бы своему внуку, грозя ему указательным пальцем: ну, Вильгельм, видно, ты рехнулся». Друзья императора, некоторые по убеждению и из хороших побуждений, другие только из эгоизма и той склонности к лести, которая, с тех пор как существует мир, будет цвести пышным цветом при всех дворах, а после 1918 г., хотя и в более грубой форме, существует также и в окружении республиканских правителей, объясняли речь его величества той болью, которую императору причиняла мысль, что его дед был слишком отодвинут на задний план своим ближайшим советником. Имея справедливое желание защитить столь высокопочитаемого и горячо любимого им деда от недооценки, император быть может и сказал несколько слов невпопад. Настоящую

выгоду из этой речи извлекли социал-демократы и до известной степени свободомыслящие, которые также не преминули воспользоваться случаем, чтобы на этой новой, чересчур эксцентричной речи нажить себе капитал.

Сам император был настолько потрясен неудачей своей речи, которая от него не могла быть скрыта, что в первый раз за все время его царствования с ним случился нервный припадок и он поехал отдохнуть на несколько дней в охотничий замок Губертусшток. Он как раз рассчитывал на успех этой «сильной» речи. Речь императора сделалась предметом насмешек, что никогда не могло бы случиться ни при Вильгельме I, ни при его сыне. Весь Берлин смеялся над анекдотом, что на Фридрихштрассе один венгерец, который, как это часто случается с его соотечественниками, путал по-немецки «der» и «das», спросил полицейского: «Wo ist der Brandenburger Tor?» [1], на что бравый шуцман якобы ответил: «Если вы еще раз осмелитесь пошутить над его величеством, вы будете арестованы! Поняли?» Центром всех этих насмешек и злословия являлся издаваемый Гарденом журнал «Zukunft», который при Вильгельме I не мог бы существовать, не говоря уже о том, что при нем он не завоевал бы такого широкого круга читателей, да еще вдобавок в «высшем» обществе.

Незадолго до моего вызова в Киль большой английский еженедельный журнал «Сэтердей ревью», повторяя властные и завистливые слова Катона, провозгласил миру свое «Ceterum censeo — Germaniam esse delendam» [2].

В то же самое время член имперского суда Отто Миттельштедт, наблюдавший развитие социал-демократического движения, издал книгу «Vor der Flut» [3], которая была криком страха и отчаяния. Но выше всех этих угрожающих явлений стояла для меня осознанная в результате беспристрастного изучения внешнего и внутреннего положения и сосредоточенных размышлений необходимость сохранить нашему народу в мире и уважении созданную Бисмарком монархию; это представлялось мне возможным, несмотря на все подводные камни и мели. Я вспоминал прекрасные слова моего любимого Гомера, с которыми славный Гектор обращается к своему вознице Полидамасу, когда последний, испуганный сулящим несчастие полетом птиц, просит Гектора оставить поле битвы:

> Я не гляжу на них, меня не тревожит,
> Летят ли они направо, к свету солнца
> Или же влево, в ночную тьму.

Для меня существовало лишь одно — спасение отечества! Я молил бога послать мне силы и уменье в моей работе и в конце июля возвратился в Германию.

---

[1] Непереводимая игра слов: das Brandenburges Tor — бранденбургские ворота в Берлине, der Brandenburger Tor — бранденбургский дурак.

[2] Все-таки я полагаю, что Германия должна быть уничтожена.

[3] «Перед наводнением».

ГЛАВА IV

3 августа 1897 года я вновь предстал перед императором в Киле.

Император спросил меня с открытым и располагающим к себе выражением лица, свойственным ему при хорошем настроении и когда его собеседник был ему симпатичен: «Ну, так как же с моими кораблями? Что вы придумали в австрийских горах?» Я знал, что Вильгельм II не любил докладов, в особенности же длинных докладов. Чтобы предупредить преждевременный перерыв беседы, я ответил его величеству, что речь идет о часовом или даже двухчасовом докладе. Вздохнув, император сказал, что в таком случае мы проведем эту конференцию ambulando [1]. Нас доставили на берег, и император бодро зашагал.

Он был в то время воплощением здоровья и силы. Хотя он и не был таким статным, как его отец, или внушающим благоговение, как его дед, но полный жизни и предприимчивости, он был чрезвычайно привлекательной личностью. Во время нашего пути, который пролегал большей частью вдоль песчаного извилистого берега Голштинии, нам часто попадались навстречу рабочие и батраки. Я заметил, и меня это обрадовало, что, несмотря на то, что поблизости не было видно ни полицейских, ни сыщиков и для защиты императора не было принято никаких мер, он совершенно спокойно и беззаботно относился к возможности покушения. Критически настроенные к его величеству люди — а в таковых не было недостатка — считали, что эта смелость основана на неведении. Император якобы никогда не боится того, чего он не видит своими глазами, но очутись он перед лицом непосредственной опасности, он испугается ее более, чем кто-либо другой. Я и сейчас считаю это суждение несправедливым. Император несомненно обладал физическим мужеством. Уже одно то, что он с единственной здоровой рукой садился на коня и прекрасно ездил верхом, даже брал иногда препятствия, доказывало его бесстрашие. Когда много лет спустя у Вильгельма II обнаружилась опухоль в горле, он отнюдь не потерял мужества, хотя на каждого другого человека это произвело бы сильное впечатление, принимая во внимание, что отец его страдал раком горла. Нервные потрясения случались с ним только после сильных душевных переживаний или когда ему угрожала — или он думал, что ему угрожает, — серьезная политическая опасность, которая вырывала его из мира его фантазий. Не будучи глупцом, он все же часто жил в мире утопий. Его душевное равновесие внушало мне беспокойство, и одним из оснований для моей политики сохранения мира являлось (хотя и не в первую очередь) убеждение, что Вильгельму II, который не походил ни на своего отца и деда, ни на великого короля, тяжелые испытания войны со всеми ее неожиданностями были не по плечу.

[1] Гуляя.

Я убежден, что император и сам это чувствовал и страстно желал, чтобы великое испытание войны не выпало на его долю.

В то время как мы продолжали итти вперед, император спросил меня во второй раз: «Ну, как же обстоит дело с моими кораблями?» Я изложил ему свои основные мысли по этому вопросу. Для меня не могло быть никаких сомнений, что мы должны создать защиту для тех миллиардных ценностей, которые мы все в большем количестве доверяли морю, для нашего судоходства, нашей торговли и гигантски развивающейся промышленности. Индустриализация Германии совершилась бурными темпами, которые можно было сравнить только с темпами развития Соединенных штатов. Еще в конце семидесятых годов сельское хозяйство давало в Германии заработок количеству людей, равному количеству лиц, занятых в промышленности и торговле вместе взятых. К моменту отставки князя Бисмарка количество людей, занятых в сельском хозяйстве, было уже на один миллион меньше, чем в одной только промышленности. Одним из удивительнейших явлений истории навсегда останется тот факт, что государственный деятель, который, как никто другой, врос корнями в немецкую землю, помещик из Шенгаузена, человек, о котором, после того как он уже много лет был рейхсканцлером, его жена могла сказать, что брюква интересует его больше, чем вся политика, человек, который уже на склоне своей жизни интересовался каждой мелочью в хозяйстве своего имения, — больше, чем кто-либо другой, сделал для индустриализации Германии. «Ни один ткач не знает, что именно он ткет». Князь Бисмарк предвидел опасности слишком далеко идущего индустриального развития и старался по возможности препятствовать этому, выступая на защиту сельского хозяйства. По моему мнению, князь Бисмарк был прав, осуждая снижение пошлин на хлеб, которое провел Каприви после его отставки. И сейчас он также, как мне кажется, правильно выступает за повышение пошлин на сельскохозяйственные продукты. Но в политике всегда придется считаться с тем фактом, что гигантского, быть может чрезмерного развития промышленности, торговли и мореплавания в настоящее время, поскольку оно существует, уже не уничтожить. Мы несомненно обязаны лучше охранять эти отрасли хозяйства, от которых зависят благосостояние и жизнь миллионов немцев, чем это делалось до сих пор. Возможно ли это без столкновения с Англией? Это будет не очень легко, как видно из той политики, которую Англия вела против своих экономических конкурентов. Предпосылкой успеха является для нас спокойная, осторожная и, если можно так выразиться, эластичная политика. «Ну, ведь для этого существуете вы!» — перебил меня император. Я просил его величество не сомневаться в моей доброй воле, но заявил, что считаю это недостаточным; мне необходима его поддержка. Император хлопнул меня по плечу и сказал, что я

вполне могу рассчитывать на его поддержку и полное доверие.

Я намекнул, что речь идет не только об активной помощи с его стороны, но также, и прежде всего, о «пассивной» поддержке. Он не должен говорить и делать таких вещей, которые могли бы подвергнуть опасности внутренний, а при известных обстоятельствах и внешний мир. «Ага, — засмеялся император, — теперь начинается проповедь! Ну, продолжайте». Я откровенно подчеркнул то весьма неблагоприятное впечатление, которое произвела бранденбургская речь даже на абсолютно преданные монархические круги. Я также указал, что было неосторожно и во всяком случае совершенно излишне на открытии памятника императору Вильгельму в Кельне, в день годовщины Ватерлоо, потрясать перед носом англичан трезубцем, намекая, что мы захватим его в свои руки. Я хорошо знаю, что мы в Германии, принимая во внимание существующую ситуацию, сможем завершить строительство необходимого для нашей защиты флота только в том случае, если мы сумеем создать соответствующее настроение в народе. Маршалль и Беттихер хотели достигнуть этой цели путем переговоров с фракциями и с фракционными лидерами — это средство так же безнадежно, как усилия данайцев наполнить водой бездонную бочку. Консерваторы пока что не особенно расположены к строительству флота. Центр может быть и согласится, но потребует, чтобы ему в награду «зажарили большую колбасу». Мы можем быть уверены только в национал-либеральной партии, а возможно и в части свободомыслящих (так называемые «Waden-strümpfler» [1]), следующих за Риккертом и Бартом; труднее будет справиться с Евгением Рихтером, принимая во внимание его несколько ограниченные и филистерские взгляды. Во всяком случае следует считаться с сильным сопротивлением социал-демократов. Политические партии и в первую очередь их вожди пойдут за нами только тогда, когда мы создадим в стране сильное течение за построение флота. Нам придется забить в «национальный барабан». «Действуйте, действуйте», — радостно и восторженно воскликнул император. Я сказал ему, что флотский ферейн [16], профессора и патриоты сделают все возможное. Но весь вопрос заключается в том, чтобы при этом не испортить непоправимым образом наши отношения с Англией. Я твердо убежден, что мы сможем провести в жизнь строительство необходимого для нашего самосохранения и оборонительных целей флота, не втянувшись в войну с Англией, при условии, что мы воздержимся от всяких эксцентричных выступлений. С другой стороны, мы всячески должны избегать враждебных отношений или серьезных конфликтов с Россией, чтобы не давать таким образом Англии повода для успешного нападения на нас.

Император уверял меня с выражением полной искренности, что

[1] Буквально — носящие гетры.

его самым сильным желанием является восстановление дружбы с Россией, связывавшей во времена его деда и прадеда оба двора и обе страны. «И тогда пускай англичане лопнут от зависти». Я возразил, что в политических вопросах никогда не следует исходить из желания кого-либо обидеть. Дело вовсе не в том, чтобы пойти навстречу России с целью разозлить Англию или наоборот! Спокойная, деловая политика в отношении обеих сторон, не позволяя при этом ни той, ни другой мешать нам или эксплоатировать нас, ни за кем не бегать и никому не навязываться, — вот те условия, при которых мы можем больше всего достигнуть. Я почувствовал, что произвожу на императора впечатление ментора, который мучает своего Телемаха скучными теориями, вместо того чтобы срывать ему плоды с древа жизни. «Но наш народ должен видеть цель, — сказал император, — без цели, без того, чтобы народ убедился, что мы чего-то добились, что мы боремся за его интересы, невозможно создать никакого настроения. Ведь и Бисмарк приобретал колонии». Я признал правильность этого замечания. Возможно, что дипломатическим путем удастся кое-чего добиться в Полинезии. В Восточной Азии для немецкой предприимчивости также открыто большое, необычайно богатое поле деятельности. Из документов, которые я изучал в Земмеринге, я увидел, что морское ведомство строит предположения относительно различных морских баз в гаванях Тихого океана, которым принадлежит большое будущее. Нужно выждать подходящий момент и тогда уже захватить эти пункты. Восточная Азия, с одной стороны, Малая Азия, с другой, являются теми странами, в которых мы не должны допускать полного исключения нашего влияния. Однако надо действовать осторожно.

Ко многим хорошим качествам Вильгельма II относилась и его способность необычайно быстро все усваивать в такой степени, как это мне редко приходилось встречать. Если у него не было предвзятых мнений, которых он придерживался с самоуверенностью, унаследованной им от матери, и если в дело не были замешаны личные интриги, он был легко доступен для разумных аргументов. «Да, человек должен уметь преодолевать себя, — сказал император с сердечной, а потому глубоко трогательной искренностью. — Кто преодолевает, тот побеждает — это изречение моя жена приказала написать на пергаменте синими буквами и поставила его в красивой рамке на мой берлинский письменный стол. Я не забуду нашего сегодняшнего разговора».

Между тем мы вернулись на «Гогенцоллерн», где императора уже ждал обед. Вечером 4 августа яхта «Гогенцоллерн» отплыла в Петергоф. В этой поездке императора сопровождали начальники всех его кабинетов: господин фон Луканус, генерал фон Ханке и адмирал барон фон Зенден, а также обергофмаршал граф Август цу Эйленбург, комендант императорской главной квартиры генерал фон Плессен и я в качестве исполняющего обязанности статс-секретаря иностранных дел.

Во времена адмирала Голльмана, который с 1890 по 1897 г. занимал пост статс-секретаря морского ведомства и принадлежал к так называемым «друзьям» императора (как многие подобные господа, Голльман был чрезмерно уступчив по отношению к императору), Вильгельм II, несмотря на все возражения адмирала фон Зендена, слишком много вмешивался в строительство и выработку конструкции военных судов. Император очень любил рисовать планы домов, дворцов, церквей и в особенности судов. Способность и страсть к рисованию император унаследовал, как и многое другое, от своей матери. Как и в некоторых других областях, талант его был слаб, сильно было лишь желание. В бытность адмирала Голльмана государственным секретарем морского ведомства часто случалось, что император пытался оказывать непосредственное воздействие на конструкторский отдел морского ведомства. Он стремился везде и при всяком случае лично вмешаться в вопросы, касающиеся постройки судов. В девяностых годах, во время своего пребывания в Италии, император познакомился с тогдашним итальянским морским министром адмиралом Брином, который считался одним из выдающихся конструкторов в области судостроения не только в Италии, но и во всей Европе. После длинных разговоров о наилучшем способе постройки судов, в особенности больших военных судов, император спросил адмирала, может ли он прислать ему план большого военного судна, над которым он работал с особой тщательностью и который являлся плодом его многолетних исследований, упорного труда и долгих размышлений. Через несколько недель министр Брин получил из Потсдама упомянутый план. Он возвратил чертеж императору с письмом, которое являлось шедевром итальянской любезности и вместе с тем холодной насмешки. «Судно, которое ваше величество желает построить, — так примерно писал адмирал, — будет самым могущественным, грозным и притом самым красивым военным судном, которое когда-либо существовало. Оно разовьет такую скорость какая еще никогда не была достигнута, его вооружение превзойдет все до сих пор существующее, его мачты будут самыми высокими, а орудия самыми дальнобойными в мире. При этом судно имеет прекрасное внутреннее оборудование, путешествие на нем будет доставлять настоящее удовольствие всей команде, от капитана до юнги. Великолепный корабль имеет только один недостаток: как только он будет спущен на воду, он пойдет ко дну, как свинцовая утка». Император нисколько не обиделся на адмирала за этот ответ. В высокой степени симпатичной особенностью императора, которая отличала его от многих других правителей, было то, что его не раздражала разумная и остроумная критика, если она не получала широкой огласки. Благодаря этому его личным друзьям было легко с ним, так как все их разговоры носили интимный характер. Министрам приходилось гораздо труднее: они стояли на виду у публики и император вместе с ними.

Адмирал фон Зенден, который при своем рвении к флоту не обладал способностью разбираться в других вопросах, оказал чрезвычайно вредное влияние на отношения между императором и его дядей королем Эдуардом VII, а тем самым и на англо-германские отношения. Зенден был тем, что в Северной Германии называют «Stur»[1]. Он к сожалению отличался также большой бестактностью. Лица, окружавшие Вильгельма II, за редким исключением обладали многими прекрасными качествами. Посторонние часто несправедливо судили о них. У них не было недостатка ни в верности своему долгу, ни в любви к истине, ни в независимости убеждений, но такт не являлся отличительной чертой нового поколения. При дворе Вильгельма I царил очень тактичный тон. О той среде, в которой жил Вильгельм II, этого при всем желании нельзя было сказать. Даже Филипп Эйленбург и Куно Мольтке не хотели и не могли этого оспаривать, но зато они изобрели формулу: «Бестактность — это признак мужества». Император часто посылал адмирала фон Зендена с особыми поручениями в Англию, и последний никогда не возвращался без того, чтобы не вызвать там возмущения своей бестактностью. Он с особенным удовольствием рассказывал в лондонских клубах о том, что мы строим гигантский флот и что когда он будет готов, «мы с Англией поговорим серьезно».

Весьма печально констатировать, что подобные личные трения, заходившие иногда довольно далеко, имели и политические последствия. Мне с помощью других благоразумных людей приходилось прилагать большие усилия к тому, чтобы устранять с политической арены подобные камни преткновения между двумя столь авторитетными личностями, как император и его дядя. Зенден не был ни единственным, ни самым опасным из таких камней. Существовал еще один господин, который постоянно сеял раздражение и злобу между императором и его английским дядей, — это был граф Лонсдаль. Это был действительно «a joly good fellow»[2], но в то же время он являлся «bête noire» «короля Эдуарда, который называл его «the greatest liar in England»[3].

Король Эдуард считал, что императору не подобает дружить с господином, состояние которого давно уже находилось под опекой. В этом отношении граф Лонсдаль находился в том же положении, в каком впоследствии очутился другой друг императора, князь Макс Фюрстенберг, который также испытывал финансовые затруднения. Император оставался верным своим друзьям, и это было его хорошим свойством, но оно не должно было проявляться за счет государственных интересов, как это имело место с Лонсдалем.

Адмирала фон Зендена справедливо обвиняли в том, что

---

[1] Ограниченный, упрямый человек.
[2] Веселый, хороший парень, добрый малый.
[3] Самый большой лжец в Англии.

он в противоположность другим своим коллегам из гражданского и военного ведомств любил вмешиваться в дела внешней политики и соответственно своей склонности действовал в антианглийском духе. В этом отношении он принес много вреда.

Сущность диллетанта, по Гете, заключается в том, что он недооценивает трудностей того или иного дела. Исходя из простой мысли (которая при проведении в жизнь из простой превратилась в опасную), что мы должны завоевать дружбу России в пику Англии, господин фон Зенден подружился с русским морским атташе Паулисом, с которым он любил обмениваться мнениями о возможности русско-германского выступления против Англии. Паулис был темной личностью, никто не знал, был ли он по своему происхождению русским, бельгийцем или итальянцем. Даже сам русский посол намекал, что с этим человеком следует быть осторожным. Однако император, верный своим «друзьям», не позволял «вводить себя в заблуждение» относительно начальника своего кабинета.

ГЛАВА V

Императорские кабинеты играли при императоре Вильгельме II несомненно бо́льшую роль, чем при его деде. Идеалом Вильгельма II была бы система управления через посредство личных кабинетов в чистом ее виде. Будучи искренне убежден, что таким образом можно быстрее всего устранить все затруднения и препятствия, мешающие его стремлениям, которые, как ему казалось, могли только осчастливить страну, император предпочитал решать все военные дела через свой военный кабинет, хотя бы даже наперекор военному министру и генеральному штабу. Флот он хотел строить при содействии своего морского кабинета и потом распоряжаться им всецело по своему усмотрению, внутреннее же управление осуществлять гражданским кабинетом. Как и многие другие планы и желания императора, эти стремления, увлекавшие его в первые годы правления, потерпели неудачу, столкнувшись с «коварной» действительностью. При тех условиях, которые существовали в Германии и во всем мире в 1890 г., даже Фридрих Великий не мог бы управлять тем способом, о котором мечтал Вильгельм II, увольняя в отставку князя Бисмарка.

С тех пор императору пришлось сильно поразбавить водой свое вино, но императорские кабинеты несомненно сохраняли большое влияние во все время его правления. Во время войны это хозяйничанье при помощи кабинетов несомненно способствовало нашему поражению.

Если кабинеты, в которых, как в фокусе, сосредоточивались большие и важные проблемы государственной жизни, могли создавать мне много беспокойства и иногда действительно создавали его, то придворный мир, окружавший императора, нисколько не стеснял меня. Конечно было бы ошибкой недооцени-

вать влияния императорской главной квартиры, равно как и придворных в узком смысле этого слова. Но мне казалось не особенно затруднительным ладить с военными, которые почти не вмешивались в политику и которых сам Вильгельм II осаживал, если они иногда вторгались в эту область. К тому же в силу своего военного воспитания и происхождения это были люди с сильно развитым понятием чести.

При старом императоре, который вел две больших войны, в мирное время не было главной квартиры. С этим учреждением император Вильгельм II познакомился в России. Ему понравилась мысль придать своей свите даже в мирное время военный облик. Его величество любил играть в войну в мирное время. Но когда такая война в мирное время превратилась в настоящую ужасную и кровавую войну, его внутреннее «я», его по существу мягкая и чувствительная натура отпрянули от подобной действительности.

В какой мере основательны упреки, которые выдвигались против генерал-полковника фон Плессена, начальника главной квартиры, в связи с бегством императора Вильгельма в Голландию? После этой ужасной катастрофы рассказывали, что именно по его совету император принял роковое решение перейти голландскую границу или что по крайней мере генерал дал возможность его величеству совершить эту непоправимую ошибку. Рассказывают, что вечером 8 ноября 1918 г. император Вильгельм II отпустил генерала-фельдмаршала Гинденбурга и других находившихся у него господ со словами, что продолжение совещания состоится на другой день утром. Утром 9 ноября, явившись снова с докладом, они узнали, что император ночью отбыл в Голландию. Генерал фон Плессен дал ночью необходимые указания железнодорожному персоналу и прислуге и таким образом содействовал побегу. Полную истину об этом бесконечно грустном побеге раскроет, надо полагать, только будущее. Но если даже генерал фон Плессен и выполнил соответствующее приказание императора, то было бы несправедливо обрушиваться на офицера, зарекомендовавшего себя долголетней службой. В течение почти 30 лет он никогда не противоречил императору. В течение почти трех десятилетий всякая попытка с его стороны высказать свое собственное мнение устранялась императором при помощи шутки или резкого замечания. Конечно Плессен поступил бы правильнее, если бы в этот ужасный момент прусской истории указал императору на шпагу и сказал ему, что смерть на поле сражения (а на фронте еще сражались) в сто и тысячу раз предпочтительнее для страны, династии и самого императора, нежели бегство. Но такой инициативы нельзя было ожидать и требовать от спутника, столь долго находившегося в зависимом положении.

Несомненно уже первые годы правления императора многим внушали немало серьезных забот. Разгневанный титан в Фридрихсруэ не скрывал, что он до чрезвычайности встревожен

своей отставкой и, главное, той формой, в которой она была проведена. Его пугал также совершившийся одновременно с этим отказ от договора «перестраховки» с Россией и обстоятельства, сопровождавшие этот отказ, равно как и некоторые эксцентрические речи и действия императора и весь образ правления молодого монарха. Когда вдовствующая императрица, в начале девяностых годов путешествуя по Италии, остановилась в Палермо, она посетила там мою тещу донну Лауру Мингетти. Видя, что у императрицы не сходит с лица грустное выражение, которое она обычно сохраняла после смерти императора Фридриха, донна Лаура спросила, неужели великолепное синее море, расстилавшееся перед ней, и живописное Монте Пелегрино с часовней святой Розалии в глубине, с апельсиновыми и оливковыми деревьями и стройными пальмами не в состоянии навести ее на другие мысли и облегчить ее страдания? Императрица ответила: «Я грущу не только по моем дорогом муже, я печалюсь также о Германии», и, устремив взор в одну точку, она добавила: «Запомните, что я вам сегодня скажу, донна Лаура: Mon fils sera la ruine de l'Allemagne» [1].

На корабле царило веселое настроение. Император был в превосходном расположении духа, как всегда во время путешествия и когда ему предстояло какое-нибудь интересное переживание. Однажды я спросил императора, чем объясняется, что его, человека, занимающего такое высокое положение и имеющего в своем распоряжении все, что ему угодно, так радуют поездки, визиты и свидания с монархами. Я признался ему, что и простой человек, подобно мне, в сущности не придает этому большого значения: я охотно бываю в обществе его величества, но поездки и свидания я рассматриваю скорее как некоторую повинность, «une corvée», как говорят французы. Император сказал, что это объясняется по всей вероятности тем, что я уже в молодые годы и особенно впоследствии, когда был дипломатом, успел побывать повсюду, мог ездить, куда захочу, и многое видел. Он в молодые годы почти совершенно не путешествовал, не знал иностранных дворов, за исключением английского, никогда не присутствовал при встречах монархов, и теперь ему хочется все это наверстать. Кроме того он полагает, что непосредственные переговоры между монархами дают бо́льшие результаты, нежели самые превосходные ноты, которыми обмениваются министры. Эту переоценку влияния, которое царственные особы могут оказывать на иностранных государей и министров, император к сожалению тоже перенял от своей матери. Последняя например вопреки желанию и воле императора Вильгельма I и императрицы Августы, а главное, несмотря на решительный протест со стороны князя Бисмарка и не считаясь с тем, что это огорчало ее супруга императора Фридриха, упорно добивалась брака своей дочери Виктории с князем Александром Баттенбергским. При

[1] Мой сын будет причиной гибели Германии.

этом она была убеждена, что ей достаточно один час поговорить с императором Александром III, чтобы склонить царя в пользу этого брака. Ее поездка в Париж, предпринятая вскоре после отставки князя Бисмарка и закончившаяся полной неудачей, была тоже вызвана переоценкой личного влияния высочайших особ, а много лет спустя точно такое же заблуждение толкнуло ее сына на трагикомическое выступление в Биорке.

Уже в первый день нашего морского путешествия в Петербург император с оживлением заявил, что у него имеется для меня интересное и радостное сообщение: король бельгийский сделал ему в Киле предложение принять участие вместе с ним в некоторых крупных операциях в Восточной Азии, на которых можно заработать миллиарды. За это король ему обещал воздействовать на Англию и Францию, чтобы державы назначили на пост губернатора Крита немца, что будет выгодно для Германии. Я не скрыл от его величества, что мне не особенно нравятся финансовые спекуляции в компании с королем бельгийским: может быть у меня в этом отношении устарелые понятия, но мне кажется, что для королей, и во всяком случае для короля прусского, такие предприятия не подходят. Что же касается Крита, то у нас есть все основания не лезть туда. Мы сравнительно мало заинтересованы в Средиземном море, для нас довольно безразлично, что будет с островом Миноса; пускай из-за него ссорятся русские, англичане, турки и греки. Немецкий губернатор на Крите был бы для нас только бременем, а не отличием, и вместо удовольствия мы от этого имели бы только затруднения.

У императора было уже несколько разочарованное лицо, когда он стал излагать свое второе и более важное предложение. Филипп Эйленбург подал ему превосходную мысль, инициатором которой является, собственно говоря, вюртембергский герцог Урах, много путешествовавший на своем веку. Это был тот самый герцог Урах, которого Эрцбергер во время мировой войны выдвинул в качестве кандидата на литовский престол. За два десятка лет до этого он пытался обратить внимание императора на Медвежьи острова. Это небольшие острова в Северном ледовитом океане, расположенные севернее Шпицбергена, площадью всего лишь в 600 квадратных километров. В конце XVI столетия они были открыты голландским путешественником Вильгельмом Баренцом, который пытался проникнуть в Китай через Северный ледовитый океан. Урах утверждал, а Фили ему верил, что на Баренцовых островах имеются огромные залежи каменного угля. И вот Фили предложил его величеству, чтобы мы поспешили занять Медвежьи острова, которые повидимому представляют собою res nullius[1], а потом предложили бы их русским в виде компенсации за порт, который нам желательно иметь в Китае. Император уже отдал распоряже-

[1] Никому не принадлежат.

ние адмиралу фонн Зендену держать наготове корабль, который по получении телеграфного приказа должен будет отправиться на Медвежьи острова. Осуществление этого проекта несомненно встревожило бы три скандинавские нации и легко могло вызвать недовольство в Англии и России. Когда я отклонил этот проект, указав на его непрактичность и вместе с тем фантастичность, император пришел в возбуждение. Он сказал, что не ожидал от меня этого, когда назначал меня министром, а ведь он очень хотел, чтобы я занял этот пост. Он полагал, что мы во всем будем согласны. Теперь повидимому получилось совсем обратное. Я даже более отрицательно и тяжеловесно воспринимаю новые мысли, чем Маршалль, который в достаточной мере раздражал его. Но он этого не потерпит. Я почувствовал, что все мои будущие отношения с императором, возможность работать с ним на пользу страны, а при данных условиях следовательно и наше политическое будущее в значительной мере зависят от того, сумею ли я совладать своими нервами и сохранить твердость. Я испытывал такое же ощущение, как в молодые годы, когда я был гусарским лейтенантом и когда я бывало ехал на параде перед взводом на неспокойной лошади. Я чувствовал тогда, что если не буду прочно сидеть в седле и твердой рукой держать поводья, то лошадь понесет, и тогда эскадрон придет в расстройство, и парад будет сорван. Поэтому я совершенно спокойным и почтительным, но весьма решительным тоном возразил его величеству, что я отнюдь не цепляюсь за свой пост. Я в любой момент готов вернуться в Рим, а если его величество не пожелает снова назначить меня туда, то я готов без всяких жалоб выйти в отставку. Я всегда найду себе занятие, я люблю чтение, и имеется бесчисленное множество хороших и интересных книг, с которыми мне хотелось бы познакомиться и которых я еще не знаю. Вдали на берегу выплыли очертания башен Мемеля. Я указал на них императору и спросил, не пожелает ли он высадить меня там на лодке. Я воспользовался бы случаем познакомиться с историческим городом, где прусская монархия переживала свои наиболее трудные часы и откуда вместе с тем началось ее славное возрождение. Император положил мне руку на плечо, и с тем добрым и честным выражением лица, которое у него иногда бывало, сказал: «Не надо обижаться. Милые бранятся— только тешатся. Мы уж как-нибудь поладим друг с другом. От «медведей» Фили и Ураха я отказываюсь».

Теперь я мог подробно изложить императору, который ласково и внимательно слушал меня, как я представляю себе ход наших политических бесед в Петербурге. Прежде всего мы должны быть в Петергофе сдержаны в наших выражениях относительно Франции и еще более относительно Англии. Французы являются союзниками русских и критиковать их столь же бесполезно, как говорить супругу что-нибудь плохое о его жене, в которую он влюблен. Еще опаснее пренебрежительные замеча-

ния об англичанах. При многочисленных связях, существующих между английским и русским двором, всякое замечание, сделанное нами в Петербурге и направленное против Англии, будет особенно старательно передано в дамских письмах в Осборн Хоус, Виндзер и Сендрингем. Зато мы должны, нисколько не смущаясь, настойчиво подчеркнуть солидарность Германии и России по отношению к полякам, а также по отношению к революции и революционным опасностям. Что касается дарданельского вопроса, то, не затрагивая его сами, мы сможем, в случае если русские заведут об этом речь, спокойно заявить, что считаем вполне совместимым с дальнейшим существованием и с независимостью Турции такое решение этого вопроса, которое соответствовало бы русским желаниям. Что касается Восточной Азии, то по моему мнению, лучше всего, если Россия приблизительно одновременно с Германией выберет себе порт на китайском побережье. Тогда мы будем лучше защищены против Англии. Британское недоброжелательство по отношению ко всякому сопернику, где бы он ни появлялся, и которое является повторением известного английского рассказа о «собаке, лежащей на сене», будет тогда до известной степени ослаблено. Мы будем настаивать на предоставлении нам Киаочао, которое с прилегающим к нему Шантуном морское ведомство вероятно с полным основанием считает наиболее подходящим для нас опорным пунктом. Но мы не возражаем, если русские утвердятся в каком-нибудь пункте Ляодунского полуострова, к чему они повидимому стремятся.

Император Вильгельм был вполне согласен с набросанной мною программой и не выразил никакого недовольства, когда я сказал ему, что царь при личном свидании с более пожилым, опытным, более значительным и обладающим более сильной волей императором наверное не хотел бы оказаться оттесненным на задний план перед своими собственными подданными.

ГЛАВА VI

В то время как Вильгельм II и Николай II обменивались обычными при встрече монархов поцелуями, которые в течение всей мировой истории ни разу не помешали ни войне, ни предательству, ко мне подошел Муравьев, приветствовал меня как старого друга и сказал, что князь Гогенлоэ, который тем временем прибыл по железной дороге, ожидает его и меня для переговоров в отведенных ему аппартаментах в Петергофе. Монархи удалились для первого интимного обмена мнениями. Мы, т. е. Гогенлоэ, Муравьев и я, в тот же день собрались в салоне, отведенном князю Гогенлоэ. Когда князь Гогенлоэ медленно навел разговор на вопрос о Восточной Азии, Муравьев прервал его и, ласково улыбаясь, сказал, что император Вильгельм в первой беседе с царем заявил, что не имеет намерения обосновываться в Киаочао; он охотно предоставит эту пре-

красную гавань своему русскому кузену и другу и просит только разрешить германским судам заходить туда и брать уголь. Старик Гогенлоэ обладал превосходным свойством: он не позволял себя огорошить. Он немедленно ответил русскому министру, что монархи бывают весьма склонны следовать благородным побуждениям своего великодушного сердца, но «C'est aux ministres qu'il incombe de mettre d'accord ces nobles élans avec réalités politiques et les nécessités économiques» [1].

Муравьев улыбнулся и сказал, что он предлагает обсудить этот вопрос, как и некоторые другие, более подробно, нежели это возможно сейчас, и поручить это ему и мне: мы старые добрые друзья и уже сумеем найти подходящее решение.

После этого у меня была двухчасовая беседа с графом Муравьевым. Приступая к беседе, Муравьев подчеркнул, что у нас в течение многих лет были прекрасные отношения, и немедленно перешел к существу дела. Он сказал, что обстоятельства теперь складываются в значительной мере иначе, чем в первой половине восьмидесятых годов, когда мы были коллегами в Париже, и даже иначе, чем во второй половине того же десятилетия, когда он состоял советником посольства в Берлине. С тех пор мы, по собственной инициативе и невзирая на все представления и просьбы России, резким образом, при особенно прискорбных обстоятельствах, отказались от союза между Пруссией-Германией и Россией. Между тем эти союзные отношения восходят ко времени создания священного союза и даже к той знаменитой сцене в потсдамской гарнизонной церкви, когда Александр I, Фридрих-Вильгельм III и королева Луиза обнялись у могилы Фридриха Великого. Мы порвали старинную ценную связь. «Tu l'as voulu, George Dandin» [2], т. е. не я, а се pauvre Caprivi [3], который, по его собственным словам, чувствовал себя не способным жонглировать больше чем двумя шарами, и Маршалль, этот ministre étranger aux affaires [4], который сначала оскорбил Россию, а затем нанес обиду Англии депешей, отправленной Крюгеру. Таким образом возник франко-русский союз, против которого у него, Муравьева, были и остаются до сих пор сомнения с точки зрения внутренней русской политики и прочности династии. Но союз уже существует, и об отмене его думать не приходится. Он хотел бы здесь же откровенно предупредить меня, что при ожидаемом через несколько недель прибытии президента французской республики в тостах, которыми обменяются по случаю этой встречи, будет упомянуто о союзе между Россией и Францией. В тостах будет говориться не о дружественных, а именно о союзных нациях. Муравьев еще

[1] На обязанности министров лежит согласовывать эти благородные порывы с требованиями политической действительности и экономической необходимостью.
[2] Ты этого хотел, Жорж Данден.
[3] Этот несчастный Каприви.
[4] Игра слов: вместо министр иностранных дел — министр, чуждый делам; ministre des affaires étrangères — министр иностранных дел.

раз повторил, что по целому ряду соображений для него было бы более желательно состоять в союзе с нами, а не с французской республикой, но этого изменить уже нельзя. Он не может развестись с Марианной и снова вернуться к своей прежней немецкой жене. «Но, — продолжал он, — вот что мы можем сделать: каждый из нас, как вы, так и я, может внутри своей группировки действовать в пользу мира. Для этого необходимо, чтобы мы удерживали от глупостей французов, а вы — австрийцев, т. е. от непоправимых глупостей. Глупости ведь всегда делаются, но надо, чтобы они не были непоправимы. Я заверяю вас, что мы — император Николай и я, — в силу глубочайшего убеждения желаем мира, мира повсюду, но особенно в Европе и в частности между Германией и Россией. Вы знаете, что я монархист до мозга костей и считаю самодержавие единственно возможной формой правления для России. Я не хочу этим сказать, что в России невозможны и не нужны реформы, но чисто парламентская, радикальная система привела бы к анархии и разложению. Таков уж характер русских, который всегда доводит их до крайности».

«Европейская война, — продолжал русский министр иностранных дел, — таит в себе серьезные опасности для русской внутренней политики. Ошибаются те, кто ожидает от большой войны усиления династических чувств в русском народе и укрепления авторитета царя и самодержавия. Результатом будет как раз обратное. Это показала история: за войной против Франции, при Александре I, последовал заговор декабристов, организаторы которого впитали в себя революционные идеи в Париже. После крымской войны Александру II пришлось пойти на уступки, на которые не соглашался его отец, и тот же самый Александр II стал после войны с Турцией жертвой нигилистического движения, возникшего по окончании этой войны». Я мог только согласиться с его словами и подчеркнул, что при тех условиях, которые постепенно складываются во всем мире, во внешней и внутренней политике, война является рискованным делом для всякой монархии. Император Вильгельм прекрасно это видит и настроен вполне миролюбиво. Разумеется, он не потерпит никакого посягательства на свои права и никакого оскорбления своей чести. Но он несомненно сделает все, что от него зависит, для сохранения мира в Европе и в особенности мира с Россией. Уже поэтому нас радуют совместные ноты, с которыми петербургский и венский кабинеты обратились 24 апреля этого года к правительствам балканских государств [17]. Эти маленькие шавки не заслуживают того, чтобы из-за них губили друг друга великие империи и старые династии. Муравьев не скрыл от меня, что отношения между Россией и Австрией значительно сложнее и деликатнее, чем между Германией и Россией. Здесь нужно действовать с ловкостью и с определенным тактом. Русское правительство, невзирая на все вопли славянофилов, не желает войны с Австрией, с которой Россия еще ни разу не

скрещивала шпаги. Россия не собирается также вытеснять Австрию с Балканского полуострова. По Рейхштатскому договору 1876 г. она добровольно признала права Австрии на Боснию и Герцеговину. Министр упомянул при этом, что и после заключения Рейхштатского договора во время берлинского конгресса между Горчаковым и Андраши и потом при свидании в Скерневицах между Гирсом и Кальноки произошел обмен письмами, в которых заявлялось, что Россия не будет возражать, если в интересах спокойствия на Востоке и в интересах европейского мира Австрия сочтет нужным превратить оккупацию в аннексию. Молчаливо предполагалось при этом, что Австрия не будет резко возражать против известных русских пожеланий относительно прохода военных судов через Дарданеллы. «Nous avons fait la croix sur la Bosnie et cela depuis longtemps» [1], — сказал Муравьев. Разумеется, Австрия не должна предпринимать на Балканском полуострове никаких враждебных действий против России. Россия была и продолжает оставаться славянской православной державой; она не может дать пощечину всему своему прошлому. Но впрочем положение Австрии на Балканском полуострове пожалуй даже лучше, чем России, которая отнюдь не пользуется преобладающим влиянием в Белграде и в Софии, не говоря уже о Румынии.

Другой деликатный пункт — это польский вопрос. Австрия должна воздерживаться от всякой агитации среди поляков Царства Польского. Ему, Муравьеву, прекрасно известно, что император Франц-Иосиф не одобряет подобные происки. Голуховский, хотя он и поляк, держит себя довольно корректно, но из Галиции в Царстве Польском ведется большая подрывная работа, и это является серьезной угрозой. Во всяком случае общая вражда против польской «ирредепты» является для Германии и России попрежнему сильным связующим звеном. Я напомнил Муравьеву, что много лет назад мы в Париже вместе присутствовали на польской свадьбе, когда Георг Радзивилл женился на Бишетте Браницкой. На этой свадьбе присутствовали русские, поляки и немцы. Когда мы после венчания пошли домой, он спросил меня на Итальянском бульваре, что говорили мне поляки. Я ответил в полном соответствии с истиной, что они с большой любезностью и польской живостью объяснили мне, что немцы и поляки являются цивилизованными народами и прекрасно могут понимать и любить друг друга, но что такие отношения невозможны между поляками и русскими варварами. Он мне на это сказал, что ему поляки, и дамы и мужчины, говорили, что между поляками и русскими нет непримиримых противоречий ввиду того, что те и другие — славяне, тогда как немца поляк никогда не сумеет полюбить. Поэтому ответил я, было бы очень глупо, если бы мы стали драться друг с другом ради прекрасных глаз поляков. Балканские народы тоже не за-

[1] Мы поставили крест на Боснии и сделали это уже давно.

служивают, чтобы ради них ставить на карту судьбу великих империй. Незадолго до Берлинского конгресса, когда я был еще молодым поверенным в делах в Афинах, греческий министр иностранных дел в беседе, в которой я подчеркнул миролюбие князя Бисмарка, торжественно ответил мне: «C'est bien, c'est bien, va pour le prince de Bismark, mais moi je vous l'éclaire qu'une grande guerre européenne fera un bien énorme à l'hellénisme» [1].

Когда я во время берлинского конгресса рассказал об этом князю Бисмарку, он заметил: «Значит мы должны зажечь мировой пожар, для того чтобы греки аннексировали Ларису или Трикалу или другой подобный свинарник, которого я не знаю даже по имени».

Я лично не хотел затрагивать в беседе с Муравьевым вопросов, касающихся Восточной Азии, после того как князь Гогенлоэ с совершенно исключительным тактом исправил оплошность, допущенную императором при его первой беседе с царем.

Граф Муравьев по собственному почину коснулся этой темы, заметив, что он вполне понимает наши пожелания относительно Киаочао ввиду наших значительных и все более возрастающих торговых интересов в Восточной Азии, а также ввиду нашей морской политики. Лично он склонен считать, что центр тяжести русских интересов находится скорее на Ляодунском полуострове. Но пока он мне не может сказать ничего определенного, так как при русском дворе в этом вопросе еще сталкиваются различные течения и пожелания.

Вечером 7 августа в Петергофе происходил обычный торжественный обед. Перед обедом царь назначил императора адмиралом русского флота. Вильгельму II было свойственно принимать совершенно всерьез такие чисто внешние проявления любезности. Он вкладывал в них более глубокий смысл, о котором другие совершенно и не думали. Он слишком серьезно воспринимал подобные формальности. К нему было до известной степени применимо то, что Бомарше говорил о дворах старого режима, что они легкомысленно относятся к серьезным вещам и всерьез принимают пустяки. Уже вскоре после своего восшествия на престол Вильгельм II привел в крайнее изумление князя Бисмарка тем, что пришел в невероятный восторг от своего назначения английским адмиралом. Он объяснял тогда великому канцлеру, что это назначение имеет огромное политическое и военное значение, что теперь у него есть возможность и право непосредственно вмешиваться в дела английского флота, в его организацию и руководство им. Теперь, если он взойдет на английский корабль, он может немедленно принять на себя командование им. Правда, император отнюдь не собирался предоставлять другим права, которые он присваивал себе в иностранном

[1] Это прекрасно. Для Бисмарка это пожалуй годится, но я заявляю вам, что большая европейская война окажет великую услугу делу эллинизма.

флоте на основе таких оказываемых ему почестей. Когда впоследствии императорский посланник в Лиссабоне однажды сообщил, что португальский корабль отправился в бухту Виго для смотра находившейся там английской эскадры, так как он тоже был адмиралом английского флота, то император заметил: «Этакий шут, ведь это же только почетное звание, которое не дает ему никаких прав». Великий французский историк Ипполит Тэн часто пользуется в своей остроумной и глубокой «Философии искусства» выражением qualité maîtresse [1]. Он полагает, что народам, так же как и отдельным личностям, присущи такие преобладающие свойства, особенно для них характерные черты. У Вильгельма II таким «преобладающим свойством» было отсутствие логики. Благодаря этому он был занятен и часто остроумен в беседе, не был мещанином, а был тем, кого французы называют primesautier [2], но это затрудняло ведение дел и нарушало устойчивость политики.

Когда император произносил в петергофском дворце свой тост, он находился под радостным впечатлением своего назначения адмиралом русского флота. Под этим впечатлением он уже раньше предложил царю Киаочао. Он говорил в своем тосте о милостивых словах, которыми его с такой «любовью приветствовал царь». Он «клал к его ногам глубоко прочувствованную радостную благодарность за неожиданное назначение» в славный флот его величества. Эта особенная почесть, которую он вполне оценил и которая является вместе с тем особенным отличием для немецкого флота. Затем он сказал, что снова дает его величеству обещание, в котором, как он знает, с ним солидарен весь «его народ», что он окажет царю самую энергичную поддержку против всякого, кто попытается помешать царю в его миротворческой деятельности. Еще до прибытия в Петергоф князь Гогенлоэ передал его величеству отредактированный им вместе со мной проект императорского тоста. Но император так изменил наш проект своими вставками, что из первоначального текста почти ничего не осталось. Свой тост он выпалил, не согласовавши его предварительно с нами. Впоследствии такая судьба нередко постигала проекты писем царю, которые я представлял его величеству. Император был выдающимся оратором. Мне редко приходилось слышать такого эффектного оратора, как Вильгельм II, в тех парламентах, которые я знал по личному опыту и в особенности в германском рейхстаге, где ораторское дарование всегда проявлялось в очень скромных формах; после революции оно опустилось там ниже уровня любого народного представительства цивилизованной страны. Вильгельм II говорил сильно, увлекательно, никогда не был банален, его речь была образна и красочна, лишена ходульности, слова у него складывались легко и наглядно, ему никогда не угрожала опасность потерять нить своей речи. Какой контраст

[1] Господствующее качество.
[2] Человеком, действующим по первому впечатлению

с царем, который с трудом, запинаясь, читал свой тост с большого листа белой бумаги.

После того как все встали из-за стола, в аппартаменты, отведенные для имперского канцлера, Гогенлоэ, Луканусу и мне были представлены для исправления стенограммы только что произнесенных речей. Я стоял за то, чтобы зачеркнуть «милостивые слова» и выражение «кладу к ногам», а также несколько ослабить заключительную часть речи, которая носила характер выпада, направленного против Англии. Притом я указывал, что речь царя была вежлива, корректна, но бесцветна и банальна. Луканус противился всякому изменению слов императора, так как это вызовет у него только бесполезное раздражение. Когда мы прощались, он сказал мне: «Ради бога, не приводите с самого начала императора в дурное настроение. К чему это приведет?»

Я промолчал, так как это был мой первый опыт, но решил в будущем еще бдительнее следить за императором.

10 августа у меня была аудиенция у императора Николая. Царь выразил свою радость по поводу приезда императора и затем в общих чертах, не вдаваясь в детали, повторил приблизительно то, что мне сказал граф Муравьев. В его словах звучало традиционное недоверие, которое русский императорский дом питал к Австрии из-за поведения Габсбургов во время крымской войны. По русской версии проявленная тогда неблагодарность и предательское коварство сокрушили «великое сердце» императора Николая I. Еще откровеннее выразился царь о «маленьких японцах», которым он очевидно еще не мог простить раны, нанесенной ему японским фанатиком во время его путешествия по Дальнему Востоку. Совершенно честно звучало уверение императора Николая, что он так же горячо желает мира, как и император Вильгельм, в миролюбии которого он убежден. Зато в миролюбие французов царь повидимому не очень верил. Он очевидно полагал, что эти его союзники затеят войну, как только у них будут какие-нибудь шансы на успех. Он говорил, что ввиду этого он старается, чтобы французы не закусывали удила. Перед Германией стоит такая же задача по отношению к австрийцам. К балканским народам царь, по его словам, не чувствовал особенной симпатии: они стоили России много крови и денег, но Россия не встретила в ответ за это действительной благодарности и подлинной верности. Балканские народы думают только о себе, они настроены крайне эгоистично. Но конечно Россия как православная славянская держава не может допустить гибели своих братьев по вере и крови на Балканском полуострове. «Ces petits peuples doivent être sages, mais, naturellement, nous ne pouvons pas les laisser écraser»[1].

Относительно внутренней политики было сделано несколько

[1] Эти маленькие народы должны вести себя благоразумно, но конечно мы не можем допустить их уничтожения.

замечаний, показавших, что царь не особенно расположен соглашаться на реформы. Так же как и Муравьев, он полагал, что можно допустить постепенное преобразование земства, но что действительная парламентская система будет означать гибель России. В противоположность своей обычной манере выражаться, которая скорее отличалась изысканностью, он процитировал здесь русскую поговорку: «Посади свинью за стол, она и ноги на стол». Царь с интересом выслушал все, что я говорил. Я впоследствии часто был свидетелем, как он с вежливым и любезным вниманием выслушивал то, что ему говорили даже в большом обществе. Но тем не менее у меня получилось впечатление, что основной чертой его характера является чрезвычайное равнодушие. Русский посол в Берлине, престарелый граф Остен-Сакен, который знал четырех русских императоров, однажды сказал мне: «L'empereur Nicolas a une indifférence qui frise l'héroisme» [1].

Как известно, это равнодушие, граничащее с героизмом, Николай II обнаружил и тогда, когда его заставили в вагоне поезда отречься от престола.

ГЛАВА VII

11 августа монархи распрощались. Оба они были в прекрасном настроении. Император Вильгельм потому, что у него было ощущение, что он хорошо и даже очень хорошо справился со своим делом, у императора Николая потому, что он снова мог отдаться семейной жизни. Я покинул Петергоф и Петербург не в таком приподнятом настроении, как император Вильгельм II, но с обновленной уверенностью в том, что наши отношения с Россией являются вопросом дипломатической ловкости. Обратный путь до Киля продолжался несколько дней, и император воспользовался этим временем, для того чтобы прочесть мне специальный курс о флотской политике. Он часами объяснял мне, как слабы мы еще на море и как необходимо усиление нашего флота, задуманное им и Тирпицем. Он всячески старался подготовить меня к предстоящей борьбе в парламенте и печати. Тем временем солнце знойно палило. Воздух был неподвижен, и Балтийское море расстилалось гладкое, как зеркало. Чтобы избавить императора и себя от излишней затраты времени и энергии при такой угнетающей жаре, я говорил ему, что я уже несколько лет убежден в необходимости иметь достаточную защиту для миллиардных ценностей и народных сил, которые мы вверяем морю, et qu'il prêcherait à un converti [2].

Но Вильгельм II не смущался — таков уж был его характер: если его что-нибудь интересовало, он хотел непременно сам приложить руку к этому делу.

Он по натуре был человеком деятельным и работоспособным,

[1] Император Николай обладает равнодушием, которое граничит с героизмом.
[2] И что он проповедует уже обращенному.

Но чрезмерная активность Вильгельма II таила в себе безусловно большие опасности. Однажды, будучи в меланхолическом настроении, Миккель заметил по этому поводу: «Император интересуется только тем, в чем он может принять участие. Но если он сам берется за что-нибудь, то он портит все дело». Это было слишком резко. Гинспетер говорил мне с глазу на глаз, что, по его мнению, его ученик лишен всяких философских способностей, он способен только ко всему механическому, ремесленному. Ему следовало бы заняться машиностроением. «Любой морской офицер, — продолжал он, — подтвердит, что никто не знает флотских сигналов так хорошо, как Вильгельм II, и что ни один капитан не знает так на-зубок все морские технические выражения; но вместе с тем император не сумел бы провести даже маленькое судно из Киля до Экернферде. В сухопутном военном деле то же самое. Он умеет критиковать маневры, но совершенно не сумел бы сам командовать армией. И это счастье, потому что уже по этой причине император боится войны. Если же дело дойдет до войны, то он несомненно предоставит кому-нибудь другому все руководство и всю ответственность; если он и будет вмешиваться, то самое большее только в морские дела».

Когда 14 августа 1897 г. мы снова прибыли в Киль, император предложил мне как можно скорее приехать в Вильгельмсгее, куда он вызвал также и Тирпица.

Тирпиц прибыл в Вильгельмсгее еще до меня. Адмирал Тирпиц принадлежал к наиболее выдающимся людям, каких я встречал в жизни. Даже среди немцев, которые обладают большими способностями и чрезвычайной склонностью к организаторской работе, адмирал Тирпиц выделялся как организатор необычайного масштаба. Он умел создавать широкие планы — самые грандиозные — и притом схватывал все детали. Смелую фантазию он соединял с трезвым расчетом.

Среди товарищей и коллег Тирпиц пользовался репутацией неуживчивого человека. Это само по себе еще не являлось порицанием. Хуже было то, что он имел склонность жертвовать ради своих целей другими, тоже важными и заслуживающими внимания интересами. Несомненно имелась опасность в том, что Тирпиц, концентрировавший все свое внимание на флоте, будет склонен развивать его за счет армии; между тем армия попрежнему оставалась тем Атласом, на плечах которого, так же как и в эпоху великого короля, покоились Пруссия и Германия. Тирпиц страдал одним недостатком: он не был настоящим политиком. Как большинство представителей армии и флота, он не улавливал нюансов, он склонен был думать, что дела обстоят или так или этак, а между тем часто они обстоят то так, то этак, или *и* так *и* этак. Он слишком часто исходил из того, что есть только два пути, между тем обычно между ними имеются промежуточные пути, по которым может быть полезнее итти в течение непродолжительного, а иногда и продолжительного времени. Эти ошибки адмирала были обычными ошибками чисто военного мыш-

ления. Отсюда можно сделать вывод, что военные редко бывают хорошими дипломатами и государственными деятелями, а также и наоборот. Тирпиц не годился для руководства внешней политикой или для воздействия на нее еще и потому, что при всем своем внешнем спокойствии он по страстности своей натуры был склонен руководствоваться в суждениях и действиях чувствами симпатии и антипатии. Ему нехватало холодного спокойствия, которое свободно от чувства любви и ненависти и устремляет свое внимание исключительно на то, что соответствует нуждам страны в решительный момент. Вследствие этого он иногда был неправ в своих суждениях и отзывах не только о различных предметах, но и о людях, например о нашем после в Лондоне графе Пауле Меттерних; вследствие этого же он иногда создавал себе иллюзии относительно России и даже относительно Франции, у которых он искал опоры против особенно ненавистного ему Альбиона.

Если Каприви в эпоху «нового курса» и Бетман-Гольвег после моей отставки вбили себе в голову, что война с Россией неизбежна, то главный адмирал, который был гораздо умнее их, был далек от такого образа мыслей. Бесспорно в Англии и России существовали настроения, очень неприятные и очень опасные для Германии. Было много зависти и ненависти. Совершенно правильно, что мы всегда должны были быть на стороже. Это внушал еще Фридрих Великий своему преемнику. Но столь же правильно, что после 1871 г., после восстановления империи, мы должны были стараться не дать нашим противникам напасть на нас с флангов и должны были, не роняя своего достоинства, ловко избегать больших войн. Этого ожидал от меня Тирпиц как от руководителя внешней политики. Он поддерживал меня в стараниях, направленных в эту сторону, поскольку это было совместимо с его увлечением флотом. Предпосылкой для твердой целеустремленной и притом осторожной политики, т. е. той политики, которая мне представлялась правильной, было не считать, что конфликты с Англией или с Россией совершенно неизбежны. Фаталистическая теория и всякое признание неизбежности парализуют энергию, ослабляют силу воли и ума и в конце концов создают то настроение, при котором колибри влетает в ядовитую пасть змеи. Эта участь постигла нас в роковое лето 1914 г.

Тирпиц писал превосходно: ясно, логически, убедительно. Говорил он не так хорошо, голос у него был тихий, кажется из-за того, что он страдал астмой.

Я поддерживал Тирпица в личных отношениях и в политике с первого до последнего дня моего пребывания у власти. И он в теплых выражениях признал это в письме, которое написал мне после моей отставки. После нашей слишком запоздалой, но славной морской победы при Скагераке [18] главный адмирал ответил на мое поздравление, что мое участие в этой победе не менее значительно, чем его собственное. Я поддерживал статс-секретаря не

только по соображениям личной дружбы, но и в силу убеждения, что этим я исполняю свой долг по отношению к отечеству и приношу пользу немецкому народу.

Я твердо убежден, что если бы германский флот был пущен в дело и отправлен на врага в самом начале войны в августе 1914 г., то Германия не только находилась бы в совершенно ином положении, чем сейчас, но и мнение о Тирпице было бы у многих теперь совершенно иное. Роковая боязнь императора рисковать своими любимцами — огромными кораблями, которые были так дороги его сердцу, раболепство и мягкость тогдашнего начальника морского кабинета адмирала Мюллера и наконец ослепление фон Бетмана, который главным образом был озабочен тем, чтобы «не раздражать» англичан, помешали морскому сражению, которое, по мнению значительного большинства наших морских офицеров, имело большие шансы на успех, если бы оно было дано в надлежащий момент.

Если бы Тирпиц в начале войны не был парализован в своих действиях завистью и мелочностью одних, слабостью других и роковой ошибкой императора, если бы он не был отстранен от всякого влияния в смысле руководства флотом и применения его в боевых действиях, то все сложилось бы совершенно иначе, и он стал бы Шарнгорстом нашего флота.

Флотский законопроект, который предполагалось внести в рейхстаг, был подвергнут подробному обсуждению в 1897 г. в Вильгельмсгее императором, Тирпицем и мной, частью всеми втроем, частью в отдельных беседах между императором и мной и между мной и статс-секретарем морского ведомства. Тирпиц представил нам основные положения флотского законопроекта, который должен был быть опубликован несколько месяцев спустя. В самом законопроекте предлагалось подчеркнуть, что союзные правительства не задаются безбрежными планами в отношении сооружения флота и не намерены нарушать права рейхстага. Наша цель заключается в том, чтобы за короткий срок создать германский флот, который был бы достаточно мощным, чтобы с успехом отстаивать морские интересы империи на море. Этот законопроект был проникнут совершенно иным духом, чем все предыдущие законопроекты морского ведомства. Чувствовалось, что здесь говорит ясный ум и сильная воля. Весь законопроект, как и все его отдельные положения, был проникнут строгим единством. Пока это был только проект, но это был план, раскрывавший весьма широкие горизонты. В этих горизонтах, в этой проекции будущего заключалось величие, но также и политическая опасность проекта Тирпица. Я повторил адмиралу и еще раз подчеркнул в беседе с его величеством, что не сомневаюсь в возможности разъяснить преобладающему большинству немецкого народа необходимость усиления нашего флота. Я убежден также, что правильное выступление правительства в комиссии и в пленуме рейхстага сумеет увлечь депутатов. Я не обладаю еще парламентским опытом, но мое чувство подсказывает мне, что

законопроект этот будет принят рейхстагом. Более сомнительно для меня, даст ли нам Англия возможность и нужное время, для того чтобы осуществить широко задуманные, заглядывающие далеко в будущее планы адмирала Тирпица. В этом узловой пункт всего вопроса и всего нашего положения. Мы не должны ставить себя в зависимость от Англии. Если мы всецело свяжем себя с Англией, то она не позволит нам защитить колючей проволокой наше экономическое развитие, которое уже теперь весьма беспокоит нашего британского кузена; она не позволит нам стать самостоятельными. Мы не должны провоцировать Англию, но и не должны связывать с ней свою судьбу. Между Сциллой и Харибдой лежит опасная зона, которую нужно пройти. Для меня политическое положение сильно изменилось бы, если бы в наших новых сооружениях не так выдвигались на первый план большие суда и если бы законопроект более напирал на постройку крейсеров, а также торпедных лодок и береговых укреплений. Но на самом деле имеется как раз обратное. Тирпиц даже прямо желает отказаться от сооружения новых броненосцев береговой обороны.

Мои замечания не понравились императору и вызвали с его стороны живейшие возражения. В беседе с глазу на глаз он даже позволил себе замечание, что по всей вероятности это все мне внушил «злой старик в Фридрихсруэ». Он и Тирпицу советовал не требовать больших линейных судов, а только крейсеров. Я мог, не уклоняясь от истины, заявить императору, что князь Бисмарк вообще не говорил со мной о морском законопроекте и морской политике.

Адмирал Тирпиц с такой компетентностью и таким превосходным знанием дела обосновывал в Вильгельмсгее требование сооружения линейных судов, что неспециалисту трудно было успешно возражать ему в этой области. Но я не мог умолчать о том, что в политическом отношении будет тем труднее гарантировать осуществление морских планов, чем сильнее мы привлечем внимание англичан к большим судам. Я в настоящее время еще не полагаю, чтобы Англия решилась на какой-нибудь насильственный шаг из-за того, что мы строим флот, и не думаю, что она предъявит ультиматум или примет какие-нибудь другие меры, как это было сделано 90 лет назад по отношению к Дании. Но для наших политических отношений с Англией это создаст чрезвычайные затруднения. Если мы свяжем себя договором с Англией, то это в большей или меньшей степени будет означать отказ от осуществления наших флотских планов, потому что они вряд ли совместимы с вполне искренним, основанным на взаимном доверии, англо-германским союзом. Но даже если мы и сохраним за собой полную свободу действий, мы все же должны стараться избегать всего, что может подать повод к ненужному недоверию и излишним требованиям между нами и самой сильной морской державой. Мы должны все время выдвигать на первый план «идею риска» как основную цель сооружения германского

флота, должны подчеркивать, что сооружение флота не является с нашей стороны угрозой наступления, а что мы только стремимся создать здесь все увеличивающийся риск для того, кто нападением на нас нарушит мир. Тирпиц обещал мне, что в этом отношении я могу рассчитывать на его поддержку, и это обещание он сдержал.

ГЛАВА VIII

Во время маневров в Гессене, после парадного обеда в Гомбурге, я встретил в открытых боковых дверях моего старого уважаемого петербургского начальника генерала фон Швейница.

Генерал условился со мной о свидании на следующий день так, чтобы мы могли свободно поговорить. Мы имели возможность подробно обсудить внутреннее и внешнее положение. Симпатии Швейница склонялись больше в сторону Англии, нежели России. Генерал Швейниц еще в ранней юности бывал в Англии, отлично говорил по-английски и любил англичан. Однако он был вполне согласен со мной, что Россия еще и сейчас является стержнем нашей внешней политики. До тех пор пока мы находимся в мирных отношениях с Россией, Франция на нас не нападет, а Англия тем более. Но стоит нам вступить с Россией в конфликт, как несомненно тотчас же выступит Франция, а очень вероятно и Англия.

Во время нашей беседы я вспомнил выражение князя Бисмарка, который однажды в конце восьмидесятых годов в моем присутствии сделал такое замечание: «В русской бочке происходит брожение и слышится вызывающий тревогу гул. В один прекрасный день это может привести к взрыву. Для международного мира будет всего лучше, если взрыв последует не в Европе, а в Азии. Тогда нам достаточно будет не становиться прямо перед вгулкой, чтобы она не угодила нам в брюхо».

Фон Швейниц живо подхватил эти слова князя Бисмарка: «В этом великий старик тоже прав. Россия всегда должна иметь предохранительный клапан для вредных соков, которые бродят в ней. Раньше для этой цели служил Балканский полуостров — Ближний Восток. В данный момент, когда мы сделались союзниками Австро-Венгрии, это слишком опасно, в особенности если наша политика будет проводиться не слишком искусной и вместе с тем недостаточно твердой рукой. Остается только Восточная Азия — Дальний Восток. Туда и нужно направить русских».

Касаясь внутреннеполитических задач и в особенности моего выступления в парламенте, Швейниц напомнил мне остроумное изречение Сократа. Этот мудрец спросил молодого Алкивиада, охваченного некоторой «боязнью рампы» перед своим первым выступлением на Пниксе, страшно ли ему говорить с колбасником Аристоном или сапожником Леандром порознь. Так как этого нет, то ему нечего бояться этих же людей и тогда, когда он видит их вместе. Мне стоит только посмотреть наших уважаемых

депутатов вблизи и поодиночке, и они уже вряд ли будут мне импонировать. «Но самой трудной части вашей задачи, — продолжал генерал Швейниц, — мы еще не коснулись. Я имею в виду отношения с императором. Вот, послушайте. Когда я был молодым офицером в Потсдаме еще до 1848 г., мы жили в очень простой обстановке. Тогда в Потсдаме большой интерес возбуждал цирк, в котором показывали лошака по кличке «Гибралтар». Тому, кто проехался бы на этом лошаке три раза подряд по арене, была обещана награда — сто талеров. Много уланов, кирасиров и гусар брались за это дело. Некоторым удалось прокатиться на «Гибралтаре» только один раз, при второй попытке он сбрасывал их. Другим случалось прокатиться даже по два раза, но трех раз не усидел ни один. Так вот, такой же трудной задачей представляется мне возможность ужиться с нашим всемилостивейшим господином!»

Часто приходилось мне потом вспоминать об этом «Гибралтаре».

ГЛАВА IX

Во время моего пребывания с императором на маневрах в Гессене я получил от Филиппа Эйленбурга копию письма, написанного ему императором Вильгельмом по возвращении из Петергофа. Несмотря на то, что я знал императора много лет и в течение последних нескольких месяцев имел возможность еще ближе узнать его, я ужаснулся этому письму. Какие преувеличения! Какие иллюзии! Что за роковая манера видеть людей и вещи такими, какими их можно видеть только в состоянии аффекта. Еще неприятнее на меня подействовала несдержанность, с какой император обращался не только с действительностью, но и с правдой, приписывая мне слова и взгляды, которых не только я никогда не высказывал, но которые совершенно противоречили всем моим желаниям и советам. Это письмо, подобно прожектору, осветило все трудности моей задачи — защитить нашу империю от всех грозящих нам изнутри и извне опасностей при наличии этого во многих отношениях одаренного, любезного человека, но вместе с тем склонного к заблуждениям, преувеличениям и всякого рода иллюзиям.

20 августа 1897 г. император писал Филиппу Эйленбургу из Вильгельмсгее:

«Дорогой Фили! Прими глубокую благодарность за твое ценное интересное письмо с вложенной в него запиской, содержание которой я еще отлично помню. Твои откровенные высказывания относительно обсуждения вопроса о флоте обрадовали меня. Я тебе очень благодарен за это; если ты не будешь говорить чистосердечно, то кто же сделает это? Видно, что ты озабочен морскими вопросами, в особенности же в связи с так называемым «настроением» на юге нашего «объединенного» немецкого отечества. Поэтому тебе интересно

будет знать, что произошло в этом вопросе. Закон о флоте в общих чертах уже готов, имеет мое одобрение и принципиальное одобрение канцлера. Закон предусматривает состав флота, которого он должен достигнуть к 1905 г. и который может быть и должен быть достигнут. Этот закон обусловливает увеличение количества обыкновенных расходов до 28 миллионов и повышение расходов на строительство судов до 56 миллионов вместо нынешних 30—40 млн. в год. В этом все чудо! Храбрая немецкая нация приготовилась к миллиардам, и когда этот проект станет на повестку дня, она будет сидеть с очень глупым видом, тем более что первые квоты требуемых сумм останутся на прежнем уровне и не должны меняться. Таков в общих чертах закон. Но как он будет проводиться? Тирпиц недавно организовал большое бюро, которое частью само, частью через посредников выпускает 1 000—1 500 газет и брошюр со статьями на морские темы. В больших университетских городах профессора очень охотно содействуют распространению в массах путем устного и печатного слова понимания необходимости усиления флота. Затем Тирпиц использовал свое пребывание в Сен-Блазьене, чтобы приблизиться к дядюшке Фридриху Баденскому и посвятить его в это дело. В результате великий герцог, который, подобно многим другим государям и самому населению, ничего до сих пор не подозревал и не понимал, был так поражен умеренностью требований и невозможным состоянием нынешнего положения и тем, что проведение этого закона является национальной необходимостью, что сделался горячим поборником моих идей, проводимых в жизнь Тирпицем. Адмирал приехал с известием от герцога Баденского, что он убежден в правильности моих планов и готов всего себя посвятить делу борьбы за флот (sic!). Он будет направлять баденскую прессу и незамедлительно разъяснит «всем союзным государям», что их «долг и обязанность» поддерживать императора в этом вопросе. Их деятельность должна будет выразиться в том, что все представители союзных государств в союзном совете должны сделать в парламенте энергичные разъяснения, которые рассеяли бы у него малейшие сомнения в том, что союзные государи поддержат императора! Ягеман получит инструкции в этом смысле! Тирпиц отправляется отсюда в Фридрихсруэ, чтобы поговорить с «сердитым стариком» относительно выступления по поводу спуска корабля, а оттуда в Мюнхен, Штуттгарт, Дармштадт, чтобы там также сделать доклады местным государям и дать им соответствующие разъяснения. Дядя Фриц дал ему рекомендации во все эти места и хочет также подготовить почву для его визитов.

Это относительно Тирпица и немецких государей. Ты видишь, что при наличии таких обещаний мне ничего не остается, как помалкивать и употреблять мой клюв только

для того, чтобы есть, пить да покуривать. Какой великолепный урожай начинает всходить и как вознаградил меня господь за все усилия, заботы, огорчения, понесенные мною на этом поприще. Что касается обсуждения вопроса о флоте в министерстве, то там царит полное единодушие, но с присоединением хорошей дозы страха перед борьбой, перед депутатами и т. д. Самым большим паникером к моему величайшему огорчению является скользкий, как угорь, Миккель. И этот господин, который по своему характеру напоминает тростинку, настолько увлекся, что вчера пустил инспирированную статью в «Norddeutsche» и в «Post», направленную против проекта Тирпица, не известного еще (в деталях) ни широкой публике, ни коллегам. Результатом этого явилась резкая телеграмма Тирпица на имя Гогенлоэ и строгий приказ «Norddeutsche» не позволять себе в качестве правительственной газеты подобных выходок. Бернгард (великолепный парень!!!), минуя министерство иностранных дел и прессу, сразу же нагнал страху, в частности он взял на себя передать упрямому вице-президенту моего министерства несколько любезностей от моего имени и основательно намылить ему голову. Он даже уполномочен сказать в министерстве, что те господа, которые не желают слушать моих приказов и не одобряют моей политики, могут моментально выкатиться оттуда. Наступило наконец время, когда всякие закулисные интриги должны прекратиться и должно воцариться послушание однажды выраженной королевской воле. Как этого требовал и Фридрих Великий от своих генералов перед битвой при Лейтене!

Что касается законодательства против революции, то я уже высказал свои взгляды по этому вопросу: я думаю, что мы гораздо скорее достигнем цели, если тяжелыми наказаниями отпугнем рабочих от забастовок, бойкотов и т. п., одновременно обеспечив желающим возможность работать беспрепятственно, нежели издавая так называемые законы против социалистов. Нужно сделать более суровым уголовный кодекс, чтобы проступки социалистов, проходящие теперь безнаказанно, карались бы тюрьмой сроком не меньше, чем десять лет. Это скоро даст свои результаты. Никто не хочет итти в тюрьму, так как ореол их от этого очень тускнеет. Бернгард вполне разделяет мои взгляды.

Визит в Россию, против всякого ожидания, прошел прекрасно. Мне удалось подробно побеседовать с Ники по всем крупным политическим вопросам и притти к полному согласию. Мы, так сказать, вдвоем распорядились миром. Возвращение Эльзас-Лотарингии Франции с помощью России абсолютно исключается. Слава богу, нам нечего больше бояться войны между Галлией и нами, между нами и русскими. Континентальная блокада против Америки и, в случае чего, против Англии — дело решенное. Россия обяза-

лась волей и неволей привлечь к этому делу Францию. На тебя возлагается обязанность отделить Вену от Лондона! Мы расстались с Ники искренними, нежно любящими и абсолютно полагающимися друг на друга приятелями. В настоящее время наши отношения таковы, какими они никогда не были при Бисмарке и какие могли быть только в самом начале у моего деда с Николаем I. Бернгард отлично справился с положением, и я обожаю его! Бог мой! Какая разница между ним и южногерманским изменником! Как приятно иметь дело с человеком, который предан тебе душой и телом и который может и хочет тебя понять. С Кидерленом покончено, после того как он во время нашей поездки на север, умышленно отложив телеграммы, касающиеся критского губернатора, пытался уронить Бернгарда в моих глазах и разъединить нас с Голуховским! Милый край! Министерство иностранных дел работает под избыточным паровым давлением, выступает с важностью и ледяной горой стоит перед Бернгардом. Тем лучше.

Вильгельм I. R.»[1].

Читая это письмо, я понял, почему князь Гогенлоэ, с тех пор как я стал рядом с ним в качестве министра иностранных дел, уже дважды спрашивал меня спокойным и серьезным тоном, считаю ли я Вильгельма II вполне нормальным человеком? Он уже имел в своей жизни несчастье быть первым министром у душевно больного государя, говорил старый князь. Он не хотел бы, чтобы это случилось с ним во второй раз. Я близок князю и его семье уже много лет. Он просит меня и ожидает именно от меня, что я буду говорить ему истинную правду. Я тотчас же ответил, не задумываясь ни на одну минуту, то же самое, что и сегодня сказал бы в ответ на этот вопрос: «Нет, Вильгельм II — не душевно больной. Сравнение с Людвигом II Баварским уже потому не подходит, что несчастный баварский король был ненормален в половом отношении, был алкоголиком и не выносил людей. Наш император физически вполне нормален, абсолютно здоров, нравственно исключительно чистый человек. Но он неврастеник и как таковой переходит иногда от слишком большого оптимизма к такому же преувеличенному пессимизму. Было много одаренных, весьма значительных людей, которые в то же время были неврастениками. Замечательно то, что наш молодой император, в полную противоположность своему отцу, деду и прадеду, склонен к своеволию, свойству, на протяжении столетий или даже тысячелетий часто встречающемуся у государей и очень опасному. У Вильгельма оно выражается в стремлении импонировать, которое не только вызывает антипатию, но просто опасно в политическом отношении. Эта склонность вытекает из желания замаскировать чувство внутренней неуверен-

[1] I. R. — Imperater, Rex — император, король.

ности, даже робости, которую император испытывает гораздо чаще, чем думают посторонние. Он в сущности не смелая, а боязливая натура. Кроме того император очень бестактен, а такт, как известно, качество прирожденное, которому научиться нельзя. После того как я так откровенно ответил на этот тяжелый и серьезный вопрос, я надеюсь, что встречу такое же доверие, когда по чести и по совести скажу: Вильгельм II не только не болен психически в настоящий момент, но и никогда не будет психически больным. Это верно, поскольку человек вообще способен что-нибудь предсказать». Старый князь некоторое время молчал. Потом он сказал: «Болен он душевно или нет — тут есть много нюансов. Во всяком случае наш молодой господин должен иметь при себе умных и ловких советников. Он нуждается в этом больше, чем какой-либо другой властитель».

И вот, в то время как во главе империи стоял монарх, который как человек заслуживает в своем несчастии сочувствия всех сострадательных людей, но как правитель перед судом истории окажется слишком легковесным, в это самое время за фасадом возведенного Бисмарком гордого здания империи социал-демократия совершала свою работу могильщика. Ее деятельность напоминала термитов, тропических муравьев, которых природа снабдила особенно совершенными орудиями разрушения. Эти насекомые живут под землей, возводят целые постройки из глины, питаются древесиной и с поразительным искусством разрушают на поверхности самое крепкое дерево. Они образуют целые государства и во всем придерживаются системы и определенных методов. Если мы на место дерева поставим величие, силу и процветание империи, то аналогия будет полная. Во главе — ненадежная личность, внутри — упорная воля разрушителей. Конечно судьба ни в коем случае не была тогда неотвратимой. Совершенно ясно, что никакая разрушительная работа не могла бы свалить все еще крепкого здания, если бы мы с достоинством, но в то же время осторожно и предусмотрительно, проявляя необходимую ловкость, избегали войны. Только война, и особенно несчастная для нас война, могла вызвать у нас революцию и таким образом помочь социал-демократии вскочить в седло. Именно это и имел в виду Бебель, когда на одном международном социалистическом конгрессе воскликнул, обращаясь к французским товарищам, что тем, что у них образовалась республика, они обязаны победе немцев под Седаном, причем прибавил, что немцы в свою очередь ничего не имеют против того, чтобы французские товарищи помогли им таким же манером.

ГЛАВА X

Когда я в начале сентября 1897 г. прибыл в Берлин, на первом плане стояли два вопроса: угроза конфликта между Испанией и Соединенными штатами и тяжелые последствия войны между Турцией и Грецией. По отношению к обоим вопросам Вильгельм II

уже заранее выработал себе определенное мнение. События, которые способны были вызвать военные столкновения между другими государствами, влияли очень сильно на живое воображение императора Вильгельма II.

Император Вильгельм II следил за войнами других государств с увлечением театрального зрителя, перед глазами которого разыгрывается пьеса, интересующая его живейшим образом, но в которой он сам не должен участвовать. Он сохранял за собой только право критики и императорскую привилегию по своему усмотрению раздавать венки той или другой стороне. Он едва мог дождаться поднятия занавеса, когда чужим странам грозила война. В отношении назревающей испано-американской войны все симпатии императора Вильгельма были на стороне Испании уже в силу одного того, что Испания была монархией, а Америка республикой. Он считал обязанностью европейских монархов поддерживать «нашу славную коллегу», испанскую королеву-регентшу Христину.

Я должен был поэтому заботиться по возможности о том, чтобы император во время предстоящего визита в Будапешт не слишком проявлял бы свои антиамериканские взгляды. Испанская королева-регентша, отличная впрочем женщина и деятельная правительница, была дочерью эрцгерцога Карла-Фердинанда Австрийского, племянницей эрцгерцога Альбрехта, победителя при Кустоцце, и сестрой эрцгерцогов Карла-Стефана и Евгения, которые из всех австрийских эрцгерцогов были наиболее симпатичны императору.

Во время греко-турецкого конфликта, который разыгрался до моего вступления в управление иностранным ведомством, император был всецело на стороне полумесяца. Решающую роль и тут, как всегда, играли личные настроения императора, которые при его характере всегда одерживали в нем верх. Вряд ли я знал более подвижную, впечатлительную натуру, чем Вильгельм II. Он поддавался каждому влиянию и мог в течение одного дня два-три раза менять свое мнение. С другой стороны, вряд ли я встречал кого-нибудь еще, чье существо в своих основных чертах было бы таким неизменным.

Я думаю, что и теперь в Доорне Вильгельм II в основном по характеру остался тем же, каким он был, когда в 1897 г., после тяжелого поражения, понесенного греками под предводительством наследного принца Константина в Фессалии, он послал своей матери, относившейся к грекам со страстной симпатией, телеграмму, для того чтобы она как можно скорее узнала о неудаче, постигшей ее зятя, наследного принца Константина Греческого, и его гоплитов.

В оценке личности Вильгельма II многие ошибались. Даже проницательный глаз князя Бисмарка не проник в самую сущность характера Вильгельма, так как в большинстве случаев никто не понимал, что он действует исключительно под влиянием личных настроений. В 1897 г. он высказывал антигреческие

настроения только для того, чтобы позлить свою мать, которую он в сущности уважал за ее ум, образование, твердость ее характера, которую он даже в известные моменты любил, любил во всяком случае гораздо больше, чем она его, и по отношению к которой он все-таки вечно был в оппозиции.

Многие никак не могли понять внезапную, не обоснованную, позорную и для страны и для него самого перемену в отношении императора Вильгельма II к великому канцлеру его деда, наступившую вскоре после его вступления на престол. Это было тем более удивительно, что еще в период девяноста девяти дней Вильгельм II пел дифирамбы великому канцлеру, называя его знаменосцем империи, а вскоре после этого стал обращаться с ним, как с мятежником, бранить его и угрожать ему.

Причиной его почтения к Бисмарку, в то время когда он был принцем, было не собственное расположение, а желание таким путем стать в оппозицию к своим родителям, особенно к матери. Он знал, что это раздражает ее. Как только Вильгельм II вступил на престол, Бисмарк в роли ментора или, как Вильгельм называл его в беседе со своим ближайшим другом Филиппом Эйленбургом, в роли «домашнего учителя, если не мажордома», сделался для него обузой.

Когда я снова оказался в Берлине, я дал директиву сохранять в отношении испано-американского столкновения нейтралитет и большую выдержку, в отношении же критского вопроса, оставшегося не разрешенным после турецко-греческого конфликта, проявлять полное безразличие.

Император Вильгельм еще во время моего первого приезда в Киль сказал мне, что хочет, чтобы я сопровождал его как в Петергоф, так и в Будапешт, куда он обещал прибыть для присутствия на осенних маневрах.

В день моего приезда я получил почти двухчасовую аудиенцию у императора Франца-Иосифа. Он был тогда ко мне очень расположен. Он знал, что я во время своего пребывания в Риме поддерживал хорошие отношения с его представителями — бароном фон Бруком и бароном Пасетти. В частности ему было известно, что я во время моей службы в Бухаресте был в близких служебных и личных отношениях с моим австро-венгерским коллегой, впоследствии выдвинувшимся на пост министра иностранных дел, графом Агенором Голуховским. В Бухаресте я нередко бывал полезен Австро-Венгрии. Австрийцы были, правда, не совсем довольны тем, что в Бухаресте я добился выгодного для Германии торгового договора с Румынией, который австро-венгерской торговлей рассматривался как вторжение в ее прежнее монопольное положение. Но гораздо более значительным и важным в политическом отношении для габсбургской монархии и в особенности для старого императора Франца-Иосифа было то обстоятельство, что я ввел Румынию решительно и — как можно было предположить, — в случае правильного руководства нашей политикой, прочно в фарватер центральных держав.

Эти воспоминания обеспечили мне в 1897 г. милостивый прием у императора Франца-Иосифа. Во все время моей министерской деятельности его хорошее отношение ко мне оставалось неизменным. Император выражал мне свое безграничное удовлетворение, особенно по поводу моей тактики при разрешении боснийского кризиса 1908—1909 гг. Незадолго до моего возвращения в Берлин Франц-Иосиф сказал австро-венгерскому посланнику графу Сегени: «Это дело Билов (мою фамилию император Франц-Иосиф произносил на венский манер) провел отлично. Он, с одной стороны, удачно защитил наши законные, основанные на договорах, многолетние права на Боснию и Герцеговину, не доводя в то же время дела до войны. Я должен это приветствовать, потому что я старый человек и не хочу больше войн». Одновременно с этим старый император прислал мне свой высший орден святого Стефана с бриллиантами в сопровождении милостивой телеграммы.

Император Франц-Иосиф не хотел войны, и он знал почему. Он вел в 1859 г. войну за Италию — Италия была потеряна. В 1866 г. он вел войну за Германию — гегемония в Германии была его династией утрачена. Темное предчувствие подсказывало ему, что если в течение его царствования ему в третий раз придется воевать — на этот раз из-за балканских вопросов против югославянских притязаний, — то эта война может стать несчастной, последней войной для Габсбургов и для старой Австрии. Осенью 1914 г., сейчас же после объявления войны, император сказал своему другу госпоже Екатерине Шратт: «Я буду рад, если мы выйдем только с одним подбитым глазом». На втором году войны он вздыхал: «Война нам не по силам». Ему не пришлось дожить до конца мировой войны, но если я не ошибаюсь, он ушел из этой жизни полный темных предчувствий.

Милостивого отношения императора Франца-Иосифа я лишился только во время моей римской миссии в 1914—1915 гг. Он разгневался на меня за то, что я стоял за своевременные уступки Италии со стороны Австрии, чтобы предотвратить столкновение между центральными державами и Италией. Он не понимал, что ему и его империи с помощью ампутации одного пальца спасали жизнь. Как я потом разъясню, здесь играли несомненно большую роль интриги Берлина. При благосклонном отношении фон Бетмана посланник фон Чиршки и отставные дипломаты из партии графа Монтса старались очернить меня перед Веной. То обстоятельство, что воевавшая на всех фронтах Германия приобретает таким образом еще одного нового и сильного противника, казалось им второстепенным делом по сравнению с опасением, что успех в Риме может расчистить мне путь к возвращению на пост рейхсканцлера, хотя я, поскольку это зависело от меня, совершенно к этому не стремился.

Во время аудиенции в будапештском замке, за два десятилетия до почти одновременного падения габсбургской монархии и молодой, могущественной и счастливой, созданной Бисмарком,

Германской империи, старый император не предвидел ни будущей судьбы своей империи, ни того, что я вызову его неудовольствие мерами, направленными как раз к предотвращению этой катастрофы. Со свойственной ему простой, корректной, но полной достоинства манерой он предложил мне сесть.

Нельзя себе представить более резкого контраста, как между императором Францем-Иосифом и Вильгельмом II. Вероятно этот контраст и был причиной того, что Франц-Иосиф был единственным монархом в Европе, с которым у Вильгельма не было трений. Самые сильные столкновения у Вильгельма II были с его собственной матерью, на которую он так был похож многими чертами своего характера, а особенно своей даровитостью, обаятельностью своей личности, непринужденной манерой держать себя, впечатлительностью и живостью, а также своим эгоизмом, причудами и предвзятыми мнениями. «Нет в мире двух человек, — говорил мне однажды обер-гофмейстер императрицы Фридрих граф Гетц Секендорф, — которые были бы больше похожи друг на друга, чем императрица и ее старший сын. Разница только в том, что он носит брюки и саблю, а на матери длинное платье и вуаль». Когда вдовствующая императрица жаловалась мне однажды на своего старшего сына, я ответил, что несогласия между их величествами происходят вероятно оттого, что они слишком похожи друг на друга. Они сходны, как два биллиардных шара, которые тоже сталкиваются друг с другом. Императрица с живостью протестовала против этого. Она не хотела иметь ничего общего со своим сыном, не хотела ни в чем быть похожей на него. Если разница между Вильгельмом II и Францем-Иосифом была причиной их миролюбивых отношений, то следует признать, что несходство их доходило до такой противоположности, которую трудно себе даже представить. Вильгельм был всегда и во всем очень субъективным человеком; субъективность была собственно ядром его существа, он был, если употребить затасканное ныне слово, эгоцентричен. Император Франц-Иосиф был безличен, как тень, и к нему действительно можно было применить стихотворение: «Проходит тень через мировую историю, но чья она, различить невозможно».

Вильгельм II был тщеславен, он любил дешевую славу. Он всегда хотел стоять на авансцене. Император Франц-Иосиф не выпячивался; он держал себя, поскольку его монарший престиж это разрешал, всегда на заднем плане и никогда не говорил с подмостков. Вильгельм II любил пышность; он, как я уже говорил, носил столько орденов, сколько их можно было навешать. Его самочувствие улучшалось, если он мог взять в руку фельдмаршальский жезл или адмиральскую подзорную трубу на борту корабля, которая на воде заменяла фельдмаршальский жезл.

Император Франц-Иосиф надевал только ордена других государств, только в честь других монархов, когда он их принимал или же сам посещал их, причем они бывали миниатюрной

формы. Я не думаю, чтобы он когда-либо даже касался фельдмаршальского жезла.

Мысль нарядиться в придворный охотничий костюм, высокие сапоги со шпорами и шляпу с пером, которыми Вильгельм снабжал своих друзей и слуг на охоте, вызвала бы в нем ужас. Император Франц-Иосиф надевал на охоту такой же простой костюм, как и каждый австрийский дворянин. У германского императора была та манера говорить, которую французы называют saccadée — порывистая, у австрийского императора — размеренная, ровная, монотонная, почти усыпляющая. Германский император в душе никогда не забывал своего звания, но с людьми, которые были ему симпатичны, легко впадал в фамильярность, что иногда вело к такому же обращению с их стороны. Он говорил «ты» всем немецким государям не только родственных владетельных домов, но и тем, которые не принадлежали к его династии. Император Франц-Иосиф удостаивал обращения на «ты» только самых близких родственников и принцев своего дома. Говорить «ты» каждому Лобковичу или Эстергази показалось бы императору Францу-Иосифу бесвкусицей.

Замечу кстати, что император Вильгельм никогда не говорил мне «ты», как об этом часто рассказывали. Впрочем я был очень доволен этим. Вовсе не обязательно для пользы дела, чтобы монарх со своим министром был в слишком фамильярных отношениях. Англичанин говорит: «фамильярность порождает неуважение». Слишком большая фамильярность облегчает монарху возможность несерьезного, даже дурного отношения к своим министрам. Это приводит к тому, что министры смотрят на монарха не как на верховного главу страны, за благо которой они ответственны, а как на близкого им друга, которого не хочется сердить или раздражать. Вильгельм II во второй половине своего царствования оказывал большое благоволение князю Максу-Эгону Фюрстенбергу, который хотя по праву наследования и владел землями в Бадене, но по своему рождению, характеру, по своим склонностям и традициям был вполне австрийцем. Вильгельм ежегодно посещал Фюрстенберга, приглашал его с собой в путешествия, как и графа Лондсдаля, так же и на германские маневры. У германского императора не было никаких тайн от австрийца Фюрстенберга, ни личных, ни политических; он показывал ему даже секретные донесения, поносил перед ним своих министров и чужих государей, был совершенно откровенен с ним. Император Франц-Иосиф не признавал таких интимностей. «Я поражаюсь тому, — говорил Франц-Иосиф одному австрийскому князю, который передал это мне, — какое значение придает император Вильгельм этому Фюрстенбергу, совершенно необразованному и несерьезному человеку. И что только он нашел в этом Фюрстенберге? Да ладно, для меня это не плохо». Франц-Иосиф действительно ничего не мог иметь против близости Вильгельма II с Фюрстенбергом, так как князь Фюрстенберг старался, поскольку ему позволяли его умственные способности и уменье,

защищать при прусском дворе австрийские интересы. Таким путем князь Фюрстенберг неоднократно портил наши отношения с Россией и Италией. Австро-венгерский посол в Берлине граф Сегени сказал мне, что граф Фюрстенберг сообщал в Вену все, что он слышал интересного в политическом отношении при берлинском дворе. Это было естественно для человека, который по рождению, по симпатиям, по жене и матери был чистокровным австрийцем. Он (Сегени) счел своим долгом, долгом совести и приличия, сказать мне об этом открыто.

Самым важным отличием Франца-Иосифа от Вильгельма II было то, что глава двуединой монархии был совершенно лишен фантазии, которой природа слишком щедро наградила германского императора. В силу этого Франц-Иосиф не был в состоянии постигнуть современные течения, идеалы, заветные мысли, заботы и ошибки своих многочисленных народов, не говоря уже о том, что он не умел мудро использовать их в интересах государства. Франц-Иосиф часто неправильно понимал современность, ему нехватало также интуиции для прогноза будущего. Вильгельм II часто, к сожалению очень часто и очень сильно, ошибался, но он обладал способностью предвидеть перспективы будущего, обладал душой. Если Вильгельм II временами бывал чересчур восторженным, то Франц-Иосиф был слишком уравновешен. Может быть это будет слишком резко, если я скажу, что он был совершенно бесчувственен, но он делился своими чувствами только с самыми близкими ему людьми. Вряд ли ему удавалось в личной беседе с глазу на глаз убедить какого-нибудь противника, превратить его из врага в друга, очаровать какого-нибудь политика. Франц-Иосиф не был ловцом человеческих душ, тогда как Вильгельм II своей личной привлекательностью неоднократно перетягивал на свою сторону людей, которые приходили к нему серьезно настроенные против его идей и планов. В противоположность своим австрийским, а особенно венским подданным Франц-Иосиф был лишен малейшей сентиментальной черты. Он стоически переносил испытания судьбы — и какие испытания! — личного и политического характера, но оставался так же нечувствителен и к страданиям других; в лучшем случае Франц-Иосиф уделял им несколько совсем банальных слов. Вильгельм II был трогателен в своем участии к людям, которые ему были по душе. Франц-Иосиф никогда не терял самообладания при своих министрах, во всяком случае в более пожилом возрасте, но зато он и не проливал слез ни по одному из них, даже если они были у него на хорошем счету. Когда рейхсканцлер Гогенлоэ в 1895 г. мягко, но непреклонно потребовал удаления с поста министра внутренних дел Эрнста Матиаса фон Келлера, которого император очень любил, Вильгельм II страдал, чувствовал обиду, надолго оставившую след в его душе. Еще будучи кронпринцем, в период девяносто девяти дней, Вильгельм с огорчением воспринял отставку своего любимого друга министра Роберта Путткамера, происшедшую при молчаливом согласии

Бисмарка. Вильгельм живо выражал свои чувства по этому поводу. Франц-Иосиф так же равнодушно отнесся к уходу друга своей юности Таафе, как и к отставке ненавистного ему «плохого австрийца» Гискра. Граф Бернгард Рехберг в критические годы царствования Франца-Иосифа, с 1859 по 1865 г., в качестве министра иностранных дел особенно близко стоял к императору. Когда Франц-Иосиф, спустя десятилетия, во время своего случайного посещения Швехата среди собравшейся знати впервые вновь увидел графа Рехберга, этого испытанного государственного деятеля, достигшего уже 91 года, император не нашел для него других слов кроме фразы: «Мы давно не видались». Германскому императору никто не бывал безразличен. По отношению к каждому он всегда занимал позицию или за или против. Император Франц-Иосиф, не сморгнув бровью, допустил назначение венгерским министром Франца Кошута, отец которого, Людвиг Кошут, в качестве венгерского диктатора в рейхстаге в Дебречине в 1849 г. провел постановление о свержении габсбурго-лотарингского дома. Вильгельм II в течение всей мировой войны и еще летом 1918 г. был против моего возвращения к делам, несмотря на то, что я ему и стране в течение долгих лет моей службы оказал немало услуг. Он не мог простить моего поведения в ноябрьские дни 1908 г., вызванного интересами империи и короны. С другой стороны, в характере Вильгельма было много человечных прекрасных черт.

Было бы впрочем ошибкой думать, что император Вильгельм II лично внушал симпатию Францу-Иосифу. Габсбург ценил верность Гогенцоллерна союзу, он верил его лойяльности, но как личность Вильгельм действовал на нервы Францу-Иосифу, который был настолько старше его и так отличался от него своей психикой. Франц-Иосиф всеми силами старался скрыть это. С неприятным чувством ожидал он свиданий с Вильгельмом II, при прощании вздыхал с облегчением. Франц-Иосиф находил Вильгельма II оригинальным, но не совсем солидным человеком. Он находил вульгарными шутки и каламбуры своего германского коллеги, а все поведение последнего казалось ему лишенным истинного достоинства. Так как Вильгельм II при всех своих блестящих дарованиях не обладал нужным чутьем и тактом, то он не замечал, что при существующей между обоими монархами громадной разнице в летах бо́льшая сдержанность с его стороны подействовала бы очень благотворно на старого Франца-Иосифа и что австрийскому императору было бы гораздо приятнее, если бы Вильгельм не так часто появлялся на берегах прекрасного голубого Дуная. Каков бы ни был Франц-Иосиф, он был последним австрийским императором. Было бы оскорблением для старого императорского дома, если бы императора Карла называли последним императором из дома Габсбургов. Это Эфиальт среди государей — лживый и трусливый изменник, перешедший на сторону неприятеля и предавший своего союзника, который (к сожалению из-за Австрии) ввязался

в самую ужасную из всех войн. Карл — позорное пятно в истории Австрии и габсбургского дома. Его нельзя считать ее последним звеном.

19 сентября 1897 г. в будапештском замке Франц-Иосиф начал разговор со мной, соответственно месту нашего пребывания, с обозрения балканских князей. Больше всего досталось князю Фердинанду Болгарскому. Князь Фердинанд в молодые годы служил в австрийской армии. Как и многие другие отпрыски кобургского дома, он был богато одаренной натурой и безусловно принадлежал к тому типу князей, которые достигают наибольших успехов. Превосходя большинство современных ему монархов живостью, смелостью и тонкостью своего ума, он в течение всей своей многолетней службы в австрийской армии считался посредственным гусарским офицером. В то время как император Франц-Иосиф до глубокой старости держался в седле прямо, как свеча, и легко брал любой ров, князь Фердинанд смотрел на каждую лошадь как на личного врага. Старому кавалеристу Францу-Иосифу это не нравилось. В еще гораздо большей степени Францу-Иосифу не приходилось по душе то, что князь Фердинанд через два года после крещения своего старшего сына, наследного принца Бориса по католическому обряду, велел перевести его в лоно болгарской национальной «православной» церкви путем вторичного крещения его рущукским митрополитом по православному обряду. Император Франц-Иосиф был верным сыном католической церкви, но не был ни нетерпимым человеком, ни ханжой. «За три новых кавалерийских полка, — сказал однажды престарелый генерал-адъютант граф Паар, — император отдаст всех епископов». Государственные интересы стояли на первом плане у Франца-Иосифа. О нем можно было сказать, что он представлял собою воплощение австрийских государственных интересов, если даже он и не обладал настолько выдающимся умом, чтобы всегда действовать соответствующим образом. Он был далек от религиозного пыла своего племянника эрцгерцога Франца-Фердинанда, который однажды, после проповеди иезуитского патера по поводу благостности католической реакции при императоре Фердинанде, дрожащим голосом, с блестящими глазами сказал, что эта проповедь была для него самым прекрасным и глубоким впечатлением его жизни. Еще более далек был Франц-Иосиф от ограниченности своего племянника, эрцгерцога Карла, который, вступив на престол на несчастье габсбургской монархии и ее германского союзника, поручил какому-то южногерманскому капуцину набросать ему программу руководства одним из сложнейших и запутаннейших механизмов в мире, каким являлась внутренняя и внешняя политика Австро-венгерской империи. Этот честный монах был менее опасным советчиком, чем члены другого ордена, с помощью которых император Карл и интриганка, императрица Цита, его жена, впоследствии предали своего германского союзника, ради габсбургской монархии включившегося в самую страшную из войн.

Больше всего императору Францу-Иосифу не понравилось в Фердинанде Болгарском в деле крещения его сына то, что он называл «бесхарактерностью». Он с удовольствием рассказывал мне о Фердинанде Болгарском злые анекдоты, которыми его снабжал его министр иностранных дел граф Голуховский, еще более строго, чем сам император, осуждавший факт крещения болгарского наследного принца. Старый император был больше доволен Сербией. Там почти целое столетие боролись две династии: Обреновичи и Карагеоргиевичи, применяя приемы дома Атридов, а также членов семьи Борджиа. Еще точнее будет сравнение со средствами борьбы, которые употреблялись в корсиканских деревнях членами двух враждующих родов, когда между ними вспыхивала вендетта. Король Милан из фамилии Обреновичей причинил Австрии много хлопот своим легкомыслием, но он всегда был приверженцем Австрии, от которой получал богатые субсидии. После одной продолжительной ссоры со своей женой, Натальей Кетчко, Милан оставил наскучивший ему Белград, чтобы насладиться жизнью в придунайской Капуе — в прекрасной, жизнерадостной Вене, время от времени совершая поездки в Париж. Его сын Александр в делах политики шел по стопам своего отца. В Вене тогда были им довольны. Сербская Цирцея, г-жа Драга Машин еще не появлялась молодому королю. С истинной симпатией император отозвался о румынском короле Кароле, который нравился ему своим уравновешенным характером, спокойной рассудительностью и прекрасными манерами. «У нас с Румынией все обстоит хорошо», — сказал император Франц-Иосиф. Мне было слишком хорошо известно, что между обеими странами не так уж хорошо все обстоит. Я слишком долго служил в Бухаресте, чтобы не знать, какие большие опасности для Габсбургской монархии таит в себе неистовая венгерская национальная политика.

Один из самых умных венгров, Вениамин фон Калай, с 1879 по 1882 г. бывший начальником отдела в министерстве иностранных дел, затем имперским министром финансов и правителем Боснии и Герцеговины, составитель недурной истории Сербии, однажды в конце девяностых годов произнес замечательную речь, в которой предостерегал свой народ от крайностей в национальной политике. Он напомнил о мираже, который время от времени появляется в венгерской пуште. Венгерцы называют его «Делибаб». Видение увлекает неосторожного путника за собой в трясину, которая засасывает его. В Бухаресте я имел достаточную возможность наблюдать, как эта характерная для венгерской национальной политики смесь мании величия и психологической близорукости, фанатической нетерпимости и адвокатской изворотливости вызывает чрезвычайное озлобление среди румын и сербов. Но презрение мадьяр к малым народностям, живущим на землях короны святого Стефана, так прочно укоренилось, что рассуждениями, доводами разума едва ли можно было чего-нибудь достигнуть. Для мадьяра румын всегда был

«вшючим валлахом». Относительно сербов и кроатов у него была пословица: «Славянин — не человек». Напрасно Франц Деак проповедовал своей нации рассудительность и умеренность, напрасно взывал к ней граф Гвила Андраши, указывая на то, что венгерский корабль так перегружен счастьем, что каждая лишняя унция груза, будь это грязь или золото, может опрокинуть судно. Парламентарное дворянское правительство, которое в Венгрии держит власть в руках, в ослеплении гналось за призраком полной ассимиляции или искоренения немадьярских народностей в землях короны святого Стефана. Этому ослеплению не был чужд ни один из влиятельных венгерских государственных деятелей после Деака и Андраши. Самым крупным из них был граф Стефан Тисса. Если бы в нем было столько же чувства меры, сколько нравственной силы, столько же рассудительности и осторожности, сколько пылкой любви к родине, его можно было бы причислить к весьма крупным государственным деятелям. Но и он принес в жертву идее гегемонии мадьярского племени все прочие соображения. Тисса нанес этим большой вред своей стране. Но как человек, всегда остававшийся верным себе, он представляет крупную историческую фигуру. Среди руководящих венгерских и австрийских государственных деятелей он один был против безрассудной политики, начало которой было положено летом 1914 г. предъявлением ультиматума. Он холодно отнесся к являвшемуся столь же безумным шагом провозглашению центральными державами независимости Польши. Он был против неумеренных аннексий уже потому, что они казались ему опасными с точки зрения преобладания мадьярской национальности в империи. Железной рукой сохранял он порядок. Когда император Карл, которому Тисса был несимпатичен как не-католик, вскоре после вступления на престол отстранил его, незадолго перед этим заявив, что «кальвинистский папа» слишком долго остается на своем посту, над двуединой монархией и домом габсбургов прозвучал колокол смерти, остановились часы, упали стрелки, ее время истекло.

Граф Гвила Андраши младший и граф Альберт Аппоньи в национальном вопросе действовали так же неразумно, как и Тисса, но они не обладали силой его характера. Аппоньи был величайшим оратором, которого мне когда-либо пришлось слышать. Он говорил блестяще, причем одинаково хорошо на венгерском, немецком, английском, французском, вероятно также итальянском и латинском языках. Он говорил на всякие темы: о политике, о музыке, о преподавании и сельском хозяйстве. Но он имел несчастье, может быть благодаря своей разносторонности, не понравиться Францу-Иосифу. Франц-Иосиф слишком ясно показывал ему свое нерасположение, и впечатлительный Аппоньи сделался ярым противником не только старого императора, но и австро-венгерского соглашения 1867 г. С другой стороны, в Вене не сумели во-время привлечь на свою сторону графа Альберта Аппоньи, происходившего из консервативной,

верной императору семьи. Когда Аппоньи произнес свою первую антиавстрийскую, в известной степени антидинастическую речь, австро-венгерский посол граф Сегени, бывший в дружбе еще с отцом графа Альберта Аппоньи, сказал мне: «Когда я прочел речь Альберта Аппоньи, я был так же поражен, как если бы я увидел свою покойную мать танцующей на кладбище канкан». Тот же самый Сегени однако высказал мнение, что когда Альберт Аппоньи стал играть видную роль в парламенте, Вена могла бы вернуть его себе, предложив ему пост посланника в Афинах; через несколько лет этого можно было еще достигнуть, предложив ему какое-нибудь посольство. Теперь же он не пойдет на это даже при условии свержения старого императора. Граф Андраши разделял все крайности Альберта Аппоньи. Он не был так озлоблен против Гофбурга[19], как Аппоньи, но был не менее честолюбив.

Когда я 20 сентября 1897 г. был на аудиенции у Франца-Иосифа, я на основании моих бухарестских впечатлений и опыта мог бы кое-что рассказать о национальной политике мадьяр. Но учить старого императора, монарха, который столько видел, столько пережил, так много боролся и страдал, как Франц-Иосиф, который уже был на троне, когда я только родился, было не так легко. Это не реплика в парламенте или на заседании совета министров.

«Хотел бы я видеть того, кому удастся склонить императора Франца-Иосифа к чему-нибудь для него нежелательному», — сказал австрийский министр финансов Кайдль после аудиенции у Франца-Иосифа, на которой ему не удалось получить удовлетворение своих просьб. Но важнее всего было следующее: австро-германский союз был заключен Бисмарком и венгерцем Андраши, который, опираясь на венгерский народ, летом 1870 г. помешал Бейсту, эрцгерцогу Альбрехту и императору Францу-Иосифу присоединиться к Франции против Пруссии-Германии. Когда летом 1884 г., при перемещении моем из Парижа в Петербург, я был в Варцине, князь Бисмарк, указывая на карту, заметил: «Здесь, между Дунаем и Карпатами, сидят венгры. Для нас это то же самое, как если бы там были немцы, потому что их судьба тесно связана с нашей. Они держатся и падают вместе с нами. Это существенно отличает их от славян и румын. Венгрия является для нас самым важным фактором на всех Балканах, которые, как известно, начинаются сейчас же за венской Ландштрассе»[1]. Бисмарк, как впоследствии и я, решительно уклонился от попыток венгров вовлечь нас в войну с Россией, но во внутренние дела Венгрии он не желал вмешиваться даже в качестве советчика. Что же касается императора Франца-Иосифа, то каждый, кто хочет быть справедливым, не должен забывать, как тяжело ему было становиться в прямую оппозицию венгерскому общественному мнению, итти

[1] Название улицы на окрзине Вены.

против венгерских склонностей и предрассудков, против желаний венгерских министров.

При большом, очень большом пассиве в балансе царствования императора Франца-Иосифа можно отметить лишь немногие положительные стороны. Между ними самым важным для Франца-Иосифа было примирение с венгерской нацией. Оно обошлось дорого, пожалуй слишком дорого. Но именно поэтому он не хотел лишаться этого приобретения; а он знал, что рискует потерять его, вступая в противоречие с повышенными национальными чувствами мадьяр. Ведь мадьяры были когда-то аристократической нацией, нацией господ. Еврейство, тогда еще очень покорное и притом настроенное в духе мадьярского шовинизма, поставляло им юристов, врачей, журналистов и финансистов. В сущности вся мадьярская внутренняя политика, поднимавшая столько шума, вращалась в течение десятилетий вокруг борьбы между отдельными графствами и их кликами: графом Гвилой Андраши, графом Альбертом Аппоньи, графом Банфи, графом Куэн-Гедервари, графом Михаилом Карольи и крупнейшим из них графом Стефаном Тиссой, к которым время от времени примыкали представители джентри, как Коломан фон Сцелл, Векерле и Фейервари.

ГЛАВА XI

Во время банкета император Франц-Иосиф с большим трудом и запинаясь прочел усталым голосом свой тост, составленный для него министром иностранных дел в очень осторожном, холодном и трезвом тоне. Император Вильгельм тотчас же поднялся и произнес одну из самых блестящих речей, какие мне приходилось слышать из его уст. Я не знаю ни одной другой речи императора, которая была бы так характерна для него, как эта. Он начал с уверенья, что прекрасный прием, оказанный ему в славном Будапеште, восхитил его.

Затем последовали форменные дифирамбы мадьярам. Я сидел за столом против обоих императоров и по выражению лица императора Франца-Иосифа мог заметить, что ему не понравился и показался чрезмерным горячий энтузиазм, проявленный его гостем по отношению к мадьярам, энтузиазм, в котором не было никаких нелойяльных политических соображений и шедший от чистого сердца экспансивного германского императора. В заключение своей речи Вильгельм II с явным и глубоким волнением стал восхвалять старого императора Франц-Иосифа, по отношению к которому вся Европа, и в особенности германский народ, «горит» беспредельным восторгом, восторгом, который, как он «осмеливается» заявить, разделяет и он, Вильгельм II, «по-сыновнему» взирая на Франца-Иосифа как на своего друга и отца. Это также было чересчур напыщенно.

Франц-Иосиф по существу так же мало любил новую Германию, как и новую Италию. Возможно, что он любил ее еще меньше, так как в 1870 г. был вполне готов рука об руку со «святотатствен-

ным» итальянским королевством, возвысившимся в пятидесятилетней борьбе с Австрией, стать на сторону французов против Пруссии и Германии. Такому повороту воспрепятствовал наряду с гениальной решительностью и мудростью политики Бисмарка прежде всего Андраши, который, опираясь на наши быстрые и решающие военные победы и против воли Бейста, эрцгерцога Альбрехта и императора Франца-Иосифа, добился соблюдения Австро-Венгрией нейтралитета. Генерал фон Швейниц, бывший с 1867 по 1876 г. сначала посланником, а потом послом в Вене, часто рассказывал мне о самой неприятной беседе, которую ему пришлось вести в его жизни в январе 1871 г. с императором Францем-Иосифом, которому он должен был официально объявить об избрании прусского короля германским императором и о восстановлении Германской империи. Это собственно не было беседой, так как австрийский император долго не мог произнести ни звука. В конце концов он коротко спросил Швейница, большие ли потери понес на войне прусский 2-й гвардейский гренадерский императора Франца-Иосифа полк, и затем отпустил Швейница так же холодно, как и принял.

В конце концов только чувство страха перед Россией, перед ее панславистской пропагандой, перед неизмеримым количеством ее народонаселения и ее тогда колоссальными ресурсами побудило Франца-Иосифа дать свою санкцию договору, заключенному в 1879 г. между Андраши и Бисмарком.

Еще во время мировой войны один австрийский аристократ, близко стоявший ко двору и дружественно ко мне относившийся, рассказывал мне, что лучшими часами для императора Франца-Иосифа со времени начала войны были те, когда он слышал или читал, что «пруссаки» тоже потерпели поражение.

ГЛАВА XII

Из Шиллингсфюрста[20] я прямо отправился в Рим, чтобы представить мои отзывные грамоты.

Как только я прибыл в Рим, я получил очень длинную, очень риторически составленную в несколько возбужденных выражениях телеграмму от императора, вызванную известием об убийстве германских католических миссионеров в китайской провинции Шандунь. Император в непрестанно повторяющихся, полных негодования и гнева выражениях угрожал китайским язычникам, подчеркивая свою обязанность и решимость защитить христианство и его слуг и провозвестников, и заканчивал тем, что германская крейсерская эскадра должна потребовать наказания убийц и пока что отправиться в бухту Киаочао. Я, как и император, был того мнения, что этот случай следует использовать, чтобы в Киаочао, который после долгого и основательного изучения был признан для этого подходящим, создать базу для широкого развития наших восточноазиатских интересов. Я конечно был кроме

того уверен, что эта цель может быть достигнута не громкими словами, но только путем правильной дипломатической тактики, в особенности по отношению к России и Англии.

Вернувшись в Берлин, я прежде всего разыскал русского посла. Граф Остен-Сакен стал по старому и вовсе не неудачному методу русской дипломатии заранее браниться и жаловаться, уверяя, что наши действия в Восточной Азии произведут в России наихудшее впечатление и встретят сильнейший отпор. Я отвечал ему, что русская политика по отношению к нам в настоящее время стоит на повороте. «Vous vous trouvez devant une bifurcation» [1]. Мы не можем не реагировать на безжалостное убийство немецкого миссионера, особенно католического, не только из соображений внутренней политики и поддержания чести и престижа Германской империи, но также и с точки зрения интересов всех наций, ведущих торговлю с Китаем, и наконец в интересах самой России, имеющей с Китаем общую границу. Препятствия, которые нам на этом пути в данный момент ставит Россия, заставят нас конечно повернуть в другую сторону, в западном направлении. Если бы я поставил себя на место русского министра иностранных дел, то я порадовался бы тому, что Германия обоснуется в Восточной Азии, но со своей стороны также нашел бы и захватил наиболее подходящий для России опорный пункт, в качестве которого русские газеты уж давно называют Порт-Артур. Остен-Сакен, отлично владевший пером, которое князь Горчаков в своем торжественном стиле называл «la grande plume du cabinet de St.-Pétérsbourg» [2], в моем присутствии составил телеграмму графу Муравьеву, которую он показал мне. Я одновременно телеграфировал в том же духе нашему послу в Петербурге. В тот же день я беседовал с английским послом, которому разъяснил необходимость нашего выступления в Восточной Азии. Мой старый друг Лассель слишком хорошо знал свою страну, чтобы не быть уверенным в том, что английская пресса останется при своей обычной позиции «собаки на сене», т. е. будет держаться старого английского взгляда, что кроме Англии никто в мире не может нигде приобретать ни политических, ни тем более экономических интересов. Однако Лассель полагал, что английское правительство не подымет серьезного протеста. Вполне возможно конечно, что английское правительство также будет стремиться к приобретению базы в Печилийском заливе. Англия остановилась тогда на Вейхайвее, против Порт-Артура, невдалеке от мыса Шандунь.

В самый серьезный момент критическое положение было осложнено интригами Гольштейна, который, будучи необычайно одаренным человеком, был однако неисправимым интриганом вследствие своей патологической недоверчивости.

«Для таких-то господ и была построена когда-то Бастилия», — сказала однажды о фон Гольштейне донна Лаура Мингетти, ко-

[1] Вы стоите на распутье.
[2] Главным пером петербургского кабинета.

торая впрочем ценила его превосходный французский язык и его тонкий ум.

Натура скорее критическая, нежели творческая, Гольштейн был склонен считать себя тем более незаменимым, чем менее уверенными чувствовали себя его начальники. Он не без основания считал, что люди с колеблющимся положением больше нуждаются в опоре, чем те, кто обладает крепким костяком и прочно стоит на твердой почве. При такой психике он был очень обеспокоен дружественным отношением императора ко мне. Так, ему пришла идея в восточноазиатском вопросе подталкивать канцлера Гогенлоэ, а статс-секретаря Бюлова, наоборот, тормозить. В то время как Гольштейн в возбужденных частных телеграммах рисовал мне, не жалея ярких красок, все опасности восточноазиатского предприятия, он подстрекал канцлера Гогенлоэ поговорить уверенным и решительным тоном на эту тему с императором. Но я разгадал эту игру Гольштейна и, кроме того был слишком уверен в правильности моей политики в этом вопросе, чтобы поддаться влиянию Гольштейна. Князь Гогенлоэ был слишком благороден и слишком стар, чтобы пускаться в такого рода интриги.

В этом случае, как и во многих других, Гольштейн был похож на сторожевого пса, который хорошо стережет дом от воров и грабителей, но с которым в то же время нельзя быть уверенным, что он при случае не вопьется зубами в ноги своего господина. Гольштейн еще от Бисмарка получил разрешение обмениваться с главами заграничных представительств так называемыми «частными телеграммами», шифрованными, но не регистрировавшимися. Такие телеграммы Гольштейна имели пометку «частная». Они конечно давали возможность Гольштейну оказывать серьезное влияние на политику, поскольку они не шли официальным путем и не всегда были известны канцлеру и статс-секретарю.

Господин фон Гольштейн постоянно сносился частными телеграммами с графом Паулем Гацфельдом, с князем Филиппом Эйленбургом и князем Радолином; с Монтсом же, Экардштейном и другими, «dii minorum gentium»[1], он переписывался только в отдельных случаях.

Чтобы быть справедливым, я должен добавить, что Гольштейн благодаря своеобразию своего характера и своему положению в течение своей тридцатилетней деятельности в иностранном ведомстве несомненно много навредил, но причиненный им вред не идет ни в какое сравнение с теми бедствиями, которые натворил Матиас Эрцбергер своим неосторожным обращением с докладом Чернина, своим неловким и бессовестным ведением переговоров о перемирии, саботированием миссии графа Брокдорфа-Ранцау в Версале, всем своим политическим поведением во время своего пребывания у власти, несмотря на из-

[1] Богами низшего разряда.

вестное добродушие, сотканное из эгоизма, невежества, корыстолюбия и неуклюжей демагогии.

Более серьезные заботы, нежели интриги Гольштейна, к которым я привык в течение многих лет, причиняли мне преувеличенные претензии наших националистических и особенно колониальных кругов, с тех пор как после отправки нашего флота стало известно, что правительство считает своей обязанностью защищать наши большие и все увеличивающиеся интересы в заокеанских странах. Боги, наградившие наш народ столь многими высокими и прекрасными качествами, обделили его политическим талантом. Когда я, вернувшись с заседания рейхстага, жаловался однажды на это Альтгофу, этот замечательный человек ответил мне со своим вестфальским юмором: «Да, но чего вы собственно требуете? Мы, немцы, самый образованный и вместе с тем самый воинственный народ в мире! Во всех областях науки и искусства мы создали выдающиеся произведения. Величайшие философы, поэты и музыканты — немцы. Теперь мы стоим на первом месте в области естествознания и почти во всех отраслях техники и создали величайший хозяйственный подъем. Как можете вы удивляться тому, что в политике мы ослы? Где-нибудь должно же сорваться». Тот талант, которого нам всего больше недостает в политике, является, по-моему, чувством меры. Мы слишком склонны впадать в крайности. Поэтому наша история идет скачками. Ей недостает традиции и постоянства, которые обусловили развитие и историю других великих народов. Даже такой умный и многоопытный человек, как адмирал Тирпиц, носился в известной степени с фантастическими планами, пока практика не убедила его в необходимых ограничениях, которые как раз Германия при ее центральном положении должна была наложить на свою колониальную политику.

Привожу записку легационсрата Клемента из иностранного ведомства по поводу его беседы с адмиралом Тирпицем о его колониальных проектах:

«Берлин, 16 марта 1898 г.

Совершенно секретно.

Во время моей сегодняшней беседы с адмиралом Тирпицем по поводу продажи кораблей последний заговорил о германской колониальной политике вообще. Он начал с замечания, что испано-американский конфликт представляется ему политически преждевременным; было бы гораздо выгоднее, если бы конфликт этот возник после того, как мы в результате закона о флоте имели бы возможность вмешаться в его разрешение. Но все-таки мы должны послать туда несколько судов, чтобы показать, что и мы тоже можем сказать там свое слово.

Результатом испано-американского конфликта для Испа-

нии будет неизбежная уступка острова Кубы Соединенным штатам. Адмирал обладал очень интересными, самыми свежими сведениями об исключительной активности американского шовинизма в этом направлении.

Благодаря этому для нас наступил последний момент, чтобы купить Кюрасао и остров святого Фомы. Северная Америка ничего не может предпринять против этого, так как занята Кубой, и у нее и там достаточно дела. Англии должно быть очень желательным чтобы мы там обосновались. По мнению Тирпица, нашей дипломатии будет даже нетрудно представить такое выступление Германии как крупную услугу Англии. Если же мы пропустим эту возможность, то, в особенности после несомненного, по его мнению, окончания сооружения Панамского или Никарагуанского канала, мы безвозвратно лишимся Южной Америки как рынка сбыта. Североамериканский рынок мы, по его мнению, и без того не сможем долго удержать за собой. В Восточной Азии он желал бы помимо сохранения и коммерческого развития Киаочао иметь два пожелания: во-первых, мы должны приобрести сеттльмент на Янцзы, лучше всего в Усуне. Это необходимо, так как наступит время, когда при еще более обострившейся англо-германской конкуренции немецким фирмам нельзя уж будет оставаться в английских сеттльментах, а нужно будет переселиться на собственную землю. Во-вторых, необходимо как можно чаще показывать германский торговый флаг на Янцзы дальше в глубь страны. Германским почтовым пароходам следует официально вменить это в обязанность.

Адмирал убедительно просил меня довести эти мысли до сведения вашего превосходительства и добавил, что он самым подробным образом разработает все касающееся американской проблемы, и ваше превосходительство при желании будет иметь возможность познакомиться с нею. Клемет».

В те решающие дни, которые последовали за отправкой нашей крейсерской эскадры в Восточную Азию, вдова императора Фридриха посетила мою жену, с которой как раз в это время был и я. Императрица прочла мне письмо своего старшего брата принца Уэльского, посвященное законопроекту о флоте и отправке наших военных судов в Киаочао. Созданная гордой счастливой историей и защищенным островным положением страны, властная натура англичанина выступала в этом письме с наивной непосредственностью. Германия обладает хорошей армией, и этого с нее достаточно. Море принадлежит Англии. В особенности же немцам нечего делать в Восточной Азии. В Англии и без этого, и не без основания, существует недовольство по отношению к Германии, которая все больше и больше становится экономическим соперником Англии, более неудобным, чем Франция.

30 ноября 1897 г. состоялось открытие рейхстага. Речь, которую за несколько дней перед тем император держал при приведении к присяге гвардейских рекрутов, не была счастливым введением к предстоящей решающей сессии.

Император призывал рекрутов повиноваться ему, «будь то против внешнего, будь то против внутреннего врага». Он говорил о боге, «который нас никогда не оставляет», называл нашего господа могущественным и непобедимым и наконец договорился до изречения: «Кто не является добрым христианином, тот плохой солдат»[1].

Это место Луканус, не спросясь императора, заменил в стенограмме выражением: «Кто не является добрым христианином, тот плохой человек»[2]. Но, как водится в таких случаях, настоящая редакция этой фразы стала постепенно известна. «Kladderadatsch» 28 ноября 1897 г. поместил картинку, которая изображала чорта в виде призрака с рогами, хвостом и копытами, рассматривающего свой длинный хвост, на котором он сделал узел. Над облаками Александр Великий, Леонид и Наполеон улыбаясь читают газету. Фридрих Великий подходит тоже с газетой и палкой в руке. Над ним витает Вольтер в парике, с иронической усмешкой на губах. Сатана говорит: «Наконец-то я вспомнил, что значит этот узел, который я завязал на своем хвосте. Я хотел забрать старого Фрица, потому что плохой христианин является плохим человеком и скверным прусским солдатом и ни за что не может выполнить все те требования, которые прусская армия предъявляет к своим солдатам. Ну, пожалуй, мне удастся наверстать потерянное и освободить небесные войска от этого плохого христианина и скверного солдата». За эту шутку главный редактор «Kladderadatsch» Иоганн Троян, любезный человек, хороший поэт и добрый патриот, был присужден к двум годам крепости.

6 декабря начались прения в парламенте [21], в которых князь Гогенлоэ едва слышным голосом зачитал свою речь, содержавшую в себе много правильных и тонких мыслей, но не дошедшую до слуха депутатов. Тирпиц и министр государственных имуществ фон Тильман говорили почти так же невнятно; оба были утомлены. Социалист Шенланк напал на законопроект с насмешками над императорскими застольными речами, мировой политикой и политическим бессилием канцлера. Я чувствовал, что, для того чтобы не сорвать спуск законопроекта о флоте на парламентскую воду, с правительственной трибуны должны заговорить другим тоном. Я видел, что никто из присутствовавших министров не имеет желания выступить и что от старого канцлера нельзя требовать нужного ответа. С другой стороны, я очутился перед совершенно непривычной для меня задачей.

---

[1] «Wer kein braver Christ ist, der ist auch kein guter Soldat».
[2] «Wer kein braver Christ ist, der ist kein braver Mann».

В Париже и Риме, в Бухаресте и Афинах я присутствовал в роли зрителя на парламентских заседаниях, но это случалось редко, и они мало меня трогали.

В немецком рейхстаге я был только один раз в моей жизни, тридцать лет назад, когда я слышал с трибуны для публики выступление Бисмарка по люксембургскому вопросу. Перед началом прений по бюджету в 1897 г. мои коллеги и сотрудники давали мне различные добрые советы на случай, если мне придется выступить. Одни советовали мне говорить достаточно громко, иначе меня не будут слушать. Другие говорили, что шумное выступление действует на нервы, раздражает депутатов, которым больше нравится тихий скромный голос. Я к своей речи совсем не готовился, так как мне определенно было сказано, что ни в каком случае мне не придется выступать в первый день, самое раннее — на второй, но вернее — на третий и четвертый день прений.

В особенности левые газеты перед моим первым выступлением в рейхстаге с большим удовольствием, но не очень-то остроумно, предупреждали публику, что я — совершенный новичок в парламентском искусстве и потому как оратор не соответствую своему месту. Вскоре после моего прибытия в Берлин «Lustige Blätter» выпустили иллюстрацию, изображающую правительство в виде няни, которая подает трем пожилым дамам маленького ребенка. Три дамы представляли собой центр, консерваторов и либералов. Младенец — это был я. Правительство обращалось к партиям: «Вот посмотрите, это самый младший из министров. Прекрасный парень, этот Бюлов, неправда ли?» Партии отвечали: «Ну, мы еще посмотрим, как он будет развиваться; это можно будет узнать только тогда, когда малыш начнет говорить». Этот милый рисунок положил начало целой серии карикатур, которые в конце концов заполнили тридцать объемистых томов.

Берлинский корреспондент «Frankfurter Zeitung» Август Штейн, который, несмотря на множество политических расхождений между нами, сделался впоследствии моим хорошим другом, выпустил за день до моего дебюта в рейхстаге приветственную статью, в которой не без язвительности говорилось, что «господин фон Бюлов, новый руководитель иностранного ведомства, выступает перед рейхстагом как совершенный новичок в парламентском искусстве. Увидим, будет ли этот необычайно интересный светский собеседник таким же парламентским оратором. Людвиг Бамбергер был кажется последним, кто умел говорить в этом стиле. С тех пор многое изменилось в рейхстаге, также и стиль прений. Если господин Бюлов будет в рейхстаге говорить в том же стиле, которым он прославился в салонах и частных беседах, то в нынешнем рейхстаге ему будут больше удивляться, чем понимать его». Теперь я думаю, что вышло лучше, что я не готовился к первому публичному выступлению в моей жизни. Впоследствии я много, может быть слишком много,

произносил речей, но всегда находил, что всего лучше я говорил экспромтом. Бывают художники, у которых эскизы выходят лучше, чем тщательно отделанные картины. Я закончил свою речь от 6 декабря 1897 г. словами: «Мы никого не хотим вытеснять, но и сами требуем себе места под солнцем...» Когда, окончив речь, я сел на свое место, я увидел по недовольным лицам своих коллег, что речь моя была не слишком плоха. Мой старый венский друг Виллерс сказал однажды, что в отношении зависти и ревности между дипломатическим корпусом и кордебалетом нет большой разницы. То же можно сказать и о кабинетах министров.

Так было раньше, но и теперь министры едва ли живут дружно и по-братски ладят друг с другом. Я успокоился, когда услышал позади себя голос Миккеля: «Бюлов — первый сорт». Слова этого старого парламентария, большого оратора и гениального человека были приятны новичку.

ГЛАВА XIII

Больше всего меня радовало, что я во время моей речи не выказал никакого смущения или нервозности. С тех пор я выступал с речами в трех парламентах, а также вне стен парламента. Я не воображаю, что в силу этого я мог написать, подобно Цицерону, правила красноречия, но говорю только, что я приобрел в этой области известный опыт.

Почему во Франции и Италии, в Англии и Америке, в сущности повсюду говорят лучше, чем у нас? Так было еще во время моей службы, так обстоит дело и при республике; как мне говорили представители всех партий и как это подтверждают парламентские отчеты, уровень ораторского искусства еще значительно понизился. Быть может это прежде всего связано с недооценкой внешней формы речи у немцев. В то время как во французских школах риторике придается большое значение и почти все крупные французские парламентарии еще в школе проявляли успехи в этом серьезном предмете преподавания, в то время как английские министры и депутаты большей частью еще в Итоне или Гароу, в Оксфорде или Кембридже уже становятся известными как искусные ораторы, в Германии ораторское искусство совершенно не культивируется.

* *
*

Вильгельм II обещал своему брату принцу Генриху, который уезжал в Китай, приехать к нему для прощания в Киль и потребовал, чтобы я сопровождал его туда. На другой день после нашего отъезда, 15 декабря 1897 г., я получил телеграмму из Петербурга, из которой я узнал, что мои переговоры с Остен-Сакеном и инструкция, одновременно посланная нашему посольству в Петербург, не остались без результата. Русское правитель-

ство сняло свой протест против нашего укрепления в Киаочао, послав одновременно свою эскадру в Порт-Артур, чтобы занять эту важную для него гавань. У меня камень с души свалился. Но как это бывает иногда с человеком, что он в самую счастливую для него минуту совершает глупость, так и я, вместо того чтобы скрыть до поры до времени хорошую весть, поделился ею с императором еще на пути в Гамбург.

Если бы эта радостная весть не привела Вильгельма II по его обыкновению сразу в повышенное настроение, он вероятно не сказал бы вечером того же самого дня достойную сожаления речь о «бронированном кулаке».

Сначала мы остановились в Гамбурге, где мы посетили биржу. Большой биржевой зал был битком набит. Гамбургское «именитое купечество» явилось в полном составе, чтоб выразить свою радость по поводу нашего выступления в Восточной Азии. Адольф Верман, один из выдающихся крупных гамбургских купцов, истинно медвежьим голосом, под воодушевленные аплодисменты купечества, сказал от имени биржи речь, в которой благодарил императора за то, что он взял под свое могущественное покровительство наши торговые интересы в Восточной Азии, где Гамбург и вообще Германия имели большие виды на будущее. Весь Гамбург со своими надеждами и желаниями идет за императором и его правительством. В этот момент каждый ощущал биение пульса величайшего немецкого торгового города, который еще до образования Германской империи проложил немецкой энергии и предприимчивости пути во всех частях света и в частности на берегах Тихого океана.

Обед в Киле состоялся во дворце. Переполненный впечатлениями этого дня, возбужденный успехом нашего дипломатического предприятия, за что он очень тепло меня благодарил, император произнес застольную речь, в которой было много блестящих и действительно красивых мест и где со свойственной ему, удивительной способностью все схватывать он сказал много дельного из того, что я имел возможность доложить ему по дороге в Киль, но в которую вкралось несколько очень неудачных выражений. Слова о немецком Михеле, который твердо поставил на земле свой щит, украшенный имперским орлом, еще могли бы сойти, поскольку император уже неоднократно употреблял этот образ и в речах и в рисунках. Хуже обстояло дело с заявлением, что, в случае, если кто-нибудь вздумает нас задеть, принц Генрих должен пустить в ход «бронированный кулак». Выражение «бронированный кулак», в особенности по-английски, постоянно фигурировало в течение многих лет в каждом выпаде враждебной нам печати и создало в сущности добродушному и благожелательному, во всяком случае не воинственному Вильгельму II в глазах всего света славу нового Чингисхана. Эту несчастную угрозу «бронированным кулаком» император дополнил призывом к своему брату увенчать свое молодое чело лаврами, которым никто не посмеет позавидовать во всей Германской империи. Когда

смолкли последние слова императора, сидевший возле меня Луканус шепнул мне: «Он хочет успокоить этим брата, чтобы тот не боялся в случае какого-нибудь успеха вызвать ревность императора».

Если в речи императора, обращенной к брату, были некоторые неудачные места, то ответная речь принца Генриха с начала до конца была сплошной катастрофой.

Речь принца Генриха была проникнута мыслью о том, что императору было тяжело отказаться от личного руководства китайским предприятием. «Ваше величество, — воскликнул принц, — пошли на большое самопожертвование, поручив мне это командование». Принц благодарил за это от «верного братского и верноподданнического сердца». Он очень хорошо знал мысли его величества и знал, как тяжела жертва, которую приносит его величество, доверяя ему такое блестящее командование. Это его глубоко тронуло. Он заверяет однако его величество, что его привлекают не слава и не лавры, он жаждет только одного: «возвестить за рубежом евангелие священной особы вашего величества, проповедовать каждому, как тем, кто захочет слушать, так и тем, которые не пожелают этого». Это будет начертано на его знамени всюду, где бы он ни появился. Речь закончилась восклицанием: «Immer und ewig. Hurra! Hurra! Hurra!»[1].

Когда мы по окончании обеда удалились с Луканусом в пустую комнату, чтобы просмотреть стенограмму речи перед ее опубликованием, я заявил ему, что ни «бронированный кулак», ни эксцентрические места из речи принца не должны попасть в печать. Начальник императорского кабинета по гражданским делам с большой решительностью оспаривал мое мнение. Почти десятилетний опыт показал ему, что, затушевывая такого рода промахи, еще более ухудшаешь дело, так как именно самые опасные выражения какими-то путями всегда проникают в прессу. Кроме того замалчивание тех мест в речи, которые император считает самыми красивыми, в особенности похвалы со стороны брата, могут очень расстроить императора. «Мы приложили все усилия, — сказал мне господин фон Луканус, — чтобы заполучить ваше превосходительство. Я, Ганке, Август Эйленбург, многие другие — мы считаем вас единственным человеком, который в состоянии провести государственный корабль через скалы и мели того бушующего моря, куда уже направил его наш император. Мы считаем вас единственным возможным канцлером, когда старый Гогенлоэ уже не в состоянии будет больше оставаться на своем посту. Если вы с самого начала поставите себя с императором в натянутые отношения, вы недолго продержитесь. Если вы возразите, что в этом случае вы уйдете, то я заранее говорю вам, что ваш уход из-за таких причин и при подобных обстоятельствах буду считать дезертирством. Возьмите пример с начальника генерального штаба графа Шлиффена, который на маневрах пропу-

[1] Во веки. Ура! ура! ура!

скает мимо ушей все глупости императора, чтобы развязать себе руки при решении больших вопросов в серьезных случаях».

В те декабрьские дни 1897 г. Вильгельм II истолковал неблагоприятную оценку кильского празднества как выражение личной неприязни английского премьера лорда Сольсбери к Германской империи и к германскому императору.

Как известно, император Вильгельм имел с английским премьер-министром личное столкновение при первом визите в Англию после вступления на престол и задолго до моего вступления в должность. Лорд Сольсбери нашел императора Вильгельма беспокойным и слишком притязательным, Вильгельм II английского премьера — надменным и высокомерным. Английские друзья рассказывали мне, что прискорбная и политически вредная, но несомненная и с каждым годом возраставшая неприязнь могущественного английского государственного деятеля к германскому императору может быть приписана и тому, что маркиз Сольсбери, невзирая на случайные политические трения, был поклонником князя Бисмарка. Он был искренне возмущен неблагодарностью Вильгельма II по отношению к князю Бисмарку, выразившейся в той оскорбительной форме, в какой была проведена отставка великого канцлера. То же впечатление произвела отставка Бисмарка на другого выдающегося английского государственного деятеля, графа Розбери, который был в личной дружбе с Гербертом Бисмарком. После отставки князя Бисмарка лорд Розбери подарил его старшему сыну гравюру с выпущенной лондонским «Punch» замечательной картины под названием «Лоцман уходит». Она изображала князя Бисмарка в одежде лоцмана медленно, тяжелыми шагами и с задумчивым лицом спускающимся по трапу с германского корабля, в то время как Вильгельм II с короной на голове насмешливо глядит на него с капитанского мостика. Вильгельм II знал, что лорд Сольсбери его не любит. Раздраженный тем, что ему рассказал принц Генрих о неблагоприятном впечатлении, произведенном в Англии кильскими торжествами, Вильгельм, не говоря ни слова ни канцлеру, ни мне, написал своей бабушке, королеве Виктории длинное письмо. В этом письме он, не упоминая впрочем о кильской речи и неблагоприятной оценке, которую она нашла в Англии, жаловался на лорда Сольсбери, который, где только возможно, раздражает его и противодействует ему. Позже император показал мне ответное письмо своей бабушки. Она ограничилась тем, что переслала внуку письмо, адресованное ей лордом Сольсбери, после того как он познакомился с письмом императора к бабушке. Письмо английского премьера осталось у меня в памяти, потому что оно характерно для серьезности английской политики и для чувства долга как королевы Виктории, так и английских государственных деятелей. Лорд Сольсбери в очень почтительных выражениях благодарил королеву за то, что она оказала ему милость, познакомив его с письмом императора. Далее Сольсбери выражал уверенность, что королева согласится с ним, что он

является английским, а не немецким министром и что при самом горячем желании сохранить хорошие отношения между Англией и Германией он обязан защищать исключительно английские интересы. Как видно, германский император не совсем уяснил себе это. Очевидно он не знает ни английских традиций, ни английской конституции. Королева вероятно будет первой, кто упрекнет своего премьер-министра, если он будет вести какую-либо другую, а не чисто английскую политику. Он поступал так до сих пор и впредь так будет делать в полной надежде на одобрение и защиту со стороны короны. Впрочем император принял этот ответ вовсе не трагически. Он только сказал: «Теперь по крайней мере мы знаем, с кем имеем дело». Обо всех отрицательных отзывах как немецкой, так и иностранной прессы относительно кильской речи я конечно докладывал его величеству.

На другой день после прощального празднества Вильгельм со своей свитой нанес визит князю Бисмарку в Фридрихсруэ. Луканус, которому по дороге из Киля в Фридрихсруэ я высказал свою надежду, что визит пройдет благополучно, ответил мне более чем цинично: «Ах, император хочет только посмотреть, насколько постарел князь и когда можно ожидать его смерти».

После получения известия о предстоящем визите императора Бисмарк отправил Вильгельму следующую телеграмму, тронувшую меня своей безыскусственностью: «Благодарю за высокую честь императорского визита, прошу ваше величество милостиво извинить внешние недостатки, вызываемые моей болезнью». При нашем прибытии мы действительно нашли князя в его скромном доме в Фридрихсруэ сидящим в передвижном кресле. Духовно он, по-моему, не изменился. Император сидел рядом с графиней Ранцау, единственной дочерью князя, я по другую ее руку, князь сидел против нас. С первого же момента он овладел разговором, который направил на серьезные темы. Император, напротив, уклонялся с раздражающей меня преднамеренностью от всякой политической темы и не подхватил ни одного из мячей, которые старый князь почти с грациозностью подбрасывал ему. Князь рассказывал о своей деятельности в бытность его прусским послом при дворе императора Наполеона III в 1862 г. Император Наполеон, рассказывал князь своим приятным тихим голосом, питал к нему милостивое доверие и спросил однажды его мнения об ответственности министров, о самодержавии и о преимуществах одной системы правления перед другой. Он ответил Наполеону, что самодержавный строй имеет много приятных сторон, но его можно поддерживать только до тех пор, пока монарх может быть уверен в своей гвардии, а последняя в состоянии при любых обстоятельствах поддерживать порядок и покорность. Там, где нет в этом абсолютной уверенности, лучше ставить министров в роли буфера между собой и всякого вида оппозициями, чтобы они перехватывали и смягчали возможные удары.

Император слушал рассеянно и сам рассказал несколько казарменных анекдотов из тех, которые неизменно вызывают смех за дружеским обедом в Потсдаме. В послеобеденной беседе император тоже тщательно избегал всякого интимного обмена мнений с князем Бисмарком. Когда император сравнительно рано встал из-за стола, передвижное кресло Бисмарка было выдвинуто в соседнюю комнату, для того чтобы мы все могли проститься с ним. Большинству князь дружески пожимал руку. Когда ему поклонился Луканус, он посмотрел поверх него, как будто перед ним было пустое место. Мне он протянул руку со словами: «Идите с богом». Тогда-то я в последний раз видел его и слышал его голос.

5 января 1898 г. «Reichsanzeiger» опубликовал содержание китайско-германского договора о бухте Киаочао. Я сообщил о заключении договора императору краткой телеграммой, выражая радость по поводу того, что начатое нами в ноябре выступление с божьей помощью пришлю к благополучному концу.

Император был тем более счастлив, что считал дело наполовину потерянным, так как на посланную им по собственной инициативе телеграмму императору Николаю II он получил очень холодный ответ. По поводу этого он с некоторым неудовольствием мне телеграфировал: «Канцлер Гогенлоэ думает, что занятие нами Киаочао противоречит Петергофскому соглашению». «Очень позорно» и «унизительно», что мы должны просить в Петербурге «квазиразрешения» занять Киаочао, тогда как три года назад мы упустили случай его захватить. Ответ царя был «холоден и сдержан». Теперь император Вильгельм телеграфировал мне: «Дорогой Бернгард, какой новогодний подарок! Я совершенно вне себя от счастья. Вы были совершенно правы, когда заметили, что велика была помощь и милость неба. Без этой помощи нам бы ничего не удалось. Но так как это сделано во имя креста, бог был с нами. Глубокая благодарность вам за вашу самоотверженную работу. Какой великолепный первый успех для вас. Пришла и наша очередь! В остальном — in hoc signo vinces»[1]. Так телеграфировал мне Вильгельм II, когда желанное, небезопасное и во всяком случае щекотливое дело захвата Киаочао удалось. Еще в тот же день он почтил меня своим посещением и лично передал мне орден Красного орла первой степени, заметив при этом: «Это только начало, дальше будет еще лучше».

Девять лет спустя, 11 января 1906 г., император сделал пометку на полях одной незначительной статьи в парижской газете, в которой занятие Киаочао изображалось как результат общей работы политического руководства и морского ведомства: «Гогенлоэ был единственным, кто решительно и энергично поощрял меня и горячо поддерживал в вопросе о Киаочао, в то время как иностранное ведомство...[2] а недовольный Тирпиц ворчал, стоя в

[1] Сим победиши.
[2] Пропуск в подлиннике.

стороне. Гогенлоэ, Гольман и я! Мы действовали в полнейшем согласии и единении, и оба были поражены холодной решимостью и отвагой старика. Ему Германия обязана приобретением Киаочао». Из внимания к моим читателям, а особенно к читательницам я пропускаю два слишком крепких словца в высочайшей пометке. Когда мне доложили об этой пометке, которая прошла через все канцелярии, я серьезно и настойчиво потребовал от императора объяснений. Со всей резкостью даже и по форме, чего я ни до этого, ни потом никогда не допускал по отношению к нему, я напомнил ему, что все дело с Киаочао было проведено мной и Тирпицем. Князь Гогенлоэ, очень уважаемый мною человек, с которым я был близок в течение четверти века, по старости лет, как это было хорошо известно императору, в 1897 г. мог только дать свою подпись в вопросе о Киаочао. Что же касается адмирала Гольмана, то до назначения меня министром иностранных дел он в Риме советовал мне не дать переманить себя в Берлине. Гольман говорил, что если бы даже я кроме человеческого языка владел языком ангелов, то и тогда мне не удалось бы убедить рейхстаг в правильности морской программы императора, а в особенности его действий в Восточной Азии; в отношении того и другого император находится во власти ложных иллюзий. Очень смущенный, император ответил мне, что он в своей пометке ни в каком случае не имел в виду меня, он хорошо знает, что приобретением Киаочао он в первую голову обязан мне. Он сердился только на Тирпица, который хочет присвоить себе честь занятия Киаочао и закона о флоте. «Тирпиц всегда хочет быть на первом плане. Он поступает, как старый злой Бисмарк, который выдвинулся за счет моего деда. Что же касается Гольмана, то он такой хороший парень. «Гольманчик» очень страдал от того, что только один Тирпиц, а не он, принимал участие в экспедиции в Киаочао и в реорганизации флота». Я напомнил его величеству, что Гольман ушел в отставку из-за того, что совершенно не чувствовал себя в силах выполнить планы и желания императора. «Ваше величество немного выиграет от того, что будет предпочитать скверных музыкантов хорошим только потому, что первые вам кажутся лучше, т. е. удобнее». Грубостью этой пометки я был раздражен еще больше, чем содержавшейся в ней исторической ложью. Я потребовал и получил полномочия выразить глубокое сожаление его величества иностранному ведомству, в особенности тогдашнему младшему статс-секретарю барону фон Рихтгофену и тайному советнику фон Гольштейну, по поводу пометки, явившейся следствием недоразумения. Я вспоминаю, забегая вперед, об этом не слишком-то отрадном случае, ибо он с особой яркостью свидетельствует о постоянной заботе Вильгельма, чтобы его славу не затмили его советники, министры, генералы, адмиралы. Он хотел задним числом приписать себе вкупе с Гогенлоэ и Гольманом флот и Киаочао, так как знал, что никто не примет всерьез участие этих двух старых и дряхлых людей. Подобный склад ума и побуждал Вильгельма в страшные годы

мировой войны, когда государственный корабль швыряло из стороны в сторону, ставить у кормила правления одно ничтожество за другим.

Фельдмаршал фон Ганке рассказывал мне однажды, что вдова императора Фридриха через несколько месяцев после вступления на престол ее сына сказала ему: «Если вы когда-нибудь допустите, что моим сыном могут руководить какие-либо другие побуждения кроме личных целей и прежде всего эгоизма, то вы сделаете большую ошибку». С грустью старый фельдмаршал добавил: «К сожалению она была права».

ГЛАВА XIV

Проект большого закона о флоте, который долго и тщательно подготовлялся в течение целого ряда лет и возбуждал общественное мнение больше, чем какое-либо другое событие, был принят наконец 28 марта 1898 г. 212 голосами против 139. Против этого проекта, как против каждого национального немецкого требования, голосовали конечно социал-демократы, поляки и эльзасцы. Центр разделился. За принятие проекта высказалось партийное большинство под руководством Шпана и Гертлинга. Против проекта голосовало большинство баварцев, среди которых были Шедлер и Пиклер, и некоторые прусские крайние вроде Ререна.

В эту зимнюю сессию я неоднократно имел желанную возможность выступать в рейхстаге по поводу целей и необходимых ограничений наших стремлений в отношении создания флота и нашей колониальной политики. Я выражал надежду, что посеянное нами в Киаочао семя принесет плоды. Мы будем действовать без особой спешки и в то же время без мелочной расчетливости, не как завоеватели, но и не как барышники, а как дельные и умные купцы, которые, как некогда Маккавеи, действовали с оружием в одной руке, с заступом в другой. Тогда и занятие Киаочао будет полезным для хозяйственного развития и политического могущества германского народа.

Эти ожидания вполне оправдались до середины лета 1914 г. Еще в апреле 1914 г. мне рассказывали немецкие путешественники, вернувшиеся из Восточной Азии, что благодаря наличию нашей базы в Киаочао германские хозяйственные интересы в Восточной Азии блестяще развиваются. Шаньдун оправдывает лучшие надежды, а Киаочао превращается в важнейший торговый центр. Я намеренно и очень энергично уже в 1897 г. подчеркивал необходимость умеренности в нашей восточной политике [1]. Мы не будем преследовать никаких целей, не будем удовлетворять никаких требований, которые будут выходить за рамки «нашей осторожной и сдержанной восточной политики». При этом я употребил сравнение из чуждого к сожалению мне музыкального мира. Нет никакой необходимости в том, чтобы в концерте,

[1] *Fürst von Bülow*, Reden, grosse Ausgabe, B. I, S. 24 ff.

в частности в европейском концерте, все музыканты играли на одинаковых инструментах. Один бьет в барабан, другой трубит в трубу, третий бьет в большие литавры. Мы играем в Константинополе только на флейте дипломатического воздействия и убеждения. В давлении мы не принимаем участия. Если возникнет конфликт, мы спокойно отступим в сторону; если разногласия усилятся, мы тихонько положим флейту на стол и покинем концертный зал. Такой образ действий соответствует нашей незаинтересованности в восточных делах. Подобной политики осторожности и умеренности во всех балканских, восточных и средиземноморских вопросах я придерживался вплоть до моей отставки. Я старательно заботился о том, чтобы на этой скользкой, полной ловушек, сетей и ям почве Австро-Венгрия не повела нас на поводу. В особенности это следует сказать относительно боснийского кризиса 1908/09 г., когда я чрезвычайно заботился о том, чтобы Германия не выпустила руководства из своих рук; я прилагал все усилия, чтобы не выдать Австрию, но и не быть ею втянутым в войну с Россией.

Взятый мной внешнеполитический курс нашел полное сочувствие в Фридрихсруэ. После моей речи 8 февраля 1898 г. о Киаочао и Крите, о нашей политике на Ближнем и Дальнем Востоке зять князя Бисмарка граф Куно Ранцау написал из Фридрихсруэ Герберту Бисмарку, который поделился со мной содержанием этого письма: «Бюлов действительно очень хорошо говорил. Как форма, так и содержание его речи были безукоризненны. Твой отец был очень доволен этой речью; если ты случайно расскажешь это Бюлову, то скажи, что твой отец хотел ему написать несколько приветливых слов, но не сделал этого, чтобы избежать недоразумений». Но, несмотря на такое дружеское признание моих заслуг, князь Бисмарк, как и прежде, с тревогой взирал на будущее, чего его старший сын не скрыл от меня. Герберт рассказывал мне еще весной 1898 г., что он прямо спросил своего отца, почему он при полном доверии ко мне все-таки так пессимистически настроен? Его отец ответил ему: «Конечно Бюлов — способный парень, и пока он ведет иностранную политику, дело пойдет; он не втянется в войну. Но рано или поздно император разойдется и с Бюловым. И тогда наступит катастрофа».

Великий старец в Фридрихсруэ с самой своей отставки боялся, как бы мы из-за Австрии не впутались в войну с Россией. Еще больше он опасался, чтобы Англия не толкнула нас на конфликт с Россией.

29 апреля 1898 г. Герберт писал мне: «Вчера в рейхстаге разнеслись подозрительные слухи. Наша политика в результате перемены личного настроения опять попала на английский буксир и будет направлена по антирусскому руслу: Англия предложила нам Занзибар, Виту, Вальфишбай и обещание ходатайствовать перед Америкой об уступке Самоа, за что мы должны совершенно отступиться от Трансвааля и вступить в блок с

Англией и Америкой против франко-русской группировки. Год назад меня это не удивило бы: при этом неспособном надоедливом человеке из Брейсгау мы были готовы ко всякого рода сюрпризам. Но вчера я энергично спорил с распространителями этих слухов, так как я не верю, что вы дадите толкнуть себя на антирусскую позицию в угоду коварному Альбиону. Центр и его приверженцы конечно ничего лучшего не желают, как привести нас к столкновению с Россией. К этой цели стремятся как Рим (я имею в виду Рим папский), так и Англия и Франция, хотя и с различными целями. Перечисленные английские уступки очень хороши, но они ни в коем случае не стоят возможной ссоры с Россией». Под неспособным надоедой из Брейсгау Герберт Бисмарк подразумевал не пользовавшегося популярностью в Фридрихсруэ барона фон Маршалля.

Вскоре после моего назначения статс-секретарем я встретил в Тиргартене Людвига Бамбергера. Родом из Майнца, он в юности, 17 сентября 1848 г., в Франкфурте на Майне за день до восстания, во время которого погибли генерал фон Ауэрсвальд и князь Феликс Лихновский, в пламенных словах призывал народ к революции. Позднее он участвовал в пфальцском восстании, бежал затем во Францию и в Париже в результате ряда прибыльных банковских операций приобрел солидное состояние. Его брат Генрих, который последовал за ним во Францию, натурализировался там, был руководителем Парижско-нидерландского банка и сделался совершенным французом. Оба брата Бамбергеры были в родственных отношениях с крупным брюссельским банкирским домом Бишофсгеймов, а через него с известным турецким Гиршем[1], одним из первых сверхмиллионеров. Людовиг Бамбергер вернулся в Германию в 1870/71 г., редактировал для князя Бисмарка в Версале издававшуюся на французском языке газету, которая вела пропаганду за нас, позже повздорил с князем, с которым у него были столкновения в рейхстаге, которые он проводил с остроумными колкостями, князь же — ударами слишком крепкой дубины.

Людвиг Бамбергер был образованным человеком с прекрасными манерами и обладал тонким умом. Будучи тогда уже больным, он иногда ходил в эти серые осенние дни по Тиргартену, опираясь на мою руку, вокруг острова Руссо и пруда с золотыми рыбками. Однажды он сказал мне: «У вас в колониальном отделе есть один новичок, судьбой которого я интересуюсь. Его отец является доверенным лицом партии свободомыслящих в Пфальце. Сам он демократ и сторонник золотой валюты. Но ведь хотя вы лично настроены скорее консервативно, вы человек без предрассудков. Позовите к себе молодого Гельфериха; он вам понравится».

Несколькими днями позже я в Тиргартене же, снова у острова Руссо, столкнулся с основателем и руководителем Немецкого

[1] Türkenhirsch.

банка, депутатом свободомыслящих Георгом Сименсом. Он сказал мне: «В колониальном отделе под вашим началом работает один молодой человек, в котором я принимаю участие. Его отец помогает нашей партии в Пфальце. По своим политическим и экономическим взглядам он принадлежит к левым. Но я думаю, что вы не имеете предвзятых мнений. Прикажите представить вам юношу; он вам понравится».

Я велел молодому Гельфериху притти и действительно нашел в нем человека с быстрым соображением, очень старательного, очень честолюбивого, то, что французы называют «arriviste» — «начинающего», который во что бы то ни стало хочет стать чем-нибудь.

Я оказал ему поощрение, а также представил императору, которому он показался многообещающим. Этот талантливый дебютант, по мнению политиков, должен был со временем сделаться отличным финансистом, по мнению же финансистов, из него должен был выработаться государственный деятель. Говорят, что он стал незаурядным статс-секретарем финансов, посредственным статс-секретарем внутренних дел, неудачливым посланником в Москве. Он одно время стремился занять высший в империи пост и наконец в знаменитом процессе своей острой и жестокой диалектикой уничтожил Матиаса Эрцбергера, сам же выдвинулся на руководящий пост в консервативной партии. Много лет спустя железнодорожная катастрофа положила неожиданный трагический конец надеждам и планам этого высокоодаренного человека.

Между тем грозовые тучи, скопившиеся в течение месяцев над испано-американскими отношениями, разразились военной грозой. Война между Испанией и Соединенными штатами возникла из-за Кубы, жемчужины Антильских островов. Я уже упоминал, что симпатии Вильгельма II были всецело на стороне Испании, частью из-за неприязни к республиканскому образу правления в Америке, частью из личной дружбы к австрийским братьям испанской королевы-регентши. Вильгельм II принадлежал к тому типу людей, которые охотно верят в то, что им всего желательнее. Он был уверен, что Испания выидет победительницей из этого поединка.

В пометке от 3 апреля 1898 г. он безапелляционно заявил: «Гидальго наверно одолеет брата Ионатана, так как испанский флот сильнее американского.»

Вильгельм II тем меньше скрывал свое мнение, что он знал, что так думало и большинство нашего народа. Народ наш, который издавна следовал в политике больше влечению чувства, чем велениям холодного рассудка, сочувствовал испанцам в их борьбе с Америкой, как вскоре после этого он всем своим сердцем стал на сторону буров против англичан. Такую же позицию занял наш народ в отношении поляков против русских и даже во время мировой войны вопреки собственным жизненным интересам, по крайней мере в лице определенных кругов во главе с Бетманом-Гольвегом, Фридрихом Науманом, Гансом Дельбрюком и другими

плохими политиками, снова воодушевился в пользу поляков. Весьма показательно, что только в немецком языке существует слово «каннегиссер», т. е. понятие об основанном исключительно на чувстве, лишенном всякой реальности, прежде всего сознания собственных выгод, чисто теоретическом пустословии по политическим вопросам.

В этой своей склонности Вильгельм II был во всяком случае чистокровным немцем. Он телеграфировал мне в апреле 1898 г.: «Тирпиц непоколебимо убежден в том, что мы должны обладать Манилой и что это для нас необычайно выгодно. Как только революция оторвет Манилу от Испании, мы должны ею завладеть». На основании сведений, доставленных ему с нашей крейсерской эскадры, император полагал, что Испания не справится с повстанческим движением на Филиппинах. Но в то же время он был убежден, что американский флот будет разбит испанским. Тогда, думал он, Манила, как спелый плод, упадет к нашим ногам. Может быть испанцы даже попросят нас восстановить порядок на Филиппинах и тогда в награду предложат нам Манилу. Тяжелое поражение испанцев при Кавите положило конец подобным фантазиям. Я был в Новом дворце, когда император получил известие об уничтожении испанского флота. Его удивление было так же велико, как и его неудовольствие. Но он скоро пришел в себя и в дружеской форме потребовал от меня, чтобы я выпутал его и страну без урона из этого положения. Теперь император, в характере которого, как и всякого немца, была известная доля добродушной, полунаивной назойливости, приказал нашей эскадре быть как можно ближе к месту возможного испано-американского морского боя, чтобы, наблюдая его, она могла извлечь полезный для нас опыт. Император уже заранее радовался ожидаемым известиям. В результате наш флот слишком близко подошел к зоне военных действий.

Это обстоятельство вызвало в Америке недоверие и тревогу. С французской, а еще больше с английской стороны было подлито немало масла в огонь американского недоверия. Страсть к рекламе адмирала Дервейя, победителя при Маниле, сделала остальное. Мне удалось при поддержке всех партий рейхстага и при содействии замечательного американского посла в Берлине м-ра Уайта постепенно уладить это германо-американское недоразумение. Через полгода после испано-американской войны я мог в своей речи в рейхстаге 11 февраля 1899 г. установить, что нет никаких причин, которые препятствовали бы добрым отношениям между Германией и Америкой, что я не вижу ни одной точки, где могли бы столкнуться германские и американские интересы, и в будущем я также не вижу, где бы пути их развития могли враждебно пересечься. Германский народ не скрывает человеческого сочувствия к храброму, много вытерпевшему, испанскому народу, но он никогда не был несправедлив или слеп к способностям и блестящим качествам американского народа и был свободен от всяких предрассудков по отношению к

этому народу, который в течение последних ста лет нигде не был лучше оценен и нигде не нашел такого понимания, как в Германии. Мы не хотим и не будем рвать нитей, которые связывают нас с Америкой. Наша политика пойдет и в будущем прямым путем, продиктованным ей национальным достоинством и национальными интересами без провокаций, но и без слабости. На телеграмме из Вашингтона от 13 февраля 1899 г., в которой наш посол фон Голлебен сообщал, что моя речь встречена в Америке с большим сочувствием, император сделал пометку: «Она действительно являлась шедевром».

Я могу с удовлетворением отметить, что наши отношения с Соединенными штатами оставались хорошими, дружескими и прочными, пока катастрофа 1914 г. не уничтожила и этот ценный результат многолетних усилий, восходящих еще к эпохе Фридриха Великого.

16 июня 1898 г. император Вильгельм по случаю десятилетнего юбилея его царствования произнес перед лейб-гвардейскими полками в Потсдаме речь, в которой подобно своему великому предку Фридриху II справедливо подчеркнул, что армия — главная защита страны и лучшая опора трона; но совершенно неверным было его заявление, что десять лет назад, при его вступлении на престол, только армия питала к нему доверие, верила в него. Она должна и дальше следовать за ним «с безусловным, железным, слепым послушанием». Больно вспомнить теперь, что через двадцать лет после подобных слов последовало бегство в Голландию.

В тот же день Вильгельм II отправил в Вену послу графу Филиппу Эйленбургу следующую телеграмму: «Благодарю тебя от глубины моего сердца за твою верную дружбу. Я желал бы, чтобы ты, стремящийся к идеалу, всегда оставался при мне, чтобы укреплять меня в моих стремлениях. Такова моя ежедневная молитва. Я назначил тебя действительным тайным советником с титулом «превосходительства». До скорого свиданья. Так хочет бог». Филипп Эйленбург был тем более обрадован выражением этой монаршей милости и дружбы, что он очень страдал тогда от моральной катастрофы, постигшей его единственного брата графа Фридриха Эйленбурга. Во время бракоразводного процесса между Фридрихом Эйленбургом и его женой выяснились его противоестественные наклонности. Если бы мне кто-нибудь сказал тогда, что Филипп Эйленбург пойдет по стопам своего брата, я обозвал бы этого человека дураком.

Несмотря на мою долголетнюю дружбу с Филиппом Эйленбургом, после падения князя Бисмарка между нами возникло глубокое расхождение во взглядах на отставку князя. Когда в 1890 г. пронеслись первые слухи, что положение Бисмарка поколебалось, и когда они дошли до Бухареста, где я был тогда посланником, я написал Филиппу Эйленбургу, который уже в то время был доверенным лицом, другом и советником императора, очень серьезное письмо.

В этом письме я предостерегал от тех необозримых последствий, которые могли возникнуть в результате расхождения короны с величайшим министром, которого когда-либо имела Пруссия. Мое письмо не произвело впечатления. Бисмарк получил отставку. Я пользовался с тех пор каждым поводом, чтобы уяснить Эйленбургу, что обращение с князем Бисмарком, допущенное императором по его собственному легкомыслию и горячности, отчасти же под влиянием Гольштейна и Бетгихера, все снова и снова бередит раны, нанесенные отставкой Бисмарка национальному чувству. Я не верю в то, что Филипп Эйленбург вел интригу и настраивал императора против князя Бисмарка. Но он и не противоречил императору, а сразу же обратился против князя и стал на сторону его величества с тем комедиантским восторгом, который часто вызывал к нему отвращение у более внимательного наблюдателя. Своему другу барону Дернбергу, состоявшему тогда секретарем миссии в Бухаресте, сразу же после отставки князя Бисмарка Филипп Эйленбург в открытом письме написал: «Бисмарк убрался! Теперь все пойдет лучше, чем раньше». В 1890 г. так думали многие, даже из тех, кто не принадлежал к тем трем партийным группам — центру, демократической и социал-демократической партиям, — которые всегда вели борьбу с великим канцлером.

Князь Бисмарк и его семья никогда не могли простить Филиппу Эйленбургу, что он не успокоился до тех пор, пока с помощью Гольштейна не перевел зятя князя Бисмарка графа Куно Ранцау, совершенно против его желания, из Мюнхена в Гаагу. Большой ошибкой со стороны Эйленбурга было, что он занял освободившийся после перевода Ранцау мюнхенский пост. Эйленбург питал особенную любовь к Мюнхену, в артистической атмосфере которого он прекрасно себя чувствовал. Там в некоторых кругах имели успех его «Песни роз», его «Напевы скальдов», «Святочные сказки» и другие плоды его музы. Было бы лучше, если бы он учел, что князь Бисмарк, будучи оскорблен и раздражен, никогда ничего не забывал и что изгнание его зятя и дочери из излюбленного ими Мюнхена глубоко обидело старого имперского канцлера. Канцлер не простил этого. Когда я однажды спросил умного старого Герзона Блейхредера, почему князь после своей отставки так жестоко обошелся с бедным Беттихером, тот ответил мне: «Князь, подобно нашему Иегове, гневный бог: за грехи он взыскивает и не прощает».

Я должен признаться, что о Филиппе Эйленбурге ходили скверные слухи, с тех пор как он стал работать в качестве секретаря прусской миссии в Мюнхене. Слухи эти дошли через очень раздраженного своим перемещением Ранцау до князя Бисмарка, который в свою очередь рассказал о них Максимилиану Гардену. Первый удар, который повел к моральной гибели несчастного Филиппа Эйленбурга, был нанесен ему из Фридрихсруэ великим человеком, который так сильно умел ненавидеть. То была его рука, которая даже через девять лет после смерти из могилы

в Саксонском лесу еще угрожала тому, кого он считал интриганом и пройдохой. С другой стороны, при всем своем сострадании к Филиппу Эйленбургу, я не могу отрицать того, что он, несмотря на мои предупреждения, всегда подстрекал императора против Фридрихсруэ. Когда во время траурной церемонии в Фридрихсруэ Филипп Эйленбург с распростертыми объятиями подошел к графу Герберту, последний в присутствии меня и других холодно и демонстративно повернулся к нему спиной. Филипп был мягкой натурой, но и голуби могут быть ядовиты. Филипп Эйленбург старался вредить дому Бисмарков. Его месть была направлена против великого отца, обоих его сыновей, его дочери и зятя Ранцау. Эйленбург выставлял их в смешном виде перед императором. Я вспоминаю одну «египетскую сказку», сочиненную Фили Эйленбургом для его величества. В ней ясно намекалось на Бисмарков, отца и сыновей. Бисмарк был выведен под видом быка Аписа, который при старом фараоне выслужился тем, что сносил заборы, разделявшие владения старого фараона. Он стал претендовать на божеские почести и при поддержке вероотступников — жрецов и дурацких философов — не без успеха и с изощренностью отравлял жизнь юному гениальному преемнику прежнего добродушного, но одряхлевшего государя. Но гениальный новый государь дал отпор такой бесстыдной заносчивости. Он продел злому быку Апису кольцо через нос и запер его вместе с двумя бычками, его сыновьями, в стойле, где он не мог уже причинить никому вреда. Вот радовались египтяне! Вот ликовали подданные молодого фараона! Император очень смеялся этим сказкам, в которых поэтическая фабула и остроумие не могли искупить их отвратительную тенденцию. Еще хуже были истории, которые Филипп Эйленбург рассказывал его величеству о графине Марии Ранцау, единственной дочери князя Бисмарка, добродушной и безобидной женщине. Он делал это потому, что добивался поста ее мужа в Мюнхене. Он выдумал между прочим, что она предавалась языческому культу с морской свинкой. Животное, которому было дано героическое имя «Герман», умерло у нее на руках. Она уложила его в миниатюрный гробик, который поставила у себя в спальне, окружив его свечами в четырех высоких серебряных канделябрах. В конце концов морская свинка была похоронена в Фридрихсруэ в особой часовне.

Само собой разумеется, что во всей истории с морской свинкой не было ни слова правды.

ГЛАВА XV

Выборы в рейхстаг, происходившие 16 июня 1898 г., принесли новую победу социал-демократии, которая вместо 45 мандатов получила 56. Центр овладел еще тремя мандатами сверх тех 98, которыми он владел до сих пор; консервативные партии потеряли 10 мандатов. Вскоре после этого произошло последнее публичное выступление князя Бисмарка. В конце июня 1898 г.

он написал письмо профессору Калю, занятому тогда устройством народной библиотеки в Познани, которая должна была носить имя библиотеки императора Вильгельма I. В этом письме Бисмарк выражал надежду, что славное имя его старого государя будет способствовать успеху и процветанию этого патриотического предприятия, которому он выражает свои самые горячие симпатии. Так совпадало у великого немецкого государственного деятеля начало его деятельности с ее концом. Полстолетия назад, 20 апреля 1848 г., молодой помещик фон Шенгаузен сейчас же после мартовской революции поместил в «Magdeburger Zeitung» статью, в которой выступал против дерзких претензий Польши, а еще больше против сентиментальных и односторонних симпатий к Польше, наследственному смертельному врагу Германии. С проницательностью гения, который видит в далеком будущем то, что в данный момент совершенно скрыто от близорукой толпы современников, Бисмарк, едва достигший тридцатипятилетнего возраста, предсказывал, что восстановленная Польша «убьет лучшие стремления Пруссии», в то время как миллионы немцев будут предоставлены польскому произволу. Самостоятельная Польша будет «нашим неутомимым врагом, всегда готовым при каждом осложнении на Западе ударить нам в тыл, врагом, гораздо более жадным до завоеваний на наш счет, чем русский император». Последнее выступление престарелого основателя империи тоже выражало заботу о немецком Востоке.

* *
*

В конце июля распространились слухи о внушающем тревогу состоянии здоровья князя Бисмарка. 30 июля в 11 часов вечера он скончался.

Сразу после смерти Бисмарка Мориц Буш, уже давно составивший себе имя книгой «Бисмарк и его люди», опубликовал прошение Бисмарка об отставке от 18 марта 1890 г. Этот документ не оставлял никакого сомнения в том, что главным поводом к разрыву между Вильгельмом II и Бисмарком было различие во взглядах на политику в отношении России [22]. Германский консул в Киеве Раффауф прислал целый ряд донесений о вооружениях России, которые больше свидетельствовали об излишнем усердии консула, или, как иронически говорил Бисмарк, «furor consularis», нежели о политической зрелости и спокойной рассудительности. У меня нет прямых доказательств того, что Гольштейн был вдохновителем этого консула в его излишнем усердии, но я почти уверен, что если эти сами по себе незначительные сообщения сразу попали в руки императора, то это произошло не без содействия Гольштейна и не без ведома графа Вальдерзее. Вильгельм II, искавший только предлога, чтобы избавиться от ставшего ему неудобным князя, ознакомившись с полученными от Раффауфа донесениями, послал канцлеру раздраженное, очень возбужденное, полное преувеличений письмо. «Quand on veut noyer son chien on

dit qu'il est galeux»[1], — говорят французы. В этом послании он в грубом тоне упрекал канцлера в том, что тот скрыл от своего государя «страшно грозную опасность» со стороны России и ничего не предпринимал для ее предотвращения. После этого грозного императорского письма мы сохраняли мир с Россией еще в течение двадцати четырех лет и могли бы сохранить его еще и дольше, если бы наша политика в 1914 г. велась в духе Бисмарка.

Через несколько дней после похорон князя Бисмарка в Фридрихсруэ в церкви памяти императора Вильгельма I в Берлине состоялась панихида, на которой присутствовали их величества. По окончании богослужения император с министрами, с канцлером Гогенлоэ во главе, проследовали в ризницу, где император обратился к ним с речью, начинавшейся словами: «Сегодня упал занавес над длинным актом нашей истории. Теперь начинается второй акт, в котором первая роль принадлежит мне». Высказав затем свое доверие князю Гогенлоэ, он напомнил министерству о необходимости поддерживать своего председателя, чтобы он мог как следует справиться со своей задачей.

Дней через восемь после смерти князя Бисмарка Вильгельм II получил письмо от своего близкого английского друга графа Лонсдаля, которое он дал прочесть не мне, а различным господам из своего окружения. В этом письме говорилось о царящем среди немцев возбуждении в связи со смертью князя Бисмарка. Его, Лонсдаля, успокаивает только мысль, что если бы объединение Германии не было проведено Бисмарком, то другой, гораздо более великий гений, а именно Вильгельм II, выполнил бы эту задачу. Вильгельм сказал по поводу этого письма: «Вот в отношении такого верного друга некоторые хотят заронить во мне сомнения».

Приблизительно через два месяца после смерти князя Бисмарка император Вильгельм писал матери о своих отношениях с великим канцлером. Это письмо характеризует психику императора Вильгельма лучше, чем какой-либо другой известный мне документ. Император передал мне это письмо через Филиппа Эйленбурга с пометкой, что я должен позаботиться о том, чтобы наши дипломаты везде, где только представится к этому возможность, высказывались в духе этого письма. Филипп Эйленбург намекнул мне, что если это письмо «как бы нечаянно» попадет в прессу, то вреда от этого не будет. Вильгельм II во все время своего царствования чувствовал потребность оправдаться в отставке Бисмарка. Он побуждал меня опубликовать письмо, которое он написал императору Францу-Иосифу после отставки Бисмарка. Вильгельм думал, что это письмо произведет большое впечатление. Мне удалось отговорить императора от этого намерения, и я был прав: когда после революции 9 ноября это письмо было опубликовано в Вене, оно не повредило, как надеялся Вильгельм II, памяти Бисмарка, а нанесло ущерб исключительно

[1] Когда хотят утопить свою собаку, то говорят, что у нее чесотка.

самому императору уже потому, что содержало слишком много преувеличений, фантастических измышлений и, больше того, несколько явно ложных утверждений. Я часто задумывался над тем, отдает ли себе император в таких случаях отчет в неправдоподобности своей версии.

Филипп Эйленбург, обладавший очень тонким умом, сказал однажды относительно Вильгельма II, вспоминая известную прекрасную песню поэта Уланда, где говорится о птице, которая поет на ветке, что Вильгельм II фантазирует, чтобы не сказать лжет, как птичка поет на ветке.

Летняя тишина 1898 г. была нарушена тремя политическими событиями. Во-первых, предложением царя созвать конференцию о разоружении, которое было опубликовано в петербургском «Правительственном вестнике» и через министра иностранных дел графа Муравьева доведено до сведения всех русских миссий за границей и иностранных послов и посланников в Петербурге. Первый толчок к этому предложению императора, говорят, был дан варшавским банкиром Блохом, почтенным человеком и давнишним мечтателем о мире и благоволении на земле. Император Вильгельм II был так поражен и возбужден этим выступлением России, что, не посоветовавшись ни со мной, ни с Гогенлоэ, отправил от своего имени царю Николаю II телеграмму, в которой высмеивал это предложение. Он спрашивал его, не думает ли царь украсить храм мира славными знаменами его полков, напоминал ему славные победы русского оружия в прошлые времена и подчеркивал необходимость держать русский меч обнаженным с таким пылом, как если бы он был русским военным министром. Наша императрица, которая принимала искреннее участие во всех заботах ее супруга, рассказывала мне, что император давно ничем не был так рассержен, как этим внезапным и глупым выступлением молодого царя. Филипп Эйленбург заметил: «Наш любимый государь терпеть не может, когда кто-нибудь другой становится на первом плане». Мы вместе с князем Гогенлоэ прилагали все усилия, чтобы одушевленный благородными намерениями русский царь не был обижен, в особенности же, чтобы не сложилось представление, что тяжело ложившееся на все народы непрерывное усиление вооружений и несомненная напряженность международного положения вызваны немецким народом, тогда как в действительности он является самым миролюбивым народом в мире. Я цитировал при этом слова, сказанные мне много лет назад в Вене для руководства на жизненном пути одной умнейшей женщиной, княгиней Элизой Зальм, урожденной принцессой Лихтенштейн: «Самое главное — как можно реже играйте роль одиозной фигуры».

Застольная речь, произнесенная императором 6 сентября 1898 г. в Ойенгаузене, в которой он возвестил закон о защите желающих работать[1], повлекла за собой тяжелые последствия.

[1] Т. е. штрейкбрехеров.

Защита желающих работать, как и все законы о забастовках, о конфликтах между рабочими и работодателями, является одним из сложнейших и щекотливейших вопросов в законодательстве и в государственном управлении вообще. Здесь больше, чем где бы то ни было, требуется твердое, но осторожное и разумное руководство. Когда император в своей ойенгаузеновской речи уже заранее, до обсуждения намеченного им проекта, с таким ударением и в самых общих выражениях объявил, что всякий, кто бы он ни был и как бы он ни назывался, кто попытается препятствовать немецкому рабочему, желающему выполнять свою работу, или даже будет склонять его к забастовке, должен быть наказан тюрьмой. Он сам очень затруднил принятие этого законопроекта, которого он очень желал. По выражению баварского посланника графа Гуго Лерхенфельда, он убивал младенца в утробе матери.

Одним из вопросов, особенно интересовавших меня в 1898 г., было дело Дрейфуса, которое ко времени моего приезда в Берлин уже давно раскололо Францию на два лагеря. За делом Дрейфуса внимательно следил весь мир. Когда я был вызван в Берлин, я тотчас же осведомился, как в действительности обстоит это дело. Я получил ответ, что мы никогда не имели дела с Дрейфусом и что он абсолютно невиновен; что настоящим виновником вероятно является майор Эстергази. Когда 24 января 1898 г. Евгений Рихтер запросил меня в бюджетной комиссии рейхстага относительно дела Дрейфуса, я ответил, что должен конечно избегать всего, что может быть представлено как вмешательство во внутренние дела Франции. Я ограничился поэтому самым определенным заявлением, что между Дрейфусом и каким-либо германским правительственным органом никогда не было никакой связи, никаких отношений какого бы то ни было рода. Это мое заявление не понравилось как «дрейфусарам», так и «антидрейфусарам». Я не имел никаких оснований разоблачать Эстергази уже потому, что правительству, которое выдает своих агентов или шпионов, потом бывает трудно находить других.

Добавлю к этому самым категорическим образом, что Германия до мировой войны гораздо меньше всех других стран тратила на разведочную службу, шпионаж и т. д. и в этой нечистоплотной, но очень важной области была гораздо пассивнее других великих держав. Наши тайные фонды были до смешного малы в сравнении с суммами, которые расходовались на этот предмет Англией, Россией и Францией. Поэтому мы в сравнении с ними были в очень неблагоприятном положении. Рейхстаг не решался в мирное время ассигновать необходимые для разведочной службы суммы отчасти из-за ни на чем не основанного страха, что деньги будут истрачены на внутриполитические цели, частью из скаредности, преимущественно же потому, что немецкий политик всегда склонен относиться ко всем политическим вопросам и ситуациям с обывательской и мещанской точки зрения.

Когда мы были вовлечены в мировую войну, то мы в отношении разведки впали в другую крайность. Теперь уже, в особенности благодаря Эрцбергеру, сыпались миллионы за миллионами, тратившиеся большей частью неумело, иногда безрассудно и бесполезно. Во время боснийского кризиса я наблюдал, что можно сделать даже с небольшими средствами при умелом ведении дела. Я дал тогда одному доверенному лицу в Париже сравнительно очень скромную сумму для проведения правильного освещения боснийского вопроса. Я внушил ему, что нам не нужно пытаться покупать целые газеты, но достаточно иметь дело с отдельными сотрудниками, не следует также требовать выступления в пользу Германии, а только указывать, как это глупо получится, если Франция будет таскать для других каштаны из балканского огня.

После этого я вскоре уже читал целый ряд французских статей, в которых разумно трактовалось европейское положение, и все это за мелочь, составлявшую всего-навсего около ста тысяч марок.

ГЛАВА XVI

12 октября мы отправились в путешествие по Востоку.

18 октября 1898 г. мы прибыли в Константинополь. Во время нашего пребывания там я был так занят — не только беседами с турецкими министрами, но и письменной и телеграфной перепиской с Берлином, — что ни разу не побывал даже в храме святой Софии.

Султан Абдул-Гамид во время данной мне длительной аудиенции не произвел на меня большого впечатления. Хотя он известен как «палач армян» и вероятно таковым и был в действительности, он больше походил на армянина, чем на турка — сутулый, осторожный, пугливый и сгорбленный. Мунир паша, его секретарь для иностранной корреспонденции, выступавший в роли переводчика, должен был при каждом слове, которое он произносил, касаться рукой пола. Это означало: я прах у ног вашего величества. В ответах султана сквозили большая осторожность и хитрость. Оба эти свойства, вероятно очень нужные и полезные ему благодаря его излишнему страху не только перед революцией и покушениями, но и перед каждой газетной нападкой, переходили у него в патологическое явление. Обычным трюком всех газетных писак, особенно в Париже, а иногда также и в Германии, было обыкновение пугать султана Абдул-Гамида разоблачением положения дел в Турции. Эти вымогатели почти всегда получали от него деньги за молчание; когда же они угрожали ему пропагандой в пользу какого-нибудь турецкого принца, претендента на турецкий престол, запертого где-нибудь в серале, Абдул-Гамид замазывал рты этим писакам большими суммами. Первый драгоман нашего посольства Теста, один из лучших знатоков турецких отношений, рассказывал мне об одном своеобразном случае, происшедшем накануне большого

параде, назначенного в честь прибытия в Константинополь германского императора, на котором я также присутствовал. Турецкий ротмистр, который должен был со своим эскадроном участвовать в параде, телеграфировал непосредственно султану, что он считает своей обязанностью доложить ему, что происходят угрожающие передвижения войск в направлении к столице. Когда я спросил Теста, получил ли этот офицер отставку или его поместили в дом умалишенных, наш драгоман ответил мне: «Наоборот, султан наградил его денежной суммой и сделал его своим флигель-адъютантом».

Особое недоверие султан питал к своим иностранным миссиям, к своему флоту и к электричеству. Для своих заграничных представительств султан изобрел сложную систему шпионажа. За главой миссии следил секретарь, за секретарем — военный атташе, за военным атташе — его товарищ морской атташе, за морским атташе — посол. В последнем счете они все вместе обманывали и предавали султана. Свой флот султан Абдул-Гамид ненавидел потому, что его предшественник Абдул-Азиз был свергнут с престола флотом. Его морской министр Гассан паша, который считался самым большим вором среди всех турецких чиновников, — а этим сказано немало, — пользовался особой милостью своего господина, потому что он не упускал ничего, что могло бы послужить окончательному разрушению турецкого флота. В Киле я видел турецкий корабль, который стоял там целые годы; он, как я припоминаю, прибыл в нашу прекрасную балтийскую гавань с подарком императору от султана. Он не мог отплыть обратно, так как у капитана не было денег, чтобы запастись углем и продовольствием на дорогу. Даже своего очень скромного жалования матросы не получали аккуратно. Бедняги, чтобы не умереть с голоду, старались заработать себе кое-какие гроши на сельскохозяйственных работах в окрестных голштинских поместьях. Наряду с флотом нелюбовью Абдул-Гамида пользовалось также электричество. Во время нашего визита в Константинополе там находился представитель одной большой немецкой электрической фирмы, добивавшейся получения концессии на электрическое освещение турецкой столицы. Его устройство в Константинополе было бы крайне желательно, хотя бы для обеспечения ночной безопасности жителей. Но все усилия получить концессию были напрасны. Султан боялся электрического света. Всех этих вещей Вильгельм II не видел, или, скорее, не хотел их видеть в своем пристрастии к султану и всему турецкому. Il n'y a pas de pire sourd que celui, que ne veut pas entendre[1].

Я не обманывался насчет того, что в течение нескольких дней я не смогу основательно разобраться в турецких делах. Тем не менее я приобрел много полезных сведений из подробных расспросов Теста, из разговоров с Маршаллем, которые оба

[1] Нет более глухого, нежели тот, который не хочет слышать.

были настроены очень дружественно к туркам, из бесед с нашими командированными в Турцию офицерами, почти всегда более трезво и критически, чем наши дипломаты, смотревшими на положение вещей, уже в силу того, что они ближе стояли к жизни и бывали в провинции, а также и из разговоров со старыми друзьями, которых я нашел среди представителей других держав в Константинополе. Все это укрепило меня во время моей служебной деятельности в стремлении умерять и обуздывать слишком далеко зашедший энтузиазм императора и его восхищение перед всем турецким и магометанским. Я помнил о знаменитом ответе, данном в семидесятых годах австровенгерским министром иностранных дел Гвилой Андраши на известие, полученное им от военного атташе в Константинополе графа Альфреда Икскюля. Альфред Икскюль написал графу Андраши длинное донесение, вскоре после того как он прибыл в Константинополь и едва успел там осмотреться, в котором писал, что, по его мнению, Турецкая империя просуществует самое короткое время. Граф Андраши ответил ему, что прочел его письмо с большим интересом, так как оно содержит в себе много верного. Но он припоминает, что он уже видел в венгерских архивах сообщение одного венгерского представителя при Высокой Порте еще от XVII века. В этом донесении с такой же категоричностью предсказывалось падение Оттоманской империи в самое ближайшее время. Поэтому граф Андраши берет на себя смелость думать, что и на этот раз Турция переживет предсказание графа Икскюля. Ответ графа Андраши был остроумным, но все же не совсем правильным. Турция принадлежит к тому виду государственных образований, которые лорд Сольсбери с британской жестокостью называл «умирающими нациями». Так он называл государства, которые терпеливо переносят территориальные потери и этим доказывают, что они в сущности заслужили эти потери и ни о каком возврате этих территорий не может быть больше и речи. Турция в течение столетий потеряла Венгрию, Семиградье, Грецию, Сербию, Болгарию, северный берег Африки, и ни один человек, меньше всего сами турки, не думает, что эти далекие области могут быть когда-нибудь возвращены под турецкое владычество. Точно так же никто не может серьезно предполагать, что Австрия когда-нибудь опять получит Ломбардию, Венецию или Бельгию, которыми она некогда владела. Поэтому я советовал императору осенью 1898 г. не выступать ни за, ни против турецкого владычества над Критом. Он не должен выступать против Турции, но и не особенно стоять за нее, так как рано или поздно Крит будет принадлежать грекам. Император, который тогда презирал греков, но которых после примирения со своей сестрой Софией и Константином Греческим, а особенно после приобретения им Ахилейона на острове Корфу он чрезвычайно полюбил, неохотно следовал моим советам и в особенности не мог пропустить случая, чтобы не надоедать царю с ходатайствами в пользу турок. Панисламизм и «зеленое знамя» никогда не возбуждали во мне доверия, и я не обманывался также

и относительно того, что они не могут доставить серьезных затруднений для Англии, России, Франции или Италии.

Я уехал из Турции с убеждением, что мы приобрели в ней широкое поле для нашей хозяйственной деятельности, а также храброго друга на случай опасности. Однако мы не должны заблуждаться насчет ее внутренней слабости и не ждать много от зеленого знамени. Турция была однако не столько «больным человеком», как выразился о ней император Николай I в 1853 г. в разговоре с английским посланником в Петербурге лордом Георгом Гамильтоном Сеймуром, сколько человеком «старым, который много уже пережил на своем веку и не в состоянии перенести никакого насильственного лечения, в особенности повторного».

Во время нашего пребывания в Константинополе мне пришлось много раз беседовать с тогдашним директором Deutsche Bank Георгом фон Сименсом. Этот выдающийся делец, инициатор создания Багдадской железной дороги, отлично сознавал, так же как позже и господин фон Гвинер, что этот грандиозный план можно будет провести только при наличии осторожной, разумной и в особенности только при направленной на мирные цели германской политики. Я хорошо помню поездку, совершенную мной вместе с Георгом Сименсом в одно чудесное октябрьское утро из Константинополя в Гайдар-пашa, во время которой он развил мне свой проект. Пришлось в течение шестнадцати лет вести переговоры с переменным успехом, до тех пор пока идеи Сименса стали близки к реализации. Между нами и Англией состоялось соглашение относительно Багдадской дороги как раз к тому времени, когда над Сербией разразилась гроза ультиматума. Наш посланник в Лондоне князь Лихновский получил мастерски написанную каллиграфическим почерком и скрепленную замечательной печатью ратификационную грамоту англо-германского договора о Багдадской дороге в тот самый день, когда Англия после нашего вступления в Бельгию объявила нам войну. Если бы этот симптом безрассудства тогдашней нашей внешней политики не был столь трагичен, то я бы процитировал Ювенала: «Difficile est satiram non scribere»[1].

Когда шейх Абдоба эфенди на празднике в Дамаске, устроенном городом в честь императора, приветствовал его любезными словами, Вильгельм произнес речь, в которой он в пылких выражениях благодарил город Дамаск за великолепную встречу. Он сказал, что он глубоко взволнован этим потрясающим зрелищем и в то же время взволнован мыслью, что он находится в том месте, где некогда жил один из самых рыцарственных властителей всех времен великий султан Саладин, рыцарь без страха и упрека, который часто мог бы служить примером истинного рыцарства для его христианских противников. «Пусть его величество султан и триста миллионов магометан, рассеянных по всему миру и почитающих его как своего калифа, будут уверены в том, что герман-

[1] Трудно не написать сатиры.

ский император будет их другом на вечные времена». По окончании обеда я приказал явиться стенографу, сопровождавшему нас, чтобы записывать выступления императора. Я сказал ему, что он не должен публиковать этой речи до тех пор, пока я не прокорректирую ее. Стенограф с видимым смущением ответил мне, что по указанию посла Маршалля, получившего прямой приказ от императора, телеграмма агентству Вольфа была сразу же и уже довольно давно отправлена. Я имел из-за этого с Маршаллем серьезную стычку, причем сказал ему, что я понимаю, что он смотрит на вещи с точки зрения посла в Турции. Я же обязан помешать перегибам такой дипломатии «с точки зрения своего эскадрона». Речь императора, с одной стороны, может породить излишние иллюзии в Константинополе, с другой же стороны, вызвать недоверие и неудовольствие во Франции, в Англии и России, имеющих миллионы магометанских подданных. В течение всей моей службы я очень заботился о поддержании германо-турецких отношений, и нет такого турецкого ордена, да еще с бриллиантами, которого бы я не получил в знак признательности за эти мои старания. Но на нашу дружбу с Турцией я смотрел только как на средство для достижения определенных целей, притом в большей степени экономических, чем политических. Я также не обманывался насчет пределов значения турецкой помощи. Маршалль и его преемник Вангенгейм, считая свой пост посла у Золотого Рога чем-то вроде трамплина, откуда удобно будет прыгнуть на руководящий пост в Берлине, много грешили в своих донесениях, приукрашивая истинное положение вещей. Восторг населения, внимательное отношение властей, уверенность, что в турках и во всех исповедывающих ислам он имеет истинных друзей и почитателей,— все это побуждало Вильгельма II к тому, что он считал своим долгом почти ежедневно телеграфно выражать султану свою радость и благодарность. Составление этих телеграмм ложилось на меня, причем в них приходилось вносить известные изменения, так что я истощил весь запас оборотов французской речи, выражающих признательность, удовольствие и удовлетворение. Как только раздавалось восклицание императора: «Но ведь это самое прекрасное изо всего, что мы здесь видели! Бюлов, благодарственную телеграмму султану»,— я брал в руку карандаш и измышлял новый вариант. Мой друг Кнезебек сказал мне: «Существуют письмовники для влюбленных. Ты сможешь составить письмовник для дружественной переписки с султаном во время поездки на Восток».

ГЛАВА XVII

26 ноября мы снова были на вокзале Вильдпарк в Потсдаме, где нас встретили прусские министры во главе с канцлером Гогенлоэ. Император сказал краткую речь своим конституционным советникам, в которой дал вдохновенную картину как того приема, который ему оказали в Турции, так в особенности ее прекрасного

состояния. Дошло даже до того, что он сказал, что Турция может служить образцом для других стран в отношении безусловной покорности подданных султану, в лице которого они почитают не только своего повелителя, но и калифа, т. е. наместника бога. Благословение неба явным образом витает над Турцией, в хозяйственном отношении находящейся в цветущем состоянии.

Когда мы возвращались по железной дороге в Берлин, министр вероисповеданий доктор Боссе сказал мне, что он глубоко потрясен речью императора. Он с большой группой духовенства в одно время с императором и почти по тому же маршруту посетил Палестину и Сирию. Он видел везде бедность, запустение и бесправие. Как же могло случиться, что император, такой высокоодаренный человек, создает себе такие иллюзии? Князем Гогенлоэ опять овладели воспоминания о Людвиге Баварском, который грезил об островах на Эгейском море и охотно променял бы на них прозаическую Баварию. Я и теперь опять мог повторить, что по моему твердому убеждению император психически вполне нормален, но поверхностен и очень впечатлителен, не может критически относиться к своим фантазиям, лишен выдержки, а потому часто является игрушкой изменчивых впечатлений.

Император Вильгельм под влиянием приставленного к нему в качестве почетной свиты способного интригана албанца Туркан паши, вопреки моим советам, написал императору Николаю II письмо, в котором горячо вступался за притязания Турции на остров Крит. В Дамаске он не удержался, чтобы не написать второго письма Николаю II, в котором выражал свое восхищение турками. По приезде в Берлин Вильгельм получил от своего «коллеги, друга и зятя», как он его называл в шутку, следующий ответ:

«Ливадия, 2 декабря 1898 г.

Дражайший Вилли!

Очень любезно с вашей стороны, что вы написали мне два больших интересных письма во время вашего путешествия — одно из Константинополя, другое из Дамаска. Я от души благодарен за них. В особенности мне интересно было прочесть о ваших личных впечатлениях, так как я к сожалению не имел возможности посетить Сирию и Палестину во время моего путешествия на Восток. Несколько дней назад я получил специальное донесение от графа Остен-Сакена относительно разговора, который он имел с вами в тот день, когда он преподнес вам картину, изображающую ваш прошлогодний приезд в Кронштадт. Ваша обычная откровенность по отношению к нему очень обрадовала меня, и я прошу вас и впредь доверять ему так же, как мне. Если же вы хотите иметь обстоятельное объяснение по какому-нибудь вопросу или же вы лично хотите сообщить что-нибудь такое, что может касаться нас обоих, то в будущем пожалуйста кроме письма ко мне (если у вас найдется время) пошлите за Остен-Сакеном.

Могу вас уверить, что таким путем дело пойдет быстро и без шума.

Я надеюсь, что вызывающее поведение Англии будет длиться недолго. Кажется, она только в первый момент серьезно взялась за военные приготовления, а теперь, когда она видит, что впечатление, произведенное этими приготовлениями на великие державы, не столь велико, как она ожидала, я уверен, что ее воинственное настроение скоро уляжется. Я не думаю, что у Англии много шансов на заключение союза с Соединенными штатами — против Европы вообще и России в частности, — ведь налицо столько противоположных интересов. Канада или большой вопрос о Никарагуанском канале. Конечно им (я говорю об англичанах) хотелось бы восстановить американцев против нас в Китае. Это также не страшит меня, так как мы крепко сидим в Порт-Артуре. И помимо всего этого русская граница соприкасается с афганской. Англия не должна забывать этого! Я рад, что критский вопрос близок к разрешению. Вы знаете причину, по которой Россия принимала такое большое участие в разрешении этой проблемы, рискуя испортить наши хорошие и сердечные отношения с Турцией. Этой причиной было опасение, чтобы какая-нибудь другая держава не утвердилась на острове, и кроме того конечно желание положить конец постоянному кровопролитию. Иного пути для решения вопроса, кроме отправки Георга в качестве верховного комиссара четырех держав, не было. Это мера конечно радикальная, но, по моему мнению, единственная. Наши войска останутся там до тех пор, пока Англия будет держать свои войска на острове... Никки».

* *
*

В Англии царила большая зависть к нашим успехам, связанная с недоверием и неприязнью, в особенности в высших сферах.

Принц Уэльский не выносил немцев и ненавидел своего племянника императора Вильгельма. С другой стороны, в Англии существовали широкие круги, к которым принадлежали многие из лучших и достойных уважения англичан, которые считали преступлением войну между Германией и Англией. Летом 1898 г. в полном контакте с нашим послом в Лондоне графом Паулем Гацфельдом я сделал попытку согласовать с Англией наши интересы в Африке таким образом, чтобы это не задело ничьих обоснованных притязаний и чтобы в то же время это соглашение в одинаковой мере соответствовало интересам обеих сторон.

Для меня дело шло при этом не только о португальских владениях в Африке, но и о том, чтобы, пользуясь этим случаем, установить, насколько мы можем полагаться на английскую добросовестность. Конъюнктура была благоприятная.

Португалия, неисправный плательщик, испытывала финансовые затруднения, отчего ее кредиторы Германия и Англия страдали годами, совершенно не получая больше процентов. Португалия предлагала как нам так и Англии купить у нее или взять в залог какое-нибудь из ее владений. По нашему соглашению с Англией, Мозамбик, на гавань которого, Лоренцо-Маркес, Англии давно уже принадлежало право преимущественной покупки, должен был войти в сферу английского влияния, португальские же владения на западном берегу Африки подпадали под наше влияние. Португальские владения в Зондском архипелаге должны были быть поделены между обеими великими державами. Соглашение было подписано в октябре 1898 г. Когда я в конце августа имел возможность сообщить императору, что английское правительство в основном согласилось на наши предложения, его величество телеграфировал мне: «Такой оборот дел приветствую с радостью, которая становится еще больше от того, что благодаря предложениям относительно мира и разоружения и сопутствующим им разглагольствованиям определенно растет возможность войны. Благодарю вас, дорогой Бюлов, за самоотверженную и успешную работу и искусство, с каким вы сумели убедить Англию наконец пойти на уступки нам. Это опять большая победа вашей дипломатической тонкости и дальновидности».

В конце столетия я узнал благодаря нескромности одного негерманского дипломата, с которым я был с молодых лет в дружественных отношениях, причем это было подтверждено мне из парижских банковских кругов, что Англия спустя год после заключения соглашения с Германией заключила тайный договор с Португалией, так называемый Виндзорский договор, который с определенностью подтверждал старые договоры, по которым могущественная Англия и многолетний ее клиент маленькая Португалия гарантировали обоюдную неприкосновенность их владений с обязательством взаимно защищать их в случае необходимости. Заключение Виндзорского договора следует приписать принцу Уэльскому, который был в личной интимной дружбе с португальским посланником маркизом Совералем. Разумеется, этот Виндзорский договор стоял в резком противоречии с духом англо-германского соглашения относительно португальских колоний. Этот договор являлся не только гарантией для Португалии, но и прямо побуждал эту страну не отягощать долгами своих колоний. Он укрепил старую тенденцию португальцев отдавать Англии предпочтение во всех экономических вопросах, не говоря уже о том, что политическая зависимость Португалии от Англии значительно возросла благодаря Виндзорскому договору.

Соглашение 1898 г. между нами и Англией должно было быть снова оживлено и подписано, когда кризис, возникший в результате ультиматума Сербии, уничтожил вместе со многими другими ценными перспективами и эту надежду. Но в конце истекшего столетия было понятно, что после такого опыта я считал

необходимым соблюдать осторожность, когда некоторое время спустя Чемберлен, без согласия всего министерства и даже премьер-министра, закинул нам приманку в виде англо-германского союза в такой момент, когда ему как инициатору бурской войны очень хотелось выдвинуть Германию в качестве буфера между собой и Россией и Францией. Привожу наиболее существенные места из письма графа Пауля Гацфельда его другу Гольштейну от 27 июня 1898 г. (еще до того, как до меня донеслись слухи о Виндзорском договоре). Письмо это не лишено интереса благодаря тому, что оно бросает свет на отношения между премьер-министром Сольсбери и министром колоний Чемберленом. Это письмо свидетельствует также о том, что наш трезвый и опытный посол в Лондоне не заблуждался насчет того, что Чемберлен охотно заключил бы с нами такой договор, который был бы направлен против России, но что Чемберлен предлагал нам так же мало выгод, как и Сольсбери.

«Лондон, 27 июня 1898 г.

Дорогой друг!

Я уже почти два дня лежу в постели вследствие сильной простуды. Но ничего не потеряно из-за этого, так как, если бы даже я был здоров, я не счел бы нужным слишком спешить в переговорах с Сольсбери по португальскому вопросу.

Здешней публике, включая Сольсбери и Чемберлена, ненавистна мысль предоставить нам жирный кусок. На ваш вопрос, думаю ли я, что через Чемберлена можно достигнуть большего, я с полным правом должен ответить отрицательно. Если бы я ему мог предложить политическое соглашение, направленное против России, он безусловно сделал бы мне значительные колониальные уступки, но без этого, по моему убеждению, он этого конечно не сделает.

С Сольсбери, хотя он нас тоже не очень жалует, дело обстоит лучше постольку, поскольку он не требует никаких соглашений против России и к тому же имеет представление о политических соображениях, важность которых Чемберлен не в состоянии уразуметь или во всяком случае недооценивает. Что я под этим подразумеваю, вы увидите из следующего. Во время одной из моих последних бесед с Сольсбери по португальскому вопросу я сказал ему: «Будет очень печально, если здесь не поймут, что недружелюбной и отрицательной позицией в этом вопросе здесь сами вкладывают оружие в руки тем из немцев, которые против дружественных отношений с Англией и за тесное соглашение с ее противниками». Он принял задумчивый вид и ответил: «Это как раз и есть та неприятная альтернатива, перед которой мы находимся». Хотя он не входил в это ближе, но из этих слов для того, кто его знает, было ясно, что его очень беспокоит мысль, как бы он не заставил нас совершенно перейти в русский лагерь, и что это обстоятельство занимает боль-

шое место в его соображениях. От Чемберлена этого ждать нельзя или во всяком случае не в такой степени. Кстати я хочу привести еще одно замечание Сольсбери, но доверительно для Бюлова и для вас, так как оно не подходит для официального донесения. Когда я ему указал, какую услугу мы оказали Англии в отношении Египта, дав ему понять, что Франция и Россия — последняя в вопросе о Суэцком канале — давно обратились бы против Англии в африканских делах, если бы мы решительно не мешали им включить в них и Египет, он ответил мне: «Да, все шло бы хорошо, если бы у нас все еще был Каприви».

На мой вопрос, в чем он может упрекнуть нынешнего канцлера, он ответил: «Его жена русская». Я возразил ему: «Вы забываете, что она умерла», — на что получил ответ: «Да, но они владеют большими поместьями в России, которые зависят от русского правительства».

Я думаю, не стоит добавлять, что я считаю смехотворным приписывать князю Гогенлоэ исключительные симпатии к России только потому, что покойная княгиня Гогенлоэ случайно сохранила еще единственное поместье в России. Но из этих брошенных конфиденциальных замечаний вы видите, как велико недоверие к нашим намерениям. Это имеет также свою хорошую сторону, так как данная забота англичан при существующих обстоятельствах является единственным средством давления, которое мы можем здесь использовать, для того чтобы получить уступки в колониальных вопросах. Вы заметили, что до сих пор Сольсбери тщательно уклоняется от определенных высказываний по поводу сформулированных мною предложений и избегает даже приблизительных намеков на то, как он себе представляет наши переговоры. В результате такого поведения он находится в приятном положении: 1) по каждому пункту он может нам только говорить, что мы слишком много требуем, и 2) убеждать нас, а попутно и других, что он вообще от нас ничего не требует и нам ничего не предлагает, а только выслушивает наши в высшей степени нескромные требования. При данных обстоятельствах ничего больше не остается, как в случае его вопроса изложить в общих чертах наши требования, но по моему мнению, нам не следует ни одной минуты дольше, чем это необходимо, оставлять его на занятой им выигрышной позиции. Другими словами, если дело вообще дойдет до дальнейшего обсуждения наших переговоров, я постараюсь сейчас же перевернуть острие копья отклонять всякие дальнейшие разъяснения относительно формулированных мной пунктов и занять такую позицию, что теперь это уже его дело сообщить мне, какие уступки намерены нам предоставить в португальских колониях в Африке. Что касается Чемберлена, то я здесь еще раз подчеркиваю и прошу вас при случае высказаться в том смысле,

что я совершенно лишен возможности вступить с ним в непосредственные деловые отношения без того чтобы не рассориться с Сольсбери и таким образом сделать мою дальнейшую служебную деятельность здесь совершенно бесполезной. Из всех высказываний Сольсбери со времени его возвращения всегда ясно выступает, что хотя он считает естественным, что я в свое время не отклонил бесед с Чемберленом, в особенности принимая во внимание, что Бальфур, официальный заместитель Сольсбери, был в них посвящен, но что он, Сольсбери, ни в коем случае не желает продолжения этих переговоров с Чемберленом, исключая только тех случаев, когда он заранее выразит на это свое согласие. Я поэтому, нисколько не сомневаюсь в том, что всякую попытку с моей стороны вступить в личные отношения с Чемберленом Сольсбери будет рассматривать как отсутствие лойяльности. Мое положение здесь, пока лорд Сольсбери будет находиться у власти, станет в деловом отношении невыносимым, и вы могли бы с таким же успехом меня совсем отозвать. Я не в состоянии даже выразить, как мне бы хотелось повидать господина Бюлова.

С сердечным приветом

Ваш Гацфельд».

ГЛАВА XVIII

В начале марта 1899 г. я получил по телеграфу сообщение, что после долгих пререканий между германским, английским и американским консулами на Самоа английские и американские крейсеры бомбардировали Апиа. В то же самое время произошли незаконные аресты немецких колонистов. Когда я получил это известие, я находился во Флотбеке, но тотчас же отправился в Берлин. На вокзале меня поджидал Гольштейн, чтобы с большим, но, как мне показалось, напускным волнением сообщить мне, что, после того как мне свалился такой кирпич на голову, для меня единственный выход из этого скверного положения — подать в отставку. Я совершенно спокойно ответил этому неисправимому упрямцу, что такой выход представлял бы для меня много заманчивого. Если моя отставка будет принята, я порекомендую императору назначить моим заместителем князя Герберта Бисмарка уже для того, чтобы таким образом умилостивить тень его великого отца. Гольштейн, с 1890 г. боявшийся семьи Бисмарков, как черт святой воды, сделался сразу гораздо понятливее. Мне удалось также склонить Англию и Америку к образованию комиссии, которой было дано задание расследовать последние неприятные происшествия, восстановить порядок и выработать проекты новой системы управления, равно как и отношений между тремя державами.

Таким образом было достигнуто удовлетворяющее нас разрешение вопроса, давшее нам в результате длительных перего-

воров возможность получить в свое владение оба главных острова — Уполо и Саваи.

От дебатов в рейхстаге 14 апреля 1899 г., вызвавших возбуждение не только в самом рейхстаге, но и в широких кругах немецкого общества, у меня до сих пор еще живет в памяти маленький, но характерный инцидент. В то время как интерпеллянт излагал свой запрос, сидевший рядом со мной Тирпиц сказал мне шопотом: «В конце концов ваше выступление бесцельно. Совершенно ясно, что поведение англичан и американцев указывает на твердое желание вовлечь нас в войну и совершенно уничтожить нас, прежде чем наш флот вылупится из яйца. Иначе следовало бы думать, что Джон Буль и Ионатан сошли с ума». Такого рода представление очень характерно для образа мышления военных, которые, не принимая в расчет относительности всего существующего, вследствие этого легко переходят от одной крайности к другой, и таким образом политически приводит к ложным выводам. Для обсуждения и разрешения политических вопросов военное мышление недостаточно эластично. «Уметь лавировать» — вот качество, которого прежде всего требовал от своих дипломатов князь Бисмарк. Я ответил Тирпицу, что ни англичане, ни американцы с ума не сошли. Они не имеют также намерения начинать с нами войну с налету. Дело объясняется самочинными выступлениями потерявших равновесие консулов и морских офицеров. Все успокоятся, если мы сами не лишимся самообладания. Небезопасное возбуждение, вспыхнувшее в Германии в еще большей степени, чем в Англии и Америке, действительно улеглось через некоторое время. Острова Самоа еще в продолжение пятнадцати лет должны были украшать в качестве одного из лучших бриллиантов нашу колониальную корону.

Острова Каролинские, Марианские и Палау были нами приобретены [23] в результате переговоров, которые я вел с замечательным испанским послом в Берлине господином Менденц де Виго. Рьяными колониальными политиками наше приобретение сейчас же было объявлено довольно-таки малоценным. Германские критиканы, которые в 1899 г. ругались по поводу приобретения Каролинских и Марианских островов и старались по возможности умалить ценность этого архипелага, теперь, если они еще живы, наверно будут держаться совершенно противоположного взгляда. Во всяком случае противоречия, возникшие после мировой войны между Японией, Америкой и Австралией из-за отдельных островов Каролинской группы, указывают на то, как высоко ценили другие державы именно эти острова.

Для нас благодаря Каролинам и Марианам объединялась в одно целое наша сфера влияния в Великом океане. Архипелаг Бисмарка и Земля императора Вильгельма на юге, острова Маршальские, Каролинские и Палау в средине и Марианские острова на севере составляли крепкую опорную базу для нашего экономического и общеполитического развития в Океании. Я мог

также указать в рейхстаге, что приобретением Каролинских островов мы не нанесем никакого вреда нашим отношениям с Испанией. Для Испании эти острова были только обломками разрушенного здания, для нас же они были основами постройки, которой — «такова воля божья» — предстояло блестящее развитие. 22 июня 1899 г. я не мог предвидеть, что мы лишимся как многообещающего Шандуня с Киаочао, так и Самоа, Каролинских и Марианских островов, втянувшись в мировую войну на поводу у Австрии из-за Сербии, вопреки всем предостережениям нашего величайшего государственного деятеля, которые он делал еще во время своего пребывания на посту прусского представителя в союзном сейме во Франкфурте и повторял до последних дней своей жизни.

Испано-американская гроза пронеслась, не повредив наших нив и не затронув наших интересов. Но над Южной Африкой уже собирались новые тучи. 1899 год принес с собой давно назревший конфликт между бурскими республиками в Южной Африке и мировой Британской империей. Как буревестник перед бурей, в марте 1899 г. в Берлине появился Сесиль Родс. Его визит был по внешности связан с прокладкой английской телеграфной линии через наши восточноафриканские владения. Он был принят 11 марта императором, который повидимому придавал первостепенное значение визиту Сесиля Родса. После аудиенции император пригласил его к обеду, на котором я также присутствовал. Сесиль Родс должен был производить большое впечатление на каждого непредубежденного человека. В нем не было ничего показного, все обличало спокойную силу. Он держал себя вполне естественно, ни в какой мере не напыщенно. Перед императором он стоял почтительно, но без всякого волнения или хотя бы стеснения. Широкими штрихами он набросал перед его величеством свой проект английской железной дороги Капштадт — Каир. Глаза императора блестели, потому что каждый широко задуманный план в какой бы то ни было части света воспламенял его фантазию и восхищал его жадный до всего необычайного ум. Эти красивые и выразительные глаза засветились еще более ярким светом, когда Сесиль Родс выразил мнение, что Германия, правда, не имеет никаких насущных интересов в Африке, но зато может без ущерба держаться в Малой Азии. Месопотамия, Евфрат и Тигр, Багдад, город калифов, — вот где заложено ее будущее. Я просил его величество ограничиваться тем, чтобы выслушивать то, что будет говорить Сесиль Родс, тем более, что последний, как мне вполне определенно заявил английский посол, будет говорить только от своего имени, без полномочий от правительства. Мы должны были таким образом пока что не связывать себя. Но желание произвести впечатление на англичанина, да еще на выдающегося, побудило императора изложить в длинной, содержательной, вдохновенной, очень блестящей речи все свои чувства, намерения и планы относительно международного положения, а также всю программу

германской внешней политики в отношении Америки, Японии, России, Италии, Австрии, Дарданелл и Суэцкого канала, Дуная и Янцзы-цзяна. Когда обед кончился, Вильгельм II, который непрерывно ораторствовал и не давал Сесилю Родсу возможности вымолвить слово, был уверен, что произвел на Родса неотразимое впечатление. Сесиль Родс со своей стороны вероятно вынес уверенность, что германский император в своих политических решениях и планах рассудком и благоразумием руководится меньше, нежели своей фантазией. После длительных переговоров, которые я вел сам с Сесилем Родсом, я разъяснил ему, что и император, и канцлер, и я стремимся жить не только в мире, но и в возможно более тесной дружбе с Англией, конечно по принципу «do ut des»[1] и прежде всего при обоюдных одинаковых гарантиях. Что же касается борьбы англичан с бурами, то мы тем скорее сможем сохранить нейтралитет, чем больше Англия будет на практике считаться с нашими интересами во всем мире и будет избегать всего того, что общественным мнением Германии может рассматриваться как вызов. Визит Сесиля Родса привел прежде всего к соглашению, по которому Трансафриканское телеграфное общество получило разрешение проложить телеграфную линию через наши восточно-африканские владения.

Таким путем мы показали наше желание остаться в хороших отношениях с Англией также и в Африке. В связи с преувеличенным недоверием к Англии, проявлявшимся в рейхстаге в особенности со стороны правых, я защищал перед рейхстагом ту точку зрения, что заключенное нами соглашение ни в какой мере не нарушает наших интересов.

Гораздо менее легким делом[2] оказалось успокоить германское общественное мнение, на которое Сесиль Родс и позже Чемберлен действовали, как красный платок на быка. Выпадки и насмешки, направленные на Сесиля Родса, мало подходили к человеку, который был одним из тех великих конквистадоров, которые создали Британскую империю, которому на безграничных степях Африки был поставлен огромный памятник в виде пирамиды, сложенной из гигантских камней в память того, кто завоевал для Великобритании южную часть Черного материка. Помимо того Сесиль Родс лично был сторонником хороших отношений между Германией и Англией.

ГЛАВА XIX

8 ноября 1899 г. царская чета на обратном пути из Дармштадта в Петербург прибыла в сопровождении министра Муравьева на непродолжительное время в Потсдам. Император Николай после ужина удостоил меня продолжительной беседы.

[1] Услуга за услугу.

[2] Выше Бюлов говорил об антипатии германской императрицы к Англии. При переводе это опущено.

Прежде всего он поздравил меня с соглашением относительно островов Самоа. Наше приобретение тем более достойно признания, что мы сделали его, несмотря на всю скупость англичан, не имея никаких средств для воздействия на них на море. Поэтому он был вдвойне рад поздравить меня от всего сердца, как своего старого знакомого, имеющего много друзей в Петербурге. Затем царь перешел к проекту нашего закона, который он целиком одобрил. Мы должны стать возможно более сильными на море. Пока английский флот настолько превосходит морские силы всех остальных стран, как это имеет место теперь, трудно выступать против Англии. Чем сильнее будут континентальные державы на воде, тем лучше для всех них и для международного мира. Царь с симпатией отозвался о бурах, но категорически подчеркнул, что южноафриканские события не заставят Россию покинуть свою сдержанную позицию. Африканские события очень далеки от России и оставляют ее равнодушной. Россия прежде всего хочет мира, чтобы укрепить свои силы и поднять свой экономический и культурный уровень. Россия не желает также и конфликта между Францией и Англией. Если бы Россия этого хотела, то между Францией и Англией вероятно могла бы возникнуть война из-за Фашоды [24], несмотря на то, что большинство французов понимает теперь, что Фашода не имеет для них никакой ценности и Делькассэ не хотел бы иметь ее даже в качестве подарка. Во всяком случае Россия не желает никаких столкновений между Францией и Англией и поэтому в прошлом году умиротворяюще влияла на французов. Царь заявил, что из Потсдама он вынес очень благоприятные впечатления как в личном, так и в политическом смысле. Он хочет поддерживать самые лучшие отношения с Германией, отношения сердечные, надежные и близкие. Нет ни одного пункта, где сталкивались бы русские и германские интересы. Обе страны повсюду могут жить в дружбе и совместно бороться за мир.

Есть только одна точка, добавил царь Николай, где мы должны считаться с русскими традициями и щадить их, а именно на Востоке. Мы не должны давать и повода думать, что хотим изгнать Россию экономически или политически с Балканского полуострова, с христианским населением которого Россия связана в течение столетий бесчисленными нитями национального и религиозного порядка. Даже если он лично, сказал царь, и настроен в этом вопросе несколько скептически, он все-таки должен защищать русские традиции в отношении Балканского полуострова. В этом отношении он не может вступать в противоречия с чувствами и убеждениями своего народа, а также с его надеждами, которые, как я в этом убедился во время моего пребывания в Петербурге, устремляются в направлении Дарданелл: les sentiments et les rêves du peuple russe vont dans la direction des detroits» [1].

---

[1] Чувства и мечты русского народа направлены к проливам.

Царь добавил к этому, что, как он надеется, в этом отношении путем обоюдной предупредительности и откровенного обмена мнений можно избежать всякого повода к недоразумениям, трениям и конфликтам между нами.

20 ноября 1899 г. император отправился в Англию. Большинство рейхстага, а в еще большей мере преобладающая часть германского народа не одобряли этой поездки. Император долго пребывал в неопределенном настроении. Я заявил ему, что я выступлю в рейхстаге в защиту и оправдание этой поездки.

За несколько дней до моего отъезда в Англию я получил из Лондона от нашего посла графа Пауля Гацфельда письмо, датированное 11 ноября, в котором он писал: «Чемберлен остается фактором, с которым нам приходится считаться и хорошее расположение которого мы должны поддерживать, а потому я считаю безусловно желательным, чтобы ваше сиятельство, как только можно будет, дали ему здесь возможность побеседовать с вами откровенно. При этом, по-моему, следует принять во внимание, что уже теперь в кругах иностранного ведомства существует несомненное раздражение против хорошо ему известных частных переговоров, хотя Сольсбери до сих пор и виду не подал мне на этот счет. Поэтому беседу между вашим сиятельством и Чемберленом надо так организовать, чтобы до лорда Сольсбери не дошло о ней никаких сведений».

В Виндзоре состоялась торжественная встреча на вокзале, причем королеву представлял принц Уэльский, после чего мы прибыли во дворец.

Вечером 21 ноября состоялся парадный обед.

Я имел длительные и частью интересные беседы с прежними моими знакомыми придворными и министрами, а также с некоторыми присутствовавшими дипломатами. Все они сходились на том, что в Англии не сомневаются в конечной победе над бурами, хотя последние сообщения с поля сражения были неблагоприятны.

Вся Англия стоит за то, что необходимо продержаться. Против Чемберлена, истинного инициатора войны, царит недовольство. Лорд Сольсбери не был расположен к войне. Поскольку же она была ему навязана Чемберленом, премьер-министр со всей гордостью и уверенностью в себе истого англичанина и отпрыска рода Сесилей доведет эту войну до благополучного конца.

Когда после парадного обеда я возвратился в свою комнату, я нашел там следующее письмо посла от 19 ноября 1899 г. из Брайтона: «К сожалению, вместо того чтобы здесь, как я надеялся, окрепнуть и поправиться, я схватил сильную простуду. На случай, если у меня не будет возможности повидать ваше превосходительство до первой вашей встречи с Сольсбери, считаю необходимым обратить ваше внимание на нижеследующее:

1. У него лично я не заметил никакого неудовольствия по поводу наших отношений с Чемберленом. Если оно имеется, то оно направлено против Чемберлена, а не против нас. Кроме того,

я думаю, следует считать вполне установленным, что наше соглашение относительно Самоа в конце концов соответствовало желаниям самого Сольсбери. Он меня еще раз заверил во время нашего последнего разговора после заключения соглашения, что Самоа, по его убеждению, никакого значения для Англии не имеет. Единственное затруднение, с которым ему пришлось иметь дело, заключалось в неудовольствии Австралии и Новой Зеландии, которые были против уступки нам Самоа, с чем здесь при существующих обстоятельствах приходится считаться. Впрочем, кажется, соглашение было проведено не только под влиянием мистера Чемберлена. По строго секретному сообщению австрийского посла, лорд Сольсбери сказал ему перед самым парафированием договора, что соглашение будет достигнуто, потому что этого хочет ее величество королева.

2. К свойствам характера лорда Сольсбери, с которыми мы должны считаться, раз он стоит во главе правительства, принадлежит его форменный страх перед всякими личными объяснениями и перед претензиями, которых он не имеет возможности заранее обдумать. Это относится в особенности к предстоящей беседе с его величеством, которая доставляет ему много забот, но это, по-моему, следует учесть также и во время беседы с вами, хотя он и будет это обстоятельство тщательно скрывать. Я уже по возможности заранее подготовил почву, ясно дав ему понять еще во время нашего последнего разговора, что наша цель при урегулировании самоанского вопроса заключалась исключительно в том, чтобы предотвратить возможность осложнений в будущем и таким образом сделать возможным поддержание хороших отношений. Если здесь не желают никаких союзов (он живо подтвердил это), то это абсолютно совпадает с нашими желаниями и взглядами. Если ваше сиятельство в своей беседе подтвердит это своим словом, то это вероятно совершенно успокоит лорда Сольсбери и побудит его к открытому и дружественному разговору. Еще лучше будет, если его величество император по совету вашего превосходительства будет столь милостив и выскажется в беседе с лордом Сольсбери в том же духе.

3. Из одного замечания лорда Сольсбери в нашей последней беседе я получил впечатление, что немедленный конфликт между Японией и Россией он считает почти невероятным, но надежды на него видно не теряет. Он вовсе не отрицал этой возможности, а только заметил, что Япония еще не подготовила своего флота и что для этого ей требуется еще по крайней мере два года.

4. С кем нам здесь следует во всех случаях особенно считаться, так это, поскольку я могу судить, с мистером Чемберленом, влияние которого, после того как он успешно преодолеет затруднения в Южной Африке, сколько можно предвидеть, значительно возрастет. Я не придаю большого значения его мимолетному неудовольствию по поводу позиции германской прессы, даже больше, я думаю, что это его не остановит от дальнейшего

сближения с нами и даже от известных жертв ради этого. Поэтому я считаю полезным секретное совещание вашего сиятельства с Чемберленом, причем не следует брать на себя никаких особенных обязательств в отношении германской политики. Я оставляю за собой право сделать вашему превосходительству по этому вопросу еще устный доклад.

С величайшим почтением к вашему превосходительству, всецело преданный вам Гацфельд».

В согласии с заявлением посла Гацфельда, считавшего весьма желательной мою секретную беседу с Чемберленом, но при условии, что я при этом не возьму никаких особых обязательств в отношении германской политики, канцлер снабдил императора докладной запиской, которая должна была служить ему руководством для его политических бесед и всех его выступлений в Англии. Записка эта была составлена Гольштейном и тщательно обработана и одобрена Гогенлоэ. Эта памятка, данная мне «для ориентации и в качестве директивы», гласила: «Ваше величество безусловно одареннее всей вашей родни, как мужской, так и женской ее половины. Ваше величество однако не внушает вашим родственникам того почтения, которого заслуживает ваша выдающаяся личность, даже не говоря уже о вашем могуществе в качестве германского императора. Это происходит благодаря тому, что ваше величество всегда открыто и честно шли им навстречу, посвящали их в свои планы и надежды и таким образом создавали им возможность нарушать их. Самый удачный удар может быть отпарирован даже слабейшим противником, если он о нем знает заранее.

Предстоящая поездка в Англию дает возможность вашему величеству исправить это ненормальное положение и сразу приобрести тот авторитет, на который вы имеете право и как умственная величина и по значению своей власти. Для этого вашему величеству не надо делать ничего больше, как только избегать всяких политических бесед. Эта сдержанность прежде всего требуется по отношению к лорду Сольсбери. Он в течение многих лет привык при всех академических и практических разговорах о разграничении английских и германских сфер влияния отклонять немецкие комбинации следующей фразой: «Vous demandez trop pour votre amitié»[1].

Он уже повторял и высказывал различным лицам свою тревогу, что немцы в связи с пребыванием вашего величества в Англии будут предъявлять невыполнимые требования. Тем более сильное впечатление произведет на него, если ваше величество не выразите желания дать ему отдельную аудиенцию, а при случайной встрече в Виндзоре или в Осборне постараетесь отделаться от него как можно скорее, с безупречной вежливостью, но в обыденных выражениях справившись о здоровье его супруги и т. п. Доказательством того, что добрая воля лорда Соль-

[1] Вы слишком дорого просите за вашу дружбу.

сбери теперь не является необходимой предпосылкой успешных переговоров, служит договор о Самоа, на который он был вынужден согласиться против своей воли, благодаря использованной нами политической конъюнктуре и благодаря Чемберлену. Та же сдержанность при самом любезном обхождении рекомендуется и по отношению к Чемберлену, хотя из совершенно других соображений. Господин Чемберлен постарается использовать положение и будет побуждать ваше величество, хотя бы ценой значительных уступок со своей стороны, дать твердые обязательства, направленные против России.

Если ваше величество в случае невозможности унять господина Чемберлена, вежливо его выслушаете и затем ответите ему, что его предложения требуют размышления и что ваше величество уделит им должное внимание, я не сомневаюсь, что те компенсации, которыми господин Чемберлен намерен вознаградить Германию за дипломатическое содействие или даже только за нейтралитет, будут возрастать в той же степени, в какой ваше величество даст ему почувствовать свою спокойную выдержку и хладнокровие.

Вероятно после того как зондирование со стороны министров не даст желанных результатов, его королевское высочество принц Уэльский, а может быть даже ее величество королева лично будут осведомляться, где и как Англия и Германия могут наладить политическое сотрудничество. По моему верноподданническому мнению, будет иметь величайшее значение для политической будущности Германии, если ваше величество как раз тут-то не скажете ничего определенно, не позволите заглянуть в ваши собственные планы, а ограничитесь тем, что будете варьировать следующую мысль: при настоящем положении для английской политики вполне достаточно нашего нейтралитета, и этот нейтралитет для нынешнего времени является несомненным общеизвестным фактом. Конечно политическое положение со дня на день может измениться, можно себе представить такие случаи, когда Англия и Германия взаимно сочтут отвечающим своим интересам дать более определенное выражение их общности. Пока этого нет. Из таких высказываний вашего величества в Англии поймут, что ваше величество не намерено предложить им свои услуги по первому же намеку с их стороны, но что первый шаг должен исходить от них и что если они желают добиться того, чтобы ваше величество бросили свой политический удельный вес на английскую чашку весов, то следует предложить нечто большее, нежели излюбленная до сих пор лордом Сольсбери чечевичная похлебка. Покуда англичане думают, что они могут обойтись без содействия вашего величества, они вообще ничего не предложат. Но если они решат, что ваше величество можете быть им нужны или полезны в деле ли обороны, в деле ли поддержки их захватнической политики, тогда они сами придут, и тогда мы сможем от них добиться тем более благоприятных условий, чем менее ясные представления

будут иметь в Англии о конечных намерениях и целях вашего величества. Я должен здесь напомнить то, что Дизраэли говорит где-то в одной из своих книг: «Высшая политика заключается в том, чтобы никогда не говорить своего последнего слова».

ГЛАВА XX

22 ноября меня посетил в Виндзоре английский посол в Берлине сэр Франк Лассель. Он прочел мне письмо лорда Сольсбери, в котором говорилось: лорд Сольсбери очень сожалеет, что не может со мной побеседовать. Он с удовольствием вспоминает, что видел меня в качестве молодого дипломата в Берлине в доме моих родителей во время берлинского конгресса. Но он сейчас прикован к ложу тяжко, а может быть и смертельно больной леди Сольсбери, которую он не может покинуть (леди Сольсбери в самом деле через несколько дней умерла). Я увижу, писал дальше премьер, вместо него министра колоний Чемберлена. Чемберлен одаренный, выдающийся человек, но он будет говорить только от своего имени, а не от имени кабинета. Когда Лассель прочел мне это письмо, он подчеркнул, что высказывания и предложения министра колоний не являются обязывающими ни для премьера, ни для кабинета.

После полудня меня посетил министр колоний.

В разговоре Чемберлен производил впечатление умного, энергичного, хитрого, в известных случаях не стесняющегося в средствах дельца, который еще больше, чем другие его соотечественники, на все смотрел с точки зрения английской политики и во всех своих поступках руководился исключительно ее интересами. Он был также и в том отношении истым англичанином, что он преследовал только ближайшую цель — в данном случае это была победа в предпринятой им войне с бурами, — считая, что все остальное так или иначе приложится. Он начал с того, что стал очень оживленно и с полной откровенностью развивать предо мной свои намерения и планы. Его идеалом было сотрудничество между Англией, Германией и Америкой. Эта группировка будет господствовать над миром. Она поставит варварскую Россию в должные рамки и принудит к спокойствию буйную Францию. Я отвечал ему так же откровенно, что такая группировка — мистер Чемберлен не употребил слова союз, а я также не хотел произносить его первым — возможна, по-моему, только при наличии двух предпосылок. Во-первых, объединение этих трех держав не должно быть направлено против России. Чемберлен находил, что в интересах всего мира следует умерить захватнические планы России. Я разъяснил ему, что Германия находится по отношению России в другом, более уязвимом положении, чем Англия. Наша граница непосредственно прилегает к России, в то время как Англия защищена морем, и русское наступление на Индию гораздо труднее провести, чем русский натиск на Кенигсберг или даже Берлин. При столь различном

риске мы должны во всяком случае получить точно определенные гарантии и обеспечения на случай военных осложнений. Вторая предпосылка желаемого не только мной лично, но, как я неоднократно повторял, и канцлером Гогенлоэ, а также императором более тесного дружественного сближения Англии с Германией заключается в том, чтобы Англия считалась с общественным мнением Германии и избегала бы всего, что может раздражать его, в особенности пока длится бурская война. Чемберлен в вежливом тоне, но не без английского высокомерия, заметил, что в сущности в Германии нет общественного мнения. Немецкий народ воспринимает вещи так, как это желательно его правительству. Когда принц Уэльский высказал императору свою признательность за то, что он, несмотря на шумиху в Германии в связи с бурской войной, приехал в Англию, император с энергичным жестом возразил ему: «Я являюсь единственным хозяином германской политики, и моя страна должна следовать за мной, куда бы я ни пошел».

Я разъяснил английскому министру колоний, что мы действительно в Германии не имеем такого вышколенного общественного мнения, как английское, у нас нет такой давней общественной жизни, как в Англии. Наш народ, столь богато одаренный во многих отношениях, подаривший миру больше великих ценностей, нежели любой другой народ со времен античных греков, гораздо больше способен к занятиям философией, искусством и наукой, чем политикой. Но с общественным мнением приходится и в Германии считаться не только каждому правительству, но и императору, если он не хочет натолкнуться на неприятные испытания.

Эта беседа между мной и Чемберленом велась в самом дружественном тоне. Император Вильгельм имел длинную беседу с Чемберленом после банкета 21 ноября. На замечание министра колоний, что он хотел бы достигнуть общего соглашения между Англией, Америкой и Германией, император ответил, что подобное сотрудничество общего характера с точки зрения обеих сторон возбуждает сомнения. В то время как формальные союзы не отвечают английским традициям, Германия, по крайней мере в настоящий момент, должна в этом отношении держаться в определенных рамках благодаря ее прекрасным отношениям с Россией. Однако есть много вопросов, по которым Англия и Германия могли бы договориться в каждом конкретном случае. Обе страны должны и дальше итти по пути специальных соглашений, уже оправдавшему себя в двух случаях. Император прибавил при этом, что в английских же интересах предупредительно относиться к впечатлительному, неуступчивому и скорее сентиментально настроенному немцу, не испытывать его терпение и даже в мелочах итти ему навстречу. Немец «touchy»[1]; чем больше англичане будут с этим считаться, тем лучше для

[1] Обидчив.

отношений между обеими странами. Мистер Бальфур и военный министр Ландсоун, которых я увидел позже, меньше стремились к тесному сближению с нами, чем мистер Чемберлен. Оба они гораздо холоднее относились к идее германо-английского союза.

Видно было, что Бальфур искренно желает сближения между Англией и Германией, хотя он сам обратил мое внимание на то, что ввиду сильной торговой и промышленной конкуренции сближение между Германией и Англией гораздо более затруднено, чем между Англией и Францией, так как Францию едва ли можно считать серьезным конкурентом Англии. Когда я сказал племяннику и доверенному лицу лорда Сольсбери, что наши желания в отношении Англии носят скорее отрицательный, нежели положительный характер, что мы не имеем никаких особых притязаний к Англии, не ставим никаких специальных требований к ней, что мы желаем только одного, чтобы между Германией и Англией не было никаких недоразумений, трений или ненужных провокаций, мистер Бальфур ответил мне на это, что не найдется ни одного английского государственного деятеля, который с радостью не присоединился бы к такой программе. В Англии не существует такой большой зависти к экономическому развитию Германии, как воображают многие немцы. Англия слишком сильна, слишком богата, давно уже слишком далеко ушла вперед в экономическом отношении в сравнении с другими странами, так что ей не приходится серьезно бояться германской конкуренции. Африканское соглашение между Англией и Германией — очень полезное предприятие, осуществление которого пойдет на пользу обеим сторонам. В Малой Азии Англия также не будет чинить препятствий немецким предприятиям, в особенности в отношении постройки Анатолийской железной дороги. Наш посол в Лондоне граф Пауль Гацфельд выразил мне свое сожаление, что я не повидал лорда Сольсбери, воля которого, до тех пор пока он стоит у дел, в конечном счете будет решающей. С Чемберленом мы должны быть осторожны. Как раз теперь, когда англичане терпят в Южной Африке одно поражение за другим, которые хотя и не помешают их конечному успеху, но все-таки очень неприятно действуют на широкие массы в Англии, Чемберлен занят только одной мыслью — довести войну с бурами, от которой зависит все его личное положение, до благополучного конца. Ради этой цели он конечно очень хотел бы восстановить нас против России и Франции. «Мы не можем обвинять его за это, — сказал Гацфельд, — но мы не должны преступать известных границ, ибо в конечном счете Россия ближе к Берлину, чем к Англии».

Гацфельд не был противником англо-германского союза. Он сказал мне с усмешкой, что если бы я добился осуществления этого союза на приемлемых для Германии условиях, то он искренно поздравил бы меня, так как это не удалось даже самому князю Бисмарку. Но это должен быть союз такого рода, ко-

торый дал бы нам действительные гарантии, причем в двух направлениях: с одной стороны, мы не можем подвергать себя опасности, что в случае, если мы будем втянуты в войну, английский кабинет, заключивший с нами союз, выйдет в отставку, а преемники его не признают союзного договора. В Англии это всегда возможная вещь, если мы заблаговременно не заручимся согласием «оппозиции ее величества». Затем я должен уяснить себе еще одно обстоятельство. Он, Гацфельд, высоко ценит мои ораторские способности. Но при всем этом вряд ли удастся мне склонить рейхстаг и германский народ в пользу договора, по которому мы должны оказывать помощь Англии, если на нее будет произведено нападение, где бы оно ни произошло: в Индии или Канаде, или в другой какой-либо из ее многочисленных колоний и заморских владений, тогда как Англия не возьмется за оружие в случае выступления России против Австрии или Франции против Италии.

Общее впечатление, вынесенное мной из беседы с Гацфельдом, было таково, что он считает союз с Англией на основе прочных гарантий и приблизительно равных обязательств делом желательным, но без таких гарантий и предпосылок он находит его опасным. В отношении общего международного положения он был того мнения, что мы должны провести наш государственный корабль путем осторожной и умелой политики через все скалы и мели, пока изменения в европейском положении, которые ведь неизбежно произойдут, не дадут возможности ввести его в более спокойные воды. Он выразил мне свою уверенность, что нам удастся благополучно пройти между Сциллой и Харибдой. У нас теперь есть только один первостепенный интерес: сохранить мир, так как время работает на нас.

Беседы по поводу англо-германского соглашения пришлось мне вести и позже, когда я стал рейхсканцлером, причем я остался при той же точке зрения, которой придерживался, когда был статс-секретарем, и которая получила полное одобрение князя Гогенлоэ. Мы должны были быть уверены в том, что весь кабинет и прежде всего премьер добросовестно и с полным внутренним убеждением будут стоять за такой союз. Мы должны были также стремиться к тому, чтобы и оппозиция, по крайней мере в принципе, заявила о своем согласии с англо-германским союзом. Иначе существовала опасность того, что в случае военных осложнений Англия путем смены кабинета сбросит с себя налагаемые союзом узы, если это ей покажется желательным или удобным. Мы должны были настаивать на том, что если мы согласимся на включение в союз английских колоний, в особенности Индийской империи с ее тремя стами миллионами населения и угрожаемыми северными границами, то Англия со своей стороны должна будет признать нападение России на Австрию или Франции на Италию за casus belli. Лорд Сольсбери был неправ, приписывая князю Гогенлоэ одностороннее пристрастие к России. Столь односторонний взгляд на ве-

щи был так же чужд князю Гогенлоэ, как и мне. Подобно мне он также очень высоко ценил преимущества дружественных отношений с Англией, и с тех пор как мы начали строить флот, хорошие отношения с Англией казались ему вдвойне желательными.

Князь Гогенлоэ в высокой степени обладал тем, что Бисмарк называл «кругозором светского человека». Он все созерцал, как человек, который смотрит с наблюдательной вышки. Благодаря огромному, в то время уже пятидесятилетнему политическому опыту, знанию людей, чутью и спокойной, несколько скептической манере подходить к людям и событиям, благодаря тому, что в политических делах он был холоден, как лед, он редко ошибался в крупных вопросах. Мой преемник на посту статс-секретаря по иностранным делам барон Рихтгофен и помощник статс-секретаря Мюльберг по всему своему прошлому, а также по своей установке в политических и экономических вопросах были не противниками, а сторонниками Англии. Оба они были настроены либерально, оба в экономической политике так сильно склонялись к манчестерству, что во время борьбы за таможенный тариф они, при всей служебной выдержке и несмотря на личное уважение ко мне, следовали за мной по стезе моей аграрной политики, лишь преодолевая внутреннее сопротивление. Они не относились к России так враждебно, как Гольштейн, но всякое пристрастие к России или хотя бы даже особое внимание к ней были им совершенно чужды. Несмотря на это, оба они, и Рихтгофен и Мюльберг, так же как и князь Гогенлоэ, считали чрезвычайно опасным поддаваться на приманки Чемберлена, не имея прочной гарантии со стороны Англии.

В торгово-политическом отделе иностранного ведомства, мнение которого имело вес и в политических вопросах и с которым считались, с давних пор существовали симпатии к Англии и к сотрудничеству именно с ней. Но и здесь возбуждали большие сомнения те приемы, с помощью которых Чемберлен старался накинуть на нас аркан. Гольштейн, как я уже кажется говорил, был не противником, а сторонником Англии, притом в соответствии со своим темпераментом, чрезвычайно пылким и даже страстным. Несмотря на то, что он по рождению был померанским юнкером, он был по отношению к России настроен столь же враждебно, как любой самый настоящий либерал. Он тоже был против того, чтобы принять предложение Чемберлена, не имея прочных обязательств и гарантий, однако он долго надеялся, что с течением времени удастся получить эти гарантии. Все иностранное ведомство, как политический отдел, так и отдел торговой политики, Гольштейн, Рихтгофен и Мюльберг, все руководящие инстанции, так же как и Гогенлоэ, охотно согласились бы на заключение договора с Англией, если бы мы получили необходимые гарантии. С нашей стороны было сделано все, для того чтобы их добиться.

Я склонен думать, что если бы Чемберлену удалось соблаз-

нить нас, то с нами случилось бы то же самое, что с Японией, с той лишь существенной разницей, что Япония была почти неуязвима для России, чего нельзя сказать о нас. С другой стороны, Япония в случае войны имела бы дело только с Россией, мы же должны были считаться с тем, что если мы ввяжемся в войну с Россией, то французы нападут на нас с тыла — «шаспо»[1] сами начали бы стрелять, как нам это неоднократно внушал Бисмарк. И наконец самое главное: не поддавшись на удочку Чемберлена, мы прожили еще пятнадцать лет в мире с Англией и могли бы прожить и дольше, если бы в роковое лето 1914 г. Берхтольд и Бетман не ввязались в войну вследствие легкомысленного и притом неумелого поведения в одном из балканских вопросов.

Мировая война возникла не из-за столкновения с Англией [25]. Всего лишь за год до возникновения ее такой осторожный в своих суждениях историк, как Эрих Маркс, и столь близкий Бетман-Гольвегу публицист, как Ганс Дельбрюк, могли говорить о поразительном повороте, постепенно совершавшемся в нашу пользу в Англии. И это несмотря на то, что мы не соблазнились предложениями Чемберлена. В ноябре 1913 г. Дельбрюк после продолжительного пребывания в Англии и тщательного изучения тамошнего положения, отношений и господствовавших там настроений высказал убеждение, что ни экономическая конкуренция, ни сооружение нами военного флота не могут ничего изменить в хороших германо-английских отношениях. Поскольку дело касается отношений между нами и Англией, писал он, положение в мировой политике можно назвать вполне отрадным, мирным и спокойным. Два весьма важных договора с Англией, которые были подготовлены еще мной, когда я находился на своем посту, — договор о португальских колониях и соглашение о Багдадской железной дороге — были теперь накануне ратификации. Но тут, как я еще подробнее буду излагать впоследствии, из-за одного вопроса балканской политики возник мировой пожар. Совершенно легкомысленно и прежде всего неловко мы предоставили Вене неограниченные и необдуманные полномочия. Мы даже не постарались летом 1914 г. обеспечить себе надежный и мирный выход на случай, если бы наша надежда на локализацию австро-сербского конфликта оказалась неосуществимой.

ГЛАВА XXI

Поскольку мы не должны были брать на себя по отношению к Англии бо́льших обязательств, чем те, которые Англия возьмет по отношению к нам, в переговорах с Чемберленом требовалась особая осторожность. Вряд ли кто-либо другой из английских государственных деятелей так часто менял свой политический облик на протяжении своей политической карьеры, так часто

[1] Ружье французской системы.

и внезапно переходил с одной точки зрения на другую. Редко у кого можно было ожидать таких сюрпризов, таких неожиданных прыжков, как у Джозефа Чемберлена. Из радикального демократа он превратился в консервативного «тори», из республиканца в лойяльного монархиста, из пацифиста в империалиста, из восторженного фритредера и сторонника Брейта и Кобдена в страстного приверженца покровительственных пошлин. Еще до Гладстона он отстаивал гомруль для Ирландии, но когда тот внес законопроект о гомруле, он порвал с «великим старцем» и тем расколол либеральную партию, подобно тому как своим поворотом в сторону покровительственной таможенной системы он впоследствии расколол консервативную партию. Он мечтал о независимости буров, отстаивал ее в парламенте и на многочисленных митингах, а потом больше, чем кто-либо другой из английских политических деятелей, способствовал войне с южноафриканскими республиками. Вряд ли найдется какой-нибудь политический вопрос, в котором Чемберлен, подобно королю сигамбров, не сжигал бы того, чему он раньше поклонялся, и не поклонился бы тому, что он раньше сжигал. И каждый из этих поворотов, сопровождаемый одобрением большинства своих соотечественников, он защищал ссылкой на то, что не он изменился, а изменились обстоятельства.

За то, чтобы не поддаваться соблазнам Чемберлена, имелся еще один веский мотив. Королеве Виктории, которая несомненно была настроена миролюбиво и, поскольку это допускали английские интересы, определенно сочувствовала Германии, в 1899 г. шел уже восьмидесятый год. По человеческому разумению, ее правление могло продолжаться еще лишь очень недолго. Ее преемник уже успел лично приложить большие старания к тому, чтобы лишить всякого содержания англо-германский договор о португальских колониях. Он по всей видимости не мог служить надежной опорой для союза с народом, экономический и политический подъем которого вызывал в нем недоброжелательные чувства. Характер этого народа был ему несимпатичен, а его правителя он ненавидел. Неужели он стал бы сопротивляться саботированию такого договора? В противоположность своей почтенной матери он располагал требующимися для такой подрывной работы хитростью и беспринципностью. Можно ли было ожидать, что в случае войны он при своей внутренней антипатии к германскому императору и всему немецкому, при сильном пристрастии к Франции, к Парижу и французам будет лойяльно и охотно соблюдать верность союзу с нами? Все эти вопросы надо было серьезно, чрезвычайно серьезно продумать. И наконец разве не является понятным и даже необходимым, что мы помнили коварную двусмысленность, с которой Англия лишила всякого содержания заключенный с нами договор о португальских колониях, заключив за нашей спиной коварный «виндзорский договор»? Разве это не могло вызывать недоверие, разве это не требовало от нас быть настороже? Разве грубая бесцеремонность, ко-

торую Англия проявляла по отношению к нам и только по отношению к нам во всех инцидентах, имевших место во время бурской войны, разве та упорная мелочность, которую она обнаружила по отношению к нам и опять-таки именно по отношению к нам при всех переговорах по колониальным вопросам, — разве все это говорило в пользу присоединения к Англии без прочных и ясных гарантий? Мы еще долго продолжали вести переговоры об англо-германском союзе, хотя неосторожность, с которой Чемберлен предал гласности этот вопрос, а тем более целый ряд бесцеремонных поступков со стороны Англии, вроде захвата германских почтовых пароходов, все больше затрудняли для германского правительства заключение соглашения. Речь, произнесенная Чемберленом в Лейчестере об отношениях между Англией, Америкой и Германией, была бестактностью, как я полагаю, не преднамеренной, но во всяком случае бестактностью, потому что при общей политической конъюнктуре и при настроении, господствовавшем среди германского народа, столь тонкий вопрос нужно было сначала обсуждать intra muros[1], если хотели достичь желанных результатов. Чемберлен слишком пренебрежительно относился к германскому общественному мнению. С британским высокомерием он недооценивал размеров своей непопулярности в Германии. Надо полагать также, что Экардштейн неправильно его информировал.

К роковой роли последнего во всех этих переговорах я еще вернусь.

Впрочем те соображения, которые Чемберлен высказал в Лейчестере по поводу сближения Англии, Соединенных штатов и Германии, были приняты американской печатью более чем холодно. Непозволительно было то, что германскому правительству, стремившемуся притти к соглашению с Англией, англичане в критический момент вставили палку в колеса ни на чем не основанным и прямо-таки грубым захватом германских пассажирских пароходов «Бундесрат», «Генерал» и «Герцог», совершавших рейсы в германскую Восточную Африку. Впоследствии англичане говорили мне, что захват этих судов объяснялся интригами буров, которые при помощи анонимных доносов толкнули на это представителей местной английской власти в Южной Африке. Я не думаю, чтобы было правильно подозрение, которое порою высказывал Гольштейн, будто Чемберлен никогда всерьез не думал о сближении с нами, а только пользовался им как угрозой, для того чтобы припугнуть французов и русских и скомпрометировать нас, в частности перед Россией. Но все же я полагаю, что Чемберлен, как это соответствует его бесцеремонному характеру, старался нас приковать к себе тогда, когда ему это казалось полезным для облегчения собственного положения; при этом он был убежден, что если мировая ситуация изменится, то он без большого труда снова сбросит с себя оковы, наложенные его прежними обязатель-

[1] В четырех стенах.

ствами. У итальянцев есть превосходная поговорка: Passato il pericolo, gabbato il santo[1].

Граф Гацфельд продолжал вести переговоры с осени 1899 и до лета 1901 г., в особенности с лордом Ландоуном. При этом англичане постоянно подчеркивали, что переговоры носят академический, конфиденциальный и чисто личный характер. Берлин продолжал стоять на той точке зрения, что если Великобританию с ее колониями, включая сюда Индию и Канаду, рассматривать как единое целое, то нужно так же рассматривать и Тройственный союз; таким образом союзное обязательство должно вступать в силу и одинаково как в том случае, когда Великобритания-метрополия или какое-нибудь из британских заокеанских владений окажется вынужденным к обороне, так и в том случае, когда Тройственному союзу придется отражать нападение на какую-нибудь из входящих в него держав. Это впрочем соответствовало бисмарковским традициям и духу бисмарковской политики.

Начиная с лета 1901 г., переговоры стали принимать все более затяжной характер, пока наконец в декабре 1901 г. благодаря беспощадной энергии лорда Роберта и лорда Китчинера сопротивление буров не было окончательно сломлено при помощи концентрационных лагерей с жестоким режимом и путем расстрелов большого количества бунтовщиков в Капской колонии. Король Эдуард VII писал тогда английскому послу в Берлин сэру Франку Лассело (Лассель в доверительном порядке показал мне это письмо), что он попрежнему желает, чтобы Германия и Англия во всех вопросах шли рука об руку, но закрепить это в виде формального соглашения представляется затруднительным, так как подобный договор несомненно встретит в английской нижней палате серьезные возражения и препятствия. Но он, король, не перестанет совместно с германским императором действовать для блага мира. Я и теперь еще полагаю, это Эдуард VII очень хотел по возможности затормозить наш экономический подъем, а также и развитие нашей политической мощи, что главные его старания были направлены на то, чтобы посеять недоверие между нами и Россией и поссорить нас с ней; он охотно пользовался всяким случаем, для того чтобы доставить личную неприятность своему племяннику. Но, с другой стороны, я столь же твердо убежден, что он не хотел войны с нами. Даже и при отсутствии союза с Англией мир между нами и Великобританией не был нарушен до смерти короля Эдуарда VII, последовавшей 7 мая 1910 г. А с его преемником было еще легче поддерживать мирные отношения. Они и оставались спокойными и мирными, когда летом 1914 г. вследствие неудачного во всех отношениях подхода к разрешению инцидента на Балканском полуострове вспыхнула мировая война. Перед отъездом из Англии я написал князю Гогенлоэ и фон Гольштейну длинные письма, в которых делился с ними своими впечатлениями. Между прочим я писал: «Английские политики

[1] Прошла опасность, и на святого плюют.

плохо знают континент. Некоторые из них знают об условиях жизни на континенте не больше, чем мы знаем о Перу или Сиаме. Кроме того, по нашим понятиям, они довольно наивны в своем непосредственном эгоизме, а также и в некоторой проявляемой ими доверчивости. Они с трудом допускают, что у других могут быть действительно дурные намерения. Они очень спокойны, обходительны, очень оптимистичны. Южноафриканская война вызывает в Берлине среди публики большее возбуждение, чем в лондонских политических кругах. Никто не сомневается, что Англия благополучно выйдет из этого дела. Страна дышит богатством, зажиточностью, довольством, верой в свои силы и в свое будущее. Сразу заметно, что эти люди никогда не видели врага у себя в стране и не могут даже допустить, что когда-нибудь их дела во внутренней или во внешней политике сложатся плохо. За исключением немногих «leading men»[1] они работают мало, и у них на все хватает времени. Это страна очень здоровая в физическом и моральном отношениях. Вообще не подлежит сомнению, что в Англии настроение гораздо менее враждебно по отношению к немцам, чем в Германии по отношению к англичанам. Поэтому для нас особенно опасны такие англичане, как Чироль и Саундерс, которые из собственных наблюдений знают всю строту и глубину злосчастной антипатии немцев по отношению к Англии. Если бы английская публика ясно отдавала себе отчет о настроении, которое как раз сейчас господствует в Германии, то это вызвало бы резкую перемену в ее оценке отношений между Германией и Англией». У одного из наиболее влиятельных англичан, у тогдашнего принца Уэльского, эта перемена произошла только после того, как он стал королем и в конце февраля 1901 г. поехал в Кронберг навестить свою умирающую сестру, вдову императора Фридриха. Когда он вступил на германскую территорию, то в печати и даже со стороны публики, собиравшейся на вокзалах, на него хлынула настоящая волна антипатии к Англии, антипатии, политически бессмысленной, но, как это свойственно немцам, ужасающей по своей силе и глубине.

* *
*

Из Виндзора мы отправились в Сендрингем, в имение принца Уэльского.

Эдуарда VII часто неправильно оценивали. Одним, в особенности склонным морализировать, немцам он казался распущенным кутилой, не способным ни к чему серьезному, человеком, от которого почтенный отец семейства должен держаться подальше. Другие немцы считали старшего сына королевы Виктории глубоким политиком из школы Макиавелли и полагали, что он денно и нощно размышляет, как бы зажечь мировой пожар и разрушить Германию. Оба мнения одинаково нелепы. Эдуард VII был человеком с большим природным умом, чрезвычайным тактом и

[1] Руководящих деятелей.

очень хорошими манерами. Он всегда владел собой. Он никогда не бывал груб, но вместе с тем никому не давал использовать себя в своих целях. Он мало чему научился из книг, но многое вынес из жизненного опыта и знал жизнь со всех ее сторон, во всех оттенках, во всех высотах и низинах. Он видел, что его отец принц Альберт, несмотря на свои добродетели, а может быть и вследствие их, считался в Англии педантичным немцем и никогда не пользовался настоящей популярностью. Поэтому он избегал всего, что могло бы навлечь на него упрек в педантизме. Но зато он с чрезвычайной строгостью соблюдал все те английские условности, перед которыми англичане почти столь же глубоко преклоняются, как и перед религиозными обычаями. Поэтому когда он еще был принцем Уэльским, один государственный деятель глубокомысленно заметил по поводу него: «Принца Альберта не любили, потому что он обладал всеми добродетелями, которые подчас отсутствуют у англичан. Принца Уэльского любят потому, что он обладает всеми пороками, в которых обвиняют англичан». Это сказал граф Гренвиль, тот самый, который метко характеризовал супругу императора Фридриха: «Она человек способный, но не умный».

По своем восшествии на престол принц Уэльский оказывал больше действительного политического влияния, чем большинство его предшественников. Но когда однажды какой-то простодушный сквайр запросил короля о его мнении по одному волновавшему его политическому вопросу, желая соответственно приспособить свое мнение, то король ответил ему через своего частного секретаря: «У короля по всем политическим вопросам и по всем политическим делам бывают только те мнения, которые его министры отстаивают в парламенте». Как и многие его соотечественники, он недоброжелательно относился к Германии. Мощное развитие нашей промышленности, нашей торговли и нашего флота возбуждало в нем те же самые чувства, какие испытывает владелец большой и старой банкирской фирмы, когда перед ним вырастает молодой, менее родовитый, не симпатичный ему и очень деятельный конкурент. В 1848 г., когда немцы впервые пытались создать флот, лорд Элленборо бросил по нашему адресу в палате лордов насмешливые слова: «Ephippia bos»[1]. Когда пятьдесят лет спустя мы начали строить военный флот, Эдуард VII тоже считал это излишним и досадным.

Антигерманские настроения усиливались у Эдуарда VII вследствие глубокой антипатии, которую он испытывал по отношению к своему племяннику императору Вильгельму. Он не любил его уже тогда, когда тот был назойливым мальчиком, еще меньше приходился ему по вкусу юноша, склонный к высокомерию и хвастовству, а беспокойный, шумный, чересчур шумный монарх тем более действовал ему на нервы. Окончательную трещину в отношениях между дядей и племянником вызвали события, имевшие

[1] Бык захотел ходить под седлом.

место во время девяносто девяти дней печального 1888 г.[36]: попытка тогдашнего принца Вильгельма заставить отца подписать в Сан-Ремо отречение от престола, безобразные сцены между сыном и матерью у смертного одра отца, непочтительное отношение сына к матери после смерти отца. Мать не могла ему этого простить так же, как ее старший брат. Но и здесь, повторяю, король Эдуард VII при всей своей антипатии к племяннику, быть может еще более обостренной вследствие того, что ее приходилось скрывать, при всем своем недоброжелательстве к мощному росту Германской империи, при всей своей внутренней антипатии к Германии и немцам не стремился к военному столкновению с нами и даже не желал его, а видел в так называемом «окружении» только средство несколько замедлить темп нашего роста и в частности воспрепятствовать той возможности, которой он боялся больше всего, а именно сотрудничеству между Германией и Россией. Психологически было интересно наблюдать, как держал себя Эдуард VII в обществе племянника. Король в сущности импонировал императору, хотя у последнего тоже были моменты, когда он ненавидел «злого дядю». Но у него значительно чаще бывали моменты, когда он с большой охотой помирился бы с ним даже внутренне. Когда дядя говорил с племянником о политике, у меня было такое чувство, точно толстый и злой кот играет с маленькой мышкой.

ГЛАВА XXII

Обозревая события последнего года XIX столетия, я должен еще упомянуть о Гаагской мирной конференции. Она была открыта 13 мая 1899 г. под председательством русского посла в Лондоне Стааля. Господин Стааль, так же как и граф Остен-Сакен, принадлежал к старой школе русских дипломатов. Он служил еще при императоре Николае I и по отношению к Германии был настроен вполне дружественно. Перед тем как отправиться из Лондона в Гаагу, Стааль посетил меня в Берлине, и мы сошлись с ним в оценке задач конференции, а также и того, каким способом привести ее к результатам, наиболее полезным для европейского мира. Я держался мнения, которое я решительно отстаивал перед его величеством, что мы должны принять и приветствовать все мероприятия, которые могли бы быть полезны для всеобщего мира, не угрожая нашей безопасности, и что мы должны стараться не создавать впечатления, будто мы препятствуем пацифистским и либеральным стремлениям других держав. Мы могли и должны были действовать таким образом еще потому, что немецкий народ действительно был менее честолюбив и склонен к ссорам, чем французы, менее властолюбив и жесток, чем англичане, а наш император, несмотря на некоторые промахи в речах и на чересчур самоуверенные выступления на разных празднествах, не стремился ни к самодержавию, ни ко всемирным завоеваниям. Но к сожалению и в данном случае его величество старался создать впечатление, что он играет руководящую роль и что во всяком случае, если

конференция закончится успешно, она будет этим обязана в такой же мере ему, как и императору Николаю. Если он не мог стоять один на пьедестале, то по крайней мере хотел положить руку на лавровый венок другого, как это мы видим на прекрасном памятнике Гете и Шиллера в Веймаре. 18 мая 1899 г., в день рождения царя, Вильгельм II произнес в Висбадене в присутствии русского посла Остен-Сакена тост, в котором поставил своего представителя на Гаагской конференции графа Мюнстера рядом с бароном Стаалем и выразил надежду, что оба эти дипломата «в соответствии с одинаковыми распоряжениями, отданными им императором Николаем и мной, будут вести конференцию таким образом, что результаты ее сумеют удовлетворить царя». Как и многие публичные выступления императора, которые в сущности были добродушными и уже во всяком случае миролюбивыми, этот тост показался за границей назойливым и дерзким и никому не понравился.

Во время путешествия на север в 1899 г. у императора постоянно вспыхивали неясные, но очень пылкие планы государственного переворота. Филипп Эйленбург писал мне: «Когда телеграф сообщил о рабочих волнениях в Аугсбурге и других местах, что послужило поводом для разговора о социальном вопросе, мы все сидели веселой компанией в большой столовой за завтраком. Я сидел рядом с императором. С правой стороны от него сидел принц Альберт Голштинский, рядом со мной — консул Иенсен. Телеграммы агентства Вольфа очень взволновали императора. Он чрезвычайно серьезно отнесся к рабочим волнениям и был весьма доволен. «Это хорошо, — говорил он, — пускай, пускай! Наступит момент, когда нужно будет *действовать*». «Я тогда *ни перед чем* не остановлюсь, и даже министерство не удержит меня; оно просто полетит, если не пойдет со мной. Пожалуйста, прочти недавно напечатанный сборник речей, произнесенных мною со времени восшествия на престол, ты ясно увидишь, что я сначала по-хорошему, а потом со всей серьезностью обращаю внимание немецкого народа на угрожающие ему внутренние опасности. Германская буржуазия совершенно *обанкротилась! Правительство должно действовать*, иначе все пойдет прахом! Если при серьезном конфликте во внешней политике создастся такое положение, что половина армии будет мобилизована внутри страны вследствие всеобщей забастовки, то мы *пропали!* Во время последней всеобщей забастовки в Гамбурге уже чувствовалось, что тут замешана Англия. Эта попытка удалась ей не плохо! Поэтому пора действовать. Я уже осведомился, как далеко распространяются мои военные полномочия по отношению к конституции. *Военный министр мне сказал*, что я в *любое время* могу объявить осадное положение во всей империи(!!!). Прежде чем солдаты не выведут из рейхстага социал-демократических вождей и не расстреляют их, нельзя надеяться на улучшение положения. Нам нужен закон, по которому можно было бы каждого социал-демократа сослать на Каролинские острова». Я передаю тебе довольно *дословно* то, что император сказал мне за столом. Соседи многое из этого слышали. По всей

вероятности слышали это и прислуживавшие матросы, которые стояли за стулом у императора. Я возразил императору, что пожалуй военное положение вряд ли можно объявить, не имея убедительных оснований. Его величество сказал, что никаких оснований не требуется, но что при усиливающихся волнениях среди рабочих они всегда найдутся. Это было вечером. Сегодня за столом продолжалась беседа на ту же тему. Было сказано, что есть надежда, что начнутся грабежи, и тогда, но только после того как разграбят несколько сот буржуазных предприятий, надо будет произвести *очень* сильное кровопускание. Я сказал только, что у социал-демократов слишком хорошая организация и вряд ли теперь возможны грабежи в Берлине и в других больших городах. «Тогда не остается ничего другого, как объявить всеобщее осадное положение», — ответил император».

Так говорил Вильгельм II в 1899 г. о социал-демократической партии и движении. До моей отставки, т. е. в течение следующих десяти лет, я несколько раз был свидетелем подобных вспышек или слышал о них от других. Я возражал тогда, что если император намерен действовать против социал-демократического движения при помощи исключительных законов и насильственных мероприятий, то ему не следовало увольнять в отставку князя Бисмарка. Последний как творец имперской конституции, давший всеобщее и равное избирательное право в рейхстаг, как строитель империи, был пожалуй единственным человеком, который с некоторыми шансами на успех мог провести подобное лечение посредством насилия. После того как князю Бисмарку пришлось покинуть свой пост, ничего не оставалось, как преодолеть социал-демократическое движение без нарушения имперской конституции, без насильственных мероприятий, и если возможно, то и без исключительных законов. Я полагаю, что это самый лучший путь по отношению к идейным движениям. Твердая мужественность перед лицом всякой попытки со стороны социал-демократии нарушить конституцию и законы является, разумеется, первейшей обязанностью правительства. В этом отношении он вполне может положиться на меня. В остальном же я рекомендую править спокойно, разумно и возможно более искусно. In hoc signo vincemus [1].

Но эти пахнувшие порохом и свинцом выражения императора не всегда надо было принимать всерьез. Они предназначались больше для того, чтобы импонировать слушателям и может быть для дальнейшей передачи — в качестве угрозы. Твердой и тем более последовательной воли за ними не было. Король Альберт Саксонский, с которым я, еще будучи статс-секретарем, беседовал по этому вопросу и который вполне сознавал опасность социал-демократического движения, так как в Саксонии имел возможность наблюдать его очень близко, сказал мне: «Не допускайте никаких экспериментов в этом направлении, если вам император письменно не обещает, что он будет твердо стоять на своем. Иначе он вас

[1] Под этим знаменем мы победим.

покинет. Но даже, если вы получите такие обещания, вы не можете быть вполне уверены в нем».

Через восемь лет после этих разговоров я добился того, что число социал-демократических мандатов в рейхстаге снизилось с 80 с лишним до 43, заставил социал-демократию спустить паруса и обеспечил буржуазным партиям прочное большинство. Такая победа, имевшая как никак немалое значение для общего блага государства и для положения монархии, оказалась однако недостаточной для того, чтобы преодолеть личное раздражение его величества, которое он питал против меня с ноября 1908 г. и которое получало постоянно новую пищу благодаря происками завистников и карьеристов. Мне пришлось выйти в отставку. При моем преемнике социал-демократы в 1912 г. получили 111 мандатов.

Видную роль играли в беседах на яхте «Гогенцоллерн» «Мысли и воспоминания» князя Бисмарка, изданные после его смерти. Они привели императора в чрезвычайно раздраженное и озлобленное настроение, хотя третий том тогда еще не был опубликован. Эйленбург по этому поводу писал мне: «Император сказал, что при жизни он не желает ничего говорить о действительных причинах отставки князя Бисмарка. Он мотивировал это словами: «Я не могу и не хочу отнимать у немецкого народа его идеалы».

Неосмотрительность, с которой император вел политические беседы, все больше вызывала во мне тревогу. Он часто, очень часто обещал мне, что он не будет снова допускать этой ошибки, не будет заводить разговоров с А о Б, с Б об А, рискуя при этом и даже пожалуй будучи уверенным, что А и Б расскажут друг другу императорские бутады и проникнутся недоверием к императору. Он неоднократно мне заявлял, что понимает, что неосторожные заявления монарха подобно известному австралийскому оружию, бумерангу, возвращаются к тому, кто их бросил. Но Вильгельм II постоянно забывал об этом, особенно в беседах с иностранными послами. Не злонамеренно. Злой воли здесь не было. Но, как метко говорят французы, «c'était plus fort que lui» [1]. Когда дипломаты заводили со мной беседы по поводу подобных неосторожных выражений его величества, я обыкновенно в полном соответствии с истиной возражал, что резкие замечания императора о том или ином государстве или правителе могли бы иметь практическое значение только в том случае, если бы император был человеком вроде Наполеона I, который готов был во что бы то ни стало начать *наступательную войну*. В таком случае конечно было бы естественно, чтобы те, против кого направлены его слова, готовились к обороне. Но император в действительности думает только о сохранении нынешнего положения и о защите. Его этические принципы, его искреннее христианство, его в сущности благоразумный нрав исключают у него всякую мысль о наступательной войне. Он никогда не начнет такой войны. Его резкие выпады

[1] Это было сильнее его.

против того или иного государства носят всегда лишь оборонительный характер, это есть лишь реакция на дошедшие до императора слухи о враждебных намерениях того или иного государства или правителя в области экономической, политической или в области родственных отношений. Мысли императора принимают другое направление, когда он по истечении некоторого времени убеждается, что предполагавшиеся им враждебные намерения не существуют или по крайней мере их не стараются осуществить.

Не только индивидуальные свойства императора, но и весь наш народ в целом внушал мне серьезные опасения. Обозревая прошлое, я не могу не констатировать, что немецкий народ к сожалению все еще не обладает национальным самосознанием, чувством национальной чести, патриотической гордостью или хотя бы патриотическим тактом в той мере, как другие народы.

Первый год нового столетия принес полное поражение буров: в марте лорд Робертс взял Блюмфонтейн, в июне он вошел в Преторию. Но если храм бога войны закрылся в Южной Африке, то вскоре после этого он снова раскрыл обе свои двери с другой стороны, в Восточной Азии. 18 июня в Китае был убит германский посланник барон Кеттелер. В июне последовали распоряжения императора об образовании и отправке в Китай экспедиционного корпуса, командиром которого был назначен генерал-лейтенант Лессель. В качестве начальника штаба при нем назначили одного из лучших офицеров генерального штаба — Гюнделя, бывшего в то время полковником. Это был тот самый офицер, который, достигши тем временем чина генерала-от-инфантерии, в ноябре 1918 г. первоначально намечался в качестве председателя комиссии по заключению перемирия. Он благодаря своей осмотрительности, благоразумию и такту, благодаря превосходному знанию французского языка и навыку в обращении с французскими офицерами был бы чрезвычайно пригоден для такой миссии. Но депутат Эрцбергер со свойственной ему бурной назойливостью добился в 1918 г., чтобы председателем комиссии по перемирию назначили его. Для этого он собственной рукой, с согласия слабохарактерного принца Макса Баденского, зачеркнул имя Гюнделя и заменил его своим. Не подлежит сомнению, что Гюндель гораздо больше годился для переговоров о перемирии, чем Эрцбергер; последний обладал некоторыми качествами, полезными для демагога, не был лишен и некоторого наивного добродушия, но был совершенно лишен всего того, что требуется для дипломатической миссии: знаний, опыта, такта и чувства достоинства. Так случилось, что в ноябре 1919 г., в самый печальный день в истории Германии, в Компьенском лесу перед победоносным французским главнокомандующим выступила даже по внешности комическая фигура депутата от Бибераха. Китайская экспедиция 1900 г., разумеется, ни в какой мере не могла быть сравниваема с мировой войной, ужасным финалом которой было появление Матиаса Эрцбергера в Компьенском лесу. Но именно потому, что война с Китаем велась Вильгельмом II на далеком расстоянии со сравнительно неболь-

ними силами, без личного риска и с обоснованной надеждой, что мне удастся уладить это дело дипломатическим путем, темперамент императора в данном случае проявился с полной силой. «Какое наслаждение жить теперь!» — неоднократно говорил он мне тогда.

Я никогда не видел императора Вильгельма в таком возбуждении, как во время первой стадии китайской смуты; правда, я уже не находился около него во время мировой войны. Сначала он произнес в Вильгельмсгафене и Бременгафене речи, которые должны были импонировать не только китайцам, но и всему миру. В Вильгельмсгафене он говорил 2 июня 1900 г. о «неслыханных по наглости, вызывающих ужас своей жестокостью» преступлениях китайцев и требовал «примерного наказания и мести». Он напомнил, что он раньше предвидел эту мерзость, но тогда его не поняли. «Среди глубочайшего мира брошен горящий факел войны, что для меня к сожалению не было неожиданностью». Это был намек на известную картину «Народы Европы, охраняйте ваши священнейшие блага». На следующий день император произнес застольную речь по случаю визита принца Рупрехта Баварского. Здесь он сказал более опасные слова о том, что без германского императора не может уже решаться ни один большой вопрос в мире; что он будет беспощадно применять самые сильные средства для сохранения за германским народом его положения как мировой державы; что это является его долгом и лучшей его прерогативой. Гогенлоэ и я хотели не опубликовывать этой речи, но его величество немедленно передал ее непосредственно телеграфному агентству Вольфа. Чтобы подобные императорские излияния не выбивали из колеи нашу политику, я отправил 2 июля из Вильгельмсгафена по телеграфу следующую инструкцию иностранному ведомству: «Даже после убийства барона Кеттелера наша политика в Азии будет попрежнему осмотрительной, спокойной и трезвой. В особенности мы будем избегать всего, что могло бы нарушить согласие между державами. Мы будем попрежнему действовать в контакте с Россией, не будем отталкивать от себя Англии и будем дружественно относиться к Японии и Америке. Но вследствие убийства нашего посланника положение изменилось в том смысле, что теперь в первую очередь необходимо показать нации, что те, кто руководит ее делами, умеют быстро и настойчиво защищать престиж Германии и ее честь. Эту политику я отстаивал перед его величеством императором, и она получила полное высочайшее одобрение». В теории программа, изложенная мной в этих словах, действительно получила высочайшее одобрение, но фактически неугомонное неблагоразумие императора постоянно вызывало подобные излияния.

Но самой плохой и пожалуй самой вредной речью, которая когда-либо была произнесена Вильгельмом, была его речь в Бременгафене 27 июня 1900 г. В речи, произнесенной с помоста, воздвигнутого в гавани, где были выстроены войска, отправлявшиеся в Восточную Азию, звонким голосом Вильгельм сказал:

«Пощады не давать, пленных не брать! Подобно тому как тысячу лет назад при короле Этцеле гунны оставили по себе память о своей мощи, до сих пор сохранившуюся в преданиях и сказках, точно так же благодаря вашим деяниям имя немцев в Китае должно запомниться на тысячу лет, так, чтобы никогда китайцы не посмели даже косо взглянуть на немца». Еще в то время, когда император говорил, я через директора Бременского Ллойда, благоразумного господина Виганда, обязал всех присутствовавших журналистов не печатать этой речи без моего предварительного просмотра. Это обещание было мне дано, и все его лойяльно сдержали.

Во время речи императора лицо князя Гогенлоэ, которому минуло тогда восемьдесят один год, все больше вытягивалось. Всего за три месяца до этого он телеграфировал мне: «Будьте уверены, что, до тех пор пока я еще способен занимать свою должность, я буду счастлив рассчитывать на ваше сотрудничество». Теперь, повернувшись ко мне, он сказал со скорбным выражением лица: «За это я в рейхстаге ответственность на себя никак не могу взять, это уж должны попытаться сделать вы». За ужином принесли газеты. Император схватил их и был очень удивлен, что его речь напечатана только в той редакции, которую я ей придал, т. е. без рискованных выражений. Я сидел за столом как раз против него. «Да ведь вы же вычеркнули самое лучшее», — сказал он мне, не столько раздраженным, сколько разочарованным и огорченным тоном. В это время принесли маленький листок, вышедший в Вильгельмсгафене, который напечатал речь полностью. Сотрудник этого листка застенографировал речь, сидя на крыше, и немедленно послал ее в редакцию, так что ни Виганд, ни я не могли воспрепятствовать этому. Император был в восторге, когда я прочитал ему его речь полностью, но был менее доволен, когда после ужина я заговорил с ним о его выступлении, в то время как он курил сигару. Я указал ему на то, что он неоднократно очень охотно заявлял о своей приверженности к христианству, а потом заговорил о том политическом впечатлении, которое произведет его эксцентричная речь. Я сказал, что у наших друзей она вызовет повсюду огорчение и недовольство, а наши враги воспользуются ею, для того чтобы посеять недоверие и ненависть к нам. Эта речь произведет опустошительное действие. Император был явно смущен и сказал, что полагается на мои «дружеские чувства» к нему и на мое великолепное красноречие и надеется, что я его выручу в рейхстаге. Я сказал, что парламента я боюсь меньше, чем общественного мнения и настроения за границей. Такие «промахи» (здесь я несколько раз употребил это выражение) льют воду на мельницу всем тем, кто желает изобразить страну Гете, Шиллера, Гумбольда и Канта как страну варваров и язычников, а нашего императора, который в глубине души, как я попрежнему убежден, хороший христианин и хороший человек, не желающий ничего дурного, они будут изображать в виде кровожадного завоевателя, кем его величество,

слава богу, отнюдь не является. Наша беседа затянулась за полночь. Отпуская меня, император подал мне руку и сказал: «Я знаю, что вы желаете мне только добра. Но я уж таков, каков я есть, и переделать себя не могу».

Я покинул императора с убеждением, что после этой беседы он вряд ли согласится назначить меня канцлером, но это меня не разочаровало и не огорчило. В остальном же к сожалению все, что я тогда предсказывал его величеству, оправдалось в полной мере.

В рейхстаге я действительно несколько месяцев спустя справился с обвинениями, направленными против императора. Но вот чему я не мог воспрепятствовать: когда вследствие близорукости и неумелой и неуклюжей политики мы влопались в войну, то французская, а еще больше английская и американская пропаганда пользовались как раз именно этой речью о гуннах, для того чтобы натравливать на нас весь мир. Если миллионы людей на всех языках называли гуннами добрый и благородный немецкий народ, который мыслит и чувствует более гуманно в самом лучшем смысле этого слова, чем какой-либо другой народ на обоих полушариях, то это было последствием злосчастной речи, которую Вильгельм II произнес в Бременгафене.

ГЛАВА XXIII

Когда я прибыл в Берлин, Гольштейн, у которого китайские осложнения вызвали такое же настроение, какое бывает у старой эскадронной лошади, когда она слышит звуки трубы и сигнал «галоп», сказал мне:

«Император воображает, что если он договорился с царем, то весь земной шар должен следовать за ними. Но это не так просто, как ему кажется. Однако возьмемся бодро за дело, уж как-нибудь его уладим»[27].

Переговоры с иностранными послами в Берлине дались мне нелегко и были не очень приятны. Но в конце концов я добился того, что все державы согласились на избрание графа Вальдерзее, хотя и сделали это без особого удовольствия, а французы даже весьма неохотно.

Тем временем император передал графу Вальдерзее маршальский жезл, о чем мне писал находившийся в свите его величества граф Пауль Меттерних:

«Вчера мы чествовали Вальдерзее в городском замке в Касселе. Его величество вручил ему фельдмаршальский жезл и произнес очень хорошую краткую речь. Вальдерзее немедленно принял позу совсем как на старых гравюрах, словно он всегда носил этот жезл. Мне кажется, что Вальдерзее по прибытии в Китай будет действовать, правда, весьма самостоятельно, по возможности избегая запрашивать руководящие сферы на родине, но будет проявлять в дипломатических и военных действиях большую осторожность, если вообще ему придется еще что-нибудь делать.

Занятие Пекина has cast a temporary gloom over our otherwise happy circle [1]. Граф Шлиффен, находящийся здесь и тихо и спокойно оказавший превосходное влияние в совете сильных мира сего, полагает, что союзные войска должны оставаться в Пекине. Мне представляется, что это элементарное требование благоразумия, конечно при условии, что войска могут это сделать без большой опасности для себя. Здесь теперь пожалуй больше всего боятся, что другие попытаются начать переговоры о мире, прежде чем Вальдерзее проследует через Китай под триумфальными арками, встречаемый у городских ворот китайскими девушками в белых платьях. Но я опасаюсь, что для других эти соображения не будут играть решающей роли, если они только сумеют до этого заключить мир. Но повидимому в Пекине нет никого, с кем можно было бы вести переговоры, и вместе с тем представляется весьма сомнительным, чтобы китайцы уже теперь подчинились условиям, которые поставят державы. Императорский двор тем временем бежал в Гзианфу, место, которое даже граф Шлиффен с его штабом не сумел отыскать на карте. Тем временем с юга на север прибывают все новые банды, и возможно, что графу Вальдерзее еще придется через несколько недель решать некоторые почетные задачи. Но если Китай смирится раньше, то как можем мы воспрепятствовать тому, чтобы другие заключили мир, раз это им будет выгодно? Для меня представляется сомнительным, нужно ли нам тогда самим снова совершать поход в Пекин. Кроме того те, кто не хочет, чтобы это дело снова вспыхнуло, дипломатически лишат нас тогда свободы действий, предложив нам добрые услуги. Однако бесполезно предугадывать события, когда они не зависят от нас. Для ведения войны с давних пор требуется наличие двух сторон, и то, что делаешь сам, в значительной степени зависит от того, что делает противник. А этого мы пока еще не знаем; поэтому надо подождать. По всей вероятности вследствие занятия Пекина и в предчувствии того, что нам там уже почти нечего будет делать, безответственные люди снова выдвигают здесь фантастический план похода из заарендованной нами территории на север. Граф Шлиффен, который повидимому проникся ко мне большим доверием и предварительно обсуждает со мной все эти вопросы, высказывался против этого. Теперь скажу с привычной откровенностью еще одно слово о Янцзы-Циане. Область реки должна остаться открытой для торговли всех держав на одинаковых для всех условиях. Насколько мне известно, это положение признавалось всеми. Под покровительством английского флага германская торговля в прошлом прекрасно развивалась во многих других пунктах Китая, в том числе и на Янцзы. Германские и английские фирмы работают там в полном согласии, рука об руку. Для тех кругов, которые мы хотим защитить, наша ссора с Англией была бы как нельзя более нежелательной. Защиту наших подданных на Янцзы мы в случае надобности могли бы

[1] Временно омрачило наш счастливый круг.

осуществлять и сами, мы могли бы высадить там войска и охранять наши фактории. Но за границей необходимость в этом поймут только в том случае, если другие государства под давлением одинаковых обстоятельств тоже высадят свои войска: лучше всего это сделать в порядке дружественного соглашения с англичанами. Северный Китай с молчаливого согласия предоставляется русским, за ними идем мы, а совсем на юге распространяются французы. В промежутке остается Янцзы-Циан; конечно это лучшая часть. И здесь с давних пор и до настоящего дня значительно преобладают английские интересы, несмотря на быстрые успехи с нашей стороны. Мы можем продолжать завоевывать Янцзы при помощи нашей торговли; но как только мы какими-нибудь политическими мероприятиями, как например применением силы без крайней надобности, покажем или хотя бы намекнем, что желаем играть роль «главенствующей державы», то немедленно между нами и Англией остро встанет вопрос о господстве. Это будет нечто вроде трансваальского вопроса в 1895 г., и по всей вероятности с тем же финалом. Но до этого *вы* наверное не допустите. Англия без борьбы не даст себя вытеснить со своей политической позиции на Янцзы-Циане. При помощи торговли мы можем все более и более завоевывать Янцзы, но при помощи политики не можем. Два прочных результата нашей новейшей политики в Китае уже налицо: мы научились перебрасывать через океан значительные транспорты войск, и мы создали ядро колониальной армии».

Когда император Вильгельм с таким пылом проводил экспедицию в Китай и в частности когда он назначил графа Вальдерзее главнокомандующим, он исходил из того, что его генерал-фельдмаршал (которого юмористические журналы уже называли «вельтмаршал», т. е. всемирный маршал) будет иметь возможность нанести китайцам уничтожающее поражение в большой битве, возьмет штурмом Пекин и сам освободит осажденных там послов. Все речи, которые произносил император, были построены на этом предположении. Император громко прославлял блестящие военные качества китайцев, очевидно для того, чтобы победа над столь храбрыми воинами казалась особенно славной. Но события разрушили все эти ожидания, фантазии, надежды и мечты. Граф Вальдерзее прибыл в Китай только 27 сентября. Между тем соединенные войска вошли в Пекин 15 августа и спасли послов. С тех пор китайский поход значительно меньше интересовал Вильгельма II, а через несколько месяцев он уже вообще не хотел и слышать о всей этой китайской истории и милостиво предоставил мне распутывать этот клубок. Граф Вальдерзее в первоначальном ликовании по поводу своего назначения позволил себе во время проезда по Германии в разных местах принимать не всегда уместные овации, а своими речами возбуждал весьма широкие ожидания, так что трезвый Евгений Рихтер не совсем без основания говорил, что генерал-фельдмаршал получил лавры в виде задатка. Справедливость требует признать, что по прибытии в Китай граф Вальдерзее действовал умно и толково, с надлежащей

энергией, но вместе с тем с соответствующим тактом; он добился всего необходимого, сумел соблюсти свое достоинство в качестве верховного главнокомандующего и в то же время не вызывал недовольства у других держав.

В конце декабря 1900 г. я не без удивления получил телеграфное предложение императора прибыть к нему на несколько дней в его охотничий замок Губертусшток.

На следующий день после моего приезда император пригласил меня на прогулку. Он сам завел речь о состоянии здоровья князя Гогенлоэ, который писал и устно заявлял ему, что по своим физическим силам и вследствие объема работы он совершенно не чувствует себя способным оставаться на своей должности, а потому просит у него «милостивой отставки». Я высказался в том смысле, что в интересах его величества и страны желательно, чтобы князь Гогенлоэ как можно дольше оставался на своем посту. Если он даже не может проявлять более активной деятельности, то все же он представляет собой элемент спокойствия и устойчивости. Его мудрый совет, его опыт, его уравновешенность чрезвычайно ценны. Император согласился со мной, но повторил, что вряд ли удастся удержать Гогенлоэ на продолжительное время. Затем он вдруг à brûle point спросил меня: «А вы согласились бы стать его преемником?» Я ответил на это в свою очередь вопросом: кого его величество имеет в виду кроме меня? Императору мой вопрос повидимому не очень понравился, но после некоторого молчания он сказал, что он думал о «Поде». Я ответил, что мне генерал Подбельский симпатичен уже как старый гусар. Кроме того у него есть несомненные достоинства: он решителен, ловок. Но в вопросах нашей политики он не имеет опыта, а для внутренней политики он слишком партийная, консервативная фигура.

Император продолжал: «Откровенно говоря, для меня лично самым симпатичным преемником был бы Филипп Эйленбург. Он мой лучший друг, я для него выше всего, но я не знаю, справится ли он с этим делом. У меня такое впечатление, что он сам в этом сомневается». Беседа с его величеством не привела ни к какому определенному результату. Император вполне согласился со мной только в том, что нужно всячески облегчить князю Хлодвигу Гогенлоэ возможность остаться на посту. Вскоре после этого, 16 октября 1900 г., меня вызвали в Берлине к телефону. Произошел следующий разговор:

— У телефона статс-секретарь граф Бюлов.

— Говорит император Вильгельм. Гогенлоэ заявил мне, что он не может и не хочет оставаться, приезжайте в Гомбург.

ГЛАВА XXIV

Почти одновременно с последовавшим по телефону предложением его величества приехать из Берлина в Гомбург я получил следующую телеграмму от начальника кабинета по гражданским делам Луканусе: «Его величество император только что по те-

лефону предложили мне явиться на совещание к его величеству вместе с вашим превосходительством завтра утром». Вечером 16 октября 1900 г. мы вместе отправились из Берлина в Гомбург. Луканус был почти на 20 лет старше меня, многое пережил и знал монарха еще лучше, чем я. «Дай бог, — сказал он, — чтобы ваш брак с императором оказался благополучным. Большой вопрос, сколько времени выдержит с императором канцлер, представляющий собой личность и к тому же личность более или менее яркую».

Когда мы подъезжали к Франкфуртскому вокзалу, Луканус сказал, что по всей вероятности его величество встретит нас в Гомбурге на вокзале. «Когда император назначает нового министра, он не в состоянии дождаться, пока наконец его не увидит и не сумеет начинить его своими мыслями. Надо полагать, что государь в первую очередь заведет речь о внутренней политике и в особенности о таможенном тарифе. В этом отношении мне, — сказал Луканус, — следует быть на-чеку. Император очень озлоблен против аграриев, в которых он не без основания видит главных виновников крушения его планов относительно сооружения канала [28]. Кроме того гомбургские друзья наговорили его величеству, что повышение хлебных пошлин, а тем более установление твердых таможенных ставок сделают невозможным заключение торговых договоров. Император желает во что бы то ни стало заключить торговые договоры». Я ответил Луканусу, что конечно считаю усиленное покровительство сельскому хозяйству необходимым по соображениям экономического, а еще более по соображениям социально-политического и национального порядка. В этом убеждении я не дам себя поколебать. Луканус поджал губы, он процитировал ряд чрезвычайно резких замечаний императора по адресу союза сельских хозяев и в пояснение добавил, что император по своему характеру и по направлению ума гораздо меньше интересуется сельским хозяйством, чем промышленностью, а тем более, чем торговлей и мореплаванием. Мы еще успели поговорить на разные темы, когда поезд остановился у маленького вокзала в Гомбурге. На платформе мы увидели императора. Он чрезвычайно сердечно приветствовал меня, взял меня под руку и предложил погулять с ним, для того чтобы мы немедленно могли сообща набросать правительственную программу, как он с улыбкой заметил.

Как только мы остались одни, император действительно сейчас же заговорил о таможенном вопросе и о торговой политике. Прежде всего мне следует «намять бока» аграриям и союзу сельских хозяев. Этого они вполне заслужили своим поведением в вопросе о канале и «неприличным тоном» своих выступлений. О повышении сельскохозяйственных пошлин, а тем более об установлении твердых ставок не может быть конечно и речи. Я объяснил его величеству, почему я считаю безусловно необходимым усиление покровительства германскому сельскому хозяйству и почему я должен поставить это предварительным условием, прежде чем возьму на себя руководство нашей внутренней политикой.

Сельскому хозяйству не только приходится бороться с большими затруднениями, но кроме того та часть населения, которая занимается сельским хозяйством, все время уменьшается, тогда как рабочие массы в промышленности все время растут. Города все более разбухают, а сельские местности пустеют. В этом заключается большая опасность не только для нашей военной мощи, потому что сельские местности доставляют вообще лучших солдат, чем города, но также и для всей нашей социальной структуры. В Германии большие города гораздо многочисленнее, чем во Франции и Италии, а диспропорция между населением, занимающимся сельским хозяйством, и занятым в промышленности у нас значительнее, чем по ту сторону Вогезов. Во Франции, за исключением Парижа, который является головой и сердцем страны, имеется лишь одиннадцать городов с населением более ста тысяч, а у нас — тридцать. Император заметил, что в Англии индустриализация зашла еще дальше, чем у нас. Я должен был ему сказать, что Англия благодаря политической зрелости своего населения, благодаря благоразумию и прозорливости своей аристократии, благодаря национальному чутью своих масс обладает гораздо большими гарантиями в социальном и государственном отношении, чем Германия. Император был видимо изумлен моими возражениями, но в конце концов задал вопрос: неужели я не согласен, что если мы не добьемся торговых договоров, то это будет для нас «совершенно ужасным ударом?» Я успокоил его заверением, что даже при более усиленном покровительстве сельскому хозяйству я безусловно надеюсь заключить торговые договоры с Россией, Австрией, Италией, Румынией и Швейцарией. Мы должны найти путь между двумя маяками: энергичным покровительством сельскому хозяйству, с одной стороны, и торговыми договорами, которые дали бы возможность нашей промышленности успешно развиваться, с другой стороны. «Значит вроде того, как во внешней политике, где мы тоже должны искать свой путь между Англией и Россией», — сказал император в конце беседы. «Ну, посмотрим, что у вас получится».

Когда я ушел к себе в комнату, чтобы переодеться к обеду, к которому меня пригласил император, ко мне постучали в дверь. Это был добрый старик Луканус. «Ну, — сказал он, — вы взяли быка за рога. То, что вы уже в первый день своего канцлерства возражали императору и притом в таком щекотливом вопросе, произвело на него впечатление. Но теперь снова действуйте мягко, а главное постарайтесь, чтобы мы получили торговые договоры».

Уже по дороге из Берлина в Гомбург я решил назначить статс-секретарем по иностранным делам Рихтгофена, занимавшего до сих пор должность помощника статс-секретаря. Гольштейн предложил мне для этого поста несколько совершенно неспособных кандидатов, надеясь, что при мало пригодном статс-секретаре у него будет больше свободы действий для всякого рода уловок и интриг. Потребовались некоторые усилия с моей стороны,

чтобы убедить императора назначить Рихтгофена. Его величество не любил традиционный тип прусского чиновника с его трезвостью, деловитостью, прилежанием, добросовестностью и глубоким сознанием долга.

ГЛАВА XXV

При князе Гогенлоэ я довольно самостоятельно вел иностранные дела, но вполне естественно, что после назначения меня канцлером я еще больше стал сознавать свою личную ответственность за ход нашей внешней политики и еще сильнее чувствовал себя обязанным напрячь все силы, чтобы обеспечить будущность германского народа при помощи осторожной осмотрительности и, поскольку это в пределах человеческих сил и разумной политики, сохранить ему почтенный и достойный мир. Бисмарк не раз говорил, что так как подлинные пророки и дети пророков вымерли, то человек в состоянии предвидеть ход событий приблизительно только на четыре-пять лет. В известном отношении Гарри Арниму он отмечал даже как ошибку, свойственную именно немецким политикам, — привычку чересчур рано готовиться к событиям. Мне приходилось даже слышать от него такие заявления, что в политике дальнозоркость опасна и представляет собой бо́льшую опасность, чем близорукость. Главное, что требуется, это подходить к людям и событиям с точки зрения реальной политики. Гениальному Фердинанду Лассалю принадлежит выражение: «Видеть то, что есть»[1]. Все настоящие государственные деятели: Кавур и Дизраэли, Тьер и Франц Деак, сходились с Бисмарком в том, что в политике самое важное — видеть то, что есть. Я вдвойне должен был следовать этому правилу, потому что монарх, которому я служил, в противоположность своему трезвому деду, обладал больше фантазией, нежели «bon sens» — здравым смыслом и поэтому либо недооценивал, либо переоценивал людей и события и вечно колебался между сангвиническим оптимизмом и пессимистической робостью.

Когда наконец рассеялся рой первых поздравителей и посетителей и я успел обменяться мнениями по вопросу о таможенной политике с моими коллегами и вождями центра, национал-либералов и консерваторов, я постарался выделить время, чтобы еще раз спокойно уяснить себе нашу внешнюю политику.

В день моего назначения канцлером фельдмаршал граф Вальдерзее прибыл в Пекин. Тем самым китайский вопрос вступил в стадию, когда он подлежал главным образом дипломатическому разрешению. На другой день после моего назначения президент Крюгер отправился из Лоренцо-Маркес на голландском крейсере «Гельдерлянд» в Европу. Было очевидно, что после того как лорд Робертс занял Иоганнесбург и Преторию, а английский губернатор Капской колонии заявил в парламенте, что война почти закончена, и наконец после того как лорд Робертс 3 сентября

[1] Sehen, was ist.

объявил об аннексии южноафриканской республики, «дядя Крюгер» приложит все старания к тому, чтобы побудить к интервенции европейские континентальные державы и в частности Германию, где во всех кругах населения относились с особенно живым сочувствием к бурам. В обеих бурских республиках продолжалась партизанская война; вожди буров, Вет и Делярей, сообщали о непрерывных успехах. Первый совершил даже набег на Капскую колонию, что снова оживило надежды немецких друзей буров и укрепило их в убеждении, что дело буров еще не окончательно потеряно, если только германское правительство решится наконец вмешаться в их пользу. Можно было с уверенностью ожидать, что ввиду широко распространенных как в рейхстаге, так и в немецком народе весьма горячих симпатий к бурам, мне нелегко будет проводить политику строгого нейтралитета и невмешательства.

Не обращая внимания на эти порою очень резко проявлявшиеся симпатии к делу буров как среди немецкого народа, так и в непосредственном окружении его величества, я за сутки до моего назначения имперским канцлером заключил с Англией соглашение по китайскому вопросу и относительно политики, которую обе державы должны были проводить в Китае [29].

Этот договор должен был быть сообщен всем державам, заинтересованным в Китае, т. е. Франции, Италии, Японии, Австро-Венгрии, России и Соединенным штатам, с предложением присоединиться к изложенным в нем принципам. Ближайшим последствием этого договора было то, что английские правительственные газеты приветствовали назначение меня канцлером. Зато русская печать резко нападала на меня из-за этого договора. «Новости» заявили, что я лишился разума, «Новое время» угрожало мне контрдоговором России, Франции, Соединенных штатов и Италии.

Когда я в связи с этими событиями рассматривал международное положение, я естественно устремлял свои взоры прежде всего на нашу союзницу Австро-Венгрию. Я все яснее видел ее внутреннюю слабость и разложение, которое там все более усиливалось вследствие высокомерия мадьяр, наглости поляков и дерзости чехов, поощряемых австрийской аристократией. Мы не должны были допускать развала двуединой монархии, ибо, после того как Каприви и Маршалль к сожалению порвали связь, соединявшую нас с Россией, мы оказались бы в этом случае совершенно одиноки и не имели бы поблизости никого, кто бы нам помог: в случае континентальной войны Англия не могла оказать нам большой помощи на суше. Но если мы не должны были уничтожать монархии Габсбургов или загонять ее неумелой политикой в лагерь противника, то, с другой стороны, одна из важнейших задач нашей политики заключалась в том, чтобы сохранять руководство над Австрией и не позволять ей вовлечь нас в неразрешимый конфликт с Россией или даже в войну с ней. Монархия Габсбургов была похожа на старого полуразорившегося аристократа,

который постепенно стал склоняться к тому, чтобы все поставить на одну карту. Особенное легкомыслие проявляли австрийские военные, как это уже имело место в 1859 и 1866 гг. По отношению к России, а также к Италии, Сербии и Румынии мы должны были крепко держать Австро-Венгрию в узде.

Ввиду старости и усиливавшегося отупения императора Франца-Иосифа в австрийской политике все больше выступал на первый план наследник престола эрцгерцог Франц-Фердинанд. Когда я вступил в должность, он был в плохих отношениях с императором Вильгельмом. В длинном частном письме (действительный ход политики выявляется в частной переписке гораздо более отчетливо, чем в официальных донесениях, в которых неизбежно иногда приходится считаться с разными обстоятельствами) Филипп Эйленбург подробно писал мне по поводу поездки, которую эрцгерцог Франц-Фердинанд собирался предпринять в Потсдам. Он жаловался на скрытый антагонизм, существовавший между эрцгерцогом и нашим императором. В письме была такая фраза: «Антагонизм между эрцгерцогом Францем-Фердинандом и нашим монархом вряд ли может быть устранен, потому что крайнее высокомерие никогда не позволит эрцгерцогу согласовать его устарелое мировоззрение *с современными* воззрениями нашего императора... *Высокомерие и зависть* являются настоящими возбудителями болезни, и факты не могут устранить эти бациллы. Сильная Германия с императором, обладающим гениальными задатками, является слишком благодарной почвой для бурных бацилл, таящихся в характере наследника габсбургской короны. Все старания привлечь на нашу сторону поэтому будут иметь лишь слабый эффект. Но практический подход ко всем вопросам может пожалуй заинтересовать эрцгерцога, потому что он человек весьма толковый. Кроме того нужно еще, чтобы был фимиам в виде очень блестящего приема. К характеристике личности наследника я хотел бы еще добавить несколько слов о его политике. Франц-Фердинанд принадлежит к типу фрондирующих наследников. Подобно тому как он *никогда* не забывает оскорблений, нанесенных его тщеславию, точно так же он никогда не забудет, что глупые врачи и недостаточно ловкие придворные чиновники зачислили его в покойники, в то время когда он еще обладал достаточными жизненными силами, чтобы поправиться. Он никогда не забудет Голуховскому, что тот обращался с ним как с quantité négligeable[1]. Поэтому политика Франца-Фердинанда будет всегда направлена в пользу противников Голуховского. Поэтому он с удовольствием рассказывал — и *не только* своему зятю Альберту Вюртембергскому, — что наш всемилостивейший монарх сказал ему: «Голуховский осел... Против Голуховского, хотя он и благочестивый католик, все ультрамонтаны, которые рады разрушить Тройственный союз. Он держится только благодаря доверию своего императора. Мы допу-

[1] Величиной, не заслуживающей внимания.

стили бы ошибку, если бы, несмотря на его разные слабости, не оказали ему теперь поддержки в такой момент, когда здесь довольно сильна русская, антигерманская партия [30]. Для нас выгодно, что Голуховский вследствие ненависти Франца-Фердинанда не может сложить оружие перед этой феодальной антигерманской партией. Для того чтобы еще более запутать сложное положение, в котором не всегда удастся легко разобраться, Франц-Фердинанд во время своей последней поездки на юг если не натравливал, то во всяком случае привел в сильное волнение южных славян (словенцев, кроатов, далматинцев). С тех пор там замечаются сильные симпатии к России и все больше выдвигается идея образования «Словенской империи». Этой поездкой Франц-Фердинанд нанес коварный удар венграм. Он этим в сущности поставил на очередь славянский вопрос в Венгрии. При его характере я допускаю, что он сделал это сознательно. Я не решаюсь определенно сказать, носится ли он при этом с мыслью о славянской трансформации монархии Габсбургов, о чем мне уже приходилось доносить. По-моему, не исключена возможность, что он был доступен таким планам: ему могли нарисовать в качестве имеющего шансы на успех план мести за 1866 г., если Австрия выступит в славянском облачении, в союзе с Россией и Францией».

Отношения между наследником австрийского престола и нашим императором были действительно не очень дружелюбные, когда мне было вверено руководство внешней политикой.

Наши отношения с Францией оставались в неизменном положении, в каком они находились, если отвлечься от некоторых незначительных колебаний, со времени Франкфуртского мира. Французы не хотели войны, или, правильно выражаясь, не решались напасть на нас. Но они не отказались от Эльзас-Лотарингии, а многие французы не утратили еще надежды снова добиться гегемонии на европейском континенте, которой Франция пользовалась при Людовике XIV и при Наполеоне. Наш посол в Петербурге князь Радолин писал мне, что в беседе с безусловно миролюбиво и скорее германофильски настроенным графом Муравьевым он чисто академически затронул вопрос о сотрудничестве между Россией, Германией и Францией, что, разумеется, возможно лишь в том случае, если каждая из этих трех держав будет уверена, что обе другие не намерены посягать на ее владения. Русский министр иностранных дел на это ответил ему: «За Россию он охотно возьмет на себя такое обязательство, но не за Францию. Ни одно французское министерство не продержится даже одних суток, если оно пойдет навстречу немецким желаниям относительно гарантии нынешних владений договаривающихся сторон». Я всегда твердо держался убеждения, что Франция обратится против нас, как только мы не поладим с Россией. И в этом отношении я был прав. В отношении Франции германский император и германский народ особенно охотно поддавались иллюзиям. Вильгельм II, так же как и его мать, надеялся утешить фран-

пузов и завоевать их симпатии личной любезностью. Это свидетельствовало только о непонимании страстного патриотизма, а также национального честолюбия и национального высокомерия наших западных соседей. С наивным добродушием, которое с точки зрения этики является добродетелью, а в политическом отношении — слабостью нашего народа, огромное большинство немцев подходило к французам с искренним желанием как можно скорее и окончательно помириться с интересным соседом по ту сторону Вогезов. Это в частности привело к тому, что в 1900 г. парижская всемирная выставка именно немцами посещалась все время в огромном количестве. Впечатление, которое эти посетители производили в Париже, было не всегда благоприятно. Французы попрежнему руководствуются советом Гамбетты не говорить о реванше, но всегда думать о нем.

Ввиду значительных и все более усиливавшихся вооружений, которые производились во Франции из года в год соответственно этому лозунгу Гамбетты, мы обязаны были по крайней мере итти в ногу с французами и не пренебрегать развитием нашей военной мощи. Поэтому за время своего пребывания на посту я постоянно отстаивал все военные требования. Я пытался иногда умерить усердие моего друга Тирпица по части сооружения флота, в частности сооружения линейных кораблей. Но я всегда объяснял военному министерству и генеральному штабу, что я готов отстаивать перед рейхстагом и перед страной всякий военный законопроект, который они сочтут необходимым, и в случае надобности никогда не отступлю перед роспуском рейхстага, для того чтобы провести такой законопроект. Я указывал, что при роспуске рейхстага из-за военных требований, от которых в конечном счете больше всего зависит безопасность страны, мы в любой момент можем апеллировать к нации.

Самое чувствительное место в наших отношениях к России затронул наш бывший посол в Петербурге генерал Швейниц. На мой вопрос, кого он считает лучшим кандидатом на пост посла в Петербург, освободившийся после отставки генерала Вердера, он писал:

«Я должен объяснить, почему я придаю большое значение тому, чтобы мы в Петербурге были представлены пруссаком. Хотя традиции пиэтета, связанные с королевой Луизой, священным союзом, императрицей Шарлоттой и т. д., которые в 1866 и 1870 гг. еще имели большой вес, теперь сильно поистерлись, однако все же существуют еще неразрывные узы, связывающие Россию с Пруссией, но не с Германией. В первую очередь — это раздел Польши с его бесконечными последствиями. Я считаю нужным тщательно блюсти наши отношения с Россией, чтобы даже в самом худшем случае — в случае распада империи — мы могли бы располагать прусско-русским союзом, безразлично за чей счет. После кончины императора Франца-Иосифа останутся только два настоящих монарха; между ними должен стоять твердый пруссак».

Швейниц попал в самую точку, когда, говоря об узах, которые связывают Россию с Пруссией, об узах, которые, в случае если германская политика будет благоразумна, неразрывны, указывал на раздел Польши со всеми его последствиями. Он был также прав, когда требовал, чтобы мы на самый плохой конец могли располагать прусско-русским союзом, все равно за чей счет. Это было нужно не только на случай каких-нибудь раздоров внутри империи, но также, и притом в еще большей степени, для отношений между нами, Россией и Австрией. Если мы желали остаться верными духу Фридриха Великого и Бисмарка, мы не должны были закрывать себе возможность на худой конец сговориться с Россией за счет Австрии.

Летом 1900 г. внезапно скончался русский министр иностранных дел граф Муравьев. Его смерть была для нас потерей, потому что он обладал двумя хорошими качествами: он был достаточно умен, чтобы предвидеть, что большая война будет во всех трех империях и в особенности в России опасным испытанием для монархической формы правления, кроме того он был преисполнен недоверия и глубокой антипатии к Польше. Его смерть явилась полной неожиданностью. Мой многолетний врач и друг профессор Ренверс рассказывал мне, что Муравьев незадолго до смерти дал ему себя исследовать. Ренверс, который редко ошибался в своем диагнозе, нашел, что сердце у Муравьева в безукоризненном состоянии. Воздерживаясь от определенного суждения, Ренверс уже тогда по секрету сказал мне, что его крайне изумляет смерть русского министра иностранных дел. Четырнадцать лет спустя, когда началась мировая война, министр финансов Витте тоже скоропостижно скончался при несколько загадочных обстоятельствах. Смерть их обоих, Витте и Муравьева, была весьма на-руку панславянскому революционному движению. Преемником графа Муравьева после некоторых колебаний был назначен 8 августа 1900 г. его прежний товарищ министра граф Ламсдорф. Ламсдорф был одним из самых верных учеников безусловно миролюбивого и германофильского министра Гирса. В здании у Певческого моста в Петербурге, где делалась русская внешняя политика, он был одним из немногих чиновников, посвященных в германский договор «перестраховки». Гирс воспользовался его пером, для того чтобы подготовить и набросать договор. «C'est un homme de toute confiance»[1], — отзывался министр о своем сотруднике. Когда Ламсдорф вступил в должность, он очень благоволил к нам по своим политическим взглядам. Он отличался осторожностью, сдержанностью, строгими монархическими взглядами и миролюбием. У него был только один недостаток: он был человеком обидчивым и не лишенным тщеславия.

Для судьбы германо-русских отношений было важно, как мы будем с ним обращаться.

[1] Это человек, заслуживающий полного доверия.

ГЛАВА XXVI

Сложнее всего, а следовательно и труднее всего были наши отношения к Англии. Безусловно наши отношения к России в конечном счете были еще более важны, чем отношения к Англии. Как я уже рассказывал, я уяснил себе это еще за три года до описываемых событий, еще тогда, когда мне было поручено руководство министерством иностранных дел. Вопрос о наших отношениях к России был для нас вопросом жизни и смерти. В наших отношениях к Англии намечаются в течение второй половины XIX века три этапа. Немцев в Англии в обществе никогда по-настоящему не любили. Но после того как в течение многих лет они в качестве невинных мечтателей были больше предметом насмешки, чем ненависти или зависти, наши оглушительные победы 1866 г., а еще более 1870 г. вызвали по ту сторону Ламанша изумление и некоторое беспокойство. Я припоминаю, что в первой половине семидесятых годов многие мои английские коллеги и друзья читали фантастический роман «Сражение при Доркей» («Battle of Dorkey»), в котором со смелым полетом фантазии весьма ярко изображалось внезапное нападение диких тевтонских полчищ на Англию, ставшую слишком беззаботной, слишком ленивой, а главное слишком пацифистски настроенной; чтение это сопровождалось преимущественно юмористическими, но иногда уже тревожными комментариями. Французы, разумеется, старались раздуть этот огонь, который пока еще горел слабым пламенем. В восьмидесятых годах впервые пробудилась британская зависть к блестящему и бурному, пожалуй слишком бурному экономическому развитию ринувшейся вперед Германии. Порожденное этой завистью распоряжение, чтобы все германские товары снабжались пометкой о их происхождении: «Made in Germany»[1], оказалось промахом. Эти принудительные этикетки действовали не как отпугивающее клеймо, а скорее как приманка или рекомендация. Германская конкуренция не ослабевала, а усиливалась, и вместе с ней усиливалась английская зависть.

Исходным пунктом второй стадии германо-английских отношений явилась телеграмма Крюгеру. Барон Бейенс, бывший до мировой войны бельгийским посланником в Берлине, а потом бельгийским министром иностранных дел, рассказывает в своей книге, посвященной пребыванию в Берлине (к ней я еще вернусь), что за год до начала мировой войны английский посол в Берлине Эдуард Гошен сказал ему, что впечатление, произведенное в Англии телеграммой, отправленной Крюгеру, окончательно так и не сгладилось. Эта несвоевременная манифестация разорвала благожелательную завесу, которая скрывала до того времени ненависть и антипатию, накапливавшиеся постепенно против нас в Англии со времени франко-германской войны.

[1] Сделано в Германии.

В третью и решающую стадию германо-английских отношений мы вступили тогда, когда занялись сооружением военного флота, что являлось необходимостью, продиктованной всем стихийным ходом нашего экономического развития. Это я уже неоднократно излагал перед рейхстагом и страной и указывал здесь в своих «Воспоминаниях».

Когда меня пригласили из Рима в Берлин, мне поставили задачей осуществить усиление нашего флота, что стало для нас вопросом существования, и сделать это так, чтобы это не вызвало войны с Англией. Как неоднократно повторяли император и Тирпиц, я должен был провести германский корабль через опасную зону. Огромную трудность этой задачи я сознавал с первого дня, и с каждым днем пребывания на посту она становилась мне все яснее. Я помню серьезный разговор, который был у меня с Тирпицем в Киле в первые годы моего канцлерства. В этой беседе я спросил Тирпица, когда, по его мнению, наш строящийся флот достигнет такой силы, что для благоразумных людей будет устранена вероятность непровоцированного нападения со стороны Англии? Тирпиц ответил мне, что в 1904 или 1905 гг. мы вступим в самую критическую фазу наших отношений к Англии. В то время наш флот будет уже настолько силен, что он будет вызывать у Англии зависть и сильное беспокойство. После этого наиболее критического момента опасность английского нападения будет становиться все меньше и меньше: англичане поймут, что выступление против нас связано и для них с неимоверным риском. Так как мы не собираемся нападать на Англию, то не будет никаких препятствий для мирного существования и развития германского и английского народа. Действительно — как я уже упоминал, рассказывая о поездке императора в Англию (в ноябре 1899 г.), — такой безусловный пацифист, как профессор Ганс Дельбрюк, один из наиболее горячих сторонников доброго согласия между Германией и Англией, поклонник и доверенное лицо Бетман-Гольвега, посетив Англию в ноябре 1913 г., констатировал, что подозрительность по отношению к Германии исчезла и что даже сооружение флота нисколько не препятствует хорошим отношениям между Англией и Германией и что всюду царит покой. В том и заключается весь ужас, постигший Германию, что как раз тогда, когда мы, собственно говоря, уже вышли из опасной зоны, а смерть успела отобрать у коварного короля Эдуарда карты, которые он так ловко умел перетасовывать, Бетман и Ягов вследствие небывалого сочетания политической близорукости, неблагоразумия и неловкости вовлекли нас в войну.

Осенью 1900 г. я стал канцлером, а еще весной в том же году я обстоятельно и неоднократно объяснял в бюджетной комиссии рейхстага цели и задачи нашего судостроения. Тирпиц письменно и устно просил меня, чтобы я в комиссии взял всецело на себя политическую мотивировку внесенного тогда дополнительного законопроекта о сооружении флота[31]. Канцлер Гогенлоэ

вследствие своего преклонного возраста и слабого здоровья не мог выдерживать продолжительных и утомительных заседаний комиссии. Сам Тирпиц мог в пленуме, иногда не без эффекта, произносить предварительно написанные речи, хотя он и делал это тихим голосом. Но для прений в комиссии он не обладал необходимой находчивостью.

На заседании комиссии 27 марта 1900 г. я положил в основу своего программного заявления следующий тезис: целью законопроекта является прежде всего обеспечить нам мир со всеми, в том числе и с Англией. Столкновение с Англией было бы для нас при создавшемся положении опасным, потому что Англия при нынешней нашей слабости на море может причинить нам серьезный ущерб, причем сама она ничем не будет рисковать. С другой же стороны, пока мы так слабы на море, как теперь, мы вряд ли найдем в случае конфликта союзников против Англии. Если даже Россия окажется в конфликте с Англией на нашей стороне, то и тогда главное бремя войны падет на нас, и мы будем нести наибольшие потери, потому что мы скорее можем стать объектом нападения. Неудачная война с Англией может отбросить нас в нашем экономическом и политическом развитии на несколько поколений назад, если она приведет к уничтожению наших заокеанских интересов, которые уже становятся все более значительными, если она разрушит нашу торговлю и нанесет урон нашей экспортной промышленности. Длительный мир с Англией, которого мы искренно желаем, может быть нам обеспечен только в том случае, если нападение на нас будет представляться Англии не столь безопасным, как сейчас. При существующем теперь положении мы хорошо вооружены против нападения на суше. Но в наших морских вооружениях в случае нападения Англии обнаружатся крайне опасные пробелы. Англия является единственной державой, которая может напасть на нас без всякого риска для себя. Опасность такого нападения существует уже по двум причинам: во-первых, потому, что империалистические идеи за последние годы получают в Англии все большее распространение, а по окончании южноафриканской войны, которая по всей вероятности завершится победой Англии, эти идеи окончательно могут восторжествовать; во-вторых, потому, что вследствие обострения конкуренции на мировом рынке, что в свою очередь является последствием нашего грандиозного промышленного подъема, нашей разрастающейся торговли, усиления наших заокеанских интересов, в широких массах английского народа все усиливается враждебное чувство к Германии как к главному конкуренту Англии. При нашей теперешней слабости на море война с Германией кажется большинству английского народа сравнительно нетрудной задачей. Считают, что Англии для этого понадобится только флот, и английскому народу, не знающему всеобщей воинской повинности, не придется нести особых жертв.

Далее я в секретном порядке сообщил, что за последний

год наши отношения к Англии без всякого повода или вины с нашей стороны дважды вступали в острую и критическую стадию. Такие инциденты, какие имели место весной 1899 г. на Самоа, а в январе 1900 г. — из-за захвата наших почтовых пароходов, не всегда удается уладить дипломатическим путем. В обоих случаях Англия была занята другими делами, и это облегчало мирное улаживание конфликтов. Но даже в такой обстановке это удалось — при том настроении, которое господствовало в Англии, — только благодаря довольно сильному дипломатическому давлению, а к нему нельзя часто прибегать, если не располагать сколько-нибудь достаточными силами. Если мы не будем обращать внимания на такие предостережения, то в третий раз может создаться положение, при котором у нас будет выбор только между серьезным унижением и неудачной войной. Именно потому, что мы желаем жить в мире с Англией и развиваться в мирной конкуренции с ней в области промышленности, мы должны быть способными по крайней мере к обороне против Англии.

Во время прений, происходивших 27 марта 1900 г., депутат центра Гребер попросил меня дать аутентическое истолкование слов «мировая политика». В своем ответе я подчеркнул, что понимаю под мировой политикой только осуществление и развитие задач, которые ставят нам развитие и рост нашей промышленности, торговли и судоходства. Мы не можем тормозить нарастания наших заокеанских интересов. Мы не в состоянии уничтожить нашу торговлю, нашу промышленность, а также работоспособность, энергию и интеллигентность нашего народа. Мы совершенно не ведем наступательной политики, не думаем об экспансии. Мы намерены защищать только серьезные интересы, которые приобретены нами естественным ходом вещей во всех частях света. Мы далеки от наступательных тенденций, мы не собираемся вести авантюристскую и фантастическую политику. Мы хотим только иметь возможность и в будущем мирно развиваться в экономическом и политическом отношении.

Позиция, которую английское общественное мнение заняло в вопросе о Самоа, доказывает, как неустойчиво наше положение по отношению к Англии при господствующем там теперь империалистическом и шовинистическом настроении. Я согласился на отправку нашего флота в Манилу только для того, чтобы защищать германские экономические интересы. Мы не питаем никаких враждебных намерений по отношению к Америке, но и в Соединенных штатах после американско-испанской войны настроение правительства и народа стало таким шовинистическим, что достаточно было простого присутствия германских судов, чтобы вызвать обострение отношений, которое мне, по счастью, удалось устранить. Подобные инциденты показывают, какие опасности угрожают миру при нынешней нашей слабости на море.

По адресу депутата Бебеля я сказал, что между законопроектом о флоте и моей мирной политикой по отношению к Англии

нет никакого противоречия. Они преследуют одну и ту же цель — обеспечить сохранение мира. Мы хотим усилить наш флот, потому что мы видим в этом гарантию против опасности нападения со стороны Англии. В нашей внешней политике мы стараемся всячески щадить чувства англичан, потому что мы не желаем ввязаться в конфликт с Англией. Отвечая критикам, которые усматривали в визите императора в Англию, в соглашении относительно Самоа и в германо-английском соглашении о Южной Африке симптомы чрезмерной предупредительности по отношению к Англии, я в защиту этих соглашений, визита императора, а в особенности нашего нейтралитета в бурской войне ссылался на необходимость и обязанность поддерживать благожелательные и дружественные отношения с Англией. Эта обязанность вытекает из общего европейского положения, равно как и из общих германских интересов. Мы не можем жертвовать более важными и значительными интересами ради менее важных в Южной Африке.

На реплику депутата Бебеля я немедленно и с чрезвычайной настойчивостью ответил, что даже когда мы будем располагать более значительными силами на море, мы будем вести умеренную и благоразумную политику. Приписывавшихся мне слов: «Когда мы построим сильный флот, то мы начнем воевать», я, разумеется, не произносил. Я не глупец и нелепостей не говорю. Даже с более сильным флотом мы будем вести вполне мирную политику. Если бы мы были сильны на море, то другие державы больше считались бы с нами, и такие инциденты, как Самоа или захват наших почтовых пароходов, не повторялись бы. В заключение я подчеркнул (Тирпиц был этим не особенно доволен, так как он был главным образом заинтересован в быстром сооружении больших линейных кораблей), что я придаю особенное значение сооружению кораблей для несения службы в иностранных водах, так как это с точки зрения иностранного ведомства необходимо для защиты наших торговых интересов. Именно в Южной Африке и в Восточной Азии мы нуждаемся в более усиленной защите, и для этого надо увеличить число наших крейсеров.

Еще до посещения императором Виндзора и Сандрингхема в начале весны 1899 г. я обратил внимание нашего посольства в Лондоне на Марокко. Стремление французов к расширению своих североафриканских владений за счет Марокко становилось все более очевидным, и естественно возникала мысль о том, что Германия и Англия могли бы притти к соглашению в вопросе о будущем этой страны. Граф Гацфельд ответил длинным письмом Гольштейну от 8 июля 1899 г., в котором он прежде всего указал на то, что английский премьер ни в коем случае еще не забыл тех личных нападок, которые к сожалению позволил себе в отношении него император Вильгельм II. Хотя лорд Сольсбери и прикрывался маской высокомерного равнодушия, он все же в душе чрезвычайно еще раздражен. Политическая беседа о Марокко дала английскому премьер-министру случаи к весьма живым, чтобы не сказать резким, высказываниям по этому поводу.

У посла были серьезные возражения против того, чтобы официально сообщить о замечаниях премьер-министра и тем самым подлить масла в огонь. Однако в своей беседе с лордом Сольсбери он не преминул сделать дружественное, но весьма недвусмысленное предостережение относительно последствий отказа Англии от контакта с Германией.

После того как лорд Сольсбери дал понять, что он не верит в возможность других европейских группировок, Гацфельд заявил, что он конфиденциально может привести ему пример из своего личного опыта, а именно, что даже «друг» английского премьер-министра французский посол в Лондоне барон Курсель во второй половине девяностых годов предложил Германии поддержку Франции при условии, если мы включим Египет в список тех претензий, которые подлежит возбудить в Лондоне, от чего мы отказались. Кроме Франции есть еще и другие страны, которые стремятся достигнуть с нами соглашения, вероятно за счет Англии. Морской министр Гошен недавно заявил ему, Гацфельду, что Германия не может желать сколько-нибудь серьезного ослабления Англии. Граф Гацфельд ответил, что это верно при условии, что Англия будет достаточно внимательно относиться к законным интересам Германии. Опасность создания враждебных Англии комбинаций будет существовать до тех пор, пока в Англии будут так плохо относиться к Германии и не будут проявлять ни понимания ее интересов, ни итти ей сколько-нибудь серьезно навстречу. Как бы ни был силен английский флот, все же неоспорима возможность, что Англия в результате некоторых комбинаций может очутиться в неблагоприятном положении, которого она безусловно может избежать при несколько более предупредительном отношении к Германии.

Лорд Сольсбери, которому видимо неприятно было упоминание о беседе с Гошеном и о замечаниях последнего, уклонился от более конкретных объяснений по поводу дальнейших политических перспектив. Когда граф Гацфельд стал настаивать, чтобы он высказался, указав на неопределенность будущего, лорд Сольсбери ответил, что в известных случаях Англии придется действовать согласно с девизом ее герба: «Dieu et mon droit» [1]. Он вежливо добавил, что нисколько не сомневается в том, что зондирования Гацфельда преследуют дружеские цели. Однако его личное раздражение вновь проявилось, как только граф Гацфельд перевел разговор на Марокко. После долгих увиливаний и уклончивых ответов с целью избежать каких бы то ни было подробных объяснений он заявил, что главной причиной его отрицательного отношения к данному соглашению является то, что он считает себя решительным и принципиальным противником всех договоров, на основании которых при жизни владельцев заранее производится дележ их имущества. Когда граф Гацфельд заметил, что лорд Сольсбери в свое время именно так поступил в отношении

[1] Бог и мое право.

колоний дружественной Англии Португалии, премьер-министр с живостью возразил, что это сделал мистер Бальфур, порицать которого он за это не хочет; он, Сольсбери, не заключил бы англо-германского соглашения о португальских колониях.

На немедленное и определенное возражение посла, что он в 1899 г. сам обсуждал и установил с ним, лордом Сольсбери, основные положения этого англо-германского соглашения, лорд Сольсбери пожал плечами и ответил, что он никогда не заключил бы с нами этого соглашения.

Когда граф Гацфельд далее указал, что речь идет о восстановлении отношений между Германией и Англией, которые за последнее время несколько испортились из-за различных случайных недоразумений, как например из-за Самоа, и что наилучшим способом для восстановления этих взаимоотношений является в данный момент признание Англией наших интересов в Марокко, лорд Сольсбери ответил с некоторой горечью: «Вы хотите этим доставить удовольствие вашему императору, а я должен в этом принимать участие». Далее, в своем письме к Гольштейну граф Гацфельд просил моего разрешения в будущем не говорить в своих официальных донесениях о подобных раздраженных личного характера высказываниях премьер-министра, в особенности касающихся его величества императора, так как это при существующем положении вещей может вызвать очень большие неприятности. Он примет все меры к тому, чтобы изменить раздраженное настроение английского премьер-министра против его величества императора в сторону более спокойного и объективного понимания политической ситуации. Но для этого нужно время. В первую очередь посол должен, как он убедился из своего долголетнего опыта, держать себя весьма сдержанно. Ни в коем случае не следует создавать впечатление, что мы, несмотря на все неучтивости англичан, гоняемся за их дружбой. Так писал наш посол в Лондоне до визита императора в Англию.

Через несколько недель после этого визита, 26 декабря 1899 г., граф Гацфельд писал барону Гольштейну:

«Когда вы говорите мне, что наше общественное мнение в случае, если англичане возьмут Делагоа-Бай, согласится только на Занзибар [32], то я конечно убежден, что это соответствует действительности. С другой стороны, я полагаю — и Экардштейн при нашем последнем свидании вполне со мной согласился, — что здесь относительно Занзибара готовность к уступчивости далеко еще не созрела ни у правительства, ни у общественного мнения, а в особенности у последнего. Причина очень простая. Публика уверена, что Англия наверняка сможет победить буров, если только затратит на это дело несколько лишних миллионов и пошлет нужные подкрепления. От опасностей, могущих возникнуть в связи с осложнениями в Европе, здесь считают себя совершенно застрахованными, во-первых, благодаря превосходству английского флота и, во-вторых и главным образом, потому, что ни Россия, ни Франция не решатся на активное выступление

против Англии. Вопрос о том, насколько это последнее положение обосновано, я оставляю открытым. Мое личное мнение, которое я неоднократно высказывал, таково, что французы сами конечно ничего не предпримут и что русский император тоже не в особенно боевом настроении. Я также не думаю, чтобы эти страны, даже вместе, выступили враждебно против Англии, до тех пор пока они не будут совершенно уверены в нашей позиции. Наше присоединение сразу изменило бы положение вещей и могло бы Англии очень дорого обойтись. Нам при этом придется однако подумать, соответствует ли на будущее нашим политическим интересам серьезное ослабление Англии как великой державы. Даже князь Бисмарк при всех своих симпатиях к русским не разделял этого мнения, и я всецело к нему присоединяюсь. Что же касается дальнейшей линии поведения в этом вопросе, то мне кажется, что нам прежде всего нужно выяснить, какую цель мы должны преследовать в своих действиях. Я придерживаюсь того мнения, что мы должны стараться постепенно разъяснить англичанам, что мы ни в коем случае не настроены враждебно по отношению к ним, но что и мы должны считаться с общественным мнением нашей страны, так как нас гнилыми яблоками закидают, если мы откажемся от Делагоа-Бай без весьма значительных компенсаций. Вывод: если вы не можете предложить нам таких компенсаций, то оставьте это дело и постарайтесь обойтись без Делагоа; в противном случае вы приведете нас к нежелательной ситуации, при которой наше общественное мнение в своем возмущении может толкнуть нас на другой путь. Если эта основная мысль правильна, то я прошу, чтобы статс-секретарь дал мне знать о его санкции, с тем чтобы я имел возможность направить в соответствующую сторону дальнейшие переговоры между Экардштейном и Чемберленом, Бальфуром и др. Я полагаю, что именно Бальфур понимает ситуацию и поэтому будет нам полезен. Что касается Чемберлена, то его поведение, как я всегда вам говорил, никогда невозможно предугадать. Относительно Сольсбери у меня имеется интуитивное чувство — пока не больше, — что он уже сейчас вновь думает о сближении с русскими и французами и о том, чтобы успокоить их любезностью и предупредительностью, а в случае необходимости и действительными уступками в других вопросах, чтобы предотвратить их от совместного выступления против Англии. Если ему удастся предотвратить враждебные выступления хотя бы только со стороны Петербурга, то, как известно, одной Франции здесь никто не испугается, и найдется достаточно людей вроде Чемберлена, которых чрезвычайно обрадует возможность уничтожить французский флот и разрушить несколько французских портов. Сообщения Мюнстера относительно враждебных намерений Франции против Англии я считаю чрезвычайно фантастическими. Если все, что наш посол в Париже говорит о французских намерениях, правильно, то это еще далеко не является доказательством того, что французы в решающий момент начнут кусаться, а не подожмут хвост, как у Фашоды. Я лично уверен, что это так

и будет, если только русские не дали вполне определенных обязательств об одновременном враждебном выступлении, в чем я сильно сомневаюсь».

В июне 1900 г. Гольштейн сообщил мне, что советник посольства фон Экардштейн писал ему о том, что англичане не потерпят территориального укрепления немцев в долине Янцзы. Уже одно подозрение, что Германия имеет намерение сделать политические приобретения в районе Янцзы, поведет к тому, что англичане приложат все усилия к заключению соглашения с Россией. Экардштейн все более превращался в рупор, по преимуществу мистера Чемберлена, который старался использовать этого тщеславного, довольно бесхарактерного и уже из одних материальных соображений всецело превратившегося в англичанина зятя сэра Джона Блундль Маппля, для того чтобы запугивать Германию. Впрочем я никогда не думал о территориальном закреплении в долине Янцзы, не говоря уже о том, чтобы сделать это в противоречии с Англией и при наличии возражений с ее стороны. Экардштейн писал также Гольштейну, что лорд Сольсбери готов пойти на соглашение с любой другой страной, но только не с Германией. Всякая положительная политика якобы неприятна премьер-министру, и потребовалось бы сильное давление его коллег по кабинету, чтобы заставить этого больного старого господина принять какое-либо решение. Все остальные члены кабинета настроены скорее дружественно в отношении Германии, но и они немедленно выступят единым фронтом против нас, если бы речь зашла о защите долины Янцзы от аннексионистских стремлений Германии.

Граф Пауль Меттерних, бывший еще в то время прусским посланником в Гамбурге, пробыл в начале зимы 1900 г. довольно долго в Англии, где у него было много личных друзей. Вернувшись в Германию, он летом 1900 г. передал мне записку о вынесенных оттуда впечатлениях. В этой записке он между прочим говорил:

«Когда в начале февраля этого года я прибыл в Англию, мне с разных сторон указывали, что лорд Сольсбери уже стар и дряхл и не долго будет руководить делами. Южноафриканская война, в которую он был вовлечен помимо своего желания, раскрыла миру целый ряд слабостей и уронила престиж Англии, в особенности в начале зимы. Надо полагать, что это тоже подействовало на него. Он в душе гордый патриот и среди здравствующих ныне государственных деятелей является тем человеком, в котором по преимуществу воплощается престиж Англии. Но как часто бывает в жизни, надвигающаяся угроза действует на человека сильнее, чем действительное наступление того события, которого он опасается. После смерти жены под исцеляющим влиянием времени, а оно влияет на стариков еще сильнее, чем на молодых, с Сольсбери спало тяготившее его бремя, и теперь он может снова свободно отдаваться общественной жизни. Кроме того война приняла другой оборот, и период наибольшего падения политического барометра для Англии уже миновал. Все, что

натворили неспособные генералы, повидимому исправлено благодаря значительным ресурсам страны и империи в смысле денег и людей. Настроение стало более веселым и бодрым; это тоже помогло вывести лорда Сольсбери из состояния летаргии, в которую он, казалось, готов уже был погрузиться под влиянием старости, ударов судьбы и усиливающейся полноты. Когда я с ним снова встретился в середине февраля, я нашел, что он выглядит лучше, чем четыре года назад. Только взгляд стал более тусклым и манера держать себя еще более неопределенной, я сказал бы, еще менее осязаемой, чем раньше. Он стал крайне осторожно выражаться, и если ему кажется, что он с чем-нибудь только что согласился, то уже в следующий момент он старается ослабить это впечатление. Он всегда был известен как кунктатор. Старость, война, а может быть и недоверие к нам усилили предрасположение, заложенное природой, хотя я знаю, что ко мне лично он весьма благоволит. Когда скончалась его жена, т говорили, что он выйдет в отставку. В феврале и марте он выступал в верхней палате с такими слабыми речами, что его сторонники были крайне удручены. Лорд Розбери так резко разделал его, что кое-кому показалось даже некорректным так жестоко обращаться со слабым стариком. Но потом лорд Сольсбери снова произнес речи большого стиля, и в настоящее время он опять на коне. Его партия всегда во многом была недовольна им. Особенно тем, что он, совершенно не считаясь с избирателями, оскорблял в своих речах ядовитыми насмешками людей и целые направления. Он никогда не заискивал перед общественным мнением. Среди здравствующих ныне государственных деятелей он считается самым выдающимся. По мнению его земляков, никто не обладает таким политическим опытом, в особенности в вопросах внешней политики. Его осторожность и сдержанность считаются достоинствами, хотя бывали периоды, когда, как например в вопросе об «открытых дверях» в Китае, общественное мнение требовало от него действий и упрекало его в нерешительности. Английский народ неохотно пускается на необдуманные приключения и в конечном итоге всегда был благодарен тем, кто его от этого удерживал. Я не вижу причины, почему бы лорд Сольсбери пожелал выпустить из своих рук бразды правления без крайней необходимости только немногие люди покидают значительные посты. Говорят, что лорд Сольсбери против назначения новых выборов. Чемберлен за это. Сольсбери вероятно думает про себя, что он может прочно просидеть в седле еще два года, между тем как назначение новых выборов таит в себе элемент неизвестности. Я считаю лорда Сольсбери слишком крупным государственным деятелем, чтобы допустить, что он позволяет себе руководствоваться личными симпатиями. Поэтому я также не верю, чтобы у него было особенное пристрастие к той или иной стране или антипатия к ней. Я не считаю его врагом Германии, но вместе с тем весьма далек от мысли, что он особенно доверяет нам. С прежнего времени у него могло остаться впечатление,

что мы в случае войны всегда предпочитаем договориться с нашим мощным соседом, а не с Англией, но что в промежутке мы охотно готовы извлечь колониальные или какие-нибудь другие выгоды из соглашения с Англией.

Нам только тогда станет легко поддерживать политические отношения с Сольсбери или его преемником, если в Англии предварительно почувствуют потребность в специальном соглашении с нами. Подобно тому как он не является принципиальным противником Германии, точно так же лорд Сольсбери не может быть решительным другом Франции. Но он будет готов в одинаковой мере договориться как с Францией, так и с нами о стоящих на очереди вопросах, если сочтет эту политику подходящей для себя, т. е. если он найдет, что этого требуют интересы Англии. Когда я недавно прощался с ним, он поставил вопрос, займет ли Франция после закрытия всемирной выставки враждебную позицию по отношению к Англии; вопрос был задан таким образом, словно он хотел получить утвердительный ответ. Беспокойные элементы во Франции повидимому усиливаются и стали принимать опасную форму. Тот же ход мыслей я констатировал у младшего статс-секретаря Берти. Последний сказал мне, что усиление французских войск в Мадагаскаре может быть направлено только против Англии. Французам лорд Сольсбери преподнес Фашоду, другими словами, он силою подавил в самом начале вооруженное вторжение французов в область Северного Нила. Русским он не мог бы с такой легкостью преподнести Фашоду, потому что русские могут двинуться против англичан на суше, тогда как французам надо еще переправиться через пролив, в котором господствует английский флот. Английская политика — безразлично, при лорде Сольсбери или при ком-нибудь другом — перед русским наступлением в Северном Китае и Персии будет медленно и неохотно отступать. Но зато, по моему убеждению, Англия не задумываясь возьмется за оружие у индийской границы, к которой впрочем русские еще не подошли и, думаю, не так-то легко могут подойти. Соглашение между Англией и Россией — дело более отдаленное, чем между Англией и Францией. Но сейчас еще не приходится ожидать ни того, ни другого. Италию лорд Сольсбери считает за quantité négligeable[1]. Он придает мало значения первическим стремлениям Италии и не боится ее перехода на сторону Франции. Он убежден, что Италия в силу своих интересов будет вынуждена оставаться в сфере влияния английской политики.

Чемберлен является наиболее популярным человеком в широких кругах английского народа. Он победоносно и уверенно ведет Англию по стезе империализма. Но в качестве руководящего министра по иностранным делам он внушает страх «верхним десяти тысячам», потому что люди не верят, что он будет править спокойной рукой, и полагают, что, держа бразды правле-

[1] Ничтожной величиной.

ния, он будет пускаться на отчаянные штуки и проделывать всякие фокусы. Чемберлен все еще желает действовать рука об руку с Германией, он намерен снова поставить на очередь колониальные вопросы, которые нас могут поссорить или сблизить в зависимости от того, как к ним подойти. Он охотно занялся бы осуществлением англо-германского соглашения о Южной Африке. После освоения территории, охватывающей Родезию и обе бурские республики, очень скоро явится потребность в близком выходе к морю, и тогда может обостриться вопрос о бухте Делагоа. Ввиду усиления французского гарнизона на Мадагаскаре английская политика предпочтет решить этот вопрос в единении с нами, даже если мы не заключим с ней соглашения. Наше соглашение с Англией затрудняется тем, что оно должно осуществляться pari passu[1], не говоря уже о том, что здесь требуется предварительное согласие Португалии. Каждая из обеих стран будет ревниво следить за тем, чтобы другая не высунулась вперед и не действовала самостоятельно. Между тем развал в португальских владениях и естественные условия для захвата их каким-нибудь третьим государством могут наступить в одной колонии раньше, чем в других. Будет затруднительно отламывать одновременно от колоний по кусочку для обоих контрагентов, так как возможно, что один кусок окажется крепче, чем другой. Если вопрос о бухте Делагоа будет поставлен в первую очередь, то мы окажемся в выгодном положении, так как тогда Англия должна будет первая выступить со своим предложением. В противоположность Чемберлену Розбери считается благоразумным и надежным государственным деятелем в области внешней политики. Консерваторы в такой же мере, как и либералы, охотно видели бы его во главе министерства иностранных дел. Я считаю его мало приятным министром иностранных дел, хотя и полагаю, что он пойдет скорее с Германией, чем с Францией или с Россией. Лорд Розбери очень считается с общественным мнением, поэтому он не легко решится на какой-нибудь шаг, относительно которого он не будет уверен, что общественное мнение немедленно одобрит его. Для нас лучшим министром иностранных дел был бы из консерваторов Бальфур, из либералов — Эдуард Грей.

Отношение Англии к Америке изменилось. Если бы год или два назад у нас возникли военные осложнения с Северной Америкой, то это, по моему мнению, было бы единственным, что могло бы угрожать в то же время войной между Англией и Германией. Теперь уже это не так. Американцы уже слишком явно демонстрировали свою антипатию по отношению к Англии, и хотя англичане не желают в этом признаться ни себе, ни другим, но все же они знают об этом. Америке Англия спустит гораздо больше, чем какому-нибудь другому государству. И даже в чисто дипломатических вопросах положение Англии по отноше-

[1] В ногу.

нию к Америке будет более затруднительным, чем по отношению к какому-либо другому государству. В агрессивные намерения Англии по отношению к Германии я никогда не верил. Я не допускаю, чтобы Англия питала коварное намерение напасть на наши суда и уничтожить нашу торговлю только для того, чтобы иметь одним конкурентом меньше, чем сейчас. Английский капитал слишком сильно заинтересован в Германии и не может желать уничтожения ее благосостояния, а также не захочет навлечь на себя вечное недовольство Германии; такая игра не стоит свеч. Я склонен даже высказать еретическое мнение — и здесь я расхожусь со многими умными людьми и пожалуй с большинством европейских кабинетов: я полагаю, что английская политика не стремится сознательно к тому, чтобы накликать европейскую войну. Такая макиавеллистическая политика не свойственна английскому уму, и я не вижу, какая выгода может быть для англичан от того, что Европа окажется охваченной пламенем. Им сейчас и без того вполне хорошо. Настроение в Англии по отношению к Германии значительно улучшилось, с тех пор как поправилось военное положение. Выступление его императорского величества, поездка в Альтону, сбор денег для нуждающегося населения Индии, некоторые отдельные выступления произвели глубокое впечатление в Англии и подготовили примирительное настроение».

В добавление к тому, что здесь говорит Меттерних, я замечу, что он, точно так же как посол Гацфельд, Гольштейн и император, не знал о коварстве, с которым англичане сейчас же после заключения с Германией договора 1899 г. о португальских колониях саботировали это соглашение при помощи заключенной одновременно конвенции с португальцами, т. е. при помощи так называемого Виндзорского договора. Во-первых, я в свое время дал честное слово тому, кто мне это сказал, что никому не расскажу о том, что мне было сообщено под секретом; во-вторых, мне представлялось с политической точки зрения более благоразумным не выводить из равновесия таких неуравновешенных людей, как Вильгельм II и Гольштейн; мне не хотелось также окончательно разочаровывать посла Гацфельда, которому и так уже приходилось бороться с огромными затруднениями.

ГЛАВА XXVII

Если я часто привожу выдержки из писем и донесений графа Пауля Меттерниха, бывшего в течение многих лет нашим послом в Лондоне, то я делаю это не только ради их фактического содержания, но также и потому, что они представляются мне образцом спокойных, осторожных и вдумчивых донесений. Одним из достоинств графа Пауля Меттерниха было то, что он ясно видел все хорошее и значительное, что имелось в Британской империи, а главное — огромные скрытые в ней силы. В противоположность большинству немцев Меттерних правильно оценивал эти силы.

Недооценка их была твердо укоренившейся ошибкой в Пруссии, в особенности в прусских военных и аристократических кругах. Когда в августе 1914 г. начальнику генерального штаба Мольтке сообщили, что Англия объявила нам войну, он со вздохом облегчения сказал: «Слава богу, я предпочитаю видеть английскую армию перед собою, чтобы иметь возможность разбить ее, чем когда она недосягаема в своем недоброжелательном нейтралитете». В Мюнхене на улицах расклеивали объявление короля Людвига III: «Англия объявила нам войну. Одним врагом больше, тем почетнее будет наша победа». И немало было немецких городов, где после распубликования сообщения, что Англия объявила войну, толпа с благоговением и восторженно пела: «Возблагодарим господа». Я не верю, чтобы слова, которые приписывались тогда пропагандой Нортклифа Вильгельму II о «презренной маленькой британской армии»[1], являются подлинными. Но и Вильгельм II, несмотря на свои английские привычки и наклонности, в сильной степени недооценивал военные и моральные ресурсы Англии.

Даже те немцы, которые не так наивно, как большинство их соотечественников, относились к безграничному политическому эгоизму англичан, в достаточной мере подтвержденному их долгой и богатой успехами историей, тоже далеко не вполне отчетливо представляли себе мощь английского народа и английского народного характера. Старая ошибка немцев подходить к большим проблемам внешней политики, к событиям на мировой арене, а также к разным народам с точки зрения ограниченной германской партийной политики сказывалась и по отношению к Англии. Германский демократ, а тем более германский социал-демократ, смотрел свирепым взором на царскую Россию, и его чело мыслителя краснело от «гневного негодования», если ему предлагали поддерживать добрые или даже интимные отношения с этой «варварской страной». Многие демократически настроенные немцы мерили всех французов меркой дела Дрейфуса. Всякий француз, выступавший за Дрейфуса, считался пацифистом и даже другом Германии, хотя самые ярые защитники капитана Дрейфуса, как например Клемансо, военный министр Пикар, сенатор Шерер-Кестнер и другие, были отчаянными шовинистами и врагами Германии. С другой стороны, германские консерваторы насмешливо относились к торгашеской нации, у которой возможны такие вещи, как то, что Веллингтон, когда его на параде застиг проливной дождь, раскрыл быстро принесенный ему зонтик, или что сыновья герцогов поступали служащими в банки. В самый разгар мировой войны, когда англичане уже представили немало доказательств не только сильного национального чувства, но и несомненной личной отваги, известный немецкий ученый Вернер Зомбарт написал книгу «Герои и торговцы»[2], посвященную

[1] Despicable little british army.
[2] «Helden und Händler».

войне. Торгашами были, разумеется, англичане, героями — мы. Это было крайне безвкусно и несправедливо, ибо если немцы, несмотря на проявленные ими способности в торговле и промышленности, действительно показали себя героями, то в этом звании нельзя отказать и британцам. Даже князь Бисмарк не был вполне свободен от недооценки английских сил и моральных ресурсов Британской империи. Мне не раз пришлось от него слышать в восьмидесятых годах, что «английский бык становится слишком ленив, и в интересах европейского равновесия представлялось бы желательным, чтобы это четвероногое животное до тех пор получало пинки с разных сторон, пока оно не поднимется с соломы и не начнет снова основательно бодаться». В ту пору Герберт Бисмарк по секрету рассказал мне со слов своего великого отца, что, когда тот начинал германскую колониальную политику, им главным образом руководило желание создать между Германией и Англией «искусственные области трений», для того чтобы тогдашний кронпринц и тогдашний принц Вильгельм, которые оба в силу своей домашней обстановки и по своим настроениям являлись большими англофилами, не могли вовлечь нас в чрезмерно интимные отношения с Англией и не поставили бы нас в зависимость от нее; последнее, по мнению Бисмарка, являлось опасным с точки зрения внешней политики, а также и по соображениям внутренней политики.

Если я с самого начала и до конца правильно оценивал мощь и опасность Альбиона, то я не настолько бестактен и тщеславен, чтобы из-за этого возвеличиваться по сравнению с Бисмарком. Я вырос в международной среде, с ранних лет я часто вращался в обществе иностранцев, в особенности англичан и французов; я принадлежал к более молодому поколению, чем великий Бисмарк, и поэтому мне было легче, чем ему, видеть в Англии и в англичанах, а также в римской курии и в католицизме, а может быть и в демократии и социал-демократии то, что они представляли собой в действительности. Лично я испытывал по отношению к Англии смутное чувство восхищения и зависти. Меня восхищали силы и добродетели, заложенные в английском народе, его уважение к тому, что исторически сложилось (это самый верный критерий сильных и великих народов), его непреклонная национальная гордость, его непоколебимое национальное чувство, его почти не ошибающийся политический инстинкт. Всего этого лишен немецкий народ. По неисповедимой воле провидения немец создан в виде Ζῷον ἀπολιτικόν[1], о чем свидетельствуют прения в германском парламенте, в особенности по вопросам внешней политики, а также политические словоизвержения разных Зомбартов, Лассонов и Галлеров. Необходимой предпосылкой всякой здоровой политики является сознание, что основным требованием для великого государства в первую очередь является наличие силы. А между тем в Германии

[1] Аполитического животного.

в ту пору, когда мировая война была в самом разгаре, когда все больше приближался решительный момент, когда Ллойд Джордж говорил о том, чтобы «добить Германию», а Клемансо проповедовал «войну до конца», когда оба они всеми средствами подстегивали гордость, честолюбие и волю к власти у своих народов, в Германии придворный богослов доктор Адольф фон Гарнак писал, что ему «воля к власти» все больше и больше кажется грехом. Эта смесь детской наивности и старческого слабоумного самодовольства попала на столбцы мюнхенского «Bayrischer Kurier».

И точно так же, как у нас не понимали, что воля к власти неизбежно является главной действующей пружиной большого государства, точно так же у нас очень многие, и притом как раз среди образованных людей, не сознавали необходимости соблюдать в международном общении правила благовоспитанности. Некоторые немцы производили за границей отталкивающее впечатление своим грубым тоном, высокомерием и постоянным непомерно громким хвастовством. Не тип хвастливого солдата вызывал нелюбовь к нам — немецкий офицер, за крайне редкими исключениями, был благовоспитан и вежлив, — это чувство вызывал чванливый немецкий «господин доктор» или «господин профессор» и готовый шествовать через трупы пионер нашей торговли. Нас никогда особенно не любили, но теперь нас начинали ненавидеть.

Все эти явления, которые во время войны сначала вызывали у немцев безграничное изумление, а потом все больше озлобляли их и которые еще усилились, после того как вместе с роспуском и уничтожением нашей великолепной армии уважение к Германии, к отдельному немцу, к немецкому духу повсюду упало на восемьдесят процентов, оставались на рубеже этого столетия для большинства еще не заметными. Лишь немногие чувствовали, что нас отделяют от других народов не только экономическое соперничество и политическая вражда, но часто также и общественная антипатия. Безобразным словом «боши» французы прозвали народ, давший Гельдерлина, Моцарта, Гете, Вильгельма Гумбольдта, народ, который по своей поэзии, по языку, по произведениям своего искусства нежнее, проникновеннее и, в лучшем смысле этого слова, тоньше, чем все другие. Но это слово в сущности должно только означать, что англичане не считают нас «gentlemanlike»[1], что французы не признают нас «gens du monde»[2], что итальянцы не находят у нас «gentilezza».

Если я уже раньше замечал симптомы этого скрытого противоречия, то объясняется это тем, что я провел большую часть моей жизни за границей, знал заграницу и следил за иностранной литературой и печатью. А между тем во время мировой войны

---

[1] Джентльменами.
[2] Светскими людьми.

мои немецкие друзья, дельные и ученые люди, занимавшие видные и даже важные посты, с некоторым чувством гордости заявляли мне, что они принципиально не беруг в руки иностранных газет.

Чем больше я с 1897 г., т. е. в течение трех лет, входил в круг моей деятельности, тем отчетливее я начал осознавать, что моей главной задачей является сохранить для нас мир, не жертвуя своим достоинством и честью. И мне становилось все яснее, что эта задача в значительной части совпадает с проблемой: как осуществить сооружение флота, необходимого для нашей обороны, избегая при этом столкновения с Альбионом? Гольштейн, который любил острое словцо, часто говорил, что эта задача напоминает ему квадратуру круга, или, еще лучше, изготовление деревянных ножей из железа. Но и при вдумчивом изучении эта задача представлялась очень и очень трудной. До и после моего назначения канцлером я всегда рекомендовал по отношению к Англии спокойствие и непреклонное мужество. Когда 10 января 1900 г. я крестил на верфи Вулкан в Штеттине быстроходный пароход «Дейчланд», принадлежавший Гамбургско-американскому пароходству, я в своей речи сказал: «Германия, вверившая морю огромные ценности, уже переставшая быть чисто континентальным народом в центре Европы и стоящая в первых рядах конкуренции, должна быть сильной и на море, чтобы иметь возможность обеспечить нам мир, сохранять нашу честь и наше благосостояние. Если нам придется на этом судьбою предуказанном пути преодолевать препятствия и проходить через трудности, то это нас не смутит и не заставит опустить голову. Мы должны и хотим смело и упорно итти вперед».

Поставленная мне задача была разрешена и сверх ожидания была разрешена хорошо, даже блестяще к тому времени, когда мировая война, не стоявшая ни в прямой, ни в косвенной связи с сооружением нашего флота, война, которая была начата не Англией и не с Англией, а была вызвана неловким лечением хронической опухоли на Ближнем Востоке, сделала тщетными все усилия долгих плодотворных лет. Так, врач, сознающий, что ему удалось сберечь жизнь дорогого для него существа от целого ряда опасных кризисов, стоит потрясенный перед смертным одром друга, загубленного неумелым коновалом. Для меня, как я уже сказал, представляли актуальный интерес письма, которые граф Пауль Гацфельд писал барону Гольштейну в последние недели моего пребывания на посту статс-секретаря. В конце июля 1900 г. посол писал своему другу, что он не может сообщить ему ничего особенно отрадного. Он по всей вероятности, писал дальше Гацфельд, уже понял из лондонских телеграмм, что Сольсбери создает затруднения в вопросе о верховном командовании, и трудно учесть, к какому решению он в конце концов придет. Он, посол, пытается теперь мобилизовать Ласселя, а также заинтересовать в этом деле Чемберлена. Но *по секрету*

он должен сказать, что настроение в английских правительственных кругах для нас неблагоприятно. Английское министерство иностранных дел недовольно тем, что мы бросили в корзину его предложение относительно японской интервенции в Китае [33]. Гацфельд сумел ответить господам из Форейн оффис и очень определенно указал им, что позиция германского правительства как в Южной Африке, так и в Китае была чрезвычайно корректной и заслуживает благодарности, если принять во внимание состояние германского общественного мнения. Что касается японской интервенции, то нельзя же требовать, чтобы мы ради прекрасных глаз Англии, *на поддержку которой мы даже не можем в случае чего с уверенностью рассчитывать*, навлекли на себя вражду России. Лассель не стал это отрицать, но постоянно возвращался к тому, что в Англии нашу позицию не могут признать во всем и всегда дружественной. Письмо заканчивалось словами: «Вы, надеюсь, одобрите то, что я не сообщаю об этих симптомах в официальном порядке или во всяком случае пока воздерживаюсь от этого, так как в руководящих сферах это могло бы наделать много вреда. Но я не считаю себя в праве скрывать истину от статс-секретаря графа Бюлова и от вас. Вы должны знать, что нам здесь в настоящее время не приходится рассчитывать на дружелюбное отношение».

Но вернемся к Марокко. 24 августа 1900 г. Гольштейн писал мне в Нордерней: «Как и вы, я серьезно опасаюсь, что снова вспыхнет марокканский вопрос. Мы должны считаться с фактом, что Сольсбери отдаст французам если не Танжер, то всю внутреннюю область Марокко до Атлантического океана, для того чтобы таким образом склонить их к уступкам по другим вопросам, как например в Китае и на Янцзы. Возможно также, что он сделает это только для того, чтобы французское продвижение к Атлантическому океану побудило Германию выступить против Франции. Действительно, я не знаю, следует ли нам допускать это. Может быть нам нужно предпринять в Париже предупредительные, но серьезные дипломатические шаги, причем исходным пунктом для этого можно взять второй циркуляр марокканского султана — его настойчивый призыв о помощи. Мюнстеру пришлось бы для этого прервать свой отпуск. Редакцию и тон нашего заявления нужно еще будет обсудить: это будет или запрос *о намерениях Франции*, или предложение договориться с ней насчет Марокко. Последнее при тех своеобразных свойствах, которые мы знаем за французами, — вещь безнадежная. Слишком долго медлить с этим шагом нам нельзя, ибо чем больше французское правительство свяжет себя определенной программой действий, тем труднее будет ему пойти назад. Разумеется, ответ его будет в сильной степени зависеть от того, каковы будут в тот момент отношения Франции и Германии к другим державам, в частности к Англии. Если германо-английские отношения будут напряженными, то Франция, которая и без того уверена в помощи России (если не с первого же момента, то во всяком случае после первого француз-

ского поражения), может быть примирится с мыслью о войне. Правда, даже и в этом случае самым убедительным мотивом в пользу мира будет опасение, что победоносный генерал может стать опасным для нынешнего правительства и для республики [34]. Отношения с Англией в настоящий момент важнее, чем когда-либо, и я много дал бы за то, чтобы Сольсбери не захотел или не мог продолжать оставаться у власти. Но этого к сожалению не предвидится. Тон последнего письма Гацфельда был весьма удрученным. Не приходится удивляться этому, потому что у него рушатся все его планы. Зависть и ненависть по отношению к нашему всемилостивейшему монарху все время усиливаются вследствие его слишком вызывающего поведения. То обстоятельство, что жалкий маленький русский отправляется теперь в Данию, снова является явной демонстрацией против его величества».

В вопросе о союзе между Германией и Англией, я повторяю, стоял на той точке зрения, которую я занимал в течение предыдущих трех лет в полном согласии с канцлером Гогенлоэ и послом Гацфельдом. Впрочем эту же точку зрения отстаивали Каприви и Маршалль и в первую очередь князь Бисмарк. Подобно им, я с радостью согласился бы на договор, в котором обязательства и риск были бы равномерно распределены между обеими великими империями. Итти на соглашение, в котором львиная доля досталась бы британскому льву, мы не могли и не должны были. Поэтому мы должны были настаивать, чтобы договор между Германией и Англией не оставался секретным; наоборот, парламенты обеих стран должны были одобрить его уже потому, что иначе возникала опасность, что в случае войны Англия уклонится от исполнения своих обязанностей посредством смены правительства. Вторая предпосылка приемлемого для нас союза должна была заключаться в следующем: если бы мы взяли на себя гарантию в отношении английских владений, в особенности в случае нападения России на Индию, то Англия должна была бы притти нам на помощь в случае нападения России на Австро-Венгрию или Франции на Италию. Иначе наши отношения к Австро-Венгрии и Италии всецело зависели бы от усмотрения Лондона и оба наши союзника оказались бы в полной зависимости от Англии. Император Вильгельм II разделял эту точку зрения. Незадолго до моей отставки, в феврале 1909 г., он в пометке на полях статьи в «Berliner Tageblatt» о переговорах относительно англо-германского союза в 1899—1900 гг. написал: «Я прекрасно помню, что предложение союза было сделано Чемберленом, когда я весной находился в Гомбурге. Меттерних был тогда у меня в качестве прикомандированного по иностранным делам, и мы с ним обсуждали этот вопрос во время поездки верхом на Фельдберг. Чемберлен хотел, чтобы мы взяли на себя ту роль, которую впоследствии взяла Япония, — силою оружия не дать России проникнуть в Индию. Да, это лопнуло, когда я потребовал, чтобы договор с нами был подписан английским кабинетом министров, внесен в англий-

ский парламент и единогласно принят им». Заключительное замечание этой пометки на полях представляет собой преувеличение. Мы, разумеется, не требовали единогласного одобрения парламентом, а только хотели, чтобы договор был принят английским парламентом с одобрения обеих больших партий.

О событиях в Азии меня попрежнему осведомляли толковые письма принца Генриха. Он с удовлетворением сообщал мне, что замечательный директор Бременского северогерманского ллойда господин Виганд посетил Циндао и был «в высшей степени доволен тем, что там видел». Виганд с «полным одобрением» отзывался о том, что было достигнуто за это время. После поездки в Японию принц мне писал: «Во время моего пребывания в Японии очень кстати пришлась одна фраза из вашей последней речи в рейхстаге, где вы сказали комплимент японцам. Подобные комплименты у японцев никогда не бывают лишними и падают на весьма благодарную почву их тщеславия. Изумительно, какие успехи сделала эта страна за последние двадцать лет, для того чтобы добиться положения, какое несомненно она теперь занимает. Япония желает, чтобы к ней относились как к великой державе, и я могу только добавить от себя, что она имеет на это полное право. Мне говорили, что торговые сношения с Японией всегда складываются наиболее благоприятно для той страны, которая лучше всех обращается с ней. Англия с ее умной, хорошо вышколенной и проницательной политикой поступала мудро, когда помогала японцам добиться упразднения консульских судов и сыграла в этом вопросе решающую роль в пользу Японии [35]. Тот, кто в настоящее время без предвзятого мнения наблюдает Японию, не может не заметить, что она уже не является безобидной страной гейш, лаковых изделий и т. д.; наоборот, это теперь очень патриотический, строго национально настроенный народ, который уже сейчас является первой державой в Восточной Азии, и при этом державой, внушающей к себе уважение. Установить с ней хорошие отношения было бы умным политическим шагом».

Я сделал это письмо предметом продолжительного доклада у императора, желая, как я уже неоднократно это пробовал раньше и много раз потом, убедить его согласиться удовлетворить некоторые японские пожелания (допущение японских офицеров в нашу военную академию и т. д.), а также добиться, чтобы у нас более дружелюбно принимали японских принцев и дипломатов. В частности я непрерывно прилагал старания к тому, чтобы наконец убрали с наших пароходов, совершавших рейсы в Восточную Азию, навязанную им злополучную картину оскорбительного для японцев содержания: Германия была изображена на ней проповедующей европейским нациям священную войну против бедного будды. Но все мои представления безнадежно разбивались об упрямство императора, которое в маловажных делах проявлялось у него еще сильнее, чем в серьезных вопросах. Он продолжал говорить о желтой опасности и фантазировать о крестовом походе белых против желтых.

Во время китайской смуты французская политика, которой тогда руководил Делькассэ, стремилась отвлечь нас от Англии и склонить к соглашению в антианглийском духе с Францией и Россией сначала в вопросах, касавшихся Восточной Азии [36]. Но при этом русские почти не оставляли сомнений в том, что французы ни за что не откажутся от притязаний на Эльзас-Лотарингию и вряд ли прекратят свою агитацию против Франкфуртского мирного договора, даже если и заключат с нами какие-нибудь специальные соглашения. Поэтому мы не могли допустить, чтобы нас принудили занять враждебную позицию по отношению к Англии в Восточной Азии или в Южной Африке. Впрочем если России тогда было не по себе, то это вполне понятно. Волнения в Китае ослабляли положение России в Европе: они усиливали трения на Дальнем Востоке между Россией, с одной стороны, и Китаем, Японией, Англией и Америкой — с другой. Для Германии это облегчало положение как на восточной, так и на западной границе.

В этом смысле высказался некоторое время спустя Сергей Юльевич Витте, когда я летом 1904 г. заключил с ним весьма благоприятный для нас торговый договор. «Если бы вы не пошли в Киаочао, — сказал он, — то мне теперь не пришлось бы подписывать этот торговый договор». Я должен добавить, что тем не менее Витте желал жить с нами в мире и согласии. Как все дальновидные русские, он понимал, что война с Германией таила в себе для России не только опасность, но почти неизбежность внутреннего переворота. Витте оставался до своей смерти надежным сторонником мирных и дружественных отношений между Германией и Россией. Он хотел только, чтобы мы считались с русскими пожеланиями относительно Дарданелл, поскольку это можно было согласовать с требованием дальнейшего существования Турции и с нашими экономическими интересами в Турецкой империи.

ГЛАВА XXVIII

Я был исполнен решимости твердо отстаивать перед партиями и рейхстагом основы монархии и права короны и в крайнем случае действовать так же энергично, как я оборонялся против врагов на полях сражения в Пикардии, когда был молодым гусаром. Я не разделял враждебного чувства, которое император и часть его приближенных питали по отношению к парламенту как такового. Я не желал упразднить народное представительство или умалить его авторитет и оттеснить его на задний план. Я не хотел ограничивать народные права или хотя бы даже свободу печати. Именно при Вильгельме II эти ограничения его власти казались мне полезными и необходимыми хотя бы уже вследствие его склонности слушать льстецов и наушников, на которых его отец и дед не обращали внимания, тогда как он легко поддавался им. Бисмарк сказал, что если бы не было парламента, то тогда правил

бы камердинер. Кавур сказал: «la plus mauvaise chambre est mieux qu'une antichambre»[1].

Такое убеждение было весьма далеко от угодливости или страха перед партиями и вызываемой этим чрезмерной и слабохарактерной уступчивости по отношению к ним. Я никогда не позволял ни одной партии забрать меня в руки. Государственные интересы всегда стояли для меня выше фракционных. Поэтому я спорил и боролся поочередно со всеми партиями: с консерваторами в последнюю зиму моего пребывания на посту канцлера (1908/09 г.), с центром в 1906 г., с свободомыслящими неоднократно, с социал-демократами постоянно. Но я всегда учитывал, что в каждой партии имеется здоровое ядро и задача мудрого руководства государством заключается в том, чтобы не позволять партиям причинять вред государству в целом своим фракционным эгоизмом и чрезмерным настаиванием на своих специальных интересах; но, с другой стороны, необходимо использовать способности и силы всех партий для блага целого[37].

Летом 1899 г. Филипп Эйленбург писал мне во время плавания в северных водах: «Я вижу, что повсюду проявляется какое-то озлобление. Прежде мне приходилось спорить с двумя, много с тремя брюзгами; теперь все брюзжат, все без исключения безнадежно устали, и это кладет на всю свиту какой-то восточный отпечаток фатализма и соединенного с недовольством страха перед султаном. Меня эти наблюдения настраивают глубоко меланхолически. Бедный любимый государь становится все более одиноким. Мне бы хотелось ему многое сказать, но его повадки халифа спирают мне горло, хотя за минуту перед тем мне казалось, что Гарун Аль-Рашид благодушно разгуливает среди народа!»

На следующий день Эйленбург продолжал: «Я шел с императором под проливным дождем в Ленванде (северные фиорды). Он сказал мне: «Когда видишь, как себя ведут люди у нас дома, то действительно пропадает всякая охота продолжать править. Единственное средство — это *совершенно* не обращать на них внимания. Колоссальное дискредитирование, крах парламентаризма делают общественное мнение *больным*, так же как внутренне больной является Россия; там поэтому бросились во внешнюю политику. У нас болезнь выражается в расхлябанности и недовольстве. Это мешает правительству осуществлять его задачи и ставит ему повсюду преграды на его пути». Я собрал все свое мужество и сказал (почти буквально) следующее: «Недовольство я замечаю уже давно, и оно начинает пугать меня потому, что партии, которые вообще так не ладят между собой, объединяются в общем озлоблении против вашего величества». Император сказал: «Это для меня не ново. Если я восемь лет выдерживал борьбу с Бисмарком, то меня уже ничто не проймет. Ты можешь пользоваться этими доводами, если тебе будут высказывать опасения». Я возра-

[1] Непередаваемая игра слов: самая плохая палата (т. е. парламент) лучше, чем (дворцовая) передняя.

зил: «Прежняя борьба сказывается и на нынешнем положении, она приводит к опасному антагонизму между личностью вашего величества и всем народом. Несомненно близость к *современности*, свойственная вашему величеству и побуждающая вас возглавлять все новое, в чем бы оно ни заключалось, носит почти прогрессивный характер. Но она парализуется слишком резким публичным проявлением энергии. Своими речами и телеграммами ваше величество создаете впечатление, точно вы хотите снова возродить власть самодержавного короля, а это теперь уже отказываются понимать *все до единой* партии во всей империи. Парламентаризм глубоко въелся во всех немцев, и крах парламентаризма, о котором вы говорите, есть только недовольство некоторыми его формами». Император довольно резко отвечал: «Я требую для себя свободы слова, как всякий немец. Я должен говорить то, что я хочу, для того чтобы разумные элементы знали, как они должны поступать и за кем они должны итти. Если я буду молчать, то (буквально) «вполне подготовленные граждане» не будут знать, что им делать». Я возразил: «Для императора дела лучше слов». На это его величество ответил: «Это они увидят!» Затем, улыбнувшись, прибавил: «Ты видно боишься, что я приму насильственные меры против парламента». Я возразил: «Нет, этого я не боюсь, потому что ваше величество слишком часто говорили, что вы могли бы изменить конституцию *только* в том случае, если бы соответствующее желание было бы вам заявлено со стороны народа, со стороны парламента. Вы к тому же слишком *современный* человек и слишком разумны, чтобы *не понимать*, что Германия не может и не хочет больше жить без парламента». Император воскликнул: «Это значит, что она должна иметь иначе организованный парламент, а не нынешний». Я ответил: «Это было бы еще возможно, но тоже только таким путем, какой я указал. А этот путь становится недопустимым, если народ в большинстве своем будет находиться в оппозиции к своему императору». На это последовал ответ его величества: «Если дело обстоит действительно так, то будет революция. В том или ином виде крах все равно неизбежен. Все ведет к этому, а потому нужно *согласиться* на борьбу». Я сказал: «Внутренняя борьба, которой только и дожидается коалиция европейских держав, для того чтобы напасть на нас: русские подкупают газеты, англичане дают деньги на забастовки в Гамбурге, французы натравливают на нас славян, и мы лезем в западню». Император: «Да, если бы только захотели понять и разобраться в этом положении: ведь этого я добиваюсь своими наставлениями. Но немцы слишком узки и близоруки, ими слишком владеют мелочные страсти». Я воскликнул: «Тут мы снова пришли к началу нашего разговора — возбуждение направлено против *самодержавного* императора, и нужно избегать того, что может вызвать такое мнение». Тогда император почти насмешливо заметил: «Это я-то самодержавный король!» В этот момент к нам подошел Гёрд и прервал разговор, который, как я уже сказал, я передаю тебе почти дословно. Стремление к тому,

чтобы действовать «силой» обнаруживается, несмотря на то, что его величество всячески себя сдерживает. Я вижу роковое непонимание существующего положения, и это должно внушать нам жуткую, мучительную тревогу. Удастся ли тебе уберечь его от необдуманных шагов? Удастся ли устранить те силы, которые толкают его на поступки, последствий коих он себе не уясняет? Император потом снова вернулся к нашему разговору, заметив: «То, что ты мне говоришь, особенно уясняет мне колоссальное коварство старика Бисмарка, который хотел заставить меня сильнее подчеркивать самодержавие и резче выдвигать на первый план Пруссию за счет союзных государств! Но я был слишком хитер, чтобы поддаться на такую приманку, которая бы поставила меня в затруднительное положение и тем самым в зависимость от него».

Хотя Филипп Эйленбург и уверял меня в противном, но он весьма часто подбавлял масла — часто отравленного — в огонь монаршего озлобления против Бисмарка. К числу инсинуаций, которые выдвигал Эйленбург и находившийся в то время с ним в интимных отношениях господин Гольштейн, принадлежало утверждение, будто Бисмарк советовал молодому императору Вильгельму произвести переворот в Германии [38] и в то же время хотел побудить его предать Австрию России.

Очень сомнительным поступком было также и то, что Филипп Эйленбург летом 1899 г. воспользовался пожаром, происшедшим в его имении Либенберг, для того чтобы натравить императора на социал-демократов. Он писал его величеству, что доказано, что пожар произошел от поджога; что будто бы по распоряжению прокурора арестован рабочий, который прибыл в это местечко несколько лет назад и о котором ходят слухи, что он социал-демократ. В письме говорилось буквально следующее: «Я вынужден предположить, что социал-демократы стараются сеять недовольство». Подобные инсинуации были опасны, потому что Вильгельм II по своему характеру и направлению ума склонен был в одно и то же время и переоценивать и недооценивать социал-демократическое движение. С одной стороны, он при отставке князя Бисмарка публично назвал социал-демократическое движение «преходящим явлением», с которым он берется справиться. С другой стороны, он видел в социал-демократах банду неистовых заговорщиков и поджигателей, которые только ждут удобного момента, чтобы приставить лестницу к королевскому дворцу в Берлине и с ножом в зубах и револьвером в руке проникнуть в спальни их величеств и убить всех вместе с королевскими принцами. Вильгельм II не учитывал, какую огромную опасность представляет социал-демократия для мощи, счастья, благосостояния и будущности Германской империи. И вместе с тем он не знал, какие глубокие корни она пустила в сердцах рабочих, как она действует своей ослепляющей диалектикой также и на образованных людей; он не понимал также той нравственной основы, которая в ней была заключена и которой я

не отрицал у социал-демократии, хотя и боролся с ней, будучи убежден, что она для нас опасна и гибельна. Что касается пожара в Либенберге, то вскоре выяснилось, что социал-демократия тут не при чем.

ИЗ ГЛАВЫ XXIX

15 июля 1900 г. Филипп Эйленбург сообщил мне: «Вчера я писал тебе, что наступило значительное успокоение. Сегодня я должен уже тебе сообщить, что вчера вечером снова произошла крайне резкая вспышка, которая меня тревожит. Я прогуливался с его величеством и Георгом Гюльзеном по палубе. Мы рассказывали чрезвычайно невинные эпизоды из театральной жизни. Император заговорил о «публике» в театре, затем перескочил на берлинское общество, с него на консерваторов, аграриев и т. д. Раздраженный тон его прямо пугал. Опасения, которые я высказывал тебе раньше, что он может порвать со всеми старыми прусскими традициями и действительно решиться на враждебное выступление против консерваторов и броситься в объятия либералов, чтобы *разбить консерваторов*, представились мне как нечто вполне актуальное. Я не могу выразить этого иначе, как сказав, что я заглянул в бездну ненависти и озлобления, которых ничем устранить нельзя. У меня такое ощущение, что если еще раз в чем-нибудь проявится оппозиция аграриев и консерваторов, то чаша переполнится [39]. Его величество уже не владеет собой, когда впадает в ярость, и вчера, когда он неистовствовал, он не обратил даже внимания на то, что поблизости стояли матросы, которые могли слышать все от первого слова до последнего. Гюльзен был в таком ужасе, что потом заболел... Я считаю состояние, в котором мы находимся, чрезвычайно опасным и не знаю, что предпринять. Лейтгольд тоже не знает. Он усматривает в этом состоянии своего рода слабость нервной системы, но решительно отклоняет всякие опасения о возможности психических ненормальностей».

ГЛАВА XXX

Первым из коллег, которых я посетил после вступления в должность в Берлине, был статс-секретарь по внутренним делам граф Позадовский. Я знал, что он сам надеялся стать канцлером и что таким образом мое назначение явилось для него разочарованием; поэтому я отнесся к нему с особым и притом искренним вниманием. Но несмотря на всю любезность с моей стороны, мне не удалось рассеять его недовольство. Несколько дней спустя граф Позадовский явился ко мне поздно вечером, между 11 и 12 часами, и в крайнем возбуждении и смущении сообщил мне, что социал-демократическая «Leipziger Volkszeitung» опубликовала подписанное депутатом Бюком письмо правления центрального союза германских промышленников [40], адресованное некоторым крупным предпринимателям. Письмо это ставит его,

статс-секретаря, в крайне тягостное положение; в нем говорится, что министерство внутренних дел выразило правлению союза пожелание, чтобы промышленность предоставила ему 12 тысяч марок для агитации в пользу законопроекта о защите условий промышленного труда[1].

Граф Позадовский, который повидимому потерял всякое самообладание, боялся, с одной стороны, что император отвернется от него, с другой стороны, боялся, что социалисты будут очень резко нападать на него, а свободомыслящие и в особенности центр откажутся поддерживать скомпрометированного статс-секретаря. Я немедленно ему заявил, что ни при каких обстоятельствах не оставлю без поддержки заслуженного и выдающегося чиновника в таком деле, где не может быть и речи о нарушении служебного долга или требований честности, а где можно только говорить о необдуманном поступке. Я ручаюсь за правильную оценку всего этого дела его величеством императором. В рейхстаге я сам выступлю в защиту статс-секретаря. Тогда Позадовский значительно успокоился и объяснил мне, что ответственность за все это дело несет, собственно говоря, не он, а директор ведомства внутренних дел доктор Ветке, который просил главного секретаря центрального союза господина Бюка предоставить указанные 12 тысяч марок. Когда я теперь, через двадцать с лишним лет, вспоминаю, что вся эта буря поднялась из-за каких-то 12 тысяч марок, то мне становится особенно ясно, в каком состоянии почти райской невинности пребывали мы в старой Германии. В процессе Эрцбергера говорилось о совсем других деяниях и о других суммах. Многих лиц, стоявших у власти при республике, обвиняли в гораздо худших грехах, чем в намеке, что 12 тысяч марок для агитационных целей правительства были бы пожалуй желательны. Но тогда мы жили в государстве бюрократическом, руководители и деятели которого еще не обладали толстокожестью корифеев «народного государства», а по части честности и безупречности были весьма щепетильны.

В то время единственный раз за всю мою министерскую деятельность полиция серьезно предостерегала меня, что я могу стать жертвой покушения за то, что считаюсь врагом буров. Разумеется, это предупреждение не произвело на меня никакого впечатления. Если бы какой-нибудь энтузиаст, увлекающийся бурами, убил меня, то я умер бы при исполнении долга и за благо государства и народа, т. е. достойной и красивой смертью. В некоторых газетах меня в то время называли попеременно то «лорд Бюлов», то «виконт Бюлов». Это следовало понимать как жестокую и уничтожающую насмешку. Среди газет, нападавших на меня подобным образом, некоторые впоследствии ставили мне в упрек, что я не старался более тщательно поддерживать отношения с Англией. Когда 10 декабря 1900 г.

---

[1] Закон о защите штрейкбрехеров.

я должен был выступить с речью, председатель рейхстага граф Балестрем, умный человек, искренно благоволивший ко мне, предупредил меня, чтобы я старался не вызывать раздражения в рейхстаге, так как большинство совершенно не одобряет моей политики по отношению к Англии, считая ее чересчур дружественной. Это не удержало меня от ясного и четкого изложения моей точки зрения.

Моя позиция затруднялась телеграммой, которая, еще до того как я принял на себя руководство иностранными делами, была отправлена императором президенту Крюгеру по поводу набега Джемсона на южноафриканскую республику. Об этой телеграмме я уже говорил выше. Кто был ее инициатором? Маршалль неоднократно уверял меня, что он дал свое согласие на отправку телеграммы только потому, что иначе император «натворил бы гораздо худших глупостей». Желания и намерения императора сводились тогда к тому, чтобы локализовать конфликт между бурскими республиками и английской Капской колонией. Его величеству рисовалась в 1896 г. фантастическая мысль заключить с бурами оборонительный и наступательный союз и воевать на их стороне против англичан; но при этом в Европе он хотел сохранить мир с Англией. Маршалль говорил, что император тогда потому так воспламенился в пользу буров, что считал виновником набега Джемсона своего дядю принца Уэльского и его друзей капиталистов Бейте и Эрнста Касселя, которые, кстати сказать, оба были немецкими евреями. Маршалль неоднократно уверял меня, что он пропустил телеграмму Крюгеру, только желая избежать чего-нибудь худшего. С другой стороны, Вильгельм II после ноябрьских событий 1908 г., когда он громко жаловался на несправедливое отношение к нему немецкого народа, сказал мне, что телеграмму Крюгеру «его заставили отправить Маршалль, Гогенлоэ и бывший директор колониального отдела Кайзер». Он долго отказывался подписать эту телеграмму, но в конце концов, хотя и неохотно, уступил настояниям своих ответственных советников.

В интересах беспристрастия я должен сказать, что последняя версия по всей вероятности не вполне соответствует истине, иначе император уже раньше сообщил бы мне действительное положение вещей в том виде, как оно ему представлялось. Он сделал бы это во время прений по поводу буров в декабре 1900 г. Я полагаю, что к телеграмме, отправленной Крюгеру, были причастны все руководящие факторы того времени. Вильгельм II под влиянием настроения, которое владело им в то время, хотел «дать по физиономии» англичанам и в частности своему дяде Эдуарду. Маршалль надеялся, что эта телеграмма, которую он с жаром защищал в рейхстаге, обеспечит ему популярность, ибо он страдал от своей непопулярности, вызванной личной враждой к нему семьи Бисмарка. Престарелый канцлер Гогенлоэ был усталым человеком, который предоставлял все своему течению. Что же касается директора отдела колоний Кайзера, то он, по словам Бисмарка, был тол-

ковым юристом и умным человеком, но умел писать в каком угодно направлении в зависимости от того, что требовалось в высших сферах.

В моей речи, произнесенной 10 декабря 1900 г., я прежде всего указал, что весной 1899 г., проезжая через Гаагу, я вместе с голландским правительством настойчиво призывал президента Крюгера к умеренности и осторожности. Еще в 1899 г. я рекомендовал ему обратиться с просьбой о посредничестве, но он возразил мне, что, по его мнению, момент для обращения к посредничеству еще не наступил. В последний раз я в августе 1899 г. в секретном порядке настойчиво советовал ему не отвергать сразу английских предложений, так как, по моему убеждению, всякие шаги буров перед великими державами оказались бы в этот критический момент безрезультатными и весьма опасными для африканских республик. Таким образом, указывал я, мы не несем никакой ответственности за возникновение войны. Конечно мы не могли итти так далеко, чтобы ради предупреждения военных действий обжечь свои собственные пальцы. Этим мы не помогли бы бурам, а только повредили бы себе. Нельзя подчинить политику большой страны в критический момент соображениям, продиктованным чувством; следует руководствоваться исключительно интересами страны, взвешивая их спокойно и трезво. Всякая попытка германского посредничества привела бы к интервенции, а последняя к дипломатическому поражению или к вооруженному конфликту.

Когда я энергичным тоном заявил, что я не хотел и не имел права ставить немецкий народ в такое положение, в зале раздались оживленные аплодисменты, хотя рейхстаг в начале моей речи был настроен недружелюбно ко мне. В дальнейшем я еще подчеркнул, что если бы император принял президента Крюгера, то это не помогло бы ни бурам, ни нам. Я вызвал одобрение своим заявлением, что не позволю заставить себя разыгрывать роль Дон-Кихота по отношению к Англии и не стану бросаться с копьем всюду, где на земном шаре машут крыльями английские ветряные мельницы. Мы совершили бы политическую глупость, если бы стали без нужды обременять себя длительной враждой к Англии; за это я не могу принять на себя ответственность.

Моя речь от 10 декабря была ответом на сравнительно сдержанную критику нашей позиции в бурской войне, с которой выступили консерватор граф фон Лимбург-Штирум и национал-либерал доктор Затлер. Настоящим вдохновителем и руководителем агитации в пользу буров был председатель пангерманского союза [41] национал-либеральный депутат доктор Гассе.

Как только мне позволили дела, я начал объезд более значительных немецких дворов. При этом я подобно пастуху Дамоэтасу в «Эклогах» сказал себе: «Ab love principium»[1] и отправился в первую очередь с визитом к мюнхенскому двору...

Из Мюнхена я отправился в Штутгарт. Я использовал свое

[1] Начнем с Юпитера.

пребывание в Штутгарте главным образом для того, чтобы договориться с руководящими министрами об окончательной редакции и о способах проведения таможенного законопроекта. С этой целью я вел обстоятельные переговоры, которые иногда затягивались до поздней ночи. Все министры согласились принять мою формулу усиления покровительства для сельского хозяйства, но с сохранением возможности заключить торговые договоры. Правда, теперь еще предстояло претворить эту формулу в действительность...

ИЗ ГЛАВЫ XXXI

Из Дармштадта, где я пробыл недолго, но зато имел возможность договориться с гессенским министром относительно таможенного тарифа, мой путь вел в столицу Саксонии. Если Штутгарт по своему политическому значению и по обстановке двора не мог сравняться с Мюнхеном, а Дармштадт с Карлсруэ и Штутгартом, то в Дрездене [42] опять чувствовалась атмосфера уже более значительного государства. Там я прежде всего имел честь снова встретиться с королем Альбертом, одной из наиболее выдающихся личностей новой Германской империи. Фельдмаршал Мольтке, как известно, сказал о нем, что он единственный немецкий генерал, который во время франко-прусской войны не совершил ни одной ошибки. Всем известно, какую крупную роль он сыграл в качестве командующего армией на реке Маасе, в победе при Седане, этой наиболее блестящей победе во всей германской истории. Свойства, которыми обладал Альберт Саксонский как полководец, его непоколебимое спокойствие, ясность ума, твердость характера и находчивость делали его также и выдающимся государственным деятелем. Это понял и признал князь Бисмарк, которого с саксонским королем соединяла долголетняя искренняя с обеих сторон дружба.

Король Альберт спокойно и ясно изобразил мне внутреннее и внешнее положение, как он его себе представлял. Во внешней политике мы не должны были, по его мнению, изменять Австрии не только по соображениям лойяльности, но и в собственных, германских, интересах. Но мы должны как можно дольше избегать войны с Россией, ибо в такой войне мало можно выиграть и много проиграть. Игра не стоит свеч. Король был убежден в необходимости для Германии построить флот. Война с Англией казалась ему пожалуй еще более опасной и с чисто политической точки зрения еще более ненужной, чем столкновение с Россией.

Уступая настоятельным просьбам Гольштейна, я согласился на перевод князя Радолина из Петербурга в Париж. Это была одна из многих ошибок, которые я допустил в отношении личного состава. Радолин уже давно так привык быть на поводу у гораздо более значительного Гольштейна. На парижском посту, где прежде всего требовались спокойные нервы, он немедленно и буквально выполнял все указания Гольштейна, которые боль-

шей частью были скоропалительны, необдуманны, а иногда и совершенно неправильны. Но Радолин на все смотрел только глазами Гольштейна. Гольштейн особенно широко пользовался в отношении своего духовного раба Радолина правом, которое ему было предоставлено еще при Бисмарке, переписываться при помощи частного шифра с послами, с которыми он находился в дружественных отношениях. Вследствие этого как раз в Париже мои политические указания, в частности в вопросе о Марокко, либо подолгу не исполнялись, либо совсем игнорировались, либо же выполнялись неправильно.

ГЛАВА XXXII

Я старался использовать сближение между императором и королем Эдуардом и благоприятное впечатление, произведенное поездкой императора на широкие круги английского народа[1], для того чтобы заключить приемлемое для нас договорное соглашение с Великобританией. Я телеграфировал императорскому посольству в Лондон, что если Чемберлен затронет в беседе с Экардштейном вопрос о более тесном сближении Великобритании с нами и с центральноевропейским блоком мира[2], то Экардштейн должен изложить приблизительно следующие мысли: «Согласованные действия Германии и Англии на основе общности их интересов за последнее время неоднократно оправдывали себя на практике. В настоящее время между нами нигде в сущности нет никаких серьезных конфликтов. Ни в одной части земного шара мирное колониальное и экономическое соперничество нельзя считать непримиримым с правами и интересами другой стороны. Недавнее интимное сближение обоих монархов способствовало сближению народов. При таких обстоятельствах не исключена возможность, что мы будем готовы обсудить мысль о более тесном сближении, *если таковое примет определенную форму и будет предложено официально.* Целью для обеих стран должно быть укрепление всеобщего мира. Как Англия, так и мы не можем иметь в виду одну только Россию или одну только Францию. Для Англии и для всеобщего мира они, взятые в отдельности, не опасны, но объединившись Россия и Франция становятся для Англии тем более опасными, что в случае конфликта между нею и этими двумя державами Германия до сих пор не обязывалась соблюдать безусловно благожелательный для Великобритании нейтралитет. И в свою очередь Германия находится в точно таком же положении. Отсюда сама собой вытекает мысль о заключении оборонительного союза. В случае нападения России или Франции на Англию или Германию другая из этих держав должна всеми своими сухопутными и морскими силами вступиться за ту, которая подверглась нападению. Договор после подписания его обоими монархами и

[1] Имеется в виду поездка Вильгельма II в Англию с целью навестить умирающую королеву Викторию. Поездка повлекла за собой временное улучшение внешней стороны англо-германских отношений.

[2] Friedensgruppe.

министрами должен быть представлен на одобрение парламентам и иметь силу пока на пять лет. При этом барон Экардштейн может подчеркнуть, что такой оборонительный и направленный на сохранение мира союз имеет то преимущество, что он не таит в себе зародыша возможной ссоры с третьей державой. Он может при этом намекнуть, что впоследствии на основе оборонительного мирного договора можно будет построить дальнейшее соглашение, например о разделе такого возбуждающего спор объекта, как Марокко».

В противоположность Гольштейну, который при большом политическом даровании, богатом опыте и неограниченной работоспособности слишком часто оказывался недостаточно устойчивым и рассудительным вследствие своей непоседливости и порою запальчивости, статс-секретарь барон фон Рихтгофен отличался рассудительностью и спокойствием. 3 февраля он передал мне нижеследующую докладную записку, которая особенно заслуживала внимания, потому что Рихтгофен, как я уже указывал, по своему воспитанию, карьере и мировоззрению питал гораздо большие симпатии к Англии, чем к России.

«Германо-английский союз гарантирует нам в случае войны выгоды в двух направлениях:

1) главная выгода заключается в том, что Англия не будет принадлежать к числу наших противников; 2) добавочная выгода заключается в том, что Англия может уничтожить на морях флот наших противников и таким образом обеспечить неприкосновенность нашей заокеанской торговли и наших колоний. Поддержка английских сухопутных войск не может иметь существенного значения при нынешней дезорганизации британской армии, поскольку она занята в Южной Африке. Нельзя рассчитывать также на то, что она отвлечет к себе русские и французские сухопутные силы, заняв их на индийской границе или на других колониальных границах. Указанное выше второе преимущество является второстепенным в силу того, что надо полагать, что Англия, даже не будучи нашей союзницей, воспользуется войной Двойственного союза против Германии или против Тройственного союза, для того чтобы парализовать флот держав, входящих в первый союз; кроме того если нам как минимум будет гарантирован нейтралитет Англии, то германский флот сам станет постепенно достаточной силой и сумеет взять на себя защиту заокеанской германской торговли против Франции и России, в особенности если он будет действовать совместно с итальянским и австрийским флотами. Поэтому для нас, как мне кажется, договор представляет большой интерес, если только окажется возможным обеспечить себе главную выгоду, указанную в пункте первом. С нашей точки зрения для этого не требуется союза, а достаточно, так сказать, pactem de non inter se bellum gerendo [1]. Такой договор об исключении войны, разумеется, должен предусматривать процедуру для урегулирования могущих

[1] Соглашения не вести между собой войны.

возникнуть спорных случаев; надо полагать, что это возможно только в форме третейского суда. Такой договор, как мне представляется, будет без всяких возражений одобрен нашим рейхстагом и германским народом, если его на первых порах заключить хотя бы на десять лет. Надо полагать, что его одобрит также и британский парламент, так как он отвечает общим гуманитарным идеям нашего времени. Такой договор был бы лишен всякого острия, направленного против другого правительства, так как можно было бы предложить признание территориального status quo[1] и заключение такого же договора между Тройственным союзом и Двойственным союзом. Пожелает ли английское правительство одобрить такое соглашение? На это определенно ответить нельзя. Подобное соглашение даст ему значительно меньше, чем союз между Германией и Англией, но во всяком случае даст уверенность в невозможности образования враждебной коалиции из России, Германии и Франции. Выйти за пределы такого соглашения и заключить союз я считаю попрежнему *весьма* рискованным. Для того чтобы быть гарантированным в соблюдении договора со стороны Англии, безусловно потребуется санкция парламента; если это будет сделано в Лондоне, то мы не можем не обратиться также и к своему парламенту. Между тем немыслимо добиться согласия рейхстага на договор, который хотя бы в малой степени допускает возможность такого положения, что нам придется драться за такие интересы Англии, которые не являются в то же время и германскими интересами, например из-за Индии; в особенности это невозможно при господствующем сейчас сочувствии бурам. Вступаться за интересы Австрии или Италии у нас на худой конец еще согласятся, так как привыкли к Тройственному союзу, но вступаться за английские интересы, не вполне совпадающие с нашими, еще долго не будут согласны. Заключение с Англией оборонительного соглашения, похожего на договор Тройственного союза, явилось бы в руках ловкого и неразборчивого в средствах английского государственного деятеля очень сильным, но для нас очень опасным орудием. Оно могло бы спровоцировать наступательную войну России и Франции против Англии, затем, с одной стороны, начисто истребить флот обоих нападающих государств, а с другой стороны, заставить на континенте истекать кровью в грандиозной борьбе трех соперников Англии — Россию, Германию и Францию. В результате Англия оказалась бы единственной державой, способной диктовать свою волю в Европе. При всяком союзе с Англией нам угрожает опасность, что нам придется вести континентальную сухопутную войну почти исключительно своими силами и притом без абсолютной необходимости для нас в такой войне. Поэтому мне представляется, что такой союз недопустим. Соглашение того типа, о котором я говорил выше, я считаю с нашей точки зрения возможным и полезным. Если в таком виде соглашение окажется невозможным, то можно заключить возможные впрочем парал-

[1] Существующего положения.

лельные ему соглашения по отдельным вопросам территориального характера. Но надо сказать, что последнее германо-английское соглашение не соблазняет на это: ценность его для Англии аннулируется тем, что Лоренцо-Маркес[43] уже фактически используется в качестве британской морской станции, а дальнейшее осуществление соглашения стало сомнительным вследствие того, что снова провозглашен союз с Португалией. Только в качестве побочного момента я отмечу здесь еще, что всякое соглашение, умаляющее для нас опасность войны с Англией, будет действовать на рейхстаг в смысле ослабления его готовности к предоставлению дальнейших кредитов на флот. Я полагаю, что при некоторой осторожности и в особенности при спокойном образе действий с нашей стороны китайская стадия (внешней политики), которая является преходящей, может быть доведена до конца, таким образом, чтобы она не оставила у России никакого длительного недовольства по отношению к Германии».

5 февраля Рихтгофен писал мне: «По-моему, многие события последнего времени не дают нам оснований отступать от плана, которого мы держались до сих пор, а именно чтобы Англия делала нам предложения, а не мы ей. Для этого не может служить достаточным основанием ни смена монарха в Англии, ни любезно затянувшийся визит императора, ни натиск англичан на нас в вопросе о сетльменте в Тяньцзине. Последний ведь в сущности только имел целью поставить нас в первые ряды против России, причем, как только заметили безуспешность этого начинания, вопрос был немедленно снят с очереди. Наше положение в отношении Англии по всей вероятности будет складываться в нашу пользу. Чем больше ее будет засасывать Южная Африка, а дело видимо идет к этому, тем больше она будет парализована в Европе и в Азии и будет нуждаться в благосклонном отношении других держав, т. е., не считая Америки, главным образом в благосклонном отношении России, Франции и Германии. Призрак русско-английского союза попрежнему остался призраком, даже и после неоднократных бесед на эту тему с тайным советником Гольштейном. Англия при всех комбинациях может только потерять от соглашения с Россией, может добиться только непродолжительного перемирия, после которого снова очутится перед ненасытными требованиями России. Что может Англия в настоящее время предложить России? Манчжурию? Россия уже забрала ее, не спрашиваясь Англии. Корею? Но тогда Англия наживет себе в лице Японии вечного врага. Если Англия предоставит России какие-нибудь выгоды в Персии или в направлении Индии, то либо это будут выгоды, которые Россия во всякое время может приобрести сама и без согласия Англии, или они будут способны поколебать весь престиж и господство Англии в центральной части Южной Азии, а кроме того послужат России только трамплином для ее дальнейших требований. Какой эквивалент потребуется от России в пользу Англии? Невмешательство в сферу британского влияния на реке Янцзы? Такое обещание вызвало бы крайнее недовольство

во Франции, а с другой стороны, не имело бы никакого значения, так как Россия явно не имеет намерения вмешиваться в вопросы Японы с юга. Что же касается вмешательства с севера, то ему нельзя воспрепятствовать никакими трактатами в мире, если только оно станет возможным для России. Интересы России и Англии слишком противоположны, для того чтобы считать возможным хотя бы временно примирить их. Сила России заключается в том, что она стремится не к колониям, а только к расширению своих собственных границ. За сравнительно короткое время это расширение достигло больших размеров, причем шло беспрерывно. Всякое улучшение условий сухопутного транспорта облегчает России достижение ее цели, в то время как морской транспорт все еще остается сравнительно тяжеловесным. Если только России хватит терпения — а сомневаться в этом, в особенности при нынешнем царе, не приходится, — то ей без шума достанется еще многое. Со времени крымской войны прошло едва пятьдесят лет. Удалось ли бы теперь создать какую-нибудь коалицию против России, если бы она задумала протянуть руку к Армении или даже к Золотому Рогу? Манчжурия все равно достанется России. Разве кто нибудь крикнет «стоп!», если она по истечении некоторого времени двинется дальше Чжили? В сущности Англия против поползновений России в Азии не может выйти за пределы Индии и прибрежных областей. Во внутренних областях Персии и Китая вряд ли она может энергично действовать против России. Англо-французский союз сам по себе немыслим. Такой союз своим острием со стороны Франции был бы обращен против нас, а со стороны Англии против России. Но Англия не заинтересована в том, чтобы устранить нас одних при одновременном возвышении Франции и России. С другой стороны, для Франции не может представляться желательным ослабить сразу и Германию и Россию и затем оказаться в одиночестве перед лицом Англии. Но, разумеется, нельзя игнорировать опасность, которую представлял бы для нас такой союз, и это должно служить *лишним основанием* для того, чтобы поддерживать хорошие отношения с Англией. Мы в конце концов были и остаемся наиболее удобной опорой для Англии. Своей мощью мы притягиваем к себе столько русских и французских военных сил, что это должно удерживать Россию и Францию от авантюрных предприятий, которые могли бы быть затеяны в разных местах против Англии. Тем самым английская мощь по крайней мере поддерживается в состоянии status quo. С другой стороны, мы не претендуем ни на какие английские владения, а только желаем, чтобы нас оставили в покое и чтобы Англия, если она хочет кушать из чужой миски, принадлежащей слабому государству, нас тоже подпускала кушать вместе с ней. Взамен этого Англия не может требовать ничего большего, кроме того, чтобы мы со своей стороны тоже оставили ее в покое и не выступали против ее политических интересов. Соглашение в этом смысле для нас может быть только желательным. Но выходить за эти пределы и заключать оборони-

тельно-наступательный союз или же при известных условиях такой союз, который можно было бы назвать оборонительным, но который легко может быть превращен одной из сторон в наступательный, было бы для нас, по моему мнению, *чрезвычайно рискованным*. Ведь острие такого союза, как бы его ни завуалировали, всегда будет обращено против России, а конфликт с Россией в основном ляжет всегда на наши плечи, а не на английские. На море России большого вреда причинить нельзя, в особенности когда при нынешних условиях блокада уже не имеет такого значения, как раньше, и даже пожалуй не будет признаваться другими державами (Америкой?). Если мы с Францией останемся в таких отношениях, как сейчас, если мы сможем себя обеспечить против вступления Англии в ряды наших противников и если мы по отношению России будем держаться дружественно и в то же время твердо и неуступчиво, а главное без всякого заискивания, то это, по-моему, будет для нас лучше всего. В последнем отношении, как мне кажется, у нас дело обстоит особенно слабо. Нужно дать ясно понять в Петербурге и здесь (Остен-Сакену), что ключ к нашей политике находится у нас в руках, притом в уверенных, спокойных руках *имперского канцлера*. Англо-франко-германская группировка против России и Америки, по моему мнению, противоречит нашим интересам, так как у нас есть все основания не выступать без крайней необходимости против этих обоих государств, что заставило бы их объединиться в коалицию, чрезвычайно опасную для всей Центральной и Западной Европы. С другой стороны, такая группировка была бы ненадежна, так как Франция без всяких разговоров поспешно ускользнет из нее, если увидит для себя возможность при другой комбинации поднять эльзас-лотарингский вопрос».

Замечание статс-секретаря о необходимости дать ясно понять русским, что ключ к германской политике находится в руках имперского канцлера, относилось, разумеется, к императору, который к сожалению и по отношению к России был склонен колебаться между наивной навязчивостью и резкой грубостью.

Прежде чем отправиться к императору в Гомбург, я выразил Рихтгофену и Гольштейну пожелание, чтобы центр тяжести дальнейших переговоров между Германией и Англией был перенесен в Берлин, так как нельзя было оставлять их в руках недостаточно надежного Экардштейна, который во всяком случае находится под влиянием английских взглядов, а главное в финансовом отношении зависит от Англии [44]. Если английское правительство чего-нибудь хочет от нас, то пускай оно обратится к нам через своего официального представителя в Берлине. Переговоры столь большого значения не могут итти через посредство молодого секретаря, донесения которого, равно как и все его поведение слишком ясно указывают, что его характер столь же сомнителен, как и его финансовая безупречность. Странное впечатление производит то обстоятельство, что все телеграммы Экардштейна обнаруживают тенденцию запугать нас внезапным ухо-

дом Англии из северной части Восточной Азии, где она готова будто бы отказаться от всех британских интересов. При поддержке британского флота японцы в настоящее время имеют решительный перевес над русскими в Восточной Азии. Стремление выдвинуть нас против России в интересах Англии весьма отчетливо проявилось в вопросе о Тяньцзине [45]. Когда встал вопрос о соглашении относительно Манчжурии [46], Лансдоун говорил, что Россия заявляет требование на острова Миаотао, между тем в телеграмме английского посланника Сатоу ни одним словом не упоминалось об этой островной группе, господствующей над входом в Печилийский залив. Тогдашний децернент по английским делам князь Лихновский, который всегда был англофилом, а впоследствии был послом в Лондоне, резюмировал свое мнение в одной из докладных записок следующим образом: «При нынешнем положении Англии в Южной Африке, при затруднительном в настоящий момент состоянии ее финансов, при той ситуации, которая создалась для нас вследствие назначения графа Вальдерзее, а также при наличии враждебных России замечаний и речей его величества во время его пребывания в Англии и притом, что в Лондоне хорошо известно, какое неблагоприятное настроение создалось вследствие таких речей императора на берегах Невы, — английские государственные деятели поступили бы, право, наивно, если бы не попытались двинуть нас против России, оставаясь при этом в стороне, или во всяком случае не связывая себя серьезным образом».

ГЛАВА XXXIII

Находившаяся при смерти вдова императора Фридриха очень хотела еще раз повидать своего старшего брата. Когда король Эдуард VII через Флиссинген прибыл на германскую территорию и поехал вверх по Рейну, он не мог не заметить, что увлечение бурами в Германии вылилось в настоящий пароксизм враждебности к Англии. На вокзалах, где останавливался поезд, полиции при помощи тщательной охраны и строжайшего оцепления с трудом удавалось защитить королевский вагон от оскорблений. Несмотря на все полицейские кордоны, на многих станциях до Эдуарда VII доносились грубые оскорбления по адресу Англии и ее короля. В то же время во всех газетах можно было прочитать, что в Гейдельберге рабочие приняли безобидных немецких студентов-корпорантов, игравших в футбол, за англичан и поколотили их.

Король, который 25 февраля 1901 г. прибыл в Фридрихсгоф, отправился оттуда с визитом к императору в Гомбург. Он был очень серьезно настроен и сказал мне: «Ваше положение нелегкое. Люди здесь точно с ума сошли, поэтому я особенно признателен вам за то, что вы повсюду, в том числе и в рейхстаге, высказываетесь за сохранение хороших отношений с Англией. Неужели публику в Германии никак нельзя успокоить? Эти люди,

видимо, свихнулись и ведут себя совсем как сумасшедшие». На следующий день у меня была продолжительная беседа с мисс Шарлотой Нолли, которая много лет состояла придворной дамой английской королевы Александры и с которой я давно уже был дружен. Оценивая положение трезвым, практическим умом, как это свойственно ее народу, она сказала мне: «На что все эти недавние нежности между дядей и племянником, что здесь могут поделать все старания министров обеих стран, если народы относятся друг к другу, как кошка к собаке? Император постоянно твердит, что в Германии все зависит только от него и что все должны подчиняться его воле, но я полагаю, что если в Германии голос народа не имеет такого веса, как в Англии, то все же с ним приходится считаться. У вас настроены гораздо более враждебно по отношению к Англии, чем по отношению к Франции или России. За всеми объяснениями в любви со стороны императора и за вашими безусловно честными стараниями сблизиться с Англией я вижу в качестве реального фактора народ, пятидесятимиллионный народ, который является нашим злейшим врагом. Что же касается императора, то вы знаете, что я лично хорошо отношусь к нему, даже очень хорошо. Он такой разговорчивый, такой живой, такой естественный. Он действительно хороший парень, очень хороший парень[1]. Но будем говорить откровенно: разве можно на него положиться?.. Однажды во время бурской войны ваш дорогой император — да хранит его господь — в 8 часов утра ворвался к нашему бедному послу в Берлине Франку Ласселю, который поздно ложится спать и любит поспать до 10 часов, сел к нему на кровать и не успокоился до тех пор, пока Лассель не составил телеграмму, которая заключала в себе план похода против буров. План, по его словам, представлял собой верное средство уничтожить их, но, между нами говоря, это была полнейшая бессмыслица. Лассель должен был немедленно отправить телеграмму, которая была подкреплена еще письмом вашего императора к нашей королеве, написанным в том же духе. После этого Ласселю пришлось при скверной погоде в пижаме и ночных туфлях провожать императора до коляски на Вильгельмштрассе. Некоторое время спустя император писал своему дяде: «Если бирмингемский клуб футболистов бывает побежден глазговским, но не питает жажды мести, а пожимает руку противнику. Точно так же должны поступать англичане после поражений, нанесенных им в Южной Африке». Король ответил племяннику, что войну, которую ведет большое государство, нельзя сравнивать с футбольным матчем. Я готова охотно признать, что вы и ваше правительство желаете установить добрые отношения с Англией, но ваш император полон неожиданностей, а ваш народ, народ в пятьдесят миллионов, ненавидит нас».

На 5 марта император назначил визит в Бремен. Когда он

[1] A good fellow, a very good fellow all around.

на обратном пути ехал на вокзал, какой-то рабочий бросил в его коляску кусок железа. Император был довольно сильно ранен в правую щеку. Если бы удар пришелся немного иначе, то он потерял бы правый глаз. Он прибыл на бременский вокзал, обливаясь кровью, но сохранил полное присутствие духа. Той же ночью я получил от него телеграмму, составленную в самых спокойных выражениях. Когда я рано утром встретил его на Лертском вокзале, он не обнаруживал никакого волнения и только в нескольких словах равнодушно и без раздражения упомянул об этом происшествии. Приблизительно две недели спустя император, который уже к тому времени почти поправился, принимал президиум прусской палаты депутатов. Первый президент тогдашнего прусского народного представительства Иордан фон Крехер воспользовался приемом у императора, для того чтобы провести параллель между покушением на императора Вильгельма I в 1878 г. и происшествием в Бремене, хотя тем временем уже было установлено, что покушавшийся в Бремене был эпилептиком и полусумасшедшим, если не совсем сумасшедшим. Из параллели, проведенной Крехером, разумеется, вытекал вывод, что так же, как двадцать три года назад, против социалистического движения нужно действовать при помощи исключительных законов. Это вызвало, во-первых, неприятные прения в палате депутатов, в которых Евгений Рихтер столкнулся с Крехером. Но что еще хуже, это подействовало возбуждающе на легко поддававшегося влиянию императора.

При освящении новых казарм полка имени императора Александра Вильгельм II 28 марта снова произнес весьма эксцентричную речь. Первый гвардейский гренадерский полк имени русского императора Александра имел славное прошлое. В марте 1848 г. он полностью выполнил свои обязанности против восстания, которое тогда произошло, а в 1870 г. особенно отличился в сражении при Сен-Прива. Император имел полное право и даже был обязан напомнить об этом героическом прошлом, но он добавил к этому, что если Берлин когда-либо снова нагло поднимет бунт против короля, то александровский полк энергично подавит подобное бесстыдство. Он закончил заявлением, что у него есть могучий союзник, добрый господь бог, который еще со времен великого курфюрста и великого короля всегда был на нашей стороне. Впечатление, произведенное этой речью в Германии и за границей, было печальное. Строго консервативная, ортодоксально-церковная газета «Reichsbote» предостерегающе указала, что величайшим врагом власти является злоупотребление ею. Авторитет императора Вильгельма I основывался на том, что он проявлял по отношению к своим советникам самообладание, а во всех делах благоразумие и мудрую сдержанность. Монархи, которые лишены такой скромности, обыкновенно, сталкиваясь с реальными явлениями жизни, терпят крушение, и в конце концов правление их оказывается неудачным. Это были суровые слова и к сожалению они оказались пророческими.

«Times» в серьезной статье высказывал опасение, что бременский инцидент нарушил душевное равновесие императора, если он говорит такую чепуху. Другие английские и американские газеты говорили о нравственном безумии[1]. Французская пресса не знала конца ироническим заметкам и карикатурам. Я представил императору статью руководящей английской газеты, так как знал, что писания лондонской прессы производят на него более сильное впечатление, чем статьи немецких газет. Я не скрыл от него также высказываний американской и французской печати.

В день рождения русского императора при прусском дворе обычно устраивался торжественный обед, на который приглашали русского посла. 18 мая 1901 г. этот обед происходил в Меце, где как раз в то время находился император. Он произнес краткую, подходящую к случаю речь. В Париже произвело сильное впечатление, что русский посол граф Остен-Сакен, не задумываясь, принял предложение пожаловать в Мец. Французская националистическая пресса усматривала в этом доказательство, что русское правительство совершенно и не думает поддерживать французские стремления к реваншу.

На 16 июня 1901 г. в Берлине было назначено открытие памятника Бисмарку. Отношения Вильгельма II к величайшему министру, какого только имела Германия, трудно охарактеризовать в нескольких словах. Император ненавидел Бисмарка, но не мог не признавать, что он великий человек. Он хотел уподобиться ему и по возможности даже превзойти его, но убедился, что это не так-то легко, и это озлобляло его. Он никогда не мог понять, что гения нельзя скопировать.

Грандиозный образ Бисмарка всегда стоял перед глазами Вильгельма. Если бы ему предоставили выбор, он охотнее всего предпочел бы совсем замолчать его. Он хотел, чтобы о Бисмарке говорили как можно меньше. Но сам он был загипнотизирован им. Он многого не хотел только потому, что этого хотел Бисмарк, а многое ему хотелось сделать для того, чтобы сравняться с Бисмарком. Он старался оправдать свой разрыв с Бисмарком и немилостивую отставку, которую он ему дал, и доказать, что это было необходимо, полезно и правильно. Он часто возвращался к этой отставке и таким образом походил на того студента Раскольникова из знаменитого романа Достоевского, который, сам того не желая, постоянно возвращался на место своего злодеяния. Он старался убедить всех, что Бисмарк оставил ему «невозможное наследство», что ему, императору, приходится выполнять миссию, заключающуюся в том, чтобы снова связать нити, разорванные Бисмарком, и выправить положение Германии. Вильгельм любил говорить, что для этой именно цели он предпринимает свои путешествия, делает визиты и произносит речи. Я готов предположить, что и теперь в меланхоли-

[1] Moral insanity.

ческой обстановке Доорна, после падения и бегства, он все еще внутренне убежден, что он собирался разрешить тяжелую задачу, ниспосланную ему небом, когда на него напали враги и тем самым уничтожили все его старания.

Он не хотел присутствовать при открытии памятника Бисмарку, но мне удалось уговорить его. Император поручил мне провозгласить речь в честь Бисмарка, так как он сам не хотел выступать.

За несколько недель до моей речи о Бисмарке я председательствовал на секретном совещании высших чинов различных ведомств, имевших отношение к таможенной политике, а также представителей более крупных союзных государств. Прежде чем начались прения, я в продолжительной беседе, происходившей с глазу на глаз в один из оконных ниш зала союзного совета, окончательно договорился с баварским министром финансов Риделем о следующих основных положениях: 1) Таможенный тариф должен быть облечен в такую форму, которая не исключала бы возможности торговых договоров. 2) Двойные ставки [47] должны быть установлены для возможно меньшего количества товарных групп. 3) Таможенные ставки для зерновых хлебов могут быть повышены приблизительно до 5—6 марок без ущерба для народного питания (Volksernährung). 4) Установление неодинаковых ставок для пшеницы и ржи представляется желательным, чтобы заключить торговый договор с Россией и таким образом проломить стену, которая в противном случае может образоваться вокруг нас. 5) Пошлина на ячмень не должна быть настолько высока, чтобы это могло вызвать значительное повышение цен на пиво. 6) Пошлины на скот и мясо ни в каком случае не должны быть столь высоки, чтобы это удорожало продовольствие рабочего населения в больших городах [48]. Здесь высокие таможенные ставки особенно опасны. На этих началах был разработан таможенный тариф, который в декабре того же года был внесен в рейхстаг. Мне с самого начала было ясно, что если, с одной стороны, нужно оказать необходимое покровительство сельскому хозяйству, а с другой стороны, не закрывать себе возможности заключить новые торговые договоры, то будущий таможенный тариф должен быть результатом соглашения между центром, национал-либералами и консерваторами [49]. Костяком такой коалиции могла быть только партия центра, которая по всей своей структуре представляет собой микрокосм германских экономических отношений. Эта партия объединяла сельских хозяев, промышленников и секретарей профессиональных союзов; она по своей природе должна была вести политику «по диагонали», которой я и сам следовал и которая соответствовала интересам страны.

ГЛАВА XXXIV

После того как вдову императора Фридриха похоронили в Потсдамском соборе, император стал готовиться к встрече с русским императором Николаем II, который принял приглашение на маневры германского флота, назначенные в первой половине сен-

тября на Гельском рейде в Данцигской бухте. Перед тем Вильгельм II принял в Гамбурге вернувшегося из Китая Вальдерзее. С высоко поднятой головой фельдмаршал шел навстречу своему повелителю. На его лице было написано напряженное ожидание исключительных знаков милости, которые он надеялся получить при возвращении; ведь его отъезд сопровождался небывалым чествованием. Но коварный случай устроил так, что как раз накануне Вильгельм II получил от одной из своих английских теток письмо, где сообщалось, будто Вальдерзее перед отъездом из Китая говорил английским офицерам, что ему нужно скорее возвращаться в Германию, чтобы занять там пост канцлера, так как Бюлов уже сыграл свою роль. И вот когда Вальдерзее на вокзале в Гомбурге подходил к императору, последний еще издали крикнул ему, что ему следует поблагодарить меня за то, что я своей ловкой политикой вывел его из затруднительного положения. Честолюбивый маршал, надо полагать, ожидал чего угодно, но только не того, что ему придется благодарить меня. Он был очень изумлен и отнюдь не обрадован. В течение дня я посетил Вальдерзее, для того чтобы обсудить с ним восточноазиатские дела, о которых он говорил умно и толково. Вскоре после этого он, будучи семидесяти лет от роду, скончался от коварной желудочной болезни, которую приобрел в китайском походе. Император с самым равнодушным выражением лица прочитал как раз в моем присутствии телеграмму, извещавшую о его смерти. Он не пролил ни одной слезы о покойнике, которого он в конце восьмидесятых годов во время конфликта между Вальдерзее и Бисмарком называл в беседе с великим канцлером, нарочито это подчеркивая, своим наиболее выдающимся и наиболее верным другом. Несмотря на некоторые свои недостатки, Вальдерзее был блестящим солдатом. В Китае он сумел не только сохранить согласие между державами, но по-своему способствовал также укреплению выдающейся и так много сулившей в будущем позиции, которую мы занимали в экономических и политических вопросах в Восточной Азии до 1914 г.

Вильгельм II возлагал большие надежды на свидание в Геле и ждал его с нетерпением, которое даже для него являлось необычным. Я должен был сопровождать его величество, так как император Николай сообщил германскому императору, что прибудет в Киль с министром иностранных дел графом Ламсдорфом. Когда я в Киле прибыл на яхту «Гогенцоллерн», посланник фон Чиршки, находившийся при его величестве в качестве представителя иностранного ведомства, встретил меня и с крайне взволнованным и огорченным видом сообщил, что император отказывается дать Ламсдорфу орден Черного орла. Чиршки, по его уверению, без конца его упрашивал и самым серьезным образом указывал, что было бы политической ошибкой оскорблять русского министра, который до сих пор был хорошо расположен к нам. Но к сожалению сломить упорство его величества оказалось невозможным. В этот момент к нам подошел император, и Чиршки удалился, а я сейчас

же навел разговор на вопрос об ордене. Я указал, что по традиции русский министр иностранных дел всегда получал орден Черного орла; если мы теперь отступим от этого обычая по отношению к Ламсдорфу, который до сих пор к нам благоволил, то он как человек обидчивый нам этого никогда не простит; царь легко поддается влиянию своих советников, и у нас нет никакого основания обижать Ламсдорфа. Император ответил с резкостью, которую по крайней мере по отношению ко мне он очень редко проявлял, что он не может «бросаться» своими высшими орденами. Когда я указал, что этот высокий орден уже неоднократно жаловался лицам, которые имели на него меньше прав, чем министр иностранных дел великой державы, то его величество ответил, что я всегда руководствуюсь чисто политическими мотивами и совершенно не понимаю внутренних переживаний и не считаюсь с его самыми святыми чувствами. Чиршки понимает его лучше; Чиршки еще час тому назад заявил ему, что он совершенно прав, если отказывается пожаловать Ламсдорфу высокий орден Черного орла. В этот момент Чиршки снова оказался недалеко от нас. Я подозвал его кивком головы и спросил, глядя ему прямо в глаза, действительно ли он советовал императору не жаловать Ламсдорфу орден Черного орла. Чиршки покраснел, как рак, но ничего не ответил. Беседа между его величеством и мной продолжалась еще некоторое время и закончилась тем, что император сказал мне, что он спросит своего кузена, коллегу и друга Ники, какой прусский орден желателен ему для Ламсдорфа.

Обед прошел как нельзя лучше. Царь, после того как мы встали из-за стола, вступил со мной в продолжительную беседу, в которой без всякого побуждения с моей стороны сказал: «Если Россия и Германия не будут жить в мире и дружбе друг с другом, то они зарежут сами себя. Пользу от ссоры между Пруссией — Германией и Россией извлекут революция и поляки, а вред от этого почувствуют обе империи и их династии». Затем он передал мне орден Андрея Первозванного со словами: «Как доказательство моей дружбы и моего доверия к вам».

В то время как царь беседовал со мной, император Вильгельм сам раздавал прусские ордена русской свите. Я заметил, что на лице Ламсдорфа вдруг появилось обиженное и даже злобное выражение. Нечто подобное я видел у министра только однажды в своей жизни, правда, при совсем других условиях, а именно у князя Горчакова, когда в 1878 г., после окончания берлинского конгресса, Бисмарк демонстративно разговаривал только с Петром Шуваловым, Биконсфильдом и Андраши и не обращал никакого внимания на русского канцлера. Наконец Ламсдорф подошел ко мне и самым вежливым тоном, но едва скрывая раздражение, сказал, что мой всемилостивейший монарх пожаловал ему вместо Черного орла, который до сих пор считался единственно возможным орденом для русского министра иностранных дел, какой-то другой орден, о котором он до сих пор еще никогда не слышал. Оказалось, что желая настоять на своем, а в данном случае это

являлось капризом, Вильгельм II пожаловал русскому министру учрежденный им незадолго до этого орден императора Вильгельма. Довольно безвкусную ленточку этого ордена даже у нас никто не хотел иметь уже потому, что орден этот обыкновенно доставался уходившим в отставку министрам, генералам, адмиралам, если их считали недостойными ордена Черного орла. Несомненно, что мы тем самым нажили себе врага в человеке, который был раньше доверенным лицом Гирса и рукой которого был написан договор о перестраховке.

Из Гелы император Вильгельм, сердечно распрощавшись с императором Николаем, отправился в Ромынтен, куда он обычно ездил на охоту. Там его ожидал Филипп Эйленбург, который писал мне 23 сентября 1901 г.: «Его величество очень тепло отнесся к моему поздравлению по поводу его успеха в Данциге и рассказал мне много подробностей. Разумеется, оказалось, что визит царя во Францию был большой неудачей, а по адресу Англии градом сыпались пренебрежительные и почти враждебные слова. Вильгельм Протей. — О тебе его величество отзывался очень тепло и с большой признательностью. Он говорил, что ты совершенно очаровал императора Николая и что это было самым важным во всем свидании». Филипп Эйленбург, обладавший незаурядным талантом рассказчика, очаровательно описал поездку императора в Виштитен, маленький городок на прусско-русской границе, в нескольких километрах от Ромынтена. Это местечко за несколько недель до того в значительной части сгорело от пожара. Филипп Эйленбург писал мне: «Едва мы прибыли вчера вечером в Ромынтен, как император потребовал обстоятельного доклада о пожаре в маленьком пограничном русском городке. Доклад делал сонный лесничий Сен-Поль. Затем мы покушали, после чего было объявлено, что завтра, т. е. сегодня днем, его величество в форме русского генерала съездит в Виштитен и там на выгоревшей рыночной площади раздаст по поручению царя удрученному населению 5 тысяч рублей. От пожара пострадало 150 семейств, сплошь евреи. Это должно быть грандиозно. Блаженной памяти пророк Иеремия благословит этот час и особенно порадуется новой русской драгунской форме». На следующий день Эйленбург писал мне об этой поездке «апокалиптических всадников». «Его величество сел на лошадь и в сопровождении двух адъютантов, Рихарда Дона и лесничего Сен-Поля, галопом поехал через границу. Мы с Августом Эйленбургом и адмиралом Гольманом следовали за ними в коляске. Что за странная затея! Полицейский вахмистр бранью и пинками согнал бедных евреев на рыночную площадь, где его величество встал, чтобы произнести речь. У евреев была «длинная ночь» и они неохотно, страшно грязные вышли из синагоги. Наконец на площади оказалось человек 200, и император произнес высокопарную речь, которой никто не понял. Потом евреи подошли ко мне и спросили, кто этот русский офицер. Они не верили, что это германский император и говорили, что «он не приехал бы в Виштитен, и потом на

нем должна была бы быть германская форма». Коротко говоря, никто собственно не понял, для чего все это понадобилось. В основном за этим очевидно скрывалось желание видеть Виштитен, к этому присоединилась возможность произнести речь, одеть русскую форму, а также желание оказать помощь».

На следующий день Филипп Эйленбург прислал официальную телеграмму, содержавшую распоряжение императора, чтобы телеграфное агентство Вольфа распространило речь, произнесенную императором в Виштитене. Она гласила: «Его величество император Николай, ваш высокий монарх, мой дорогой друг, узнал о вашем тяжелом несчастьи. Он поручил мне сообщить вам, как его огорчило это известие, и просил выразить вам свое сердечное сочувствие. Но еще больше того: он переслал через меня в знак своего монаршего отеческого попечения подарок в 5 тысяч рублей. Вы видите, как взор вашего высокого монарха охватывает всю его огромную империю до пограничных городов и как его доброе, горячее сердце отзывается на нужды даже самых отдаленных подданных. Вы выразите вашу благодарность и любовь к своему императору и отцу, воскликнув: «За здравие его величества государя императора Николая. Ура!» Если никто из свиты, включая и самого интимного друга его величества Филиппа Эйленбурга, не поняли, для чего понадобилось ездить в маленький русский пограничный городок, то для меня лично и по сей день остается психологически непонятным, как такой, в некоторых отношениях высоко одаренный человек, как Вильгельм II, интересовавшийся разнообразными и серьезными вещами, достигший к тому времени уже сорокадвухлетнего возраста и уже больше двенадцати лет сидевший на троне, мог развлекаться подобными детскими забавами и организовывать такую опереточную затею.

Вскоре после этой странной экспедиции принц Генрих сделал продолжительный визит своему шурину царю, с которым он поддерживал наилучшие отношения. Он посетил его в охотничьем замке Спала в Петроковской губернии, в русской Польше. По возвращении принц Генрих рассказывал мне о своих впечатлениях. Он говорил, что император Вильгельм импонирует царю, но иногда действует ему на нервы. Поездку в Виштитен большинство русских и сам царь восприняли как странное и несколько недостойное заискивание. Постарайтесь, говорил принц Генрих, убедить моего брата императора относиться к царю дружески и вежливо, но не возбуждать в нем недоверия. Главным образом нужно, чтобы он оставил его в покое, это единственно правильная манера обращения с ним. В свите царя наибольшим влиянием, по словам принца Генриха, пользовался генерал-адъютант и министр двора Фредерикс. Он определенно симпатизировал немцам и был вполне надежен. Принц Генрих, который был большим англофилом и в политических вопросах руководился больше влечениями сердца, чем расчетливым разумом, жаловался, что царь «к сожалению» плохо отзывается об Англии. Царь не доверяет

английской политике и презирает английскую армию, так же как и английскую конституционную парламентскую систему правления. В этом он московит. Он не питает также особого уважения к своему дяде королю Эдуарду, но он не собирается ничего предпринимать против Англии, как и против всех других европейских стран. Если он когда-нибудь поведет войну в Европе, то только потому, что будет считать себя подвергшимся нападению со стороны другой великой державы. Царь не добивается даже и Манчжурии, но не хочет уступать ее никому другому. То же самое и относительно Кореи. Царь сказал своему шурину Генриху, что утверждение японцев в Корее будет означать, что в Восточной Азии возникнет новый босфорский вопрос. Если японцы попытаются утвердиться в Корее, то для России это уже будет поводом к войне. Царь по секрету сказал своему шурину, что столкновение между Японией и Россией рано или поздно неминуемо, но оно произойдет не раньше чем через четыре года, а за это время Россия обеспечит своему флоту превосходство на Тихом океане. Когда Россия этого достигнет, то японцы будут остерегаться начать с ней войну. Через пять-шесть лет будет также закончена Сибирская железная дорога, сооружение которой царь считает задачей своей жизни. Для этого дела ему нужны французские деньги, но в политике он держится настороже по отношению к французам и не даст им себя эксплоатировать. Россия и Германия должны жить в мире и таким образом поддерживать всеобщий мир.

Сообщения, которые я получал из Петербурга от посла Альвенслебена и время от времени от друга русской императорской семьи генерала фон Вердера, которого попрежнему приглашали в Петербург, в общем совпадали с впечатлениями принца Генриха. Весной 1901 г. Вердер писал мне, что вдовствующая императрица хотя и была в свое время возмущена вильгельмсгафенской речью императора («пощады не давать»), но все же убеждена, что по крайней мере канцлер искренно старается поддерживать и укреплять дружеские отношения с Россией.

О настроении царя Вердер писал мне, что он в сущности симпатизирует императору Вильгельму, хотя кое-что в нем ему не нравится. Желание Германии получить экономические выгоды в Турции он находит вполне понятным, но подчеркиваемое императором Вильгельмом восторженное отношение к Высокой Порте, корану и султану раздражает царя. Он сказал Вердеру: «je n'aime pas le sultan, je le cède à l'Empereur de l'Allemagne»[1].

ГЛАВА XXXV

25 октября 1901 г. министр колоний Чемберлен, на порывистость и ненадежность которого указывали уже в своих донесениях граф Гацфельд и граф Меттерних, произнес в Эдинбурге

[1] Я не люблю султана и уступаю его германскому императору.

публичную речь, в которой сказал: «Если бы даже Англия применяла по отношению к бурам, продолжающим оказывать сопротивление в Южной Африке, самые строгие меры, то последние никогда не сравнялись бы по жестокости и варварству с тем, что учиняли другие нации в Польше, на Кавказе, в Боснии, Тонкине и во время войны 1870 г.». Так как я предвидел, что эта провокация вызовет в Германии большое возбуждение, то я сейчас же обратился конфиденциально к английскому послу Франку Ласселю, который в политическом отношении благоволил к нам, а лично со мной был связан дружбой, продолжавшейся уже четверть века, и попросил его потихоньку, нисколько не задевая самолюбия английского министра, добиться, чтобы последний как-нибудь постарался исправить впечатление, которое его слова должны были при существующей обстановке произвести в Германии. Я просил его только заявить, что он не имел намерения оскорблять германскую армию или германский народ. Достаточно сочувственного заявления о храбрости и дисциплине германской армии, чтобы произвести благоприятное впечатление. В крайнем случае такое заявление может сделать другой член английского кабинета или пусть Чемберлен обратится с письмом к графу Меттерниху, которое я потом мог бы огласить в рейхстаге и этим ослабить нападки против него, которых можно было ожидать во время прений. Я обратил внимание английского посла на то, что мне к крайнему моему сожалению придется публично выступить в защиту доброго имени и чести германского народа и его армии. Лассель вполне сочувственно отнесся к моим представлениям. Он по собственной инициативе сказал мне, что выступление Чемберлена является особенно нежелательным, потому что я в течение всей англо-бурской войны бесстрашно оказывал противодействие антианглийским настроениям в Германии, не говоря уже о том, что сам лично я вел политику, дружественную Англии.

Но Ласселю не удалось побудить Чемберлена сделать какое-нибудь заявление. Наше посольство в Лондоне, действовавшее в том же направлении, тоже ничего не добилось. На интерпелляцию в английском парламенте, где один из либеральных членов нижней палаты спросил Чемберлена, зачем он без всякого повода провоцировал германское общественное мнение и оскорбил его, министр колоний высокомерно ответил, что ни один благоразумный немец не почувствует себя оскорбленным его словами. Возбуждение в Германии вызвано искусственно. Это, разумеется, еще подлило масла в огонь. Я теперь, как и тогда, считаю, что при таком высокомерном поведении английского министра колоний я обязан был не только защищать героический характер и моральные основания нашей борьбы за национальное объединение, но также должен был дать отпор неправильному суждению английского министра, когда во время первого чтения имперского бюджета на 1902 г. зашла речь о его оскорбительном отзыве. Я сказал, что вполне понятно, если у народа, который так сросся

со своей армией, как немецкий народ, даже попытка, даже видимость оскорбления нашей армии и нашего народа вызывает всеобщее возмущение. Я полагаю, что мистер Чемберлен не имел намерения оскорбить наши чувства, но по отношению к стране, которая, как Германия, всегда старалась поддерживать с Англией добрые и дружеские, ничем не омраченные отношения, следует избегать даже недоразумений. Что касается нашей армии, то она стоит слишком высоко и слишком безупречна, чтобы ее могли затронуть несправедливые нападки.

Данный мною отпор встретил всеобщее одобрение в германском рейхстаге. Точно так же с живым одобрением было встречено заявление, сделанное мной во время дальнейших прений по бюджету, когда я сказал, что я не намерен оставлять ни малейшего сомнения в том, что меня нельзя заставить занять недружелюбную позицию по отношению к английскому народу, с которым у нас никогда не было вражды и с которым нас связывают многочисленные и веские интересы. Я не допущу, чтобы направление внешней политики предписывалось мне речами, резолюциями и народными собраниями. Курс нашей внешней политики определяется исключительно реальными интересами страны, а последние требуют, чтобы мы сохраняли мирные и дружественные отношения с Англией, не поступаясь своими достоинством и честью.

Поведение нашей прессы и общественного мнения во время этого инцидента было двойственное и не свидетельствовало о наличии верного инстинкта, как это к сожалению слишком часто бывало в Германии. С одной стороны, некоторые газеты не знали удержу в воплях об опасности, которую представляет ссора Англии с Германией, и самыми мрачными красками разрисовывали эту перспективу. Это, разумеется, с неудовольствием воспринималось нашими патриотами и ободряло всех наших противников за границей, а главное делало англичан еще более самоуверенными и высокомерными, чем они были и без того. С другой стороны, синоды и воинские союзы подняли отчаянный шум и позволяли себе такие преувеличения по отношению к Чемберлену и англичанам, что такой спокойный наблюдатель, как корреспондент «Frankfurter Zeitung», мой друг Август Штейн, не без основания говорил, что ему кажется, что он находится в сумасшедшем доме. Я попросил министра вероисповеданий и военного министра энергичнее воздействовать на синоды и на военные союзы. Движение это действительно вскоре утихло, но оно снова показало, до какого преувеличения и неблагоразумия доходило англофобское настроение в Германии и как непоколебимы были англичане в своей самоуверенности и в своем высокомерии.

Со времени этого инцидента прошло уже двадцать лет. Обсуждая все это дело совершенно спокойно и объективно с чисто исторической точки зрения, я и теперь высказываю убеждение, что отпор выступлению Чемберлена был необходим не только во имя достоинства нашей страны, но что, поступая таким образом,

я действовал политически правильно и в интересах мира. Если не отвечать на двусмысленные и ни на чем не основанные, вызывающие выходки заграницы, если спокойно сносить недопустимую грубость иностранных министров, то это только повлечет за собою новые нападки, и в конце концов с людьми, которые это терпят, будут всегда плохо обращаться. Когда много лет спустя, после моей отставки, Ллойд-Джордж позволил себе резкость по отношению к Германии из-за посылки «Пантеры» в Агадир, Бетман-Гольвег промолчал эту пощечину. Через два месяца после этого один из наиболее умных итальянских депутатов, побывавший перед тем в Лондоне и Париже, сказал мне: «Я до сих пор благоприятно оценивал европейское положение, но теперь оно внушает мне серьезные опасения. То обстоятельство, что германский канцлер смолчал на глупости Ллойд Джорджа и никак на них не реагировал, внушает англичанам мысль, что Германия уже не чувствует себя уверенной. Еще опаснее то, что французы с этой поры страшно нахохлились». Новый дух[1] возник во Франции в тот момент, когда в Берлине ответили молчанием на провокацию Ллойд Джорджа.

Ко дню рождения императора 27 февраля 1902 г. в Берлин прибыл принц Уэльский по специальному поручению своего отца короля Эдуарда, который этим хотел показать, что англо-германские отношения по-прежнему носят мирный и дружественный характер. После парадного обеда в белом зале принц Уэльский подошел ко мне, пожал мне руку и спросил меня, может ли он со мной откровенно побеседовать. И до и после обеда я избегал подходить к его королевскому высочеству, а предоставил это сделать ему. Когда принц обратился ко мне так дружественно и открыто, я, разумеется, тотчас же ответил, что я буду очень признателен его королевскому высочеству за откровенную беседу. Я только попрошу со своей стороны разрешения ответить такой же откровенностью. Принц, производивший впечатление человека честного, толкового и очень мужественного, начал с того, что подчеркнул заслуги Чемберлена перед Англией: «Ему мы обязаны тем, что в колониях теперь господствует лойяльное британское настроение. Идея великой Британской империи принадлежит ему. С этим мой отец король Эдуард должен считаться. Впрочем мистер Чемберлен уверял меня перед моим отъездом, что он никогда не имел намерения оскорбить германскую армию и германский народ». Я возразил, что относительно заслуг английского министра перед Англией единственным компетентным судьей является его величество английский король. Но, продолжал я, я тоже весьма далек от того, чтобы оспаривать крупные дарования и достижения английского министра колоний, которого, наоборот, я ставлю очень высоко. Я надеюсь также, что мистер Чемберлен не имел специального намерения оскорбить Германию. Но он допустил ошибку не тем, что поставил английскую армию и

[1] L'esprit nouveau.

английские военные обычаи на одну ступень с германской армией и германскими обычаями — на это мы пожалуй не могли бы обижаться, — но он заявил, что будто бы то, что делали англичане во время войны в Южной Африке, даже в отдаленной степени не напоминает того, что делалось во время войны 1870—1871 гг. На это я должен был дать серьезный отпор, считаясь со справедливым национальным чувством германского народа, а также и с армией, мундир которой я ношу уже более тридцати лет.

Принц сказал, что мне не следует забывать, что Чемберлен говорил в качестве министра колоний и обращался к английским купцам, которые разбираются только в колониальных делах и только ими интересуются. Его эдинбургская речь была приспособлена для этой среды. Я отвечал, что «и мне в моих речах приходится приспособляться к той среде, к которой я обращаюсь: если бы я имел честь произносить речь перед вашим королевским высочеством и перед всеми прочими высочайшими особами, присутствующими в этом зале, то она была бы составлена иначе, чем когда я обращаюсь к германским землевладельцам, адвокатам или профессорам. Вообще я должен заметить, что министры, все равно, идет ли речь о Чемберлене или обо мне, не должны говорить слишком часто, а о внешней политике следует говорить как можно реже». Принц с веселой улыбкой охотно согласился с этим. Когда в последующий беседе он высказал мне живейшее удовлетворение по поводу своего пребывания в Берлине и сердечного приема, который ему был оказан, я сказал, что никогда не сомневался, что наследник британской короны встретит у нас такой прием. «Я признаю, — сказал я, — что не легко объяснить нынешнее настроение немцев по отношению к Англии. В Германии, основываясь на некоторых старых и более новых фактах, считают, что Англия плохо с нами обращается. О ненависти по отношению к Англии, т. е. о желании политически ослабить Англию, ни у кого из здравомыслящих немцев не может быть и речи. Кроме того император Вильгельм II никогда не согласится вести враждебную Англии политику, пока Англия со своей стороны будет хотя сколько-нибудь обеспечивать ему возможность занимать дружественную позицию. Крики и брань печати как у нас, так и в Англии противны, но не имеют никакого значения и не представляют опасности для мира, если правительства будут сохранять хладнокровие. Германское и английское правительства вполне в состоянии поддерживать мирные и дружественные отношения между Германией и Англией и сделать возможным в будущем более интимное сближение».

Принц с интересом выслушал мои историко-политические соображения, охотно согласился с моими выводами и в заключение сказал буквально следующее:

«Мой отец поручил мне сказать вам, что он по-прежнему считает вас своим другом. Он убежден также, что вы одинаково

желаете установить хорошие отношения с Англией, как он с Германией. Он просит только избегать дальнейших жалоб по поводу того, что было, а также не опубликовывать семейных писем, которыми обменялись относительно моего приезда ко дню рождения моего кузена императоры. Мы должны предать прошлое забвению и думать только о том, чтобы остаться в будущем добрыми друзьями».

В Англии антипатия и недовольство по отношению к немцам, возникшие во время бурской войны или, правильнее говоря, снова обострившиеся вследствие бурской войны, продолжались еще некоторое время. В частности они проявились в инциденте с Венецуэлой. Германское и английское правительства действовали в этом инциденте вполне согласованно, лойяльно и с большим тактом; но в английской печати поднялись резкие, принимавшие порою безобразные формы протесты против всякого солидарного выступления с Германией. «Times» заявлял, что оно невозможно, так как не германское правительство, а, что гораздо хуже, германский народ показал себя во время бурской войны злейшим врагом Англии.

С первого дня моего пребывания в должности канцлера и прусского министра-президента я с особым интересом относился к проблемам, касающимся нашей восточной пограничной области. В моей книге «Германская политика», вышедшей отдельным изданием во время мировой войны в 1916 г., я говорю в конце главы, посвященной германской политике в восточных областях, что считаю относящиеся сюда вопросы важнейшими вопросами нашей внутренней политики. Это мне стало ясным еще пятнадцать лет назад, когда я подробно изучал ход этой политики.

История показывает, что попытки немцев завоевать симпатии поляков путем уступок никогда не достигали цели, но зато причиняли ущерб германским интересам.

Бисмарк и здесь, как и во многих других случаях, возобновил традиции великого короля и повел широкую борьбу за землю, издав свой фундаментальный переселенческий закон 1886 г. Колонизационное дело было и оставалось основным элементом прусской политики на восточной границе, потому что благодаря этому немецкие восточные области заселялись немцами. После смерти Бисмарка снова произошел сдвиг в обратную сторону. Как раз у графа Каприви, когда он только что занял свой пост, были прекрасные шансы помочь делу немцев на Востоке. Вследствие затруднительного положения сельского хозяйства цены на имения тогда стремительно упали, и было бы нетрудно скупить у поляков огромные земельные площади для заселения их впоследствии немцами. Но Каприви решил, что ему и в этом вопросе нужно изменить курс. То, что он шел навстречу полякам в школьном и церковном вопросах, это было еще терпимо. Я лично держался всегда того мнения, что нет необходимости, и политически даже нецелесообразно, притеснять поляков в этой области. Но

Каприви зашел так далеко, что при помощи польского земельного банка стал спасать тех самых польских помещиков, у которых переселенческая комиссия должна была постараться приобрести земли. Утверждали, что Каприви вследствие своей чисто военной точки зрения и потому, что он вообще был по характеру человеком негибким, считал войну с Россией неизбежной и на этот случай хотел обеспечить себе возможность восстановить самостоятельное польское государство. Я полагаю, что этот упрек им не заслужен. У Каприви все же было слишком много старопрусских традиций и слишком много чувства государственности, чтобы можно было предположить у него возможность такого заблуждения. Он скорее смотрел на поляков как генерал эпохи Фридриха Великого, который мог сформировать добровольческий корпус из хорватов и словаков, но который никогда бы не позволил им угрожать целости прусской монархии. Чтобы создать на нашей восточной границе самостоятельное польское государство, для этого потребовался Бетман-Гольвег, человек, не понимавший традиций великого короля и величайшего германского государственного деятеля. Под восторженные аплодисменты Ганса Дельбрюка, Рицлера (Рухдорфера) и других подобных дураков, а может быть также и под влиянием Австрии, которая поймала его на удочку, Бетман совершил эту огромную ошибку и тем самым подрубил корни прусского государства.

Для меня с самого начала стояло вне всякого сомнения, что наша политика на Востоке должна быть прежде всего устойчивой. Ничто не могло нам так повредить, как постоянные колебания и повторение старых ошибок. С другой стороны, я не мог скрывать от себя, что вопрос о восточных провинциях является для нас не только вопросом о положении поляков в Германии, но также и вопросом о положении немцев среди поляков, как меланхолически указал однажды на заседании министерства граф Позадовский, который долго служил в Познанской провинции. Я понимал, что по причинам, связанным с нашими положительными и не особенно положительными качествами, немцы не проявляют в национальной борьбе желательной сопротивляемости; они очень легко подвергаются в этой борьбе опасности утратить свою народность, если государство не стоит позади их в качестве опоры. В слабости национального чувства у немцев заключалась одна из главных трудностей вопроса о пограничной восточной области. Для меня это пожалуй было самым сильным доказательством необходимости твердой устойчивой политики в этом вопросе. Надо признать, что мы не обладаем свойствами, позволившими французам ассимилировать по крайней мере высшие слои эльзасского и лотарингского населения и сделать Ниццу и Корсику французскими. Во что превращались немцы, если государство не опекало их, показывала Австрия. Я знал тамошние дела лучше, чем большинство немцев. Я знал, что немцы Чехии, Моравии, Крайны и Южной Штирии оказывались прижатыми к стене и их влияние стало падать, как только Вена перестала

их поддерживать; в Галиции и Венгрии они вытеснялись и поглощались другими нациями, как только лишились опоры в Вене.

От сентиментальных побуждений в отношении к полякам я был совершенно свободен. Я не забыл поведения польской интеллигенции в 1830 и 1848 гг., не забыл кровавую баню в Торне, первое сражение при Танненберге, это величайшее поражение, которое наш народ знает на протяжении столетий. И потом, как обращались сами поляки с русинами[1] в Галиции! Разве русины на Карпатах и на Пруте не выступали против поляков с еще более резкими, а главное с более основательными жалобами, чем эти последние на Варте и Висле против нас? У меня никогда не было сомнения в том, что если полякам удастся подчинить себе немцев, то они будут управлять этими несчастными с величайшей жестокостью и с подлым высокомерием.

Моя позиция в вопросе о восточных провинциях определялась вескими соображениями нашей внешней политики. Одной из предпосылок для сохранения дружественных отношений с Россией (что было так важно для нас и так трудно после того, как мы сами допустили неловкий шаг — порвали связь с Россией и сделали возможным заключение русско-французского союза) был твердый курс в нашей польской политике. Всякая слабость и уступчивость по отношению к великопольской агитации в наших пределах порождала недоверие в Петербурге, где со времени Каприви за этим подозревали намерение обеспечить себе содействие поляков на случай войны с Россией. Я всегда держался того мнения, что мы всячески заинтересованы в том, чтобы избегать войны с Россией. Я был убежден, что такого конфликта избежать можно, и притом вполне сохраняя свое достоинство. Главное же я был убежден, что для нас не может быть большей беды, чем восстановление самостоятельной Польши. Это мнение сложилось у меня не post factum[2], когда опыт, проделанный Бетман-Гольвегом и его друзьями, потерпел такое жалкое и ужасное фиаско. Уже с первых дней моего пребывания на посту канцлера я был в полной мере проникнут сознанием опасности восстановления Польши в каком угодно виде, равно как и необходимости постоянно и энергично охранять и оберегать немецкое начало в наших восточных провинциях. В течение многих лет на моем письменном столе лежала превосходная статья Трейчке о Пруссии, области немецкого ордена. Поэтому уже 10 декабря 1902 г. я заявил в рейхстаге, что моя политика в восточных провинциях будет руководствоваться только соображениями государственного интереса и моего долга по отношению к немецкой народности. Этот долг я намерен постоянно помнить. Ввиду серьезной опасности, которая, по моему убеждению, угрожает нашей народности на Востоке, я сделаю все, что могу по своему служебному

---

[1] Украинцами.
[2] Задним числом.

положению, для того чтобы немцы на Востоке не оказались под колесами.

В двухчасовой речи, которую я произнес в прусском ландтаге 13 января 1902 г., я заявил, что считаю вопрос о восточной области не только одним из важнейших вопросов нашей политики, но именно тем вопросом, от развития которого зависит ближайшее будущее нашего отечества.

На торжественном обеде, который Вильгельм II давал 5 июня 1902 г. в. Мариенбурге капитулу ордена иоаннитов, он произнес речь, ошеломившую своим подъемом и запальчивостью даже меня с Луканусом, хотя мы уже в этом отношении видывали виды. Тот самый монарх, который часто с сомнением и неохотно, а иногда даже отрицательно относился к моей обдуманной и последовательной политике в восточных областях и который во время мировой войны под влиянием Бетман-Гольвега восстановил Польшу, обратился 5 июня 1902 г. к собравшимся гостям (а это были все сплошь хотя и почтенные, но в большинстве своем уже пожилые и дородные рыцари ордена), чтобы они «ударили орденским мечом в мощной руке по сарматам, наказали их за дерзость и уничтожили их». Как я уже это часто делал раньше и впоследствии, я запретил присутствовавшему здесь представителю телеграфного агентства Вольфа опубликовать полный текст речи его величества и быстро набросал на оборотной стороне меню новую речь, выдержанную в твердом, но достойном и спокойном тоне, без всяких эксцентричных выходок. На сей раз нужно было торопиться, так как император всего через полчаса по окончании обеда собирался вернуться в Потсдам. Я подошел к нему в сопровождении Лукануса. Когда я прочел ему мою редакцию, император совсем разгневался. В частности он особенно настаивал на «наказании сарматов», хотя я указывал ему, что это может оскорбить русских, которые могут принять это выражение на свой счет. Некоторое время мы спорили о древних сарматах, о том, жили ли они на Висле или на Дону. Император ссылался на Геродота, я — на Страбона. Наконец его величество сказал: «Моя речь была достойна старых гроссмейстеров ордена, Германа фон Балка и Германа фон Зальца, а вы заставляете меня говорить так, точно я состою учителем истории в женской гимназии». Но Луканус и я не отступали от него, времени было мало, и в конце концов император уступил. Но при этом он отдал начальнику гражданского кабинета распоряжение сохранить первоначальный текст его речи в домашнем императорском архиве.

Когда император отбыл, то русский посол граф Остен-Сакен, с ужасом выслушавший речь его величества в ее первоначальной редакции и наблюдавший за моим спором с монархом по окончании обеда, сказал мне: «Его величество император очарователен, как человек он не знает себе равного по обаятельности, но как монарх он весьма опасен, хотя в сущности не желает никому причинять зла. Он непоследователен. Да сохранит вас бог около него».

ГЛАВА XXXVI

Я уже рассказывал, как во время императорского визита в Константинополь в беседе с Георгом фон Сименсом у нас возник проект Багдадской железной дороги [50]. Конечный пункт Багдадской дороги на Персидском заливе должен был быть установлен позже совместно с Портой. Последнее условие было выдвинуто мною, так как по поводу местонахождения конечного пункта Багдадской железной дороги я хотел договориться с Англией, чтобы избежать всего, что может вызвать какие-либо возражения или недоверие со стороны повелителей Индии.

Чем больше осложнялись наши отношения с Англией из-за причин, которые я уже неоднократно излагал, тем больше значения я придавал дружественным отношениям с Соединенными штатами. Император Вильгельм II охотно шел навстречу моим усилиям и намерениям в этом отношении. Соответственно всей его природе его величеству императору очень нравились предприимчивые, деятельные, неутомимые, отважные американцы. Американский сверхмиллионер, который все чаще стал тогда показываться в Европе, в особенности пришелся по вкусу императору.

Вильгельм II был похож на своего дядюшку короля Эдуарда в том отношении, что ему импонировали большие деньги. Теодор Рузвельт, в то время первый человек Соединенных штатов, имел для императора особенно притягательную силу. «Вот это — человек в моем вкусе», — неоднократно восклицал он, как только заходила речь о Рузвельте. Он вскоре вступил в переписку с Рузвельтом, о которой можно сказать то же самое, что и о переписке с царем. Когда он показывал мне перед отправкой свои письма, написанные прекрасным английским языком, разрешая мне вычеркивать те или иные опасные выражения, то остальное письмо по непосредственности и силе выражения могло оказать только хорошее действие. Такого рода профилактический контроль был конечно необходим. Злосчастное предубеждение его величества против Страны восходящего солнца проявлялось также в его переписке с Рузвельтом. Император постоянно стремился предостеречь Рузвельта против коварных планов Японии.

Император был убежден, что война между Японией и Соединенными штатами совершенно неизбежна и близка, и с первого до последнего дня моей служебной деятельности крепко держался этого дикого взгляда, несмотря на то, что я всегда разуверял его в этом, основываясь на сведениях, имевшихся у меня благодаря моим дружеским отношениям с японскими дипломатами и в особенности со многими американцами. Я ясно помню, что однажды Вильгельм случайно сказал мне, что во время одной из своих отлучек из Берлина он написал своему другу Рузвельту «замечательное» письмо, которое здорово должно было его напугать. Так как он не мог мне показать это письмо до от-

правки благодаря разделявшему нас расстоянию, то он хочет сделать это теперь. Это письмо содержало в себе наряду с резкими выпадами против «япошек»[1] достаточно фантастические сообщения об их военных приготовлениях против Америки, причем Вильгельм энергично требовал от Рузвельта, чтобы он больше, чем когда-либо, был на-чеку против «желтой опасности». Я заявил императору, что это письмо не должно попасть в руки Рузвельта: с одной стороны, я считаю это письмо фактически не выдерживающим критики, с другой стороны, император не должен давать в руки Рузвельту такое оружие против себя. «Но ведь Рузвельт — мой друг», — воскликнул император. Когда я возразил императору, что в политике не существует друзей в том смысле, какой он придает этому слову, он посмотрел на меня очень недоверчиво. В конце концов я настоял на том, чтобы ящик с дипломатической почтой, который увозил письмо императора к Рузвельту через Атлантический океан, был задержан по прибытии в Нью-Йорк и чтобы нашему нью-йоркскому представительству было предписано вернуть это послание в нераспечатанном виде обратно в Берлин. Я полагаю, что впоследствии император был рад, что это неосторожное письмо, имеющее целью восстановить Рузвельта против Японии, не попало в руки замечательного Теодора, который в начале мировой войны так же, как и князь Монакский, Лонсдаль, Лакруа, Бонналь и многие другие иностранные «друзья» его величества, повернулся против Вильгельма и который не постеснялся летом 1914 г. открыто назначить большую награду тому, кто приведет ему «императора Вильгельма живым», чтобы он мог привязать его к позорному столбу.

Кстати сказать, после моей отставки Рузвельт, тем временем вышедший в отставку, во время турне по Европе посетил Берлин и был там принят с почти королевскими почестями. Я подчеркиваю еще раз, что, если отвлечься от преувеличений и необдуманных поступков, стремление императора к возможно лучшим отношениям с Америкой было совершенно понятным. Антипатия к Америке, царившая в особенности в консервативных кругах Германии, была глупостью.

15 февраля 1902 г. принц Генрих отплыл в Нью-Йорк на пароходе «Кронпринц Вильгельм». Перед его отъездом я направил ему длинное послание, в котором между прочим указывал, что от принца не требуется никакой политической работы в Америке. Ему не надо привозить оттуда ни политического договора, ни торгово-политического соглашения, никаких политических, экономических или территориальных уступок. Единственная цель его поездки — порадовать американцев и завоевать их симпатии, убедить их в симпатиях императора и германского народа к великому и мощно развивающемуся американскому народу, а также доказать им пользу хороших отно-

[1] «Japs».

шений между американским и германским народами. Германию и Америку не разделяют никакие политические разногласия; наоборот, их связывают многочисленные и важные интересы. Принц не должен брать инициативы обсуждения положения в Южной и Центральной Америке и, само собой разумеется, не должен соглашаться с мнением о том, что Германия имеет какие-либо виды на эти области, и не давать повода к каким-либо подозрениям. Если бы американцы выразили какое-нибудь беспокойство насчет захватнических намерений Германии в отношении Южной и Центральной Америки, принц может с чистой совестью отрицать это как полнейший абсурд, указав на мирное направление нашей политики и на множество других задач, которые нам и без того предстоит еще разрешить. Я закончил словами: «Уже давно ни одна поездка принца королевской крови не имела такого значения для отечества, как ваше путешествие в эту великую республику, найденную Колумбом среди океана».

Путешествие принца прошло без всяких осложнений.

В середине лета 1902 г. должно было состояться возобновление Тройственного союза. Как в Вене, так и в Риме проявилась тенденция внести при этом в Тройственный союз изменения. В Вене желали, чтобы Германия еще теснее и определеннее связала себя с габсбургской монархией на случай разногласий Австрии с Россией, с одной стороны, и с балканскими государствами — с другой. В Италии, наоборот, хотели ослабить обязательства, налагаемые Тройственным союзом. Я стремился к возобновлению Тройственного союза в совершенно неизменной форме не только ради влияния на остальной мир, но и для того, чтобы иметь узду на наших союзников. Я давно уже понимал, что, обладая германской поддержкой, Вена стала бы хозяйничать на Балканском полуострове еще более успешно и бесцеремонно, чем до сих пор, и что в австрийском генеральном штабе существовала тенденция при первом удобном случае напасть или на Италию, по традиции ненавидимую в Вене, или на Румынию и Сербию, частью презираемых венграми, частью вызывающих у них недоверие. Я также хорошо знаю, что итальянцы в свою очередь полны решимости защищать свою свободу, что они стараются застраховать себя от всяких случайностей, что они по своему обычаю стремятся иметь в запасе много разных средств. Кто читал донесения венецианских послов и инструкции папской канцелярии XV и XVI столетий, поразится заключающейся там политической мудростью. Но он также совершенно утратит всякое сомнение в том, что итальянские политики еще задолго до того, как это однажды открыто высказал Бисмарк, привыкли следовать правилу, согласно которому правительства и министры только до тех пор соблюдают союзные договоры, пока это соответствует их государственным интересам. Когда во время моего краткого пребывания в Венеции весной 1902 г. итальянский министр иностранных дел господин Принетти, посетивший меня там, энергично требовал

от меня отдельных изменений в договоре о Тройственном союзе, я занял по отношению к нему ту точку зрения, которой придерживался в XVIII веке генерал ордена иезуитов, когда от него требовали реформы ордена: «Sint ut sunt aut non sint»[1].

В той же самой речи, с которой я вынужден был выступить в ответ на эдинбургскую речь Чемберлена, я открыто высказал, что Тройственный союз является очень полезной связью для трех государств, которые в силу своего географического положения и своих исторических традиций должны поддерживать добрососедские отношения; что у союза нет никаких захватнических и воинственных намерений; что союз соответствует чувствам и традициям германского народа, но что для Германии этот союз вовсе не является абсолютной необходимостью. Это мое заявление встревожило почтенного императора Франца-Иосифа, возмутило венских генштабистов и венгерских шовинистов. Бедный Фили Эйленбург, тотчас же потерявший спокойствие духа, написал мне слезное письмо, в котором говорил, что Голуховский «растерялся», император Франц-Иосиф «жестоко обижен», вся Австрия «глубоко оскорблена». Однако результатом моей речи было то, что в Вене поспешили подтвердить возобновление Тройственного союза на прежних условиях. Старая Австрия принадлежала к той породе лошадей, у которых нужно то натягивать мундштук, то отпускать его, если хочешь на них ездить. Относительно Италии я употребил часто цитировавшееся выражение: «В счастливом браке муж не должен сердиться на то, что его жена невинным образом сделала лишний тур вальса, главное — чтобы она не ушла от него, а она не уйдет, если ей с ним лучше». Я знал очень хорошо, что итальянская дипломатия намерена держаться Тройственного союза, но вместе с тем хотела бы застраховать себя от противодействия Франции в случае, если Италия задумает протянуть руку к Триполи. Она вообще хотела бы иметь все пути свободными. Я знал также, что Италия, подобно многим красивым женщинам, скорее всего сохранит верность, если избегать по отношению к ней резкого принуждения или слишком связывать ее. Я всегда был того мнения, что важна не буква договора, а дух его, что главное значение имеют не отдельные пункты, а вся политика в целом[31]. 28 июня 1902 г. договор Тройственного союза в совершенно неизмененном виде был подписан в зимнем саду рейхсканцлерского дворца мною и послами Сечени и Ланца.

После свидания в Геле я всячески доказывал императору, что он очень затруднил осуществление своего столь сильного, быть может даже чересчур явно высказываемого желания поддерживать добрососедские отношения с царем благодаря нелюбезному обращению с русским министром иностранных дел. Такие психологические массажи, как я называл подобные внуше-

[1] Или пусть они остаются такими, как они есть, или пусть их совсем не будет.

ния императору Вильгельму, тогда еще давали хорошие результаты. При новой встрече с царем, состоявшейся в моем присутствии в начале августа в Ревеле, император приветствовал русского министра иностранных дел с такой спокойной любезностью, как если бы между ними никогда ничего не происходило. Вильгельм пожал министру руку и лично передал ему высший орден Черного орла. Он воздержался также от всяких шуток, когда пушечная канонада во время маневров флота видимо до известной степени действовала на нервы графа Ламсдорфа.

Из длительных бесед, которые я вел с царем, у меня в памяти остался момент, когда я напомнил ему слова Бисмарка, которые уже когда-то приводил ему, — что трудно предсказать исход войны между тремя державами в смысле военной победы, но зато вполне точно можно сказать, что по счетам расплачиваться придется трем монархам. Император Николай схватил мою руку, долго смотрел на меня своими меланхолическими глазами и сказал наконец: «Я в этом так же убежден, как и вы». Во время этого-то свидания в Ревеле Вильгельм II и позволил себе шутку: он под руку с царем направился ко мне и еще издали громко закричал: «Знаете, как мы решили именовать себя в дальнейшем? Император Николай отныне будет называть себя: the Admiral of the Pacific[1], а я — the Admiral of the Atlantic»[2]. При этой шутке на лице императора Николая выразилось смущение. Чтобы помочь ему, я заметил, что меня не удивляет, если монарх, который, несмотря на свое могущество, так высоко ценит благодеяния, доставленные миром, принял такой эпитет[3]. Повелитель всея Руси с живостью согласился со мною. Несмотря на то, что, как только мы остались наедине, я просил императора Вильгельма бросить эту ужасную игру словами, император опять за обедом многократно возвращался к этому с упрямством избалованного ребенка к видимому неудовольствию царя. Наконец наступил момент расставания. Оба императора обнялись и расцеловались, русская яхта взяла курс на Кронштадт, когда император Вильгельм сигнализировал русскому императору прощальный привет: «Адмирал Атлантики желает доброго пути адмиралу Тихого океана». Через несколько минут последовал холодный ответ: «До свиданья». С большим тактом комендант яхты «Гогенцоллерн» тотчас же запретил офицерам и матросам разглашать что-нибудь об этих сигналах. Но русские, как видно, были менее сдержанны. Через несколько недель вся эта история была помещена в большой английской газете. Этим была дана возможность английской и французской прессе приписать императору Вильгельму стремление вырвать у старой Англии, владычицы морей, трезубец Нептуна, тогда как в действительности

[1] Адмирал Тихого океана.
[2] Адмирал Атлантического океана.
[3] Pacific по-английски значит мирный, миролюбивый.

император никогда не носился с наполеоновскими планами. При этом конечно снова была извлечена на свет кельнская речь относительно трезубца, произнесенная в июле 1897 г.

Довольно много места в беседах обоих императоров занимала возможность осложнений между Японией и Россией. Император Николай был уверен, что маленький «япошка» не отважится померяться силами, если великая Россия будет с твердостью выступать по отношению к нему. Царь был серьезно встревожен постоянными покушениями русских революционеров.

С немалым удивлением прочел я в газетах телеграмму, которую сейчас же после моего отъезда император Вильгельм отправил из Свинемюнде[1] баварскому принцу-регенту. В Мюнхене состоявшее из партии центра большинство нижней палаты, чтобы сделать неприятность министерству Крайльсгейма, которое не хотело, да и не могло выполнить всех его узкопартийных требований, сократило баварский бюджет на культурные цели. Это голосование совершенно явным образом было направлено против принца-регента, так как делало невозможными закупки для государственных галлерей, относительно которых престарелый принц уже дал личные обязательства. В своей телеграмме принцу-регенту император Вильгельм выразил свое глубокое «негодование» по поводу отказа в суммах, требуемых баварским правительством для нужд искусства. Он высказал свое возмущение по поводу этой «черной неблагодарности» и предоставил принцу-регенту ту сумму, в которой ему отказали клерикалы, чтобы он имел возможность выполнить в «полной мере» те задачи, которые он себе поставил в области искусства. В вежливом, но холодном ответе, составленном Крайльсгеймом, принц-регент благодарил императора за горячий интерес к художественным запросам. Он рад сообщить императору, что благодаря великодушию одного из его государственных советников баварское правительство получило возможность и дальше продолжать попрежнему покровительствовать искусству согласно виттельсбаховским традициям. Впрочем речь идет об относительно незначительной сумме в 100 тысяч марок.

Впечатление, которое произвел этот инцидент, было весьма неблагоприятным не только в самой Баварии, но и по всей империи. Не одна только пресса партии центра подняла большой шум. Либеральные газеты также считали печальным и опасным такое вмешательство императора во внутренние дела союзного государства, да еще являющегося вторым по своей величине. Можно было предвидеть весьма нерадостные и вредные для государства дебаты в рейхстаге. Положение замечательного, всей душой преданного империи министра-президента Крайльсгейма было сильно поколеблено.

22 ноября 1902 г. внезапно скончался Альфред Крупп, сын

[1] Возвращаясь из Ревеля, Вильгельм II высадился в Свинемюнде и задержался там, в то время как Бюлов отправился в Берлин.

гениального основателя величайших сталелитейных заводов в мире. Фирма Круппа владела кроме сталелитейного завода в Эссене приобретенными ею Грузоновскими машиностроительным и литейным заводами в Буккау, а также верфью «Germania» в Киле, стальными предприятиями в Аннене, тремя угольными шахтами, четырьмя доменными печами, и кроме того фирме принадлежало более 500 железных рудников.

Крупповское предприятие уже давно перегнало железоделательные и машиностроительные заводы Шнейдера — Крезо, составлявшие гордость Франции. Крупп распространил честь и славу германской промышленности и немецкого труда по всему миру, который завидовал тому, что у нас есть такое мощное предприятие. Может быть еще более заслуживающим уважения является широкий, едва ли где-нибудь в другом месте достигнутый размах, с каким фирма Круппа проявляла заботы о своих рабочих и служащих, для которых она строила больницы, потребительские магазины, школы домоводства и технические училища, дома для рабочих и служащих. Вот где была социальная политика, вот где было проведение христианства в жизнь!

В противоположность своему отцу, сильному волей, упорному, угловатому человеку, основателю гигантских предприятий, с характером прирожденного властелина, Альфред Крупп был болезненным человеком, скорее чувствительным, нервным и несколько мягким. Крупповские предприятия были издавна бельмом на глазу германской социал-демократии именно потому, что рабочие и служащие этой фирмы были довольны своим положением. Фердинанд Лассаль бросил крылатое слово: «Проклятое довольство». Миккель рассказывал, что он, будучи студентом, в своем юношеском неведении склонным к коммунистическим взглядам, в Висбадене, когда его друг хотел подать нищему пару крейцеров, схватил его за руку с возгласом: «Не задерживай социальной революции». Социал-демократические вожди больше всего негодовали на то, что крупповские рабочие в большинстве своем на выборах не голосовали за социал-демократических депутатов.

ГЛАВА XXXVII

Я заявил еще во время польских дебатов, что считаю моей важнейшей задачей установление мира между обоими большими христианскими вероисповеданиями. Я могу сказать без преувеличения, что мне удалось во время моей служебной деятельности оказать содействие примирению между обоими вероисповеданиями.

Кардинал Копп писал мне из Рима по поводу нападок на меня со стороны одной газеты партии центра: «В папе, кардинале, статс-секретаре, а также в руководящих ватиканских кругах вы можете быть вполне уверены. Здесь доверие к вам непоколебимо, и ни поляки, ни иезуиты не смогут заставить курию чинить

вам препятствия. Прусские епископы взирают на ваше превосходительство с полнейшим доверием, как на оплот государственного управления, основанного на равноправии»[1]. В это же самое время папа Лев XIII сказал одному католическому чиновнику иностранного ведомства барону Шауэнбургу, который во время своего свадебного путешествия был принят папой в частной аудиенции: «Не забудьте передать привет моему другу канцлеру Бюлову».

В октябре 1902 г. началось второе обсуждение таможенного тарифа. Я положил ему начало большой речью, в которой доказывал необходимость ввиду предполагаемого в других странах повышения таможенного тарифа «порядочно» усилить также и нашу торгово-политическую защиту.

Особую услугу в этом отношении должна была оказать большая специализация нового тарифа, которая являлась сильным оружием в предстоящих переговорах о новых торговых договорах. Согласно настойчивым желаниям сельских хозяев должны были быть установлены минимальные и максимальные пошлины на главные сорта злаков: рожь, пшеницу, ячмень и овес. Я полагал, что правильно определил размер хлебных пошлин, с одной стороны, с точки зрения сохранения сельского хозяйства на прежней степени интенсивности и объема, а с другой стороны, чтобы все-таки сохранить возможность заключения долгосрочных торговых договоров. Слева мне иронически кричали: «Все-таки!» Эти возгласы побудили меня тотчас же дать разъяснение по поводу оснований, которые заставляют нас в интересах всей нации прилагать усилия к тому, чтобы в отношении снабжения сделаться по возможности независимыми от заграницы. Но при этом я все же поставил пошлину в 5—5,5 марок как крайний предел, до которого может дойти повышение пошлин на хлеб. С большим ударением и повышенным тоном я заявил, что повышение ставок минимального тарифа или увеличение их числа сделает невозможным заключение торговых договоров. Левой части рейхстага я предъявил требование не прерывать искусственно хода наших переговоров и не затягивать их. Каждая обструкция, подчеркнул я при громких криках социал-демократов, вредит престижу, положению и удельному весу парламента и парламентских учреждений. На следующий день публицистические органы консерваторов и центра в один голос заявили, что проведение таможенного тарифа совершенно исключается. Свободомыслящий депутат Готейн сказал, что с таким тарифом и таким канцлером мы можем заключать только договоры о «дурном обращении», но не торговые договоры[2].

В ближайшие недели социалисты ревностно занялись проведением именных голосований для затяжки обсуждения тарифа. Я почувствовал необходимость вмешаться и посетил для этой цели президента рейхстага графа Балестрема. Он был совершенно со-

[1] Имеется в виду равноправие обоих вероисповеданий—католиков и протестантов.

[2] Игра слов: Misshandlungsverträge, aber nie Handelsverträge.

гласен с тем, что действительно следует, как предложил Кардоф и другие консерваторы, сократить процедуру голосования согласно проекту, который внес один из депутатов центра.

13 ноября рейхстагом было принято предложенное изменение порядка делопроизводства. День 12 ноября 1902 г., приведший к бурным дебатам по поводу порядка делопроизводства, был почетным днем для Евгения Рихтера. В противоположность многим его партийным друзьям, а также близнецу «свободомыслящей народной партии» — «объединению свободомыслящих», — он под шумные аплодисменты правых и такие же шумные порицания социалистов выступил против социал-демократов. Рихтер понимал, что победа социал-демократического течения является большой опасностью не только для родины, но также для партии свободомыслящих и основных принципов свободомыслящей буржуазии и таким образом для будущего и для самого существования народной партии.

При энергичном руководстве дебатами со стороны графа Балестрема, после того как состоялось соглашение по главным пунктам таможенного тарифа между мною и партиями большинства, проект Кардофа о порядке голосования был принят значительным большинством, причем я согласился на снижение некоторого количества промышленных пошлин, а также на предложенное нормирование пошлин на скот и учреждение санитарной полиции. Путь для принятия таможенного тарифа был расчищен. Оставалось еще преодолеть ожидавшуюся со стороны социалистов обструкцию и не обращать внимания на вопли союза сельских хозяев, главный орган которых «Deutsche Tageszeitung» день принятия проекта Кардофа провозгласил черным днем для сельского хозяйства.

Проект Кардофа был принят 2 декабря 1902 г. большинством 200 голосов против всего лишь 44.

13 декабря в 10 часов утра началось самое длительное заседание рейхстага, на каком мне когда-либо пришлось присутствовать, — девятнадцатичасовое заседание. Я три раза должен был брать слово. Я призывал рейхстаг для блага родины обеспечить завершение великого дела тарифной реформы. Когда социал-демократы криками прервали меня на словах «для блага родины», я еще раз повторил громким голосом конец моей речи. Среди социал-демократических ораторов-обструкционистов выделялся депутат Антрик, который 8 часов подряд, с 4½ до 12½ часов, гремел против тарифа. Когда он кончил, Бебель благосклонно похлопал его по плечу. Заседание кончилось в 5 часов утра. В течение всего времени я не покидал рейхстага. На следующий день я получил телеграмму от его величества, в которой он меня «сердечно» благодарил, восхвалял мои «государственные способности», мое «терпение» и мою «ловкость» и сообщил мне, что возвел меня в княжеское достоинство. Хотя я был несколько утомлен, так как спал только около двух часов, я отправился в Потсдам, где находился император, и убедительно просил его освободить меня

от этой высокой чести. Во-первых, мне было тягостно получить большое отличие за победу во внутренней партийной борьбе. Во-вторых, я вообще не испытывал никакого стремления к повышению в сословном достоинстве. Это были не только одни слова — это соответствовало моим внутренним чувствам. Я гордился и горжусь моим древним именем. Я чувствовал себя в качестве просто господина фон Бюлова так же хорошо, как в звании графа или князя. Император согласился с неохотой.

К сожалению моя задача еще не исчерпывалась установлением приемлемого таможенного тарифа, который защищал бы отечественное сельское хозяйство и одновременно допускал возможность заключать торговые договоры. Мне предстояла еще очень трудная и очень неприятная обязанность — выступить в рейхстаге и перед страной в защиту хотя и продиктованных самыми лучшими намерениями, но тем не менее неуместных последних выходок императора, в особенности свинемюндского инцидента. Депутат Шедлер во время первого чтения бюджета 14 января 1903 г. сделал запрос по поводу свинемюндской телеграммы.

В моем ответе на нападки Шедлера, которые не произвели впечатления потому, что его негодование было явно напускным, я впервые развил свое отношение к речам, выражениям и поступкам императора. Я указал на то, что основанная на контрассигнировании ответственность канцлера по нашей конституции не распространяется на личные выступления императора. Право выражать свое мнение принадлежит императору так же, как и всякому гражданину. Я не могу однако не заявить перед страной, что добросовестный, сознающий свою моральную ответственность государственный канцлер не сможет оставаться на своем посту, если он не будет в состоянии устранять такие явления, которые он по чувству долга признавал бы наносящими серьезный и длительный вред благу империи. Я очень хорошо знаю, что я ответственен перед союзным советом и рейхстагом за такое ведение дел, которое подвергало бы опасности внутреннее и внешнее спокойствие страны. Наконец я указал Шедлеру, что идея императорской власти для германского народа не является только формальным понятием, так как она воплощает в себе дорогие его сердцу традиции, его внешний престиж, его будущее. Когда на следующий день представитель умеренного крыла социал-демократического лагеря депутат фон Фольмар упрекнул императора и монархию в антисоциальных тенденциях, мне было легко опровергнуть это совершенно необоснованное обвинение указанием на императорское послание от 17 ноября 1881 г. и наше социальное законодательство, в особенности на закон о рабочем страховании. Германская монархия в сущности сделала для рабочих гораздо больше, чем французская республика. По этому поводу я упомянул о том, что наш посол в Париже князь Радолин недавно доносил о Мильеране: «Мильеран энергично добивается подъема благосостояния низших классов, к чему буржуазия не питает

излишней склонности». Когда я зачитал это место из донесения парижского посла, социал-демократы закричали мне: «Как и у нас». Я схватил быка за рога и тотчас же возразил: «Меня поражают эти восклицания: вы бросаете мне буквально те же слова, которые император начертал на полях парижского донесения». У социал-демократов вытянулись лица. Я прочел им дальше из донесения Радолина: «Господин Мильеран очень далек от того, чтобы потрясать основы». Обращаясь к социал-демократам, я добавил: «Господа, я желаю, чтобы и у вас был Мильеран». В конце своей речи я еще раз подчеркнул, что рейхсканцлер, заслуживающий этого названия, обладающий характером мужчины, а не старой бабы, не будет защищать ничего такого, чего он не может оправдать перед своей собственной совестью. Рейхсканцлер не является просто исполнительным органом. Это не соответствовало бы ни желаниям императора, ни интересам германского народа.

Социал-демократия, которая после постигшей нас катастрофы не могла найти достаточно слов, чтобы осудить политику старого правительства по отношению к Англии и которая больше всего и охотнее всего распространялась о своей «способности объединять народ» во время бурской войны и после нее, сама травила англичан. Даже более рассудительный, вообще говоря, Фольмар бросил мне упрек в том, что моя политика во время южноафриканской войны не находилась в созвучии с «чувствами народа». Я должен был напомнить ему, а с еще большим ударением антисемиту Либерману фон Зонненбергу, что внешняя политика проводится не по велениям сердца, а только по указаниям разума, и защищал отказ принять бурских генералов, которые недавно посетили Берлин. Настроение в Берлине было еще настолько антианглийским, что гостиница, где остановился генерал Девет и два его товарища, была целый день окружена толпой народа, благоговейно распевавшей: «Die Wacht am Rhein», «Feste Burg» и «Deutschland, Deutschland über Alles»[1]. Если я не ошибаюсь, то бурский генерал, которого тогда приветствовало берлинское население, впоследствии, во время мировой войны, сражался против нас на стороне англичан. Я рассчитался с безрассудством пангерманцев, сказав им по этому поводу, а через них и многим другим немцам, настроенным в том же духе, что грубость и достоинство, раздражительность и твердость — вовсе не одно и то же. Всякий купец знает, что можно быть деловым человеком и иметь хорошие манеры. Шовинизм и любовь к родине не являются идентичными понятиями; вечные угрозы, брань и поношение чужих стран вовсе не являются признаками истинного национального сознания. Если искусство министра иностранных дел состоит только в том, чтобы время от времени ударять кулаком по столу, тогда всякий мог бы быть этим министром. Мы не должны ра-

[1] «Стража на Рейне», «Бог наша крепость» и «Германия, Германия превыше всего».

выгрывать буянов, хвастунов, но по доброму немецкому обычаю быть спокойными и твердыми людьми, которые без лишнего геройства на словах умеют защищать себя и своих близких. Пангерманцы, как я добавлю теперь, очень повредили нам своими преувеличениями, своей бестактностью, полным отсутствием политического разума. Я должен добавить, что ими руководила не злая воля, а скорее то наивное простодушие, которое так часто свойственно немецким политикам.

Прочитанное мною замечание императора относительно Мильерана явилось поводом к моей встрече с социалистическим депутатом фон Фольмаром. Фон Фольмар, руководивший тогда умеренным крылом социалистов, так называемыми ревизионистами, просил меня встретиться с ним, чтобы побеседовать, на что я охотно согласился. Он произвел на меня впечатление не только умного, но честного и стойкого человека, с которым можно заключить деловое соглашение, не нарушая обоюдных принципов. Начало, правда, должно быть положено назначением министров из среды парламентских представителей различных партий, на что император не мог решиться даже после одержанной мною избирательной победы в январе 1907 г., опасаясь, что он будет тогда стеснен и ограничен в свободе действий, в своем личном поведении, в своих речах, путешествиях, в своих внезапных решениях и во всех своих несвоевременных выступлениях. Относительно моих переговоров с господином фон Фольмаром я конечно хранил молчание. Но Бебель повидимому каким-то образом проведал кое-что, потому что на следующий день в одной из своих длиннейших речей заявил, сопровождая свои слова яростным взглядом в сторону Фольмара, что он никогда не позволит, чтобы социал-демократ без совершенно определенных гарантий и иначе как на совершенно определенных условиях принял министерский портфель.

После того как эти во многих отношениях не только неприятные, но и внушающие опасения дебаты об императоре были временно закончены, ко мне явились представители трех партий, которые совместно провели таможенный тариф: граф Гомпеш — от партии центра, граф Лимбург-Стирум — от консерваторов, Эрнст Бассерман — от национал-либералов, все монархически настроенные, убеждения которых не оставляли никаких сомнений. Они передали мне меморандум, в котором было изложено, что необдуманность речей и выступлений Вильгельма II представляет собой большую опасность для монархии. Они не сомневались в доброй воле императора, еще меньше в его наилучших намерениях. Но своими ошибками и промахами он подрывает престиж и будущее монархии. Я должен позаботиться о том, чтобы император проявлял больше сдержанности и соблюдал бы большую осторожность. Я объяснил этим господам, что я, несмотря на полное уважение к их лойяльным и патриотическим побуждениям и намерениям, не могу принять их меморандум. Это не соответствует ни моим монархическим убеждениям, ни традиционному положению

монархии в Германии, ни духу нашей конституции. Но я буду говорить с его величеством серьезно и настойчиво в духе их представлений. Они объявили мне по собственной инициативе, что их демарш останется неизвестным широкой публике. Так как я знал, что мои письменные доклады имеют более серьезное влияние на императора, чем устные беседы, я передал ему на следующий день обстоятельное и очень серьезное письмо, в котором говорил приблизительно следующее. Я знаю очень хорошо, что он далек от всякой мысли о государственном перевороте или нарушении конституции не только из добросовестности, но и потому, что он слишком умен, чтобы не понять, что если такой радикальный шаг должен был произойти, то случай для этого был упущен в 1890 г. Мы ведь оба согласны с тем, что только творец имперской конституции и создатель империи князь Бисмарк мог бы провести такую операцию, представлявшую риск для жизни государства. Если революционеры сделают попытку нарушить порядок, оскорбить конституцию, произвести переворот, то такие стремления будут энергично пресекаться не только мной, но и всяким другим канцлером, заслуживающим этого звания. Но император несомненно сходится со мной в том убеждении, что нам не следует начинать ни превентивной внешней войны, ни уничтожения в профилактических целях скрепленной присягой конституции. Однако как раз потому, что император в серьезных беседах со мной неоднократно высказывался в этом смысле, он должен быть осторожен, чтобы своими речами и поступками не создать у немецкого народа и за рубежом ложного представления о своей личности и своих намерениях. Если император не принудит себя к известной сдержанности в этом отношении, не укротит своего темперамента, то рано или поздно это может повести к катастрофе. Прекрасным доказательством благородства натуры императора может служить то, что он не только тогда не обиделся на меня, но и в дальнейшем ни в какой мере не сердился на меня за это письмо. Он ответил мне, что он очень хорошо знает, что я желаю ему добра и стремлюсь выполнить мой долг как канцлер и по отношению к короне. Но он не в состоянии измениться и останется таким, каков он есть. Остальное нужно предоставить воле бога, который всегда простирал свою длань на защиту дома Гогенцоллернов и не покинет также и его.

ГЛАВА XXXVIII

Посол в Вене князь Филипп Эйленбург ушел в отставку. Мне было не совсем приятно, что Эйленбург уезжает из Вены, где он был доволен своим положением, пользовался симпатиями старого Франца-Иосифа и благодаря своему необычайному умению обращаться с людьми приобрел большое влияние в широких кругах общества. Причины его отставки так и остались неясными для меня.

Самым подходящим преемником Эйленбургу казался мне наш

посол в Риме граф, а затем князь Карл Ведель, бывший при Бисмарке военным атташе в Вене. Император одобрил этот выбор. Карл Ведель был одним из самых дельных, честных и в лучшем смысле этого слова благороднейших людей, каких я когда-либо встречал.

В Риме Ведель приобрел большие симпатии и уважение благодаря своей прямоте. Его преемником в Риме я выбрал Монтса. Это была досадная ошибка. Конечно на мой выбор не повлияли лесть и поклонение, которыми Монтс с непомерным усердием окружал меня в течение многих лет. Его восхваления действовали на меня неприятно именно своей чрезмерностью. Я выбрал Монтса потому, что полагал, что его живость, остроумие, а также сравнительный демократизм, который он проявлял тогда в своих политических воззрениях, облегчат ему выполнение его задач в Риме. Когда я обсуждал с итальянским посланником Ланца мое намерение назначить Монтса в Рим, он настоятельно просил меня принять во внимание то, что Монтс известен в дипломатических кругах своей бестактностью и дурными манерами. На следующий день граф Ланца опять вернулся к этому вопросу. Он показал мне телеграмму итальянского посланника в Мюнхене, которого он запросил по этому поводу и который сообщал ему, что Монтс приобрел дурную славу в Мюнхене во всех кругах: при дворе, в обществе и среди художников. Кроме того Монтс ожесточенный враг католицизма, что в Риме в такой же мере не понравится, как это не нравится в Мюнхене. Но я не дал себя переубедить и упрямо настаивал на своем решении; таким образом неудачное назначение Монтса состоялось.

В начале мая император отправился в Рим. Я обратил внимание на то, что свита императора уже на Ангальтском вокзале состояла сплошь из очень рослых офицеров: Гельмута Мольтке, Дитриха Гюльзена, Плессена и др. По дороге присоединился еще Клейст, который пожалуй был еще выше их, потом генерал Якоби, один из самых высоких офицеров в армии, и наконец самый что ни на есть высокий — полковник фон Плюсков, которого в Париже, куда он был однажды послан с особым поручением, назвали «Plusquehaut» [1]. Император задумал произвести впечатление в Риме, набрав этих великанов. Но это была неудачная затея уже потому, что в Северной Италии очень много рослых людей и итальянская королевская гвардия состоит из настоящих гигантов. К тому же эта затея была не особенно тактична: итальянский король Виктор Эммануил III был маленького роста, и являться к нему с этой гвардией великанов было особенно некстати.

Я считал себя вдвойне обязанным просить императора быть возможно любезнее по отношению к королю, так как король сам очень учтив и не любит в других того, что итальянцы называют «prepotenza». В результате встреча между королем и императором прошла на сей раз благополучно. По отношению к королеве Елене

[1] Более чем высокий.

император также еще был свободен от той антипатии, которая завладела им впоследствии в результате бестактных донесений графа Монтса.

Только после моей отставки император стал все больше и больше позволять себе пренебрежительно относиться к итальянской королевской чете. Виноват был в конечном счете фон Бетман. Он на свое собственное и на наше несчастье после назначения его рейхсканцлером обратился к тайному советнику фон Флотову, чтобы тот посвятил его в Arcana Imperii [1]. Флотов прежде заявил новому канцлеру, что я потерпел крушение потому, что стремился играть роль домашнего наставника у нашего императора и последний стал тяготиться мною еще задолго до событий 1908 г. Так как Бетман был преисполнен горячего желания удержаться на посту — ни один министр не цеплялся так за свою должность, как он, — то он с самого начала стал во всем потворствовать императору. Одним из многочисленных последствий этой податливости были наступившие потом напряженные отношения между итальянским королем и германским императором.

В 1903 г. отношения были еще сносны. В продолжительной беседе, которой удостоил меня король Виктор-Эммануил по прибытии нашем в Квиринал, он сказал мне, что интересуется прежде всего Албанией, где не может допустить укрепления никакой другой державы, особенно Австро-Венгрии. Италия не может согласиться на территориальное расширение Австрии на Балканском полуострове, в особенности на Адриатическом побережье. Это вопрос существования для итальянской династии. Я категорически заявил королю, что Австрия не стремится к территориальному расширению ни в Албании, ни в Македонии. На Боснию и Герцеговину у Австрии имеются многолетние права, основанные на Берлинском трактате и сепаратных договорах с Россией. Это не коснется ни Албании, ни Македонии, а воинственным поползновениям пылких мадьяр или беспокойных генштабистов в отношении Сербии или Румынии не даст хода Германия. «L'Allemagne veut la paix» [2].

Впрочем мадьяры — против расширения габсбургской монархии, потому что это может угрожать их гегемонии. Министр-президент Цанарделли и министр иностранных дел адмирал Морин согласились с моими соображениями. Король Виктор-Эммануил III держал себя более сдержанно. Он очевидно очень мало доверял Австрии. С обычной откровенностью, которую он проявлял в беседах со мной, он сказал, что считает недопустимым, что на визит короля Гумберта австрийскому императору до сих пор не последовал ответный визит в Рим. Это «пощечина» не только для его покойного отца, но также и для него лично, для его династии и для его страны.

Маркиз Висконти-Веноста, с которым я обедал у моей тещи

---

[1] В тайны империи.

[2] Германия хочет мира.

à trois [1], повторил то, что я часто слышал от итальянцев: отношения между Италией и Австрией в отличие от отношений между Италией и Англией или между Австро-Венгрией и Францией не терпят ни малейшего отклонения в ту или иную сторону. Уже из-за одних только воспоминаний прошлого и ввиду ирредентизма [52] Италии и Австрии эти две страны могут быть или настоящими друзьями или непримиримыми врагами. Серьезное охлаждение итало-австрийских отношений перейдет тотчас же в прямую вражду. Он, Висконти, не требует от меня, чтобы я постоянно был посредником между Италией и Австро-Венгрией, но я должен зорко следить за ними и удерживать и тех и других от неосторожных шагов. «Австро-Венгрия и Италия — две лошади, которые всегда готовы покусаться. Дело кучера, т. е. Германии, заставить их жить дружно. Словом, все зависит от Германии, от ее ловкой политики и тактичности ее канцлера».

Король говорил с большой симпатией и признательностью о министре внутренних дел Джиолитти, который умел обращаться с массами. Конституционные вопросы должны уступить место экономическим, надо примирить широкие массы с династией. Нельзя отрицать того, что именно в Южной Италии в общественно-политическом отношении предстоит еще много работы. Джиолитти очень предан лично королю, кроме того он слишком умен, чтобы верить в жизнеспособность итальянской республики. У него хорошие нервы, он не знает страха и просто рожден быть министром внутренних дел. Лично мне Джованни Джиолитти нравился своим спокойствием, деловитостью и хладнокровием. Дружественные отношения, связывавшие меня в течение многих лет с этим выдающимся государственным деятелем, завязались во время этого императорского визита в Рим в 1903 г. Джиолитти был приверженцем Тройственного союза и сыграл решающую роль в сохранении его в неизменном виде.

Об отношениях с Францией король сказал мне, что они очень хороши, что вполне соответствует итальянским интересам. У всех итальянских политиков, с которыми я говорил, я сталкивался, с одной стороны, с желанием быть с Францией в ладу, для того чтобы она ссудила Италии деньги, нужные для постройки новых железных дорог, и не вредила торгово-политическим интересам Италии. С другой стороны, мне уже тогда со всех сторон указывали, что не только итальянской династии, но и единству Италии будет угрожать опасность, если Италия всецело будет полагаться на Францию. О Баррере король Виктор-Эммануил сказал тогда императору: «Я не люблю его, он — лживый и мерзкий человек».

Должно быть в Берлине и Вене натворили много глупостей, если итальянский король попал в руки Баррера.

3 мая мы отправились в Ватикан. Непосредственно после визита у папы в честь императора состоялся завтрак у прусского посланника при Ватикане, барона Ротенгана. Едва только гости уда-

[1] Втроем.

лились, императорр продиктовал Ротенгану весь свой разговор с папой Львом XIII. Я воспроизвожу его, так как он является не только интересной иллюстрацией для характеристики Вильгельма II, но и представляет собой ценный исторический документ.

«Папа рад, что приветствует меня в третий раз... Он рад случаю поблагодарить меня, особенно за то, что я забочусь о благе католических подданных. Он может заверить меня, что, как бы ни сложились обстоятельства, мои католические подданные будут мне всегда абсолютно и неизменно верны. (Ils resteront absolument et infailliblement fidèles)».

Я.— Я считаю долгом каждого христианского монарха заботиться по мере сил обо всех своих подданных без различия вероисповедания и могу заверить, что постоянно буду об этом заботиться, чтобы они под моим управлением всегда могли свободно выполнять обряды своей религии, а также обязанности по отношению к главе своей церкви. Это правило, которому я следую в своей жизни, и я никогда не изменяю ему.

Он. — Такие принципы управления он считает достойными полнейшей признательности. Он с интересом следит за моим правлением и считает, что я свою власть построил на абсолютно христианских началах и руководствуюсь столь возвышенными религиозными принципами, что ему ничего не остается, как призвать благословение неба на меня, мою династию и Германскую империю.

Я. — Я поблагодарил за это милостивое благословение и сказал, что оно несомненно поможет мне в дальнейшем и я буду очень гордиться им всю мою жизнь.

Он. — Прежде всего он хочет поделиться со мной тем неизгладимым впечатлением, какое произвела на него моя речь в Аахене; она доставила ему огромную радость. В то время как большинство монархов Европы мало религиозны или совершенно равнодушны к религии, его сердцу было особенно радостно знать, что германский император себя, свой дом и всю великую империю отдал под сень креста, не считаясь с тем, что скажет современный мир, отвернувшийся от веры. Так должен был бы говорить каждый монарх большого государства, и он только может рекомендовать такие принципы всем моим коллегам. Он хочет только прибавить, не имея в виду польстить мне, что был один только государь, который думал и поступал, как я — Карл Великий. Это был великий государь, который по велению господа склонил весь тогдашний цивилизованный мир к подножью креста, получив эту миссию от папы Льва III. Теперь в размышлениях о моей речи ему представилось, что германский император тоже получил от папы, но уже от него, от папы Льва XIII, миссию вернуть Европу в лоно христианства, поборов социалистические и атеистические идеи. Он отлично знает, что Европа состоит из отдельных стран и наций и политически не может быть объединена под одним скипетром, но в духовном отно-

шении император Германии может примером, внушением и напоминанием влиять на эти страны, чтобы они вернулись в лоно христианской церкви.

Я. — Я с радостью приму на себя миссию, возлагаемую на меня папой, и с неослабной энергией, словом и делом буду стараться, чтобы среди монархов и народов воцарилась уверенность, что никакая власть, никакой прогресс и никакое могущество не имеют цены, если они не ищут опоры в спасителе и в вере. Я всю жизнь буду гордиться тем, что девяностотрехлетний папа обратился с такими торжественными словами ко мне, молодому государю, и я надеюсь, что папа не найдет во мне неспособного ученика и что господь дарует ему жизнь и здоровье, чтобы он мог поддерживать меня в моих стараниях и увидеть разультаты соединенных усилий папы и императора.

Он. — Зло очень широко распространяется по свету; к сожалению совершается много покушений, как например на короля Гумберта («Il a été tué, cruellement tué!»[1]).

Но и в области духа следует бороться со злом, следует защищать от него религию и укреплять ее. Он знает, что я много занимаюсь религиозными вопросами. Что касается изучения библии, то меня должен заинтересовать факт, что он велел создать комиссию для нового исследования библии. Ей открыты библиотеки и все архивы. В доказательство того, как высоко он ценит немецкий научный дух и немецкую науку, он упомянул, что в состав комиссии входят одиннадцать немцев. Вообще последнее время он имел много дела с немцами. Он был порадован прибытием большого количества паломников из Германии, в том числе 2 тысяч из одного только Кельна, и радовался их благоговейному и исполненному веры поведению. Прибыло большое число германских епископов, которым он повелел представиться мне; одним словом, он окружен немцами и последнее время почти сделался наполовину немцем («Je suis devenu presque un demi Allemand»).

Я. — Я рад, что набожность моих подданных и соотечественников приятна ему, и могу его уверить, что действительно немецкие католики — самые религиозные, верные и преданные сыны церкви.

Он. — Он может сравнить меня не только с Карлом Великим, но ему еще кажется, что я иду по пути своего великого предка Фридриха II. Когда папа был моложе, он ревностно изучал жизнь короля и поражался высоте его ума и величию его понятий о религиозных общинах. Фридрих II всегда усердно заботился об интересах своих подданных-католиков; так, после того как он завладел Силезией, там очень печалились по поводу того, что католиков будут преследовать. Но ничего подобного не произошло. Король самым великодушным обра-

[1] Он был убит, жестоким образом убит!

зом разрешил католикам совершать свои религиозные обряды и заботился об их благе; то, что делал этот великий человек, делаю также и я, и поэтому у него возникает желание сравнить меня с ним. Он должен, правда, признать, что Фридрих II лично был не очень верующим человеком («Il etait peu croyant»). Тем более нужно ценить, что, несмотря на это, король много делал для поддержки религии и для католической церкви: папа надеется, что я последую этому хорошему примеру.

Я. — Его святейшество слишком добры ко мне, и его похвалы смущают меня; но во всяком случае я буду следовать его советам. Если мне разрешается еще раз вернуться к сравнению с Карлом Великим и его миссией, то я позволю себе заметить, что мировая гегемония Римской империи, осуществление которой по приказу папы Льва III император взял на себя, так сказать, в качестве наследника римских цезарей, ныне воплощена в лице сидящего передо мной первосвященника, однако еще более величественным образом в качестве духовной силы. Я вижу в папе главу великой мировой христианской империи, являющейся преемницей старой Римской империи. Во всех частях света миллионы людей почитают папу как своего главу. Поэтому он, Лев XIII, является повелителем Римской империи и наследником римских цезарей. Папа высоко поднялся на своем кресле, посмотрел на меня изумленными глазами и после маленькой паузы с сияющими от благодарности глазами произнес: «Eh bien, ce n'est pas mal celà et peut-être vous avez raison»[1].

Вильгельм I. R.»

Вот что продиктовал император об этой достопамятной, удивительной беседе между главой Германской империи и верховным первосвященником. В конце император собственноручно приписал: «Папа спросил также его величество, как обстоит дело с постройкой флота, и выразил надежду, что император получит сильный, могущественный флот на защиту мира и германских культурных интересов».

Филипп Эйленбург, который и после своей отставки сопутствовал, как всегда, императору в его поездках на север, по обыкновению извещал меня оттуда и из Роминтена[53] о настроениях и поступках его величества. В начале августа 1903 г. он писал мне из Одды в Гардангерфиорде, откуда как раз через одиннадцать лет Вильгельму пришлось вернуться к началу мировой войны: «Ты не найдешь никаких перемен в его величестве; он в жизнерадостном настроении и желает тебя видеть, чтобы поделиться с тобой своими политическими заботами; надо полагать, он их изложит в несколько более смягченной форме, чем делает это здесь. Он питает к тебе смешанное чувство уважения и страха,

[1] Ну, что же, это неплохо, и вы быть может правы.

потому что сознает, иногда смутно, иногда совсем ясно, что ему без тебя не обойтись!». Эйленбург далее рассказывал, что за несколько дней до этого, вечером, на яхте «Гогенцоллерн» читали историка Онкена «Бегство принца прусского в Англию в 1848 г.», что вызвало у императора вспышку «патологического раздражения». Он изображал будущую революцию и ее подавление. Он говорил, что должен отомстить за 1848 г.!! Затем последовал ряд противоречивых заявлений: сплошная неразбериха, невероятные выражения: «Все люди — свиньи! Сдерживать и управлять ими можно только четкими приказами». Так как речь шла о генералах 1848 г., то это его замечание следовательно в первую очередь относилось к генералам. После этого император целыми часами ходил один с расстроенным выражением лица. Нездоров — это пожалуй самая слабая характеристика его состояния. Кессель рассказывал мне, что в течение непродолжительного пребывания его на посту коменданта Берлина он два раза по совершенно ничтожным поводам получал в нешифрованных телеграммах приказы его величества стрелять в народ. Кессель сказал мне, что он удивлен сдержанностью персонала на телеграфе. Так как он не исполнил приказов, то ожидал каких-нибудь «замечаний». Но ничего подобного не последовало.

Дальше Эйленбург писал, что император находится в раздраженном состоянии вследствие полной неудачи попыток завоевать симпатии Англии и России. У него кроме того неопределенное предчувствие, что он уже не отважится на поступки, которые могли бы ошеломить всю Европу, к чему Вильгельм по своему тщеславию испытывает всегда большое тяготение. Своими тонким умом Эйленбург подметил еще тогда, что между императором и его старшим сыном, по характеру очень отличавшимся от него, возникали какие-то разногласия. Император приставил к кронпринцу очень энергичного адъютанта, так как его императорское и королевское высочество проявлял известную склонность к современным направлениям и некоторой распущенности, которые следовало искоренить. При этом выявилось очень странное противоречие. С одной стороны, император хотел сделать своего сына современным государем, с другой — он хотел сохранить в нем старые традиции.

ГЛАВА XXXIX

Абсолютно неверно, будто австрийского «вето»[1] в отношении Рамполлы добивался я. Я, наоборот, категорически заявил кардиналу Коппу во время нашей последней встречи перед новыми папскими выборами, что мы будем по возможности соблюдать нейтралитет; что я очень хорошо отношусь к Рамполле и полагаю, что мы с ним поладим.

Относительно конклава еще в день выборов, 4 августа 1903 г.,

[1] Отвод.

кардинал Копп обратился ко мне с письмом, которое я дословно привожу, так как оно не утратило своего интереса.

«После кончины Льва XIII оба немецкие кардинала [94] получили от папского нунция в Мюнхене приглашение как можно скорее приехать в Рим. Другие иностранные кардиналы также получили подобное приглашение.

Тем временем итальянские кардиналы успели обсудить кандидатуру преемника Льва XIII. Образовались различные группировки, из которых самая сильная высказывалась за кардинала Рамполлу. Остальные итальянские кандидаты были: Серафино Ваннутелли, Ди Пиетро и Готти. Иностранным кардиналам ничего больше не оставалось, как в свою очередь образовать самостоятельные группы и стараться укрепить их. Для этой цели австрийские и германские кардиналы соединились (пять и два) и пытались повлиять на остальных иностранных кардиналов. Этого удалось достигнуть в отношении североамериканского кардинала Гиббоиса, который хотя формально и не присоединился к группе, однако голосовал вместе с ней.

Войти в контакт с французскими кардиналами не удалось; во главе их стоял кардинал Ланженье, фактически же их руководителем являлся французский кардинал Матье. Они получили от Делькассэ директиву голосовать исключительно за Рамполлу, если же его кандидатура будет безнадежной, то за Серафино Ваннутелли. Испанские кардиналы получили от своего правительства директиву присоединиться к австрийским; однако смена министерства в Мадриде вызвала у них колебания, и все пять во главе с испанским кардиналом Вилес-и-Туто присоединились к французам.

При наличии этих группировок 31 июля открылся конклав. Сначала австро-германские кардиналы решили голосовать за Серафино Ваннутелли ввиду того, что австро-венгерский посол, или, вернее, носитель императорской эксклюдивы кардинал Пузина сообщил, что кандидатура кардинала Рамполлы, равно как и кандитатура кардинала Готти, является неподходящей, так как оба проявили враждебное отношение к австрийским интересам.

На последнем совещании австро-германских епископов перед конклавом было выдвинуто столько возражений против кардинала Серафино Ваннутелли, в том числе и со стороны кардинала Фишера (Кельн), что большинство голосовало за кардинала Готти. Первая баллотировка состоялась 1 августа в 10 часов утра. Рамполла получил 24 голоса, Готти — 17, Сарто — 5, Ваннутелли — 4, Ди Пиетро — 2, Орелья — 2, Альярди и другие — по 1. При втором голосовании в 5 часов пополудни Рамполла получил 29 голосов, Готти — 16, Сарто — 10, остальные голоса разделились. После этого кардинал Альярди пришел ко мне и сообщил, что положение стало очень серьезным. Он заявил, что Рамполла крепко держится за тиа-

ру, хотя хорошо знает, что станет папой только по милости Лубэ и Комба. Ко всему он еще смертельный враг Австро-Венгрии и далеко не является искренним другом Германии; он ее боится и в то же время ненавидит. Готти также неподходящий кандидат, так как он скомпрометирован банкирским домом Пачелли. Альярди предлагал кандидатуру Сарто, который заслуживает доверия во всех отношениях. Я тотчас же передал это кардиналу Фишеру, и мы собрались тогда вместе с австрийскими кардиналами, чтобы выяснить положение вещей. После долгих размышлений мы пришли к заключению, что кандидатуру Готти следует снять как безнадежную и отдать наши голоса Сарто. Кроме того кардиналу Пузина было предоставлено теперь же выступить с заявлением об отводе против Рамполлы. В тот вечер Пузина еще колебался. Между тем еще до начала конклава австрийский посол при святейшем престоле по моему совету сообщил кардиналу Орелья, что у него есть для конклава поручение от императора и что поэтому он просит об аудиенции. Так как он уже не получил бы аудиенции, то я сразу же посоветовал ему письменно сообщить Камерленго [55], что кардинал Пузина имеет от императора Франца-Иосифа поручение заявить отвод против кардинала Рамполлы. Однако Орелья до начала конклава ничего не сообщил об этом коллегии кардиналов.

Утром 2 августа кардинал Пузина сообщил, что он свой проект в письменной форме передал кардиналу Орелья. Но Орелья отказывается поставить об этом в известность святую коллегию.

Когда мы собрались для третьего голосования утром 2 августа в Сикстинской капелле, кардинал Пузина подошел ко мне и тихо спросил: «Что следует нам сделать и что должен делать я?» Я ответил: «Сарто. Вы должны сейчас же выступить». Это происшествие не привлекло к себе ничьего внимания. По открытии заседания кардинал Пузина тотчас же попросил у Камерленго слова и доложил коллегии кардиналов то, о чем он говорил уже Камерленго. Последний уже не мог теперь не доложить святой коллегии относительно отвода кандидатуры кардинала Рамполлы со стороны Австрии и велел огласить послание Пузины. У меня создалось впечатление, что это сообщение вызвало среди кардиналов гораздо меньше волнения, чем ожидал я. Существовала опасность, что вследствие недовольства иностранным вмешательством в выборы папы теперь еще больше кардиналов будут голосовать за Рамполлу. Однако никто не заявил протеста против австрийского отвода, только сам Рамполла страстно протестовал против этого выступления как нового удара, направленного против свободы церкви (Ictus contra libertatem Ecclesiae). Большого впечатления он не произвел...

Седьмая баллотировка (4 августа в 10 часов утра) была решающей. Сарто получил 50 голосов, Рамполла — 10, Гот-

ти — 2. Таким образом был выбран Сарто. Он принял имя Пия X. Сарто родился на австрийской территории в 1834 г. близ Тревизо, еще сохранил привязанность к Австрии и некоторое представление о немецком языке. С итальянским правительством он поддерживал хорошие отношения.

Кардинал Конн».

* * *

Во время осенних маневров 1903 г. ко мне поступило много жалоб и серьезных критических отзывов из высших военных кругов. Император с самого начала своего царствования неизменно выполнял функции арбитра на больших маневрах. Следует признать, что эта задача была ему вполне по-плечу. Саксонский король Альберт сказал мне однажды, что он знает мало генералов, которые на маневрах так хорошо умели бы критиковать, как Вильгельм II. Ему помогали здесь некоторые специальные дарования, которыми он обладал: быстрая сообразительность, громадная способность усваивать чужие мысли, его никогда не иссякающее красноречие. «Когда он присутствует на маневрах в сопровождении одного или двух дельных генштабистов, которые подсказывают все необходимое, то он потом преподносит им такую критику маневров, что все слушают, раскрыв глаза и развесив уши». Сказав это, король с улыбкой добавил: «А притом сам он не в состоянии переправить и трех человек через канаву». Саксонский король выражал опасение, которое разделяли многие, что император в случае войны возьмет на себя верховное командование, для которого он все-таки совершенно непригоден. Я мог вполне успокоить короля Альберта в этом отношении. Я всегда был уверен в том, что, когда дело примет серьезный оборот, император не возьмет на себя ответственности, и события доказали мою правоту. Маневры — другое дело. Император хотел не только критиковать маневры, но и сам командовать ими. Но, будучи командиром, он хотел всегда побеждать. Это создавало большие неудобства, а порой и весьма комические положения. Я вспоминаю об одних маневрах, где император командовал «синими». Когда накануне ожидавшегося сражения в главном штабе «красных» вырабатывались диспозиции на ближайший день, начальник генерального штаба красных увидал в задних рядах собрания флигель-адъютанта Вильгельма II. Когда его спросили, зачем он здесь, он ответил: «По высочайшему приказу». Ясно, что император, заранее информированный таким образом о планах и намерениях противника, всегда оставался победителем. Другой страстью его величества были грандиозные кавалерийские атаки, которые фактически не могли бы быть проведены на войне под уничтожающим огнем неприятельских пулеметов и артиллерии. Эти атаки тщательно подготовлялись для его величества.

Император знал, что я принципиально не вмешиваюсь в военные дела, но что я не совсем доволен его военными играми и в частности тем безобразием, которое творилось на маневрах. Я не

скрывал этого также от начальника генерального штаба гениального графа Альфреда Шлиффена. Он относился ко всему этому так же, как я и как все разумные люди, но стоял на той точке зрения, что если император в остальном, в особенности в вопросах, касающихся артиллерии, предоставляет ему свободу действий, то «маневренные нелепости» уже не имеют такого значения. Войска были в крепких руках своих командиров. Командиры очень хорошо знали свое дело, так что такие неправдоподобные картины боев не могли принести большого вреда.

После маневров состоялся визит в Вену. Австро-венгерский министр иностранных дел, мой долголетний личный друг, граф Агенор Голуховский при нашем свидании откровенно высказался по поводу внутреннего и внешнего положения габсбургской монархии. Эта откровенность вытекала из наших отношений. Покуда русская политика идет по мирному пути, говорил Голуховский, Австрия должна и будет направлять свою политику соответственно политике русского правительства. Он придерживается двух основных положений: во-первых, делать все, что возможно, для избежания конфликтов между Турцией и балканскими государствами, во-вторых, если такие конфликты все-таки возникнут, то локализовать их. Голуховский добавил, что последнее гораздо труднее первого, и поэтому практически главная задача заключается в том, чтобы оказывать успокаивающее и умеряющее воздействие на Турцию и балканские государства. Это была разумная точка зрения, которую я вполне разделял, но к сожалению после моей отставки Бетман под влиянием Кидерлена и Вангенгейма, а до известной степени также фельдмаршала Кольмара фон дер Гольца и при полном согласии императора стал на точку зрения, что конфликт между Турцией и балканскими народами даже желателен. Он надеялся, что Турция уничтожит этих Hammeldieben[1] с Нижнего Дуная, как называл балканские государства Кидерлен. Но его предположения, как известно, не оправдались. Голуховский хвалил Ламсдорфа, осторожность которого ему нравилась. То, что граф Ламсдорф после скверного приема в Геле не особенно увлекался императором Вильгельмом, разумеется, не представлялось австро-венгерскому министру большим несчастьем для его страны, хотя он мне этого и не говорил. Голуховский очень категорически высказывался по поводу того, что Австрия не может допустить ни раздела Балканского полуострова между собой и Россией, как это часто предлагал князь Бисмарк, ни образования Великой Сербии, ни укрепления России в Константинополе. Министр согласился со мной, когда я сказал ему, что дарданельский вопрос является европейским вопросом: у Австрии нет оснований особенно выдвигать свою оппозицию по отношению к России в этом вопросе, «лучше пусть она предоставит инициативу западным державам». Разумный лейтмотив графа Голуховского сводился к следующему: мы должны возможно дольше сохранять status quo

[1] Воров баранов.

на Балканском полуострове и искусной политикой — медленно и постепенно — притти к решению восточного вопроса. Турецкое владычество должно быть уничтожено путем образования самостоятельных государств: как можно более обширной Греции, большой Болгарии, сильной Румынии, слабой Сербии, маленькой Черногории и самостоятельной Албании.

Как все австрийские дворяне и военные, Голуховский очень раздраженно отзывался об отношениях между Австрией и Италией, об итальянском ирредентизме и об итальянской пропаганде в Албании. Я ответил ему, что давно, во время моего визита в Лугано, я видел там на рыночной площади обелиск, который был поставлен в честь присоединения этого кантона к Швейцарии. На нем была надпись: «Всегда свободны, всегда швейцарцы!» Если бы такой обелиск можно было поставить в Триесте, то ирредентизма больше бы не было. Идеалом графа Голуховского была замена Тройственного союза союзом трех императоров, т. е. группировкой, которую князь Бисмарк предпочитал всем другим, но которая лежала за пределами практических возможностей после нашего отказа от договора перестраховки с Россией. Странным теперь кажется, когда я вспоминаю, что граф Голуховский, большую часть своей жизни проживший в Париже, женатый на француженке и имевший многочисленные связи во Франции, в 1903 г. считал невозможным серьезное и длительное сближение между Францией и Англией. Он полагал, что у них слишком много реальных расхождений в интересах и много тяжелых воспоминаний.

Император Франц-Иосиф, оказавший мне по обыкновению милостивый прием, тоже с симпатией отзывался о Ламсдорфе, но об Италии он говорил в еще более раздраженном тоне, чем его министр. Как галантный грандсеньор, он похвалил королеву Елену, сказав, что она красивая и симпатичная женщина, но мужа ее он находил слишком честолюбивым, слишком деятельным. С королем Гумбертом было легче поддерживать хорошие отношения. В то время как Голуховский соответственно своему характеру оценивал ситуацию скорее оптимистически в качестве Jean qui rit, старый император, несмотря на то, что он физически выглядел хорошо, находился очевидно в подавленном состоянии и скорее напоминал Jean qui pleure.

Большинство иностранных представителей в Вене не могло мне сказать ничего особенного, но самый выдающийся среди них, итальянский посол граф Нигра, в длинной беседе развил передо мной ту мысль, что столкновение между Австрией и Италией нежелательно и с итальянской точки зрения. Австрийская политика по отношению Италии часто бывает довольно неудачной. В Австрии имеется немало закоренелых антиитальянских политиков, за которыми надо внимательно следить. Но с точки зрения дальновидной итальянской политики старая, дряхлая Австрия, которая в течение девяноста лет не ассимилировала ни одного итальянца, является более удобным соседом, чем всякое крупное славянское государство, которое будет вести антиитальянскую

политику, в чем всегда найдет более или менее явную поддержку во Франции, и которое на своей территории будет сильно угнетать граждан итальянской национальности. Граф Нигра — ему было тогда семьдесят шесть лет — был одним из самых выдающихся дипломатов, каких я когда-либо встречал. В молодости он участвовал в качестве добровольца в 1849 г. в битве под Наваррой. Потом Кавур назначил его посланником в Париж, где он оставался с 1860 по 1876 г. Он сумел приобрести полное доверие императора Наполеона III. Он немало способствовал тому, что Наполеон III, несмотря на сильное противодействие, которое встречала его италофильская политика во Франции, несмотря на давление, которое производили на него все старые французские государственные деятели с Тьером во главе, несмотря на клерикальное направление и антиитальянские настроения императрицы Евгении, допустил объединение Италии за исключением Рима, хотя раньше собирался сделать своего двоюродного брата принца Жерома королем Этрурии, а своего двоюродного брата Мюрата — неаполитанским.

Донесения графа Нигра, относящиеся к этому периоду, выдержат сравнение с лучшими донесениями венецианских посланников и папских нунциев. Когда Французская империя пала, Нигра со своими бонапартистскими симпатиями и связями, вынужденный ориентироваться на новый республиканский режим, очутился в довольно трудном положении. Он также должен был примениться к новой ориентации в международной политике своей страны, вызванной переменой режима во Франции. Нигра вышел из этого затруднения с большим умом и тактом. Когда Нигра однажды после длительной беседы с президентом Французской республики Тьером, не любившим ни его, ни Италию, попрощался и собрался уходить, он полой своего сюртука зацепился за дверь и стал освобождать свое платье, Тьер, стараясь ему помочь, сказал с улыбкой: «Видите, как вы привязаны к Франции».

Нигра ответил ему с большой находчивостью: «Если бы не вы, я бы остался привязанным».

* * *

Император Николай посетил в октябре 1903 г. Гессен. Русская императорская чета устроилась в маленьком замке Вольфсгартен, где властвовавший над столькими миллионами, казалось, верных ему подданных, тогда еще самодержавный царь вел идиллический образ жизни.

Прежде чем я отправился с императором Вильгельмом в Висбаден и Дармштадт, чтобы приветствовать русского императора, японский посланник имел беседу со мной, во время которой у меня уже не осталось никакого сомнения, что война Японии с Россией лежит в пределах возможного. В высказываниях японского посла сквозила тревога, не связаны ли мы секретными соглашениями с Россией, обязывающими нас притти ей на помощь в случае

войны с Японией. Я не замедлил объявить представителю Страны восходящего солнца, что между нами и Россией нет никаких соглашений общего характера или по отдельным вопросам, в особенности в отношении Восточной Азии. Поскольку Россия является союзником Франции, она не может гарантировать нам неприкосновенность наших владений, что является исходным пунктом, необходимым условием для всякого союза с Германией. Поэтому в русско-японской военной дуэли мы не примем никакого участия ни с той, ни с другой стороны. Относительно разрешения имеющихся в настоящее время спорных вопросов между Японией и Россией я не могу дать никакого совета ввиду тяжелой ответственности, которая связана с такими советами; что же касается нашей собственной нейтральной и лояльной, свободной от всяких обязательств политики, то мне нетрудно дать ему самые искренние заверения в этом смысле. Мы действительно, по моему мнению, не имели никакой причины портить настроение предприимчивого, готового к прыжку японца, так как война в Азии отдаляла от нас постоянную затаенную угрозу войны в Европе. У нас не было также никаких оснований раздражать японцев или вызывать у них недоверие. Если бы даже русские, что мне представлялось мало вероятным, как-нибудь узнали о нашей беседе, то, при всем моем громадном желании сохранить хорошие отношения между Германией и Россией, я считал желательным дать понять склонным к высокомерию петербургским господам, что близкие отношения между Германией и Россией должны быть основаны на взаимности. В заключение нашей беседы я сказал господину Инде, что наше дальнейшее поведение зависит от позиции других стран по отношению к нам. Этим неопределенным ответом я сохранил свободу наших дальнейших решений.

Император конечно еле мог дождаться момента, когда он увидится со своим другом и кузеном Ники. Последний после многократных приглашений явился в сопровождении своего шурина эрцгерцога Гессенского на несколько часов в Висбаден, где его ждал император. Свидание было коротким и поэтому не слишком нарушило покой и настроение русского самодержца. 4 ноября император сделал ответный визит в Вольфсгартен. После полудня я должен был встретиться с русским министром иностранных дел во дворце в Дармштадте. Вечером во дворце в Вольфсгартене предполагалось устроить обед, на котором должна была присутствовать русская императорская чета. Перед отъездом в Дармштадт ко мне явился русский посол граф Остен-Сакен и не без смущения сказал мне, что граф Ламсдорф находится в затруднительном положении. Император Николай поручил все вопросы, касающиеся отношений между Россией и Японией, а в особенности восточноазиатские вопросы, особому комитету, в котором он сам председательствует. Таким образом Ламсдорф фактически отстранен от обсуждения восточноазиатских вопросов, а в особенности разногласий между Японией и Россией. Это отставка в самом чистом виде.

Русский посол не скрыл от меня тревоги, которую внушает ему такой оборот дел. Указ о назначении особого комитета по восточноазиатским вопросам следует отнести на счет интриг великих князей и царедворцев, которые имели намерение эксплоатировать угольные залежи и леса Кореи. Все это дело имело роковое сходство с мексиканской экспедицией, так повредившей в свое время Наполеону III. Французский император, втянутый в эту авантюру падкими на деньги спекулянтами и царедворцами, потом жестоко поплатился за это. Остен-Сакена беспокоило, что русские генералы уже брящают оружием, желая устрашить японцев. Русский наместник Алексеев устроил в Порт-Артуре большой парад. Другой генерал оккупировал Мукден. Все это не нравилось старому и опытному послу. «Дай бог, — сказал он, — чтобы мы не наткнулись на японский риф». В заключение после некоторого колебания граф Остен-Сакен сообщил мне, что его начальник граф Ламсдорф поручил ему просить меня не говорить с ним по восточноазиатским вопросам. Русскому министру будет слишком неприятно признаться, что по высочайшему повелению «этот вопрос изъят из его компетенции. Ламсдорф теперь вроде маленького мальчика, которого поставили в угол». Я принял конечно во внимание это предупреждение и ограничился в моей беседе с графом Ламсдорфом обсуждением тех вопросов, по которым ему разрешалось высказывать свое мнение.

Русский министр хвалил графа Голуховского, с которым он, несмотря на его польское происхождение, отлично ладил. Ламсдорф и Голуховский прежде всего желали мира на Балканском полуострове. «Quieta non movere»[1] — была та формула, которая объединяла их. Россия при Екатерине II, Александре I, Николае I и Александре II выступала на Востоке с завоевательными целями. Ламсдорф указывал, что в противоположность этому Николай II стремится сохранить по возможности мир и status quo на Балканском полуострове и в Турции. Это изменение русской политики, заметил с улыбкой Ламсдорф, проистекает не из одного только благородства, а вызвано стремлением избежать большой войны[56]. Император Николай, как и граф Ламсдорф, убежден в том, что изменение status quo на Балканском полуострове не соответствует нынешним интересам России. Монархические державы должны избегать всего, что может пойти на пользу революционным элементам Европы. Последняя турецкая война в конечном счете привела к убийству императора Александра II. Уже поэтому не следует поддерживать беспокойные стремления балканских народов. Для консервативной и мирной русской политики на Востоке, разумеется, необходимо, чтобы Австрия в дальнейшем сохраняла контакт с Россией и чтобы Турция приняла программу, совместно выработанную Австрией и Россией в Мюрцштеге[57]. Если же Турция откажется добровольно проводить австро-русскую программу, то с ее стороны это будет самоубий-

[1] Не трогать того, что лежит спокойно.

ственной политикой, так как Англия и Франция считают эту программу реформ далеко не достаточной.

После того как мы еще некоторое время продолжали такую приятную беседу и установили, что наши взгляды в значительной степени совпадают, граф Ламсдорф признался мне, что он чувствует себя совершенно нездоровым и утомленным. Не буду ли я в претензии, если он немного вздремнет. Я ответил, что, наоборот, буду очень рад, если он подкрепит свои силы для дальнейшей важной работы. Он проспал добрый час на моих глазах в кресле. Меня поразило, каким бледным и истощенным он выглядит во сне. Спустя три года Ламсдорф умер в Сан-Ремо после продолжительной болезни. Он не был тем человеком, который мог провести русский государственный корабль через камни и рифы японской войны. Ах, пятнадцать лет спустя, когда Германия очутилась в еще более серьезном и тяжелом положении, когда бурные волны швыряли ее государственный корабль в разные стороны, она имела у руля в лице рейхсканцлера Гертлинга, такого же усталого и притом тяжело больного человека.

Император Николай высказался в том же духе, что и его министр. Он с той же категоричностью, как и в Петергофе, Геле и Ревеле, заявил, что интересы наших государств нигде не сталкиваются. Ссора между нами может пойти на пользу только нашим злейшим врагам. «Ce serait faire le jeu de la revolution»[1]. Страх перед революцией так сильно владел царем, что он указал мне как на одну из важнейших задач для консервативных держав на необходимость облегчить положение монархии в Италии, поддерживать ее и защищать. Относительно итальяно-французского сближения император Николай сказал, что согласно петербургским сведениям оно не так далеко зашло, как это утверждает французская пресса. Как всегда перед встречами с иностранными государями, я рекомендовал императору Вильгельму и при свидании в Вольфсгартене вести себя сдержанно и соблюдать осторожность.

Из того, что император рассказал мне при возвращении из Вольфсгартена, видно было, что он только до известных пределов последовал моему благодетельному совету. Он хвалился, что убедил царя в безбожии французской республики, в ненадежности французских министров и в коварстве англичан. Царь сочувственно улыбался, когда Вильгельм сказал ему: «Франция — угасающая нация с несомненной тенденцией к упадку; кровь убитого короля и дворян лежит на нации, которую губит атеизм». Как в своих письмах к царю, если они не подвергались моему просмотру перед отправкой, так и в своих устных беседах с Николаем II Вильгельм не пропускал случая, чтобы восстанавливать его против французской республики.

Беседа с царем убедила императора, и я разделял его мнение, что царь не стремится ни к захвату, ни к разрушению Тур-

[1] Это значило бы играть наруку революции.

ции, что он также не желает войны с Японией, но все-таки готовится к последней. Излюбленной идеей императора Вильгельма II, к которой он часто возвращался в беседах с русскими, была нейтрализация Дании и ее вод. Я же, наоборот, придерживался того мнения, что мы ввиду наших отношений с Англией не можем входить ни в какие соглашения относительно Балтийского моря. Мы не должны принимать на себя никаких обязательств защищать русский балтийский флот, если Россия предварительно не гарантирует нам со своей стороны неприкосновенность наших владений. Что касается русско-японских отношений, то я до поездки в Дармштадт просил императора всячески подчеркивать традиционную дружбу с Россией, которая обеспечивала ей наш благожелательный нейтралитет, но не брать на себя никаких обязательств без соответствующих компенсаций.

КНИГА ВТОРАЯ

ОТ МАРОККАНСКОГО КРИЗИСА ДО ОТСТАВКИ

ГЛАВА I

Я уже давно не упускал из виду Марокко, а также и возможности все большего сближения между Францией и Англией путем обмена Марокко на Египет.

В Вене во время пребывания там императора я был принят испанской королевой-матерью Марией-Христиной, которая рассказала мне конфиденциально, что Франция давно предлагает Испании оборонительный и наступательный союз. Испания, несмотря на сильные настояния французов, до сих пор на это не согласилась. Одновременно с союзом Франция предлагает раздел Марокко, по которому Франция получила бы север, а Испания — юг. Королева высказала предположение, что французы через посредничество короля Эдуарда обеспечили себе согласие Англии на этот план. Для Испании в сущности важно только не выйти из этого дела с совсем пустыми руками, так как это благодаря традиционным притязаниям Испании на Марокко и ввиду географического положения последнего могло бы вызвать падение испанской династии.

По моем возвращении в Берлин я предложил послу в Лондоне написать мне об этом. В своем ответе граф Меттерних исходил из статьи одной большой английской газеты, где говорилось, что во время бурской войны отношение к Англии германского правительства, в особенности же рейхсканцлера и статс-секретаря иностранного ведомства, а также и германского императора, было без сомнения дружественным. Напротив, немецкий народ за все это время проявил по отношению к Англии больше ненависти и зависти, злорадства и враждебности, чем какая-либо другая нация. А так как, с другой стороны, Германия своим мощным хозяйственным развитием, удивительным подъемом своей промышленности и торговли, которые постепенно завоевывают мир, развитием своих заокеанских интересов и постройкой сильного флота все больше делается для Англии самым опасным соперником и конкурентом, то Англия должна учитывать все это в своей политике. Франция давно перестала быть для Англии серьезным соперником. Россия опасна только в Азии. Серьезная опасность грозит Англии только со стороны Германии. К этому Меттерних добавил, что он, несмотря на это, не думает, что Франция сможет надолго

оставаться другом России и Англии. Однако временное соглашение между Англией и Россией и совместные действия Англии, России и Франции против Германии вполне возможны. Но даже если бы временно и удалось организовать сотрудничество этих трех государств, то все-таки было бы еще преждевременным говорить об изоляции Германии, так как, с одной стороны, Австро-Венгрия остается союзницей Германии, в то время как, с другой стороны, *при умелой спокойной политике Германии* Россия не будет склонна ни завоевывать для Франции обратно Эльзас, ни разрушать немецкую торговлю ради прекрасных глаз англичан. Как слышал Меттерних из неофициальных, но хорошо осведомленных источников, в России борются два течения: с одной стороны, недоверие руководящих русских кругов к республиканской и атеистской Франции, а с другой — старая ненависть славянства против немцев. Все последующее будет зависеть от ловкости нашей политики.

«Я повторяю, — замечает Меттерних в конце своего письма, — и подчеркиваю, что, по моему убеждению, английское правительство не хочет с нами рвать и не предпримет против нас ничего легкомысленного. Но антипатия к немцам в Англии так глубока, что ни одно английское правительство, если бы даже оно этого и хотело, не сможет стать на нашу сторону в разрешении международных вопросов более крупного значения. Все, чего мы желали бы в настоящий момент, это поддержание того, что на дипломатическом языке называют корректными и дружественными отношениями между правительствами. С тех пор как руководство политикой находится в ваших руках, наши отношения с Россией медленно, но постоянно улучшаются. Мне кажется, было бы большой ошибкой, если бы мы это развитие стали насильственно ускорять».

4 октября 1903 г. посол в Лондоне писал мне относительно Марокко: «В случае, если Франция, Англия и Испания договорятся о плане раздела Марокко, мы можем сначала сообщить этим трем странам, что мы не признаем плана раздела, в котором мы не участвуем. Мы поднимем протест ввиду того, что не были приняты во внимание наши значительные торговые интересы на Атлантическом побережье. Против этого говорит, правда, то, что заявление пустого протеста, не подкрепленного средствами давления и угрозами, по своим следствиям в большинстве случаев бывает хуже, нежели спокойно предоставить дела своему течению. Такие средства, правда, легко найдутся, однако их применение было бы небезопасной игрой. Если Англия делает французам большие уступки в Марокко, то она будет за это добиваться освобождения Египта от всех международных пут. Французы давно поставили над Египтом крест и охотно уступят Англии за Марокко то небольшое политическое влияние, которое они еще имеют в Египте».

Письмо Меттерниха заканчивалось словами: «Если англичане, несмотря на все, договорятся с Францией о радикальном раз-

деле Марокко, в чем я все еще сомневаюсь, так как потеря немногих оставшихся у французов прав в Египте не уравновешивает для англичан отказа от Марокко, то англичане это сделают лишь под влиянием желания завязать новую дружбу с Францией какой угодно ценой. Если раздел будет проделан за нашей спиной, то против Франции мы имеем гораздо более сильное средство давления, чем против Англии. Когда придет время, мы сможем сказать французскому правительству, что оно слишком умно, чтобы легкомысленно поставить на карту заботливо поддерживаемые в течение более тридцати лет дружественные отношения между Францией и Германией».

* * *

Выборы 1903 г. в Германии принесли социал-демократии значительный прирост голосов. Вильгельм II был слишком умен, для того чтобы не чувствовать, что он своими жестами и речами немало содействовал этому увеличению голосов социал-демократии. Но, как это слишком часто к сожалению было ему свойственно, он закрывал глаза на то, за что он должен был нести ответственность, и отправил телеграмму клером на мое имя, которая гласила, что ему совершенно безразлично, какие обезьяны — красные, черные или желтые — будут прыгать в парламентской клетке. То, что эта более чем бесцеремонная телеграмма не стала достоянием общественности, является хорошим доказательством верности и молчаливости телеграфного персонала. Для меня достигнутый социал-демократией успех сам по себе представлялся менее опасным, чем все более широкое распространение убеждения, сделавшегося наконец для многих в Германии догмой, что социал-демократического движения нельзя остановить ни при каких условиях, а что оно как стихийная сила, подобно морю или лавине, безудержно катится все дальше. Поэтому я стал искать случай публично рассчитаться с социал-демократической партией. Я считал необходимым вызвать в подходящий момент роспуск рейхстага, чтобы получить рейхстаг лучшего состава. Непоколебимо стремясь к поддержанию закона и порядка, я все время был против непровоцированного применения силы, не говоря уже о государственном перевороте или нарушении законной конституции. Я был и остаюсь того мнения, что большие социальные движения и течения прочно преодолеть можно лишь путем морального воздействия, что не исключает, правда, применения твердой руки в случае необходимости.

Не только слабости, но и преимущества немецкого характера делали социал-демократию для Германии особенно опасной. Немец более доктринер, чем какой-либо другой народ. Он гораздо меньше, чем англичанин, француз или итальянец, способен в практических вопросах освободиться от пут теории. Тип Мильерана, Бриана, Альбера Тома, Ллойд-Джорджа, Криспи, т. е. тип демагога, который постепенно трансформируется в разумного политика на благо этих стран, часто встречается

во Франции, Англии и Италии. В Германии же он редок. У нас в Германии еще не было своего Клемансо, который, сделавшись министром, расстреливал бастующих рабочих, а когда ему напоминали его прежние дружественные рабочим речи, он холодно отвечал: «Теперь я по другую сторону баррикады». Главное же, у наших соседей сильнее, бесконечно сильнее развито национальное чувство. Французский социалист хочет, чтобы и социалистическая Франция доминировала в Европе уже потому, что Франция, Франция 1789 г., является матерью революции. Точно так же как и французский клерикал требует, чтобы Франция в качестве старшего сына католической церкви господствовала над католическим миром.

10, 14 и 15 декабря 1903 г. я выступил в рейхстаге против программы и мировоззрения немецкой социал-демократии. Когда я бичевал проявленную Бебелем на дрезденском социал-демократическом партейтаге нетерпимость, я встречал сочувствие даже далеко налево. Удовлетворенные ревизионисты ухмылялись в молчании.

ГЛАВА II

В течение 1904 г. мое внимание привлекали главным образом два вопроса. Во-первых, восстание в нашей юго-западной африканской колонии и затем, в еще большей степени, война между Россией и Японией. В Германии неоднократно утверждали, что Англия подстрекала Гереро[58] к мятежу. Тогда я этого не думал, как не думаю и теперь. Такие восстания в африканских колониях, в особенности недавно приобретенных, имели место всегда и везде, во всех уголках черного континента. Восстание было серьезным, но было подавлено благодаря стойкости и храбрости наших войск, хотя и при тяжелых жертвах и со значительными расходами в длинной и утомительной борьбе. Восстание в юго-западной Африке в 1904 г. означало кризис нашей колониальной политики, но также и поворот к лучшему. Все наши колонии прекрасно развивались. Понимание их ценности и значения постепенно начинало проникать в широчайшие слои немецкого народа, пока несчастный исход мировой войны вместе с падением славной Германской империи не разрушил также и эти прекрасные надежды. Когда я думаю о южноафриканском восстании, то мне непроизвольно напрашивается воспоминание об одном случае, который не раз воскресал перед моей памятью во время мировой войны. Весной 1904 г. генералу фон Трота, энергичному гвардейцу, было поручено руководство операциями в юго-западной Африке. Чтобы скорее покончить с Гереро, он предложил загнать их вместе с женщинами и детьми в безводную пустыню, где их ждала бы верная и мучительная смерть. Я заявил его величеству, что я не дал бы своего согласия на этот образ действия. Император сначала вытаращил глаза, а затем пришел в раздражение. Мое указание на то, что мы христиане, встретило с его стороны возражение, что христианские

заповеди не относятся к язычникам и дикарям. Я сказал ему: «Я воздерживаюсь от всех теологических аргументов или ссылок на нагорную проповедь, но сошлюсь на одного, далеко не святого человека, на Талейрана, который после расстрела герцога Энгейнского заметил: «C'est pire qu'un crime, c'est une faute»[1]. Речь вашего величества о том, чтобы «пардону не давать», принесла уже много несчастья, хотя это были только слова. Если же вы перейдете теперь от теории к практике, то вы принесете столько вреда, что его не стоит все это дело. Войны нельзя вести чисто военным путем, политика должна иметь свой голос». Император вскипел, и мы расстались в недружелюбном настроении. Через несколько часов я получил от него письмо, в котором он сообщал, что подчиняется моим соображениям, и которое он подписал с часто свойственным ему сочетанием доброты и остроумия «Wilhelm I. R. qui laudabiliter se subjecit»[2].

* * *

Граф Остен-Сакен, старый опытный дипломат, не без основания еще осенью 1903 г. сравнивал в разговоре со мной трения между Россией и Японией с началом мексиканской авантюры. Русско-японская и мексиканско-французская войны имеют сходство в том, что обе начались из-за нечистых биржевых спекуляций. Они имеют сходство и в том, что эти инсценированные биржевыми дельцами военные предприятия драпировались патриотическими фразами как дальновидные политические начинания. Во Франции Руэ назвал мексиканскую экспедицию «величайшей мыслью царствования». В России камарилья, окружавшая царя, великие князья, которым хотелось нажить деньги на Ялу, и все придворные уверяли, что русская экспансия на Дальнем Востоке напоминает великую политику великого Петра или великой Екатерины. Тем понятнее было неудовольствие панславистов, которые хотели бы, чтобы Россия собрала и сберегала все свои силы для Европы, в особенности же для Балкан.

Император Николай влип в войну с Японией. Столкновение с Японией казалось ему возможным, иногда даже вероятным, но он не думал, что война начнется так скоро и так неожиданно. За день до того как японские миноносцы напали на русскую эскадру на внешнем рейде Порт-Артура, на придворном балу в Петербурге царь удостоил японского посла длинным и милостивым разговором. Во время бала японец с неподвижным лицом азиата заметил жене немецкого посла графине Альвенслебен: «Бедный царь не знает, что, в то время как он со мной разговаривает, его эскадра потоплена нами в Порт-Артуре». Так и после морской битвы при Чемульпо, фактически отдававшей Корею во власть Японии, император Николай на вопрос гофмаршала Бенкендорфа, не отложить ли ввиду войны с Японией предстоящие придворные

[1] Это хуже, чем преступление, это—ошибка.
[2] Вильгельм император-король, который заслуживает похвалы, подчиняясь.

балы, ответил: «Дело не дойдет до серьезной войны с Японией, les Japonais n'oseront pas»[1].

Весной 1904 г. император поразил меня сообщением, что его дядя король Эдуард известил о своем намерении нанести визит в Киль. Я тотчас же усомнился, действительно ли по инициативе короля предпринимается это посещение. Позднее я слышал, что император через своего брата принца Генриха подсказал королю желание встретиться с ним в Киле. Мне не нравилась мысль привести английского монарха в самую мастерскую нашего флота, в наш самый лучший порт и демонстрировать ему ad oculos[2] быстрые успехи нашего флота, но его величество указал мне на то, что он уже телеграфировал королю Англии, что он будет в высшей степени обрадован его скорому прибытию в Киль. Статс-секретарь морского ведомства спокойно и деловито разъяснил, что будет лучше, если мы не будем стягивать в Киль всего нашего флота. Император, который уже давно недолюбливал Тирпица, в то время как по отношению ко мне он был тогда еще воодушевлен благосклонными и дружественными чувствами, заметил грубым тоном, что это ребячество думать, что англичане не осведомлены точно о состоянии всего нашего флота, начиная с дредноутов и кончая маленькими миноносками. Тирпиц возразил, что он в этом также не сомневается. Но большая разница — осведомлены ли король Эдуард и сопровождающие его адмиралы и морские офицеры о нашем флоте по донесениям морских атташе в Берлине и соответствующим сообщениям агентов и шпионов или же увидят его перед собой во всей его силе и маневренных возможностях. Как раз на англичан очень сильно действует то, что они видят перед собой, непосредственное впечатление. Я с живостью и настойчивостью поддержал вполне верное соображение Тирпица. Наконец император заявил, что Тирпиц может ввести в Киль столько судов, сколько он хочет. На следующий день оказалось, что, несмотря на это, император в течение ночи отдал непосредственно через морской кабинет распоряжение послать в Киль все, даже самые маленькие корабли. Он и в этом случае хотел прежде всего «импонировать».

В день прибытия английских гостей на борту «Гогенцоллерна» состоялся торжественный обед.

На другой день король Эдуард втянул меня в продолжавшуюся почти час беседу с глазу на глаз. Неверными были распространявшиеся позднее слухи, что якобы при этом я предлагал королю союз между Германией и Англией. Никто не может всерьез заподозрить меня в такой бестактности, чтобы делать такое предложение, после того как несколькими годами ранее переговоры о соглашении между нами и Англией наткнулись на сопротивление тогдашнего английского премьер-министра и на непонимание немецкого общественного мнения. Во время этого разговора на яхте

---

[1] Японцы не осмелятся.
[2] Наглядно.

«Метеор» король начал с Восточной Азии. «Русские, — сказал он мне, — должны самих себя винить за свою неудачу». Их дипломатия была столь же неискусна, как теперь их военные действия на море и на суше. Японцы действуют во всех направлениях исключительно. Морально они также правы, Россия не имела ни права, ни повода итти в Порт-Аргур. Ей совершенно нечего искать в Корее, и она грубым образом оторвала Манчжурию от Китая.

Король Эдуард не скрывал, что он хотел бы скорого окончания восточноазиатской войны, и для этой цели он мог бы выступить посредником. Японцы будут сговорчивы. Когда я возразил, что Россия после таких поражений едва ли сможет заключить мир без того, чтобы сильно не поколебать свой престиж, то король Эдуард заметил, что он не видит, как может улучшиться положение для России. «На успехи русских ни на море, ни на суше нельзя рассчитывать, и самое умное, что могут сделать русские, это возможно скорее и на возможно более приемлемых условиях заключить мир».

Когда я выразил королю благодарность за его тост, произнесенный накануне, он заметил, что он на самом деле принимает близко к сердцу мирные и дружественные отношения с Германией. «Поэтому я благодарен лично вам за мужество и твердость вашего поведения во время бурской войны. Вам было тогда нелегко. Это несчастье, что между немецким и английским народом не существует более хорошего взаимного понимания».

«В несогласии между Германией и Англией главную вину, несет печать, — подчеркнул он. — Я не хочу выяснять, грешит ли больше немецкая печать или английская. Я хочу только установить, что между Германией и Англией, правда, существует много недовольства, но между ними нет непримиримых противоречий интересов. Столкновение между обеими странами было бы самым большим несчастьем, которое может испытать мир и в особенности Европа. Но до этого не дойдет, так как это было бы не только большим несчастьем, но и большой глупостью. Только немцам, так же как и англичанам, не нужно быть слишком недоверчивыми и слишком щепетильными. Широкие английские круги убеждены, что немцы строят свой флот с расчетом на то, чтобы, когда они будут достаточно сильны на море, напасть на Англию и уничтожением ее торговли или даже вторжением в ее пределы навсегда переломить ей хребет. Я не разделяю этого мнения, я даже борюсь с ним. Но вы должны также понимать, что так как Англия стоит и падает вместе со своей безопасностью на море, то английское адмиралтейство на каждое новое немецкое судно строит два новых английских. В Германии склонны рассматривать дружеские отношения между Англией, с одной стороны, и Францией, Россией, Италией и Испанией — с другой, как прямую угрозу. А эти отношения внушены такими же оборонительными соображениями, как и Тройственный союз и постройка немецкого флота. Если в Берлине, так же как и в Лондоне, будут сохранять хладнокровие и не будут делать «совсем больших глупостей», то натянутые

отношения между Германией и Англией со временем исчезнут, точно так же как в течение последних девяноста лет постепенно испарилось подобное, даже более серьезное несогласие между Францией и Англией и между Англией и Россией».

Вслед за тем король начал по собственной инициативе говорить о соглашении с Францией, заключенном кабинетом Бальфура 8 апреля, относительно разрешения спорных колониальных вопросов. Об этом важном соглашении, в создании которого король Эдуард лично принимал большое участие, он заметил: «Между Англией и Германией не нужны никакие специальные договоры, так как между нами не существует конкретных политических противоречий в интересах. С Францией дело обстоит иначе: здесь абсолютно необходимо договориться относительно старых и сложных разногласий. Соглашение между Англией и Францией однако не направлено против Германии. Я совсем не стремлюсь изолировать Германию. Наоборот, я хочу уменьшить поводы для трений между всеми великими державами и обеспечить Европе всеобщий мир на возможно долгое время, что настолько же отвечает интересам Германии, насколько это и в интересах Англии. Я буду стремиться к тому, чтобы также уменьшить поводы для трений между Англией и Россией. Мир необходим всем народам, стонущим под тяжестью своих вооружений и налогов».

Попутно король заметил, что он будет сожалеть, если на Ближнем Востоке дойдет до волнений. «Я стою за спокойствие повсюду. Правда, с султаном и с турками ничего не поделаешь. Первого ничему не научишь, а турки себя изжили. Будущее на Балканском полуострове принадлежит румынам, грекам и болгарам». Внутреннее положение России король Эдуард оценивал очень пессимистично, генерала Бобрикова он сравнивал с ландфогтом Геслером. Об императоре Николае он говорил с родственной симпатией. Продолжительность беседы, казалось, беспокоила императора, хотя он не вмешался в нее, а, находясь на расстоянии, с которого нельзя было слышать, на заднем штевене «Метеора», читал присутствующим морякам доклады о судостроении. Король закончил разговор спокойно и твердо произнесенными словами: «С помощью терпения и такта оба народа постепенно достигнут снова лучшего взаимного понимания. Лично я как раньше, так и теперь верю в вас, в ваше искреннее миролюбие и в ваши способности».

Когда я вспоминаю эту беседу, которую я из-за ее исторического значения передал почти дословно на основе тотчас же сделанной записи, то для меня теперь ясно, так же как было ясно и тогда, что главная задача короля Эдуарда все время заключалась в том, чтобы разъединить Германию с Россией. Он конечно старался, принимая во внимание все возможности будущего, заботливо наладить отношения с Францией, как и с Россией, а также и с Америкой, Японией, Италией и Испанией. Войны с нами он не хотел. Постепенно между дядей и племянником сгладились бы многие углы, если бы император не сердил по-

стоянно дядю своей бестактностью, этим пожалуй самым большим своим недостатком. Король Эдуард был сильно рассержен присутствием в Киле несносного для него Лонсдаля. Он хотел по крайней мере, чтобы его личный друг, чайный магнат, сэр Эдуард Липтон, которого он привез в Киль, был милостиво принят императором. Это не было сделано. Император уверял, что его дядя наделал миллионы долгов у богача Липтона, снабжавшего всю Англию своим цейлонским чаем; он не может поощрять такие недостойные отношения. Само собой разумеется, что императору должно было бы быть совершенно безразлично, на чем основана дружба короля с совсем не глупым и не безынтересным Липтоном.

ГЛАВА III

В последний день пребывания в Киле король Эдуард предложил императору послать немецкий флот в Плимут, чтобы нанести визит в этот большой английский военный порт. Так по крайней мере утверждал император. Я должен сознаться, что мне уже тогда казалось вероятным, что в действительности это предложение исходило от Вильгельма II, который своими величавыми и нарядными судами надеялся произвести в Англии впечатление, может быть морально завоевать британцев, во всяком случае хотел им сильно импонировать. Его ожидания не оправдались. Визит нашего флота в Плимут был неудачен. Население приняло наши суда недружелюбно, английские моряки — холодно. Английские газеты помещали отвратительные статьи, в которых нам бросались обвинения в том, что визит немецких судов был предпринят с целью шпионажа в английских портах. Одна большая английская газета выставила нелепое утверждение, будто немецкие морские власти хотели выбрать и осмотреть подходящее место для высадки десанта на случай вторжения в Англию.

Наш посол в Лондоне граф Меттерних писал мне об этом: визит нашего флота в Плимут имел в английской прессе «очень умеренный успех».

Тщательно взвесив наши торгово-политические отношения с соседями, я убедился в том, что прежде всего мы должны притти к соглашению с Россией. Если оно будет достигнуто, то дальше последуют Румыния, Австро-Венгрия, Швейцария и другие страны. Далее я считал, что из русских государственных людей всего легче было бы договориться с прежним министром финансов и теперешним председателем совета министров Сергеем Юльевичем Витте. Но как к нему подойти? Я вспомнил, что во время нашей встречи в Петербурге Витте говорил мне, что он питает абсолютное доверие к двум большим европейским финансистам — Ротшильду в Париже и Эрнсту Мендельсону в Берлине. Я связался с последним, который был умной головой, прекрасным дельцом и с горячим патриотизмом сочетал безусловную надежность. Он мог секретным и верным путем связаться с Витте. Я поручил запро-

сить Витте, не хочет ли он начать непосредственно со мной переговоры относительно нового торгового договора и если он согласен, то как лучше всего устроить, чтобы он был послан для этой цели. До сих пор Витте допускал в близко стоящей к нему русской прессе энергичную и отчасти очень грубую полемику против немецких желаний и претензий в торгово-политической области. Это меня не смущало. Язык дан человеку для того, чтобы скрывать его мысли, сказал Талейран. Немного времени спустя господин Мендельсон смог мне сообщить, что Витте охотно начнет переговоры со мной. Чтобы это сделать возможным, будет самым лучшим, если немецкий император в возможно скрытой и достаточно естественной форме намекнет об этом в своих письмах к императору Николаю. Император Вильгельм, который разделял мои планы, разрешил мне составить в этом смысле одно или два письма к царю. В них говорилось примерно следующее. Чтобы предотвратить всякие осложнения в отношениях между Россией и Германией, необходимо прекратить скучные таможенные дрязги и притти к соглашению в хозяйственной области. Если это дело поручить немецким тайным советникам и русским чиновникам (tschinowniks), то не видать этому делу конца. Более практичным было бы запереть вместе двух настоящих государственных деятелей, т. е. Витте, величайшего авторитета в России по хозяйственным и финансово-политическим вопросам, и немецкого канцлера, чтобы они быстро пришли к удовлетворяющему обе стороны результату. Впрочем им не нужно встречаться в тюрьме. Витте может приехать в Нордерней, где немецкий канцлер имеет обыкновение проводить жаркие месяцы и здоровый морской воздух которого придаст Сергею Юльевичу новые силы. Царь ответил дружественно и выразил согласие.

В июле Витте прибыл в Нордерней. Он привез с собой целый штаб чиновников. Я сразу поставил себя с Витте на короткую ногу, пригласив его по вечерам ужинать у нас в нашей вилле. Обед заканчивался тогда обычно уютной болтовней, длившейся иногда два, даже три часа. Витте говорил обо всем не стесняясь, что являлось первым залогом того, чтобы не быть скучным при частных свиданиях. Он впал в немилость у своего монарха и питал к нему злобу. Он не любил также и императрицу Александру Федоровну, которую он обвинял в том, что она восстанавливала против него своего супруга. Для этого она использовала испытанное средство, рассказав царю, что петербургское общество убеждено, что он является марионеткой в руках Витте. Императрица даже нарисовала маленькую карикатуру, представляющую Витте, с его массивной фигурой и его грубыми чертами лица, державшего в руках маленького паяца с тонкими чертами мнимого самодержца. Свою отставку Витте изображал следующим образом: «Когда в назначенный день я кончил свой обычный доклад, император Николай некоторое время рассеянно смотрел перед собой на свой письменный стол, а затем, не глядя на меня, сказал мне слабым голосом, что у него такое впечат-

мение, что мое здоровье в последнее время пошатнулось, и ему не хочется, чтобы я переутомлялся. Поэтому он освобождает меня от поста министра финансов и назначает председателем совета министров. Тогда я потерял терпение, — продолжал Витте, причем гнев даже теперь заставил покраснеть этого сильного человека. — Такая фальшь и притворство возмутили меня. Я сказал импера тору: «Я не понимаю, зачем вы разыгрываете со мной такую комедию. Место председателя совета министров в России — это чистейшая синекура. Точно так же вы могли бы меня сослать на Кавказ или в Сибирь». После небольшой паузы Витте добавил не без некоторого волнения в голосе: «Но вы сейчас увидите, что у императора есть также и хорошие качества. Вечером того же дня он прислал мне толстый конверт, в котором было 400 тысяч рублей». Витте был видимо горд этим возмещением за причиненный ущерб. Витте был убежденным приверженцем хороших отношений между его отечеством и Германией. Не потому, чтобы он чувствовал к нам особую симпатию. Париж как город он предпочитал Берлину. Французы ему нравились больше немцев, англичане и американцы импонировали ему в большей степени. Но он был убежден, что от сохранения мира и добрых отношений между Германией и Россией зависит судьба русского царствующего дома, а он, при всей его тайной вражде к теперешнему царю и несмотря на случайные приступы либерализма, был безусловным монархистом. Уже в 1904 г. он держался того мнения, что падение монархии в России будет сигналом к анархии, нужде, разрухе и разложению гигантской империи. Подобно многим другим русским государственным людям Витте не одобрял и презирал фанатические увлечения славянофилов балканскими народами, которые все без исключения, сначала сербы, потом болгары, греки и румыны, при всякой возможности платят России гнусной неблагодарностью за ее жертвы людьми и деньгами. Не только в Сибири и в Туркестане, но и на Кавказе и даже в Европейской России огромные пространства ждут культуры и обработки и эксплоатации огромного количества ископаемых. Сомнительно, будет ли обладание Константинополем счастьем для России. Николай I однажды написал твердой рукой на донесении, в котором говорилось, что православный крест должен быть вновь поднят на церковь святой Софии: «В теории это хорошо и красиво, но в действительности владение Константинополем будет для России скорее моментом слабости, чем силы. Зачем нам три столицы? Петербург, создание величайшего из русских царей, от которого мы не можем отказаться, святая Москва-матушка, от которой мы еще меньше можем отказаться, и наконец Византия?» Витте и подавно был против всякого расширения русского государства в Европе. Восточная Пруссия? В России уже достаточно немцев. Познань? В России уже достаточно поляков. Галиция? В России уже достаточно евреев. Главное же основание того, что Витте являлся сторонником мира и согласия с немецким соседом, лежит в его твердом, как скала, убеждении,

которому, как я слышал, он остался верен до последнего момента своей жизни, что война между Россией и Германией поведет к возможному падению Гогенцоллернов и к несомненному падению Романовых и послужит только на пользу революции.

Переговоры о торговом договоре происходили обычно до обеда, иногда кроме того и после обеда. Витте встретился со мной с намерением не задерживаться на детальных вопросах и на мелочах, а обсуждать проблему в целом с более высокой точки зрения. Нельзя отрицать, что по широте взглядов он превосходил моих уважаемых немецких сотрудников. После того как последние некоторое время перебранивались со штабом Витте, он обычно передавал мне маленькую записку, на которой говорилось приблизительно следующее: «Mettons fin à ces commerages inutiles! Je vous propose la solution suivante...» [1]. Его предложения были всегда практичны, большей частью приемлемы. Когда один из немецких делегатов однажды возразил ему, что если он не уступит в том или ином пункте, то мы можем через некоторое время провести постановление рейхстага, в силу которого правительству может быть предложено не уступать русским именно в этом пункте, Витте ответил улыбаясь: «А я могу одной коротенькой телеграммой добиться царского указа о повышении всех наших требований на 400 процентов».

Конечно я был далек от того, чтобы поддаться на такой блеф уже потому, что это с давнего времени было излюбленным приемом как раз у русских. Однажды в конце дня после довольно энергичной дискуссии, не приведшей ни к какому соглашению, Витте прислал ко мне одного из своих секретарей, чтобы узнать у меня, в какое время отходит завтра скорый поезд из Нордейха, конечной станции, расположенной против острова Нордернея, в Берлин. Через час я ответил ему, что я дал распоряжение о предоставлении ему от Нордейха до Берлина салон-вагона в расчете на длинное путешествие, которое ему предстоит еще от Берлина до Петербурга. К мысли об отъезде он больше не возвращался.

Заключением торгового договора с Россией мы застраховали себя от опасности хозяйственной изоляции Германии. Установление полного доверия и дружественных отношений между мною и самым выдающимся государственным человеком Российской империи являлось для нас побочной выгодой, которой не следовало пренебрегать. Я хотел также как можно скорее устроить дело с торговым договором с Румынией и пригласил для этой цели моего старого личного друга румынского политического деятеля Деметрия Стурдца в Гомбург, где осенью я провел несколько недель. Мы быстро пришли к соглашению. Так как я хотел доставить радость весьма заслуженному графу Позадовскому, предоставив ему самостоятельно заключить важный договор, торговый договор с Австро-Венгрией, то я отправил его с этой целью в Вену. Скоро выяснилось, что необыкновенная работоспособность

[1] Покончим эти ненужные пересуды. Я предлагаю следующее решение...

и редкие экономические знания еще недостаточны, для того чтобы вести переговоры, или, говоря словами Бисмарка: «Дипломатия — это не наука, как думали немцы до сих пор, а искусство». В скором времени Позадовский сделался в Вене невозможным. Вместо того чтобы принять венские условия такими, какими они были, и добиваться при них возможно большего, он преподносил венгерцам и австрийцам доклады в тоне берлинского тайного советника-всезнайки о недостатках дуализма, при котором никто не знает, кто собственно повар и кто кельнер. Недостатки такого государственного строя неоспоримы, они вопиют к небесам. Но австрийские представители ведь были не в состоянии их устранить и, главное, не хотели, чтобы иностранец поучал их этому. Так как и личные отношения между Позадовским и представителями двуединой монархии делались все менее дружественными, то нашему статс-секретарю внутренних дел самому стало ясно, что ему не удастся добиться успеха. Вместо того чтобы спокойно в этом признаться, он обвинил нашего посла графа, позднее князя Карла Веделя в том, что тот недостаточно его поддерживал. Ведель как старый гвардейский улан принял дело как личную обиду и задал самому себе, а также мне вопрос, не должен ли он вызвать Позадовского на дуэль. Я должен был отозвать последнего в Берлин и там лично вести переговоры с посланными из Вены австрийскими делегатами, с которыми мы скоро достигли полного соглашения. Заключение остальных торговых договоров я мог с полным доверием предоставить моим надежным сотрудникам, особенно же его превосходительству фон Кернеру.

Когда осенью 1904 г. Джиолитти — такой же большой любитель прогулок как и я, — шагал со мной по лесам в окрестностях Гомбурга, то прежде всего он навел разговор на самое чувствительное место Тройственного союза и труднейшую проблему итальянской внешней политики, а именно на отношения между Италией и Австрией. Кабинет Канарделли слишком распустил прредентистов. Но, с другой стороны, продолжал господин Джиолитти, и австрийскому правительству следовало бы проводить менее враждебную и не такую глупую политику по отношению к своим итальянским подданным. Уже вследствие незначительного их количества итальянцы в Цислейтании абсолютно не могут представлять действительной опасности для австрийского государства. Зачем их толкают в оппозицию к австрийскому государству и немецкому населению? Естественным было бы, если бы итальянцы и немцы держались вместе против славян. Италия не хочет ввязываться в албанские дела, но и для Австрии это должно быть «Noli me tangere». Сохранить Адриатику свободной — жизненный вопрос Италии, которая конечно не хочет вытеснить Австрию с Балканского полуострова, но там также не может терпеть и австрийского преобладания или в особенности какой бы то ни было агрессии со стороны Австрии против Румынии или Сербии. В этом отношении и Австрия и Италия должны быть верны не только букве, но также и духу Тройственного союза.

Без ненужной, несвойственной ему высокопарности, но со спокойной уверенностью господин Джиолитти заявил мне, что Италия не даст Франции соблазнить себя на выход из Тройственного союза. Интересы Италии требуют от нее не быть в натянутых отношениях с Францией, как это сплошь и рядом случалось в девяностых годах. Для Италии был также очень полезным ответный визит Лубе в Рим, вызванный посещением Парижа королем Виктором-Эммануилом, так как благодаря ему был раз навсегда похоронен вопрос о светской власти папы. Существовала только одна держава, у которой можно было бы подозревать склонность к восстановлению светской власти. Этой державой была Франция. После того как глава французского правительства посетил Рим, не уделив никакого внимания папе, этот вопрос устранен, и Рим действительно превратился в неприкосновенную столицу итальянского королевства. Этого-то прежде всего Италия и должна была добиться от Франции. Итальянское правительство однако не думает о том, чтобы союз с Германией заменить союзом с Францией. Итальянский народ, включая передовых радикалов, слишком умен, чтобы в своем большинстве не думать по этому вопросу так же, как думает правительство. Король Виктор-Эммануил проникнут сознанием необходимости держаться вместе с Германией — теперь еще больше, чем раньше.

Мы говорили об отношении итальянского правительства к курии. Джиолитти был доволен Пием X, который являлся простым сельским священником, чуждым всяких политических комбинаций. Лев XIII и Рамполла стремились к уничтожению итальянской монархии ради установления федеративной итальянской республики под протекторатом Франции и с папой во главе, как это уже рисовалось Наполеону III при заключении Виллафранского мира. С появлением добродушного Пия X об этом не было больше речи. Естественно, что папство открыто ничего не может изменить в принципах римской церкви, и этого не потребует от него ни один итальянец. В действительности же Пий X, который является патриотически настроенным итальянцем, старается сохранить и поддержать итальянскую монархию. По поводу шумевшего тогда во Франции культуркампфа Джиолитти чувствовал понятное удовлетворение, но подчеркнул, что он не будет столь глупым, чтобы инсценировать нечто подобное в Италии. Итальянцы — скептический народ и не понимают, как можно воспламеняться из-за религиозных вопросов. Относительно своей внутренней политики Джиолитти повторил то же, что он уже часто говорил мне, а именно, что порядок должен поддерживаться твердой, очень твердой рукой, но что при наличии того гнета, который в Италии тяготел над сельским рабочим населением, итальянская монархия не должна себя вполне идентифицировать с сельскими работодателями, с «синьорами». Впрочем монархия в Италии крепче, чем это думают за границей. Если бы опубликовать донесения иностранных посланников в Италии в шестидесятых годах XIX века, которые писали об итальян-

янских условиях, то можно было бы установить, что все эти господа, может быть за единичным исключением спокойно наблюдавшего англичанина, предсказывали падение савойского дома. Как заблуждались тогдашние пророки, так же окажутся неправыми и те, которые в настоящее время оценивают итальянские дела с преувеличенным пессимизмом. Монархия в Италии будет продолжать крепнуть. При наличии с обеих сторон умелой, спокойной и тактичной политики Италия останется на стороне Германии.

Едва ли какая-либо другая мысль так сильно занимала императора Вильгельма II во время его правления, как желание заключить союз между домом Гогенцоллернов и Романовыми, между прусско-германской и русской монархиями. И как это почти всегда было у его величества, это желание также исходило из его личных чувств. Вильгельм II очень хорошо знал, хотя в этом и не сознавался, что он если и не главный виновник отказа Германии от бисмарковского договора перестраховки, то все же несет значительную часть ответственности за этот шаг, приведший ipso facto к франко-русскому союзу. А по его слишком часто прокламировавшейся им теории об единоличной ответственности монарха перед богом, перед своим народом и перед историей он оказывался даже единственным виновником этой несравнимой ошибки. В первые годы после отставки Бисмарка Вильгельм II мотивировал разрыв провода, соединяющего нас с Россией, этическими мотивами: договор был бы «изменой Габсбургам». Так как этот подсказанный ему Гольштейном и Фили Эйленбургом аргумент не всегда годился, то император утверждал, что он должен был отвернуться от России, чтобы наладить действительно хорошие отношения с Англией. И это утверждение после телеграммы Крюгеру также нельзя было поддерживать. Так что императору не оставалось ничего другого, как доказать, что он также и после Бисмарка, без него и невзирая на него, снова может вступить в договорные отношения с Россией. Еще при моем переводе из Рима в Берлин в 1897 г. я говорил императору, что, после того как семь лет назад нами был разорван русско-германский договор, к тому же при мало отрадных обстоятельствах и в нелюбезной форме, русское правительство не проявит готовности, разорвав торжественно прокламированный союз с Францией, заключить союз с нами, и действительно при существующем в России настроении народных масс едва ли будет в состоянии это сделать. То, что мы сами погубили в 1890 г., не может быть воскрешено снова. Но конечно умелой и спокойной политикой можно сохранить не только мир, но также и дружбу с Россией. Однако император не терял надежды достичь своей цели путем личного влияния на царя. То обстоятельство, что он хотел осуществлять внешнюю политику прежде всего путем влияния на других государей и через их посредство, проистекало из его натуры и из ложного понимания положения монарха. Начала войны между Россией и Японией он ожидал

с едва сдерживаемым мною нетерпением, главным образом потому, что надеялся, что нужда — большой внешнеполитический конфликт — заставит императора Николая просить поддержки, а главное, доброго совета у своего немецкого «коллеги». Когда 21 января 1904 г., т. е. за две недели с лишним до начала военных действий, император получил от царя телеграмму, в которой высказывалась надежда, что мир не будет нарушен, его величество пришел в уныние. Его беспокоило, что царь ни в каком случае не допустит до войны с Японией. Это приведет, так соображал Вильгельм дальше, к франко-английскому посредничеству, которое может вылиться в франко-англо-русскую коалицию против нас. Опасения, которые доставляли царю Япония, Америка и особенно Англия, побудят его к сближению с этими странами, а также и к тому, чтобы крепче закрепить союз с Францией. Но главное, нам грозит опасность, что японцы вследствие бессильной политики русских сделаются надменными. На море мы еще не доросли до Японии. Киаочао император считал потерянным. Я отвечал, что мы должны прежде всего стараться не вызвать у царя подозрения, будто мы хотим вовлечь его в войну, итти на которую он и его министры по понятным причинам не имеют никакого желания. Чем меньше мы будем сейчас открывать свои карты и чем тише будем сидеть, тем лучше. Если мы не сделаем царя недоверчивым, и, главное, не покажемся ему лукавыми друзьями, а, с другой стороны, также не позволим другим использовать себя против Англии и не будем резки с Японией, то мы можем спокойно ждать дальнейшего развития событий. Я надеялся до некоторой степени успокоить императора. Однако это не удалось. Настроение его величества делалось все более мрачным и, главное, все более возбужденным. В течение двух последних месяцев император осаждал царя письмами, в которых он в противоречии со всеми моими советами и вопреки моим определенным указаниям старался оторвать царя от Франции. Эти письма конечно достигли как раз обратного тому, чего ожидал его величество. 28 декабря 1904 г., за три дня до нового года, император писал мне, что царь ответил ему «определенным отказом от всякой мысли о каком-либо соглашении без ведома Галлии», «совершенно отрицательный результат в итоге двухмесячной честной работы».

ГЛАВА V[1]

Во время новогоднего богослужения в дворцовой церкви я обратил внимание на бледность императора. После церемониала я услышал от Тирпица, что император очень взволнован докладом, поданным палате общин в конце истекшего года первым лордом английского адмиралтейства графом Сельборном. В этой записке в качестве задачи адмиралтейства намечалось держать весь ан-

[1] Главу IV как неинтересную для советского читателя мы пропускаем. *Ред.*

глийский флот в такой боевой готовности, чтобы он был в состоянии в любой момент нанести немедленный удар. Флот отечественных вод впредь должен называться флотом канала, теперешний флот канала — атлантическим флотом. Было ясно, что такая дислокация флота[59] являлась уступкой английскому общественному мнению, обеспокоенному нашим судостроением. Также довольно вероятно, что создание особого атлантического флота было ответом на мало удачную идею императора назвать себя «адмиралом Атлантики». Опубликованию записки графа Сельборна предшествовала статья в «Army and navy gazette», в которой говорилось: «Раньше Англия просто уничтожила бы флот, относительно которого мы имели бы основания предполагать, что он может быть использован нам во вред. Мы хотим откровенно сказать, что настоящий момент особенно благоприятен, для того чтобы заявить, что этот флот впредь не должен увеличиваться. Другие страны вероятно отнесутся к подобному выступлению с плохо скрываемым удовольствием, если не с явным одобрением». Вскоре после этого гражданский лорд английского адмиралтейства мистер Ли произнес речь, в которой говорилось, что Англия должна запретить Германии постройку флота. Когда представитель либеральной оппозиции мистер Кемпбелл-Баннерман во время дебатов в нижней палате по поводу адреса королю высказал сожаление о том, что Ли без основания провоцировал Германию, премьер-министр Бальфур взял гражданского лорда под свою защиту, порицал вождя оппозиции за «неблагородство» и с пафосом хвалил усердие и большие способности Ли, имеющие громадную ценность для его страны.

В январе 1904 г. император к моему удивлению объявил мне, что король Леопольд Бельгийский высказал ему желание приехать в Берлин. По его твердому убеждению надо использовать эту благоприятную возможность, чтобы еще крепче привязать Бельгию к нам. «Сейчас, — говорил император, — бельгийский король — ничто среди великих государей, до него никому нет дела, но вместе с тем у Бельгии великолепное прошлое. Мы должны обратить внимание короля Леопольда на блеск и великолепие старой Бургундии, напомнить Филиппа Доброго и Карла Смелого. Если мы откроем ему перспективу подняться до такой же высоты благодаря союзу с нами, то Леопольд будет готов на все». Конечно я не советовал это делать. Бельгийцы не честолюбивы. Они заботятся лишь о своем нейтралитете и независимости, но зато к этому они относятся очень внимательно. Император обещал мне, что он откажется от роли искусителя, к которой он уже приготовился. Я не хочу скрывать, что я и сейчас сомневаюсь, что король Леопольд на самом деле по собственному побуждению объявил о визите в Берлин, и не исходило ли приглашение его от императора или же не дал ли к этому толчок военный атташе в Брюсселе.

Король Леопольд прибыл в Берлин 26 января 1904 г. На следующий день, в день рождения его величества, 27 января, он по-

чтил меня длинным визитом, в продолжение которого мы имели под рукой разложенную на моем столе большую карту Центральной Африки, урегулировали целый ряд спорных колониальных вопросов, относительно которых я предложил колониальному отделу иностранного ведомства сделать мне обстоятельный доклад. Король был хорошим дельцом. Его ясность, деловитость и уверенность произвели на меня благоприятное впечатление. От наших маленьких колониальных разногласий мы перешли к общему европейскому положению и в связи с этим к отношениям между Бельгией и Германией. Король отметил, что не только его личным желанием, но и желанием всех бельгийцев без различия партий и главным интересом всей Бельгии является поддержание мира, которое представляется ему вполне возможным, если в Берлине, Лондоне и Петербурге будут держаться разумной и спокойной политики. Что же касается отношений между Бельгией и Германией, то они так хороши, как только возможно. Французский язык — это родной язык валлонов, вся Бельгия испытывает на себе влияние французской цивилизации, Брюссель в духовном, литературном и художественном отношениях, так сказать, — предместье Парижа. Но бельгийцы слишком трезвы и слишком благоразумны, чтобы из-за этого подпасть под политическое влияние Франции. В политической жизни они питают больше доверия к Германии, чем к Франции. Старый страх быть когда-нибудь разгромленным или совершенно поглощенным Францией широко распространен в Бельгии, а недавно он еще более обострился в этой глубоко католической стране благодаря антиклерикальному направлению французской республики. Относительно Германии король сказал, что каждый бельгиец еще из бисмарковских публикаций перед началом франко-прусской войны 1870 г. знает, что Германия является защитником и верным сторожем бельгийского нейтралитета и независимости Бельгии.

Настал последний день пребывания короля в Берлине, 28 января 1904 г., день его отъезда. На 8 часов был назначен ужин, за которым непосредственно должен был следовать отъезд. Появились все приглашенные, императрица также давно уже была на месте, отсутствовали лишь император и его бельгийский гость. Наконец явились оба. Мне сейчас же бросились в глаза раздраженный вид императора и расстроенное выражение лица короля, который вопреки своей привычке едва разговаривал с сидевшей рядом с ним за столом императрицей. Как только встали из-за стола, король вместе с императором покинул дворец, чтобы ехать на вокзал. Мимоходом король пожал мне руку с тихо, но серьезно и определенно сказанными словами: «Император сказал мне ужасные вещи. Я рассчитываю на ваше доброе влияние, ваш ум и ваше умение устраивать дела, чтобы избегнуть больших несчастий». Когда император возвратился с вокзала, один из сопровождавших его адъютантов, видимо испуганный, спросил меня: «Что случилось с бельгийским королем? Похоже, что был скандал. Король выглядел совсем раздраженным. Старый госпо-

дин был так расстроен, что неправильно надел шлем своего прусского драгунского полка — орлом назад, вместо того чтобы одеть его наперед». Подошедший император отвел меня в сторону от собравшихся, которых он быстро и рассеянно отпустил.

Когда мы вошли с ним в его красивый кабинет, то последовала полная темперамента вспышка негодования по поводу «гнусности его коллеги». Он говорил бельгийскому королю в возможно любезном тоне о его гордых предшественниках бургундских герцогах и прибавил, что если король хочет, то он может снова восстановить их государство и простирать свой скипетр над французской Фландрией, Артуа и Арденами. Король сначала непонимающе «выпучил глаза», а затем, «оскалив зубы», заметил, что о таких далеко идущих планах ничего не хотят знать ни бельгийские министры, ни бельгийские палаты. «Тогда я потерял терпение, — продолжал император, — я сказал королю, что я не могу уважать монарха, который чувствует себя ответственным перед депутатами и министрами, вместо того чтобы отвечать только перед господом на небесах. Я ему также сказал, что я не позволю со мной шутить. Тот, кто в случае европейской войны не будет со мной, тот будет против меня. Как солдат я принадлежу к школе Фридриха Великого, к школе Наполеона I. Подобно тому как первый начал семилетнюю войну с вторжения в Саксонию, а последний всегда с молниеносной быстротой опережал своих соперников, так и я, поскольку Бельгия не со мной, буду руководствоваться только «стратегическими соображениями». Последовала продолжительная пауза. «Я надеялся, — сказал наконец явно расстроенный император, — найти у вас понимание и услышать похвалу, однако к сожалению я встречаю видимо обратное. Это самое горькое разочарование сегодняшнего дня». Я изложил его величеству в спокойной и возможно ясной форме точку зрения политического благоразумия. Мои стремления направлены к тому, чтобы с честью и с достоинством сохранять мир. Такой мир является и желанием императора, и к нему он также стремится. Поддержание почетного и достойного мира в интересах Германии, так как время работает на нас. Если на нас нападут и наши противники французы и англичане должны будут вступить в Бельгию или высадить там войска, то, само собой разумеется, это даст также право и нам тотчас же вторгнуться в Бельгию. Но без предварительного нарушения бельгийского нейтралитета нашими врагами мы не можем обрушиваться на Бельгию и пренебрегать подписанными также и нами, торжественно утвержденными договорами. К такой ужасной ошибке я не приложу своей руки, так как такого рода действиями мы дадим в руки наших противников те невесомые факторы, которые, говоря словами Бисмарка, весят больше, чем материальные ценности. Я повторил еще раз, что в случае войны *мы никак не должны быть первыми*, кто нарушит гарантированный международным правом нейтралитет Бельгии. Войны в конечном счете выигрываются или проигрываются не только военными средствами, но

по крайней мере настолько же и политическими. Наполеон, несмотря на свою выдающуюся военную гениальность, кончил свои дни пленником на острове святой Елены, Фридрих Великий, будучи не только полководцем, но и политиком, умер на троне. Наш разговор затянулся за полночь. Во время разговора император был более нервным и порывистым, чем обычно он бывал со мной раньше. Он заметил вполголоса: «Если вы так думаете, то я в случае войны должен буду поискать другого рейхсканцлера». Я расстался с ним под впечатлением, что хотя я и не совсем убедил императора, но он, понимая, что со мной ему всего надежней будет, покуда я остаюсь на посту, следовать за мной в решающие моменты, может быть не столько из благоразумия, сколько из осторожности. Я не хочу оставить эту тему, не прибавив, что как граф Альфред Шлиффен, так и его преемник Гельмут Мольтке затрагивали при случае в разговоре со мной вопрос о прохождении войск через Бельгию. Мои личные отношения с обоими были самые лучшие. Я вспоминаю, что Шлиффен за некоторое время до моего ухода в 1904 или 1905 гг. беседовал со мной относительно возможности войны. Он при этом сказал, что в случае войны с Францией и Россией мы должны стремиться сначала разбить Францию. Вернейший путь достичь этой цели ведет через Бельгию. Я ответил, что это мне хорошо известно. Но я прибавил к этому, что в силу всяких политических оснований мы сможем согласиться на этот путь только в том случае, если бельгийский нейтралитет будет предварительно нарушен нашими противниками. Я напомнил гениальному стратегу об одном незабываемом для меня происшествии зимой 1887—1888 гг. В то время отношения между Германией и Францией были очень напряженные, война висела в воздухе, подобно тому как это уже было в 1875, 1879 и 1885 гг. В то время английские симпатии были на стороне Германии, и в одной большой английской газете, если я не ошибаюсь в «Standard», было написано приблизительно следующее. Англия конечно гарантировала в свое время нейтралитет Бельгии. Но это не означает, что она должна защищать этот нейтралитет при всяких обстоятельствах с оружием в руках на стороне Франции против Германии. На этот соблазнительный намек Бисмарк дал ответ в инспирированной им самим статье, которую я точно помню. В те критические дни я был поверенным в делах в Петербурге и в качестве такового с вполне понятной внимательностью прочитал и продумал эти мысли моего великого начальника.

В этой статье, помещенной в высокоофициозной газете, в берлинской «Post», князь Бисмарк наметил следующие руководящие линии, которые остались также обязательными и для меня.

1. Немецкая политика никогда не начнет войны из-за того, что она думает, что без этого война ей все равно будет навязана.

2. В особенности Германия никогда не начнет войны нарушением договора европейского значения.

3. Если в Англии считают, что немецко-французская граница

благодаря французским укреплениям сделалась неприступной для всякого немецкого наступления и что как следствие этого немецкий генеральный штаб должен иметь в виду прорыв через Бельгию, то в Берлине думают, что комбинации немецкого генерального штаба не так-то легко исчерпываются. Во всяком случае заблуждаются все те, кто считает, что руководство германской политикой подчиняется взглядам генерального штаба, а не наоборот.

4. Так же как и швейцарский нейтралитет, никогда не будет нарушен Германией и нейтралитет Бельгии.

5. Немецкое государственное руководство придает величайшее значение сохранению своей репутации строгого хранителя договоров, которые заключила Европа ради сохранения мира [60]. Кроме того здравый человеческий смысл учит, что было бы неумно принуждать вооруженные силы Бельгии или Швейцарии к боевому сотрудничеству с французской агрессией. Граф Альфред Шлиффен, с которым я как до, так и после этого разговора состоял в неизменно хороших отношениях, повернул по своей привычке несколько раз свой монокль в глазу и затем сказал: «Конечно это верно и сейчас. С тех пор мы не сделались глупее». Шлиффен, правда, прибавил, что он склоняется к убеждению, что Голландия в случае войны будет видеть в нас своих естественных союзников против Англии. Что касается Бельгии, то она едва ли окажет вооруженное сопротивление немецкому вторжению, а удовлетворится одним протестом. Впрочем он думает, что в случае большой войны французы, а возможно также и англичане, тотчас же вторгнутся в Бельгию. Этим самым нам будут развязаны руки. Я особенно подчеркиваю, что, насколько я знаю положение вплоть до начала мировой войны, имелись и генштабисты, которые на случай германо-французской войны путь через Бельгию не считали правильным, во всяком случае не считали его единственно возможным, чтобы разбить Францию. Также и после войны мне говорил один из известнейших наших генералов, что мы сделали бы лучше, если бы не выбрали путь через Бельгию с его страшными политическими последствиями, а решились бы на другую комбинацию.

По этому поводу, забегая вперед, я хочу также упомянуть, что за несколько месяцев до моего ухода граф Альфред Шлиффен опубликовал в «Deutsche Revue» довольно тревожную статью о возможности всеобщей войны, содержавшую некоторые формулировки, вызвавшие в Бельгии недовольство. Касающееся этого вопроса донесение графа Вальвица, который в то время еще был представителем империи в Брюсселе, я переслал тогдашнему начальнику генерального штаба армии генералу-полковнику фон Мольтке, который ответил мне 19 января 1909 г. дословно следующее: «Мне непонятно, как из высказываний графа Шлиффена можно вычитать, что в руководящих инстанциях с проходом наших войск через Бельгию считаются как с чем-то весьма вероятным, как с чем-то данным»... Наконец я хотел бы добавить,

что на мой запрос от 1 июля 1920 г. о том, происходил ли после отставки князя Бисмарка во время канцлерства графа Каприви, князя Гогенлоэ или в продолжение моей службы обмен мнениями между иностранным ведомством и генеральным штабом армии относительно возможного вторжения в Люксембург, Бельгию или Голландию, 6 июля 1920 г. статс-секретарь иностранного ведомства господин фон Ганиель официально ответил мне: «Глубокоуважаемый князь! На ваш запрос от 1 июля о том, имел ли место обмен мнениями между иностранным ведомством и генеральным штабом армии относительно возможного вступления в Люксембург, Бельгию или Голландию, имею честь сообщить вашему сиятельству, что в делах иностранного ведомства не содержится ничего относительно ведения подобной переписки».

Во вторую половину моего канцлерства, с 1904 по 1909 г., Вильгельм II больше не возвращался в разговорах со мной к мысли о вторжении в Бельгию. Тем более усердно он занимался планом установления более тесных отношений с Данией. Это желание было широко распространено в наших морских кругах. Чтобы достичь союза с Данией, Тирпиц был готов возвратить Дании северный Шлезвиг. Я никогда не сомневался относительно того, что всякая попытка вызвать или даже вынудить более близкие отношения с Данией наверняка столкнет нас с Англией, возможно с Францией, а быть может даже и с Россией. Когда в феврале 1905 г. император послал мне одну за другой две телеграммы: «Мы должны установить близкие отношения с Данией», я написал ему, что дипломатическое выступление Германии с целью притти к союзу с Данией значительно усилит уже имеющуюся неустойчивость мирового положения. Союз между могущественной Германской империей и маленькой Данией будет всюду рассматриваться как отказ Дании от своей независимости и как ее присоединение к Германской империи. Старый король Христиан IX может быть и питает отеческую склонность к немецкому императору, о которой мне неоднократно говорил император, но король не может заключить никакого союза без конституционных учреждений, которые в свою очередь зависят от настроения народа. Датский народ враждебен немцам. И не только датская пресса и датский народ, но и датское правительство и датский двор обратятся за помощью к Англии и России, так как каждое правительство, которое в подобный момент не примет в расчет национальные чувства, будет мигом устранено, да и сама датская королевская власть, о немецком происхождении которой еще не совсем забыли, может очутиться в опасности. Так, Англии будет предоставлена возможность объявить себя защитником маленькой страны и ее независимости против вынужденного союза с Германией. «Некоторые английские круги только и ждут, чтобы сыграть перед нами благородную роль защитника преследуемой невинности и слабой страны». Делькассэ с удовольствием постарается разъяснить как англичанам, так и русским, что между ними не существует ни-

каких противоречий, которые могли бы воспрепятствовать совместному англо-русско-французскому выступлению на защиту датской независимости. Включение Дании в пределы немецкого государственного единства — это мечта и мечта не безопасная. Для ее осуществления нужно, чтобы или английский флот был занят в другом месте, или чтобы немецкий флот ему был примерно равноценен — один или вместе со своими союзниками. В настоящее время отсутствует как та, так и другая предпосылка. Неосторожные шаги, направленные к присоединению Дании к Германии, будут лишь желанными для наших врагов, в особенности для адептов франко-русско-английского Тройственного союза. Этим нашим противникам в Париже, в Лондоне и Петербурге будет дан тот самый повод для объединения, который у них временно исчез благодаря предотвращению раздела Китая. Чем хуже будет благодаря этому настроение некоторых людей в Париже и Лондоне, тем ревностней воспользуются они неожиданно представившимся случаем, чтобы из-за Дании вызвать к жизни новый тройственный союз, который, если только он возникнет, будет потом искать и находить себе дальнейшие задачи.

В результате спокойного размышления над политическим положением я пришел к убеждению, что, несмотря на все угрожающие речи представителей английских морских кругов и самого выдающегося из моряков лорда Фишера, постоянно надоедавшего королю Эдуарду VII, чтобы он разрешил ему, пока еще не поздно, пустить ко дну немецкий флот, т. е. напасть на него и уничтожить без объявления войны, Англия выступит против нас только в том случае, если у нас начнется война с Россией. Уже поэтому мы должны, помня призывы и предостережения Бисмарка, поддерживать мир с Россией. Это является возможным, если мы не станем мешать России в Дарданеллах и не будем допускать великопольской пропаганды в наших восточных провинциях. Мы конечно не можем допустить разгрома Австрии. Но мы не можем также и допускать, чтобы антирусские тенденции и планы взволнованных австрийских генералов и венских дипломатов, бездарных по традиции, так же как и слишком горячих мадьяр, дошли до того, чтобы стала неизбежной война между Австрией и славянской, православной Россией.

Опасной фигурой на европейской шахматной доске был французский министр иностранных дел Делькассэ. Король Эдуард был не такой человек, чтобы неожиданно напасть на нас, как этого желали бы некоторые шовинисты (jingoes), в морской ли форме или без нее. Другой вопрос, не доставило ли бы королю удовольствия выступление Франции против нас. Делькассэ маневрировал в духе получивших печальную известность слов князя Феликса Шварценберга накануне Ольмюца: «Il faut avilir la Prusse et puis la démolir»[1]. Прежде всего Делькассэ хотел нанести сильный удар нашему престижу, остальное уже должно бы

[1] Нужно унизить Пруссию, чтобы затем ее разрушить.

притти само собой. Что в тот момент Россия была занята японской войной, не смущало Делькассэ, он разделял всеобщее в то время преувеличенное представление о безграничных силах неизмеримой Российской империи с ее 130-миллионным населением. Он также верил, что в случае немецко-французской войны между Россией и Японией под эгидой Англии можно было бы быстро восстановить мир. Дальнейшее промедление ввиду враждебных намерений и интриг французского министра иностранных дел представлялось опасным, его удаление без войны желательным.

В центре моих забот как в области внутренней, так и в области внешней политики стояла все время личность императора. Бисмарк вполне сознательно сделал короля воплощением прусской, а тем самым и германской государственности. Еще задолго до рокового и несчастного 1890 г. мой отец, человек религиозный, политически консервативный и настроенный монархически, не раз говорил князю Бисмарку, что он слишком связал основы государственности, благо и несчастье империи с личностью монарха. На замечание моего отца Бисмарк ответил, что для государства в целом и для личного положения князя было бы очень полезно предоставить большее влияние народному представительству, вместо того чтобы целиком ориентироваться на трон: «По существу вы правы, но никто не может убежать от своей тени. Я прежде всего монархист, все остальное стоит на втором плане. Я ругаю короля, я могу себе также представить, как можно, будучи юнкером, фрондировать против короля. Я отношусь к королю по-своему, я влияю на него, я «обрабатываю» его, я руковожу им, но он является центром моих мыслей и поступков, архимедовой точкой, опираясь на которую я ворочаю миром». В Германской империи, созданной и организованной Бисмарком, как во внешней, так и внутренней политике личность короля прусского и императора германского имела всерешающее значение.

ГЛАВА VI

В области внутренней политики, так же как и в отношении дипломатических отношений с нашими соседями, не было недостатка в императорских выходках, только они были менее опасными. Во внешней политике можно было напортить больше, чем во внутренней. Я до моего ухода твердо держался того мнения, что до революции дело может дойти только после неудачной войны. Конечно было бы желательно, чтобы Вильгельм II не слишком оскорблял самолюбие интеллигентских кругов своими неловкими автократическими аллюрами. Мои личные отношения с императором, несмотря на случайные трения, все еще оставались хорошими. Однако уже тогда я в том или в другом мог быть ему неудобным. Это определенно проявилось например при следующем случае. Я посоветовал императору быть осторожным в политических высказываниях при свидании с королем Георгом Греческим, который в качестве датского принца, а также вслед-

ствие не всегда хорошего отношения со стороны императора и старых противоречий между домами Глюксбургов и Аугустенбургов лично не терпел императора, а с другой стороны, будучи братом королевы Александры английской и российской императрицы-матери Марии Федоровны, обладал некоторыми возможностями нам вредить. В ответ на этот совет император телеграфировал мне: «Я считаю по меньшей мере унизительным, что ваше превосходительство считает меня такой старой сплетницей. Я вовсе не так болтлив, как ваши советники из иностранного ведомства».

Первым внутриполитическим вопросом, потребовавшим моего внимания, была грозившая стачка горняков[61]. С начала января 1905 г. среди горных рабочих Рурского района стало заметно сильное брожение. Они жаловались на падение в последние годы заработной платы, в особенности на то, что спуск в шахту и поднятие из шахты не засчитывались в рабочее время, на высокие денежные штрафы, на тяжесть вагонеток, а также и на плохое обращение со стороны начальства. 14 января 1905 г. бастовало 60 тысяч горняков, спустя восемь дней — уже 200 тысяч из 270 тысяч. Император склонялся к убеждению, что мы не должны вмешиваться, т. е. выступать в качестве посредников. Чем более бурно будет протекать стачка в Рурской области, тем лучше; это сделает буржуазию более умной и осторожной. Она увидит, что император был совершенно прав, когда в своей знаменитой билефельдской речи требовал тюремного заключения для всякого, кто будет мешать работать немецкому рабочему. Одним словом, он держался той точки зрения, против которой он в свое время живо боролся, когда незадолго до отставки Бисмарка между великим канцлером и императором произошло сильное расхождение мнений по рабочему вопросу вообще и в частности по вопросу о тогдашней стачке в Рурской области. При всем моем восхищении князем Бисмарком я не могу присоединиться к его мнению в рабочем вопросе, которое он высказывал весной 1890 г. Amicus Plato, amicior veritas[1]. Во всяком случае я находил, что политика, которая может быть и восторжествовала бы пятнадцать лет назад при основателе государства, в 1905 г. была неприменимой.

Я отослал старшего горного инспектора фон Вельзена в район, где происходила стачка, чтобы организовать соглашение. Владельцы рудников встретили его резким отказом. Они заявили, что они ни при каких обстоятельствах не желают вести переговоры со всей массой рабочих, а допускают лишь посредничество между отдельными копями и отдельными рабочими. Некоторые из крупных работодателей указали на дверь Вельзену, с которым они состояли раньше в хороших отношениях. В результате такого грубого поведения работодателей общие симпатии все больше и больше обращались к рабочим. Кельнский архиепископ Фишер пожертвовал христианским профессиональным союзам тысячу ма-

[1] Платон — мой друг, но правда мне дороже.

рок, евангелистско-социальный конгресс призывал оказать помощь рабочим, не одобряя однако всех их требований.

В середине января вопрос обсуждался в рейхстаге. Я не преминул заявить, что, по моему мнению, власти должны выполнять во время стачки двоякого рода обязанности. Они отвечают за сохранение мира и порядка и за справедливое и правильное применение законов. Но они должны также по мере сил стараться в интересах социального мира, расцвета промышленности и защиты рабочих добиться соглашения между нанимателями и рабочими. Я призывал рабочих не затевать бесчинств и строго держаться в рамках закона. К нанимателям я обратился с призывом проявлять внимательность по отношению к жалобам рабочих и итти навстречу их желаниям. Поэтому я от всего сердца присоединился к пожеланию, высказанному раньше меня депутатом центра Герольдом: пусть у обеих сторон господствует осмотрительная рассудительность. В то же время я не без труда провел в прусском министерстве законопроект, который в изменение горного закона в отношении охраны труда защищал интересы горняков от последствий произвольного закрытия рудников владельцами. Я считал своим долгом самому защищать законопроект в палате депутатов. Получилось так, что министр финансов Меллер так сильно поссорился со своей собственной партией, с национал-либералами, что я должен был ему помочь. Главные затруднения доставил ему депутат национал-либеральной партии Хеиль, богатый торговец кожей из Вормса. В противоположность Хеилю на меня произвел очень симпатичное впечатление социал-демократический депутат от Бохум-Гельзенкирхена Отто Хуе. Сын горнозаводского рабочего, сначала слесарь, затем горнорабочий, он, будучи ремесленным учеником, предпринял путешествие, во время которого очень хорошо ознакомился с положением рабочих, особенно горнорабочих, не только в Германии, но и в Бельгии, Франции и Англии. В дебатах он выступал всегда деловито и рассудительно. Стоило только поглядеть на его честное лицо, чтобы увидеть, что это очень порядочный человек. Во время переговоров с Спа (1920 г.), когда честный, но имевший очень мелкобуржуазный облик канцлер Ференбах не раз вызывал легкую насмешку у представителей Антанты своими трогательными речами, Ллойд Джордж отметил, что из немецких представителей наилучшее впечатление произвел на него Хуе.

К стачке 1905 г. Бебель подходил исключительно с агитационной точки зрения. Он конечно вылил на меня всю чашу своего гнева, упрекая меня в отсутствии понимания нужд и желаний рабочих и раболепии перед нанимателями, которые со своей стороны обвиняли меня во враждебном настроении против них самих и в заигрывании с социал-демократией. Внесенный мною проект горного закона, дававший правительству возможность уменьшить чрезмерный рабочий день, реформировавший систему штрафов, вводивший целый ряд санитарных правил и,

самое главное, создававший рабочие комитеты, для того чтобы доводить до сведения предпринимателей требования рабочих, наткнулся в прусском ландтаге на сильное сопротивление у консерваторов и чуть ли не на еще большее у национал-либералов, но в конце концов был принят в желаемой для меня форме большинством, состоявшим из центра, свободных консерваторов и части национал-либералов. Я всегда держался того мнения, что рабочие и наниматели должны совместно содействовать развитию нашего хозяйства. Я надеялся, что великая мысль о трудовом сотрудничестве нашего производящего населения мирно и постепенно, без насильственного переворота достигнет своего осуществления. Пусть сознание необходимости соединения всех производящих сил нашей хозяйственной жизни проникает все больше и больше в наш народ и поведет после стольких слез и крови к исцелению ран, нанесенных нам войной и революцией.

1 февраля я внес в рейхстаг новые торговые договоры, произнеся при этом более чем двухчасовую речь. Партии, которые в старом рейхстаге помогли провести таможенный тариф, остались мне верными и теперь. Когда я заявил, что моим сотрудникам и мне удалось при значительно усиленной охране сельского хозяйства соблюсти также и интересы нашей промышленности и нашей торговли в согласии с моим убеждением, что Германия должна быть одновременно аграрной и промышленной страной, левые прервали меня криками протеста. Мое мнение разделяли и немецкие союзные князья. Барон фон Подевильс указал, что глубоко прочувствованным долгом баварского правительства является откровенно выразить глубочайшую благодарность за то, что я наравне с общими интересами постоянно оказывал внимание и покровительство особым интересам Баварии. В противоположность направленным на мою торговую политику нападениям с фритредерской стороны и особенно со стороны бременского синдика и депутата Теодора Барта председатель Северонемецкого ллойда, который представлял для меня, так же как и Гапаг, особый интерес, высказал убеждение, что новые торговые договоры принесут немецкой сельскохозяйственной жизни богатые плоды. Это было для меня большим успокоением.

Вопрос о канале давно играл большую роль в нашей внутренней политике. Он поднял много пыли и сильно способствовал отравлению атмосферы нашей внутренней политики.

Уму императора рисовалась цель, достойная самых благородных усилий. И тем ошибочней была его тактика — то угрожать и шуметь, то терять всякую надежду. Путем длительных обсуждений и совещаний я наконец достиг того, что законопроект о канале был принят 27 февраля 1905 г. 256 голосами против 132. Целый ряд видных консерваторов был достаточно благоразумен, для того чтобы голосовать за проект. Главная заслуга в том, что это большое дело было наконец осуществлено, принадлежала министру общественных работ Будде.

Мои отношения с буржуазными партиями в целом были удовлетворительными. Ни одна из буржуазных партий не была вполне довольна мною, и это было хорошим признаком, так как в такой стране, как Германия, где к сожалению дух партийности так сильно преобладает над государственным разумом и вниманием к государственным интересам, всегда опасно, если какая-нибудь партия не находит в каком-нибудь министре никаких недостатков. Так как борьба против партийного эгоизма представлялась мне обязанностью сознающего свой долг министра, то я всегда стремился отвлечь императора от партийной склоки и удерживать его от всяких нападок и излишнего резонерства по поводу отдельных партий. Корона, по моему убеждению, должна стоять выше партий и не принимать по отношению к ним никаких обязательств. Добиться этого от императора было нелегко. Всего больше Вильгельм II негодовал на всякую оппозицию со стороны консерваторов, которая казалась ему столь же предательской, как если бы задумал бунтовать первый гвардейский полк. Особенную неприязнь он питал к центру. По поводу не имевших значения дебатов в мюнхенском ландтаге по второстепенному вопросу император, вероятно рассерженный еще проведенной мною незадолго перед тем отменой второго параграфа закона об иезуитах, телеграфировал мне клером: «Собачья свора центра старается подорвать основы военной дисциплины и тем самым основы монархии Гогенцоллернов».

Страсть Вильгельма II к сильным выражениям была непреодолимой. Правда, за громом слов редко следовала молния дел. Летом 1905 г. император телеграфировал мне опять клером: «Мерзкая «Berliner Tageblatt» имела дерзость сообщить отвратительные вещи о моей матери. Я отправил Плессена и Левенфельда в редакцию с револьвером и шпагой в руках и заставил редактора дать опровержение. Вашему превосходительству я предоставляю заклеймить через прессу достойным образом сволочное свинство этих газетных пиратов».

Едва только посол в Риме граф Монтс услышал, что император бранит центр, он выставил напоказ свою неприязнь ко всему католическому. В этом смысле он писал своему единомышленнику князю Лихновскому, что моя внутренняя политика внушает ему тяжелые опасения из-за моего дружеского отношения к католической церкви. В этом письме Монтс, который, и будучи послом в Риме, сохранил по отношению ко мне привычный тон почитателя, писал: «Бюлов так превосходит умственно всех нас, своих друзей, что это само по себе уже делает трудным указывать ему на ошибки». Лихновский является единственным, кто мог бы указать мне при случае на обратную сторону моей внутренней политики, он человек без предрассудков и свободомыслящий. Он должен сказать мне, что и самые умные люди ошибаются и что я значительно недооцениваю опасность, которую представляет ультрамонтанство. О новом папе Пие X Монтс писал: «О папе Сарто я еще не осведомлен. В качестве постороннего он вероятно

принес огромные суммы римским тотализаторам. С моей точки зрения для «престола» главным вопросом сейчас является французский. Основу материального познания (Die Basis der materiellen Erkenntniss) для фирмы «святого престола» образует епархия Галлия».

Бросая взгляд назад на нашу внутреннюю политику, я хотел бы упомянуть еще об одном, самом по себе не имеющем значения случае, но о котором я должен был вспомнить двенадцать лет спустя, в печальный момент нашей истории. Долголетний силезский оберпрезидент князь Герман Гацфельд, герцог Трахенберг, подал в отставку якобы из-за неожиданно проявившейся болезни глаз, на самом же деле потому, что он заблудился в дебрях любви.

На место Гацфельда император хотел назначить своего друга графа Тиле-Винклерауф Мошен, одного из богатейших силезских магнатов, или принца Генриха XXVIII Рёйса, который был тем, что англичане называют «a good whip», что означает джентльмена, который может править четверкой лошадей. Луканус спросил у меня, на какого из этих кандидатов я дам свое согласие. При этом он добавил, что если оберпрезидентом будет Тиле или Рёйс, то нужно заменить какой-либо лучшей силой советника оберпрезидентства доктора Михаэлиса. Я, понятно, тогда не думал, что спустя двенадцать лет этот самый бюрократ, которому было не по плечу скромное место советника оберпрезидентства, будет назначен канцлером Германской империи в самый серьезный, самый критический и грозный момент.

В тот самый год, когда я в первый раз в жизни услышал о Михаэлисе, я предложил его величеству в министры внутренних дел тогдашнего бранденбургского оберпрезидента господина Бетман-Гольвега. Я еще в 1904 г. метил его на этот пост, так как он обратил на себя мое внимание как своими способностями администратора, так и своей скромностью и честностью. Тогда он просил меня не иметь его в виду для министерского поста до тех пор, пока не будет разрешен вопрос о канале. Будучи «homo novus», принадлежа к молодому дворянству наполовину купеческого, наполовину профессорского происхождения, он не смог бы успешно бороться против консерваторов, среди которых преобладало старое, коренное дворянство, к которому, правда, принадлежит его жена, но не он сам! Но вечером того же дня (в 1904 г.), когда он ответил мне отказом, он написал мне сентиментальное письмо, в котором проскальзывало определенное сожаление и в котором он предлагал себя моему «благосклонному вниманию» на будущее. Уже тогда у этого несчастного человека проявились те качества, которые, говоря словами Альберта Баллина, заставили нас неловко влипнуть в самую «глупейшую и ненужнейшую войну» и затем проиграть ее.

Уже и в прежних рассуждениях о нашей внешней политике я выставлял в качестве пожелания достижение соглашения с Англией по марокканскому вопросу, несмотря на то, что искус-

ные старания нашего тогдашнего посла Павла Гацфельда и добрая воля английского посла в Берлине сэра Франка Ласселя разбивались как из-за страха премьер-министра Сольсбери перед всякой связанностью английской политики, так может быть столько же из-за его глубокой неприязни к Вильгельму II. Когда в 1902 г. лорд Сольсбери покинул политическую арену, настроение в Англии по отношению к нам стало слишком недоброжелательным и враждебным, чтобы можно было думать об англо-германском договоре относительно Марокко. И при наличии совершенно недружелюбного настроения Англии мне до самого конца казалось возможным поддержание мира с этой великой державой, до тех пор пока мы осторожно маневрировали по отношению к России, но германо-английское соглашение по поводу Марокко стало конечно невозможным. Относительно Марокко между императором Вильгельмом II и мною с давних пор существовало расхождение мнений. По мнению его величества, закрепление Франции в Марокко отвечало бы интересам Германии. Тем самым взоры французов будут отвлечены от Вогезов. Таким образом они постепенно забудут и простят Эльзас-Лотарингию. Кроме того благодаря покорению и необходимости удерживать Марокко Франция будет ослаблена в военном отношении. К моему удивлению это мнение императора поддерживалось военными кругами. Вообще при всем моем восхищении знаниями, работоспособностью, верностью своему долгу и любовью к отечеству этих исключительных людей, действовавших в духе нашего великого фельдмаршала Мольтке в осиротевшем к сожалению историческом красном здании на Кенигсплаце, я все же не могу скрыть, что наш генеральный штаб не проявлял по отношению к новым явлениям своевременного понимания и неправильно их оценивал. Так же как позднее наши генштабисты недооценили способности англичан и американцев к импровизации в военной области, недооценили их артиллерию, танки и вообще значение технического машинного элемента в ведении современной войны, недооценили исполненную духом конвента военную энергию адвоката Пуанкаре и врача Клемансо, так десятью годами раньше они неверно оценили военное значение североафриканских завоеваний Франции. В противоположность этому еще в 1913 г. я указывал в моей работе[1], о немецкой политике, что полное неограниченное политическое, хозяйственное и военное владычество над Марокко может означать в будущем значительное усиление Франции. Такое впечатление получилось у меня еще весной 1884 г. во время моего путешествия по Тунису и Алжиру. Я никогда не сомневался в том, что Франция не сочтет достойным возмещением потери Эльзас-Лотарингии даже величайшие колониальные владения и что Тунис и Фец, Кейруан и Рабат отвлекут взоры французов от Страсбургского собора или от парапета Мецской крепости. Я с давних пор высказывал это соображение импера-

[1] *Fürst von Bülow*, Deutsche Politik, S. 84.

тору, но он оставался при своем мнении. Еще 20 августа 1904 г. он говорил помощнику статс-секретаря фон Мюльбергу, что будет очень хорошо, если Франция умиротворит Марокко и создаст там порядок, так как эта культурная работа будет стоить ей больших жертв людьми и деньгами. Когда Франция выполнит свою задачу и Марокко будет впервые открыто для цивилизации, то немецкая торговля там найдет себе свое место. Помощник статс-секретаря тщетно возражал, указывая на запретительную колониальную политику Франции.

ГЛАВА VII

Еще возвращаясь из своей поездки в Палестину, император выразил желание проехать через Гибралтар. Попутно он хотел также заехать и в Танжер. Когда он 28 марта 1905 г. сел на пароход «Гамбург» для второго путешествия по Средиземному морю в сопровождении, как и во время своей первой поездки, не только военной и штатской свиты, но также и большого числа личных друзей и знакомых всевозможных общественных положений, то в заграничной прессе прошел слух, что он заедет в Танжер. Подобного намерения у императора тогда ни в какой мере не было. Но в те дни, когда в 1905 г. император предпринимал свое путешествие по Средиземному морю, французские газеты были полны усиленных, отчасти и дерзких угроз на тот случай, если германский император осмелится показаться в Танжере.

Не только поведение парижской прессы, но и того политического деятеля, который ее инспирировал, министра иностранных дел Делькассэ, делалось все более и более смелым. За три недели до заключения англо-французского договора 1904 г. господин Делькассэ сообщил нашему послу в Париже князю Радолину главные пункты соглашения и при этом заверил его, что благодаря ему, несмотря на договор, права всякой третьей державы, в том числе и Германии, остаются вне сомнения. 12 апреля 1904 г. я заявил в рейхстаге, что мы не имеем никаких оснований предполагать, что англо-французское колониальное соглашение направляет свое острие против какой-либо другой державы. Похоже, что дело идет только о попытке устранить путем соглашения целый ряд старых разногласий между Англией и Францией. Против этого мы с точки зрения немецких интересов ничего не можем возражать. На возражения со стороны пангерманцев я ответил двумя днями позже, что мы не претендуем ни на шерифскую империю в целом, ни на какие-либо части ее. Одновременно с этим в апреле 1904 г. я допустил появление в печати утверждения, что Германия не ищет в Марокко политического влияния, а защищает только интересы немецкого народного хозяйства.

Но зимой 1904/05 г. произошел перелом, и Делькассэ показал когти. Он не только разрешил своей прессе пустить в обо-

рот выражение о «мирном проникновении» в Марокко, но французские газеты требовали «тунисификации» Марокканской империи, т. е. превращения ее в вассальное государство типа Туниса. О нашем мнении нас не спрашивали. И не подумали сообщить договор в Берлине и Вене, после того как он был представлен парламентам в Париже и в Лондоне.

В самом Марокко положение вещей все более обострялось. 21 февраля 1905 г. французский посланник Сен-Рене Талландье прибыл в Фец и категорически потребовал от султана «в настойчивых выражениях», чтобы его войска обучались французскими офицерами, а сбор пошлин производился под высшим надзором французских чиновников. Султан, с которым французский представитель разговаривал сверху вниз, как с вассалом, обратился к немецкому правительству и в частности спрашивал, соответствует ли действительности заявление Талландье, что он ставит свои требования не только в качестве французского посланника, но и от имени Европы. В связи с целым рядом французских провокаций явилась необходимость снова напомнить в Париже о Германской империи.

Не столько важность наших промышленных и политических интересов в Марокко побудила меня посоветовать императору проявить сопротивление и дать отпор, сколько сознание, что именно в интересах мира мы не можем терпеть дальше подобных провокаций. Я и тогда (как и всегда) не хотел войны с Францией уже потому, что я знал, что каждый серьезный конфликт в Европе при существовавшем положении поведет к мировой войне. Но я не боялся поставить перед Францией вопрос о войне, так как я верил, что моя ловкость и мои силы позволят мне не довести до крайности, но что мне удастся свалить Делькассе и этим самым разрушить агрессивные планы французской политики, выбить континентальную шпагу из рук Эдуарда VII и военной партии в Англии и таким образом, сохранив мир, поддержать честь Германии и увеличить ее престиж. В моем решении меня укрепило письмо моего старого и надежного парижского друга, того самого, который за семь лет до того осведомил меня о Виндзорском договоре.

Этот господин, руководимый только чистейшими намерениями и преследовавший идеальные цели, писал мне почти в тот самый момент, когда в 1905 г. император предпринял свое второе путешествие по Средиземному морю: Делькассе решил довести до войны, уверенный, что король Эдуард не бросит его на произвол судьбы и что мир между Россией и Японией можно быстро восстановить. Король Эдуард и находящиеся под его влиянием английские министры и политические деятели не хотят в настоящее время вступать в войну с Германией, но не допустят полного разгрома Франции и во всяком случае, поскольку уже начнется война, представят Германии категорическое требование прекратить судостроение. При нашем вооружении в 1905 г. мы могли сослаться на постановление Мадридской конференции 1880 г.

по вопросу о Марокко, на которой участвовавшие в торговле с Марокко страны (Германия, Франция, Англия, Австро-Венгрия, Италия, Испания, Соединенные штаты и Голландия) пришли к соглашению, что никакие преимущественные права не должны предоставляться в Марокко подданным какого-либо иностранного государства. Значит если Франция хочет присвоить себе экономическое и политическое преобладание в Марокко, то ей следует спросить остальные державы, подписавшие акты Мадридской конференции 1880 г. Кроме этого Мадридского договора с 1890 г. существовало торговое соглашение между Германией и Марокко, по которому нам предоставлялись наибольшие льготы. Что же касается тактики нашего выступления, то Франция в соглашении от 8 апреля 1904 г. также определенно обещала, что она не изменит политического положения в Марокко. Уже в силу этого мне казалось необходимым сначала выждать, исполнит ли французское правительство это обещание и как вообще оно на практике выполнит это соглашение, и в частности как оно обойдется с нашими правами, определенными договорами, и с немецкими интересами в Марокко.

Поэтому сначала я не проявлял ни изумления, ни недовольства. Но когда Делькассэ в своей прессе и своих заявлениях, аккредитированных в Париже иностранным послам, стал все смелее проявлять ту «коварную враждебность» по отношению к Германии, в которой упрекал его в палате Жорес, когда сам лорд Розбери заявил, что является недопустимым, чтобы такая держава, как Германия, была бы столь явно обойдена в мировой торговле, когда Делькассэ упрямо отказался занять более примирительную политику, тогда я посоветовал императору заехать в Танжер. Вместе с тем я рекомендовал ему не произносить там пышных речей, а с возможно большей простотой сказать лишь, что у него не было оснований не нанести также визита и марокканскому султану, который является независимым государем, и что он надеется, что Марокко и в дальнейшем, согласно Мадридскому договору, останется открытым для мирной конкуренции всех наций. Император решился на этот визит в Танжер неохотно, так как он конечно тотчас же почувствовал, что здесь дело идет не о туристической прогулке, а об очень важном политическом деле. К этому прибавлялось еще то, что море, в то время когда император получил мое предложение, было бурным и высадка на берег была связана с опасностью принять ванну. 31 марта 1905 г., в день высадки в Танжере, император достиг земли физически невредимым, но психически взволнованным риском своего предприятия в целом. К тому же высланные султаном к месту высадки лошади — берберийские жеребцы — шли неспокойно, так что император сразу после того, как он только что пережил страх принять ванну, должен был заботиться о том, чтобы не упасть со своей лошади перед лицом глазеющих мавров и арабов. Вследствие этого обе произнесенные императором речи — ответ приветствовавшему его дяде султана и обращение к немецкой колонии — носили более

взволнованный и резкий характер, чем это первоначально входило в его намерения.

В тот же день, когда император высадился в Танжере, Делькассэ, выступая во французской палате, не оставил никакого сомнения в том, что немецкие возражения не собьют его с выбранного им пути. Можно спорить — и об этом спорили уже в апреле 1905 г., — целесообразно ли было предоставлять императору сыграть в Танжере главную роль. Но после того как это произошло, мы должны были держаться до конца. 11 и 12 апреля я отправил нашим представителям в Лондоне, Петербурге, Вене и при ряде других правительств отношение, в котором я указывал, что императорское правительство не может признать прав Франции, Англии и Испании на самостоятельное урегулирование марокканского вопроса и требует содействия восьми государств, подписавших в 1880 г. Мадридский договор. В отношении, отправленном императорскому послу в Лондоне, я писал: мы выступаем за наши интересы, относительно которых распорядились без нашего согласия; причем неважно, какова значительность этих интересов. Тот, у кого намереваются вытащить из кармана деньги, будет всегда по мере возможности защищаться, все равно, идет ли дело о пяти или же о пяти тысячах марок. Если бы мы молча бросили на произвол судьбы наши немаленькие интересы в Марокко, то тем самым ободрили бы и других на такое бесцеремонное обращение с нами и в других, быть может более важных, жизненно важных вопросах. Я отправил графа Таттенбаха, бывшего до того послом в Лиссабоне, со специальной миссией в Фец, чтобы подкрепить султана в его отказе от не согласных с Мадридским договором французских притязаний на надзор за его армией и его финансами и посоветовать ему пригласить те правительства, которые подписали Мадридский договор, на конференцию для определения его прав. При этом я еще раз определенно подчеркивал, что Германия не ищет для себя никаких преимуществ в Марокко, а, напротив того, стремится к тому, чтобы сохранить в силе существенно нарушенный договор для всех его участников. Тем, что марокканский султан обратился за защитой не только к нам, наши позиции в конфликте были бы усилены.

Между тем положение Делькассэ сделалось затруднительным. В заседании французской палаты от 19 апреля 1905 г. он подвергся энергичным нападкам не только со стороны социалистов Жореса и Прессансэ, но и со стороны прежнего и будущего председателя палаты оппортуниста Дешанеля и получил лишь вялую поддержку со стороны министра-президента Рувье. Тем более страстно выступали за него, невзирая на ясное правовое положение, английская пресса и английская дипломатия. «Times» не переставал называть Делькассэ «великим французом», в то время как он одновременно угрожал и расточал ругательства по адресу Германии. Он совершенно отвергал мысль о конференции по марокканским делам как унижение и капитуляцию. В том же духе неистовствовали и другие английские газеты. Сам король Эдуард 6 ап-

реля 1905 г. появился во французской столице и в длинном разговоре советовал президенту Лубэ поддерживать Делькассэ. Эдуард VII делал все, что было в его силах, чтобы сделать более ожесточенным германо-французский спор, точно так же как спустя два года, во время боснийского кризиса, он ревностно старался натравить Россию на Германию. Он был искусным интриганом.

Наравне с королем Эдуардом наш посол в Риме граф Монтс предпринял робкую, несколько странную попытку поддержать сильно пошатнувшееся положение министра Делькассэ. Монтс вскоре подпал в Риме под влияние своего французского коллеги Баррера, превосходившего его в дипломатической технике, в обращении с людьми и, главное, в ловкости. Баррер был интимным другом Делькассэ. Он все привел в движение, чтобы поддержать своего шефа. В том же направлении работал и Луиджи Луццатти, известный экономист, хороший министр финансов, идеалист, но насквозь франкофильски настроенный. Баррер и Луццатти побудили Монтса в самый критический момент переживаемого Делькассэ кризиса послать мне донесение, которое должно было служить спасательным поясом для Делькассэ и в котором сообщалось, что Луццатти отыскал его, Монтса, и изобразил ему в трогательных словах те заботы, которые испытывает Баррер из-за своего шефа и друга Делькассэ. Положение Франции является теперь затруднительным. Нация желает окончания несносного и чреватого, по мнению французов, неприятностями кризиса, но правительство не знает, как выбраться из этого марокканского тупика. В Париже задаются вопросом, не будет ли приятно его величеству императору и королю какое-либо громкое личное удовлетворение, данное Францией. Французский посол уполномочен Делькассэ обсудить положение с его другом Монтсом. Господин Луццатти сообщал еще, что Англия горько разочаровала Францию в ее надеждах. В Лондоне поясняли, что соглашение о Марокко обязывает Англию оказать дипломатическую поддержку притязаниям Франции. Дальше этого Англия итти не может. Также и на берегах Невы не захотят из-за Марокко поставить на карту дружественные отношения с Германией. Луццатти признал, что Делькассэ преследовал цель полного изолирования Германии. Но он просчитался. Японские победы спутали все его планы, после того как он еще прошедшей весной отклонил предложенную ему Германией руку. На вопрос немецкого посла, хочет ли Франция с нами установить честный мир, который немыслим без окончательного отказа от Эльзас-Лотарингии... Луццатти не дал ясного ответа. Наоборот, он с живостью подхватил подсказанную ему Монтсом мысль о большом соглашении между Германией и Францией по примеру англо-французского, в которое наравне с Ближним и Дальним Востоком было бы введено и Марокко.

Сегодня я еще более, чем в 1905 г., склоняюсь к мысли, которую уже тогда высказывал Гольштейн, а именно, что попытка Монтса спасти Делькассэ имела своим основанием желание сде-

ляться таким образом при помощи Баррера и Делькассэ послом в Париже. В качестве курьеза я упомяну наконец, что «громким удовлетворением», которое имели в виду для Вильгельма II Баррер и его друг Делькассэ, как выяснилось позднее, должен был служить или большой крест Почетного легиона или обещание президента Лубэ согласиться на свидание с немецким императором в следующем году. В моем разговоре с французским послом Бихуром я избегал всяких угроз, всякого резкого или невежливого оборота. Дружеским тоном я сказал послу, что если он убежден, что Англия поспешит на помощь Франции, то я не хочу a priori сомневаться в правильности этого взгляда. Я также вполне согласен, что Англия сможет нанести тяжелые удары нашей торговле и сможет разрушить наш строящийся флот. Но при соответствующем положении вещей, в случае войны, которой я, так же как и Бихур, стремлюсь избежать, всего больше пострадает бедная Франция.

Чем больше обострялась ситуация, тем усерднее старалась Англия поддержать Делькассэ. Английское правительство осведомило Делькассэ о том, что оно его не покинет. Франция может спокойно отклонить конференцию и выжидать, решится ли Германия напасть. Делькассэ определенно и неоднократно уверял своих коллег по министерству, что Англия готова бросить 150 тысяч человек в Голштинию, которые снимут с западной немецкой границы значительную часть немецкой сухопутной армии. 6 июня в Париже состоялось решающее заседание совета министров. Делькассэ защищал мнение, что если Франция будет с упорством настаивать на отказе от конференции, то Германия предпочтет отступить, т. е. предпочтет унижение войне. Военный министр Берто был менее уверенным. Министр-президент Рувье определил решение, заявив, что Делькассэ заблуждается, когда он думает, что со стороны Германии все это только блеф. Совет министров высказался за участие в конференции, т. е. против Делькассэ. Тогда последний поднялся и объявил о своем выходе из правительства и глубоко обиженный покинул зал заседания.

Устранение Делькассэ на многие годы сохранило нам мир.

ГЛАВА VIII

Падение Делькассэ не было для нас временным успехом. Его падение ослабило французский шовинизм в той же степени, что и английский джингоизм[62]. Это облегчало нам не только продолжение постройки флота, но и доставило облегчение всей нашей политике. Делькассэ являлся тем орудием, которое хотели использовать наши противники, чтобы нанести нам удар. Пребывавший тогда в Лондоне Карл Петерс мог с полным правом писать, что те английские круги, которые не хотели дать нам выполнить нашу мирную программу, намеревались при помощи Делькассэ склонить Францию к военному союзу с Англией, чтобы напасть на нас с английским флотом. И особенно важно, что мы

помешали этому как раз тогда, когда мы были на полдороге в деле сооружения нашего флота.

Еще до ухода Делькассэ младший статс-секретарь фон Мюльберг писал мне: «Все исходящие от Делькассэ предложения я рассматриваю как попытку сбить нас с наших теперешних позиций, не предлагая нам ничего серьезного. Не то с Рувье, который прежде всего финансист. Как все люди его категории, он в силу этого своего основного свойства хочет мира. Он не хочет никаких конфликтов с нами. Я могу поэтому считать его попытки сближения честно задуманными. Они выдержат испытание, если Радолин пойдет на его желание сохранить с нами мир и скажет, если к этому представится случай, которого он впрочем не должен искать: «Ну хорошо, если ты действительно так миролюбиво и так дружественно к Германии настроен, то конференция — это самый лучший путь для урегулирования положения. Мы тогда увидим, будет ли Рувье продолжать напевать свои песни дружбы. Созыв конференции — это не только внешний успех нашей политики, который повысит наш престиж как за границей, так и внутри страны; конференция может дать нам также и материальный успех». Посланник граф Таттенбах, после того как он в Феце воочию убедился в развале и разложении в Шерифском государстве... выступил с мнением, что следует предложить Франции и Испании раздел Марокко на сферы влияния. Эта мысль несомненно нашла бы бурное одобрение прежде всего со стороны всех пангерманцев, и я думаю еще и теперь, что господин фон Мюльберг не ошибался, когда он, сообщая 30 апреля свое мнение, заявлял: «Когда спустя десятилетия историк раскопает в наших архивах телеграмму № 1084, то он вероятно воскликнет: посланник был прав. Почему немецкая политика объявляет себя защитницей таких государств, которые, как Турция и Марокко, ходом истории предназначены к гибели?» Однако мы, бедные современники, должны считаться с данными нам фактами. Такая политика, которой хотел бы граф Таттенбах, прежде всего противна воле его величества, который не желает военного вмешательства в Марокко, и это должно быть принято во внимание, если бы мы захотели там присвоить себе сферу влияния. Затем этой политике противоречат сделанные нами до сих пор заявления и заверения в том, что мы будем сохранять status quo и бороться за «открытые двери».

Вообще в 1905 г. со стороны Франции нам не было сделано конкретных предложений относительно соглашения о Марокко. Это было установлено шесть лет спустя на заседании бюджетной комиссии рейхстага 11 ноября 1911 г. тогдашним статс-секретарем иностранного ведомства Кидерлен-Вехтером, который заявил: после танжерского путешествия германского императора Делькассэ сделал попытку непосредственных переговоров с нами, которые из-за отсутствия конкретных предложений со стороны французов не привели ни к каким результатам. После ухода Делькассэ Рувье официальным и официозным путем выразил желание дого-

вориться с нами, причем впервые было произнесено слово «Конго». Мы запросили о конкретных предложениях, но безуспешно. Свое тогдашнее выступление Кидерлен закончил словами: между тем мы встали на точку зрения, что изменения в Марокко должны произойти только с согласия стран, участвовавших в Мадридской конференции, чтобы в случае чего нам не очутиться между двух стульев. Поэтому князь Бюлов и не мог согласиться на пожелания относительно соглашения, которые ни разу не сопровождались конкретными предложениями».

Чем больше зависть и ненависть с английской стороны старались оказать Делькассэ поддержку — английская пресса громко и смело, король Эдуард и находящиеся под его влиянием министры торийского кабинета больше исподтишка, — тем сильнее была на берегах Темзы досада по поводу падения этого политического деятеля, который как в силу течения событий, так и в силу своей глубокой и горячей ненависти к Германии воплощал в себе идею реванша.

Чем более враждебным по отношению к Германии делалось настроение в Англии, тем сильнее склонялся Вильгельм II на сторону России. Как конечная цель ему рисовался заключенный по всей форме германо-русский союз, хотя я как при моем вступлении в должность, так и позже неоднократно высказывал ему, что то, что он отверг своим отказом от бисмарковского договора перестраховки и после того, как между тем русский и французский народы сжились с франко-русским союзом, не может быть снова возвращено в той же форме. При этом я всегда подчеркивал, что при осторожной и сколько-нибудь умно проводимой немецкой политике возможны хорошие и дружественные отношения с Россией также и без формального договора. Желание достигнуть договорных отношений с Россией снова с живостью всплыло у Вильгельма II, когда царь вследствие печального хода русско-японской войны, казалось, нуждался в опоре. Однако не только успехи японцев, издавна презираемых как Вильгельмом II, так и русским двором, доставляли царю заботы. Также и внутри огромной Российской империи положение становилось критическим.

Великая княгиня Мария Павловна писала своему дяде принцу Генриху VII Рейсу, который мне секретно передал это письмо: «Рабочие беспорядки были подавлены силой войск. Но умы не успокоились. Наоборот, всеми классами и кругами овладела своего рода лихорадка, и каждый думает, что он призван спасти родину и ею командовать. Это всеобщее состояние — слишком благодатная почва для серьезных революционных попыток переворота, а люди не ленятся использовать движение и руководить им». Далее в этом письме сообщалось: «Самое же печальное из всего — это полное отсутствие определенной линии сверху. Колеблются от одной системы к другой; часто что ни день, то новое, и ты можешь себе представить, как это все влияет. Поэтому так мало надежды на спасение и кажущиеся реформы не приносят результатов, так как на это им не дается времени. Едва только провозглашенные,

они заменяются новыми, в большинстве случаев парализующими их. Не хотят или не могут правильно понять происходящее, а предостерегающие голоса, как например голос Владимира, остаются не услышанными. Я боюсь, что скоро начнутся ужасные покушения и еще более увеличат всеобщую путаницу. Если скоро наступит хоть сколько-нибудь приличный мир, может быть еще можно будет остановить эту историю. Вообще твердая, энергичная рука могла бы все еще спасти. Ну, это в божьей власти... Любящая Мария».

Подобные же вещи рассказывал мне доверительно русский посол Остен-Сакен. Главная опасность коренится во всеобщем чувстве неуверенности. Почти что плача старый дипломат резюмировал свое мнение в словах: «Un peu d'énergie pourrait nous sauver, mais on ne la voit paraître nulle part»[1]. Для Остен-Сакена как в силу его собственных воззрений, так и в силу традиций его семьи на первом месте стояло спасение российской династии. Поэтому он был против мира с Японией какою угодно ценою. Мира, по его словам, желали либералы и революционеры, которых иногда в России трудно было отличить одних от других. То же самое рекомендовал также и Витте, но из-за тайной вражды к императору Николаю II. Русский дипломат думал, что заключение мира будет в настоящий момент с удовлетворением приветствоваться русской прессой и биржевыми кругами всего мира, но вскоре затем это будет принято всем русским народом, как ужасное поражение и царя будут считать ответственным за это. Если же царь продержится до конца, то это улучшит его положение и ухудшит положение японцев. Так же оценивал военное положение германский генеральный штаб. Он считал совершенно исключенным, чтобы Россия была вынуждена заключить мир даже и в случае дальнейших побед японцев на суше и на море. Японцы могут захватить Сахалин, а также и Владивосток, но где-нибудь в сибирских степях они должны будут остановиться и будут вынуждены в боевой готовности с колоссальными затратами дожидаться, пока русская армия спустя многие месяцы не сделается снова боеспособной. Генерал Куропаткин допустил некоторые большие ошибки, но при контрударах он развил исключительную энергию. Наш генеральный штаб считал, что решающий момент для России заключается в выдержке. Для меня тогда было два решающих момента, заставлявших желать, чтобы Россия и в дальнейшем держалась до конца: во-первых, опасения, что слишком поспешный и слишком неблагоприятный мир с Японией сможет угрожать царскому трону. Вместе с моим великим предшественником я считал царскую Россию в целом более полезной для общего мира и для немецких интересов, чем парламентскую или республиканскую, при которой принципиально и фанатично антинемецки настроенные панславистские элементы приобретут еще большее значение. Во-вторых, независимо от этого мне в наших интересах казалось

[1] Немного энергии, и мы были бы спасены, но ее нигде не видно.

выгодным, чтобы Россия возможно сильнее увязла в Восточной Азии уже потому, что тем самым внимание русских будет отвлечено от Балкан и русские войска будут отвлечены от австрийской и германской границы.

Если чувства императора Николая к императору Вильгельму были двойственны, то к своему шурину, брату германского императора, принцу Генриху Прусскому царь чувствовал лишь дружбу и доверие. Это побудило меня в апреле 1905 г. просить принца лично посетить царя, чтобы осведомиться о его настроении и внушить ему мужество и выдержку. После многодневного пребывания в Царском Селе принц Генрих телеграфировал мне: «Император решил пока продолжать войну, не обращая внимания на сильную мирную агитацию. Он сосредоточил все свои надежды на Рожественском, который в скором времени должен достигнуть Зондского архипелага. Император в спокойном, нормальном состоянии». Несмотря на серьезные сомнения с моей стороны, Вильгельм II настаивал на том, чтобы посланный против японцев русский флот под командой адмирала Рожественского получал от нас поддержку в виде снабжения углем, что соответствовало также и желанию императора доставить нашей самой крупной пароходной компании, весьма любимой его величеством, Гамбургско-американской пароходной компании, за которую так горячо ходатайствовал Альберт Баллин, действительно очень выгодное дело.

Когда царь после происшествия у Догербанки[63], встряхнувшего его немного от обычной равнодушной апатии, в минуту особенного уныния в связи с раздражением на вероломных англичан предложил императору союз, то я составил в соответствии с его желаниями проект договора из трех пунктов, который, несмотря на существующий русско-французский союзный договор, мог бы получить согласие России.

Я предложил его величеству доставить царю проект договора вместе с составленным мною коротким и чисто деловым письмом. Но император удлинил написанный мною черновик, превратив его в длинное письмо, о котором мир узнал пятнадцать лет спустя, когда большевики опубликовали найденные ими письма императора к царю. В этом письме сказано, что германское иностранное ведомство ничего не знает об ответе императора, но это заявление не находится в соответствии с действительностью.

Как я предвидел и предсказывал его величеству, наш план союза потерпел крушение благодаря возражению Ламсдорфа, которому удалось убедить своего государя в том, что немецкое предложение находится в противоречии с франко-русским союзом, этим священным наследством незабвенной памяти покойного императора Александра III, хотя я ввиду сомнений колеблющегося царя и учел его пожелания во втором проекте договора. Было бы ли сопротивление графа Ламсдорфа таким же настойчивым, если бы он раньше не был лично обижен Вильгельмом II? Если бы германский император обходился с Ламсдорфом всегда с ровным дружелюбием, то он может быть наконец и нашел бы, что франко-русский союз и

осторожно редактированное русско-немецкое оборонительное соглашение могут существовать параллельно. Только после того как я в разговоре с графом Остен-Сакеном с настойчивостью заявил ему, что я не собираюсь оставаться в дураках и допущу поставку немецкого угля России только в том случае, если Россия даст нам твердые обязательства на случай, если эти доставки вовлекут нас в конфликт с Японией или Англией, петербургский кабинет собрался дать письменное обещание.

ГЛАВА IX

22 июля я получил телеграмму императора, в которой он мне радостно сообщал, что царь пригласил его встретиться в Биорке, на маленьком острове в финских шхерах. На следующий день в Нордерней, куда я тогда приехал, меня нагнала еще более радостная телеграмма его величества, гласившая, что царь глубоко взволнован и высоко осчастливлен свиданием. Он пошел на все желания немецкого императора, и русско-германский договор заключен.

Когда вскоре после этого посланник Чиршки, который в качестве представителя иностранного ведомства сопровождал императора в путешествии, переслал мне текст договора, то я прежде всего в первом пункте натолкнулся на слова «En Europe» [64]: русско-германский договор был ограничен Европой. Я конечно тотчас же понял, что благодаря этому ограничению договор терял для нас большую часть своего значения, так как Россия не могла в Европе сослужить нам никакой службы против Англии; только если бы она могла угрожать Индии, англичане были бы поражены в чувствительное для них место. Еще более сомнительным я считал намерение императора втянуть Данию в русско-германский союз, для того чтобы в случае надобности Дания благодаря закрытию Зунда сделала бы невозможным проход британского флота в Балтийское море. То, что император между тем сам отправился уже в Копенгаген, чтобы лично добиться от престарелого короля Христиана IX присоединения датского государства к русско-германскому соглашению, еще более ухудшало положение и увеличивало грозящие с этой стороны опасности.

Адмирал Бирилев, примерно недели за две до того назначенный морским министром, не имел никакого представления о политике. Позднее он рассказывал, что он совсем и не читал скрепленный его подписью Биоркский договор, так как германский император держал свою руку на документе. Когда царь предложил ему подписать договор, он должным образом ответил «слушаюсь» — формула, которой отвечает русский солдат, когда исполняет приказание.

3 августа я представил императору, возвратившемуся из Балтийского моря в Вильгельмсхёе, нижеследующий доклад, в котором я, высказываясь по поводу некоторых немилостивых замечаний, сделанных на полях двух моих телеграмм, отправленных

ему непосредственно после его прибытия в Биорке и перед его приездом в Копенгаген 22 и 24 июля, писал:

«Когда мне был протелеграфирован текст договора и я наткнулся на дополнение «En Europe», то я сначала подумал, что здесь дело в ошибке, допущенной при шифровании... Чем дальше я размышлял над вопросом, тем больше крепло во мне убеждение, что дополнение «En Europe» означает существенное и роковое ухудшение договора. Благодаря этому дополнению соотношение между ставкой Германии и ставкой России в случае войны, спровоцированной нападением на Германию, становится слишком неблагоприятным для нас.

Что ставит Германия? Прекрасный флот, цветущую торговлю, богатые приморские города, наши колонии. Что ставит Россия, после того как выключена Азия? Уже почти не существующий флот, ничтожную торговлю, незначительные приморские местности, никаких колониальных владений. Риск при ограничении Европой получается совсем непропорциональный. При этом ограничении делаются очень неравными и те услуги, которые потребуются, когда придет время. В Европе Россия мало может помочь нам своим флотом, своими же войсками против Англии вовсе помочь не сможет. Как раз тот пункт, в котором Англия боится России, а именно Индия и Персия, с определенностью исключен дополнением «En Europe»... По мнению англичан, Индия, не считая Канаду, — единственное уязвимое место Британской мировой империи. Опасения, что в случае английского нападения на Германию русские будут угрожать Индии, сделают англичан более осторожными по отношению к нам. После того как дополнением «En Europe» эта опасность исключена, есть опасения, что такой договор будет англичан лишь дразнить...

Если бы русские не были категорически освобождены от обязанности наступления на Индию, то они могли бы в случае войны с Англией предпринять на английской границе по меньшей мере военную демонстрацию, которая оттянула бы часть английских вооруженных сил из Европы в Азию. Добровольно вряд ли они сделают это. Сейчас даже существует возможность, что Россия рано или поздно договорится с Англией об исключении войны на индийской границе, всю тяжесть войны ограничит Европой и создаст такую ситуацию, при которой Россия не окажет нам прямо-таки никакой вооруженной помощи против Англии. Настроение царя может измениться. E mobile[1]. Высокопоставленные дамы при русском дворе, поскольку они имеют влияние, клонят больше к Англии, чем к Германии. По моему верноподданническому мне-

[1] Переменчив.

нию, очень сомнительно, заставит ли царя совет вашего величества добровольно начать действия против Индии. В течение десятка лет нам часто приходилось видеть, что личное влияние вашего величества на царя бывало возможно, письменные же представления имели мало успеха. В подобном же случае даже и личное давление на царя будет довольно затруднительным, так как царь уже не будет, как в этот раз в Биорке, слабейшим и более нуждающимся в помощи, но наоборот, при конфликте между Англией, Германией и Россией, ограниченным Европой, его позиция будет более благоприятной и более сильной, чем наша. Но главное, что готовность Англии к войне с нами, которая представляет опасность как текущего момента, так и, согласно человеческим расчетам, ближайшего будущего, благодаря ограничению «En Europe» не ослабляется, а увеличивается. Недоверие англичан по отношению к нам снова получило подкрепление благодаря слухам, что мы стремимся к нейтрализации Балтийского моря. Англичане, знающие хорошо, что Дания более, чем кто-либо, никогда добровольно не присоединится к тенденциям, могущим привести к конфликту с Англией, выступят против нас, если только осуществятся эти намерения, направленные на исключение английского флота из Балтийского моря. Опасность войны ближе, чем она была за последние годы.

Я спрашивал себя, может быть ваше величество при добавлении слов «En Europe» имели в виду, что Англия нападет на Россию, а мы должны будем поспешить на помощь. В этом случае для наступления и защиты морского побережья в Европе потребуются немецкий флот, ничтожный русский флот и незначительная часть немецкой и русской армии. Таким образом остаются свободными почти целиком вся немецкая и русская армии, которые могли бы быть брошенными в единственное имеющее значение место военных действий — на индийскую границу. Случай нападения Англии на Россию гораздо менее вероятен, чем нападение Англии на нас... И если дойдет до такого английского нападения на Россию, то все же более вероятным будет выступление английского флота против русского европейского побережья, чем вторжение англичан в Азию... Что же касается Франции, то мы благодаря договору с добавлением «En Europe» или без этого застрахованы на нашей восточной границе на случай, если Франция нападет на нас или останется нейтральной. Первый случай мало вероятен. Последнее было бы самым неблагоприятным, что может с нами случиться, так как Франция оставалась бы нейтральной только до тех пор, пока мы не были бы настолько ослаблены Англией, что она смогла бы пользоваться по отношению к нам большей свободой действий. Тот случай, что мы нападем на Францию, не предусматривается договором, но зато он хорошо предусмотрен

франко-русским союзом. Русско-германский договор в его первоначальной редакции, без добавления «En Europe», при столкновении с Англией так распределял шансы успеха, что не исключалась возможность совместных действий Франции с Германией и Россией также и в случае английского нападения на Германию.

Благодаря категорическому исключению Азии шансы войны между двумя империями и Англией будут для нас так мало благоприятны, что Франция никогда к нам не присоединится. Этим же самым приближается и возможность русско-англо-французского соглашения по вопросу об Азии. Это добавление лишает нас главного козыря, в то время как Россия сохраняет все взятки, а Англии нечего больше бояться главной карты противника...

Поэтому я с величайшим почтением прошу ваше величество вручить руководство внешней политикой в другие руки... Само собой разумеется, что я мотивирую свой уход лишь состоянием моего здоровья...»

В этом всеподданнейшем докладе я сознательно не высказал догадки, которая у меня возникла, как только я получил телеграмму императора о достигнутом им в Биорке триумфе, а именно подозрения, что графу Ламсдорфу удалось склонить своего государя по его возвращении в Петербург к тому, чтобы post factum дезавуировать договор, которого император добился от него в его треволнении, и к отобранию назад своей подписи. Царь показал себя перед императором слабым, несамостоятельным и простодушным. Перед своим министром он показал себя таким же слабым, таким же несамостоятельным и еще кроме того вероломным. Когда император Николай увиделся вновь с графом Ламсдорфом, то он нашел министра иностранных дел сильно не в духе. Владимир Николаевич казался глубоко обиженным тем, что он не был привлечен к такому важному государственному акту, как «traité ou soi disant traité de Björko» [1]. Он намекал на то, что самодержавный государь дал себя обойти германскому императору. Последний использовал слишком большую вежливость, может быть также и мгновенную «distraction» [2] царя, чтобы провести его. Так описывали мне позднее Витте и Извольский сцену между возратившимся из Биорке царем и его министром иностранных дел. Во всяком случае Ламсдорфу не представляло трудности убедить своего монарха в том, что подписанный им в Биорке договор не может быть согласован с франко-русским союзом. Германскому послу граф Ламсдорф сказал, что к сожалению хотя он и является министром, он не был приглашен в Биорке. Он бы предостерег от преувеличенных надежд и помешал бы тому, чтобы монархами был подписан пакт, исполнение которого невозможно.

---

[1] Договор или так называемый Биоркский договор.
[2] Рассеянность.

Более чем вероятно, что Ламсдорф высказывался в том же смысле перед французским, может быть также и перед английским послом. Во всяком случае петербургский корреспондент «Daily Telegraph» мистер Диллон получил возможность передать английскому правительству версию графа Ламсдорфа о свидании в Биорке.

Посещение императором Вильгельмом II Копенгагена осталось совершенно безрезультатным. Король Христиан IX даже отправил своего министра иностранных дел графа Рабена в Лондон, чтобы там заверить, что Дания при всяких обстоятельствах будет стараться соблюдать строжайший нейтралитет.

Император ответил мне следующим письмом:

«Мой дорогой Бюлов, ваше письмо с курьером только что получил. После зрелого размышления я был совершенно не в состоянии понять, каким образом благодаря словам «En Europe» наше положение сделалось настолько более серьезным или более опасным против прежнего, что это побудило вас просить меня об отставке. Вы получите от меня сообщение о двух фактах, которые одни уже означают такой огромный успех по сравнению с прежним, что они должны быть высоко оценены нами: 1) что его величество император торжественно заявил мне, что для России эльзас-лотарингский вопрос является конченным делом; 2) что он обещал мне никогда не итти на соглашение или союз с Англией против нас... Оба эти факта настолько значительны, что я думаю, что одно это является для нашего отечества более верным страхованием, чем все остальные договоры и перестраховки... Я думал, что я поработал для вас и сделал что-то крупное, а вы шлете мне несколько холодных строк и просьбу о вашей отставке!!! Описывать вам мое душевное состояние — увольте меня от этого, дорогой Бюлов. Лучший интимнейший друг, какой у меня есть после смерти моего бедного Адольфа, и так со мной обошелся без указания основательных причин. Это нанесло мне такой ужасный удар, что я чувствую себя совершенно разбитым и должен опасаться тяжелого нервного заболевания! Вы говорите, что благодаря договору со словами «En Europe» ситуация сделалась настолько серьезной, что вы не можете принять на себя ответственность. Перед кем? Если правда, чему я не верю, что благодаря моей ошибке, по вашему мнению, создалось опасное положение, то это было сделано мною с лучшими намерениями! Вы меня достаточно хорошо знаете, чтобы этому поверить! Вы и наше отечество в сто тысяч раз дороже для меня, чем все договоры мира. Я тогда же предпринял шаги, которые должны были смягчить или исключить оба эти слова. Не забывайте, что вы меня сами против моей воли отправили в Танжер, чтобы добиться успеха в вашей марокканской политике. Нет, мой друг, вы останетесь на службе подле меня и будете совместно со мной

продолжать работать ad majorem Germaniae gloriam[1]. Ваш верный друг Вильгельм I. R.

P. S. Я апеллирую к вашей дружбе ко мне, и не заставляйте меня больше слушать о ваших намерениях уйти. Телеграфируйте после этого письма «All right»[2], тогда я буду знать, что вы останетесь. Так как на утро после получения вашего прошения об отставке императора не станет в живых! Подумайте о моих бедных жене и детях. В.

P. S. Я заготовил шифрованную телеграмму царю, в которой предлагаю ему изменения в желательном для вас смысле. Со времени Биорке я так близок к нему и он имеет ко мне такое крепкое доверие, что я надеюсь этого достигнуть... Пожалуйста ответьте по телеграфу. В.»

Когда я прочел это письмо, я был глубоко взволнован.

Я тотчас же ответил и не только умом, но и сердцем. Я написал, что его слова потрясли меня. Причинять ему заботы и беспокойство для меня ужасно. Я был бы ничтожнейшим из всех людей, если бы позволил себе проявить жалкую сварливость или тщеславие по отношению к моему императору и королю. Но как раз многократно оказанная мне благосклонность его величества обязывала меня к полной откровенности даже и тогда, когда мне это было тяжело. Я должен был быть откровенным и правдивым, особенно потому, что я люблю императора не только как короля и государя, как носителя национальной идеи, но и как высоко одаренного по уму и по характеру, очень выдающегося человека. Я не заслуживал бы доверия его величества, если бы я не имел мужества и честности всегда во всех положениях, coûte que coûte[3]; действовать так, как я считаю правильным перед своей совестью. Не из-за глупой щепетильности или надменности я стал бы указывать на грозящие убытки и неприятности, но потому, что меня побуждала к этому моя совесть. Если император хочет меня удержать и после того, как я изложил ему мои опасения и заботы, то мои стремления должны быть направлены на то, чтобы сделать все возможное для того, чтобы то, что император считает своим достижением в Биорке, действительно пошло на пользу нашему отечеству и нашей политике. Я кончил просьбой известить меня, когда я смогу доложить ему о письме, которое можно бы было написать царю, и об общем положении. Его величество ответил мне тотчас по телеграфу: «Сердечно благодарю. Я как бы возродился к новой жизни».

Теперь предстояла деликатная задача так уладить биоркский эпизод, чтобы он не оставил в царе глубокого раздражения. Император Вильгельм долгое время держался иллюзии, что царь останется верным договору, навязанному ему à la hussarde в Биорке. Еще в сентябре он предложил царю предписать своим

[1] К большей славе Германии.
[2] Хорошо.
[3] Чего бы это ни стоило.

представителям за границей по всем вопросам общей политики действовать совместно с их немецкими коллегами и для этой цели осведомлять их о всех их инструкциях и идеях. Но когда Ламсдорф поручил русскому послу в Берлине доверительно сообщить мне, что царь чувствует, что он должен в силу настоятельных причин отступить от принятого в Биорке соглашения, Вильгельм II должен был признать, что росчерком пера нельзя изменить группировку держав, существующую в течение 15 лет.

Первое серьезное испытание, которому я подверг из-за блага государства мои личные отношения к Вильгельму II, прошло удовлетворительно с точки зрения государственного интереса. Выдержали ли бы наши отношения другое подобное испытание — уже тогда это мне казалось сомнительным. 1908 год принес подтверждение моим предположениям.

ИЗ ГЛАВЫ X

Могло казаться сомнительным, что для нас выгоднее — самодержавная Россия или революционная. Князь Бисмарк держался первого взгляда. Герберг Бисмарк сообщил мне, когда я в 1884 г. был послан в качестве советника посольства в Петербург, что его отец с давних пор ориентировался в своей политике по отношению к России на личность правящего в данное время царя. Но было ясно, что если для нас было легче объясняться с царской Россией, чем с республиканской, потому что при русском дворе, в русском обществе и в русском чиновничестве мы находили гораздо больше точек соприкосновения, понимания и симпатии, чем у тех элементов, которые победили бы самодержавие, то, с другой стороны, приход последних должен был ослабить русскую мощь. Во всяком случае князь Бисмарк остался правым, предсказав, что война между тремя империями будет означать серьезную опасность для трех императоров. Он никогда не заострил бы так войну против царизма, как это сделал Бетман. Было несомненным, что внутреннее положение в России делалось тем более угрожающим, чем дольше продолжалась война с Японией. Когда был убит великий князь Сергей, шурин и дядя царя, принц Фридрих-Леопольд Прусский находился при русском дворе. Принц рассказывал мне после своего возвращения, что известие о совершенном в Москве преступлении было получено в Петергофе, где тогда пребывал царь, за два часа до обеда. Принц осведомился, состоится ли обед или император, сраженный таким ударом судьбы, захочет остаться один. Принц получил ответ, что он может спокойно приходить к обеду. Императрица, правда, не появлялась, но император и бывший как раз при этом его зять великий князь Александр Михайлович были в прекрасном настроении. Об убийстве великого князя вообще не было речи. После обеда император и его зять развлекались тем, что перед изумленными глазами немецкого гостя сталкивали друг друга с узкого и длинного дивана.

Между тем приготовления к конференции по вопросу о Марокко существенно подвинулись вперед. Между нами и Францией 8 июля и 28 сентября 1905 г. была согласована программа, что доказало, что с господином Рувье было легче притти к соглашению, чем с его предшественником. Также и в парламентских кругах Франции делалось заметным улучшение настроения. Конечно подземные течения, существующие со времени Франкфуртского мира, остались без изменения, но поверхность значительно выровнялась со времени ухода Делькассэ. Осенью 1905 г. депутат Мильеран, тогда один из вождей французских социал-демократов, позднее ярко националистический военный министр, министр-президент и президент французской республики, посетил столицу империи. О своей встрече с Мильераном мне сообщил статс-секретарь Рихтгофен:

«Сегодня меня посетил господин Мильеран. По внешнему виду он походит на выходца из средней буржуазии: невысокий, несколько толстый, хорошо воспитан и очень вежлив. Он вместе со своей женой остановился здесь на два дня по пути в Вену на конгресс по рабочему страхованию. Сегодня вечером он уезжает и хочет завтра осмотреть музей в Дрездене. Здесь он в первый раз. Кажется Берлин ему очень понравился. Об оказанном ему здесь приеме он высказывался с большим удовлетворением... Все государственное показалось ему превосходно организованным. В политическом отношении Мильеран отзывался неблагоприятно о Делькассэ. После того как его принесли в жертву Германии, в марокканском вопросе ждали большей уступчивости и были несколько разочарованы... Но теперь кажется все улаживается. Далее, Мильеран заметил, что в Германии ошибаются, когда думают, что Франция намеревалась заключить союз с Англией. Англия находила, что в ее интересах представлять дело так: L'alliance avec la Russie et bon ami avec l'Angleterre et avec l'Allemagne si elle veut[1]. Чем лучше становятся отношения с Германией, тем более будут удовлетворены во Франции, и он надеется, а я разделяю эти надежды, что из марокканских переговоров наконец разовьются лучшие отношения между обоими соседями... Ни одно из замечаний господина Мильерана не содержало хотя бы намека на его социал-демократические воззрения. Он явно стремится остаться кандидатом в министры. Я сказал господину Мильерану, что ваша светлость, если бы вы были здесь, были бы рады с ним познакомиться».

ГЛАВА XI

Когда Витте возвращался из Америки после заключения Портсмутского мира[65] в Европу, он попросил у меня конфиденциального свидания. Я пригласил Витте обедать в знаменитый издавна

[1] Союз с Россией и добрая дружба с Англией и с Германией, если последняя того захочет.

ресторан Борхарта, где с 8 часов до после полуночи мы основательно переговорили обо всех интересующих нас вопросах. Идеалом Витте все еще был германо-русско-французский союз, направленный против Англии. Он пытался меня убедить, что если бы мы вернули французам Лотарингию, то такая группировка не была бы невозможной. Он прибавил, что в этом случае французы пожалуй будут готовы снести укрепления Меца. Я ответил ему, что для каждого германского канцлера, как и для каждого германского императора, было бы очень трудно отдать Мец, из-за которого было пролито столько немецкой крови и которым мы владеем четверть столетия. Затем я спросил его à brûle pourpoint, действительно ли он уверен, что если французы снова получат Мец, то они честно и искренно откажутся от Страсбурга. Витте, как все серьезные политики, презирал всякие мелкие происки, уловки и неправду и ответил мне после короткого размышления: «Нет! На другой же день они станут возлагать венки к подножью статуи Страсбурга, восклицая: А Страсбург? Страсбург?» Он пытался меня убедить в том, что континентальный блок против Англии при нашем отказе от Эльзас-Лотарингии будет добыт не слишком дорогой ценой. Я должен был ему объяснить, что отказ Германии от Эльзас-Лотарингии не так легко осуществить, как оставление Сахалина и даже Кореи. Можно спорить задним числом о том, предвидел ли Бисмарк все последствия уступки Эльзас-Лотарингии Германии. Может быть он и сам в 1871 г. недооценивал страстную настойчивость французского патриотизма, чувство единения у французов и значение духовных нитей воспоминаний, связывающих Эльзас и Лотарингию со времен французской революции с Францией. Но после того как этот шаг был сделан уже целое поколение назад и немецкий флаг развевается на Страсбургском соборе и на валах Меца, ревизовать Франкфуртский мир не представляется возможным.

Из Берлина Витте отправился в Роминген, где его с нетерпением ожидал император Вильгельм.

26 сентября 1905 г. Эйленбург писал мне: «В среду в 12½ часов прибыл Витте. Император принял его, прогуливаясь перед дверью. После обеда они отправились наверх в комнату Витте, где разговор продолжался 2½ часа. Витте был совершенно очарован личностью императора и сказал мне, настолько тронутый, насколько это вообще возможно для него: «Биорке является величайшим утешением моей жизни. Это единственный путь, чтобы притти к устойчивой политике (его величество сказал ему, что я осведомлен)... Содержание его разговора с Витте тебе сообщит его величество...»

О русских послах и в Лондоне и в Париже, графе Александре Бенкендорфе и Александре Ивановиче Нелидове, Витте высказывался очень неодобрительно. Он считает, что последний, бывший раньше решительным приверженцем хороших отношений с Германией, теперь смотрит на все глазами француза, находящегося под обольстительным влиянием парижских гетер, в

объятиях которых уже семидесятилетний Нелидов утратил не только здоровье, но также и свое прежнее политическое чутье. С Бенкендорфом дело обстоит еще хуже. Несмотря на то, что у него жена со средствами, он испытывает часто денежные затруднения. Он, Витте, будучи министром финансов, в прежние времена неоднократно должен был по желанию императрицы-матери оплачивать долги Бенкендорфа, который завоевал ее благосклонность в качестве танцора мазурки. Теперь английское правительство приняло на себя задачу поддерживать его в финансовом отношении. «Il se fait payer par l'Angleterre»...[1] В своих мемуарах Витте рассказывает в прямом противоречии с высказываниями его величества и сообщениями Эйленбурга, что император Вильгельм хотел показать ему текст Биоркского договора, но он якобы отклонил это предложение и только сказал императору, что его слова наполнили его радостью. Когда он позднее узнал от Ламсдорфа точное содержание договора, то он пришел в ужас. Несомненно, что также и Витте, несмотря на его желание, если возможно, создать континентальный союз между Германией, Россией и Францией и во всяком случае поддерживать мир и дружбу с Германией, не одобрял неожиданно свалившегося Биоркского договора и сожалел о случившемся. Он так же, как и Ламсдорф, постарался склонить царя к отказу от этого договора — Ламсдорф более язвительно, Витте более открыто и бесцеремонно.

Значительный свет на положение в России проливает письмо, написанное в то время графиней Витте господину Эрнсту Мендельсону, в котором она просила, чтобы мы похлопотали о назначении ее мужа русским послом в Париже. Она писала на странном французском языке с оригинальной орфографией и с некоторой наивностью крупному берлинскому банкиру, устраивавшему русские займы. Верная жена была права в том, что для Сергея Юльевича было бы лучше быть русским послом в Париже, чем разменяться на мелочи русской внутренней политики. Но способствовать выполнению ее желания для нас благодаря положению вещей было невозможно. Во время моего последнего свидания с Витте у Борхарта я сказал ему, что он был хорошим министром при императоре Александре III и вероятно был бы еще лучшим при его дедушке императоре Николае I. Также и при слабом Николае II он был полезным до тех пор, пока царь, хотя бы по названию, был самодержавным. Чтобы быть парламентским министром-президентом, ему нехватает почти всего необходимого. Когда Витте возражал мне не без обиды, что он либерал и радуется сотрудничеству с парламентом и сумеет приручить Думу и руководить ею, я не скрыл ему своих сомнений. Правда, его аллюры были либеральными. Он обладает также замечательным европейским образованием, но весь образ его мышления был не только чисто русским, но старорусским... Во всяком случае

[1] Он предоставляет Англии платить за него.

лучше, если он работу с Думой предоставит другим, он все же не парламентский министр и еще меньше парламентский канцлер, ему недостает ловкости, souplesse[1]. Витте сделал кисло-сладкое лицо...

В марте 1905 г. умер от разрыва сердца министр внутренних дел честный барон Ганс Гаммерштейн. В качестве преемника барону Гаммерштейну я выбрал господина Теобальда фон Бетман-Гольвега, который, будучи регирунгспрезидентом в Бромберге, а также оберпрезидентом Бранденбурга, хорошо зарекомендовал себя, а также был желателен для императора, которому нравилась его честная, действительно очень покладистая личность. Бетман-Гольвег был необыкновенным доктринером и, еще будучи министром внутренних дел, неприличным образом отнимал у меня время длинными записками, в которых он более академически, чем практически, развивал планы «одухотворения» прусского государства при одновременной «закалке» немецкого народа через пруссачество.

ГЛАВА XII

В один прекрасный осенний день 1905 г., во время моей обычной утренней поездки верхом на берлинском ипподроме, я встретил состоявшего много лет со мной в дружбе генерала-адъютанта Гельмута Мольтке. Я обратил внимание на озабоченное выражение его лица. После того как мы некоторое время скакали один возле другого галопом, Мольтке сказал, что он хотел бы поговорить со мной наедине об одном серьезном деле, и предложил ехать шагом. Мы направили своих лошадей за так называемую водонапорную башню недалеко от входа на ипподром. В то время как мы все еще шагом объезжали эту башню, Мольтке сказал мне, что император решился дать отставку теперешнему начальнику генерального штаба. Его величество воздает должное гениальности графа Шлиффена, но находит его в его семьдесят три года слишком престарелым для поста, требующего не только большой работоспособности, но и полного физического здоровья. Впрочем граф Шлиффен сам хочет уйти. Мольтке продолжал: «Ну и император во что бы то ни стало хочет иметь меня в качестве преемника. Все мое существо восстает против этого». Спокойно и ясно Мольтке развил мне, что он не хочет изображать себя меньше, чем он есть. Он справился бы добросовестно и хорошо с задачами начальника генерального штаба, как он их понимает. Он никогда не поколебался бы также сказать его величеству, что ведшаяся до сих пор «игра в маневры», по поводу которой слышатся многие и справедливые жалобы, должна кончиться. Наконец он, будучи молодым офицером, при атаке на С.-Прива доказал перед фронтом Александровского полка, что у него нет недостатка в мужестве. Но внутренний

[1] Гибкости.

голос говорит ему, что он не годится для роли, которую должен выполнять начальник генерального штаба во время войны. В привычном ему простом тоне и с благородной скромностью, делая ударение на каждом слове, Мольтке говорил мне: «Для роли полководца во время войны я слишком флегматичен, слишком осторожен и нерешителен и, если хотите, слишком честен. Я не способен под давлением обстоятельств ставить все на карту, что и составляет собственно величие настоящего и прирожденного полководца, величие Наполеона, нашего старого Фритца и моего дяди. Мастер теоретического военного искусства Карл фон Клаузевитц называет Наполеона страстным игроком. Клаузевитц также считает, и его слова в эти дни приходили мне часто на ум, что в войне всегда есть что-то от природы азартной игры. Поэтому полководец, у которого нет склонности к такой игре, по большой бухгалтерской книге военных успехов попадет в большие долги. У меня нет ни склонности, ни темперамента для рискованных предприятий»... К этим с убеждением сказанным словам Мольтке присоединил настойчивую просьбу, чтобы я отговорил императора от мысли назначить его начальником прусского генерального штаба. Я ответил Мольтке, что мне очень неприятно отказать ему в его просьбе, но что я положил себе за правило не вмешиваться в военные дела и особенно в вопросы личного состава. Я не разрешал никакого вмешательства в круг моей собственной деятельности, но также не хотел посягать на права и обязанности других...

После полудня того же дня я встретил на Вильгельмштрассе начальника военного кабинета графа Дитриха Гюльзена, который так же, как и Мольтке, принадлежал к моим лучшим друзьям. Я рассказал ему свой разговор с Мольтке. Гюльзен... ответил мне, что... он нисколько не против, но, наоборот, будет очень рад, если я попробую отговорить его величество от назначения Мольтке. В этот же день я написал письмо императору, в котором я примерно говорил следующее: он знает из нашей долгой совместной работы, что я далек от вмешательства в военные вопросы и вопросы личного состава. Но генерал Мольтке так решительно, с такой честностью и с такими вескими доводами выразил мне убеждение, что он не годится для предназначаемого ему, необычайно важного для блага страны не только в военном, но и в политическом отношении, поста, что я настоятельно прошу еще раз обдумать дело и отказаться от выбора. Император ответил мне сначала вкратце письменно, затем подробно устно самым дружеским образом, что он вовсе не порицает моего вмешательства, так как в этом видит лишь новое доказательство моей верности долгу и честности. Он также хорошо знает о нежелании Мольтке. Его отказ делает честь его скромности, но он не может изменить его, императора, решение, которое хорошо продумано, неотменяемо и которому бог не откажет в своем благословении. Известно, что в Пруссии все военные назначения, которые делает король в качестве верховного военного вождя, выполняются

без контрассигнирования военного министра и лишь на основании предложения военного кабинета. При мудром, деловом и опытном монархе, каким был Вильгельм I, проведение этого принципа не представляло ничего опасного, оно даже способствовало взращению в прусском офицерстве того духа, которому мы обязаны тремя победоносными войнами. При Вильгельме II, который во многом был противоположностью своему дедушке, проявились и теневые стороны этой системы.

ГЛАВА XIII

Противоречия и резкие скачки в натуре Вильгельма II проявлялись не только в его речах и разговорах, но и в его письмах. Среди сохранившихся у меня писем находится письмо Вильгельма II, написанное мне в сочельник перед рождеством 1905 г.

В упомянутом рождественском письме император писал мне, что в конце года под зажженной рождественской елкой он решил обдумать международное положение. Он не хочет войны до тех пор, пока не будет заключен союз с Турцией. Соглашение с султаном должно быть достигнуто coûte que coûte[1] точно так же со всеми арабскими и мавританскими государями. Раньше чем такой союз с исламом не будет совершившимся фактом, мы не должны выступать. Одни мы вообще не можем вести войны против Англии и Франции, по крайней мере на море. Последние четыре слова были императором подчеркнуты толстой чертой. Впрочем 1906 год для войны особенно неблагоприятен, так как мы как раз заняты перевооружением нашей артиллерии, которое по крайней мере займет год. Также и пехота начинает перевооружаться; в Мецце не закончены многие форты и батареи. Но главное — это то, что мы из-за наших социалистов не можем взять в стране ни одного человека, если нет самой крайней опасности для жизни и имущества граждан. «Сначала перестрелять, обезглавить и обезвредить социалистов, если нужно, путем кровопролития, и тогда внешняя война, но не раньше и не a tempo!» Наконец в этом письме император предлагает мне вести внешнюю политику так, чтобы «насколько возможно отдалить *и во всяком случае сейчас* избавить нас от военного решения. Но это не должно выглядеть как Фашода». В каждой строке письма императора сквозил его страх перед войной. Уже одно это письмо опровергает ложь, изобретенную нашими врагами во время мировой войны и после ее окончания, будто Вильгельм II сознательно вызвал войну. Он был скорее излишне миролюбив, поскольку его страх перед всяким более серьезным конфликтом был замечен всем более проницательным наблюдателям, и это часто непосредственно после того, как он раздражал чужие народы, их властителей и общественное мнение во всех странах своим хвастовством и оскорблял их своими выпадами.

---

[1] Во что бы то ни стало.

16 января 1906 г. в Алжезирасе, маленьком испанском портовом городе недалеко от Гибралтара, напротив Сеуты, открылась конференция о Марокко. Когда мы отправились в Алжезирас, то у меня не было сомнений, что наше дипломатическое положение будет там трудным. Россия уже пятнадцать лет является союзницей Франции, Англия связана с Францией по марокканскому вопросу договором от 8 апреля 1904 г. Италия, как выразился в итальянском сенате министр иностранных дел маркиз Гуиччардини, находится в особенно деликатном положении, так как конференция должна урегулировать спорный вопрос между страной, с которой Италия состоит в союзе, и другой страной, с которой Италия несколько лет назад заключила особое соглашение относительно касающихся Средиземного моря африканских вопросов[66]. Еще в мае 1905 г. тогдашний министр иностранных дел Титтони заявил в итальянской палате, что Италии в Триполи всеми державами гарантированы определенные преимущества. Однако Италия намерена использовать эти привилегии только тогда, когда обстоятельства сделают это неизбежным. О фактической оккупации Триполи Италия не должна думать до тех пор, пока она находится в дружественных отношениях с Турцией. Подобными действиями она ободрит всех тех, кто хочет ускорить конец Турции, неприкосновенность которой образует базис внешней политики Италии. Это заявление господина Титтони нашло одобрение всей палаты. В Алжезирасе в 1906 г. от Италии в силу положения вещей ожидали осторожно лавирующей соглашательской позиции, которая не испортила бы совсем ее отношений ни с кем из спорящих, что впрочем соответствовало испытанной традиции итальянской дипломатии, которая всегда отличалась уменьем приспособляться ко всякому положению и оставлять для себя дверь всегда открытой. Позднее эта тактика позволила курии без ущерба выдержать грозу мировой войны, а итальянскому национальному государству помогла преодолеть в своем многовековом развитии все удары и неудачи, чтобы наконец вполне осуществить надежды итальянских патриотов от Джиоберти и Мадцини до Кавура, Криспи и Джиолитти...

4 декабря 1905 г. министерство Бальфура подало в отставку. 10 декабря образовался новый либеральный кабинет с сэром Генри Кэмпбелл-Баннерманом в качестве премьер-министра. Понимание необходимости устойчивой внешней политики, отличающее все английские партии, заставило нового министра-президента Кэмпбелл-Баннермана заявить в своей программной речи 21 декабря 1905 г., что весь английский народ придерживается «столь мудро» заключенного лордом Ленсдоуном соглашения с французским правительством. К этому он добавил: «Что же касается Германии, то я не вижу ни малейшего повода к взаимному отчуждению в силу каких-либо интересов, и мы приветствуем те неофициальные демонстрации дружбы, которыми в последнее время обменивались обе эти страны».

В январе 1906 г. в Англии происходили выборы, которые

привели к крупному поражению юнионистов, т. е. партии, которая собственно и олицетворяла в себе английский шовинизм и вытекающую из этого шовинизма ненависть к Германии. Но причины англо-германского расхождения слишком глубоки и они слишком обусловлены самой природой вещей, чтобы их могла устранить смена кабинетов.

Все же происшедшая в Англии смена правительства принесла значительное облегчение нашей политике и являлась гарантией сохранения мира...

Я никогда не имел намерения как до конференции в Алжезирасе, так и во время ее допустить, чтобы из-за разногласий о Марокко дело дошло до войны. У меня было твердое убеждение, что ввиду общего характера международного положения каждый серьезный европейский конфликт поведет по всей вероятности к мировой войне. Я твердо знал, что сохранение достойного мира как в настоящее время, так и для будущего не только отвечает немецким интересам, но и является вопросом жизни для нашего народа. Император Вильгельм объективно вполне разделял это мое воззрение, но иногда затруднял мне мою задачу своими неосторожными речами и действиями на мировой арене, а затем, как я уже однажды говорил, в минуты кризисов во внешней политике слишком откровенно проявлял свой страх перед войной. Из Парижа я получил известие через одного тамошнего биржевого маклера немецкого происхождения, от которого я время от времени получал хорошие сведения, что король Эдуард все время на все лады бранит перед французами своего царственного племянника и в частности повторяет: «Верьте мне, он не двинется в марокканском вопросе. Он спрячется в свою конуру». Также и в немецких парламентских кругах положение часто рассматривалось с необоснованными опасениями. Интересно, что те же самые парламентарии и то же самое немецкое общественное мнение, которые во время Алжезирасской конференции, так же как и спустя четыре года во время боснийского кризиса, проявляли повышенную нервность и считали войну неизбежной, летом 1914 г. не видели и не признавали, что война действительно стояла у порога. Меня радовало, что я вскоре после открытия конференции смог написать императору, с тревогой ожидавшему хода совещаний и переговоров в Алжезирасе, что возвратившийся из Лондона английский посол Лассель сообщил мне доверительно, что при новом либеральном английском правительстве улучшение англо-германских отношений после ликвидации марокканского вопроса не только возможно, но и вероятно... Либеральное английское министерство, в особенности если оно располагает сильным парламентским большинством, может вести по отношению к нам иную политику, чем которую в последние годы вел кабинет Лансдоуна — Чемберлена — Бальфура. В моем письме к императору я добавлял: «Я оказал давление на нашу прессу, чтобы она не поднимала криков восторга и не заходила слишком далеко в выражении доверия к Англии, так как сей-

час не нужно пугать английских либералов и давать английским агрессивным кругам возможности дискредитировать либералов в качестве германофилов».

Чем дальше продолжалась конференция в Алжезирасе, тем более повышалась нервность его величества. Она увеличилась еще благодаря благонамеренному, но в результате положения вещей неудачно подействовавшему письму несравненного великого герцога Фридриха Баденского, который между прочим писал его величеству: «Совершенно очевидно, что сейчас война с Францией была бы невыгодной для нас и непопулярной в Германии. Такой войны могут желать только те, кто хочет разрушить нашу высокоразвитую промышленность, препятствуя необходимому импорту, что будет иметь место и в том случае, если война на суше окончится победой. Но мы потеряем всех наших союзников, и трудно будет заполучить их снова. При существующем, слава богу, мирном направлении немецкого имперского правительства немцы будут радостно приветствовать уступки в марокканском вопросе и благодарно ждать нового расцвета наших промышленных интересов. Если Франция уверена в своей восточной границе и убеждена, что Германия действительно хочет мира, то, несмотря на эльзас-лотарингский вопрос, уступка в Алжезирасе будет нам очень полезна»...

ГЛАВА XIV

7 апреля 1906 г. был подписан Алжезирасский акт, содержавший постановления об организации полиции в Марокко, прекращении контрабанды оружием, учреждении государственного банка, усовершенствовании налоговой системы и таможенного управления, организации государственной службы и общественных работ, благодаря которым мы хотя и не добились всего желаемого, но все же достигли самого существенного. Суверенитет султана был вновь признан и остался составной частью международного права. Франция не получила протектората над султаном, к которому она стремилась, и главное не получила верховного командования над его войском, чего она требовала в первую очередь весною 1905 г. Мы успешно защитили свободу торговли в Марокко. В будущем развитии марокканских дел нам был предоставлен решающий голос, от которого нам не нужно было отказываться без достаточных компенсаций. Попытка отстранить нас от решения большого международного вопроса была успешно пресечена... Когда я сообщил его величеству о результатах Алжезирасской конференции и о предстоящем подписании Алжезирасского акта, император выразил мне в телеграмме живое удовлетворение. Мирный исход этих трудных переговоров явился для императора действительным облегчением. Результатами он был вполне удовлетворен...

5 апреля я воспользовался первым представившимся случаем, чтобы доложить в рейхстаге об исходном пункте, цели

и результатах Алжезирасской конференции. Я закончил словами: «Господа, это была довольно трудная гора, на которую мы должны были взобраться. Многие переходы были небезопасны. Период напряжения и беспокойства лежит позади нас. Я думаю, что мы теперь с большим спокойствием можем смотреть вдаль». Конференция в Алжезирасе принесла для Германии и Франции одинаково удовлетворительные результаты и была полезной для всех культурных стран. В самом деле, никогда со времен Франкфуртского мира отношения между Германией и Францией не были столь спокойными и сравнительно дружественными, как в течение этих пяти лет, между Алжезирасским актом и прыжком пантеры в Агадир. Мой доклад, сделанный 5 апреля 1906 г. в рейхстаге, нашел одобрение у всех буржуазных партий рейхстага, особенно же при оживленных аплодисментах выражал мне одобрение от имени центра депутат барон фон Гертлинг. После Гертлинга депутат Бебель начал свои привычные социал-демократические жалобы на правительство в целом и на его внешнюю политику в частности. Он думает, что Бисмарк, на которого он вообще нападал еще больше, чем на меня, никогда не допустил бы до Алжезирасской конференции. Еще более ошибочным, чем моя марокканская политика, было то, что я поддерживал дружеские отношения с «варварской» Россией... Во время речи Бебеля со мной случился обморок. Бебель, который как человек мне не был неприятен и у которого, как я верил, было доброе сердце, передал мне позднее через нашего общего друга представителя «Frankfurter Zeitung» Августа Штейна, что он сожалеет, что его нападки были причиной моего обморока. Это его самообвинение было необоснованно. Славный Бебель, сильно состарившийся за последнее время, как я охотно готов признать, измучивший себя неугомимой агитацией за идеи, которые он считал правильными, говорил 5 апреля 1906 г. довольно слабо. Мое нездоровье нужно приписывать тому, что я в течение зимы и особенно в течение последних недель, заваленный работой, слишком сокращал время своего сна.

Мой обморок явился невольным поводом для политической смерти тайного советника Гольштейна, вынесшего до сих пор столько бурь. Как уже было сказано, не будучи в состоянии ужиться со многими, он не ужился также и со статс-секретарем фон Рихтгофеном. Когда же 17 января 1906 г. смерть вырвала этого прекрасного, умного и преданного работника, было нелегко найти ему преемника, который бы одновременно и должности соответствовал, императору был бы приятен и Гольштейну не слишком неприятен. Император отклонил кандидатуру как Мюльберга, так и Кидерлена, которых впрочем не хотел также и Гольштейн. Его величество хотел своего верного «Мимиля», как он, не знаю почему, имел обыкновение называть Чиршки.

Гольштейн поддержал с энтузиазмом это предложение императора, что меня удивило, так как вообще он имел обыкновение становиться в отношении императора в оппозицию. Ход

его мыслей был таков: Чиршки, будучи советником посольства при князе Радолине в Петербурге, сильно с ним сдружился. Особенно жена Чиршки нравилась в роли компаньонки княгини Радолин. Гольштейн, будучи интимным другом супругов Радолин, поэтому думал, что с Чиршки он сможет быть вполне спокоен. Эта надежда разбилась о знаменитую дверь в иностранном ведомстве, соединяющую комнату статс-секретаря с комнатой тайного советника фон Гольштейн, через которую он имел обыкновение без доклада по каждому поводу входить за спиной своего шефа. Маршал это терпел. Так как я в тот период моей жизни имел хорошие нервы, то я тоже не мешал этому. Чиршки запер эту дверь, так как его нервы не выдерживали постоянной угрозы неожиданно почувствовать за собой мрачного Гольштейна. Когда Гольштейн, уже рассерженный этой изоляцией, вошел с большой кипой бумаг подмышкой в комнату статс-секретаря через дверь из коридора, Чиршки холодно и сухо предложил ему положить бумаги на стол и ждать, пока его позовут. При невоспитанности и раздражительности Гольштейна это означало разрыв. Он тотчас же подал прошение об отставке, но был уверен, что я воспрепятствую ее принятию. Через несколько дней он снова возобновил свое ходатайство об отставке в адресованном ко мне письме, в котором он писал в элегическом тоне, тоне почти мировой скорби. Он не хочет доставлять мне никаких затруднений и стремится к покою и тишине... Фриц Гольштейн многое верно рассчитывал, но он не подумал о том, что как раз в этот момент я заболел и по распоряжению врача был недосягаем для переговоров и дел, и его заявление об отставке попало в руки поссорившегося с ним статс-секретаря Чиршки. Чиршки использовал благоприятную возможность, чтобы хладнокровно прикончить Гольштейна. Император без размышлений утвердил отставку.

ГЛАВА XVI[1]

Подвижной и порою фантастический ум его величества причинял мне в руководстве иностранными делами страны еще больше забот и создавал еще больше затруднений, чем в вопросах внутренней политики, особенно когда находились диллетанты и интриганы, старавшиеся использовать эту слабость. В конце июля представитель министерства иностранных дел при его величестве господин фон Ениш сообщил мне из Фронтгейма: «После продолжительной беседы с профессором Шиманом его величество император сказал мне приблизительно следующее: «Если в России вскоре все пойдет вверх дном, и там, как это предвидит Шен в его донесениях, будет подготовляться образование целого ряда федеративных республик, то я ни в коем случае не оставлю балтийские провинции на произвол судьбы, а приду им на помощь; они должны быть присоединены к Гер-

[1] Глава XV выпущена при русском переводе целиком. *Ред.*

манской империи. Я не ударю пальцем о палец пока будет существовать русское правительство, но я не допущу, чтобы балтийцы погибли, очутившись в бедственном положении. Поляки, разумеется, будут пытаться распространить свои владения на север до моря. Этого я никогда не допущу. Они могут распространяться на восток и на юго-восток, где у них имеются экономические интересы. Я уже говорил с Бюловым и Бетман-Гольвегом, что в случае катастрофы в России мы не будем препятствовать осуществлению польской программы (восстановлению Королевства польского). Тогда наступит момент, когда все польские крупные помещики должны будут присягнуть мне. Кто не принесет присяги, должен будет покинуть прусскую территорию. Таким образом мы лучше всего избавимся от неудобных польских элементов. Наша политика и наша дипломатия в недалеком будущем будут поставлены перед совершенно иными задачами, чем теперь...»

Профессор Теодор Шиман принадлежал к числу тех балтийцев, которые рассматривают все события и обстоятельства, все мировое положение с узкой точки зрения своей родины в самом тесном смысле этого слова... Утверждение его величества, что он убедил меня принять его программу в польском вопросе, только лишний раз доказывает, что живость темперамента, болтливость и фантазия побуждают императора вкладывать в уста другим слова, которые в такой же мере являются вымыслом, как рассказы блаженной памяти барона Мюнхаузена. Император в беседе со мной редко затрагивал польский вопрос, но при этом я никогда не упускал случая определенно заявить ему, что я считал бы восстановление самостоятельной Польши величайшей ошибкой, какую только можно совершить в прусской и вообще в германской политике. Польское государство на нашей восточной границе, неоднократно говорил я ему, явилось бы естественным союзником нашего непримиримого врага на западе, и польская армия в Варшаве была бы равносильна пребыванию французских войск и на нашем восточном фланге...

Вскоре после того как кронпринцесса разрешилась от бремени, я представил императору обстоятельно мотивированный доклад, подписанный всем прусским министерством, в котором предлагал даровать амнистию. В царствование Вильгельма II случаи осуждения за оскорбление величества чрезвычайно участились. Это несомненно было связано с тем, что император, как мне уже неоднократно приходилось здесь указывать, слишком подчеркивал значение своего сана не столько по существу, сколько по форме. Именно поэтому мне представлялось необходимым воспользоваться удобным случаем и внести корректив в виде амнистии хотя бы уже потому, что обвинительные судебные приговоры нередко выносились на основании безобразных доносов, а иногда даже после неудавшихся попыток вымогательства или из личной мести. Но я не скрою, что мне во время моего пребывания на посту канцлера ни разу не приходилось издать для

защиты их императорских величеств какой-либо закон, похожий на тот, который провел в 1922 г. Вирт для защиты республики. Драконовский и в то же время мелочной закон, которым республиканские властители доказывают, что они почти так же чувствительны ко всяким нападкам на их систему, которая ведь все-таки не является бесспорной, и на их довольно незначительные личности, как так называемая реакция в эпоху карлсбадских постановлений. Не без чувства удовлетворения я констатировал, что за время моего двенадцатилетнего пребывания в должности министра мне ни разу не приходило в голову призывать на помощь тень блаженной памяти князя Меттерниха...

К числу самых оригинальных фигур старого режима принадлежал министр земледелия Подбельский, которого все называли «Под». Подбельский, как я охарактеризовал его в беседе с его величеством перед назначением меня рейхсканцлером, был не только ловок и решителен, но обладал также несомненно организаторским талантом, на что я указывал в связи с его назначением министром земледелия. Между прочим он еще до своего назначения принимал участие в организации фирмы Типпельскирх, которая в скором времени стала главным поставщиком для колониальных войск. Когда он стал министром, его обвиняли в том, что он специально покровительствует этой фирме и что при назначении своем на должность министра он перевел свои паи на имя жены. Эйленбург писал мне из Ромінсена, что император «очень испуган», так как он не в состоянии уяснить себе всего значения действий Подбельского. Но он удовольствовался замечанием, что может быть Подбельский «набивает себе матрац», но вообще человек чрезвычайно полезный. Эйленбург добавлял: «Мне кажется, что нет такого желания его величества, которого бы Подбельский теперь не исполнил, и мне жаль, что я вынужден признать, что его величество рад видеть в качестве министра такую готовую на все личность, в особенности в том ведомстве, где распоряжается толстяк Подбельский, которому подчинены леса и охоты. Подбельский ходил здесь, хромая от подагры, и говорил, что кампания, поднятая в печати, сильно на него подействовала». Действительно, славный Подбельский, который не только в мирное время успешно справлялся со всеми занимаемыми им должностями, но еще раньше отличался на полях сражения, добровольно подал в отставку в октябре 1906 г.

Я едва могу удержаться от иронической улыбки, когда вспоминаю о сенсации и о «возмущении» (это слово очень любили употреблять перед революцией, но потом, когда было гораздо больше оснований пользоваться им, его применяли значительно реже), которые царили тогда во всей оппозиционной печати по поводу аферы Подбельского. Прежде всего действительно было больше толков и слухов, чем доказанных обвинений. Но что самое главное, между теми деяниями, в которых упрекали Подбельского, и проступками, в которых много лет спустя был обличен

Эрцбергер, была такая же разница, как между горой Броккоман и Чимборассо. Тем не менее Эрцбергер после убийственного для него исхода процесса против Гельфериха и после приговора, в котором он изобличался в систематической лжи и в неприличном смешении публичных интересов со своими частными делами, был не только взят под защиту и оправдан президентом и тогдашним канцлером, но оба эти социалиста даже публично и громко прославляли его. В те дни, когда разбирался процесс Эрцбергера с Гельферихом, я задал одному своему приятелю, редактору демократической газеты, вопрос: если бы в свое время, когда на Подбельского нападали за допущенные якобы мелкие погрешности в его отношениях с фирмой Типпельскирх, я стал прославлять его в рейхстаге с министерской скамьи, что сказали бы вы тогда по этому поводу в вашей уважаемой газете?

Он ответил мне с улыбкой: «По всей вероятности я написал бы, что со времени упадка Римской империи еще никогда не было такого бесстыдного цинизма и полного отсутствия моральных понятий». Другие времена, другие нравы.

ГЛАВА XVII

Большее впечатление, чем меняющиеся настроения его величества, произвело на меня то, что я услышал от своего старого друга, депутата центра, принца Арнберга, когда он посетил меня летом 1906 г. в Нордернее. Во время прогулки на маяк он сказал мне, что решил не выставлять снова своей кандидатуры на следующих выборах, т. е. в 1908 г. Я возразил, что я буду глубоко сожалеть об этом. Он имеет большие заслуги как постоянный докладчик по бюджету министерства иностранных дел. Он стал связующим звеном между мной и центром и всегда умел сглаживать отношения. Кроме того мне будет чрезвычайно больно не видеть его на обычном месте против себя. «Макс, останься, не покидай меня, Макс», — воскликнул я. Он возразил, что именно дружба и любовь ко мне подсказали ему мысль отказаться от политической деятельности. Он предвидит, что в недалеком будущем возникнет конфликт между его партией и мной, и ему не хочется очутиться в таком неприятном положении. Его опасения были для меня непонятны, я указал на свое почти десятилетнее сотрудничество с центром, в котором обе стороны чувствовали себя хорошо. Без всякой похвальбы я мог напомнить, что вскоре после принятия школьного закона прусские епископы высказали мне через посредство кардинала Коппа свое удовольствие и свою признательность и только поэтому не выразили своих чувств публично, что не хотели подвергать меня подозрениям и нападкам с другой стороны. Именно потому, что моя фракция сыта, она станет высокомерной, ответил Арнберг. С фракцией его связывают глубоко укоренившиеся убеждения и чувства, и он не хочет участвовать в ее борьбе с его лучшим другом, а потому предпочитает своевременно уйти с политической арены.

Наш посол в Вене в то время граф, а впоследствии князь Ведель, добропорядочный человек и мой верный друг, передал через моего брата Карла-Ульриха, флигель-адъютанта его величества, в то время военного атташе в Вене, что против меня ведется усиленная кампания, в которой участвует и даже проявляет особую энергию Филипп Эйленбург, которому хочется, чтобы канцлером был назначен начальник генерального штаба Гельмут Мольтке. Эйленбург уверяет императора, что я болен гораздо более серьезно, чем это думает его величество: «Жизнь Бернгарда в опасности», но впрочем и без «дорогого» Бернгарда можно обойтись и даже с полным успехом. Император должен вести внешнюю политику сам при поддержке его, Эйленбурга, и верного Чиршки, а во внутренних делах нужен сильный человек, генерал с железной метлой.

Я так и не узнал, сколько правды было в этом сообщении, которое меня впрочем ничуть не взволновало. Верно только то, что, вскоре после того как я из Нордернея отправился через Берлин и Вильгельмсхёе в Гомбург, Филипп Эйленбург посетил тайного советника фон Ренверса и сказал ему, что мои доброжелатели должны в интересах моего здоровья посоветовать мне подать в отставку... Когда Ренверс сказал, что я совершенно здоров, Эйленбург заметил, что может быть так представляется холодному взору врача, но озабоченный взгляд друга видит иное, ибо он знает, что жизнь моя зависит от того, сумею ли я в близком будущем сбросить с себя непосильное бремя канцлерской должности.

Я и по сей день считаю возможным, что Эйленбург говорил таким образом, руководствуясь действительно дружескими чувствами ко мне. Он в самом деле был очень сложной натурой...

На вечере, который происходил 22 октября в день рождения императрицы в Новом дворце, мне с разных сторон задавали вопрос — верно ли, что мое место займет Гельмут Мольтке. Я отвечал, что буду благодарен Мольтке, если он пожелает освободить меня от бремени моей должности, но не думаю, что у него есть на это охота. На следующее утро одна берлинская газета, если не ошибаюсь «Berliner Tageblatt», без всякого прямого или косвенного участия с моей стороны поместила заметку, что ведутся интриги с целью посадить на мое место Мольтке. В тот же день после обеда Мольтке явился ко мне и с прямотой, соответствовавшей его благородному характеру, сказал, что ему чрезвычайно неприятны эти слухи и сплетни, он и не думает добиваться канцлерского поста, для которого он себя совершенно не считает подготовленным. Я ему вполне искренно отвечал, что никогда не сомневался в его лойяльности и дружбе ко мне. Я и в настоящее время глубоко убежден, что этот несчастный, но безусловно благородный человек говорил тогда, как и во всех случаях, правду, но ввиду напряженного положения во внутренних делах я был доволен, что с возобновлением парламентских прений в затхлую атмосферу придворных интриг и салонных сплетен вольется струя свежего воздуха.

На следующий день Эрцбергер выступил с такими же нападками против Дернбурга, с какими он неоднократно выступал против принца Гогенлоэ... но он взял менее резкий тон, чем говоривший после него депутат центра Рёрен, которому Дернбург дал блестящий отпор [67]. При оживленных аплодисментах справа Дернбург закончил свою реплику словами: «Мы будем поддерживать миссии в колониях, ибо наше государство построено на христианском основании и мы живем в условиях христианской культуры»... Депутат Рёрен, твердолобый вестфалец, член высшего областного суда в Кельне, бывший всегда enfant terrible партии центра (он и после моей отставки выступил в этой роли), ответил Дернбургу грубыми и банальными оскорблениями.

Я все еще не верил, что центр поведет дело к разрыву, которого я стремился избежать. Я пригласил к себе двух наиболее влиятельных вождей центра — Шпана и Грёбера. Во время продолжительной беседы втроем я напомнил им о моем справедливом и благожелательном отношении к партии центра и католической части немецкого народа в течение почти девяти лет. Я никогда не посягну на права католической церкви и не стану задевать чувства католиков, но там, где дело идет о государственных интересах и о принципах, на которых построено наше государство, я не позволю шутить с собой. Я выразил надежду, что центр поймет мое предостережение. Оба мои посетителя уверяли, что они осуждают оппозицию, проявляющуюся за последнее время в центре, и принимают все меры, для того чтобы избежать конфликта с правительством. Господин Шпан сказал мне с прямотой, которая была так свойственна этому превосходному судейскому чиновнику: во всем виноват Эрцбергер, назойливый, довольно бессовестный молодой карьерист, которого к сожалению наш друг Грёбер ввел в рейхстаг. Он издает у себя в Лихтерфельде парламентскую корреспонденцию, при помощи которой подчинил своему влиянию значительную часть прессы партии центра...

Императору я писал: «Положение серьезно. По тем результатам комиссионных заседаний, которые имеются к настоящему времени, приходится считаться с возможностью, что комиссия вычеркнет значительную часть требований на средства для содержания нужного числа войск в юго-западной Африке и подавления восстания. Если комиссия примет такое постановление, и оно будет подтверждено пленумом рейхстага, то я должен советовать вашему величеству распустить рейхстаг. Роспуск этот несомненно является решением, чреватым последствиями. Конфликт в империи по условиям внешней и внутренней политики сложнее и опаснее, чем прежние конфликты в Пруссии. Если мы хотим успешно провести такую политику, то мы должны маневрировать таким образом, чтобы союзные монархи и нация считали, что право и разум на нашей стороне»... Император написал на полях моего письма: «Согласен! Вам обеспечены мое полное одобрение и полномочия на самые серьезные шаги»...

Когда 13 декабря началось второе чтение дополнительного

бюджета для германской юго-западной Африки, я открыл прения короткой, весьма спокойной речью, в которой изложил причины, не позволяющие союзным правительствам согласиться уже теперь связать себя на 1907 бюджетный год определенным числом войск, значительно меньшим, чем имеется там сейчас. Я не мог предположить, чтобы рейхстаг принял такое постановление, одинаково нежелательное и опасное в финансовом, военном, а также политическом и национальном отношении. Если окажется, что я ошибаюсь, то я как ответственный руководитель имперской политики не могу из чувства ответственности перед германским народом и историей подписать такой капитуляции.

Пока я говорил, я видел по лицам депутатов и в частности представителей центра, что они не вполне верят в серьезность моего заявления. После некоторой перебранки между Рёреном и Дернбургом, а затем между отвратительным Ледебуром, крайне антипатичным социалистом, и консервативным депутатом фон Рихтгофеном я снова и в последний раз взял слово. Я говорил не подготовившись и не без волнения. Я задал вопрос, к чему мы придем, если у нас войдет в привычку ставить военные мероприятия во время войны, ставить жизнь и здоровье наших войск, честь нашего оружия в зависимость от фракционных постановлений и партийных соображений. Я напомнил, с какой решимостью, не моргнув глазом, вели другие народы — англичане, французы, голландцы — свои колониальные войны. Я заявил, что никогда не говорил приписываемых мне глупых слов: «Только чтобы не было внутренних кризисов!» К этому я добавил: «Бывают положения, когда страх перед кризисом свидетельствует о недостаточном мужестве, о недостаточном чувстве долга. Если вы хотите, то вы получите кризис». И возвысив голос, я заявил, что распространяемые в кулуарах слухи, будто я нахожусь под давлением императора, представляют собой «наглую неправду». Мне не нужно никаких директив, для того чтобы признать, что в данном случае мы имеем дело с национальной необходимостью. Я закончил свою речь словами: «Какое впечатление получится внутри страны и за границей, если правительство капитулирует в таком положении и по такому вопросу, если оно не найдет в себе достаточно сил, для того чтобы выполнить свой национальный долг. Мы выполним наш долг, полные веры в немецкий народ». Социал-демократы шикали, большинство зааплодировало.

При последовавшем затем поименном голосовании правительственное предложение было отклонено 177 голосами против 168. Тогда я попросил слова, поднялся и заявил: «Я должен сообщить рейхстагу императорский указ». Когда я вынул красную папку, с правых скамей раздались бурные аплодисменты — национал-либералы и свободомыслящие били в ладоши. Социал-демократы, которые наверно рассчитывали на большую победу на выборах, кричали от удовольствия. Центр молчал смущенный и раздраженный. Общий шум заглушался ликованием и аплодисментами слушателей на трибуне [68].

ГЛАВА XIX[1]

Во время моей болезни [69] поссорились Гольштейн и Филипп Эйленбург. Кто из бессмертных толкнул их на распри, спрашивает в начале «Илиады» музу слепой певец, прежде чем приступить к описанию ссоры Агамемнона с мужественным Ахиллесом. При болезненных чертах, которые были свойственны блестяще одаренному Эйленбургу, и принимая во внимание, что Гольштейн при всей остроте своего ума слишком часто обнаруживал патологическое недоверие, рисовавшее ему то, чего не было в действительности, и вызывавшее в нем в таком случае злобную манию преследования, — при наличии этих обстоятельств только опытный психиатр мог бы установить происхождение и основательность этой ссоры. Столкновение этих двух людей, игравших в течение многих лет видную роль, постепенно породило ядовитые испарения, отравившие атмосферу общественной жизни в Германии, и создало резкий контраст с тем подъемом национальной идеи, который наблюдался в связи с роспуском рейхстага.

В мае 1906 г. Эйленбург с крайним испугом сообщил мне, что Гольштейн вскоре после своей отставки написал ему крайне оскорбительное письмо, начинавшееся словами: «Мой Фили! Это обращение не есть знак почтения, потому что «Фили» не означает теперь у современников ничего хорошего. Цель, к которой вы стремились в течение многих лет, — устранить меня — наконец достигнута. Подлые нападки печати на меня тоже, надо полагать, отвечают вашим желаниям». Остальное содержание письма Гольштейна Эйленбург мне не сообщал, говоря, что содержание слишком отвратительное. Дальше Эйленбург писал, что это письмо особенно подействовало на него, потому что он еще до получения его чувствовал себя очень плохо. Но он сказал себе, что, для того чтобы сохранить горячо любимым детям отца с незапятнанной честью, а императору незапятнанного друга, должна пролиться кровь. Хотя он является принципиальным противником дуэли и хотя сознает, что это есть уступка средневековью, которая отвергается культурными обычаями других цивилизованных стран, тем не менее он послал Гольштейну вызов. В длинном меморандуме, который он мне переслал, он указывал, что его друг вюртембергский посланник барон Аксель Варнбюлер уладил это дело в качестве его секунданта следующим образом. Эйленбург под честным словом заявил, что он не принимал никакого участия в отставке Гольштейна и в нападках печати на него. Гольштейн же взял обратно крайне оскорбительные выражения, которые он употребил в письме к Эйленбургу. В скором времени берлинская «Zukunft» поместила статью с резкими нападками на Филиппа Эйленбурга, на его друга коменданта города Берлина графа Куно Мольтке и на «либенбергских сотрапезников», обвиняя их в том, что они своей близостью к императору оказывают гибельное политическое

[1] Глава XVIII выпущена при переводе целиком. *Ред.*

влияние. В «Zukunft» сообщалось также, что в этом кругу занимаются спиритизмом и что там господствуют также еще «другие болезненные наклонности». Я знал неврастеническую натуру Эйленбурга, знал, что процесс Тауша, начатый в свое время Маршаллем незадолго до его отставки, на котором Эйленбург фигурировал в качестве свидетеля, привел его в крайнее возбуждение и чуть не уложил в постель. Поэтому я старался по возможности предотвратить процесс. В этих моих стараниях меня поддерживал Вальтер Ратенау, в то время состоявший в близкой дружбе с Максимилианом Гарденом, которого я лично еще не знал, а также дружившим с Гарденом руководитель немецкого драматического театра в Гамбурге барон Альфред Бергер, муж выдающейся актрисы Стэллы Гогенфельс, человек большого ума и при этом очень добрый и отзывчивый. В следующей главе мне придется рассказать, как, несмотря на честные и умные старания Ратенау и Бергера и несмотря на то, что сам Эйленбург всячески старался уклониться от процесса, начальники кабинетов его величества Луканус и Гюльзен и командующий императорской главной квартирой генерал Плессен при поддержке всей военной свиты императора заставили в конце концов Куно Мольтке[70] начать судебное дело, несмотря на все мои советы и предостережения и не считаясь с государственными интересами.

Беседа, которую я имел с Извольским в Свинемюнде, дала довольно удовлетворительные результаты. Русский министр иностранных дел находился под сильным впечатлением революционного брожения, которое все более усиливалось и распространялось вширь, несмотря на все меры к его преодолению и на некоторые уступки и реформы. Для меня это обстоятельство было лишним основанием избегать вооруженного столкновения с Россией. Я припомнил, как еще князь Бисмарк указывал графу Кальноки, что выжидая мы пожалуй скорее доживем до внутреннего развала и распада России, чем до нападения с ее стороны. Этого мнения я держался всегда и укрепился в нем, когда в мае 1914 г. незадолго перед тем вышедший в отставку русский председатель совета министров Коковцев на мой вопрос, заданный ему в Риме: допускает ли он возможность войны, спокойно и твердо сказал: «Войны — нет. Если вы только нас не заставите, мы воевать не будем. Но я допускаю возможность и к сожалению даже вероятность революции в России». Относительно Франции Извольский повторил мне в Свинемюнде то, что Муравьев сказал за десять лет до этого, что именно Россия является союзницей Франции и должна остаться, но что из-за этого он отнюдь не желает, чтобы между нами были недружелюбные отношения, а тем паче война. С Англией Россия должна ладить после своего тяжелого поражения на Дальнем Востоке. Но по отношению к нам Россия не будет играть роль английского ландскнехта. В особенности же Извольский был тогда еще убежден, что плохие отношения между Германией и Россией будут наруку только революции, которая угрожает обеим империям — и России еще больше, чем Германии.

Он сказал мне, что некоторые русские шовинисты допускают грубую ошибку, когда полагают, что внешняя война будет действовать как «отвлекающее средство» против внутренней революционной опасности. Я сказал ему: «Вы говорите золотые слова. Мы — добрые друзья, и затевать войну для того, чтобы избежать революции, — это все равно, что подражать примеру Гиболяра, который у Рабле бросается в воду, чтобы спастись от дождя». Он рассмеялся и признал, что я прав. Если в Петербурге будут сохранять хладнокровие, а Германия не будет провокационно вести себя по отношению к России в польском вопросе и на Балканском полуострове, то мы оба не потонем.

С 15 июня и по 15 октября 1907 г. в Гааге заседала вторая мирная конференция, которую открыл нидерландский министр иностранных дел господин Тетц ван Гудриан, бывший раньше посланником в Берлине, благожелательный и тактичный дипломат. Председательское место занял русский уполномоченный посол Нелидов. В вопросе, касавшемся международных стремлений к миру и разоружению, я должен был в отношении пацифистской пропаганды и требования разоружения, так же как и в некоторых других вопросах, проходить между Сциллой и Харибдой, итти средним путем, который в данном случае был правильным. Я, разумеется, никогда и не думал о том, чтобы принести безопасность страны в жертву лицемерным заверениям наших противников и завистников и пустым фразам не знающих жизни, а иногда и просто недобросовестных мечтателей.

Но именно потому, что я на основании собственного многолетнего опыта, вынесенного из жизни за границей, очень хорошо знал всю лживость пропаганды, направленной против Германии, я старался удерживать императора от речей и жестов, которые могли создать ему репутацию разрушителя мира, каковым он не желал быть, да и на самом деле не был. Уже в мае 1899 г. при первом мирном предложении царя я убеждал императора не брать на себя одиозную роль нарушителя мира, мешающего осуществлению благородных намерений друзей мира и повинного в том, что мир стонет под бременем все более возрастающих военных расходов. Поэтому и теперь, восемь лет спустя, я настаивал, чтобы мы приняли участие во второй международной мирной конференции.

1907 год ознаменовался двумя важными переменами в империи и Пруссии. Как я ни ценил выдающихся познаний и работоспособности графа Позадовского, все же, после того как я решил держаться направления, которое не я сам, а другие окрестили названием «политики блока» и которое я сам скорее бы определил как благоразумный постепенный переход к более либеральной системе внутренней политики и как более значительное и частое привлечение парламентских сил в состав правительства я должен был расстаться с сотрудником, который внутренне противился такому повороту. Я заменил Позадовского Бетманом, который во многих отношениях не мог сравняться со

своим предшественником, но зато я мог быть уверенным, что до тех пор, пока я буду канцлером, он, выражаясь словами Бисмарка, будет меня слушаться, как унтер-офицер. Прусским министром внутренних дел стал брат начальника генерального штаба оберпрезидент Восточной Пруссии Фридрих фон Мольтке. Он был на четыре года моложе брата и по доброжелательности и чистоте характера был похож на него.

ГЛАВА XX

В то время как император пребывал в Англии, в рейхстаге вождь партии центра депутат Шпан коснулся в своей речи разоблачений, сделанных на процессе Мольтке — Гардена относительно безнравственных явлений, напоминавших о языческом Риме. Он высказал свое порицание по поводу того, что два особенно виновных офицера — граф Линар и граф Гогенау — были уволены в отставку с пенсией. Но вместе с тем он благодарил императора и кронпринца за те меры, которые они поспешили принять. Я возразил, что противонравственные действия, о которых говорилось на процессе Гардена — Мольтке, вызывают и во мне отвращение и стыд, но что я должен протестовать против мнения, будто немецкий народ и германская армия в своей основе не вполне здоровы. Точно так же как никто не сомневается в высокой нравственности нашей императорской четы, которая своей семейной жизнью подает прекрасный пример стране, точно так же и немецкий народ не представляет собой Содома, а в германской армии не наблюдается явлений эпохи упадка Римской империи, и народное представительство может положиться на то, что именно наш император железной метлой выметет все, что не будет соответствовать чистоте, свойственной его характеру и его дому. Что же касается камарильи, то ведь первым условием для того, чтобы подобные ядовитые растения могли пышно распуститься, являются замкнутость и несамостоятельность монарха. Но хотя императору делали разные упреки, подобно тому как каждого человека можно упрекнуть в том или ином, насколько мне известно, его никто не упрекал в том, что он уклоняется от общения с людьми, не имеет собственной воли. Я сказал это при сильном смехе в зале рейхстага. Поэтому пускай наконец перестанут болтать и шептаться насчет камарильи. Депутату Бебелю, который сказал, что только в монархиях могут существовать камарилья и тому подобные печальные явления, я сказал, что существует не только придворная камарилья, но и красная камарилья, что кадят не только тщеславию монархов, но также и королю Демосу. В искусстве ползать на брюхе и вилять хвостом придворные короля Демоса превзошли придворных монарха. В этом мне можно поверить, так как я знаком с обеими разновидностями.

Прежде чем перейти к большим политическим событиям 1908 г., я должен до конца рассказать трагедию князя Филиппа Эйленбурга с сопровождавшими ее явлениями не только по-

тому, что она в течение месяцев была темой разговоров во всех кругах берлинского общества, но также еще и потому, что она чрезвычайно взволновала и задела Вильгельма II и тем самым повлекла за собой политические последствия.

Я попрежнему верил в моральную чистоту Эйленбурга, но боязнь, с которой он следил за процессом Мольтке — Гардена, закончившимся оправданием писателя Максимилиана Гардена, начала и меня беспокоить, хотя я уже давно знал, какой Эйленбург неврастеник. Он не переставал в письмах просить меня принять меры, чтобы его имя не упоминалось на процессе и чтобы он не был в него втянут. «Этот процесс, — писал он мне, — внушает мне прямо ужас, хотя, в сущности говоря, мне нечего бояться; но я так болен, мои нервы так расшатаны бесконечно тяжелыми душевными и физическими переживаниями, что меня наполняет ужасом мысль, что меня снова будут обливать грязью, и я чувствую, что не в состоянии выдержать такой муки. Кроме того я считаю опасным новое издание гарденовских скандалов. После того как «там» отвесили глубокий поклон этому еврейскому молодчику благодаря той поспешности, с которой был дан ряд отставок, каждый новый скандал, который, разумеется, принимает европейский масштаб, будет буквально опасен для государства. Но как воспрепятствовать процессу и дальнейшему скандалу, я, право, не знаю. Сколько я ни думаю, мне ничего не приходит в голову кроме разве внушения председателю лишать слова всех, кто не будет говорить исключительно об оскорблении Куно». Я должен был, разумеется, сказать ему, что как высший имперский чиновник я не могу вмешиваться в действия независимого суда.

В начале января 1907 г., когда Эйленбург посетил меня, находясь еще под сильным впечатлением побега своей дочери [71], я посоветовал ему воспользоваться этим печальным случаем и на некоторое время уехать за границу, что все найдут естественным. Ему надо провести зиму с семьей в Швейцарии или Италии, не слушать берлинских сплетен и вместе с тем забыть неприятные впечатления последнего времени и поправить свои нервы. На основании того, что мне говорили Ратенау и Бергер, я надеялся, что если Эйленбург покинет Берлин и в частности будет держаться подальше от императора, то его противники при дворе, а также и Гарден оставят его в покое. Но бедняга был похож на муху, которая все время летит на огонь. Он не мог жить без императора, без близости к нему, без императорских милостей. Он писал мне: «Мне хочется погрузиться в глубокое забвение и общаться только с семьей, с теми друзьями, которые у меня остались. Я действительно слишком болен для всего остального. С меня достаточно мучений на этом свете, и я буду на коленях благодарить господа, если он даст мне умереть спокойно».

Тем не менее, несмотря на мое категорическое предостережение, он в январе 1907 г. появился в Берлине, чтобы принять

пожалованный ему орден Черного орла. Пожалование Эйленбургу высшего прусского ордена в свое время уже вызвало недовольство в широких кругах. Его присутствие при посвящении в рыцари ордена, которое император по отношению к нему произвел с особенной сердечностью, вызвало возбуждение среди его противников при дворе, в особенности у начальников кабинетов, и раздражило кронпринца. Его снова стали со всех сторон травить. В мае 1907 г. император настроился против Эйленбурга с такой же внезапностью и стремительностью, с какой в течение многих лет приближал его к себе. Император сказал на смотру моему брату Карлу-Ульриху, который в то время командовал вторым гвардейским уланским полком, что я, по его мнению, слишком благодушно отношусь к Эйленбургу и не проявляю достаточной энергии, что поэтому ему, императору, придется наконец подтолкнуть меня.

31 мая 1907 г. я получил от императора послание, в котором говорилось, что по сведениям, дошедшим до его величества, Эйленбург уже в течение нескольких месяцев подвергался нападкам со стороны «Zukunft», против которых он ничего не предпринимает. Вместо этого Эйленбург завел тайные сношения с Гарденом и просил его воздержаться от дальнейших нападок. В полном несоответствии с этим действительным положением вещей Эйленбург в нескольких письмах уверял его величество, что он ничего не знал о статьях в «Zukunft», что он ее не читает и вообще не знает, что в ней пишут. Из этого его величество вынужден сделать заключение, что Гарден располагает письмами Эйленбурга к Мольтке, которые во всех отношениях являются компрометирующими. Далее его величество слышал, что во время пребывания там императора Эйленбург пригласил к себе в замок Либенберг подозрительных лиц, в том числе одного французского дипломата, который пользуется крайне дурной репутацией и поэтому никогда не получал приглашения от прусского посланника в Мюнхене. Император возмущен, что Эйленбург тем самым поставил его высочайшую особу в недопустимое для монарха положение. Упоминаемый здесь французский дипломат был некто Леконт, который действительно был подозрительной личностью и о котором мне баварский министр-президент Подевильс говорил, что в Мюнхене ходили слухи о его извращенных наклонностях и что поэтому над ним даже был установлен полицейский надзор. Я неоднократно и серьезно предостерегал от него Эйленбурга. Несмотря на это, он пригласил своего друга Леконта одновременно с его величеством, что было безусловно грубой бестактностью. Обращенное ко мне распоряжение его величества заканчивалось словами: «Поэтому я ожидаю, что Эйленбург немедленно попросит об увольнении в отставку с пенсией. Если возбужденные против него обвинения относительно развратных наклонностей неправильны и его совесть по отношению ко мне совершенно чиста, то я ожидаю от него вполне определенного заявления на этот счет, после чего ему надо будет возбудить дело против Гардена. В противном же

случае я ожидаю, что он вернет орден Черного орла и без всякого шума вскоре покинет страну и отправится за границу».

На это выступление императора толкнул, как я узнал из кругов, приближенных к его величеству, князь Макс Фюрстенберг, который сделался фаворитом его величества вместо Эйленбурга и ненавидел своего предшественника. Я распорядился, чтобы Эйленбургу передали высочайшую волю через его друга Фарнбюлера в возможно более осторожных выражениях.

Императору я через несколько дней по получении его распоряжения написал, что Филипп Эйленбург тяжело болен, что он мне телеграфировал о своем намерении уйти в полную отставку, тогда как до сих пор он находился в длительном отпуску. Я добавил, что мы в этом неприятном деле должны стремиться к тому, чтобы, с одной стороны, корона не ставилась в связь с этим делом и совершенно устранялась из него, а, с другой стороны, поскольку допускает наше законодательство, принять меры, чтобы из этого не делали слишком большого публичного скандала на радость заграницы.

Мой брат Альфред, который еще с ранней молодости был близок с Филиппом Эйленбургом, вместе с ним учился в Страсбургском университете и вместе с ним состоял референдарием в Нейруппине, писал мне зимой 1907/08 г.: «Теперь главное, чтобы Филипп Эйленбург, хотя он и находится в крайне печальном физическом и духовном состоянии, вел свой процесс (который, судя по газетам, уже возбужден) ясно и недвусмысленно и давал вполне определенные показания. Я надеюсь, что он уяснает себе свое положение и не будет предаваться опасным иллюзиям». Это было в самую точку. Но Эйленбург вместо этого искал спасения во всевозможных фантастических уловках, причем особенно охотно он прибегал к утверждению, что будто все нападки на него вызваны иезуитами, которые не могут ему простить антикатолического мировоззрения, которое он высказал в Мюнхене...

Несчастный князь Эйленбург только по истечении некоторого времени согласился заявить под присягой, правда, после упорных настояний Гардена и адвокатов противной стороны, что он никогда не совершал противоестественных поступков. Когда весной 1908 г. на процессе в Мюнхене рыбак с Штарнбергского озера показал, что он совершал такие противоестественные деяния с Эйленбургом, против князя в Берлине было возбуждено дело о ложной присяге. Как известно, оно не было доведено до конца ввиду состояния его здоровья и потом уже не возобновлялось, так как Эйленбург постоянно заявлял, что физическое состояние не позволяет ему давать показания. Был ли он виновен? Когда я несколько лет спустя встретился в Берлине с одним господином, бывшим присяжным заседателем по этому делу, то он мне сказал: «Мы все были убеждены, что князь Эйленбург виновен, но все-таки мы оправдали бы его, дело было давно и нам было очень жалко старого человека».

ГЛАВА XXI

Главной задачей моего доклада в июле 1908 г. было побудить императора осторожно держать себя по отношению к Англии. Все сообщения, которые я получал из Лондона, сходились на том, что ни король Эдуард, ни министры не желают войны с нами. Еще в июле 1908 г. хорошо осведомленный английский публицист рассказывал мне, что, по имеющимся у него достоверным сведениям, король недавно заявил: «Я никогда не допущу разрыва с Германией». Я указал императору, что если путем замедления темпа строительства флота мы могли бы добиться от Англии обещания не помогать Франции, если она на нас нападет, то это было бы хорошей сделкой. Император самым решительным образом возражал мне и говорил, что он не позволит никому вмешиваться в его распоряжения относительно флота. Я мог сослаться в беседе с его величеством, так же как и в совещаниях, которые у меня были с Тирпицем, на то, что я тоже кое-что сделал для популяризации флота в стране и для того, чтобы добиться от рейхстага предоставления необходимых средств для сооружения флота. Уже это дает мне право призывать к умеренности и к осторожности «Est modus in rebus, sunt certi denique fines» [1], — цитировал я сатиры Горация. Я говорил, что попрежнему убежден, что мы имеем право и обязаны построить флот, достаточный для нашей обороны. Но я не могу понять, почему нам не следует стараться притти к соглашению с Англией на основе замедления темпа сооружения флота. Вряд ли найдется другой вопрос, по которому мне так часто и порой так резко приходилось спорить с его величеством.

С Тирпицем я больше входил в детали. Вполне признавая его организационные способности, вполне преклоняясь перед его гениальной личностью и его пылким патриотизмом, я ставил вопрос, зачем мы держим наш флот постоянно в Северном море готовым броситься на Англию, а не показываем наш военный флаг в других морях — в Средиземном море или на Тихом океане? Я задавал также вопрос, почему мы всецело сосредоточиваем свое внимание на сооружении больших боевых судов, вместо того чтобы придавать большее значение обороне побережья и минному флоту, а главное — развитию подводного флота? Тирпиц отвечал мне, что император боится, что если мы выпустим дорогие его сердцу большие линейные суда из отечественных вод, то англичане могут их «копенгагировать», употребляя выражение, пущенное лордом Фишером. Тирпиц заявил, что большие линейные суда являются если не единственным, то во всяком случае главным и решающим фактором в войне. Все мысли создателя германского флота очевидно клонились к тому, что в случае войны мы должны немедленно выйти с нашим флотом и заставить англичан принять большой бой в открытом море.

---

[1] Есть мера в вещах, и существует известный предел.

В таком бою мы вероятно сможем победить, во всяком случае у нас имеются хорошие шансы, и мы несомненно сумеем так ослабить английский флот, что после этого можно уже будет при помощи подводных лодок принудить Альбион к заключению мира, так как тогда он уже не будет больше господствовать на морях. Я не берусь судить о правильности этого рассуждения, но я полагаю, что, после того как началась мировая война, Вильгельму II следовало бы предоставить создателю флота Тирпицу руководство этим флотом, и я убежден, что в этом случае мы не дошли бы до такого печального конца, который судьба уготовила нашему храброму флоту в Скапафлоу. Те, кто в начале мировой войны лишил Тирпица возможности распоряжаться флотом и отстранил его, — начальник морского кабинета адмирал Мюллер, адмирал Гольцендорф, а главное Бетман-Гольвег и Ягов, — не желавшие «раздражать» Англию, несут на себе ответственность за то, что труд и усилия столь многих лет, что такое количество умственных сил и энергии было затрачено понапрасну, что без пользы было пролито столько драгоценной крови. А Вильгельм II, который давал волю таким «слугам», несет к сожалению одинаковую с ними ответственность перед страной и историей.

В 1908 г. у его императорского величества решительно все отступало перед желанием как можно быстрее строить новые и новые суда. Когда я за год до этого отправился на свидание с царем в Свинемюнде, сопровождавший императора посланник фон Трейтер выехал мне навстречу и всячески заклинал меня, чтобы я не стал снова предостерегать его величество против чересчур напряженного темпа в сооружении больших линейных судов, так как император будет чувствовать себя из-за этого «глубоко несчастным» и «потеряет всякое самообладание». Это облако стояло уже в течение целого года между его величеством и мной, когда в Гомбурге состоялась встреча между императором и его дядей английским королем. Во время этой непродолжительной встречи 11 августа 1908 г. (я при ней не присутствовал, будучи занятым другими неотложными делами) император имел беседу с сопровождавшим короля помощником статс-секретаря в английском министерстве иностранных дел сэром Чарльзом Гардингом. В этой беседе сэр Чарльз, настойчиво подчеркивая мирное настроение английского правительства, указал, что быстрый темп сооружения германского флота вызывает в Англии опасения.

На следующий день, 12 августа 1908 г., я получил от его величества длинную-предлинную телеграмму, в которой он в драматическом стиле изображал эту беседу. Гардинг говорил ему о серьезных опасениях, которые в Англии во всех кругах вызывает строительство нашего флота. Это приводит английский народ в крайнее возбуждение и внушает ему серьезные опасения. Он, император, на это возразил: «Но ведь это полная чепуха. Кто вам наговорил эти нелепости?» Когда сэр Чарльз сослался на достоверные данные английского адмиралтейства, то император будто бы

возразил ему: «Ваш материал неправилен. Я сам являюсь адмиралом английского флота и прекрасно его знаю. Я в этом деле понимаю больше вашего, так как вы человек штатский и ничего в этом не понимаете». Гардинг спросил: «Не можете ли вы приостановить ваше строительство или строить меньшее количество судов?» Он говорил, что следует заключить соглашение об ограничении строительства. На это император будто бы ему отвечал: «Тогда мы будем воевать, потому что это вопрос национального достоинства и чести». При этом император будто бы «твердо и решительно» посмотрел ему в глаза, и тот страшно покраснел и поклонился, извиняясь за свои ошибочные замечания, и просил его величество простить и забыть их. Вечером сэр Чарльз был будто бы совсем другим: был любезен и весел и даже рассказывал неприличные анекдоты. А когда ему под конец дали орден Красного орла, то Гардинг совсем «размяк». «Откровенная беседа со мной, в которой я ему показал зубы, произвела должное впечатление. С англичанами всегда надо обращаться таким образом».

В действительности разговор в Гомбурге, как я впоследствии узнал от немцев, которые при этом присутствовали, протекал более благодушно. Император и Гардинг сидели рядом на бильярде. Гардинг говорил с английской непринужденностью, но вполне почтительно и спокойно. Император был в хорошем настроении и держал себя весьма вежливо... Все это происшествие на бильярде и около бильярда в Гомбурге, в особенности в том виде, как его сконструировал потом Вильгельм II задним числом, к сожалению способствовало тому, что императором овладевало еще большее упрямство по отношению ко всяким попыткам притти к соглашению с Англией по вопросу о флоте.

ГЛАВА XXII

Мне пришлось слышать, как Бисмарк однажды говорил, что в политике дальнозоркость более опасна, чем близорукость. Хотя я и сам так думаю, но понимаю, что можно иметь и иное мнение по этому вопросу. Что однако несомненно, так это то, что нередкой ошибкой немецкой политической мысли является объяснение событий и вопросов современности слишком далеко отстоящими причинами. Наша в общем мало действительная пропаганда во время мировой войны находила слишком много удовольствия в тягучих рассуждениях о давно прошедших событиях, мало кого интересовавших не только во враждебном лагере, но также и в нейтральном, в то время как было бы нужно объяснять наш образ действия и наше поведение летом 1914 г. и, поскольку возможно, оправдывать их. И особенно после несчастного исхода войны, когда дело шло о том, чтобы выступить против лжи врагов о виновниках войны, это было возможно только в том случае, если бы мы признали и подчеркнули ошибки тех, в чьих руках в 1914 г. находилась немецкая внешняя политика. Все это будет развито дальше, когда мне при-

дется выполнить скорбную задачу осветить причины, из-за которых наш мирный, способный, добрый и благоразумный народ, наш миролюбивый, боявшийся войны император влипли в ужаснейшую и притом самую глупейшую войну. Здесь я хочу закончить мои размышления о слишком общем ретроспективном рассмотрении оговоркой, что, само собой разумеется, имеются факты, которые представляют собой конечные звенья длинной цепи.

Сюда принадлежит боснийский вопрос, приведший осенью 1908 г. к серьезному обострению отношений между Россией и Австрией и тем самым поставивший Германию в небезопасное и во всяком случае затруднительное положение. Непосредственно после Ревеля[72] Извольским было сделано письменное предложение австро-венгерскому министру иностранных дел начать переговоры о превращении оккупации в аннексию[73], с одной стороны, а с другой — об открытии проливов. Удивительно, что Извольский делал такое предложение своему венскому коллеге, в то время как последний незадолго перед тем ошарашил его сообщением об австро-турецком договоре, касающемся постройки Санджакской дороги, т. е. промежуточного звена между Боснийской и Македонской линией, что привело не только к сильному возбуждению русского общественного мнения, но и к обостренной полемике между петербургским и венским кабинетами.

Предложение Извольского можно объяснить тем, что честолюбивый и вместе с тем легкомысленный русский министр иностранных дел все позабыл из-за жгучего желания благодаря исполнению вековых русских стремлений и надежд относительно Дарданелл завоевать себе прочное место как в сердцах всех истинно русских людей, так и в русской истории, а вместе с тем может быть получить также и графский титул и орден святого Андрея.

О переговорах между обоими руководящими министрами я слышал позднее версию как Эренталя, так и Извольского. Моим первым впечатлением, с ходом времени и в силу того, что я видел и слышал, позднее лишь укрепившимся, было то, что формальное право на стороне Эренталя, который действовал более хитро, но что его поведение было не совсем красивым. Конечно со стороны Извольского было неумно и легкомысленно, после того как он высказал свое принципиальное согласие на предполагаемую аннексию, не спросить Эренталя тотчас, когда императорский и королевский министр предполагает предпринять этот шаг. Он также должен был тотчас же указать на то, что ему нужно время, чтобы подготовить ничего не подозревающую русскую публику и царя, который об этом тоже мало был осведомлен. Но Извольский наверное не предполагал, что императорский и королевский министр через три недели удивит мир аннексией Боснии и Герцеговины. Прокламация императора Франца-Иосифа, датированная 5 октября 1908 г., поразила Европу, как неожиданный удар грома. Сербы бесновались, сербский на-

следник престола стал во главе демонстрантов и объявил, что он готов умереть со всеми сербами за великосербскую идею. Белградская чернь приветствовала представителей России, Франции, Англии и Италии и хотела перебить окна в здании австрийского посольства. В Константинополе бойкотировались все австрийские товары, что сопровождалось выходками по отношению к австрийским подданным. Русская пресса страстно выступила на стороне Сербии, которая по крайней мере должна была требовать от Австрии большой компенсации. Чтобы увеличить путаницу, в тот же день, когда император Франц-Иосиф собственноручным письмом на имя Эренталя простер свой суверенитет над Боснией и Герцеговиной, князь Фердинанд Болгарский объявил свою страну независимым королевством[74]. Уже много лет Европа не была в таком возбуждении и в таком волнении.

В то время как я, перегруженный работой, с утра до поздней ночи занимался этими сложными вопросами, я получил из императорского охотничьего замка Роминтен от сопровождающего его величество господина фон Иенишa обширную рукопись, написанную совершенно неразборчивым почерком на тонкой и плохой папиросной бумаге, вместе с письмом, в котором меня спрашивали, нет ли у меня каких-либо возражений против опубликования приложенной к письму статьи в одной из английских газет... Совершенно не подозревая, что именно содержит этот документ, и при моей тогдашней перегрузке неотложными политическими вопросами я был не в состоянии сам прочесть эту рукопись и отправил письмо посланника фон Иенишa вместе с приложением в иностранное ведомство со следующей собственноручно написанной запиской: «Прошу *внимательно* прочитать статью, затем переписать ее в канцелярии (или еще лучше на пишущей машинке) и сделать на полях нужные исправления, добавления или *сокращения* (тем же самым почерком). Один экземпляр с изменениями должен быть сохранен для его величества. Прошу держать в строжайшем секрете и возможно ускорить пересылку мне». Оба слова: «внимательно» и «сокращения» я подчеркнул.

Через несколько дней эта рукопись была мне послана иностранным ведомством обратно с сообщением, что рекомендуются лишь некоторые незначительные и несущественные исправления, относящиеся к имени посланного в Фец чиновника немецкого консульства и другим подобным же мелочам. Я еще раз дал этот документ сопровождавшему меня в качестве представителя иностранного ведомства посланнику Мюллеру с ясным приказанием просмотреть еще раз все это дело, так как я сам не располагаю требуемым временем в эти беспокойные дни. Когда через несколько дней господин фон Мюллер возвратил мне рукопись, то я еще раз определенно спросил его, действительно ли является безопасным опубликование этой статьи. Посланник фон Мюллер ответил на мой вопрос утвердительно, и я уполномочил его ответить на запрос из Роминтена. Я и не подозревал, что

это послание из императорского охотничьего лагеря было динамитной бомбой, взрыв которой вскоре после этого вызвал самый тяжелый внутренний кризис, какой только случался во время моей службы.

Возвратившись в Берлин, как я и ожидал, я нашел императора в сильно возбужденном настроении из-за событий на Балканском полуострове. Особенно же он огорчался тем, что оскорбили турок, которые также и после падения его личного друга султана Абдул-Гамида и даже после провозглашения демократическо-парламентарной конституции оставались его любимцами. Его сердило также и то, что несимпатичный ему лично король Фердинанд Болгарский осмелился, не спросив предварительно императора, присвоить себе титул величества. В стремительном потоке слов во время нашей длительной прогулки по саду рейхсканцлерского дворца, где протекало такое количество наших дискуссий, император сделал мне предложение о коренном изменении курса. В Вене мы должны добиваться немедленного отказа императора Франца-Иосифа от провозглашения аннексии и одновременной отставки министра Эренталя. Дерзкого болгарина, узурпировавшего титул величества, мы не должны признавать ни сейчас, ни позже. Я возразил, что я никогда не переоценивал союза с Австрией, также не переоцениваю его и теперь. Я знаю, что князь Фердинанд очень хитроумный Одиссей. Но из-за этого мы не должны пинком ноги гнать Австро-Венгрию прямо в лагерь наших противников, так же как и Болгарию. Мы тем более не должны этого делать, что в боснийском вопросе не только международные договоры на стороне габсбургской монархии, но также и письмо Извольского к Эренталю является сильным дипломатическим оружием на все случаи. До войны я конечно не допущу. Я не имею намерения разрешить австрийцам выступить против Сербии или даже против России, ни, разумеется, против Италии. Я не покину Австрию, но еще меньше я позволю Австрии втянуть себя в европейскую войну. Великим примером, которому мы должны следовать, должна быть бисмарковская тактика во время прежних балканских кризисов. Проблема такова: мы не можем потерять Австро-Венгрию с ее 50-миллионным населением, ее сильной и храброй армией. Но также и не можем дать себя втянуть в конфликт, который, по моему мнению, будет трудно локализировать и который может повести ко всеобщей войне, которая была бы совершенно не в наших интересах. Я не могу заранее испрашивать императорского разрешения на каждый шахматный ход, который я намереваюсь сделать. Я не могу сразу сказать его величеству, как я собираюсь действовать в отдельных случаях; но я определенно думаю, что все сойдет для нас хорошо. По моему мнению, мы выйдем из этой дипломатической кампании с еще более усилившимся авторитетом.

Мое влияние на Вильгельма II тогда было еще так сильно, что я после полуторачасовой беседы совершенно изменил его

взгляды. Он доверчиво предоставил всецело на мое усмотрение дальнейшее поведение по отношению к боснийскому кризису. Он даже одобрил предложенный мною в это утро набросок тронной речи, которой 20 октября должен быть открыт ландтаг Прусской монархии и начало которой я сформулировал следующим образом: «Прошло 100 лет с тех пор, как мой в бозе почивший предок, покойный король Фридрих-Вильгельм III, с введением положения о городском устройстве призвал граждан Пруссии к участию в управлении городскими общественными делами. С дарованием конституции нация вступила также и в работу по государственным делам. Моя воля такова, чтобы изданные на ее основе распоряжения об избирательном праве в палату представителей нашли свое дальнейшее органическое развитие, соответствующее как хозяйственному развитию, распространению образования и политическому развитию, так и укреплению чувства государственной ответственности. В этом я вижу важнейшие задачи современности»[75]. Император высказал мне желание самому зачитать эту важную тронную речь. Он не хотел оставить никакого сомнения в том, что он, так же как и я, считает реформу прусского избирательного права желательной и нужной не только в интересах страны, но также и в интересах короны. Я конечно заранее предвидел, что произнесение тронной речи раздражит консерваторов, которые до сих пор чувствовали себя господами в прусской палате представителей, так же как 45 лет назад при этом же избирательном праве прогрессисты считали себя всевластными. Plus cela change, plus cela reste la même chose[1], говорится в одном французском водевиле. Но тогда я еще надеялся, что консерваторы проявят больше государственного благоразумия, чем это сделали их антиподы в первой половине шестидесятых годов. Я надеялся, что консерваторы будут ставить государственные интересы выше, чем свои, к тому же еще неправильно понятые, партийные интересы.

ГЛАВА XXIII

29 октября утром я, как всегда, подошел к моему большому письменному столу. Среди многочисленных полученных бумаг, покрывавших мой письменный стол, я увидел длинную депешу телеграфного агентства Вольфа из Лондона. С обычным спокойствием я взял ее. Но мое равнодушие сменилось безмерным изумлением, когда я начал читать. Депеша Вольфа представляла собой резюме статьи лондонского «Daily Telegraph» о недавней беседе с германским императором, сообщение о которой, по заявлению английской газеты, исходило из безусловно авторитетного источника[76]. Статья содержала целый ряд малоудачных выражений. Например замечание, что император воспринял как личную обиду неправильное толкование и извращение частью

[1] Чем больше это меняется, тем более одинаковым оно остается.

английской прессы его повторных предложений англичанам о дружбе.

Затем следовали три ужасные вещи. 1) Будто бы император не только отклонил предложение русского и французского правительств присоединиться к ним, чтобы спасти бурские республики и «унизить Англию до последней степени», указав, что Германия никогда не будет ссориться с такой морской державой, как Англия, но что тотчас же сообщил английской королеве дословное содержание секретной французской и русской нот и свой ответ на упомянутые поты. Английская королева сдала эти документы на хранение в архив Виндзорского замка. 2) В декабре 1899 г., в самый мрачный период для Англии за все время южноафриканской войны, он не только выражал своей бабушке свое глубокое и сердечное участие, но и поручил одному немецкому офицеру составить точный отчет о числе сражающихся на обеих сторонах и положении противостоящих друг другу в Южной Африке вооруженных сил. На основании этих материалов император выработал для англичан лучший, по его мнению, план похода. Этот его план был рассмотрен германским генеральным штабом и затем послан в Англию, где он сохраняется в Виндзорском замке среди других государственных бумаг. Является «удивительным совпадением», что выработанный план был очень близок к принятому в действительности и с успехом выполненному лордом Робертсом. Другими словами, собственно не лорд Робертс, как думали до сих пор, победил и уничтожил буров, а Вильгельм II. 3) Германия строит свой флот совсем не против англичан, а для Дальнего Востока и Тихого океана. Это конечно относилось к японцам, которым таким образом было заявлено, что в один прекрасный день Германия рука об руку с Англией может объявить им войну.

В то время как я читал эти заявления, едва ли могущие быть превзойденными по безрассудству и бестактности выражений, во мне возникло подозрение, что у меня в руках была статья, которую мне незадолго перед тем по поручению его величества переслал из Роминтена господин фон Иениш и которую я не читал сам. Я попросил к себе чиновника иностранного ведомства Клемета, который в качестве постоянного референта должен был ознакомиться с данной рукописью. Когда он увидел телеграмму Вольфа, то он, колеблясь и находясь в видимом замешательстве, сообщил, что здесь речь идет действительно о газетной статье, посланной из Роминтена в Норденей, а оттуда на рассмотрение в иностранное ведомство. Когда я далее спросил, как он мог пропустить эти немыслимые выражения, Клемет ответил, что у него было положительное и определенное впечатление, что его величество император лично желает опубликования статьи и как раз этих, вызывающих теперь мой протест, сильных мест. Когда я начал диктовать мои воспоминания, я сказал себе, что то, что я пишу, я говорю известным образом под присягой. Как перед судом клянутся говорить полную

правду, т. е. ничего не прибавлять и ничего существенного не замалчивать, так и я в моих воспоминаниях хотел говорить также и то, что лично мне было бы неприятно или больно говорить, сознаваться в сделанных ошибках и самому повторять слова, сказав которые, я затем раскаивался. Я не хочу поэтому замалчивать, что когда чиновник иностранного ведомства Клемет хотел таким образом оправдаться, я в порыве первого возбуждения ответил ему: «Вы еще не поняли, что личные желания его величества по временам бывали глупостью?» Со спокойной совестью я могу прибавить, что это был единственный случай в моей служебной жизни, когда я к сожалению потерял самообладание.

Я позвал к себе начальника имперской канцелярии господина фон Левель и начальника отдела печати Гаммана, чтобы разъяснить им положение вещей. Сейчас дело заключается в том, чтобы не потерять головы. Я наметил две руководящие линии: с одной стороны, говорить полную правду; безразлично, если это компрометирует меня и иностранное ведомство. С другой стороны, и это главное, держать корону вне этих споров. Было установлено, что рукопись читалась в иностранном ведомстве статс-секретарем фон Шеном, помощником статс-секретаря Штемрихом и референтом Клеметом. Оба первых собственноручно подписали донесение Клемета о том, что рукопись не содержит ничего рискованного.

Тогда я продиктовал следующий всеподданнейший доклад его величеству: «Вашему императорскому и королевскому величеству я посылаю в приложении целый ряд газетных статей об интервью, опубликованном полковником Стюартом Уортлеем о беседе с вашим величеством. Английская пресса обсуждает интервью преимущественно в скептическом, критическом и отрицательном тоне. Руководящие английские деятели, как лорд Робертс и сэр Эдуард Грей, вообще отказались высказаться об этом интервью. Французские и русские газеты используют возможность для резких выпадов против вашего величества и германской политики. Главное же, немецкая пресса, за редкими исключениями, держится того мнения, что интервью сильно повредило нашей политике и нашей стране. Нападки немецких газет несправедливы, потому что ваше величество соизволили через посланника барона фон Иениша переслать мне для прочтения записки английского автора. Тогда я в Норденее был перегружен серьезными делами (восточный кризис, государственные финансовые реформы, прочие внутренние дела) и поэтому не читал сам написанную на плохой бумаге неразборчивым почерком длинную рукопись полковника Уортлея, а послал ее для ознакомления в иностранное ведомство. Я дал при этом точные указания тщательно просмотреть статью и сообщить мне, какие нужны изменения, добавления и пропуски. Иностранное ведомство прислало мне английскую рукопись обратно в сопровождении записки, в которой предлагались некоторые мелкие изме-

нения, в остальном же против опубликования не было высказано никаких сомнений. В соответствии с этим донесением состоявший при мне чиновник и ответил посланнику фон Иенишу. Если бы я сам ознакомился с рукописью, то я просил бы ваше величество *не давать* разрешения на опубликование, особенно в настоящий момент. Если ваше величество не одобряете моего образа действия в том, что я под наплывом дел не ознакомился сам с рукописью и упрекаете меня за проявленную иностранным ведомством недостаточную осмотрительность, то я всеподданнейше прошу освободить меня от моей должности. Но если я не потерял доверия вашего величества, я могу остаться, если только я буду уполномочен открыто и настойчиво выступить против несправедливых нападок на моего высочайшего повелителя.

Поэтому я должен просить ваше императорское и королевское величество о разрешении официально сказать в «Norddeutsche Allgemeine Zeitung», что нападки большей части прессы на ваше величество совершенно несправедливы, что ваше величество посылали мне рукопись английского автора, что я направил ее иностранному ведомству, и что там предложили лишь незначительные поправки».

На полях этого всеподданнейшего доклада император заметил, что я его доверия не потерял и что он согласен поместить предлагаемое мною официальное заявление в «Norddeutsche Allgemeine Zeitung». По поводу моих соображений о прискорбном влиянии его высказываний император написал: «Согласен».

На первой странице «Norddeutsche» я дал напечатать следующее сообщение: «Большая часть заграничной и внутренней прессы высказала критические замечания относительно статьи, опубликованной в «Daily Telegraph», направленные против личности его величества императора. При этом исходят из предположения, что император разрешил опубликование без ведома ответственных за политику государства лиц. Эти нападки необоснованы. Его величество император получил из Англии от одного частного лица рукопись статьи, в которой был собран целый ряд разговоров его величества со многими англичанами и в разное время с просьбой разрешить ее напечатать. В основе этого желания лежало стремление познакомить широкий круг английских читателей с высказываниями его величества и тем самым послужить на благо добрым отношениям между Англией и Германией. Император переслал набросок статьи рейхсканцлеру, который передал статью иностранному ведомству с указанием подвергнуть последнюю тщательному исследованию. После того как в донесении иностранного ведомства не было приведено никаких возражений, последовало опубликование. Когда рейхсканцлер после опубликования статьи в «Daily Telegraph» ознакомился с ее содержанием, он объяснил его величеству императору, что он сам не читал черновика статьи, в противном случае она возбудила бы в нем сомнения и он отсоветовал бы ее печатать. Он рассматривает себя как единственно ответствен-

ного за все случившееся и отвечает за подчиненные ему ведомства и чиновников. Одновременно рейхсканцлер подал его величеству императору прошение об отставке. Его величество оставил это заявление рейхсканцлера без последствий, но по его просьбе разрешил последнему через опубликование вышеприведенного объяснения, разъяснив как обстоит дело, лишить почвы несправедливые нападки на его величество императора».

Буря, поднявшаяся в Германии по поводу интервью в «Daily Telegraph», была вызвана не допущенными при просмотре этой статьи формальными ошибками. Получившие благодаря «Daily Telegraph» известность политические рассуждения и высказывания императора были лишь каплями, переполнившими наполненный до краев сосуд общественного недовольства все повторяющимися неосторожностями и срывами его величества. В широких кругах было глухое предчувствие, что такие неосторожные, слишком поспешные, неумные, даже ребяческие речи и поступки главы государства могут наконец привести к катастрофе. Сам император по крайней мере временами чувствовал, что почва под ним колеблется... 31 октября, два дня спустя после опубликования статьи в «Daily Telegraph», через день после появления статьи в «Norddeutsche Allgemeine Zeitung», он нанес мне визит, продолжавшийся более двух часов. Он был, как это всегда бывало в критические моменты, очень мягок, очень приниженен. Я не скрыл от него, что хотя я и готов не только защищать его, что является моим долгом, но и готов, насколько возможно, направить на себя все нападки и выставить на передний план допущенную при рассмотрении статьи ошибку канцелярии, но что все же дело дойдет до дебатов в рейхстаге по вопросу об уже часто вызывающем неудовольствие личном правлении его величества. Я напомнил императору, как 14 апреля 1906 г., т. е. как раз два года назад, я заявил в рейхстаге: я очень хорошо могу себе представить, что министр может найти, что чрезмерное выпячивание личности государя и слишком далеко идущий субъективизм монарха не соответствуют монархическим интересам и что министр за это не сможет принять на себя ответственность перед страной и историей. На этот раз я должен буду говорить в подобном же роде — в интересах самой короны. Император ответил мне очень спокойно: «делайте то, без чего не считаете возможным обойтись», и прибавил с почти просительным выражением: «Только вытащите меня. Главное, вытащите нас!»

ГЛАВА XXIV

Начались дебаты в рейхстаге. Национал-либералы, свободомыслящие, социалисты, консерваторы и имперская партия внесли запросы.

Вождь социал-демократии Зингер говорил очень умеренно. Может быть с задней мыслью, что пшеница социал-демократии взойдет тем пышнее, чем больше воли даст своему характеру глава

государства. Могли иметь значение также и менее эгоистичные с точки зрения партии мотивы. Мой друг Рейверс рассказывал мне утром 10 ноября, что он накануне вечером случайно встретился у общих знакомых с господином Зингером. Зингер сказал ему, что социал-демократическая партия не будет причинять мне особенных затруднений, а также и нападать на меня с излишней горячностью. Она не хочет войны и думает, что, несмотря на внутриполитические разногласия, существующие между нею и мной, при теперешнем запутанном европейском положении мир будет обеспечен наилучшим образом, если я останусь при руководстве внешней политикой. Вождь консервативной партии господин фон-Гейдебрант говорил более резко, чем Пауль Зингер. Он сказал, что господствующее в Германии возбуждение очень велико и очень глубоко. Мы недооценим нынешнего возбуждения, если обратим внимание только на последнее выступление. Нужно сказать откровенно, что дело идет о неудовольствии, которое создавалось годами. Это неудовольствие господствует также в кругах, у которых еще никогда не было недостатка в верности императору и государству. Допущенные иностранным ведомством недосмотры ни в каком случае не являются самым важным. Основой являются события, которые стоят за этой публикацией. Консерваторы вполне согласны со всем тем, что я раньше говорил по серьезнейшему вопросу о том, насколько я могу нести ответственность за высказывания императора.

Я думаю, что я могу сказать, что в парламенте я всегда улавливал то, что итальянцы называют Ambiente, т. е. настроение среды, в которой приходится говорить, атмосферу, которая господствует в зале заседания. Я чувствовал, что должен был говорить очень серьезно и очень откровенно, что впрочем соответствовало и моему внутреннему состоянию. Прежде всего моим долгом было успокоить волнение, вызванное за границей легкомысленными заявлениями императора, смягчить недоверие, вновь пробужденное в Англии, России, Франции, Японии. Я сказал, что то, что император рассказал относительно того, как он воспрепятствовал русско-французскому вмешательству в бурскую войну, — вещь давно известная. О разоблачении не может быть и речи. Правда, император чересчур сгустил краски. Я поставил на свое место и историю с планом кампании. Дело шло не о разработанном и детализированном плане кампании, но о некоторых «чисто академических мыслях» и «афоризмах». Когда меня при этих словах прервал смех социал-демократов, я напомнил о том, что мы ведем серьезные дебаты. Вопросы, о которых я говорю, являются вопросами серьезными и имеют большое политическое значение. Я просил спокойно выслушать меня, что потом и было исполнено. Начальник генерального штаба генерал фон Мольтке и его предшественник генерал граф Шлиффен объяснили, что в бурской войне, как и всякой большой или маленькой войне, генеральный штаб делал императору доклад. Но оба в то же время заверили меня, что генеральный штаб никогда не про-

сматривал и не пересылал в Англию ни плана похода, ни какой-либо подобной, относящейся к бурской войне, работы императора. Это мое утверждение соответствовало истинному положению вещей. В действительности все, что рассказывал своим английским друзьям Вильгельм II о своем личном участии в одолении бедных буров, было лишь его фантазией. Далее, я заявил, что некоторые выражения в статье «Daily Telegraph» были неудачно выбраны. Прежде всего это относится к тому месту, сказал я при всеобщих криках одобрения, где говорится, что император якобы сказал, что массы немецкого народа настроены враждебно к Англии. Между Германией и Англией существуют недоразумения, серьезные, досадные недоразумения. Однако я сознаю себя в полном единодушии с этой уважаемой палатой в том, что весь немецкий народ стремится к мирным и дружественным отношениям с Англией, на основе взаимного уважения, и констатирую, что в том же смысле высказывались ораторы всех партий. Краски сгущены также и в том месте, где говорится о наших интересах на Тихом океане. Они истолкованы во враждебном к японцам смысле. Несправедливо! На Дальнем Востоке мы никогда не думали ни о чем другом, как о том, чтобы получить и сохранить для Германии долю в торговле с Восточной Азией — страной, имеющей великое экономическое будущее. Наконец я произнес те слова, которые позже, когда буря миновала, были использованы против меня нашептывателями и подлизами, интриганами и сплетниками, чтобы восстановить против меня самолюбие императора... «Господа, убежденные, что опубликование бесед, которые он вел в Англии, не оказало желаемого действия, а в нашей стране вызвало глубокое волнение и горькие сожаления, мы должны побудить, по создавшемуся у меня в эти дни твердому убеждению, его величество императора в дальнейшем также и в частных беседах соблюдать ту сдержанность, которая необходима в интересах единства политики»... Тут раздались бурные аплодисменты справа. «Если бы это было не так, — продолжал я при не смолкавшем одобрении консерваторов и национал-либералов, — то ни я, ни мой преемник не сможем нести ответственности»... Когда я окончил также под сильные аплодисменты, то я почувствовал, что партия выиграна.

Первые дни после ноябрьских дебатов 1908 г., а также частично в течение последующей зимы у Вильгельма II господствовало хорошее настроение. Но затем, под влиянием эгоистичных нашептывателей, что я хотел бы особенно отметить для извинения его величества, в его душе получило преобладание болезненное тщеславие, уязвленное высокомерие.

Сначала император Вильгельм II не давал о себе никаких известий. От некоторых из его приближенных я слышал, что он находится в сильно возбужденном настроении, от других — что в сильно подавленном. Впечатление, произведенное в Англии происходившими с англичанами разговорами, было подобно граду ранним летом, и оно сделалось бы еще более потрясающим, если

бы мне не удалось помешать уже готовившемуся опубликованию интервью, которое Вильгельм II дал одному американскому журналисту Гале и которое находилось в резком противоречии с его высказываниями в «Daily Telegraph». Тот самый император, который в такой бурной форме заверял Англию и англичан в своей верной дружбе, говорил американцу совершенно противоположное. Он предостерегал его от коварства англичан и от их враждебных намерений против Америки и советовал американцам искать защиту у Германии от коварного Альбиона. Благонамеренного издателя американского журнала «Century Magazin», который приобрел это интервью, удалось уговорить отказаться от его напечатания. В то же время генеральный консул в Нью-Йорке господин Бюнц сообщил мне, что касающееся Англии знаменитое интервью, опубликованное в «Daily Telegraph», перед тем как попасть в руки этой газеты, предлагалось издателю «Daily Mail» мистеру Хармсворту, получившему во время мировой войны печальную известность уже под именем лорда Нордклифа «Daily Mail» «с тяжелым сердцем» отказалась от напечатания, после того как господину Хармсворту сказали в английском иностранном ведомстве, что публикование нежелательно.

ГЛАВА XXV

В длинном докладе я указал императору на трудности предстоящей зимы. В области внутренней политики на первом плане стоит важная имперская финансовая реформа, проведение которой представляет абсолютную необходимость. Немецкий народ на налоги идет неохотно. К этому еще присоединяется вопрос, будем ли мы предлагать только косвенные налоги или должны будем внести предложения и о прямых налогах.

Я считал политически и социально опасным такие решительные финансовые реформы базировать только на косвенных налогах. Но было бы нелегко провести проектируемые мною прямые налоги, так как они должны были наткнуться на сильное сопротивление консерваторов. Это могло бы повести к внутреннему кризису, так как центр использовал бы всякую трещину в блоке, чтобы подкопаться под существующую группировку партий. Император с живостью подчеркнул, что он очень желает дальнейшего сохранения блока. Я укрепил его в этом его желании, заметив, что мои усилия направлены к тому, чтобы при сохранении теперешних дружественных отношений между консерваторами и национал-либералами и не отталкивая свободомыслящих постепенно найти modus vivendi с центром.

После короткого молчания с обеих сторон император, который очевидно уже подробно сам с собой обсудил этот вопрос, спросил меня: «Вы требуете прокламации к народу? Я готов на все». Он сказал это в любезной форме. Я ответил, что я не стал бы требовать от моего всемилостивейшего государя никакой капитуляции или даже покаяния. Я предложил заявить в «Nord-

deutsche», что его величество император дал возможность обрисовать ему вызванное публикацией «Daily. Telegraph» возбуждение и обосновать мое объяснение на запросы в рейхстаге. В добавление к этому можно сказать, что император рассматривает как свой долг соблюдение конституционной ответственности в империи и устойчивости имперской политики и, как и прежде, удостаивает меня своим доверием...

Когда я вошел в кабинет, император сказал мне, крепко пожимая мне руку: «Помогите мне! Спасите меня!» Когда я уходил, он обнял меня и поцеловал в обе щеки, что он делал всего два раза: в этот раз и в 1901 г. при пожаловании мне высокого ордена Черного орла, когда он исполнил обычный ритуал. Когда я поклонился в дверях, император повторил два раза: «Благодарю вас! Благодарю вас сердечно!»

Когда я шел в направлении от рейхстага к Гроссерштерн[1], чтобы поразмять ноги и немного освежиться, ко мне приблизился господин, в котором я узнал королевского лакея, хотя он был в гражданском платье, а не в ливрее. Он передал мне письмо. Я тотчас же на конверте узнал почерк императрицы. Записка содержала только несколько слов: «Я хотела бы с вами поговорить. Подробности через подателя сего. В.».

Мы пошли дальше вместе. Спустя несколько минут, мой спутник остановил закрытый экипаж, который доставил нас на Потсдамский вокзал, откуда мы по железной дороге отправились в Потсдам. Мы взяли, чтобы оставаться неузнанными, купе II класса. От Потсдама, опять в закрытом экипаже, мы подъехали к Новому дворцу. Ее величество приняла меня в нижнем этаже. У нее были заплаканные глаза, но держала она себя вполне по-королевски. Она меня сразу спросила: «Должен ли император отречься, *вы хотите, чтобы он отрекся?*» Я ответил, не размышляя ни минуты, что я далек от подобных мыслей и что ни в каком случае не считаю отречение необходимым. Императрица села и попросила меня занять место. Она рассказала мне, что с императором случился «нервный припадок». Это бывало уже и раньше после сильного возбуждения, например после его неудачной речи к бранденбуржцам, а также и после телеграммы из Свинемюнде принцу регенту Баварскому. На этот раз припадок был более жестоким. Император должен был лечь в постель с ознобом и судорогами.

20 ноября ко мне пришел кронпринц. Он, так же как и его отец, не знал, что я накануне был в Новом дворце. Он пришел, чтобы информироваться о положении вещей. Он был, как и всегда, вежлив и скромен. В противоположность своему отцу, он был более нерешительным, больше слушал, чем разглагольствовал. Но я вскоре заметил, что он не прочь, хотя бы и на время, захватить в свои руки бразды правления. В то время, как он в осторожных, но прозрачных выражениях говорил о возникающем повсюду воз-

[1] Место в берлинском Тиргартене.

бужденном, даже ожесточенном настроении широких кругов против его величества императора, в моем уме возникла знаменитая сцена, в которой Шекспир изображает принца Уэльского, будущего короля Генриха V, как тот, сидя у постели своего спящего отца короля Генриха IV, видит лежащую на его подушке корону, схватывает ее и надевает на себя!

Кронпринц спросил, не думаю ли я, что император, на которого особенно нападал Максимилиан Гарден, а также и другие, может продолжать править, как будто ничего не случилось. Не желателен ли, не необходим ли даже перерыв, и притом продолжительный перерыв? Я ответил, что, по моему мнению, император может уже завтра, не только через восемь дней, снова принять на себя свой высокий пост во всем его объеме. Если его величество император и король будет в будущем действовать прилично его положению, то он сможет править не с ослабленным, а с увеличенным авторитетом. Прусская корона выкована из очень крепкого металла.

Кронпринц покинул меня в несколько разочарованном настроении. Когда он в своих воспоминаниях рассказывает, что он после ноябрьских дней в качестве заместителя своего отца глубоко заглянул в нашу правительственную машину и при этом преисполнился тревоги, то его память вводит его в заблуждение. Я не помню, чтобы я в то время представлял ему хотя бы одно действительно важное донесение или сделал бы имеющий значение доклад. Во всяком случае в то время, пока император окончательно не поправился, я не спрашивал у кронпринца никакого решения по вопросам сколько-нибудь важного значения.

ГЛАВА XXVI

Постепенно император Вильгельм отдохнул физически и душевно от впечатлений ноябрьского шторма. Как только острый кризис, вызванный разговорами императора в Англии, был преодолен, начались попытки использовать влияние кризиса на настроение императора, чтобы подкопаться под мое положение. Прежде всего была затруднена разумная, полезная в хозяйственном и особенно в политическом смысле имперская финансовая реформа. Для меня не было сомнений в том, что я никогда не смогу и не должен соглашаться на придание финансовой реформе такой формы, которая, по моему мнению, была для нас вредной и роковой не только в хозяйственном, но и в политическом отношении. У меня всегда было очень мало качеств такого министра, «который может итти также и по другому пути»[1]. Министр, а в особенности рейхсканцлер, в больших вопросах должен стоять и падать вместе со своими убеждениями, и он должен иметь убеждения. В серьезных вопросах руководящий политик не должен представлять собой флюгер, который охотно и одинаково

[1] Der auch anders könne.

легко поворачивается как направо, так и налево. В вопросах, от правильного решения которых, по его убеждению, зависит будущее страны, руководящий политик не должен сдавать. При таком понимании своего положения, своей службы и ее обязанностей и при легкомысленности и ненадежности Вильгельма II я должен был в 1908 г. серьезно подумать о возможности своей отставки. Тем более старался я оставить моему возможному преемнику внешние и внутриполитические дела в возможно лучшем положении. Во внутренней политике я хотел, с одной стороны, поддерживать блок между консерваторами и либералами, так как мне казалось рискованным опираться только на рыцарей да на святых [1].

Но в то же время нужно было путем справедливой, разумной и предупредительной политики не только по отношению к католической церкви, епископату и Ватикану, но и по отношению к чувствам и верованиям католической части немецкого народа держать для партии центра открытой возможность примкнуть к этому блоку.

Боснийский кризис должен был быть приведен к концу, который, не портя наших отношений с Россией, обеспечивал бы дальнейшее существование Австрии. Не меньше беспокоило меня соглашение с Англией относительно постройки флота, в особенности по вопросу о темпах строительства судов.

Я возвращаюсь к боснийскому вопросу, который наконец в конце октября 1908 г. явился предметом продолжительного обсуждения между его величеством и мною...

Александр Петрович Извольский считал себя очень умным. Он и действительно обладал достаточным количеством той славянской хитрости, выражающейся собственно в смелом вранье и беззастенчивых требованиях, благодаря которой русские то тут, то там часто проводили честного немца. Еще чаще это делали чехи и сербы и всего чаще поляки. Несмотря на такую хитрость, Извольский, начиная со свидания с Эренталем, делал ошибку за ошибкой, глупость за глупостью. Как я уже говорил, было грубой ошибкой то, что он 15 сентября 1908 г. в Бухлау не попросил Эренталя прямо и без обиняков сказать ему, когда и в какой форме он намеревается предпринять аннексию Боснии и Герцеговины. Дальнейшей большой ошибкой было то, что он, после того как Эренталь поразил его 5 сентября 1908 г. провозглашением аннексии, не вернулся тотчас в Петербург, чтобы там как перед царем, так и в Думе мужественно, с поднятым забралом, защищать свою политику. Вместо этого он в качестве второго Одиссея почти комичным образом объездил европейские столицы. После Вены он появился сначала в Лондоне, затем в Париже. Цель его путешествия заключалась в том, чтобы поощрить, а может быть, как надо было надеяться, и осуществить русские пожелания относительно Дарданелл. Но в этом ему не

[1] Т. е. на консерваторов и на католический центр.

повезло ни на Темзе, ни на Сене. В Лондоне ему сказали, что либеральный английский кабинет, считаясь с левым крылом либеральной партии, никогда не сделает неприятности младотуркам путем поддержки русских мечтаний в вопросе о Дарданеллах. Младотурки как борцы за свободу столь же симпатичны английскому радикализму, сколь ненавистен был перед тем султан в качестве «кровожадного тирана».

В Париже Извольский также ничего не достиг. В обеих западных столицах он действовал на нервы своими жалобами на Эренталя, так же как он действовал на нервы всему миру своими неуместными притязаниями по поводу Дарданелл. «Извольский большая свинья», — говорили в Лондоне. «Извольский надоел», — говорили в Париже. 24 октября 1908 г. Извольский приехал ко мне в Берлин. Он явился ко мне разбитым человеком.

Чем мрачнее был Извольский, тем более было у меня оснований встретить его со спокойной любезностью, и это не только в силу прирожденного радушия и во исполнение христианского долга, но и потому, что я считал это политически необходимым. Извольский напомнил мне о том, что когда он, правда, находясь далеко не в таком роковом положении, перед его переводом в Токио просил моего совета, то я поддержал его не только в дружеском тоне, но и обдуманно и умно. Теперь ему приходится действительно плохо. Я ответил ему, что я исполнен желания не только быть полезным ему, моему старому другу, но и прежде всего сохранить не испорченными традиционные, одинаково для обеих сторон жизненно важные отношения между германским и русским государствами, но что я конечно не могу изменить Австрии. Улыбаясь, я прибавил: «Вы ведь также не захотите расстаться с Францией». Нельзя было упрекнуть русского министра, когда он на это ответил, что отказ от продолжения бисмарковского договора перестраховки исходил с немецкой стороны от Каприви, Маршалля и Гольштейна. Я пресек эти ретроспективные размышления замечанием, что в боснийском вопросе на стороне габсбургской монархии не только договорное право, но что и в своей дипломатической игре она имеет в руках некоторые очень сильные козыри, особенно письмо, в котором сам Извольский предлагает Эренталю превратить оккупацию в аннексию. На это Александру Петровичу нечего было ответить. Допущенные им ошибки были слишком очевидны. Он только повторял: «Грязный жид меня обманул, он мне налгал, он меня подвел, этот ужасный еврей». Возбужденный, с яркокрасным и искаженным лицом, он был похож на разъяренную обезьяну. Я заткнул себе уши указательными пальцами и сказал ему спокойно и серьезно: «Так как вы так плохо отзываетесь о моем друге Эрентале, то я затыкаю уши. Я заверяю вас также, что, если бы Эренталь употребил подобные же выражения относительно моего друга Извольского, я точно так же заткнул бы уши».

Постепенно этот возбужденный человек успокоился. В объяснение сделанных им дипломатических промахов он, правда, не

смог сказать ничего нового. Он повторил, что он к сожалению поверил в честность и прямоту Эренталя, но был жестоко обманут. Это было довольно комично слышать от русского министра, когда самый знаменитый русский дипломат последних пятидесяти лет Игнатьев с гордостью носил данное ему турками прозвание «отец лжи», да и о Горчакове, Сабурове и многих других русских политических деятелях никак нельзя сказать, чтобы они отличались правдивостью. Я спросил его, достиг ли он в Лондоне и Париже положительных результатов в дарданельском вопросе. Он ответил мне с некоторым замешательством, что в Лондоне ему сказали, что английское либеральное правительство при настроении либеральных английских избирателей в настоящее время не сможет поддержать русские пожелания, которые приведут в сильное волнение младотурок и создадут для них затруднительное положение. Когда я осведомился, как думают о дарданельском вопросе в Париже, Извольский ответил, что французы утверждают, что без Англии они ничего не могут сделать в этом деле. Кроме того, французское правительство должно считаться с мелкими французскими рантье, которые крепко связаны с турецкими ценностями. Не впадая в тон фарисея, который благодарит бога за то, что он не таков, как мытарь, я не скрыл перед русским министром мою точку зрения на дарданельский вопрос. Я стоял в этом вопросе все еще на почве бисмарковского договора перестраховки. Германия не имеет в проливах непосредственных интересов. Наша точка зрения в этом вопросе зависит от общего положения и отношений между державами и конечно от того, как Россия будет относиться к нам. Мы не стали бы бороться против русской политики в проливах. Что мы при теперешней группировке держав будем ей содействовать, этого едва ли ожидает и сам Извольский, так как ведь и его союзница Франция ни в Санджаке, ни в проливах не хочет нарушать полноты турецкого суверенитета. «Я не говорю вам: покиньте Францию, а мы покинем австрийцев, но я вам говорю: останемся — вы в Антанте, мы в Тройственном союзе — элементом мира и успокоения».

Извольский подал мне руку со словами: «Ваши слова — это не только слова государственного человека, но и слова друга России».

Когда Извольский на следующий день снова посетил меня, он был в более спокойном настроении, чем при своем первом визите. Я использовал это, чтобы по-деловому обсудить с ним общее положение и целый ряд отдельных вопросов. Относительно конференции я сказал ему, что я не имею ничего против нее и принципиально вовсе не отклоняю эту мысль. Но как необходимую предпосылку конференции я рассматриваю предварительное соглашение между державами по стоящим перед конференцией вопросам. Концерт начинается лишь тогда, когда настроены инструменты. Извольский ошибается, когда он каждый шаг Австро-Венгрии записывает на наш счет. Я также не делал его ответствен-

ным за все то, что происходит в Париже, что там поощряется, и за то, на что там надеются. Австро-Венгрия такая же независимая великая держава, как и Франция. Она проводит независимую балканскую политику. Ретроспективная критика поведения Австро-Венгрии ничего не дает. There is no use crying for spilt milk[1]. То, что мы твердо и честно выступили на стороне Австро-Венгрии в ее настоящих затруднениях, являлось для нас не только требованием лойяльности, но также и мудрости. Турок теперь не нужно особенно поддерживать. Англия взяла их под свою особую защиту. Англичане стали более турками, нежели сами турки (Извольский утвердительно кивает). Так как, по моему мнению, у нас в Турции нет прямых политических интересов, то там для нас возможна любая политика, конечно при условии соблюдения наших значительных экономических интересов. Гарантирование неприкосновенности европейских владений Турции представляется мне мыслью, осуществление которой соответствует как интересам всех стран, так и интересам мира. Извольский тотчас ухватился за это брошенное мимоходом в разговоре замечание. По его словам, он слишком долго был на Востоке, чтобы не знать эгоизма, ненадежности и демократическо-радикальных инстинктов балканских народов. Болгары и сербы, румыны и греки одинаково ничтожны, одинаково ненадежны. Если дарданельский вопрос будет урегулирован в приемлемом для России смысле, то сохранение status quo на Балканах и дальнейшего существования Турции является для России наиболее желательным выходом. Когда я сказал Извольскому, что турки уже вступили в непосредственные сношения с Австро-Венгрией и Болгарией и притом, поскольку речь идет о Болгарии, сделали это по совету Франции, он пожал плечами с меланхолической улыбкой. Наконец в соответствии с истиной я мог его заверить, что я рад, что я так поздно был информирован Эренталем о его планах насчет аннексии. Таким образом руки у меня были свободными и я не нес никакой ответственности. Расстались мы дружеским образом.

С самого начала боснийского кризиса я все время повторял его величеству, что задача заключается в том, чтобы, с одной стороны, австрийцы не потеряли самообладания, а с другой стороны, не соблазнились на такие поступки, которые могли бы повести ко всеобщему кризису. Чтобы предупредить первую опасность, 12 декабря 1908 г. я отправил императорскому послу в Вене господину фон Чиршки директивное письмо, в котором распространявшиеся с английской и особенно с русской стороны вести о возможности и даже вероятности войны наступающей весной я классифицировал как попытку запугивания. Согласно нашим сообщениям из России и относительно России, там, несмотря на раздраженные слова оскорбленного в своем самолюбии Извольского, о войне не думает ни один серьезный государствен-

[1] Бесполезно плакать о пролитом молоке.

ный деятель. Как я слышал из хорошо осведомленных банковских кругов Парижа, Россия должна не позднее весны предъявить большие требования к европейскому денежному рынку. Оплату помещенных во Франции ценных бумаг, срок которых истекает в мае, едва ли будет возможно оттянуть далее. Дефицит чрезвычайного бюджета — около ста пятидесяти миллионов рублей — должен быть покрыт. Соглашение между Россией и Францией относительно требующегося для этого займа в миллиард марок в принципе состоялось. Обе стороны поэтому заинтересованы устранить существующее политическое напряжение. Как раз потому, что в настоящее время в России не думают серьезно о военных действиях, Извольский усердней старается запугать двуединую монархию звуками военных фанфар. При таком положении вещей для Австрии правильной политикой является твердость. Я закончил это письмо, которое посол Чиршки зачитал министру Эренталю, заверением, что я убежден, что весь кризис может хорошо окончиться при наличии непоколебимости у одной стороны и уступчивости у другой.

В конце декабря 1908 г. я увидел первые признаки того, что Извольский начал отступление. Он отправил державам циркуляр, в котором он, правда резко, критиковал образ действия австрийцев и обосновывал свое предложение созыва европейской конференции, но все же объявлял себя готовым учитывать желания австрийского правительства, поскольку соглашался, чтобы конференция без прений согласилась с аннексией как с совершившимся фактом. Объяснения по этому поводу могут произойти между отдельными кабинетами предварительно... Король Эдуард на протяжении всего боснийского кризиса усердно старался подливать масла в огонь. Его любовь к политическим интригам и его таланты по части отравливания политической атмосферы проявлялись во-всю. Всего охотнее он выбил бы из седла Эренталя и посадил бы на его место австрийского посла в Лондоне графа Альберта Менсдорфа, который уже в качестве отдаленного родственника королевской семьи, как я уже упоминал, пользовался благосклонностью английского двора. Более осторожным и более осмотрительным было поведение английского министра иностранных дел. Сэр Эдуард Грей был без сомнения исполнен желания не доводить до разрыва. Также и тогдашний помощник статс-секретаря в министерстве иностранных дел сэр Чарльз Гардинг действовал в примиряющем смысле. Напротив, английский посол в Петербурге Никольсон натравливал русских не только против Австрии, но едва ли не еще больше против нас. Тот факт, что немного спустя после моего ухода Никольсон в 1910 г. сделался вместо Гардинга постоянным помощником статс-секретаря в министерстве иностранных дел, был почти таким же дурным признаком, как и последовавшая через два года, в 1913 г., посылка Делькассе послом в Петербург. Безупречным было на протяжении всего кризиса поведение Румынии, или, вернее говоря, короля Кароля. Еще на первой стадии кризиса король передал

мне, что я могу так же твердо рассчитывать на корректное поведение с его стороны, как и он убежден, что я, сохранив полную союзную верность Австрии, все же не допущу до того, чтобы всеобщий мир подвергся опасности.

14 марта 1909 г. ко мне явился русский посол граф Остен-Сакен. Он обратился с просьбой о нашей поддержке, чтобы выручить русского министра иностранных дел из неприятного для него, как лично, так и политически, положения. Австрийский министр иностранных дел пригрозил, что он, чтобы доказать свою честность, вызывавшую сомнения с русской стороны, опубликует ряд секретных документов, в которых Извольский давал не только свое полное согласие на аннексию Боснии и Герцеговины, но и прямо-таки подбодрял министра сделать этот шаг, если даже не ускорить его. Я сказал русскому послу, что я охотно соглашусь на дружественное посредничество не только, чтобы выручить Извольского из тупика, в который он зашел, но и чтобы сохранить мир для всего мира, особенно же для того, чтобы в дальнейшем поддержать традиционную дружбу между Германией и Россией. Слишком безрассудно из чисто формальных соображений возражать против аннексии, которая фактически ничего не меняет в status quo на Балканах и совершенно свободно могла бы быть решена между прямыми участниками мирным путем. Было бы преступлением против здравого человеческого разума толкнуть на войну нуждающуюся в мире Европу, на войну, про которую лишь одно известно достоверно, а именно, что она будет стоить огромных жертв и оставит после себя нужду и разрушения. Но естественной предпосылкой для вмешательства с нашей стороны было бы, чтобы Россия обуздала сербов, для чего у нее есть и средства и пути. Поскольку Извольский не может дать нам в этом направлении связывающих обещаний, нам, к нашему сильному сожалению, вряд ли остается что другое, как предоставить нашему австро-венгерскому союзнику выступить так, как он это найдет нужным. Но если Россия серьезно захочет успокоить Сербию, то я охотно готов начать с Извольским дружеский обмен мнений относительно того, как сделать возможным энергичный нажим России в Белграде, без того чтобы Извольский впал в противоречия со своей предыдущей политикой.

При добром желании с обеих сторон и некоторой ловкости легко можно будет найти известную «combinazione», пользуясь итальянским выражением. Если Россия возьмется повлиять на Сербию, то заслуга в достижении соглашения достанется петербургскому кабинету. Если державы признают аннексию Боснии посредством официальной декларации, то европейская конференция вообще будет не нужна. Таким образом этот слишком раздутый спор разрешится самым лучшим образом. По понятным причинам я лишь попросил в Петербурге, чтобы Извольский сообщил английскому послу о моих предложениях не раньше, чем он сам примет какое-либо решение. То, что Извольский факти-

чески хранил молчание перед господином Никольсоном, являлось хорошим предзнаменованием для мирного разрешения вопроса.

Спустя десять дней после моего разговора с графом Остен-Сакеном в Берлин и Вену пришло безоговорочное согласие России на аннексию Боснии и Герцеговины. Только тогда и узнал об этом Никольсон, который дал волю своему гневу и своему разочарованию, распространяя ложь, что якобы Германия склонила Россию к уступке угрозами и под давлением «бронированного кулака». Германия будто бы без приглашения вмешалась в это дело. Для меня осталось неизвестным, не помогал ли Извольский в распространении этой легенды. Во всяком случае он не выступил против нее с нужной энергией. Извольского я больше не видел с того самого достопамятного разговора, происходившего между нами 26 октября 1908 г. Тогда он при прощанье сказал мне: «Между Эренталем и Россией навсегда потеряна возможность переговоров и больше из-за личных причин, чем из-за деловых. Эренталь проявил себя по отношению к нам не только нелойяльным, но и слишком неблагодарным. Когда он был атташе, затем секретарем, поверенным в делах и наконец послом в Петербурге, он постоянно рассказывал нам, что он верный друг России и неизменный сторонник добрых отношений между австрийской монархией и Российской империей. Когда он покидал Петербург, чтобы сделаться министром иностранных дел, мы дали ему орден святого Андрея. Вместо благодарности он был с нами так бесцеремонен, сыграл с нами такую отвратительную штучку, что, не будь вашего умного и дружеского посредничества, могла бы начаться война, т. е. случилось бы самое большое несчастье, которое может постичь мир, в особенности же три империи».

Об австро-русских отношениях при нашем последнем свидании Извольский сказал, что он попрежнему согласен со всем тем, что я достаточно часто говорил ему о больших опасностях для существования монархического порядка и династий, которые таит в себе всякий серьезный конфликт между тремя империями. Монархическая и консервативная Россия сама по себе совсем не заинтересована в войне с габсбургской монархией. До сих пор между Австрией и Россией никогда не было войны, несмотря на различные противоречия интересов и случайные разлады. Что было возможным в XVIII и XIX веках, т. е. избежание военных действий между Россией и Австрией, то должно быть также достигнуто и в XX веке. Но для этого нужно, чтобы Австрия не пыталась совершенно вытеснить Россию с Балканского полуострова. Князь Бисмарк давно советовал найти modus vivendi между Россией и Австрией на основе предоставления России свободы рук в Болгарии, а Австрии — в Сербии. Между тем австрийское влияние сделалось гораздо более сильным в Софии, чем русское, во-первых, благодаря эпизоду с Баттенбергом, а затем благодаря избранию принца Фердинанда Кобургского королем Болгарским. Так же обстояло дело и в Бухаресте, где

больше ориентировались на Берлин и Вену, чем на Петербург. Благодаря этому старое бисмарковское решение отпало. Но во всяком случае Австрия, после того как она сейчас достигла блестящего успеха в боснийском вопросе, не должна дальше теснить Сербию. Ne bis in idem! (Нельзя дважды повторять одного и того же!) Сербия сдала по всей линии. Она унижена, она достаточно наказана. Дальнейшие удары по ней будут ошибкой. К тому же Австро-Венгрия поступила бы умно, сделав Сербии некоторые уступки в экономических вопросах. Будет ли представлять для могущественной Австро-венгерской империи действительную опасность небольшая гавань для Сербии на Адриатическом побережье? Извольский сказал мне дословно: «Если бы я имел задние мысли, то я бы радовался ошибкам австрийцев и венгров по отношению к сербам, которых они таким образом толкают в наши объятия. Но в интересах европейского мира и в интересах великих династий я хотел бы, чтобы Австрия действовала более ловко». Извольский закончил нашу последнюю беседу заявлением, что русско-германские отношения остались те же, что и раньше. Он благодарен мне за мое посредничество. Я попрежнему пользуюсь благосклонностью и доверием императора Николая. Последние слова, которые я сказал в своей жизни Извольскому, были: «Я повторяю вам, и до меня это говорил князь Бисмарк: одному богу известно, как закончится война между тремя империями в военном отношении. Но что может предвидеть умный и вдумчивый человек, так это то, что, каков бы ни был военный исход, за разбитые горшки придется платить трем династиям».

Извольский прожил достаточно долго, чтобы успеть испытать на своей шкуре справедливость моего предположения. Он был свидетелем поражения и падения царизма... Больной и раздраженный, в качестве отставного посла он умер в убогой квартире в одном небольшом южнофранцузском городе, где он получал от французского правительства скромную поддержку, скудное вознаграждение за его подстрекательскую деятельность непосредственно перед мировой войной и во время войны, более чем скудное подаяние по сравнению с миллионами, которые в течение десятилетий текли из России в карманы жадных до денег французских журналистов и политиков.

После того как была устранена военная опасность, грозившая с севера в 1909 г., следовало прежде всего обуздать Вену. Там также таилась опасность войны. Я очень хорошо знал, что как раз австрийские генералы в 1908—1909 гг., так же как и во второй половине восьмидесятых годов истекшего столетия, торопили с выступлением. Начальник австро-венгерского генерального штаба барон Конрад фон Гецендорф в течение ряда лет упрекал меня в том, что я прозевал подходящий момент для выступления. Тот же самый упрек делали австрийские генералы двадцать лет назад князю Бисмарку. Барон Гецендорф посягал главным образом на Италию, но также и против России

он желал выступить, в особенности же конечно против Сербии, которая должна быть «укрощена». Его аргументы были те же, которые двадцать лет назад в Берлине в своей борьбе против князя Бисмарка приводил граф Альфред Вальдерзее. Расчет с Сербией, Италией, Россией неизбежен, проповедовал зимой 1908/09 г. барон Конрад фон Гецендорф. Чем дольше медлят, тем труднее делается положение. Враг с каждым днем делается сильнее, в то время как центральные державы достигли высшей точки возможного для них развития сил. Итак, выступим тотчас, пока не слишком поздно.

Я не имел намерения дать подобным происках вовлечь Германию в войну неизмеримых масштабов, относительно которой лишь одно было достоверно: мы выиграли бы от нее немногое и притом то, что могли бы получить в результате естественного развития вещей также и без войны. Рискуем же мы чудовищно многим. Ставим на карту неизмеримые ценности. Как только я стал уверен в уступках русских, я серьезно и убедительно переговорил в этом смысле с австро-венгерским послом Сегени. В этом же смысле я заставил написать в Вену моего брата Карла-Ульриха, который в течение семи лет был немецким военным уполномоченным в Вене и имел там хорошие отношения, особенно с окружением эрцгерцога Франца-Фердинанда. Я сказал австрийскому послу, старому опытному дипломату, который внутренне сам держался моего мнения и в этом смысле частным образом писал друзьям из окружения императора Франца-Иосифа, что девять шансов против одного, что австрийское вторжение в Сербию означает войну с Россией, девяносто девять шансов против одного, что война с Россией означает мировую войну. Пойти на такую чудовищную партию я мог бы только тогда, когда все возможные для нас козыри были бы заранее введены в игру центральных держав. Я указал на седьмой параграф договора о Тройственном союзе, который устанавливает, что в случае расширения Австро-Венгрии Италия имеет право на приобретения. Австрия не сможет уклониться от этого обязательства, утверждая, что произведенное австрийскими генералами вступление в Сербию не является приобретением территории в том смысле, как это предусмотрено Тройственным союзом. Это — софизмы, уловки, с которыми нельзя подходить к большим вопросам, волнующим народы. Конечно покорением Сербии и уже одним вторжением в Сербию соотношение сил на Балканском полуострове изменится. Готова ли Австрия гарантировать здесь Италии эквивалент? Прежнее епископство Триент, Герц, Градиску, Полу, Триест? Подобным же образом обстоит дело с Румынией. Готова ли Австрия вознаградить Румынию Буковиной? Чтобы обеспечить действительное сотрудничество Румынии с Австрией, должно по крайней мере быть гарантировано более дружеское отношение к венгерским румынам и усиление их представительства в венгерском парламенте.

В моих успешных стараниях удержать Австро-Венгрию от

необдуманных поступков я нашел поддержку как со стороны министра Эренталя, так и наследника эрцгерцога Франца-Фердинанда. Из-за этого Эренталь подвергся ожесточенным нападкам со стороны находившейся под влиянием австро-венгерского генштаба венской прессы, что отравило последние дни тяжело заболевшего в то время министра.

ГЛАВА XXVII

От меня не могло ускользнуть, что отношение русских и даже французов во время боснийского кризиса было к нам более дружественным, чем отношение англичан. Я имею в виду не английское правительство, а также и не широкие массы английского народа. В особенности английский министр иностранных дел сэр Эдуард Грей старался не допустить до того, чтобы из-за Сербии дело дошло до большого пожара. Зато английский посол в Петербурге Никольсон натравливал русских не только против Австрии, но едва ли не еще больше против Германии и при этом не скупился на подозрения в отношении наших намерений, на интриги и клевету. А король Эдуард ухмыляясь смотрел на эту игру и даже покровительствовал ей и поощрял ее. Даже и теперь, когда мы содрогаясь пережили мировую войну, я не верю, чтобы Эдуард VII в 1908 г. прямо стремился к ней. Но он ничего не боялся больше, нежели дружественных и полных доверия отношений между Германией и Россией.

С другой стороны, я конечно никогда не сомневался в том, что если мы ввяжемся в войну с Россией и тем самым также и с Францией и в особенности если мы должны будем раньше французов вторгнуться в Бельгию, то Англия выступит против нас. Во всяком случае я считал важнейшим своим долгом в течение зимы 1908/09 г. по возможности обеспечить мир с Англией и на будущее, имея в виду мою повидимому не слишком далекую отставку. Лучшим ручательством в этом направлении мне представлялось соглашение с Англией на базе замедления темпа нашего военно-морского строительства в обмен за обещание английского нейтралитета, на случай, если на нас нападет Франция. 25 января 1909 г. наш посол в Лондоне писал мне:

«Мне представляется все более несомненным, что мы не сможем получить политического обещания нейтралитета от Англии также и при наличии соглашений относительно флота, до тех пор пока не будет урегулирован марокканский вопрос. Идея реванша побледнела и ослабеет еще более, если после благополучного разрешения марокканского конфликта нельзя будет больше рассчитывать на английскую помощь. Если может быть уничтожено марокканское яблоко раздора между нами и Францией, то при одновременном замедлении наших темпов постройки флота тотчас же наступит разрежение атмосферы германско-английских отношений... Существование франко-германских противоречий в Марокко выгодно для Англии только до тех пор, пока она видит в нас

возможного военного противника. Не долее. С соглашением о флоте военное соперничество между Германией и Англией отойдет далеко на задний план. Теперь встает вопрос, как всего лучше достигнуть этого соглашения относительно флота. Главное — абсолютная секретность этого намерения до того момента, как мы серьезно приступим к его выполнению, т. е. никакого предварительного создания общественного мнения через прессу. Затем дело не должно выглядеть так, что мы из необходимости делаем добродетель, т. е. с нашей стороны это должно быть добрым жестом, вызванным желанием объясниться с Англией. Здесь это произведет большое и сильное впечатление. Для нашей позиции против Англии в вопросе о соглашении я считаю чрезвычайно важным, чтобы намеченная вами финансовая реформа получила одобрение рейхстага так, чтобы мы доказали всему миру, что наши налоговые источники не истощены и что мы вовсе не должны перебиваться путем займа. Если нам не удастся поставить наши государственные финансы на здоровую базу, за чем здесь очень внимательно следят, то в Англии, как только мы начнем переговоры, тотчас же выведут заключение, что мы в финансовом отношении выбились из сил и вынуждены строить наш флот медленней, безразлично, сговоримся ли мы с Англией или нет. Что это не создаст благоприятной почвы для переговоров, едва ли нуждается в подробном пояснении. Ваша программа, заключающаяся в том, чтобы заставить широкие плечи народного большинства нести общее бремя посредством косвенных налогов, вместо того чтобы возложить его на немногих избранных посредством прямых налогов, этих же последних тоже привлечь посредством умеренного обложения наследств, — покоится на более здоровом налоговом хозяйстве, нежели английская, и в меньшей степени будет восприниматься как классовое обложение... Такое замедление темпа нашего строительства, при котором можно чего-либо достигнуть, заключалось бы, по-моему, в том, чтобы ежегодно строили не больше чем по два больших корабля».

9 февраля 1909 г. король и королева английские прибыли в Берлин, где они были приняты императором и императрицей, кронпринцем с супругой и всеми принцами и принцессами королевского дома. В то время как поезд медленно въезжал на перрон у Лертерского вокзала, стоявший между мной и Тирпицем посол Меттерних, приехавший, как это было принято, по случаю прибытия их британских величеств в Берлин, сказал статс-секретарю морского министерства: «Если вы не поможете князю Бюлову заключить с Англией желаемое им соглашение о флоте, то это пожалуй будет последний раз, что английский король наносит визит германскому императору...»

Благоприятное стечение обстоятельств позволило мне подписать упоминаемое уже мной соглашение о Марокко [77] как раз в тот день, когда английская правящая чета прибыла в столицу империи. В разговоре, в который меня втянул король как только

поднялись из-за стола, он высказал мне свое удовлетворение достигнутым соглашением с Францией... Улыбаясь он добавил: «Но только смотрите, чтобы он не слишком хвастался». При этом король взглянул на стоявшего в некотором отдалении своего племянника императора.

ГЛАВА XXVIII

Это было последний раз, когда я видел короля, который не был ни таким злым, ни таким значительным, каким его считали, особенно в Германии, но который обладал в высокой степени ценными качествами знанья людей и уменья обращаться с ними, осторожностью и тактом, делавшими его одинаково способным как руководить большим хозяйственным концерном, так и быть очень успешно правящим конституционным монархом парламентарной мировой империи.

Осуществление морского соглашения между Германией и Англией было тем вопросом, который в течение последнего периода моей службы заботил меня больше, чем какой-либо другой. Весною 1909 г. Альберт Баллин мне рассказывал, что его английский друг сэр Эрнст Кассель, близко стоящий к королю Эдуарду, вновь писал ему, что наше морское строительство является «альфой и омегой недоверия англичан против нас, равно как и всех английских махинаций». Немного времени спустя Баллин переслал мне длинный и блестяще составленный отчет, в котором Вальтер Ратенау изложил ему свои впечатления от Англии. Ратенау отмечал, что в Англии господствуют две тяжелые заботы — хозяйственная и колониальная. Новейшие отрасли промышленности — машинная промышленность, химическая, электрическая — зависят от двух факторов: от техники и от организации, т. е. от качеств технических и коммерческих служащих. Англия все еще удерживает за собой свою сильную позицию в тех старых отраслях промышленности, которые производят товары индивидуального потребления, но в новейшей крупной промышленности, которая в силу широкого разделения труда снабжает средствами производства обрабатывающую промышленность, Англия стоит позади Германии. С другой стороны, в английских колониях проявляются все больше центробежные силы, которым Англии нечего противопоставить кроме своего флота. С каждым судном, которое строит Германия, ослабляются связи Британской колониальной империи. В отношении этих двух тяжелых забот Англия имеет только два способа их устранения. Одно — покровительственные пошлины — принципиально вполне возможно, но вероятно не будет спасительным; другое — соответственное увеличение флота — может быть и не так легко исполнимо, как это кажется с первого взгляда. Англия больше уже не так щедра на издержки, как раньше. Далее следовало дословно: «В высокой степени достойно внимания то, что обе заботы — и промышленная и колониальная — направляют взгляд англичан на Германию. Вот где конкурент и соперник.

Из всех разговоров с образованными англичанами слышится то как комплимент, то как упрек, то как ирония: вы перегоните нас, вы перегнали нас...»

Я сделал этот отчет темой продолжительного всеподданнейшего доклада его величеству. К сожалению Вильгельм II не хотел понять, что пора, давно пора притти к разумному морскому соглашению с Англией.

3 июня 1909 г. во дворце рейхсканцлера происходило созванное мною совещание по вопросу о соглашении с Англией, в котором кроме меня, Тирпица, Меттерниха, статс-секретарей внутреннего и иностранного ведомств Бетман-Гольвега и Шена, принимали участие начальник морского кабинета вице-адмирал фон Мюллер и начальник генерального штаба фон Мольтке.

Привожу официальный протокол этого совещания:

Вопрос, подлежавший обсуждению, в первую очередь сводился к следующему: может ли рассматриваться в качестве базиса для соглашения с Англией предложение адмирала Тирпица о пропорции 3 :4 [78] при условии одновременного аннулирования отказа от новеллы [79]. По мнению посла, обращение к Англии с такой претензией в кратчайший срок *привело бы к войне.*

Рейхсканцлер со своей стороны подчеркнул, что согласно всем поступающим к нему сведениям настроение в Англии по отношению к нам очень серьезное. Там господствует тревога, как бы мы не довели до слишком незначительной величины разницу между нами и англичанами в области судостроения. Под впечатлением этой тревоги Англия в последнее время враждебно выступает против нас во всем мире; она пытается вовлечь в конфликт с нами также и другие державы. Совсем недавно мы получили ряд доказательств этому. Вполне серьезные люди в Англии видят приближение войны с нами. Встает вопрос, каковы будут наши шансы в подобной войне.

Адмирал *Тирпиц* высказался в том смысле, что в ближайшие годы мы *не* можем относиться спокойно к перспективе столкновения с Англией. При таких условиях перед нами со всей настойчивостью встает вопрос, не является ли все же возможным соглашение с Англией. Дипломатические средства становятся уже явно недостаточными для успокоения Англии. По вопросу военно-морского строительства мы могли бы быть может достигнуть соглашения с Англией *на базисе взаимного замедления темпов этого строительства.* Такое соглашение было бы легче всего достижимо в связи с соглашением по другим вопросам, как-то: по колониальному вопросу, по вопросам торговой политики и по вопросам общеполитического порядка, примерно в форме договора о нейтралитете. Наши отношения с Англией являются единственным черным облаком на горизонте нашей внешней политики, который в других отношениях теперь яснее, чем это было в течение длинного ряда лет. Уже двадцать лет нас на мировом поприще так не уважали и не боялись, как теперь. Но наши отношения с Англией омрачают виды на будущее.

На предложение господина рейхсканцлера граф *Меттерних* дает изображение настроения Англии. Еще двадцать лет назад оно было благоприятно нам и Тройственному союзу. Оно испытало безусловное ухудшение благодаря депеше Крюгеру и позиции германского общественного мнения во время бурской войны. Но существенно и серьезно эти настроения омрачились только с тех пор, когда наше военно-морское строительство и поднятая вокруг него агитация создали у англичан твердое и все укрепляющееся убеждение, что наш флот является серьезной угрозой для Англии, для которой абсолютная безопасность и превосходство на море являются вопросом жизни. Не немецкая конкуренция на мировом рынке, как бы она ни была неудобна англичанам, создала этот глубокий перелом в настроении, но именно германская военно-морская политика.

Адмирал фон *Тирпиц*. Он постоянно стремился убедить его величество в том, что неверно a limine отклонять дискуссию о взаимном соглашении по вопросам военно-морских вооружений. На докладе у его величества 3 апреля 1909 г. он напомнил ему, что осенью 1908 г. представлялась возможность использовать пропорцию 3 : 4 по новому строительству в качестве основы для переговоров с Англией. Тогда это предложение вероятно имело бы перспективы быть принятым со стороны Англии, так как англичане в то время собирались строить только четыре новых корабля. Теперь дело обстоит иначе. На случай таких переговоров было бы целесообразней, если бы мы не выпускали из рук нашего козыря — отказ от новеллы на 1912 г., но использовали бы его в качестве одного из средств при ведении переговоров. Вообще же опасность столкновения с Англией, по его мнению, не так велика, как это изображал граф Меттерних; дурное настроение англичан коренится, по его наблюдениям, в неприятном чувстве, вызываемом экономической и политической конкуренцией, а теперешнее возбуждение — в основном дело рук сэра Джона Фишера, который представляет английское адмиралтейство и действует против Германии всеми средствами. Чем больше мы усилим наш флот, тем больше Англия будет опасаться серьезно связываться с нами. Он думает, что navy scare преодолен в Англии. Он может лишь еще раз высказать свое сожаление, что граф Меттерних без контруступки дал свое заверение, будто в 1912 г. не предполагается никакой новеллы, но его, статс-секретаря Тирпица, не выслушали, давая эту инструкцию графу Меттерниху. Проявлять с нашей стороны инициативу в деле соглашения с Англией он в связи с поведением английского правительства весной этого года считает несвоевременным, даже опасным. Пусть Англия со своей стороны выступит сначала с предложениями, тогда уже можно будет выслушать то, что будет предложено, и соответственно этому сделать наше ответное предложение. Наше новое строительство и без того в 1912 г. спускается с четырех до двух единиц — обстоятельство, которое уже само по себе означает замедление темпа строительства, и как таковое оно и должно было быть изображено англичанам.

Этот факт означает, по его мнению, что вовсе не следует ожидать попытки нового соглашения (ein erneuter Agrements-Versuch). Ни в коем случае мы не могли бы пойти на соглашение с Англией без достаточных военных контруступок с английской стороны. В целом он при теперешней ситуации стоит за спокойное выжидание.

Граф *Меттерних* еще раз делает ударение на том, что он получил определенное указание от его величества императора сказать англичанам, что его величество не имеет в виду выходить за пределы военно-морской программы. О возможности новеллы в 1912 г. он вплоть до последних дней никогда ничего не слышал.

Господин *рейхсканцлер* подчеркивает, что до сих пор из своего устного и письменного обмена мнениями с господином статс-секретарем морского ведомства он никогда не выносил впечатления, что тот стремится к соглашению с Англией по вопросу о флоте. *Он удивлен* услышать теперь, что господин статс-секретарь прошлой осенью считал такое соглашение возможным и даже желательным; об этом он, рейхсканцлер, до сих пор не имел ни малейшего понятия. Но он также не вполне понимает, почему то, что тогда казалось статс-секретарю возможным и полезным, приводит его сейчас в ужас... Несмотря на признанный нами всеми и вызывающий наше общее удивление высокий уровень (Tüchtigkeit) нашего флота, мы, по мнению адмирала Тирпица, сейчас не в состоянии победоносно выдержать конфликт с Англией. Для того чтобы пройти опасную зону, отделяющую нас от момента окончания сооружения нашего флота, рекомендуется соглашение с Англией. Само собой разумеется, такое соглашение может основываться только на взаимности.

Адмирал фон *Тирпиц* указывает на тот прыжок вниз — от четырех кораблей к двум, — который будет иметь место в 1912 г.

Господин *рейхсканцлер* предлагает взвесить, не следует ли уполномочить графа Меттерниха указать англичанам в беседе, что мы готовы допустить обсуждение с нами военно-морских вопросов, и, не делая с нашей стороны никаких конкретных предложений, намекнуть, что наши уступки могли бы заключаться в замедлении темпа постройки и в отказе от новелл.

Генерал фон *Мольтке* выступает представителем той точки зрения, что мы не имеем никаких шансов успешно выдержать военный конфликт с Англией. Почетное соглашение например на базисе замедления темпа строительства кажется и ему желательным.

Адмирал *Тирпиц* подчеркивает растущую от года к году полноценность (Wert) нашего флота, между прочим также и по линии создания резервов. Возможное же удлинение сроков выполнения нашей строительной программы на пять лет, следовательно до 1925 г., как это кажется имеет в виду граф Меттерних, означало бы потерю для нас пятнадцати линейных кораблей. Если желают такого замедления темпов, тогда вся наша военно-морская программа обесценивается.

Министр фон *Бетман:* Не является ли замедление темпа строительства возможным в том смысле, что мы строим в ближайшем году не четыре, но только три судна, если англичане со своей стороны ограничатся четырьмя новыми объектами, считая все время лишь линейные корабли.

Адмирал фон *Тирпиц* указывает, что для такого замедления темпа строительства не требуется изменение законов о флоте: замедление от четырех до трех судов может быть проведено по бюджету.

Господин *рейхсканцлер* констатирует, что таким образом замедление возможно без того, чтобы это привело к дебатам в рейхстаге или вообще было бы слишком сильно разглашено. Господин рейхсканцлер особо оговаривает еще раз, что Англия должна предоставить нам не только полную взаимность в области военно-технической, но также и определенную политическую гарантию (Assekuranz).

Адмирал фон *Тирпиц* указывает: по его мнению, опасный период наших отношений с Англией будет пережит в течение ближайших пяти-шести лет, примерно к 1915 г., после того как будет произведено расширение канала императора Вильгельма и будет закончено укрепление наших гельголандских позиций. Уже через два года опасность будет значительно меньше.

Господин *рейхсканцлер*: Это очень хорошо. Но вопрос все тот же, каким образом нам миновать опасности в течение этого срока?

Адмирал *Тирпиц* считает возможным преодоление опасности путем соглашения с Англией о новом строительстве, при отношении 3 : 4.

Господин *рейхсканцлер* просит статс-секретаря имперского морского ведомства выработать соответственно приказаниям его величества формулу соглашения. При этом он однако обращает внимание на то, что никакая дипломатия мира не была бы в состоянии привести английское правительство к тому, чтобы оно приняло такую формулу, которая казалась бы Англии опасной для ее существования.

Адмирал фон *Тирпиц* не может при теперешних условиях придавать какую бы то ни было ценность выработке такой формулы. В особенности потому, что при практическом применении этой формулы кем-либо другим в возможных переговорах с англичанами легко могут возникнуть недоразумения. Такая формула могла бы быть рассматриваема лишь как подготовка на тот случай, если бы Англия действительно сделала шаг к сближению с нами с целью выработки договора о вооружениях. Только по степени английского сближения с нами можно было бы судить, какой вид должна принять эвентуальная формула. Статс-секретарь фон Тирпиц повторяет в связи с этим сделанные им ранее указания, согласно которым после поведения английского правительства текущей весной инициатива не должна исходить от нас.

В заключение господин *рейхсканцлер* просит держать в строгой тайне самый факт и содержание настоящего совещания».

ГЛАВА XXIX

Я долго оставался под впечатлением конференции 3 июня 1909 г. Очень спокойный, почти флегматичный, ясный, трезвый граф Павел Меттерних был в полном смысле слова человеком дела. Он знал, что, будучи издавна на хорошем счету у его величества, он лишался благосклонности своего государя своей оппозицией его постепенно терявшей меру военно-морской политике. Но свои убеждения он ценил выше занимаемого им места. Тирпиц, движимый внутренней страстью, внешне холодный, подчас раздражительный, обуреваемый жгучим честолюбием, пламенным патриотизмом, исполненный веры в свое дело, в силы германского народа, великий также и в своих заблуждениях, был в то же время несколько односторонен. Оба статс-секретаря — внутренних и иностранных дел — Бетман-Гольвег и Шен в равной степени были озабочены тем, чтобы не притти в столкновение как с его величеством, так и с рейхсканцлером, относительно которого нельзя было знать, не останется ли он все же в конце концов на своем посту. Благонамеренный по складу своих мыслей, рассудительный, ясный Мольтке к сожалению не был человеком действия. Я считал своим долгом дать его величеству также и устные объяснения по поводу того, как прошла конференция 3 июня и каковы были основания, обусловившие созыв конференции и занятую мною позицию.

Испрошенная мною аудиенция для всеподданнейшего доклада была мне предоставлена только через неделю, 11 июня. Об ее исходе я оставил в документах следующую запись: «В ответ на мои сегодняшние представления о грозящих нам с английской стороны опасностях, вытекающих из английских опасений в связи с нашим судостроением, его величество разъяснил мне: он не может поверить в подобную опасность. Англичане никогда не напали бы на нас в одиночестве. Союзников же они теперь не нашли бы. Нам нечего бояться английского нападения, также и потому, что уже сейчас мы могли бы причинить англичанам величайший ущерб на море. Мнимое беспокойство в Англии по поводу нашего судостроения не что иное как шумиха, вызванная внутреннеполитическими мотивами. Такова точка зрения, сообщенная ему адмиралом Тирпицем, и к ней он не может не примкнуть».

Приведенный выше набросок дает лишь остов моего длинного и обстоятельного всеподданнейшего доклада от 11 июня 1909 г. Я настойчиво указывал, исходя из статистического материала и из данных истории, на то, как велики вспомогательные ресурсы, которыми располагает Англия, какую огромную выносливость и энергию она проявляла во всех войнах, которые вела. Я сказал его величеству, что я и сейчас не верю, что Англия не сегодня-завтра внезапно нападет на нас, как этого многократно опасался император. Но опасность заключается в том, что в случае, если судостроительная гонка будет продолжена в тех же темпах, Англия тотчас же бросится на сторону, на-

шего противника, как только наши отношения с какой-либо державой — особенно с Россией — зайдут в тупик. Это не только в данное время парализует нашу политику, но чревато грозными опасностями и в будущем. Император не желал признавать основательности моих опасений.

На протяжении своих повторных докладов о преимуществах достижения соглашения с Англией ценой замедления темпа строительства нашего флота, когда я со своей стороны пытался говорить спокойно, со всей возможной ясностью, серьезностью и настойчивостью, наталкиваясь время от времени на нетерпение и раздражение его величества, я неоднократно напоминал императору о нашей самой первой беседе по поводу нашей военно-морской политики после моего прибытия из Рима в Киль в июне 1897 г. Будучи поставлен перед задачей обеспечить постройку нашего флота, не вызывая столкновения с Англией, я тогда напомнил ему слова римского поэта. Мы не должны, сказал я ему, propter vitam vivendi perdere causas. Теперь, через двенадцать лет, мой долг повторить это предостережение с еще большей, с предельной настойчивостью. Свой флот мы построили для нашей безопасности и для нашей защиты, и мы не должны ради этого флота и из-за него окончательно портить отношения с Англией.

* * *

При принципиальной оппозиции центра и при сильной неприязни консерваторов и по отношению к намечавшейся мною избирательной реформе в Пруссии и по отношению к предложенному мною налогу на наследства бороться против распадения блока можно было бы лишь при том условии, если бы корона твердо стояла на моей стороне. Первоначально и сам по себе центр ни в какой степени не был настроен против налога на наследства. Когда я в 1905 г. взялся за так называемую малую финансовую реформу, то в своей речи, произнесенной 6 декабря 1905 г., при обсуждении бюджета в первом чтении я обстоятельно и откровенно развил те сомнения, которые испытывал по поводу налога на наследства. По окончании моей речи вождь центра господин Шпан любезно сделал ряд комплиментов по моему адресу, отметив ясность, с какой я касался этого сложного вопроса. По его словам, я сумел одухотворить даже этот неподатливый материал. Он не понимал лишь моих сомнений по поводу налога на наследства. Я возразил ему, что за несколько дней до того я получил петицию рейнско-вестфальских мальтийцев, которые протестовали с точки зрения интересов семьи именно против этого налога. Я слышал, что и епископы сильно сомневались в целесообразности этого налога. Шпан ответил мне не без юмора: «Да, если вы будете смотреть на финансовую реформу и на налоговые проекты через очки мальтийского общества или же достопочтенных господ епископов, то вы не далеко уйдете». После этому придали иное толкование. Именно выдвинутый мною налог на наследства на хорошо про-

думанной деловой основе показался центру хорошо подготовленной почвой, для того чтобы, переманив к себе консерваторов, совместными усилиями вызвать мое падение.

Осуществление государственной финансовой реформы в соответствии с подлинными интересами государства и короны, т. е. в форме налога на наследства, а с другой стороны, доведение соглашения с Англией по поводу флота перед моей возможной отставкой и на случай могущих встретиться в будущем случайностей до той стадии, когда ему уже ничто не будет угрожать, — оба эти мероприятия требовали выяснения моих личных отношений с императором.

Я решил взять быка за рога. После того как я 11 марта 1909 г. сделал императору доклад о международном положении, я обратился с просьбой уделить мне еще минуту внимания по личному вопросу. У меня ощущение, сказал я, что хотя он убедился непосредственно после ноябрьских событий в правильности и в частности в абсолютной лойяльности моей позиции, но с тех пор он не относится ко мне с прежним доверием. Оклеветан ли я, и если да, то с чьей стороны исходила клевета, — этого вопроса, указал я, я касаться не желаю. Я могу продолжать исполнять далее свои тяжелые обязанности лишь при том условии, если мне будет обеспечено полное доверие моего августейшего господина...

Его величество поблагодарил меня за мою откровенность. Он рад дать волю и своему сердцу. У него во всяком случае было впечатление, что в ответ на нападки, которым он подвергался, я в недостаточной степени указывал на то, что *все* делавшиеся ему упреки были *совершенно* необоснованы... Когда я повторил свою просьбу отпустить меня, поскольку его величество так или иначе считает, что у него есть основания для недовольства мною или для упреков мне, император разъяснил мне, что об этом не может быть и речи. Я, по его словам, не только неоднократно оказывал ему исключительные услуги на протяжении долгих лет в очень тяжелых условиях, но именно в течение последней зимы «мастерски» руководил внешней политикой. Он знает также, что у меня всегда были наилучшие и самые чистые намерения. Он не даст *ввести себя в заблуждение* на мой счет.

ГЛАВА XXX

Трудности в господствующей над внутренней политикой сфере государственных финансов создавались преимущественно консерваторами. Бисмарк высказал однажды мысль, что партийные политики не чуждаются в политической области поступков, от которых в частной жизни они старательно отмежевались бы как от чего-то неприличного. Это как нельзя более относится к поведению по отношению ко мне консерваторов зимой 1908/09 г. Когда стало известно о неосторожных разговорах Вильгельма II в Хайклиффе [80], консерваторы были первыми, кто забил тревогу,

в упомянутой статье партийного официоза «Konservative Korrespondenz». Во время дебатов в рейхстаге 10 и 11 ноября консервативные ораторы высказывались о промахах кайзера гораздо резче представителей других партий, резче социалистов Гейне и Зингера. Несколькими днями позднее, когда всегда достаточно тесно связанные со двором консерваторы услышали, что не исключена возможность последующего неодобрения кайзером позиции, занятой мною во время ноябрьских дебатов, та же самая «Konservative Korrespondenz» заявила, что я должен был оказать кайзеру лучшую защиту. Главный орган консерваторов «Kreuz-Zeitung» и газета аграриев «Deutsche Tageszeitung» выступили, правда, против этой предательской инсинуации, но все же было ясно, что господин фон Гейдебранд меняет паруса...

В последнее время перед моей отставкой для фон Гейдебранда основное сводилось к двум пунктам. Он не хотел допустить, чтобы в палате представителей было поколеблено единовластие консерваторов, и он ничего не желал знать в рейхстаге о налоге на наследства, чтобы тем самым не рассердить союза сельских хозяев, представлявшего собой столп его могущества.

В конце апреля 1909 г. состоялось совещание между мною, председателем палаты господ Отто фон Мантейфелем, господином фон Гейдебрандом и господином фон Норманном. Отчет о совещании был доложен мне для приобщения к документам в форме следующей записи: «Ход рассуждений господина рейхсканцлера был примерно таков: он слышал, что на пятницу 30-го числа текущего месяца присутствующие здесь господа назначили созыв правления консервативной партии широкого состава (комитет пятидесяти), для того чтобы занять определенную позицию по отношению к государственной финансовой реформе. Он не знает, какие решения они намерены предложить. Статьи консервативной прессы заставляют его опасаться, что они стремятся восстановить партию против расширенного налога на наследства, и потому он считает своим долгом выяснить им политическую ситуацию. Ему, канцлеру, ясно, что, если консервативная партия свяжет себя оппозицией против налога на наследства, завершение финансовой реформы станет для него невозможным и по существу и по личным мотивам. Все согласны, что при потребности в пятистах миллионах сто миллионов должны быть возложены на собственность. Характер налога на собственность много дебатировался, и об этом много писалось. И ему, канцлеру, налог на наследства сам по себе мало симпатичен. Изменить свое мнение было для него тяжелым решением, но он был вынужден к этому под влиянием тяжелой необходимости.

Если бы тем временем у нас шла война или началось новое восстание в Южной Африке, он должен был бы поступить точно так же. С точки зрения союзных правительств и в частности более крупных государств[81] нет иного достаточного и отвечающего своей цели налога на собственность, который дал бы требующийся доход. Предложенный консерваторами налог на при-

рост ценности имущества безусловно заслуживает внимания. Эта мысль обсуждается уже давно, но проведению ее в жизнь препятствует целый ряд сомнений, которые по желанию консерваторов должны теперь подвергнуться рассмотрению по существу. Он убежден в том, что сомнения перевесят, и прежде всего в том, что этот налог даже и приблизительно не даст исчисленной рейхстагом суммы и вероятно ограничится не более чем 25 миллионами. Уже сейчас установлено, что налог на прирост ценности просто неосуществим по отношению к ценным бумагам. Этот налог не может следовательно считаться достаточной компенсацией налога на наследства... Канцлер должен поэтому считать финансовую реформу *окончательно неудавшейся*, если налог на наследства провалится. С одними консерваторами, хозяйственным объединением, центром и поляками он не может предпринять никакой реформы. Всей своей политике он нанес бы удар в лицо, если бы дал сейчас полякам спасать положение. Национал-либералы должны участвовать в этом, но к такому большинству они не присоединятся [82]. Но он, канцлер, не желал бы также проводить реформу вопреки консерваторам. Если бы они остались при своей оппозиции, он считал бы себя не в состоянии вести дела страны. В таком случае ответственность перейдет к консерваторам. Так как в случае своей отставки он должен будет дать совет кайзеру как относительно дальнейшей политики, так и относительно тех людей, которым, эвентуально, придется ее проводить, он ставит господам присутствующим ряд вопросов: во-первых, какую программу оздоровления финансов они намерены выставить после провала этой реформы; во-вторых, с какими партиями они намерены проводить эту реформу; в-третьих, кого они мыслят поставить во главе правительства для достижения своих целей. Сегодняшнее обсуждение не означает, что канцлер переходит к парламентарному режиму и подчиняется одной политической партии, хотя бы и консервативной. Но он считал своим долгом сделать так, чтобы у господ присутствующих была полная ясность, так как до сих пор на протяжении всего своего канцлерства он управлял с консервативной партией в консервативно-аграрном духе. Все разговоры об антиконсервативном правительстве — глупость или клевета. Всякий, кто что-либо понимает, знает, что в управлении и в его, канцлера, политике проводились консервативные принципы. Руководство правительством осуществляется в консервативном и благоприятном сельскому хозяйству направлении и так, как это должен был бы делать каждый из господ, здесь присутствующий, если бы он был министром и стремился бы сдвинуться с места на политическом поприще. Даже господин фон Гейдебранд не смог бы на месте канцлера проводить одни лишь принципы своей консервативной программы. Он, князь Бюлов, видел свой долг в том, чтобы восстановить нормальные отношения между короной и консерваторами. Никакой реформы вопреки консерваторам он проводить не желает, но равным образом не будет

осуществлять ее также и с центром и поляками. Если реформа потерпит неудачу, ответственность перейдет к консерваторам, и они должны будут проводить в жизнь свою программу. За последнее время часто предлагался роспуск рейхстага. Роспуска он не может со спокойной совестью предложить императору, так как это привело бы к значительному сокращению голосов консерваторов и вновь усилило бы социал-демократов, которые благодаря его, канцлера, политике оказались задержанными в своем прежнем победном шествии, были ослаблены, дискредитированы и на последних выборах потеряли половину мандатов. Это противоречило бы всей его предшествующей политике. Он будет подавать императору лишь такие советы, которые согласуются с его принципами. Теперь он просит присутствующих ответить на ранее поставленные им вопросы».

В ответ на первый вопрос присутствующие указали, что они надеются найти вместо приводящего их в ужас налога на наследства соответствующий компенсирующий его налог на собственность, который затрагивал бы преимущественно биржу; на второй вопрос было отвечено, что они считают реформу неосуществимой без содействия центра; по поводу третьего вопроса они не позволили себе никакого суждения.

Большее значение имела другая беседа, которую я несколькими днями позднее имел с глазу на глаз с фон Гейдебрандом. Он доказывал мне и на этот раз, что его нельзя склонить ни на налог на наследства, ни на какое бы то ни было изменение прусского избирательного права. Он должен держать равнение на желания и убеждения своих сотоварищей по партии, а те не желают ничего знать ни о реформе прусского избирательного права, ни о налоге на наследства. Я сказал ему, что его точка зрения напоминает мне слова полицейского префекта Парижа Коссидьера. В 1848 г. он следовал по бульвару в сопровождении большого числа беспокойных элементов. Спрошенный одним из своих друзей, как он мог предпринять подобную демонстрацию с такими элементами, он якобы ответил: «Я являюсь их начальством, значит я должен следовать за ними».

Далее я продолжал: «Вы думаете, что наши внутренние политические отношения вы знаете лучше меня. Я этого вовсе не намерен оспаривать. Мое продолжительное пребывание за границей имеет своим следствием то, что в отличие от вас я знаю толк не во всех углах и закоулках нашей партийной политики. Но, поверьте мне, я дальновидней вас. Вы хотите ослабить связь между консерваторами и национал-либералами, не смущаясь тем, что Бисмарк всегда придавал величайшее значение солидарным действиям именно этих партий. Вы надеетесь больше преуспеть, если вы броситесь в объятия к центру. Против центра как такового я ничего не имею. Наоборот, о центре я вспоминаю, как вспоминают о прежней любовнице, с которой лишь нехотя расстаешься и к которой все еще остается некоторое чувство. Я хотел бы напомнить вам, что во время прений в палате пред-

ставителей по поводу отмены § 2 закона об иезуитах вы, обращаясь ко мне, не без пафоса воскликнули: «Досюда, господин рейхсканцлер, но не дальше! В своей уступчивости, в своем желании пойти навстречу католической части населения вы дошли до крайнего предела допустимого». Так вы говорили тогда, в марте 1904 г. Я и теперь не считаю нужным скрывать, что я всегда очень считался с чувствами и убеждениями католиков именно потому, что они составляют у нас меньшинство. Но это мое внимательное отношение, мое уважение и симпатия к великим сторонам католической церкви не могут оказывать влияния на мою политическую линию по отношению к партии центра. Я знаю центр лучше вашего, господин фон Гейдебранд. Союз с центром, к которому вы стремитесь, будет недолговечен. По существу больше точек соприкосновения между центром и либеральными фракциями, чем между центром и консерваторами... Я хочу предсказать вам, куда приведет ваш разрыв с национал-либералами: к той коалиции Виндгорста — Рихтера — Гриллен-бергера [83], которая представлялась Бисмарку кошмаром».

Господин фон Гейдебранд возразил: «Убеждение противостоит здесь убеждению, мнение — другому мнению. Я считаю, что я вернее оцениваю ситуацию». Что он мог бы, по его словам, предсказать с полной определенностью, так это то, что ближайшие выборы пройдут «очень удачно, более того, блестяще» для консерваторов именно в том случае, если они порвут с либералами и сблизятся с центром. Я обратился еще раз с последним призывом к вождю консерваторов. Я сказал ему: «С точки зрения политического деятеля было конечно по меньшей мере неловко сказать вам, Норманну и Мантейфелю, что я не объявлю сейчас роспуска и не буду вести сейчас избирательной борьбы против консерваторов. Я достаточно умен, чтобы хорошо сознавать это. Ведь в общем я не считаюсь ни глупым, ни неловким. Но именно с консерваторами я не хочу хитрить, не хочу играть. А главное, я не хочу нарушить верность по отношению к моим принципам, по отношению к моим убеждениям относительно того, что способствует государственному благу и что наносит ему ущерб. Роспуск рейхстага в данный момент не отвечает интересам ни прусского государства, ни Германской империи, ни короны. Как пруссак, роялист и германский канцлер я не распущу сейчас рейхстага. Но как человек, верный своим убеждениям, я не останусь, если вы теперь взорвете блок, вместо того чтобы дожидаться естественного конца, если вы мне испакостите разумную государственную финансовую реформу, если вы легкомысленно поставите на карту все достижения последних выборов». Господин фон Гейдебранд распрощался, заметив, что он не в обиде на мои несколько резкие обороты речи, отчасти потому, что он понимает раздраженное состояние перегруженного работой и измученного заботами государственного деятеля, отчасти же потому, что мое роялистическое и прусское мировоззрение для него выше всяких сомнений. Но и он не может пожертвовать своими убеждениями.

В вопросе о налоге на наследства господин фон Гейдебранд скорее под давлением союза сельских хозяев, чем по внутреннему побуждению занял свою непримиримую позицию. Союз сельских хозяев сопротивлялся налогу на наследства из агитационных соображений. В течение ряда лет я выполнял разумные и справедливые желания немецких сельских хозяев. Чтобы держать в руках в такой степени на агитацию направленную организацию, как союз сельских хозяев, его сторонникам все снова и снова нужно было указывать очередной объект борьбы и ее очередную цель. Боевой клич: никаких налогов на наследства! казался лучшим лозунгом на случай выборов. Зато сопротивление господина фон Гейдебранда всякой реформе прусского избирательного права шло из глубины его души, зиждилось на его самых глубоких желаниях, страстях и убеждениях. Любой ценой он желал завоевать себе доминирующее положение в палате представителей. Это было возможно лишь в том случае, если консерваторы располагали там абсолютным большинством. А это в свою очередь было возможно лишь в том случае, если существующее избирательное право не подвергалось никаким изменениям.

Я никогда не думал распространить избирательный закон в рейхстаг на Пруссию. Уже за год до описываемых событий, 26 марта 1908 г., я высказался по этому поводу, правда, не в ландтаге, где моя точка зрения нашла бы сильный резонанс, а в рейхстаге, большинство которого, по крайней мере в теории, желало введения в Пруссии одинакового с рейхстагом избирательного закона. Я специально подчеркнул, будучи глубоко и искренне убежден в этом, что союзные правительства не думают ни о каком изменении избирательного права в рейхстаг. Но я развил также и те основания, исходя из которых более широкое избирательное право в империи является оправданным, тогда как в Пруссии известная градация не является несправедливостью. Я не скрывал того, что прямое, всеобщее и тайное избирательное право не есть, с моей точки зрения, ни догма, ни идол, ни фетиш. Я не фетишист, не создаю себе кумира, а в догмы в области политики не верю вообще. Нет такого избирательного права, которое подходило бы для всех стран и для всех условий и было бы абсолютно совершенным. Депутату Фридриху Науману, с особым рвением требовавшему распространения избирательного права в рейхстаг на Пруссию, я напомнил, что ни в Англии, ни в Италии, ни в Бельгии нет всеобщего, равного и тайного избирательного права. При большом оживлении всех партий я спросил Наумана, действительно ли он думает, что приводящий его в такой ужас своим патриархальным государственным устройством Мекленбург управляется хуже, чем Гаити. Ведь Гаити обладает самым широким — всеобщим, равным и прямым — избирательным правом. Я напомнил свободомыслящим, что всякое радикальное изменение прусского избирательного права с совершенной необходимостью поставит вопрос о том, сможет ли быть в этом случае сохранено трехкласс-

ное избирательное право при городских выборах. Я напомнил о том, что ни одна страна в мире не имеет такого солидного, дельного, работоспособного городского управления, как наша страна; напомнил, что наше коммунальное устройство под либеральным в основном руководством показало себя с хорошей стороны. Я сказал: «Представьте себе хотя бы только собрание берлинских городских гласных, вышедшее из всеобщего, равного избирательного права. И после этого вы хотите, чтобы трехклассное избирательное право, конечно несовершенное, было заменено системой, которая далеко не в одной общине привела бы к господству лишь одной партии — самой нетерпимой из всех».

В вопросе о прусском избирательном праве моим намерением было провести желательную и необходимую реформу таким образом, чтобы покончить с единовластием и чрезмерным преобладанием консерваторов, не лишая их тем самым возможности составлять большинство вместе с центром или с либералами. Для достижения этого в то время существовал далеко не один доступный и разумный путь. Именно либералы в последний год моего управления желали осторожной и возможно более умеренной избирательной реформы. Вождь национал-либералов профессор Роберт Фридберг, десятью годами позднее вице-президент прусского кабинета при Гертлинге, сообщил мне: «При всякой избирательной реформе мы, национал-либералы, можем только проиграть. Соглашаясь на таковую, мы обрубаем сук, на котором сидим. Подстелите нам по крайней мере достаточно соломы, чтобы мы не свернули себе шею». Один из самых умных и влиятельных свободомыслящих, Рейнгард Шмидт-Эльберфельд, в 1895 г. первый, с 1898 по 1900 г. второй вице-президент рейхстага, сказал мне, что введение в Пруссии того же избирательного права, которое существует для рейхстага, несомненно повлечет за собой его распространение также и на общины, следовательно будет угрожать положению и влиянию буржуазной демократии как раз там, где лежат главные корни ее могущества. «Дай бог, — высказал свое мнение Шмидт-Эльберфельд, — чтобы правительство осталось твердым и не допустило этого. Не давайте только ввести себя в заблуждение тем, что мы зачитаем декларацию, в которой мы будем требовать распространения на Пруссию избирательного права в рейхстаг. Это вовсе не серьезно! Именно вам в этом вопросе мы будем причинять так же мало трудностей, как и в то время, когда шла борьба вокруг пошлин».

Господин Шмидт-Эльберфельд был близок к Евгению Рихтеру. Он сказал мне, что и тот внутренне является противником распространения на Пруссию избирательного права в рейхстаг. Из свободомыслящих ревностно, искренне ратовал за введение в Пруссии всеобщего, тайного и прямого избирательного права лишь Фридрих Науман. Когда я спросил моего друга Альберта Баллина, как он себе объясняет, что такой широко образованный, идеалистически настроенный человек, как Науман, может быть

так наивен, чтобы партиям блока бросать в качестве яблока Эриды вопрос об избирательном праве, Баллин ответил мне со свойственным ему ярко выраженным гамбургским акцентом: «Неужели, ваше сиятельство, все еще не заметили, что наш добряк Науман политически феноменально глуп?»... Слева Науман саботировал блок своим необдуманным поведением. Справа господин фон Гейдебранд, не усвоивший ничего из того, что я ему сказал, нисколько не смущенный моими серьезными предостережениями, поручил господину фон Норманну заявить в официальном партийном порядке национал-либералам, что консерваторы не примут никакого налога на собственность и в частности ни при каких условиях не дали бы своего согласия на налог на наследства. Это естественно было расторжением блока, что и было подтверждено консерваторами.

ГЛАВА XXXI

В то время как император Вильгельм проводил прекрасные дни на острове Корфу, мое внимание и мои усилия были направлены главным образом на великое требование дня, на государственную финансовую реформу.

Во второй половине апреля 1909 г. я пригласил господина фон Гейдебранда вместе с вождем саксонских консерваторов и председателем второй саксонской палаты Мэнертом к обеду. Саксонские члены консервативной партии принадлежали к числу моих самых верных приверженцев и неизменно стояли на моей стороне, между прочим и в вопросе о налоге на наследства. Они знали, почему они так поступают. При выборах 1907 г. буржуазные партии Саксонии завоевали не менее 13 депутатских мест за счет социалистов. Пока Мэнерт с Гейдебрандом поднимались ко мне по лестнице, первый очень настойчиво доказывал второму, в какой степени достойной сожаления была бы моя отставка для дальнейшего течения нашей не только внешней, но и внутренней политики, подчеркивая, что, способствуя ей, консервативная партия берет на себя большую ответственность. Фон Гейдебранд возразил: «Вы по существу правы, но вы забываете, что если мы уступим рейхсканцлеру в вопросе о налоге на наследства, мы его все же не спасем. Император твердо решил расстаться с Бюловым. Мы обедаем сегодня у мертвеца. И поэтому мы не должны бросать за ним в его гроб ни согласия на налог на наследства, ни на реформу прусского избирательного права». Так рассказывал Мэнерт после моей отставки моему старому другу президенту первой саксонской палаты графу Фридриху Витцтуму. Фон Гейдебранд был очень точно ориентирован в настроении его величества по отношению ко мне. Он был школьным товарищем графа Антона Монтса; и хотя в области внутренней политики они склонялись к очень различным воззрениям — Гейдебранд был крайне правым, Монтс, наоборот, был в то время совсем левым, — лично они остались друзьями. Монтс, после того как в Венеции Вильгельм II подал ему надежду стать

моим преемником, тотчас же написал фон Гейдебранду, что он может рассчитывать на тот несомненный факт, что Вильгельм II решил расстаться со мной. Того, что он сам носился с надеждами стать моим преемником, он ему не выдал, так как он знал, что Гейдебранд был бы от этого не в очень большом восторге. Но он не оставил у него никаких сомнений в том, что мое положение у императора было окончательно подорвано.

Слишком много симптомов указывало мне на то, что источник всех трудностей, с которыми я сталкивался, — в монархе, и потому я не мог не ощутить потребности еще раз и окончательно выяснить мои отношения с императором. Я испросил аудиенцию для всеподданнейшего доклада, которая была предоставлена мне 18 мая в Висбадене. Когда я говорил о том, что политическая ситуация опасно обострилась вследствие близорукости и негосударственного поведения консерваторов, император, быстро перебив меня, сказал, что он не может согласиться на роспуск рейхстага. Я возразил, что я ведь вовсе и не предлагал роспуска, так как и я считаю это не соответствующим интересам страны и короны. Другой вопрос, смог ли бы и захотел ли бы я участвовать в политическом развитии, которое, начавшись взрывом блока, должно быть увенчано отклонением налога на наследства. Развивая это, я наблюдал мимику его величества. Я слишком хорошо знал своего государя, чтобы не заметить, что в нем боролись два чувства. Он *желал* моей отставки, он хотел от меня избавиться. Но момент моего ухода, форму и условия его он хотел определить *сам*.

Между тем упрямо преследуемое господином фон Гейдебрандом при сопротивлении многих консерваторов (Шверин-Левитц, Каниц-Поданген, Калгенгст, Гогенлоэ-Эрингеи, Паули и пр.) сближение с центром и поляками при отходе от либералов продвинулось еще дальше вперед. Становилось все менее вероятным, что государственная финансовая реформа с таким налогом на собственность, которого я желал, пройдет в рейхстаге. Одновременно более, чем когда бы то ни было, против меня интриговали в окружении императора. Для этой цели организовалась группа, которая окрестила себя «союзом верных императору». Одну из главных ролей в этой камарилье играл князь Макс Фюрстенберг, который, как уже было упомянуто мною в связи с падением Филиппа Эйленбурга, сменил последнего в качестве фаворита императора. Вследствие смерти своего двоюродного брата Карла Эгона он вступил во владение большим швабским майоратом Донауэшинген, но внутренне остался черно-желтым австрияком. Мне он бывал сплошь и рядом неудобен тем, что в качестве черно-желтого он нередко науськивал императора не только на Италию, но и на Россию. Наоборот, там, где он мог, он вступался за поляков. Обергофмаршал Рейшах, женатый на некоей Ратибор, мать которой была урожденной Фюрстенберг, был счастлив, рекламируя себя в качестве «кузена» одного из князей Фюрстенбергов и, когда только мог, держал

стремя любимцу императора. Что Макс Фюрстенберг впал в стеснённые денежные обстоятельства, не смущало императора. Наряду с Фюрстенбергом роль в «союзе верных императору» играл церемониймейстер Евгений Редер и его сестра графиня Паула Альвенслебен. Редер интриговал уже против Бисмарков — отца и сына — и теперь интриговал против меня, хотя годами ухаживал за мной самым пошлым образом. Когда я приезжал на придворный бал, он имел обыкновение с украшенной перьями шляпой в руке дожидаться меня и моей жены у великолепного портала дворца, чтобы иметь честь довести мою жену от ворот до белого зала. Когда я увещевал его не подвергать себя опасности схватить насморк, он заявил с героической миной: «Я предпочитаю заболеть воспалением легких, чем нарушить свой долг по отношению к княгине». Через потерпевшего в Англии провал бывшего советника посольства Экардштейна «верные императору» завязали связи с памфлетистом[1] Рудольфом Мартином. Мартин был саксонским чиновником, которого за его чрезмерный карьеризм не взлюбило его начальство. Саксонскому правительству удалось отделаться от него и сплавить его имперскому ведомству внутренних дел. Там он вступил в конфликт с графом Позадовским, который быстро убедился в его ненадежности и никчемности и отстранил его на незначительный пост. Чтобы отомстить за себя, Мартин опубликовал брошюру против Позадовского. Он имел нахальство переслать ее мне[2]. Он слышал, что между Позадовским и мною существуют разногласия во мнениях, и он надеялся, что за свое нападение сзади на своего шефа он превратится в моего любимчика. Естественно, я назначил дисциплинарное расследование, которое привело к его удалению с государственной службы. На чьем жалованьи состояли молодцы вроде Рудольфа Мартина и Экардштейна, я не желаю распространяться более подробно[2]. Тогдашний директор издательства Шерля и впоследствии сотрудник императора по составлению его мемуаров Евгений Циммерман, который в течение последних месяцев моего канцлерства усердно и энергично защищал мое дело в прессе, говорил и писал мне, что за пиратами вроде Рудольфа Мартина и Экардштейна стоят силезские магнаты, враждебно относящиеся к моей политике, слишком — по их воззрениям — покровительствующей рабочим. Я не придавал подобным сообщениям никакого значения и в своих личных отношениях к князю Гвидо Генкель-Доннерсмарку и к другим силезским господам не давал ввести себя этим в заблуждение.

Не подлежит сомнению, что тот самый граф Опперсдорф, которому суждено было десятью годами позднее, в самый тяже-

[1] Это слово закрашено в немецком оригинале типографской краской по постановлению суда, к которому обратился Р. Мартин. Однако в ряде экземпляров это сделано так, что прочесть все же можно. Мы восстанавливаем подлинный текст мемуаров.

[2] Эти фразы в оригинале также закрашены.

лый для Германии час, предать свое отечество и перебежать к полякам, был одним из наиболее ревностных участников «союза верных императору». Он сдружился с эльзасцем Веттерле, который, как известно, тотчас после наступления мировой войны под покровом ночи и тумана бежал из Кольмара во Францию, в течение всей войны травил нас там и еще сейчас выступает в Париже в качестве французского патриота и смертельного врага «бошей». Аббат Веттерле поместил по поручению Оппердорфа через посредство главного редактора «Фигаро» Кальметта статьи в этой газете, которые были предназначены для того, чтобы быть подсунутыми императору. Они были составлены не без ловкого расчета на детскую фантазию его величества. Я припоминаю одну статью, в которой в качестве предупреждающего и устрашающего примера императору изображалась судьба одного из Меровингов. Последнего коварно опутал и обманул его злой канцлер Гонтрам-Бозе, который затем овладел им путем ловко проведенного заговора и наконец велел постричь и запрятать в монастырь.

* * *

Вильгельм II был очень счастлив, когда его «коллега» Никки предложил ему дружественную встречу в русских водах. Господину Шену, который должен был сопровождать его величество, я в качестве директивы дал короткий набросок, озаглавленный мною «Десять заповедей». Этот декалог, копию которого я переслал его величеству, гласил следующее:

«1. С русскими, особенно с Извольским, обращаться дружески. Мы должны говорить с Извольским о политике, так как для этой цели он и сопровождает своего суверена. Конечно именно по отношению к нему необходима осторожность. Предоставлять говорить ему.

2. Не говорить русским ничего такого, что, будучи сообщено в Вену (непосредственно или через посредников, например через Лондон или Париж), могло бы возбудить там недоверие.

3. Дарданельского вопроса не поднимать. Если русские его поднимут, дружественно ответить им: это европейский вопрос, но из-за *нашего* противодействия желания русских *конечно не потерпят неудачу*, если дальнейшее развитие германо-русских отношений позволит нам итти навстречу России.

4. Критского вопроса не поднимать. Если русские затронут его, сказать: мы не принадлежим к числу держав-покровительниц и совершенно не заинтересованы.

5. При возможных жалобах русских на Австрию вздыхать или улыбаться в зависимости от их интенсивности, пожимать плечами, но не соглашаться.

6. Мы должны снова и снова подчеркивать традиционные дружественные германо-русские отношения как *базис мирового монархического порядка и мира*. Союз трех императоров остается нашим идеалом, но мы предоставляем русским выступить с этим

предложением. Мы *теперь* не можем пойти ни на какое сепаратное соглашение с Россией. Это возможно только совместно с Австрией.

7. Если русские будут изображать положение Турции как непрочное и не поддающееся учету, не противоречить им; но самим обсуждать турецкие события с бодрым спокойствием. Мы заинтересованы там не в первую очередь.

8. Ни слова не говорить против Англии! Это тотчас было бы туда передано и кроме того только укрепило бы Россию в ее нынешнем тяготении к Англии.

9. Выступать против России в Персии или на остальном Востоке мы не думаем. То, что происходит в Персии, нас совсем не интересует.

10. Не рекомендуется слишком много касаться событий прошлой зимы. Если русские начнут об этом, сказать им: мы были лойяльны по отношению к Австрии, честно-дружественны по отношению к России; мы все время желали мира. К Бьорке не возвращаться».

Свидание, которое состоялось 17 июня в финских шхерах около Фредериксгафена, было последней встречей между императором и царем за время моей служебной деятельности. Оно прошло благополучно. Император следовал моим «Десяти заповедям».

ИЗ ГЛАВЫ XXXII

В течение этих последних месяцев, предшествовавших моей отставке, я мог смотреть с удовлетворением на то, в каком положении находился вопрос о восточной окраине. После того как мне были доверены бразды правления в Пруссии, я неоднократно заявлял, что рассматриваю вопрос о Восточной Марке в качестве основного вопроса нашей внутренней политики. Центр тяжести лежал в последовательном и решительном поощрении колонизации. Но чем дальше и успешнее шла колонизация, тем более интенсивными и страстными становились напряженные попытки поляков препятствовать переходу польской собственности в немецкие руки. Проникнутый сознанием необходимости поощрять немецкую колонизацию в Восточной Марке, я решился на то, чтобы внести в ландтаг предложение о принудительном отчуждении. Я не скрываю, что в течение того долгого периода, пока я занимал свой пост, я ни на одно законодательное мероприятие не решался с такой неохотой, как на этот закон.

Из-за особых трудностей, связанных с предложением об отчуждении, я лично защищал этот проект как в палате представителей, так и в палате господ.

При бурном протесте поляков я заявил коротко и ясно: «Нашу потребность в земле мы не можем более покрывать путем свободной купли, и отсюда с совершенной необходимостью вытекает, что первостепенные государственные интересы требуют наделения переселенческой комиссии полномочиями по принуди-

тельному отчуждению». Прусское государство не выполнило бы своего высшего долга, долга самосохранения, если бы оно вздумало отказаться от наиболее действенного оборонительного мероприятия, от своей переселенческой политики, в тот самый момент, когда эта политика обещает принести прочный успех. Даже в рейхстаге я едва ли переживал более бурные прения, нежели словесные бои в прусском ландтаге по поводу проекта об отчуждении.

Провести проект о принудительном отчуждении в палате господ было еще труднее, чем в палате представителей. В изысканной форме, с достоинством и, как всегда, сдержанно, но с большим упорством, против проекта выступал здесь мой уважаемый друг кардинал Копп. Наряду с ним прежний министр земледелия Люциус, мой старый друг Мирбах-Сорквиттен, Лео Бух и другие выдающиеся люди составляли мне здесь сильную оппозицию. Возражая против сомнений в юридической правомерности, которые выдвигались против принудительного отчуждения, я сказал: «Оборотной стороной самого быть может прекрасного качества, отличающего наш народ, его живого и теплого правового чувства, является его политически очень опасная склонность блуждать в области абстрактного формализма, издавна свойственная нам, немцам, черта оценивать также и большие политические проблемы исключительно лишь с точки зрения гражданского права. Так не разрешишь великих вопросов политики, вопросов самого существования. Самоутверждение есть первый, высший, наиболее почетный долг государства. Так действуют все другие народы, и если мы не будем поступать также, мы будем раздавлены»...

В конце концов мне удалось протащить в обеих палатах ландтага компромиссное предложение Адиккеса, отменявшее ограничение принудительного отчуждения территорией девяти уездов Познани и Западной Пруссии и предоставлявшее правительству право отчуждения во всех частях этих провинций в пределах до 70 тысяч гектаров.

ГЛАВА XXXIII

Налог на наследства был отклонен 195 голосами против 187. Я покинул зал еще во время речи депутата Гертлинга. Я пошел домой пешком через Тиргартен. Придя домой, я застал свою жену в малом зимнем саду. Пока мы беседовали на разные темы, мне принесли запечатанную папку, в которой оказалось сообщение начальника имперской канцелярии, уведомлявшее меня об отклонении налога на наследства. Я вызвал одного из моих секретарей и продиктовал ему телеграмму императору, в которой я доносил его величеству о результатах голосования и, ссылаясь на мой сделанный императору 18 мая в Висбадене всеподданнейший доклад, просил предоставить мне аудиенцию, чтобы повергнуть к стопам его величества мое прошение об отставке. На следующий

день я получил довольно прохладный ответ, причем мне сообщалось, что император намерен принять меня 26 июня в Киле на борту «Гогенцоллерна». 26 июня я предпринял путешествие в Киль. Перед моим отъездом из Берлина меня посетил статс-секретарь внутренних дел господин фон Бетман-Гольвег. Я читал Гамлета и видел его на сцене, встречал также и в жизни немало колеблющихся фигур, но не видел никого, кто колебался бы более Бетман-Гольвега. Хотел он стать моим преемником или он этого не желал — относительно этого у меня и сегодня нет уверенности. Чуть что не одним духом он сказал мне, что настоятельно просит меня не предлагать его; тут же он отрицательно отозвался о Шорлемере — человеке в «католических шорах», и предостерег меня против Рейнбабена, которому с его беспокойным честолюбием просто якобы не терпится стать канцлером. Он был сплошным сомнением, заботой и страхом, но все это выступало на фоне карьеризма и высокого мнения о своем превосходстве.

На вокзале ожидал меня начальник кабинета фон Валентини... Сколько получивших отставку министров за время своей почти двадцатилетней деятельности проводил его предшественник Луканус в царство теней! Валентини очевидно был горд тем, что ему суждено было начать свою деятельность в качестве проводника к Гадесу прямо с рейхсканцлера, но решил с кротостью выполнять свои обязанности. Он уверил меня, как только мы вдвоем заняли свои места в купе, что он очень сожалеет о моей отставке, особенно в связи с внешней политикой. В этом отношении он очень озабочен. Затем он перешел к инциденту с «Daily Telegraph». Не это является причиной высочайшего недовольства мною... Но моя внутренняя политика после избирательной победы 1907 г. внушала императору все возраставшее недоверие, сильно его тревожила. Император опасался, что я хочу устранить «строго монархический», т. е. личный, порядок правления и ввести парламентарный режим наподобие Англии, Бельгии, Италии.

Я следую при передаче моей беседы с Валентини записи, которую я 27 июня 1909 г. присоединил к своим личным бумагам. На указание господина фон Валентини относительно моих парламентарных наклонностей я возразил ему так: «У меня никогда не появлялось стремление ввести у нас подобно Англии парламентарный режим, так как я отлично знаю, что у нас отсутствуют соответствующие предпосылки. В столь же малой степени я желал такого государственного порядка, как в Италии, Бельгии, Румынии и т. д., так как я знаю, что при нем пострадало бы не только наше управление, но и армия, весь государственный строй Пруссии, а возможно даже и имперское единство. Но во всяком случае я считаю полезным и желательным более широкое привлечение парламентариев для достижения таким путем постепенной и осмотрительной парламентаризации нашего строя[84]. Я не возражал бы даже против того, чтобы посадить того или иного действительно дельного социалиста, на-

пример Отто Хюэ или Карла Легина, в имперское ведомство внутренних дел в качестве директоров или советников. Теперь, после тяжелого поражения, которое социал-демократическая партия потерпела на выборах, момент для этого был бы наиболее подходящим». *Валентини* (с ужасом): «На это его величество никогда не пойдет... Его величество желает нечто прямо противоположное таким планам. Его величество хотел бы еще резче акцентировать то, что вы называете личным режимом». *Я:* «Это я считаю очень рискованным. К чему вы в сущности стремитесь? К таким условиям, как в России?» *Валентини:* «Не совсем как в России, но в этом роде, в соответствии с нашими условиями. Прежде всего рейхстаг должен быть в большей степени взят в руки!».

Император принял меня у трапа — явно нервный, издерганный, нетерпеливый, с оттенком смущения. Меня поразила его стремительная жестикуляция. Завязался следующий диалог, в основу которого я снова кладу сделанную 27 июня 1909 г. запись.

Его величество: «По поводу вашего преемника, дорогой Бюлов, вы можете не мучить себя большим докладом, к которому вы вероятно подготовились. Я решил взять Бетмана. Ведь вы с этим вполне согласны?»... *Я:* «Так как выбор вашего величества уже сделан, я могу только сказать вместе с Гамлетом: «Остается молчать». *Е. в.*: «Цитировать вы все еще мастер, но не делайте такого элегического лица. Обоснуйте мне ваши сомнения. Я, правда, очень спешу, так как к часу я должен быть на завтраке у принца Монакского. Но вас я всегда охотно слушаю». *Я:* «Для внутренней политики Бетман во всех отношениях лучший кандидат. Левых он не будет подпускать близко, центр он снова привлечет, консерваторы — насколько я знаю — тоже расположены к нему. Но он ничего не понимает во внешней политике». *Е. в.* (смеясь, весело): «Внешнюю политику вы оставляете только на меня. Я кое-чему научился у вас. Дело пойдет!..»

ГЛАВА XXXIV

14 июля в «Reichsanzeiger» было опубликовано сообщение о моем увольнении в отставку с награждением меня бриллиантами к ордену Черного орла.

На следующий день состоялась прощальная аудиенция у его величества. Император принял меня в садике у так называемой «зеленой шляпы» — одной из пристроек ко дворцу.

В противоположность мне император нервничал, был невежлив, неразговорчив. По его словам, ему в этот день предстояло дать еще много аудиенций. В первую очередь ему было необходимо объяснить представителям более крупных союзных государств смену канцлера, которую они пока еще как будто недопонимают. Что касается прочего, нельзя себе представить, в какой степени его летние планы нарушены внезапно разразившимся кризисом. Ему приходится начать свою северную поездку позд-

нее того срока, который он первоначально наметил себе. Это ему очень-очень неприятно! Только час назад он писал об этом своему другу эрцгерцогу Францу-Фердинанду, имеющему счастье быть свободным человеком. Император отпустил меня, сказав: «Императрица охотно еще раз пообедала бы у вас. Позаботьтесь о том, чтобы ваш знаменитый повар проявил все свое искусство».

С горьким чувством ушел я с этой прощальной аудиенции. Поведение и тон императора были таковы, что напоминали дурно воспитанного мальчика.

15 июля их величества последний раз обедали у нас. Они высказали желание еще раз быть моими гостями неожиданно. Император появился с великолепным букетом цветов, который он передал моей жене. Одновременно он вручил ей прекрасный золотой браслет со своим портретом на эмали, обрамленным красивыми бриллиантами. Император выглядел очень веселым, императрица — печальной. Непосредственно после того как император передал моей жене браслет, он начал с ней следующий разговор, который моя жена еще в тот же вечер занесла в свой дневник. Я передаю эту запись буквально, с ее незначительными стилистическим шероховатостями.

«*Е. в.*: «Итак, это прощальный обед. Что вы скажете на это?» *Я*: «Я очень опечалена, что мне приходится расставаться с вашим величеством, и сердечно благодарю за всю ту доброту, которую ваше величество и императрица проявляли по отношению ко мне в продолжение двенадцати лет моего пребывания в Берлине». *Е. в.*: «Я гораздо более опечален, чем вы. Я достаточно долго отбрыкивался руками и ногами, но Бернгард пожелал уйти». *Я*: «Он ушел, потому что он был убежден, что он более не может быть полезен вашему величеству. Рейхстаг отклонил налог на наследства. Блок взорван. При таких условиях Бернгард не мог остаться»... *Е. в.*: «...Вы не должны верить тому, что Бернгарда провалил налог на наследства или же блок. Настоящую причину вы должны искать в ноябрьских событиях. Видите ли, соответствующие лица сообщили мне, что они могли бы пойти на налог на наследства. Но они свалили его, так как они нашли, что он недостаточно защищал своего государя...» *Я:* «Ваше величество, я не политик, но одно я знаю, и я готова клясться в том, что Бернгард предан вашему величеству душой и телом. В течение двенадцати лет у него не было другой мысли, кроме как верно служить вам. В ноябре он тяжело страдал, день и ночь он напряженно размышлял, каким образом он может спасти ваше величество и восстановить отношения между вашим величеством и нацией. Это ему удалось, и вы, ваше величество, снова вознесены на прежнюю высоту окружающим вас почитанием». *Е. в.:* «О, да! Я стою на большой высоте (ich stehe hoch da), так как люди сознают, что они оказали мне несправедливость». *Я:* «Что же, по мнению вашего величества, должен был сделать Бернгард во время ноябрьской бури?» *Е.в.:* «Он должен был в рейхстаге встать

и заявить: «Я запрещаю эти наглые речи по отношению к нашему царственному господину. Как вы осмеливаетесь так разговаривать? Вон отсюда — шагом-марш!» Бернгард должен был объявить себя солидарным со мной. Он знал в точности то, что было напечатано в «Daily Telegraph». Я написал ему об этом из Хайклиффа». *Я*: «Но Бернгард никогда не получал такого письма». *Е. в.*: «Если я ему не написал, то я сказал ему это. Я могу показать вам дерево в вашем саду, у которого я ему это говорил». *Я:* «Вас, ваше величество, в течение этой зимы старались натравить на Бернгарда. Консерваторы не желали платить налог на наследства. Когда же они заметили, что это делает их непопулярными, они обернули дело таким образом, будто это произошло из-за ноябрьских событий, и свалили Бернгарда. Центр, естественно, хотел отомстить за роспуск. Но невозможно, чтобы ваше величество попали в западню этих интриг, сплетен и извращений...» *Е. в.*: «Если вы хотите ориентироваться в этом, я рекомендую вам прочесть книгу Мартина[85]. Но я мало понимаю в политических махинациях, а вы — еще меньше. Пойдемте же к столу».

КНИГА ТРЕТЬЯ

МИРОВАЯ ВОЙНА И КРУШЕНИЕ ИМПЕРИИ

ИЗ ГЛАВЫ I

Когда я, простившись со столицей, сидел с моей женой в салон-вагоне, который вез нас из Берлина в Гамбург, я изложил ей более глубокие причины моей отставки. Не могло быть никакого сомнения в том, что финансовая реформа в предположенной мною форме прошла бы, если бы скрытое противодействие императора не одушевляло центр в его борьбе со мной и не побуждало консерваторов к тому, чтобы отойти от меня. В отличие от своего деда и отца Вильгельм II больше прислушивался к голосу своего тщеславия, оскорбленного в ноябрьские дни 1908 г., нежели руководствовался государственными соображениями или требованиями политической мудрости и разума. Моя жена, которая еще в родительском доме знала императора, всегда к ней благоволившего, и была ему сердечно предана, укрепила меня в моем решении избегать всего, что могло бы повредить короне. Мне было тем легче принять это решение, что я уяснил себе, что и своекорыстная и мелочная тактика консерваторов тоже в значительной мере виновата в отклонении налога на наследства, в преждевременном распаде блока и следовательно в моей отставке. Моя жена вполне разделяла мои соображения о том, что многое могло бы быть по-другому, если бы в эту последнюю критическую зиму моей службы оставались при мне мои старые друзья, которые меня понимали и мужественно и стойко поддерживали, но которых за это время отозвала смерть. Если бы статс-секретарем иностранного ведомства был Рихтгофен, то не могло бы быть такого легкомысленного и небрежного обращения с рукописью «Daily Telegraph», какое позволили себе Шен, Мюллер и Клемет. Подвижной и многоопытный Франц Аренберг склонил бы центр занять более разумную позицию и во всяком случае не допустил бы интриг Матиаса Эрцбергера. Граф Лимбург Стирум в качестве лидера консерваторов едва ли бы так зарвался, как мелочный, узколобый Гейдебранд и его ничтожнейший подручный Вестарп. Старый Вильгельм фон Кардорф, в течение долгих лет пользовавшийся доверием в доме Бисмарка, человек с огнем и широким кругозором, в качестве лидера имперской партии был для меня более надежной опорой, чем его преемник, конфузливый и боязливый Гацфельдт-Траченберг.

ГЛАВА II

Я упоминал уже о том, что не без тревог за нашу будущность ушел я из канцлерского дворца. Меня тревожил не наш немецкий народ, который, если перед ним поставлена высокая и благородная цель, если им правильно руководят, хранит в своей глубине могучие силы и энергию, как он доказал это еще при последних выборах, при выборах 1907 г. Еще меньше тревожило меня наше войско, самое храброе и надежное, самое отважное и выносливое войско в мире, начиная от великолепного старого Гезелера и бравого Бок фон Полаха и кончая последним стрелком. Мои тревожные мысли относились к *императору*; они распространялись на *моего преемника*. Вильгельм II столь же мало был пригоден для ведения и контролирования нашей политики, как и для военного командования во время какой-нибудь войны. Что он считал себя высоко компетентным в обеих этих областях, свидетельствует к сожалению лишь о неправильности его суждения. Когда он[86] отставил графа Альфреда Вальдерзее от должности начальника генерального штаба и спровадил его в качестве командующего генерала в Альтону, он в припадке самомнения, как мне об этом рассказывал сам Вальдерзее, сказал ему свысока, что ему, Вильгельму II, не нужно никакого начальника генерального штаба, потому что во время войны он сам будет руководить войсками и сам будет все решать, как это делал Фридрих Великий, а в мирное время ему достаточно иметь просто интеллигентного лакея. В действительности же и в мирное время, не говоря уже о войне, ему в высшей степени необходим был учитель, советник и руководитель, который был бы всегда на своем посту и умел бы держать его в руках; ему нужен был опекун, который направлял бы его на верный путь.

Был ли Бетман-Гольвег подходящим для этого лицом? Именно потому, что несколько недель назад на борту яхты «Гогенцоллерн» я высказывался перед императором против кандидатуры Бетмана, я вдвойне счел себя обязанным ввести его в курс наших дел и прежде всего нашего международного положения. Лёбель не скрыл от меня, что Бетман-Гольвег настроен против меня недоверчиво и обижается на меня. Валентини рассказал моему преемнику, что я не особенно радостно отнесся к тому, что выбор пал на него.

Обидчивость, которая вообще была свойственна Бетману, проявилась уже при последних моих переговорах с ним перед моим отъездом из Берлина 17 июля 1909 г. Я излагаю это по той записи, какая была сделана мною непосредственно после нашего разговора. Во время нашего *первого* разговора я изложил Бетману, что наше мировое положение с внешней стороны было блестящим, да и в действительности оно во всех отношениях было более благоприятным, чем когда-либо после отставки князя Бисмарка. Однако осторожность и осмотрительность во всяком случае были в высшей степени необходимы. Наше географическое положе-

ние довольно опасно. К тому же дипломату вообще приходится продвигаться по такой почве, где имеются ямы, капканы и даже мины. Я глубоко убежден в том, что войны можно было бы избежать, как мы ее с достоинством избегали во время моей двенадцатилетней службы и до меня в течение почти трех десятилетий, хотя и бывали критические моменты и порою даже весьма опасные происшествия. Нужно было и можно было поддерживать мир. В войне мы совсем не были заинтересованы и, наоборот, в величайшей мере были заинтересованы в сохранении мира, так как время работает за нас. Но нам необходимо было действовать осторожно, осмотрительно и ловко. Что бы ни случалось, всегда нужно было «de ne pas prêter le flanc»[1].

Бетман возразил, что мои самые блестящие успехи, как Танжер и Боснию, он приписывает скорее моей смелости. Благодаря Танжеру я приобрел залоговое право на Марокко и прежде всего добился свержения Делькассэ, нашего коварнейшего и опаснейшего противника. Мое «храброе» поведение во время боснийского кризиса было «прямо-таки блестящим» завершением моей политической карьеры. На это я сказал Бетман-Гольвегу то же, что сказал его величеству: «Ne bis in idem»[2]. Когда Бетман-Гольвег уже с некоторой обидчивостью возразил, что быть может когда-нибудь в той области, где я так успешно подвизался, и ему удастся добиться успеха, я сказал ему: «Non cuivis homini contingit adire Corinthum»[3]. Эта цитата была очень неудачной. Почтенный Шмидт, директор гимназии Карла Великого в Ней-Штрелице, был совершенно прав, когда сорок пять лет назад предостерегал тогдашнего ученика старших классов Бернгарда фон Бюлова от излишнего цитирования и убеждал его с большой осторожностью выбирать и проверять свои цитаты. Этот стих из писем Горация мне лучше было бы оставить при себе. Как воспитанник великокняжеской классической гимназии в Наумбурге, где он был «первым учеником», Бетман конечно прекрасно понял смысл этой цитаты. Заметно задетый, он стал пространно говорить о том, что он конечно хорошо сознает отсутствие собственно дипломатической подготовки, но с уверенностью надеется, что прилежанием и терпением он наверстает упущенное. «Я уж освоюсь с внешней политикой», — дважды повторил он не без пафоса.

Я не хотел допустить, чтобы наш разговор превратился в личные пререкания, и поддерживал его на почве академического диалога. Я стал разбирать слово «освоиться». Я сказал, что с дипломатической политикой нельзя освоиться за одну ночь. Какой-нибудь административный чиновник, переведенный из Трарбаха в Аурих, конечно легко может надеяться на то, что он освоится с особенностями торфяного промысла в Восточной Фрисландии

[1] Буквально — не обнажать фланг; в переносном смысле — ловко лавировать.

[2] Латинская юридическая формула: не делать дважды того же самого.

[3] Не всякому человеку удается победоносно вступить в Коринф.

столь же основательно, как и с нуждами виноделия в районе Мозеля. Но внешняя политика — это не наука и во всяком случае не отрасль этики. В ней решающее значение имеют не мораль, не добрая воля, а исключительно способность находчиво действовать, обусловленная чутьем, тактичностью и интуицией. Я добавил, что всегда готов помогать добрым советом моему многолетнему сотруднику и добросовестно и лояльно поддерживать его. Он с полным доверием может всегда и везде обращаться ко мне, как только это ему понадобится. Он не может сомневаться в моем патриотизме и следовательно должен быть уверен в том, что если я от всей души желаю моей родине счастья и славы, благосостояния и безопасности, то и к нему, моему преемнику, и к его служебной деятельности буду относиться с самыми искренними и добрыми намерениями. Бетман-Гольвег поклонился вежливо, но холодно. Передо мной раскрылась бездна обидчивости и самомнения.

Действительно Бетман после моей отставки никогда и ни при каком положении не обращался ко мне за советом. В частности перед тем, как он летом 1914 г. начал страшное дело с ультиматумом Сербии, и затем во время вызванного этим смертельно опасного кризиса он ни разу, ни прямо, ни через других, не запрашивал о моем мнении. И во время мировой войны он никогда не интересовался тем, как я смотрю на создавшееся положение, а лишь с крайней подозрительностью справлялся о том, где я находился и с кем имел общение; он никогда не спрашивал меня, что я думаю относительно возможностей заключения мира. Когда он пришел к злополучному решению восстановить Польшу, он не спрашивал о моем мнении и не предоставил мне возможности предостеречь его от этого безумного плана, указывая ему на Фридриха Великого и князя Бисмарка. Притом в последнем или, вернее, предпоследнем политическом разговоре, какой был у меня с Бетманом перед моим уходом со службы, я, не стесняясь его обидчивостью и недовольством, еще раз, так же как раньше императору, посоветовал ему соблюдать осторожность с Россией. Там был ключ к мировому положению. Пока мы находимся в мире с Россией, Франция и в особенности Англия не осмелятся нас тронуть. Но отношение к России зависело помимо ясной и твердой политики в восточных провинциях от разрешения вопроса о Дарданеллах, а также от ловкого примирительного посредничества при улаживании столкновений между русскими и австрийскими интересами на Балканском полуострове. «Смотрите, не забывайте, что о дарданельский вопрос можно ожечься. И поучитесь у князя Бисмарка, который показал нам, как мы должны оберегать Австрию и не давать ее в обиду и в то же время не втягиваться из-за нее в войну с Россией, из которой ничего хорошего не могло бы получиться». За 13 лет до того как бедный Вальтер Ратенау воскликнул на Генуэзской конференции «мира! мира!!!», моим последним словом, когда я расставался с моим преемником Бетманом, было слово «мир!»

После этого первого разговора имел место второй продолжительный разговор, который касался немецко-английских отношений. Памятуя об обидчивости, проявленной Бетманом при нашем предшествующем разговоре, я начал теперь прямо с риторического обращения к моему преемнику. Я сказал ему дружественным тоном, избегая всякой поучительности: «Дорогой Бетман, вы не проводили, подобно мне, большей части вашей жизни за границей. Вы по собственному наблюдению не знакомы с французскими и русскими, английскими и австрийскими, итальянскими и венгерскими, румынскими и греческими делами. Но зато вы конечно лучше, чем я, осведомлены в делах нашего внутреннего управления. Вы выдающийся юрист, каким я, несмотря на многообещавшее начало, в конце концов к сожалению все-таки не сделался. Но в отличие от меня, выросшего в доме дипломата и много путешествовавшего, вы не знаете лично почти всех, могу даже сказать всех, европейских монархов и большинство министров. Вы не находитесь в таких, как я, близких, дружественных отношениях с государственными деятелями всех стран. Я не хочу вам навязываться и нисколько не стремлюсь к политическим выступлениям. J'en ai par-dessus la tête. Я рад, что наконец могу жить покойно... Но для вас, повторяю еще раз, я во всякое время и при всяком запросе буду готов к услугам». Искренний тон, в котором я все это высказал, повидимому произвел на Бетмана впечатление, на его лице появилось приятное выражение.

Наш второй разговор принял дружественный оборот. Я советовал Бетману как можно скорее приступить к подготовлявшемуся мною соглашению с Англией относительно темпов судостроения. По моему мнению, ему в этом отношении легче будет сговориться с его величеством императором. Он еще имел в глазах императора некоторую прелесть новизны, в то время как я кажусь ему уже весьма износившимся. Но он не должен предаваться иллюзии, что немецко-английские отношения в течение короткого времени могут стать интимными и полными взаимного доверия. Однако мы могли бы достигнуть того, чтобы англо-германские отношения не ухудшались, а оставались корректными и нормальными. Ожидать большего или к большему стремиться это значило бы забыть традиционную английскую политику. В течение столетий Англия всегда недоверчиво, а при некоторых обстоятельствах и враждебно относилась ко всякой политически или экономически прогрессирующей державе. Это испытали поочереди Испания, Голландия, Франция и Россия. Наш беспримерный экономический подъем, наше великое политическое могущество, в особенности наш бурный прогресс в торговле и мореходстве теперь, в первую очередь привлекают к себе внимание Англии и являются предметом ее тревог и забот. Отсюда не следует делать вывода, что нужно ожидать войны с Англией или что ее вообще нельзя избежать. Но нам нужно было бы позаботиться о том, чтобы наши отношения с Англией не ухудшались. Этого можно добиться осторожностью и тактичностью. Король Эдуард не отличается

воинственными наклонностями, хотя в политическом отношении он весьма не удобен. Он на нас не нападет. К тому же он не будет жить вечно. При последнем моем свидании с ним мне бросились в глаза гиппократовы черты[1] в его лице, жирная шея, тяжелая походка. Его вероятный наследник, теперешний принц Уэльский, — спокойный, флегматичный господин, с которым легче было бы сговориться, чем с его отцом.

Мы теперь в качестве морской державы уже настолько сильны, что даже для Англии было бы небезопасно без нужды с нами связываться. Но нам не следует упускать из виду, что при современном мировом положении всякий серьезный европейский конфликт может привести к мировой войне со всеми ее необозримыми последствиями. Я сказал Бетману: «Всякий серьезный конфликт был бы для нас борьбой не на живот, а на смерть, причем мы поставим на карту огромные ценности. От войны мы ничего не выиграем. Насильственное присоединение датчан, швейцарцев, голландцев или бельгийцев только дураку могло бы притти в голову. Расширение империи на восток было бы не менее рискованно. У нас уже достаточно поляков, их более чем достаточно, внутри наших черно-белых пограничных столбов. Нам не следует форсировать наше судостроение! И в особенности и прежде всего не следует форсировать сооружение броненосцев! Проникнитесь тем, что я в этом смысле настойчиво и твердо писал на этот счет в моей последней серьезной переписке с Тирпицем относительно опасности морской политики, односторонне направленной на строительство все новых и новых броненосцев и дредноутов. Вы найдете мои предостережения и увещания, мои докладные записки и меморандумы среди оставленных мною в делах документов. Еще Бисмарк, как рассказывал мне об этом сам Тирпиц, считал рискованным постройку исключительно лишь одних крупных судов. Усиливайте лучше сооружение миноносцев и подводных лодок. С другой стороны, нам непременно и без всякой грошевой экономии надо заботиться о том, чтобы в нашем сухопутном вооружении не было пробелов, чтобы в этом отношении мы были на большей высоте или по крайней мере на одном уровне с Францией. Франция была и останется элементом беспокойства в европейском механизме. Французский народ, несмотря на его блестящий патриотизм, вряд ли долго будет переносить трехгодичный срок военной службы. Если Франция откажется от этих неестественно тяжелых вооружений, видя, что в военном отношении нас все равно нельзя опередить, то тогда будет создана возможность для продолжительного мира. Не обращайте внимания на глупую болтовню о нашем зигзагообразном курсе... Когда Одиссей благополучно пробрался между Сциллой и Харибдой, то его тоже кто-нибудь из ворчунов на его судне мог бы упрекнуть в зигзагообразном курсе. Другая политика была бы возможна лишь в том случае, если бы мы хотели превентивной

[1] Признаки приближающейся смерти.

войны, но такая война была бы преступлением, потому что, как я буду это постоянно повторять, время работает на нас». После этого разговора мы расстались в хорошем настроении, причем мой преемник казался даже растроганным.

При назначении Бетмана имперским канцлером были некоторые предостерегающие предзнаменования. Когда выяснилось, что Бетман будет моим преемником, я просил мою жену, чтобы она пошла к жене Бетмана и сказала ей, что она охотно готова помочь своей преемнице своим опытом в отношении оборудования канцлерского дворца. Когда моя жена вошла к супруге будущего канцлера, та, в слезах, сказала ей: «Это несчастье для моего бедного мужа! Я люблю моего мужа, и именно поэтому я желала бы, чтобы его миновала сия чаша. Он при всей его преданности долгу, при всей его добросовестности и разносторонней одаренности не годится для такого поста. Он такой нерешительный, колеблющийся, такой боязливый и часто попадает в тупик. Мы часто в нашем домашнем кругу над этим острим. Иногда мы говорим: «Сегодня папа уже в третий раз изменил свою точку зрения!» или «Вот уже три дня, как папа не может притти ни к какому решению».

ГЛАВА IV[1]

Когда разразилась ноябрьская буря и вместе с тем обострился боснийский кризис, министр иностранных дел фон Шен оказался больным. Но когда буря перенеслась и боснийский кризис благополучно разрешился, Шен опять вынырнул. Он однажды уверял меня в своей «почтительнейшей и глубочайшей преданности» и добавлял, что «приложит все усилия», чтобы быть достойным моего расположения, хорошо сознавая, как много он был обязан моему заступничеству за него и моему доброму отношению к нему. Теперь же этот «барон де Шен» рассказывал императору о своих, ничего общего с действительностью не имеющих, личных заслугах по преодолению боснийских затруднений и не постеснялся выступить перед его величеством с резкой критикой моего слишком уступчивого по отношению к народу и парламенту и слишком сурового по отношению к высокой персоне его величества образа действий в ноябре 1908 г. Это будто бы так на него подействовало, что он перенес опасный сердечный припадок. А его бельгийско-парижская супруга писала в Париж и Брюссель, что я «конченый человек», и заявляла в берлинских салонах, что она и ее муж как «верные кайзеру» (treue Kaiserliche) не желали больше иметь со мной ничего общего.

Носитель такой власти, как канцлерская, когда ему вручены карьера, горе и радость, надежды и будущность его сотрудников и подчиненных должностных лиц, вполне естественно при своем уходе переживает много тяжелого. Так бывало во все времена и во всех странах. Поэтому не следует удивляться и во всяком

[1] Глава III при переводе полностью пропущена.

случае не следует возмущаться тем, что носитель такой власти окружен атмосферой, где карьеризм преобладает над верностью. Но некоторые господа, которых служба ко мне приблизила, значительно превзошли ту нормальную меру неблагодарности, какая часто наблюдается при подобных обстоятельствах. Такие случаи не типичны, но поучительны.

На первом месте здесь стоит Готтлиб Ягов. Назначение его послом в Рим было одним из моих глупых поступков. «Как, такую мелюзгу вы хотите назначить послом за границу?» — с удивлением спросил меня Вильгельм II, когда я представил ему свой доклад. В свое извинение я должен был сказать, что Ягов вследствие своего продолжительного пребывания в Риме хорошо знаком с местными условиями, что наши отношения с Италией в то время, в 1909 г., были очень хорошими[87] и что, после того как Монтс своей бестактностью создал там много осложнений, желательно послать на его место такого тихого и скромного преемника, как Готтлиб Ягов. Когда последний узнал о том, что его так высоко вознесли из Люксембурга во дворец Кафарелли, он утопал в блаженстве. Я сообщил ему эту радостную весть перед обедом у нас в небольшом кругу. После обеда он пришел ко мне в библиотеку. Он начал говорить прерывающимся голосом: «Ваше сиятельство, я не оратор!» — утверждение несомненно правильное, как это выяснилось четыре года спустя, в 1913 г., когда он при Бетмане был статс-секретарем иностранных дел; в 1909 г. он говорил так: «Но я хотел бы сказать вашему сиятельству, что моя благодарность, моя неизменная преданность и, если мне будет позволено так высказаться, моя любовь к вашему сиятельству исчезнут лишь вместе с моим последним вздохом».

Однако я должен к сожалению констатировать, что эти уверения в глубокой и вечной благодарности, которые Готтлиб Ягов так прочувственно высказывал, не выдержали своего испытания: зимой 1914/15 г. Ягов очень охотно предоставил мне добродушно перевести его из скромных низов на высоту почетного положения посла, но когда он этого достиг, он в решающий момент отрекся от долга благодарности, который раньше он усиленно подчеркивал. Я сожалею об этом не из-за себя, так как я научился находить личное утешение в облегчающем чувстве глубокого презрения, а из-за отечества, которому, как я потом изложу это, направленные против меня действия министра фон Ягова причинили большой вред.

* * *

Первым приятным гостем у меня в Нордернее после моей отставки был Вальтер Ратенау, необыкновенно талантливый человек, несомненно не без благородных черт в характере. У него была исключительная способность быстро все схватывать и ко всему приспособляться; он прежде всего был чрезвычайно разносторонен. Правда, я не буду спорить против того, что сравнительно с его разносторонностью его основательность порою была недоста-

точна. Его отец, учредитель и руководитель Всеобщей компании электричества, Эмиль Ратенау в общем произвел на меня более значительное впечатление, чем сын, которого он сам будто бы сравнил с растением, приносящим больше цветов, чем плодов. По крайней мере для политики у Вальтера Ратенау недоставало положительности, трезвого взгляда, спокойной выдержки и прежде всего знания дела. Я не думаю, что он мог бы стать государственным деятелем. Он по собственному наблюдению знал Англию, Италию и Францию. И тем не менее он часто ошибался в определении политики других стран, перескакивая от пламенного оптимизма к чрезмерному пессимизму и наоборот. Альберт Баллин, знавший Вальтера Ратенау с детства и высоко ценивший его блестящие способности, любил рассказывать, как тот однажды сказал ему: «С сотворения мира было три действительно великих человека, и замечательно, что все трое они евреи: Моисей, Иисус, а о третьем я из скромности умалчиваю». Se non è vero, è ben trovato [1]. Нет спора о том, что Вальтер Ратенау был очень самолюбив и очень притязателен, слишком самолюбив и слишком притязателен для того, чтобы быть подходящим дипломатическим представителем, а тем более руководителем иностранной политики. После его ужасного убийства душевно ему преданный министр Ганиель говорил мне, что для политической славы Ратенау его преждевременная смерть явилась спасением, так как в качестве министра иностранных дел он скоро осканда́лился бы. При его блестящих дарованиях он был слишком самонадеян, слишком неусидчив, слишком порывист; у него постоянно появлялись новые мысли, но ни одна долго у него не удерживалась; ни одному плану он не давал созревать. Все события и всех людей он всегда оценивал с чисто субъективной точки зрения.

Когда я весною 1922 г. приехал из Рима в Берлин, Вальтер Ратенау, бывший в то время уже министром иностранных дел, посетил меня в отеле Бристоль. Он напомнил мне, что осенью 1914 г., когда я проживал в отеле Адлон, он был у меня и, указывая из окна моего салона на Бранденбургские ворота, сказал: «Если через эти гордые ворота с триумфом пройдет такой интересный и симпатичный человек, но не пригодный для управления монарх, как Вильгельм II, имея справа от себя такого совершенно негодного канцлера, как Бетман, и такого легкомысленного начальника штаба, как Фалькенгейн, то это означало бы, что мировая история потеряла свой смысл». Теперь, указывая из окна отеля Бристоль на оживленную улицу Унтер ден Линден, он заметил: «Если я встану там, по середине улицы, и закричу: «Да здравствует великое старое время, ура Бисмарку, да здравствует император и империя, да здравствует старая, славная Пруссия, да здравствует наша старая армия!», то меня вероятно сейчас же арестуют, но люди, за исключением нескольких

[1] Если это и неверно, то хорошо придумано.

оборванцев, будут смотреть на меня с умилением, а женщины будут посылать мне воздушные поцелуи. Если же я закричу: «Да здравствует республика!», то все засмеются. Республика у нас в Германии, это нечто обывательское, нечто почти комическое».

ГЛАВА V

Как и следовало ожидать, некоторые некрасивые черты характера Вильгельма II проявились и по отношению ко мне после моей отставки. Во время моей двенадцатилетней службы я замечал многое, что заставляло меня задумываться и не без тревоги ожидать того времени, когда из-за политики нам придется расстаться. Поэтому я не допускал никаких иллюзий и, несмотря на то, что Вильгельм II порою даже чрезмерно изливался передо мною в изъявлениях своих дружественных и сердечных чувств, я не ожидал от него, что он окажется по отношению ко мне менее неблагодарным и менее беспощадным, чем по отношению к некоторым другим и в особенности по отношению к моему великому предшественнику. Но все-таки здесь должен был быть известный предел, который я решился соблюдать.

Вильгельм II, как мне часто приходится об этом повторять, был в обращении с людьми, которые были ему симпатичны, и до тех пор, пока они были ему симпатичны, очень милым человеком. «Comme l'Empereur est bon garçon»[1], — сказал мне однажды во время кильской недели один любезный и интеллигентный француз, который вместе с императором, принцем Генрихом, несколькими адмиралами и со мной целый день, с 8 часов утра и до 10 часов вечера, катался на парусной яхте «Метеор». Вильгельм II действительно мог быть славным, очень славным малым. Но он к сожалению мог быть и несносным парнем, когда на него, невротеника, нападало дурное настроение или когда с ним случался припадок надменности и самообожествления — это древнее проклятие всех предрасположенных к деспотизму и несдержанных монархов. Пока я в 1909 г. находился при императоре, он не позволял себе распускаться. Он соблюдал некоторую осторожность и ограждал государственные интересы и свое собственное достоинство. Наверное после ноябрьских дней он с Гансом Оппердорфом, Теодором Шиманном, Эккардштейном, Евгением Редером и подобными господами говорил про меня много отвратительного и неверного. Вероятно и раньше он с своими приближенными иногда судачил про меня, не всегда удобного для него наставника. Но лишь после нашего окончательного разрыва он совершенно потерял сдержанность. Злопамятство, которое по поводу ноябрьских событий порою проявлялось в нем вследствие его досады на то, что я видел его таким ничтожным, теперь наконец вырвалось на свободу. Он пригласил профессора Шиманна к участию в поездке на север в 1909 г., рассказал ему в неверном осве-

[1] Какой император славный малый.

щении историю ноябрьского кризиса и предложил ему написать об этом в газете «Kreuzzeitung», в которой Шиманн в то время сотрудничал. Приблизительно в это же время церемониймейстер Редер побуждал депутата Эрцбергера дудеть в ту же дудку в газете «Märkische Volkszeitung». Эрцбергер, через шесть лет встретившись со мною в Риме, по собственному побуждению и повидимому с искренним сожалением признался мне, что Евгений Редер сказал — он выразился сильнее — ему тогда, что он может заслужить для себя и для своей партии благоволение у императора, если поможет распространению «верных сведений» о ноябрьских событиях. Таким образом того же самого Магиаса Эрцбергера, которого император в летние и осенние месяцы перед роспуском рейхстага в 1906 г. во многих своих ремарках на полях докладов называл «лживым петрушкой», «гадюкой» и даже «иезуитом», он теперь призывал стать присяжным поручителем за его величество.

Когда клеветнические вылады газет «Kreuzzeitung» и «Märkische Volkszeitung» уже готовы были поколебать мою твердую и добросовестную решимость предать забвению ошибки и необдуманные поступки венценосца, приведшие к ноябрьской буре, я получил от моего старого и верного друга саксонского обергофмаршала и председателя саксонской верхней палаты графа Фридриха Вицгума письмо, сразу осветившее то душевное состояние, в каком находился император после разрыва со мной.

В этом письме от 25 сентября 1909 г. говорилось следующее: «Сегодня я должен совершенно секретно сообщить тебе о том разговоре, какой я имел с императором 20 сентября в старом историческом зале замка Альбрехтсбург в Мейсене. Тотчас после обеда император прошел через весь зал прямо ко мне, хотя я и старался не попадаться ему на глаза, и пожал мне руку со словами: «Мы ведь еще не видéлись с вами после ухода Бернгарда». Когда он закуривал свою папиросу от моей сигары, я сказал: «Нет еще, ваше величество, но я две недели прогостил у Бернгарда в Нордернее». «Да? Ну как он?» «Очень бодр, ваше величество, мы все время катались с ним верхом, и я удивлялся, как ловко он сидит на коне». «Так, ну, а как он вообще себя чувствует?» «Вашему величеству известно, что я верный друг Бернгарда, но я не осмелился бы откровенно сказать о своем впечатлении, если бы ваше величество сами прямо об этом не спросили. Мне казалось, что он душевно бодр, но глубоко обижен, так как он знает, как изволите о нем говорить ваше величество». «Для меня было большим лишением расстаться с Бернгардом, но он в ноябрьские дни *изменил* мне. При существовавших между нами отношениях он не должен был признавать в рейхстаге, что я действовал неконституционно, а должен был сказать, что он обо всем знал и одобрял это». «Об этом я не могу судить, но разрешите мне сказать, что ваше величество никогда не были так популярны, как в настоящее время... именно образ дей-

ствий Бернгарда весьма существенно помог такому обороту вещей; успех говорит за него, и если ваше величество теперь упрекаете его в том, что он находился под влиянием Гардена, то это действительно обидно. Я знаю вполне достоверно, что Бернгард никогда не говорил с Гарденом, никогда не видел его и нигде с ним не встречался. Гарден с первого и до последнего дня всегда его травил и даже теперь продолжает травить его после его падения». «Это возможно, но тогда значит это делалось через Гольштейна, который за последние полгода совершенно опутал Бернгарда своими сетями; фактически *он* управлял Германией». «Ваше величество может быть припомните, что я всегда ненавидел Гольштейна и очень сожалел о том, что он имел влияние в министерстве иностранных дел в прежние годы, но такого влияния, как вы, ваше величество, думаете, он *никогда* не оказывал на Бернгарда. Бернгард часто говорил мне, что после падения Гольштейна он продолжал встречаться с ним по двум основаниям: во-первых, потому, что Гольштейн слишком многое знал, и если бы был раздражен, то мог бы это опубликовать ко вреду государства, и, во-вторых, потому, — а это именно вы, ваше величество, особенно хорошо понимаете, — что было бы не по-джентльменски с человеком, с которым находился в отношениях в течение тридцати или сорока лет, сразу порвать, когда он потерял свое положение».

Когда я прочитал в газетах «Kreuzzeitung» и «Märkische Volkszeitung» лживые «разоблачения», я написал моему преемнику пространное, по форме выдержанное в спокойных тонах, деловое письмо, в котором было сказано:

«Статс-секретарь иностранного ведомства должен был вам доложить [88], что я считаю необходимым, чтобы те недостойные подозрения, которые за последнее время против меня возбуждаются, были официально определенно и решительно опровергнуты. Распространяемые против меня обвинения — это дерзкая и бессмысленная ложь. Совершенно неверно, что я будто бы заранее что-то знал о содержании статьи, напечатанной в газете «Daily Telegraph». Доверяя моим подчиненным, я, перегруженный в то время срочными делами, сам не читал этой объемистой рукописи и был очень удивлен и возмущен, когда несколько недель спустя ознакомился с ней по представленной мне телеграмме агентства Вольфа. Газета «Deutsche Tageszeitung» утверждает, что его величество император случайно показывал «одному государственному деятелю» мои письма, в которых я будто бы изъявлял свое согласие. Пусть покажут мне эти письма! Их не существует в природе, как не существует и упомянутого «государственного деятеля». Я имею право требовать, чтобы были опровергнуты такие недостойные клеветнические выпады, направленные против чести человека, который при очень трудных обстоятельствах и не без успеха был в течение двенадцати лет министром и в течение девяти лет имперским канцлером. К чему же это приведет, если эта клеветническая кампания будет продолжаться, если я

в конце концов буду вынужден прервать свое молчание, если возникнет судебный процесс и моим данным под присягой показаниям будут противопоставляться предполагаемые заявления его величества? Если в правительственном официальном органе печати будет помещено определенное и категорическое опровержение, если во второй половине октября при моем предстоящем кратковременном пребывании в Берлине его величество со мной повидается и я затем переселюсь в Рим, вся эта грязная история прекратится. Но для того чтобы быть действительным, это опровержение должно коротко и ясно установить что утверждения газеты «Märkische Volkszeitung», которые с прикрасами подхватил ряд газет, во всем, что касается интервью в «Daily Telegraph», а также отношений ко мне его величества, совершенно не соответствуют действительности. Я не сомневаюсь в том, что вы, уважаемый друг, участвовавший вместе со мной в трудах и битвах минувшей зимы, поможете в интересах династии и отечества предотвратить дальнейший вред».

Бетман-Гольвег решил не отвечать мне письменно на мое письмо, а послал ко мне в Нордерней начальника имперской канцелярии, тайного советника Ваншаффе, чтобы тот уговорил меня не выступать публично против клеветнического злословия газет «Märkische Volkszeitung» и «Kreuzzeitung», которое, как это конечно хорошо было известно господину фон Бетману, было прямо или косвенно инспирировано его величеством.

ИЗ ГЛАВЫ VI

21 октября мы опять приехали из Нордернея в Берлин. Бетман тотчас же появился у меня в отеле Адлон, чтобы выразить мне свою благодарность за то, что я не начал кампании в прессе. Ему было известно, что многие германские публицисты всех партий и иностранные журналисты предлагали мне свои услуги. Еще более благодарен был он мне за то, что я не возбудил судебного процесса против Теодора Шиманна и Матиаса Эрцбергера. По его мнению, последствия такого процесса могли бы иметь неизмеримо вредное влияние для императора. «Ваше сиятельство, — заявил он мне не без пафоса, — оказали большую услугу, великую услугу короне и тем самым всей стране».

На следующий день я был приглашен на завтрак к их величествам в Новый дворец. Император поздоровался со мною так, как будто он лишь накануне виделся со мной и между нами ничего не произошло, и за завтраком говорил со мной лишь об аквариуме профессора Дорна в Неаполе, который он поручал моему особому попечению. После завтрака он пошел гулять в парк вместе с тоже приглашенными к завтраку германскими дипломатами, послом в Японии фон Муммом и посланником в Марокко доктором Розеном, и более мною уже не занимался.

Когда я вместе с Розеном и Муммом ехал домой, они оба рассказывали мне, что император развивал перед ними фантасти-

ческие предположения о том, что в ближайшее время должна вспыхнуть война Японии с Америкой. Этой войны он поджидал уже двадцать лет и более чем когда-либо убежден в том, что этот конфликт предоставит ему возможность иметь решающее влияние на судьбы мира. Мумм при поддержке Розена тщетно пытался возражать.

Злопамятство задетого в своем тщеславии императора, мелочная ненависть тех партий, против которых я в интересах государства боролся, тревожная ревность судорожно цеплявшегося за свой пост Бетмана, доходившая до того, что во время войны он учредил негласный надзор над моей частной жизнью в отеле Адлон, — все это создавало басни о том, что я будто бы сгорал желанием опять вернуться в канцлерский дворец.

Против этого я коротко и ясно устанавливаю следующие три пункта:

1. Я всегда был бы готов, *если бы* ко мне обратились с таким призывом, снова принять на себя ведение государственных дел.

2. Поскольку человеческий разум может предвидеть события, я твердо убежден, что если бы я до конца июля 1914 г. был опять призван к власти, я предотвратил бы войну. Во всяком случае, если бы спросили моего мнения перед отсылкой *ультиматума Сербии*, я стал бы бороться против этой глупости с такой же энергией, с какой я задал бы встряску стрелочнику, заснувшему перед проходом двух скрещивающихся поездов. При всех обстоятельствах я настоял бы на том, чтобы Австрия могла manu militari[1] выступить против Сербии лишь после обстоятельного изучения Германией сербского ответа и не иначе, как с разрешения Германии.

3. Поскольку меня не посвящали в положение государственных дел и *никогда у меня не спрашивали совета*, я ничем не мог помочь. На основании моей многолетней практики я слишком хорошо знал, что без точного знания всего политического положения можно празднословить, но нельзя давать советов. Что я будто бы пытался после моей отставки посредством интриг опять пробраться к власти, это гнусная клевета.

ГЛАВА VII

В начале января 1910 г. я получил в Риме известие о предполагавшейся смене посланника в Брюсселе, которое не только лично меня расстроило, но и больше того — наполнило меня серьезными политическими опасениями. Моя падчерица написала мне, что ее муж, граф Николай Валльвиц, который в течение девяти лет был германским послом в Бельгии и пользовался там всеобщим доверием и глубоким уважением, получил от имперского канцлера частное письмо с требованием безотлагательно подать

[1] С оружием в руках.

прошение об отставке. В Брюссель в ближайшее время назначается новый посол, а для Валльвица другого подходящего поста не имеется. Это мотивировалось намеченной имперским правительством новой ориентацией германской колониальной политики. При этом Валльвицу вменялось в обязанность при подаче в отставку принять меры к тому, чтобы его уход казался добровольным, обусловленным только состоянием его здоровья.

После отставки графа Валльвица я получил от моего преемника следующее письмо: «Глубокоуважаемый князь, ввиду существующих между вашим сиятельством и посланником графом Валльвицем отношений считаю необходимым — совершенно частно и доверительно, с просьбой соблюдать строжайшую секретность — сообщить вашему сиятельству те причины, которые обусловили предстоящую отставку графа Валльвица. Как вашему сиятельству вероятно уже известно, мы по разным соображениям *дальнейшей международной политики* наметили изменение нашей колониальной политики по отношению к Конго в смысле более резкого выступления *против* Бельгии. Если и раньше, летом и осенью сего года, имперское колониальное ведомство жаловалось на недостаточно энергичное содействие нашего брюссельского представительства в области колониальной политики по отношению к Конго, то теперь новейшее изменение нашей общей политики встретило там такое отношение, которое явно свидетельствовало о несогласии нашего посланника с предположенным нами новым политическим курсом, направленным против Бельгии. При таких обстоятельствах здесь возникло желание произвести перемены на брюссельском посту. Его величеству был представлен соответствующий доклад с добавлением, что графу Валльвицу мог бы быть предоставлен другой подходящий пост. Я лично имел даже в виду посольство в Мадриде. Но — это я сообщаю особенно доверительно — этот доклад был решительно и с немилостивым по адресу графа Валльвица замечанием отклонен его величеством, который высочайше соизволил решить, чтобы графу просто была дана отставка. После того как этот пост стал вакантным, ваше сиятельство наверное согласитесь с тем, что я поступил правильно, предложив его величеству назначить туда вашего многолетнего сотрудника Флотова».

Меня заставила задуматься над этой сменой лиц случайная фраза, брошенная моим старым другом итальянским министром иностранных дел маркизом Сан-Джулиано, который заметил, что новый германский посол в Брюсселе фон Флотов повидимому проводит какую-то странную политику. Он ищет сближения с французским и английским послами и повидимому надеется устроить из Бельгии с ее колониями «новую Польшу», т. е. произвести раздел Бельгии между Германией, Францией и Англией. К моему глубокому прискорбию я окончательно убедился в этом, когда уже после начала мировой войны прочел в бельгийской «серой книге» доклад бельгийского посла в Берлине барона Бейенса, который 2 апреля 1914 г., т. е. еще за четыре месяца до начала

мировой войны, сообщал о том, что германский статс-секретарь колоний господин Зольф по собственному почину предлагал французскому поверенному в делах и французскому морскому атташе заключить германо-французское соглашение относительно проектировавшегося обеими странами железнодорожного строительства в Африке.

Когда французский посол в Берлине Жюль Камбон по возвращении из отпуска спросил германского статс-секретаря иностранных дел фон Ягова, что означает это ничем не вызванное заявление германского министра колоний, Ягов ответил, что, по его мнению, такое соглашение между Германией и Францией с привлечением Англии было бы в высокой степени полезно. В таком случае, заметил Камбон, следовало бы пригласить и Бельгию к участию в совещаниях трех великих держав, потому что бельгийцы тоже строили железнодорожные линии в Конго. Пожалуй даже было бы желательно созвать для разрешения всего этого вопроса конференцию в Брюсселе.

Дальше в этом докладе бельгийского посла было сказано: «О, нет! ответил господин фон Ягов, потому что именно за счет Бельгии должно быть заключено наше соглашение. — То есть как так? — Разве вы не думаете, что король Леопольд возложил на Бельгию слишком тяжелое бремя? Бельгия не настолько богата, чтобы могла использовать естественные богатства этой обширной страны. Это свыше ее средств и сил. Она должна будет от этого отказаться». Посол полагал, что такой взгляд совершенно неправилен. Но господин фон Ягов не считал себя побежденным. Он развивал ту мысль, что только великие державы в состоянии колонизировать. Министр иностранных дел германской империи даже раскрыл сущность своей мысли, утверждая, что при происходящих в Европе переменах, когда вследствие развития экономических сил и средств сообщения обстоятельства складываются в пользу более сильных национальностей, мелкие государства не смогут сохранять своего независимого существования, каким они пользовались до сих пор. Они обречены исчезнуть или включиться в орбиту великих держав. Посол ответил, что этих точек зрения не разделяет ни Франция, ни Англия, насколько это ему известно; что он продолжает считать необходимыми некоторые соглашения для осуществления колонизаторских задач в Африке, но что на предложенных господином фон Яговым условиях общие соглашения невозможны. После такого ответа господин фон Ягов поспешил заявить, что он изложил только свое чисто личное мнение и что он говорил это совершенно частным образом, а не как имперский статс-секретарь с послом Франции. Однако господин Камбон придает весьма серьезное значение тем точкам зрения, какие фон Ягов не побоялся раскрыть при этой беседе. Он считал соответствующим нашим интересам осведомить нас о тех намерениях, какие официальный руководитель германской политики имеет по отношению к мелким государствам и их колониям. Я поблагодарил посла за его абсолютно конфи

денциальное сообщение. «Конечно вы оцените всю его важность»[1].

Когда летом 1870 г. вспыхнула война между Германией и Францией, князь Бисмарк сумел привлечь на немецкую сторону те «невесомые факторы», значение которых он всегда признавал, тем, что он разоблачил планы французского правительства, направленные против гарантированного международным правом нейтралитета и независимости Бельгии. Но к сожалению через сорок лет все произошло наоборот. Неуклюжая половкость нашего тогдашнего правительства предоставила нашим врагам возможность восстановить общественное мнение всего мира против нашего честного и миролюбивого народа. Я подчеркиваю с полной определенностью: глупость, а не злобность! Руководители германской политики летом 1914 г. не были ни дикими буянами, ни коварными поджигателями. Они просто были тупицами.

Считаю нужным отметить, что в конце марта 1910 г., когда фон Бетман посетил Рим, я сделал все от меня зависевшее, чтобы обеспечить ему дружественный прием. Я дал ему в вилле Мальта парадный обед с знатными итальянцами и прославлял перед министром иностранных дел маркизом Сан-Джулиано добрые намерения и прекрасные качества моего преемника. Но к сожалению без особенного успеха. Умный и проницательный Сан-Джулиано нашел Бетмана «простоватым и скучным» (naif et ennuyeux). Теми же двумя прилагательными «простоватый» и «скучный» бедняга два года спустя был охарактеризован и в Петербурге, когда он в июле 1912 г. явился туда с визитом.

Я не без тревоги передавал политические дела империи моему преемнику. Мои тревоги относились к ничтожеству Бетмана и к опрометчивости и самомнению императора. Внутри страны, как только консерваторы восстали против меня, взорвали блок и провалили закон о налоге на наследства, предусмотренные мною последствия этой политической ошибки проявились, я сказал бы, автоматически. Все дополнительные выборы после моего ухода показали быстрое и постоянное нарастание числа социал-демократических голосов.

Во всех частях империи, от Восточной Пруссии до Пфальца, поднялась социал-демократическая волна, которая раньше падала в течение трех или, вернее сказать, в течение шести лет. Результаты выборов в рейхстаг 1912 г., к которым Гейдебранд и его правая рука Вестарп относились с непостижимыми иллюзиями и на которые Бетман-Гольвег смотрел со сложенными руками в состоянии апатической беспомощности, внутри страны удручающе подействовали на всех здравомыслящих патриотов, а за границей воодушевили всех наших противников. Берлинский демократический сатирический журнал «Ulk» после выборов в рейхстаг 12 января 1912 г. поместил на первой странице

[1] Помещенная в кавычках часть донесения приведена в мемуарах Бюлова на французском языке.

очередного номера хорошо исполненный рисунок, изображавший Бетман-Гольвега, как он, вытянувшись перед императором, представляет свой доклад и держит в руках документ с надписью «110 социалистов!» Император сидит в шубе на скамье и чертит тростью на снегу слово «Бюлов». Вид у него очень удрученный. Понял ли Вильгельм II значение этих выборов? Сомневаюсь в этом, зная его легкомыслие именно по отношению к крупным политическим вопросам. Фактически столь значительное увеличение не только социал-демократических голосов, но и их мандатов являлось грозным предостерегающим «мене текель»[1] на фоне германского будущего. Не менее 66 из тех 69 избирательных округов, которые были завоеваны социал-демократией в 1912 г., находились в 1907 г. в распоряжении буржуазных партий: 29 — у консерваторов и 37 — у либералов. Число мандатов правых партий со 113 в 1907 г. упало до 69 при выборах 1912 г. Это был самый низкий уровень правого крыла после 1874 г. Либералы при выборах 1912 г. получили вообще наименьшее число голосов, какое они когда-либо имели. При выборах в 1907 г. я впервые объединил консерваторов и либералов всех оттенков.

При бетманских выборах 1912 г. впервые обнаружилась тесная коалиция всех левых элементов. В 1907 г. правое крыло с его 113 мандатами против 106 либералов, 105 представителей центра и только 42 социалистов оказалось на выборах самой сильной группой. В 1912 г. социал-демократия с ее 110 мандатами оказалась самой сильной партией в рейхстаге; у центра было 90 представителей, у либералов — 85 и у консерваторов всех оттенков — только 69. При выборах 1907 г. социал-демократы потерпели самое чувствительное и тяжолое поражение, какое им когда-либо приходилось переносить. Выборы 1912 г. дали им наибольший успех за все время существования рейхстага и империи. Огромное значение этого провала на выборах для бетманского правительства и для гейдебранд-вестарпского режима обнаружилось для всего мира лишь во время мировой войны.

Тем обстоятельством, что социал-демократия с ее 110 депутатами была с 1912 г. самой сильной партией в рейхстаге, объясняется не только наша вялая внутренняя политика во время всей мировой войны, столь постыдно противоположная той прямолинейной и непреклонной энергии, с которой Клемансо, Ллойд Джордж и итальянские министры вели свои народы во время войны, но также и то фальшивое и злополучное направление, какое Бетман-Гольвег и Ягов с самого начала дали всей нашей военной политике, направив ее против царской России, малодушно и слепо надеясь угодить этим социал-демократии и сохранить этим ее благорасположение. Точно так же и ободрившее наших противников скудоумное предложение заключить мир в декабре 1916 г., и еще более наивная резолюция рейхстага о

---

[1] Слова, появившиеся согласно библейскому рассказу на стене во время пира царя Валтазара и предвещавшие гибель его царства.

предложении мира в июле 1917 г., и наконец даже бессмысленное восстановление Польши — все это объясняется страхом бетманского режима перед крупнейшей и сильнейшей партией рейхстага.

Подобно результатам выборов в рейхстаг 1912 г., столь же неблагоприятен был для нас агадирский эпизод, который, как неудачный фейерверк, сначала поразил мир и затем всех рассмешил, а нас оскандалил. Прыжком «Пантеры» кинулись мы на Агадир при воинственных трубных звуках, а после речи Ллойд Джорджа жалобно забили отбой и выкинули белый флаг[89]. Через несколько месяцев после этой речи итальянский министр иностранных дел маркиз Сан-Джулиано говорил мне: «В тот момент, когда германское правительство отступило перед грубой угрозой Ллойд Джорджа, во Франции родился ésprit nouveau, новый дух, галльский дух, древний, воинственный, бранный дух галлов, который не проявлялся в них с 1871 г., который в 1888 г. снова был укрощен Бисмарком, а в 1905 г. вами». За прыжок «Пантеры» ответственность несет Кидерлен-Вехтер, который в 1910 г. сменил Шена на посту статс-секретаря иностранных дел. Когда он по пути из Бухареста в Берлин проезжал через Мюнхен, его встречали на вокзале, и один из его коллег поздравил его; на это он в присутствии многочисленной публики ответил слишком грубой шуткой: «Меня незачем вам поздравлять, потому что там, на Димбовице, мне было лучше и удобнее, чем теперь будет на берегах Шпрее. Но вы сами должны радоваться, что освободились от такого начальника, как Шен». Кидерлен до конца своей жизни утверждал, что причину неудачи выступления, начатого посылкой крейсера «Пантера» в Агадир, а также неудовлетворительного исхода переговоров с Францией относительно Марокко и Конго следует искать в том, что во время этой дипломатической кампании Вильгельм II шатался туда и сюда между угрозами и преувеличенными требованиями, с одной стороны, и малодушием и чрезмерной уступчивостью — с другой, в то время как канцлер Бетман, как только запахло порохом, совершенно разнервничался.

В последний раз я виделся с Кидерленом в январе 1912 г. в Риме, куда он приезжал на несколько дней, чтобы представиться королю и министру иностранных дел Сан-Джулиано, с которым до того он лично не был знаком. Кидерлен на обоих произвел впечатление способного, делового человека. Он каждый вечер приезжал к нам в виллу Мальта. У него был нездоровый вид, он показался мне изможденным и одутловатым. Кроме того он слишком много пил. Когда я уговаривал его соблюдать более строгий режим, он отвечал, что ему все равно осталось немного жить; поэтому он не хочет в чем-либо себе отказывать, а наоборот, желает, как прекрасно выразился его земляк Шиллер, высосать все подонки блаженного времени жизни. Кидерлен умер 30 декабря 1912 г. в своем родном городе Штутгарте от разрыва сердца на обеде у баварского посланника графа Моя,

тотчас после того, как, несмотря на предостережение хозяина и даже разливавшего напитки официанта, он выпил шестой стаканчик коньяку. Незабвенными для меня остаются его последние слова, с которыми он обратился ко мне при нашем последнем свидании в Риме. Когда он прощался со мной в вилле Мальта, я пожелал ему успеха на его служебном поприще и сказал ему: «Пейте поменьше коньяку и не курите таких крепких сигар, а в остальном не вешайте голову, вам кое-что удастся сделать». Кидерлен отвечал мне: «Глубоко признателен, ваше сиятельство, но я слишком хорошо знаю, что после вашего ухода мы внутри государства и во-вне вели крайне посредственную политику. Но попробуйте-ка вести хорошую политику, когда у вас с одной стороны [1], — а с другой — такая слабосильная фигура».

Преждевременная смерть Кидерлена во всяком случае была несчастьем для страны. Той жалкой политики, какую проводил его преемник Ягов вместе с Бетманом, Кидерлен никогда бы не допустил.

Непосредственно после прений в рейхстаге 9 ноября 1911 г., когда попытка канцлера Бетмана оправдать шаткую и непоследовательную политику в марокканском вопросе — прыжок «Пантеры» в Агадир, последовавший затем испуг перед грубыми английскими угрозами и наконец неудачный договор о Конго — совершенно провалилась, Эрнест Бассерманн в письме, посланном мне из рейхстага, так резюмировал свои впечатления: «Результат всех прений — небывалое поражение правительства. Подобного крушения внутренней и внешней политики никогда еще не бывало». Весной 1912 г. он жаловался: «Предсказание вашего сиятельства исполнилось. День Филиппи [2] наступил. На Вильгельмштрассе (в ведомстве иностранных дел) полная растерянность и сплошные неудачи. Все проваливается!» В декабре 1912 г. он писал: «Злосчастная и безрадостная политика! Более неловко немыслимо управлять. Это действительно день Филиппи, который должен был наступить. На востоке нарастает польская опасность; двойственная политика — самое худшее, что можно придумать. На западе французские мыши танцуют по всем столам». Вскоре после этого, в феврале 1913 г., он писал: «Согласно законам логики за Агадиром последовали Триполи [90] и балканская война. Внутри страны нераспорядительность, неловкость и неповоротливость достигли своей высшей точки. Всюду одно и то же: неясность и ненадежность». Бассерманн никогда не питал никаких иллюзий по отношению к Бетману. Еще 23 июня 1909 г., накануне решения вопроса о налоге на наследства, он в письме из рейхстага, опубликованном после его смерти, писал своей супруге: «Что теперь будет? Печальную роль играет Бетман. Неужели этот мягкотелый, нудный человек будет у нас канцлером?» И затем полгода спустя он писал — опять из рейхс-

[1] Здесь в оригинале пропущено слово.

[2] День победы Антония и Октавиана над Брутом и Кассием в 42 г. до нашей эры.

тага и снова своей супруге: «Мое впечатление от Бетмана нисколько не улучшилось. Этот человек не способен преодолевать затруднений; он малодушно, без бодрости и смелости, без малейших признаков гениальности пугается затруднений и падает духом. Духовная нищета!!».

Настроение консерваторов было не лучше. Граф Мирбах-Зорквиттен, убежденный консерватор, писал мне весной 1912 г.: «Современное положение весьма безрадостно, главным образом благодаря нашему руководящему государственному мужу, постоянно садящемуся между двух и даже между *многих* стульев. Как я ни старался относиться к нему объективно, он всегда мне несимпатичен. У него нет ни сообразительности, ни решительности».

Берлинский корреспондент газеты «Kölnische Zeitung» фон Гун писал мне еще до плохого исхода выборов 1912 г. следующее: «Бетман во всех направлениях ведет кунктаторскую политику и повидимому верит в то, что ему поможет какое-нибудь чудо. Он ничего не делает, чтобы противоборствовать явно опасному ходу событий. Это объясняется тем, что, несмотря на свои этические и философские воззрения, он не в состоянии вылезти из шкуры прусского бюрократа. На высочайших верхах государства мало интересуются внутренней политикой и вообще стали гораздо пассивнее. Само по себе это не было бы большим несчастьем, но при данных условиях это ведет к тому, что все совершается под знаком всеобщего расстройства. Если у нас раньше, даже при Бисмарке, говорили об упадочном настроении в государстве, то теперь у нас налицо упадочное настроение в правительстве, захватывающее все более и более широкие круги. Действительно падаешь духом, когда все кругом так безнадежно и нудно».

ГЛАВА VIII

Уже не один год прошел с тех пор, как я в моей последней речи в рейхстаге выражал надежду на то, что мы, немцы, станем более политически тактичными и постепенно придем к тому, что не будем уже всякого нашего противника обязательно считать дураком и злодеем. Это был бы хороший шаг вперед по указанному нам нашим великим поэтом пути освобождения от пут эгоистичной, ограниченной обывательщины. Но вот уже десять лет спустя, пережив мировую войну и переворот, я все еще спрашиваю, а далеко ли продвинулись мы вперед по этому пути? Однако я испытываю некоторое удовлетворение, когда думаю о том, что сам я от этих пут обывательщины уже давно освободился.

В 1913 г. во время моего пребывания в Бремене я впервые услыхал из уст Фиггера имя рабочего вождя Эберта, которого Фиггер считал хорошим и «относительно» разумным человеком в противоположность тогдашнему депутату рейхстага от города Бремена по фамилии, если я не ошибаюсь, Генке. Пять лет спустя

в Гамбурге на банкете в честь депутатов рейхстага я познакомился с депутатом рейхстага Эбертом, и он показался мне человеком с прирожденной добропорядочностью и здравым рассудком. Еще через пять лет мы встретились с ним у тогдашнего имперского канцлера Куно в его имении Аумюле близ Гамбурга и за столом долго беседовали о нуждах отечества. И опять, как пять лет назад, я от этой беседы вынес впечатление о нем как о человеке основательном и разумном. Он не пытался склонять меня ни к социал-демократии, ни к республике, не намеревался этого делать и повидимому на это не рассчитывал. Я попрежнему считаю подготовку к революции во время войны и самую революцию преступлением и глупостью и в настоящее время думаю, что республиканская форма государственного устройства и управления менее всего подходит для нашего народа. Но после того как во время мировой войны четыре имперских канцлера один за другим, начиная с Бетман-Гольвега, оказались совершенно несостоятельными, после того как Вильгельм II бежал за границу и созданная гением Бисмарка и мудростью старого Вильгельма I Германская империя пала, я считаю счастьем в несчастье, что волна революции вынесла на пост президента именно этого человека. Он во всяком случае доказал, что в нашей, столь неполитичной Германии рабочее сословие может выдвигать политические таланты, заслуживающие всяческого уважения характеры и выдающихся партийных вождей.

Но вернусь опять от горестных послевоенных времен в Бремен 1913 г. к моему другу Эмилю Фитгеру. Этому разумному и трезвому человеку очень не понравился тот шумный прием, какой именно в эти дни император Вильгельм II устраивал в Берлине своему шурину греческому королю Константину. Еще когда я был в Бремене, Фитгер не скрывал от меня тех опасений, какие вызывала в нем эта новая императорская импровизация. После того как я уехал из Бремена, он писал мне: «Прием греческого короля Константина в Берлине вызвал неблагоприятный отзвук во Франции и в Афинах, как этого и следовало ожидать; результаты повидимому получаются противоположные тем, каких ожидали. В Германии только одна газета «Kölnische Zeitung» осмеливается высказывать робкое официозное оправдание. Большинство же резко осуждает это интермеццо. Повидимому начинается новая эпоха личного вмешательства». Непоследовательность и неуравновешенность Вильгельма II при бетмановском управлении, или, вернее, при отсутствии управления, приняли такие размеры, что в Европе перестали серьезно относиться к германскому императору. Тому самому королю Константину, над которым после его поражения в фессалийском походе 1897 г. [91] он громко смеялся и издевался, теперь Вильгельм II преподнес прусский маршальский жезл, который носили Мольтке и Роон, который кронпринц Фридрих-Вильгельм и принц Фридрих-Карл получили за Верт и Метц [92]. Об отношении моего преемника к этой неразберихе мне писали зимой 1913/14 г.

из императорских сфер следующее: «Бедный Бетман останется еще вероятно только три или четыре месяца. У него очень удрученный вид. Вследствие домашнего горя (его сын, натворивший разных бед, был временно помещен в санаторий, а затем через посредство Баллина отправлен в Южную Америку), а также потому, что он постепенно превратился в комическую фигуру, он совершенно разнервничался. Его величество третирует его свысока, но все-таки терпит его, потому что Бетман во всем уступает».

ГЛАВА IX

Большую тревогу вызывало во мне изменение ситуации на Балканском полуострове в результате балканской войны, которое при неосторожной политике представляло бы для Германии опасность [93]. Когда в Риме в министерстве иностранных дел было получено сообщение о том, что Германия полностью и окончательно отказалась от Марокко, итальянский министр иностранных дел маркиз Сан-Джулиано отметил, как он сам мне об этом рассказывал, день и час и заявил своим секретарям, что теперь Италия должна итти в Триполитанию, к чему до сих пор в Риме мало было охоты. Итальянская экспедиция в Триполитанию дала толчок к балканским войнам, о возникновении и последствиях которых я 28 февраля 1913 г. писал из Рима Бассерманну следующее: «На том пути, который ведет от Агадира через Триполитанию к балканским войнам, мы за два критических лета потеряли много материальных ценностей, общее положение стало для нас более опасным, и наш авторитет умалился. Чреватым последствиями является то обстоятельство, что Вена не предотвратила войны на Ближнем Востоке, — что при невоинственном настроении большинства балканских государей вполне было возможно, — или по крайней мере до начала войны не смогла притти к ясному соглашению с балканскими народами». Такой неприятный оборот дел, добавил я, является следствием неправильной оценки соотношения сил на Балканах. Как Наполеон III в 1866 г. основывал свою тактику на неправильном представлении о перевесе австрийских сил над прусскими и только после Садовой освободился от этих иллюзий, так точно и поведение Австрии перед балканской войной основывалось на неправильном предположении, что турки легко одолеют своих противников. При этом неправильном предположении, которое существовало не только в Вене, но и в Берлине, не было принято энергичных мер к предотвращению враждебных столкновений; турок оставили в убеждении, что существующее положение вещей во всяком случае останется без изменения, и даже поощряли их к борьбе до тех пор, пока поражение турок не обнаружило ошибочности всего этого расчета и к сожалению в то же время не показало, что политика Тройственного согласия была настолько же более искусной, чем политика центральных держав, насколько боеспособность балканских народов превосходит турецкую страте-

гию и организацию. То, что я в то время смутно предчувствовал, теперь проявилось с полной определенностью: нет сомнений в том, что при большой предусмотрительности и ловкости вполне возможно было предотвратить балканскую войну. Холодный душ в Софии мог бы удержать невоинственного и осторожного короля Фердинанда от каких бы то ни было выступлений, твердый тон в Константинополе побудил бы турок к необходимым уступкам. Но ни в Белграде, ни в Афинах, ни в Софии ничего не было сделано, в то время как Порта скорее даже поощрялась к нападению.

Неправильно оценивали военную силу государства османов как Альфред Кидерлен, так и генерал-фельдмаршал Кольмар фон дер Гольц; это служит доказательством того, что даже хорошие специалисты часто из-за деревьев не видят леса. Кидерлен с нетерпением ожидал того момента, когда, как он выражался, «бравые турки зададут наконец хорошую встряску этим конокрадам с Нижнего Дуная». Такой выдающийся стратег, как Гольц, во время турецких маневров, которые приблизительно за год до битвы при Каркилиссе происходили на тех же самых полях, на которых впоследствии турецкая армия была разбита болгарами, заявил, что если бы это были не маневры, а действительное сражение, то османы имели бы самую блестящую победу, какая только известна в военной истории. Тем больше было разочарование в Вене и Будапеште, а также и в Берлине, когда болгары в марте 1913 г. разгромили Адрианополь, взяли в плен 29 пашей и угрожали Константинополю. Это разочарование в Вене и Будапеште скоро превратилось в нарастающую тревогу и нервозность, когда победители в первой балканской войне при дележе добычи вцепились друг другу в волосы и болгары были побиты сербами и греками с помощью румын. К сожалению я был слишком прав, когда в моем письме от 28 февраля 1913 г. писал Бассерманну, что положение вещей на Ближнем Востоке для Австро-Венгрии существенно изменилось и изменилось к худшему. Что это понимали в дуалистической монархии, об этом свидетельствовал тон австрийских газет, об этом свидетельствовали получавшиеся мной из Вены и Будапешта письма, по которым я мог судить о том, что по обоим берегам Лейты нарастает тревожное возбуждение.

Меня тревожило также и то, что Австрия могла ухудшить это опасное и неприятное положение своей «задиристой» политикой по отношению к сербам. «Все, что можно было сделать ошибочного по отношению к Сербии, это осуществит габсбургское самомнение», — писал мне осведомленный в балканских делах фон Рат и при этом добавлял: «К тому же еще недовольство Румынии! Дипломатия Тройственного союза обанкротилась. Ваше сиятельство при разрешении балканского вопроса и при оценке русской и австрийской политики в свое время были прекрасным мастером, а теперь вы оказались пророком». Я и сам уже 13 августа 1913 г. писал из Рима Бассерманну: «Суровый рок, который в прошлом столетии надвигался на габсбургскую монархию

из Италии и Германии, теперь надвигается с востока. Поймут ли в Вене, что с южными славянами нужно более искусно обращаться, чем в свое время обращались с немцами и итальянцами? Удастся ли Австрии сейчас справиться с сербами лучше, чем с Пьемонтом и Пруссией? Конечно Пашич не Кавур и не Бисмарк, Сербия не Пьемонт и не Пруссия, но шестьдесят лет назад тоже не думали, что Австрия может проиграть свою игру в Германии и Италии. Удастся ли с девизом «разделяй и властвуй» держать Сербию и Румынию, Болгарию и Грецию в разъединенном состоянии? В этом никак нельзя быть уверенным, раз нельзя было даже предотвратить образование балканского союза, который вследствие многовековых и глубоко укоренившихся противоречий еще не задолго перед тем считался абсолютно невозможным и который однако теперь осуществился. Очень жаль, что не удалось сохранить прежнее положение вещей, которое во всех отношениях было для нас более благоприятным и в особенности благоприятным для наших австрийских союзников. Очень жаль, что все наши труды и усилия, затраченные на Турцию и установление отношений к ней, пропали даром».

Я опасался, что габсбургская монархия попытается восстановить испорченное в значительной мере вследствие ее собственных политических ошибок положение на Балканском полуострове на костях померанских гренадеров. Я прежде всего опасался, что если возникнет подобное искушение, то при романтическом, ложно понимаемом рыцарстве нашего императора и при неловкости и ограниченности моего преемника, при юнкерском предрасположении ничтожного Ягова к «феодальной» Австрии мы из-за Австрии и через нее будем вовлечены в войну с Россией и следовательно в мировую войну. «При отсутствии надлежащего искусства и ловкости наши отношения к Австрии могут превратиться для нас в тяжелые оковы», — правильно писал в своей всеобщей истории нового времени историк Дитрих Шефер еще в 1912 г.

Без всяких побуждений с моей стороны в течение пяти лет, которые протекли с момента моего ухода до начала мировой войны, некоторые встревоженные патриоты, желавшие, чтобы Вильгельм II не закрывал для себя на будущее время возможности пользоваться моими советами, стремились настроить его величество благосклонно по отношению ко мне или по меньшей мере удержать его от мальчишеских выходок. Баллин делал все от него зависящее, чтобы побудить императора призвать меня опять к власти или по меньшей мере сноситься со мной по вопросам внешней политики. Баллин был убежден, что если бы я до 22 июля или хотя бы даже до 30 июля 1914 г. [94] был призван к власти, то война была бы предотвращена. Он также был убежден, что в 1916 г. я нашел бы пути к миру с Россией, а в 1917 г. — к разумному и справедливому миру с Англией. Но император в этом отношении не послушался Баллина, хотя он охотно к нему прислушивался. «Самым глухим из глухих является тот, кто не желает слушать».

Граф Август Эйленбург, который до конца своей жизни был верным и мудрым советником его величества, неуклонно, но с большой осторожностью и тактом пытался повлиять на императора, чтобы он опять призвал меня к власти. После ухода Бетмана в 1917 г. наступил такой момент, когда император после разговора с Баллином заявил Августу Эйленбургу: «Подите к моей жене и скажите ей, что она снова получает своего Бюлова». Но через несколько часов интриги немецкого посла в Вене графа Бого Веделя и тянувшего с ним одну лямку австрийского посла в Берлине Годфрида Гогенлоэ побудили императора отказаться от моей кандидатуры, и Валентини удалось подсунуть его величеству в качестве преемника Бетмана вместо меня младшего статс-секретаря Михаэлиса.

Если Вильгельм II оставался глухим даже к самым добросовестным предостережениям и советам, то по соображениям справедливости не следует умолчать о том, что и общественное мнение в Германии в те годы также не было склонно считаться с мнениями и предостережениями отставного министра. Но меня самого мои заботы и тревоги не оставляли в покое.

Когда я проезжал через долину Роны и через Симплон, возвращаясь в Рим, мои тревожные думы вылились в форму меморандума. Но каким образом можно было бы представить его в надлежащее место, т. е. императору? Мне было известно, что Вильгельм II даже краткие докладные записки читал неохотно. В марте 1890 г. даже такой документ всемирноисторического значения, как прошение об отставке князя Бисмарка, он едва проглядел, вместо того чтобы вдумчиво его проштудировать. При таких условиях Вильгельм II, в котором шептуны и сплетники постоянно поддерживали раздражение против меня, конечно взял бы в руки представленную мною бумагу уже с предвзятым недоброжелательством. Но и Бетман-Гольвег к сожалению также не мог бы отнестись к моим предостережениям беспристрастно и без предвзятого суждения.

После продолжительного размышления я написал краткое письмо министру двора графу Августу Эйленбургу, человеку с острым умом и свежей головой, человеку с благородными воззрениями и горячим бодрствующим патриотизмом. Я начал с того, что отсылку этого письма я храню в тайне, что не оставляю у себя даже копии или конспекта. Я подчеркнул, что я ничего не желаю для себя самого, так как доволен своим положением. По существу дела я развивал следующие мысли. Вследствие нашего испуга перед насупленными бровями Ллойд Джорджа и вследствие нашего неудачного соглашения о Конго мы укрепили самоуверенность французов и оживили до сих пор дремавшие во Франции стремления к реваншу. В случае серьезных разногласий между нами и Россией Франция уже не будет такой сдержанной, какой она была зимой 1908/09 г. Об этом свидетельствует происшедшая во Франции и заслуживающая внимания смена должностных лиц на ответственных постах. В 1912 г. Пуанкаре

сделался министром-президентом и министром иностранных дел, в 1913 г. «доброго лотарингца» выбрали президентом французской республики; такое же значение имело последовавшее три месяца спустя назначение Делькассэ послом в Петербург. При таких условиях заботливая и осторожная политика в наших отношениях с Россией является в настоящее время более необходимой, чем когда-либо. Франция — это такой пункт в Европе, где не в массах народонаселения, но в некоторых влиятельных кругах проявляется опасное воинственное настроение и создается серьезная военная опасность. Все будет зависеть в первую очередь от того, какую позицию займет Россия. На Балканском полуострове обстоятельства сложились для нас неблагоприятно вследствие балканской войны, которая во-время не была предотвращена. В то время как турки и болгары были разбиты, могущество и влияние Сербии и Румынии усилились. Это неприятно для нас и опасно для Австро-Венгрии. Теперь самое главное, чтобы Австро-Венгрия не разнервничалась. Нужно позаботиться о том, чтобы переждать существующее напряжение, которое не вечно будет продолжаться. Но никаких неосторожных жестов! И в особенности никаких провокаций! Я закончил мудрым изречением Гете, которое я в течение двенадцати лет неоднократно напоминал его величеству, что тот, кто не позволяет себя поймать сегодня, именно только сегодня, тот сто раз избегает опасности. Эти слова быть может вызовут у политиканов за кружкой пива и комнатных стратегов насмешливую улыбку, а глубокомысленные метафизики быть может найдут их легкомысленными, но в политической практике они часто себя оправдывают.

Ответ на мое письмо был по форме очень вежлив, но по существу весьма не утешителен. Его величество император именно в настоящее время не в настроении прислушиваться к таким благожелательным предостережениям. Гордые воспоминания юбилейного 1913 г., пышные проявления верности и благодарности ему и его династии по поводу 25-летнего юбилея его царствования и в особенности брак его единственной дочери с наследником наконец примиренного дома Вельфов [95] вполне понятно могли влиять на самоуверенность его величества. Момент, когда английский король и русский царь вели его дочь к алтарю, представлялся ему высшим достижением всей его жизни и деятельности, видимым знаком того, что с ним и с нами был сам бог.

ГЛАВА X

Я уже говорил, что после моего ухода мой преемник не считал нужным меня информировать или запрашивать моего мнения. За все те пять лет, которые протекли с момента моего ухода и до начала мировой войны, за этот долгий период времени, за те пять долгих и богатых событиями лет, в течение которых многое передвинулось, многое совершенно изменилось и много новых и отчасти опасных проблем появилось перед нами, — за все это вре-

мя господин фон Бетман говорил со мной лишь о пустяках и общих местах и ни разу не ставил на обсуждение ни одной серьезной темы. И то немногое, что этот склонный к подозрительности человек говорил со мной о политике, преподносилось мне в поучительном тоне с самонадеянностью и самодовольством. Трудно было удержаться от улыбки, когда добрый Теобальд излагал простые житейские вещи в форме длиннейших периодов, проникнутых тоном самопревозношения. Никогда при этих монологах — а он всегда, даже при одиноком слушателе, говорил так, как будто перед ним была большая аудитория, жаждущая поучений и наставлений, — он не намекал мне на то, что впоследствии, после крушения его политики сделалось лейтмотивом всех его жалоб, именно на то, что к нему во внешней политике перешло тяжелое, даже невозможное наследство. Он никогда не осмеливался выдвигать передо мной тот тезис, который впоследствии защищали его официозы, именно утверждение о том, что будто бы моя политика привела к окружению Германии. Наоборот, передо мной он проявлял всегда непреложный оптимизм и твердую самоуверенность.

В своих случайных письмах, которые он *неизменно* подписывал как «старинный, верный ваш почитатель, всегда вам благодарный Бетман-Гольвег», мой преемник ограничивался лишь академическими соображениями. Перед выборами в рейхстаг 1912 г. он в своем письме жаловался мне на то, что он к сожалению не может подыскать «подходящего лозунга для выборов». «Составить большинство из либералов, центра и части свободных консерваторов было бы возможно, но это завело бы нас слишком влево; поэтому проблема остается неясной и угрожающей». Ему в первую очередь нужно по возможности ограничить объем работ будущего рейхстага «и главное — внести успокоение». Красно-бледно-розовый имперский канцлер столь же невозможен, как черно-голубой. Даже и Бисмарк ставил своей задачей лавировать между партиями. Он думает так же поступать, как Бисмарк. Конечно ему тягостно сознавать, что он при выборах не может играть активной руководящей роли. Но как же поступить? Экономический избирательный лозунг не имеет притягательной силы, потому что вокруг него слишком мало споров. Бюловским таможенным тарифом и бюловскими торговыми договорами после всех криков слева и справа теперь, десять лет спустя, все довольны. Антисоциал-демократический избирательный лозунг к сожалению «в данный момент не подходящ». Не только для партий, но и для имперского правительства становится все труднее и труднее регулировать свое отношение к социал-демократии. Но к счастью внутри социалистических фракций рейхстага происходит такое сильное брожение, что ревизионистские и радикальные элементы уже не могут сохранять прежних форм обращения друг с другом. Международное положение мой преемник обрисовал лишь краткими чертами, но оптимистически, в частности касательно наших отношений с Англией: «В иностранных делах не произошло

ничего секретного. Отношения с Англией медленно, но неуклонно продвигаются вперед. Болезнь Сазонова затягивает осуществление потсдамских переговоров [96], однако нисколько не причиняя им вреда». С Францией он даже надеется заключить союз, «если тамошнее правительство достаточно укрепится». В конце концов оказалось, что оптимизм тяжелодумного канцлера ни в чем не уступал оптимизму императора, от природы самоуверенного и беспечного.

Летом 1913 г. я встретился с моим однофамильцем, посланником в Гамбурге Гансом-Адольфом фон Бюловым. Он уже в течение года представлял ведомство иностранных дел при господине фон Бетман-Гольвеге, когда того не было в Берлине. Он был сердечно предан имперскому канцлеру, который был приятным начальником для своих сослуживцев; в остальном — способный человек, с дипломатическим опытом и здоровым рассудком. Он рассказывал мне, что господин имперский канцлер часто ему жаловался на свою службу, доставляющую ему мало радости. Он очень чувствительная натура, нападки в парламенте и в прессе близко его затрагивают, какая-нибудь злобная карикатура может испортить ему целую ночь; ему недостает «кожи носорога», которой обладал князь Бюлов. Император часто обращается с ним бесцеремонно, чего имперский канцлер в сущности не должен был бы допускать. «Если я, несмотря на это, все-таки остаюсь, то только потому, что я действительно необходим для всеобщего мира. Это в особенности касается наших отношений с *Англией*. Бисмарк был великим человеком, но ему никто не доверял. Ваш глубоко мною уважаемый родственник князь Бюлов был очень умен, очень ловок, но ему тоже не доверяли. А мне доверяют! Европа доверяет мне, и прежде всего ко мне относится с доверием Англия! Без преувеличения могу сказать, что я стал оплотом европейского мира. Поэтому я считаю своей обязанностью оставаться, как бы трудно мне ни приходилось». Это было почти что за год до начала мировой войны, когда имперский канцлер Теобальд фон Бетман-Гольвег так говорил посланнику Гансу-Адольфу Бюлову. Несомненно — это ужасающий симптом политической непригодности пятого имперского канцлера, но в то же время это доказывает, что никаких воинственных намерений и коварных планов у него не было. Виновник ультиматума Сербии и вторжения в Бельгию, как это приходится часто повторять, не был волком в овечьей шкуре, как утверждают наши враги, а был овцой, которая летом 1914 г. нарядилась волком.

То обстоятельство, что «дела с Англией неуклонно продвигались вперед», однако не нашло себе выражения в договоре о темпах *судостроения*, которого я не мог осуществить при Вильгельме II, после того как впал у него в немилость, но который для моего преемника легко мог бы быть осуществим. Господин фон Бетман-Гольвег к сожалению малодушно принес посла в Лондоне Пауля Меттерниха в жертву слишком односторонним взглядам статс-секретаря Тирпица и минутному капризу его величе-

ства. Его преемниками один за другим намечались: посланник в Карлсруэ фон Эйзендехер, посол в Афинах барон фон Вангенгейм и прежний посол в Мадриде Фердинанд Штумм. Но в конце концов был переведен из Константинополя в Лондон тот самый Маршалль, который, несмотря на известную крюгеровскую депешу, которую он в свое время одобрил и решительно защищал в рейхстаге, был принят в Лондоне с той приветливостью, представляющей собою смесь благодушного любопытства с некоторым снобизмом, с какой англичане охотно приветствуют всякую знаменитую фигуру, будь она итальянским тенором, парижской актрисой, индийским набобом или известным континентальным государственным деятелем. Когда честолюбивый Маршалль, уже надеявшийся через Лондон попасть в канцлерский дворец на Вильгельмштрассе, что составляло цель его жизни, во время своего пребывания у себя на баденской родине умер столь же неожиданно, как перед ним Герберт Бисмарк и после него Кидерлен — все трое жертвы как работы, так и Бахуса, — его величеству пришла в голову мысль послать в Лондон князя Лихновского, уже восемь лет назад покинувшего дипломатическую службу. Остроумная госпожа Муханова нередко говаривала по-французски: «Нужно просить господа бога не слишком внимать нашим молитвам». А греки выражали это еще красивее: «Боги наказывают нас тем, что исполняют наши желания». Лихновский, бывший у меня в Бухаресте секретарем миссии, а затем, с 1899 по 1904 г., личным докладчиком при мне в ведомстве иностранных дел, осенью 1912 г. проживал вместе со мной в Гамбурге в отеле «Атлантик». Я уже собирался итти спать, как Лихновский, сияя от радости, ворвался в мою комнату с криком «достигнуто». Он держал в руке собственноручно написанное письмо императора. В этом письме говорилось приблизительно следующее: император высочайше соизволил избрать Лихновского своим представителем в Лондоне. Тот не должен забывать, что этим отличием он обязан своему всемилостивейшему государю, а не представлениям ведомства иностранных дел. Поставленная ему его величеством задача заключается в том, чтобы он давал многочисленные и хорошие званые обеды, показывался в замках и на скачках, — коротко говоря, считался «приятным, добрым малым» («a jolly good fellow») и таким образом приобрел популярность. Он должен быть ширмой, за которой император мог бы закончить сооружение своего флота. Когда это будет достигнуто, то всеобщий мир будет обеспечен, что составляет заветную цель жизни и работы его величества. В скобках нужно заметить, что трудно представить себе более непосредственное изъявление миролюбия Вильгельма II, который в письмах к своим личным друзьям выражался без стеснений.

Когда Лихновский на следующий день явился к имперскому канцлеру и к статс-секретарю иностранных дел, его приняли недружелюбно. Бетман-Гольвег был возмущен тем, что на трудный пост посла в Лондоне был назначен дипломат, который до

того не был даже посланником. Кидерлен отзывался о после как о духовном «младенце». Это было несправедливо. Но все-таки этот выбор был опасен. Лихновский как человек был благородно мыслящим дворянином, притом с добрым сердцем, был тем, что называлось в старом Берлине «душа человек». У него бывали временами хорошие мысли. Но он был насквозь диллетантом и поэтому не дооценивал трудностей дипломатической профессии и ее опасностей. Для него недостаточно было ясно, что в политике иногда легко уживаются друг с другом мысли, но не вещи и не люди. Гольштейн, любивший Лихновского как человека и оказывавший ему протекцию, говорил про него: «Добрый Лихновский думает, что поболтать о деле означает то же, что сделать дело». Лихновский в конце концов был больше болтуном, чем политиком. И он не всегда был тактичен. Он прежде всего был — и это являлось самым опасным в его положении — неврастеником. А в Лондоне был нужен человек с крепкими нервами и большим хладнокровием. Пять предшественников нового посла — Альбрехт Бернсторф, Мюнстер, Пауль Гацфельд, Меттерних и Маршалль — все обладали разными недостатками, но у них у всех было то спокойствие, которого недоставало Лихновскому. Долголетний баварский посланник в Берлине граф Гуго Лерхенфельд, близкий друг Лихновского, говорил мне после его назначения: «Лихновский не годится в капитаны при бурном плавании, но при спокойном море и ясном небе он мило справится со своей задачей. А барометр, как меня все время уверяет канцлер, стоит, слава богу, на хорошей погоде».

В то время такое предсказание погоды было господствующим, и до некоторой степени это было правильно. Если бы летом 1914 г. во всех европейских центрах, в особенности в Вене и в Берлине, политика велась с большей осторожностью, с большей предусмотрительностью, а главное с большим искусством, то по всей вероятности в Европе вскоре после этого не разразилась бы одна из страшнейших катастроф в истории, мировая катастрофа. Мне кажется, я уже упоминал о том, что один, особенно близко стоящий к Бетман-Гольвегу и сочувствующий ему публицист, профессор доктор Ганс Дельбрюк, в ноябре 1913 г. писал следующее: Франция вследствие неосновательной боязни перед нами взвалила на себя тяжелое бремя трехгодичной военной службы. Однако это не помешало тому, что во время последнего восточного кризиса Франция поняла общность ее и наших интересов по отношению к Греции, в то время как Россия предъявляла к французам такие политические требования, которые этим интересам противоречили. Вследствие этого напряженная атмосфера между Германией и Францией приятно разрядилась. Дружественным отношениям, установившимся за последнее время между нами и Англией, не повредило развитие нашего судостроения. В результате и здесь мы видим ослабление напряжения, сглаживание внутренних и внешних противоречий. Историк Эрих Маркс закончил свою речь на собрании представителей национальных

ферейнов в Мюнхене 16 января 1914 г. следующими словами:

«Взирая на мир, мы ныне замечаем, что облака проясняются. Мы можем надеяться, что самые тяжелые времена нашего вступления на мировую арену теперь уже позади. Тяжесть кризисов ослабела, Германия получает свободу движений. Мы достигли того, что факт нашего мирового положения и нашего морского могущества получает признание, как в свое время факт нашей сухопутной военной мощи».

27 января 1914 г., в последнее до начала мировой войны празднование дня рождения императора, посол Флотов, особенный любимчик канцлера Бетмана, в моем присутствии держал к собравшейся немецкой колонии в Риме явно заранее тщательно подготовленную и выученную наизусть речь, в которой буквально было сказано: глаза патриотов могут смотреть на международное положение с удовлетворением и полной уверенностью. Благодаря мудрости имперского канцлера Бетмана и уму статс-секретаря Ягова наше положение в мире очень благоприятно. Миролюбие и жажда мира у всех держав проявляются ярко и нелицемерно. Все они с доверием и теплой симпатией относятся к нам и к руководителю нашей теперешней дипломатии.

Но такие хронические изъявления самодовольства официальных и полуофициальных представителей Германии далеко не всегда совпадали со взглядами некоторых, даже благорасположенных к нам иностранных политиков. В апреле 1914 г. меня посетил в Риме мой старый бухарестский друг Петр Карп. В один прекрасный весенний день я возил его в моем автомобиле на виллу Адриана. Когда мы ходили с ним взад и вперед по Пойкиле, где восемнадцать столетий назад любил прогуливаться тщеславный император Адриан со своими философами, Карп вдруг остановился и в свойственной ему отрывистой, оригинальной форме сказал мне: «В моем лице вы видите последнего надежного друга Тройственного союза, какой еще остается в Бухаресте». Затем он с серьезным и озабоченным лицом объяснил мне смысл этого сорвавшегося у него изречения. Как это мне, бывшему в течение долгих лет германским представителем в Бухаресте, было известно лучше, чем кому-либо другому, Румыния присоединилась к Тройственному союзу лишь в расчете на то, что руководство этим союзом останется в руках Германии, так как существовали резкие разногласия между Румынией и Австро-Венгрией или, вернее, Румынией и транслейтанской половиной двойственной монархии[1]. После моего ухода в Румынии, так же как и в Италии, создалось впечатление, что управление кораблем Тройственного союза от Берлина перешло к Вене. В случае военных осложнений Румыния едва ли последует за Тройственным союзом, руководимым Австро-Венгрией. «Сам *я, что бы ни случилось*, останусь верным Германии. Но я останусь одиноким, если наступит критический момент,

[1] Венгрией.

а руководство Тройственным союзом будет в руках у Вены, как это повидимому имеет место в настоящее время».

Теперь же замечу, что после того как Румыния через три года перекочевала от центральных государств к Антанте, германский посол в Бухаресте г. фон Вальдгаузен, разумный и добросовестный человек, рассказывал мне, что зимой 1913/14 г. король Кароль сказал ему в своей обычной вежливой форме, но серьезно и твердо, что у него все более и более получается впечатление, что руководство Тройственным союзом находится уже не в Берлине, как раньше, а в Вене. В случае осложнений это затруднит для него присоединение к Тройственному союзу. Господин фон Вальдгаузен по долгу службы сообщил об этих словах румынского короля в Берлин, но получил раздраженный ответ: руководство Тройственным союзом более чем когда-либо находится в немецких руках; следует надеяться, что он, посланник, тотчас же в этом смысле уже возразил королю, а если он этого не сделал, то немедленно должен наверстать упущенное.

Пожалуй еще более, чем тревоги Карла, меня удручило сообщение русского посла в Риме, моего старого друга Анатолия Крупенского. Двадцать лет назад, когда я состоял послом в Риме, он был первым секретарем тамошнего русского посольства. Он прославился в европейских дипломатических кругах своим исполинским носом, громким голосом и порывистыми движениями. Это был впрочем глубоко порядочный человек, настоящий русский, насквозь «истинно русский», но как и большинство его единомышленников, он был настроен против австрийцев, хотя и не против немцев, и не питал особой симпатии к «гнилому Западу». Этот австрофоб был женат на австриячке, очень любезной и милой даме, дочери австрийского фельдмаршал-лейтенанта. В апреле 1914 г. Крупенский посетил меня и доверительно прочел мне письмо своего шефа министра Сазонова, в котором было сказано приблизительно следующее.

До Петербурга дошли сведения о том, что Австро-Венгрия собирается нанести *удар Сербии*. Подобное намерение существовало весной 1913 г., но вследствие итальянского протеста было оставлено венской дипломатией [97]. Надо надеяться, что этот план окончательно похоронен. При современном положении дел в Европе австрийское выступление против Сербии могло бы иметь опасные последствия для всеобщего мира. Россия не допустит разгрома Сербии Австрией. Теперешнее положение совсем не то, какое было в 1908/09 г. во время боснийского кризиса. В то время Россия была связана ранее заключенными соглашениями с габсбургской монархией относительно возможного превращения оккупации Боснии и Герцеговины в аннексию, а также и предложениями, сделанными в этой связи Извольским Эренталю. Теперь никакие путы не препятствуют России взять под свою защиту родственных ей по происхождению и по вероисповеданию сербов. К тому же за последние пять лет общее положение значительно изменилось и не в пользу центральных держав. Нако-

нец во время боснийского кризиса германская политика руководилась князем Бюловом, который занимал повсюду и в особенности в Петербурге более значительное положение, чем его преемник, и у него было больше сноровки и ловкости, чем у господина фон Бетмана. Господин Крупенский уполномочивается при каждом благоприятном случае предостерегать от необдуманного и опасного для общего мира выступления Австрии против Сербии. По этому поводу Крупенский подробно рассказывал мне, что Австро-Венгрия действительно еще весной 1913 г. собралась выступить против Сербии, но ей помешала в этом Италия, на сторону которой к счастью стала и Германия. Он просил меня предостеречь Берлин, где, как он думал, ко мне прислушиваются и следуют моим советам.

Я должен был в этом последнем отношении разочаровать Крупенского и сказать ему, что в Берлине не нуждаются в моих советах и не желают считаться с моим взглядом на политическое положение. Этого правила мой преемник упорно придерживается вот уже пять лет. Но я настоятельно просил русского посла переговорить с его германским коллегой господином фон Флотовом и через него воздействовать на Берлин. Когда я через несколько дней опять встретился с Крупенским, он сказал мне: «Я прочел письмо моего шефа господину фон Флотову, но он нахмурился, когда я подошел к концу письма Сазонова. Он сказал мне, что считает невозможным передать в Берлин такое сообщение, где так превозносится князь Бюлов и унижается его преемник, в то время как в действительности господин фон Бетман значительно превосходит господина фон Бюлова. При господине фон Бетмане и господине фон Ягове у кормила правления германская политика находится в наилучших руках и Европа, включая и Россию, в полной безопасности»[1].

Вполне понятно, что Флотов не хотел портить настроения своему начальнику и своему ближайшему личному другу, которому удалось добиться согласия от упиравшегося вначале императора на назначение его послом в Рим, после того как вместо умершего Кидерлена Ягов стал статс-секретарем иностранных дел. Оба выбора были весьма неудачны, как это вскоре и выяснилось. При сильном имперском канцлере ничтожный Ягов в качестве помощника во всяком случае был бы выносим. Но в качестве дубликата нерешительного, колеблющегося и боязливого Бетмана он только усугублял ошибки и недостатки своего начальника. Флотов еще в качестве посланника в Брюсселе был вреден. Еще менее подходящим он был для Италии, где мелкие интриганишки распознаются скорее, чем где бы то ни было.

Той же весной 1914 г. меня посетили в Риме два моих старых русских друга, министр финансов и председатель совета министров Коковцев и министр земледелия Кривошеин. Первый из

---

[1] Помещенные в кавычках слова Флотова приведены у Бюлова на французском языке.

них, войдя ко мне, с горькой усмешкой сказал, что он является невинной жертвой германской политики. После продолжительного пребывания в Париже, где он старался получить заем для России, он считал необходимым показаться в Берлине, чтобы наглядно продемонстрировать, что хотя Россия и является союзницей Франции и в качестве таковой занимает деньги у французов, однако она отнюдь не желает портить своих отношений с Германией. В Берлине в руководящих кругах ему представили самые дружественные и любезные заверения, которые он с радостью сообщил своему суверену. Но когда он через несколько дней приехал в Петербург и явился к своему монарху, его приняли немилостиво. Император Николай II раздраженным тоном и с горьким упреком сказал ему: «Вас провели в Берлине». Пока он, Коковцев, пожинал в Берлине прекрасные обещания и уверения, которые он принимал за чистую монету, германское правительство послало в Константинополь одного из самых лучших германских офицеров, генерала Лимана фон Сандерса, и не инструктором, а командиром расположенного на Дарданеллах турецкого армейского корпуса. Это означало наступить своему другу на его самую чувствительную мозоль. Император Николай сместил его с поста, чему, правда, помогли и интриги его предшественника, прежнего его покровителя, а теперь страшного противника графа Витте. О Витте Коковцев со свойственной русским необузданностью и несдержанностью в суждениях выражался так: «Этот ублюдок причинил России много зла. Будучи одновременно и грубым и фальшивым, он подготовил революцию, не имея силы овладеть ею». Несправедливое и во всяком случае чрезмерно суровое суждение. Если Витте и не достиг положения канцлера конституционного государства, то во всяком случае он своевременно заметил, что при таком слабом царе, как Николай II, дальнейшее существование чистого самодержавия в России становилось уже невозможным. Витте не был и дурным человеком. У него не было хороших манер, он был склонен к грубой суровости, часто был неуклюж, но злым он не был.

Относительно назначения Лимана фон Сандерса Коковцев говорил, что он не считает этого коварством с немецкой стороны и не усматривает в этом злого намерения, но очевидно в Берлине господствует достойный сожаления «сумбур». Посылка генерала Лимана фон Сандерса, после того что говорилось русскому послу берлинским ведомством иностранных дел, состоялась по непосредственному распоряжению императора и была осуществлена военным кабинетом без предварительного запроса иностранного ведомства. Когда германское посольство в Петербурге в своих донесениях сообщило о том возбуждении, какое вызвала в России порученная генералу Лиману миссия на Дарданеллах, Бетман и его сотрудники стали ссылаться на смягчающие вину обстоятельства. Их самих совершенно не спрашивали, но они сделают все от них зависящее, чтобы подобные неприятные инциденты не повторялись. Кроме того генерал Ли-

ман будет соблюдать величайшую осторожность. «В конечном результате много посуды было побито, и в Петербурге создалось впечатление, что в правящих сферах Берлина царит большой беспорядок». Когда после падения царской власти раскрылись русские архивы, тогда обнаружилось, какой большой дипломатической ошибкой была передача фактического командования именно на Дарданеллах германскому генералу.

Когда инцидент с Лиманом фон Сандерсом — худо ли, хорошо ли — уладился, император Николай заявил послу Делькассе, что России необходимо иметь открытое море по меньшей мере на юге. Последние попытки Германии совершенно вытеснить Россию из Турции и закрыть для нее Дарданеллы могли бы привести к столкновению этих чрезмерных немецких притязаний с жизненными русскими интересами. Он, царь, желает мира. Но Россия не потерпит обиды.

Вопрос о Дарданеллах в течение многих лет, еще при ведении переговоров о взаимной политической перестраховке, служил для князя Бисмарка важным средством для сохранения связи с Россией. Я сам в течение двенадцати лет при моих переговорах с Муравьевым и Ламсдорфом, с Извольским и Остен-Сакеном, с великим князем Владимиром и его супругой, с министром двора Фредериксом и с графом Витте и в первую очередь с императором Николаем II никогда не оставлял у них сомнений в том, что я, оставаясь верным традициям Бисмарка, не стану противиться стремлениям России к проливам. И при последних моих беседах с Бетманом, когда он приступил к исполнению своих обязанностей, я настойчиво и серьезно предупреждал его, что вопрос о Дарданеллах — это то «горячее железо», о которое можно ожечься.

В этом же смысле в последние месяцы моей службы я часто и убедительно говорил с Вильгельмом II.

Считаю нужным добавить, что русский министр иностранных дел Сазонов даже после неприятного инцидента с Лиманом фон Сандерсом не хотел разрыва с Германией. Шарль Риве, бывший в течение многих лет петербургским корреспондентом газеты «Temps», в своей книге «Последний Романов» рассказывает о том, что Сазонов, как только при русском дворе и в русских правительственных кругах улеглось первое волнение по поводу передачи активного командования на Дарданеллах немецкому генералу, запретил русским газетам обсуждать этот инцидент с чрезмерной горячностью. Когда Риве в своих корреспонденциях в Париж взял еще более резкий тон, Сазонов сказал ему: «Как вы не раздувайте этого, мосье, вы не поссорите нас с Германией». Француз Шарль Риве в своей книге добавляет: «Германия сама взялась за то, чего так опасался Сазонов. Тем лучше, скажем мы, французы».

И Кривошеин тоже говорил мне, что между Берлином и Петербургом возникали разного рода трения. Когда я спросил его, не грозит ли это опасностью миру, он отвечал: «Ах, бог

мой! Конечно и у нас имеются беспокойные люди, как и везде понемногу. Но мы без всякого сомнения не совершим такой глупости, чтобы напасть на Австрию или в особенности на Германию. Война между этими тремя империями означала бы — я в этом твердо убежден — конец трех великих династий». Когда я сообщил этот успокоительный ответ одной русской даме, с которою я давно дружил и которая на пасхальную неделю приезжала в Рим, она сказала мне: «Я думаю то же самое, что Кривошеин, и так же, как он, я горячо желаю сохранения мира. Даже более того, я верю в сохранение мира. Но чего я боюсь, так это революции в России. С таким слабым и неспособным правительством, какое имеется у нас в России при Николае II, революция восторжествует». Если бы мы в конце лета 1914 г. вследствие близорукой и неловкой политики не ввязались в войну, то вероятно в непродолжительном времени в России при слабовольном Николае II вспыхнула бы революция, которая назревала там после смерти императора Александра III. Этим всякая опасность войны между двумя империями была бы устранена. Русские революционеры избегали бы всяких внешних осложнений. Они стремились бы осуществить свой марксистский идеал у себя внутри страны и в этих целях в первую очередь посвятили бы себя без помех искоренению своих внутренних врагов.

ГЛАВА XI

В начале июня 1914 г. я покинул Рим, чтобы отправиться с женой через Берлин в Нордерней. По приезде в Берлин я в первые же дни встретился с некоторыми моими старыми знакомыми. Мне бросилось в глаза, что круги, принадлежащие к ведомству иностранных дел или близко к нему стоящие, оценивают мировое положение с чрезмерным, мне казалось даже с слишком чрезмерным, оптимизмом. В воскресный день, 28 июня 1914 г., вечером мы посетили госпожу фон Леббин, с которой я в последний раз встретился шесть лет назад у постели ее умиравшего друга Гольштейна. Мы слышали о том, что у нее был удар, что она лежит больная и парализованная в постели, и решили справиться о ее здоровье. Когда мы сидели у ее постели, ей сообщили по телефону от банкира Павла фон Швабаха, с семьей которого она в течение многих лет находилась в дружественных отношениях, что в Сараеве убит эрцгерцог Франц-Фердинанд и его жена герцогиня фон Гогенберг. Когда госпожа фон Леббин спросила меня, что я думаю относительно этого события и его возможных последствий, я сказал ей, что с нравственной точки зрения я, само собой разумеется, осуждаю и проклинаю это гнусное злодеяние. Что же касается политических последствий, то этот случай, смотря по тому, как его используют, может привести как к затруднениям, так и к облегчению.

Почти все те, кого я встречал на следующий день, были склонны видеть в сараевской трагедии облегчение. Австрийский

посол граф Сегени, до мозга костей верный слуга габсбургского дома, сын кавалера ордена Золотого руна и сам кавалер этого ордена, сказал мне, когда я выражал ему свое соболезнование: как христианин и венгерский дворянин я скорблю и оплакиваю судьбу эрцгерцога и его благородной супруги, но политически я смотрю на отстранение наследника престола как «на милостивое проявление божественного промысла». Страстный темперамент эрцгерцога, его ненависть к мадьярам, его слепое предпочтение чехов и югославян, его утрированный клерикализм привели бы к тяжелым потрясениям, пожалуй даже к гражданской войне. Во внешних делах он со своим фанатизмом, раздражительностью и упрямством был бы для Германии не особенно удобным союзником. «Да будет мир праху его!» — закончил императорский и королевский посол елейным голосом.

Из Киля мне сообщили, что император Вильгельм получил это печальное известие, когда катался на парусах на своей яхте «Метеор» в Кильском заливе. Сначала он был очень поражен, так как незадолго перед этим гостил у эрцгерцога в Конопиште, наслаждался его всесветно знаменитыми розами в его дворцовом парке и по своему обыкновению с ним как с будущим императором Австрии обсуждал, взвешивал и составлял разные планы на будущее время. Но император Вильгельм скоро успокоился, и его свите даже не особенно легко было уговорить его прекратить парусную гонку, так как у него были хорошие шансы взять им самим установленный заманчивый приз.

Все сведения из Вены сходились в том, что глубокая ненависть, которую император Франц-Иосиф питал к своему племяннику и наследнику, проявилась при его печальном конце почти бесчеловечным образом. С особой жестокостью, какая бывает свойственна характеру старых людей, много на своем веку переживших, император сделал все от него зависевшее, чтобы унизить память эрцгерцога и в особенности его ненавистной старому властелину морганатической супруги. Погребение по императорскому приказу совершалось ночью. При проливном дожде оно представляло собой зрелище, напоминавшее самые драматические сцены шекспировских королевских трагедий.

Хотя это отвратительное покушение и было организовано участниками крупного сербского тайного общества, но во всяком случае многое говорило за то, что сербское правительство не подстрекало к этому злодеянию и не хотело его. Сербия была изнурена двумя войнами. Военное столкновение с значительно более сильной австро-венгерской монархией даже самому отчаянному сербу представлялось рискованным делом, к тому же еще с непримиренными болгарами и с ненадежными румынами в тылу. Наконец именно эрцгерцог Франц-Фердинанд в качестве отъявленного врага венгров пользовался у югославян скорее симпатиями. В этом смысле высказывался не только тогдашний германский посол в Белграде господин фон Гризингер, но и находившиеся в Белграде корреспонденты больших немецких

газет. В этом смысле, насколько мне известно, впоследствии высказывался и австрийский гофрат Визнер, уполномоченный австрийским правительством произвести расследование всех обстоятельств этого террористического акта и в особенности его подготовки.

Прежде чем покинуть Берлин, чтобы поехать с женой дальше в Нордерней, я встретился на Вильгельмштрассе с моим преемником, которого я перед этим не застал дома, когда хотел нанести ему визит в его канцлерском дворце. Пять лет прошло с тех пор, как я сдал ему дела. Выражение его лица было менее озабоченным, чем я ожидал именно у него. Он мне напомнил о своем письме, в котором он еще два года назад писал, что считает своей важнейшей внутреннеполитической задачей «успокаивать». Теперь для внешней политики это еще более важно, чем для внутренней. Господствующая во всем мире нервозность бесспорна, но не обоснована. Сараевское преступление конечно отвратительно, но в политическом отношении оно может иметь хорошие последствия, вызывая отвращение к сербам в русских правящих кругах и в особенности у царя. Я возразил, что в этом я не вполне уверен. У русских в политике иные моральные понятия, чем у нас.

Когда мы проходили мимо министерства двора, я рассказал моему преемнику один анекдот про царя Александра I, того самого русского самодержца, который имел особенную склонность к сентиментализму и идеализму. Чрезвычайным послом Наполеона I до его похода в Россию был при Александре I генерал Савари герцог де Ровиго. Своим тактом, своей любезностью и прекрасными манерами он даже, несмотря на весьма щекотливые обстоятельства, сумел добиться доверия царя. Когда Савари был отозван, царь простился с ним, пожав ему руку и обняв его. Когда затем Александр I со своими высокими союзниками, австрийским императором Францем и прусским королем Фридрихом-Вильгельмом III, вступил в Париж в 1814 г., он велел попросить к себе герцога де Ровиго, в высшей степени любезно принял его и спросил, какой пост он занимает теперь. Герцог де Ровиго со вздохом ответил ему, что он не получил никакого назначения, так как он в немилости у Людовика XVIII. «Ну, это я приведу в порядок, — сказал великодушный самодержец всероссийский, — предоставьте это мне!» Император пригласил к себе одно пользовавшееся доверием короля Людовика XVIII лицо и просил его передать своему суверену, что для императора очень важно, чтобы герцог де Ровиго в скором времени получил пост, соответствующий его таланту и благородному характеру. Француз пожал плечами: «Невозможно, ваше величество! Герцог де Ровиго, он же генерал Савари, председательствовал в уголовном трибунале, который приговорил к смерти герцога Ангиенского, кузена его христианнейшего величества». Русский царь с удивлением посмотрел на француза и сказал: «Только и всего? А как же я ежедневно обедаю вместе с Беннигсеном и Ушаковым, которые

задушили моего отца!» Добрый Бетман, уже составивший у себя в уме представление о локализовании столкновений между Австрией и Сербией, явно испугался, когда я рассказал ему этот маленький анекдот, который с улыбкой доверительно сообщил мне за ужином один русский великий князь. «Благодарение богу, — сказал он, — за то, что такой цинический взгляд относится к прошлому. Я не сомневаюсь в том, что не только русский царь и его советники будут осуждать и порицать сараевское преступление, но что это злодеяние в моральном отношении выроет глубокий ров между русскими и сербами. Мы конечно останемся спокойными наблюдателями. Самое важное, что теперь нужно миру, — это спокойствие».

Через несколько дней мы приехали в Нордерней. Мое душевное спокойствие было нарушено, когда я прочел в газетах *об австрийском ультиматуме Сербии*, о котором мне в Берлине никто даже намеком ничего не говорил. О его громадном значении я конечно в первый момент не имел никакого представления. Газеты, которые я читал, утверждали, поскольку они были инспирированы ведомством иностранных дел, что Австрия послала Сербии этот ультиматум по собственному почину, что содержание этого ультиматума нам не было известно, что Австрия имела право так действовать, что весь этот спор, а также и возможная война Австрии с Сербией будут «локализованы». Эта последняя надежда представлялась мне довольно смелой. Но я надеялся, что мы по меньшей мере оставили за собой право проверить сербский ответ Австрии и что мы не предоставляли Австрии свободы действий в смысле военного выступления против Сербии. Когда телеграф принес известие о том, что австрийский посланник в Белграде Гизль немедленно после получения сербской ноты, прервал дипломатические сношения двойственной монархии с Сербией и со всем своим персоналом покинул Белград, для меня стало ясно, что мы стоим лицом к лицу с серьезнейшей военной опасностью, какая грозила нам за последние сорок три года, именно с опасностью всеобщей мировой войны. Я с ужасом также уяснил себе, что мы уже впали в злополучную зависимость от политики легкомысленного и даже с австрийской точки зрения необыкновенно неспособного графа Леопольда Берхтольда.

На следующий день, 26 июля, катаясь верхом, я встретил гостившего в Нордернее графа Бото Веделя, состоявшего в то время докладчиком в политическом отделе ведомства иностранных дел, и выразил ему свое удивление по поводу того, что он при таком напряженном мировом положении не возвращается на свой пост в Берлин. Он с удивлением посмотрел на меня, но в тот же вечер посетил меня из вежливости, чтобы сказать мне, что я очень встревожил его своим вопросом. Он тотчас же по телефону спросил одного своего коллегу и друга в ведомстве иностранных дел, нужно ли ему приезжать в Берлин. Тот сказал ему, что в его возвращении нет надобности. Все это пустой шум, все устроится к общему удовольствию.

Между тем грозные тучи все более и более сгущались на горизонте. Когда я два дня спустя встретил старшего брата дипломата Бото Веделя, члена палаты господ Эрхарда Веделя, я прямо спросил его, что это значит, кто из нас помешался: я или его брат Бото, до сих пор болтающийся по штранду? Тот ответил: «Мне самому это дело представляется неладным, и я посоветовал Бото поскорей поехать в Берлин». На следующий день граф Бото Ведель уехал наконец из Нордернея в Берлин. Он перед отъездом нанес мне прощальный визит и признался, что он и его коллеги и друзья из ведомства иностранных дел недооценили серьезность положения. Но впрочем нам можно быть спокойными: Англия, по имеющимся у него сведениям из Берлина, совершенно определенно останется нейтральной. Италия и Румыния пойдут с нами. Этот ясновидящий дипломат, представивший такие доказательства своей прозорливости, через три года был назначен послом в Вену, где он и императору Карлу, и императрице Зите, и герцогине Пармской, и эрцгерцогине Марии столь же наивно позволял водить себя за нос, как сам обманывал себя летом 1914 г. относительно мирового положения.

Когда находившаяся одновременно с нами в Нордернее сестра императора принцесса Виктория фон Шаумбург Липпе сообщила мне, что ее невестка, императрица, в ответ на ее запрос телеграфировала ей, что положение «очень серьезно», я с женой покинул любимый остров, которого я больше уже и не видал.

1 августа мы объявили войну России. В Гамбурге в отеле «Атлантик», где мы остановились, меня тотчас же посетил Альберт Баллин. Он был очень взволнован, не столько войной, сколько той «колоссальной неловкостью», с которой мы «влипли» в войну и которая давала основание ожидать многих бед при дальнейшем ходе событий, если на козлах останется тот же кучер Бетман.

3 августа последовало объявление нами войны Франции. 4 августа ко мне позвонил главный редактор газеты «Hamburgischer Korrespondent» господин фон Эккардт. Он сообщил мне по телефону, что Англия объявила нам войну. Я сказал ему: «Наступает горе Нибелунгов!» На следующее утро гамбургские журналисты рассказывали мне, что бюро прессы ведомства иностранных дел вплоть до 1 августа телефонировало гамбургским газетам, чтобы они щадили Францию и Англию, так как имеются «хорошие виды» на то, что обе западные державы останутся нейтральными. Еще 3 августа гамбургская пресса получила указание из Берлина по меньшей мере ничего не писать против Англии, так как она «весьма вероятно» будет соблюдать благожелательный нейтралитет. Вытекали ли эти директивы из сознательной лжи или из совершенно превратного понимания существовавшего положения, этого мне не удалось выяснить. Из Гамбурга я направился с моей женой в Берлин.

На следующий день после моего приезда император приказал мне явиться во дворец. Я был до глубины души потрясен, когда

увидел его бледное, испуганное и, я сказал бы, искаженное лицо. Он казался возбужденным и вместе с тем обессиленным. Глаза беспокойно бегали. Он показался мне состарившимся на десять лет, с тех пор как я в последний раз видел его в Новом дворце пять лет назад, через несколько месяцев после моей отставки. Он по старому обыкновению дружественно положил мне на плечо свою руку и начал разговор с замечания, что «ужасные» события последних двух недель физически очень его изнурили. По приезде в Берлин он целые сутки должен был пролежать в постели. «Небольшой курс лечения нервов посредством покоя», — сказал он по-английски с горькой усмешкой. Затем он рассказал мне, что он предложил имперскому канцлеру и статс-секретарю иностранных дел просить меня взять на себя заведывание посольством в Риме. «Это, собственно говоря, очень смелая просьба к вам, чтобы вы, бывший в течение многих лет имперским канцлером, снова заняли тот пост, на котором вы были двадцать лет назад. Это все равно, что просить фельдмаршала взять на себя командование дивизией. Но мне думается, что вы это сделаете, поскольку вы окажите мне этим услугу». Я тотчас же заявил, что я ко всему готов. Тогда император несколько смутился и продолжал: «Канцлер объяснил мне, что он будет настаивать на том, чтобы лично близко к нему стоящий господин фон Флотов не был отозван, а оставался бы послом в Риме, даже если бы вы туда поехали. Но он ничего не имел бы против того, чтобы и вы поехали в Рим и там были полезны Флотову». Я ответил ему, что само собой разумеется я в данном случае совершенно оставляю в стороне самолюбие, которое при нашем положении было бы недопустимо. Но если управление посольством не будет находиться в моих руках, я ничем не могу помочь. Такое двоевластие приведет лишь к недоразумениям и пререканиям. Никто не поймет, почему я в августе месяце без каких-либо официальных функций, без ясно очерченного круга моих задач проживаю в Риме, когда раньше, в качестве частного человека, я никогда не проводил там летних месяцев. При таких условиях мое пребывание в Риме может только повредить и во всяком случае не принесет никакой пользы. «Это я тоже сейчас же подумал, — заметил император, — и я сказал это Бетману и Ягову. Между нами говоря, у них обоих не было охоты посылать вас в Рим, поэтому нам придется оставить эту мысль».

Но самого важного вопроса, вопроса о том, как нам нужно действовать, чтобы сохранить за собой Италию и Румынию, император ни словом не затронул. Повидимому он был тщательно инструктирован Бетманом, который мог опасаться, что я испорчу его так тонко, по его мнению, задуманную политику дипломатических сетей и ловушек. Когда императору доложили о приходе начальника генерального штаба генерала фон Мольтке, он отпустил меня дружественным рукопожатием.

Я был принят Бетман-Гольвегом в той садовой гостиной канцлерского дворца, которая при Бисмарке служила бильярдной

комнатой, а впоследствии была превращена в канцелярию, где канцлеры обычно работали в жаркие летние месяцы. Бетман стоял посреди комнаты. Его взгляда, выражения его глаз я никогда не забуду. В третьей книге Моисея говорится о козле отпущения, которому Аарон возлагает на голову свои руки и призывает на него все злодеяния сыновей Израиля, все их преступления и грехи, чтобы затем прогнать его в пустыню: «Чтобы козел все их злодеяния унес с собой в пустыню. И его оставляют в пустыне». Есть одна знаменитая картина, если не ошибаюсь, английского художника, изображающая этого несчастного козла с неописуемо беспомощным, жалким выражением в глазах. Нечто подобное заметил я во взгляде Бетмана. Мы оба помолчали. Затем я спросил его: «Скажите пожалуйста, как все это произошло?» Бетман воздел свои длинные руки к небу и затем глухим голосом сказал: «*Да кто ж мог это знать!*» Для последовавшего спора о виновниках войны было бы очень полезно иметь моментальную фотографию германского канцлера в тот момент летом 1914 г., когда он так со мною говорил. Такая фотография могла бы послужить лучшим доказательством того, что этот злополучный человек действительно не хотел войны.

Когда он до некоторой степени овладел собой, он быстро, торопливо, перескакивая с одного предмета на другой, сказал следующее: «Будет жестокая, но короткая, очень короткая гроза. Я рассчитываю, что война будет продолжаться три, самое большее четыре месяца, и на этом я построил свою политику. А затем я надеюсь, несмотря на войну и даже именно благодаря войне, установить действительно дружественные, полные взаимного доверия, лояльные отношения с Англией, а через Англию и с Францией. Германо-англо-французская группировка была бы лучшей гарантией от тех опасностей, какими угрожает всей европейской цивилизации варварский русский колосс. Я имел честь под вашим руководством, глубокоуважаемый князь, участвовать в образовании политического блока консерваторов с либералами. Теперь дело идет о еще более высоких целях. Осмелюсь сказать: внешнеполитический культурный блок между Англией, Германией и Францией будет еще более значительным, благодетельным и плодотворным». Я был удивлен, даже поражен таким превратным пониманием фактического положения вещей.

Когда я теперь думаю об этих словах канцлера, сказанных им в 1914 г., я задаю себе вопрос, действительно ли Бетман в то время так думал, или он только не хотел признавать совершенных им больших дипломатических ошибок. Но является несомненным, что Бетман в августе 1914 г. именно так думал, как он мне это говорил.

ГЛАВА XII

Когда я возвращаюсь к вопросу, поставленному мною Бетману во время того незабвенного разговора, содержание которого я тогда же для себя записал, именно к вопросу о том, как все это могло

произойти, мне припоминаются слова, сказанные мне в мае 1915 г., за несколько дней до объявления Италией войны Австрии и до моего отъезда из Рима, моим старым другом Альберто Панза в саду виллы Мальта.

Панза вышел из школы Висконти-Веносты. Он многократно был посланником, в частности в Белграде, в Бухаресте и в Пекине, и трижды с успехом был послом в Константинополе, Лондоне и Берлине. Он, следуя совету Тьера, «ничего не воспринимал трагически, но ко всему относился серьезно». Он сказал мне в мае 1915 г.: «Господин Бетман и его сотрудники были далеко не так коварны, преступны, сангвиничны и воинственны, как о том говорят враги Германии. Но ваши правители в июле прошлого года были в сто тысяч раз глупее, чем какая-либо фантазия может это себе представить. Не желая войны, они своей неловкостью взвалили на себя самих и на вашу несчастную страну весь одиум этой страшной катастрофы».

Один выдающийся французский историк, Альбер Сорель, автор интересного труда «Европа и французская революция», когда подбирал материалы для другой своей книги «Дипломатическая история франко-германской войны», писал своей матери: «Я искал с полной добросовестностью, страстно доискивался причин наших несчастий 1870 г. и пришел к следующему заключению: главное, чего нам нехватало, это ловкости». Летом 1914 г. это можно было сказать и про германскую политику. Она доказала, что великий Мишель Монтэнь прав, когда он в своих «Essais» говорит, что «все горе этого мира происходит от ослиной глупости». Допущенные тогдашними руководителями германской политики ошибки велики и многочисленны. И несомненно самой большой из них было то, что подготовка ультиматума и дипломатические мероприятия во время вызванного этим ультиматумом кризиса производились при закрытых дверях.

Когда я в военную зиму 1915/16 г. проживал в Берлине, я часто проводил свои вечера у князя Гвидо Генкель-Доннерсмарка, с которым я близко познакомился во время моей службы в Париже в первой половине восьмидесятых годов. Он был человеком с большим опытом и с здравым рассудком. Он знал людей и знал свет. Он имел привычку, говоря о князе Бисмарке, с которым он был близок в течение многих лет, называть его с тонкой иронией «далеко не бездарным политиком» или «государственным деятелем с некоторым опытом».

В один памятный мне вечер старый князь Доннерсмарк сказал мне: «Один государственный деятель с некоторым опытом, князь Бисмарк, однажды говорил при мне, что Германская империя может вынести любого канцлера, но только не бюрократа». После этого он помолчал. Через несколько минут он продолжал: «Один не бездарный политик, Отто Бисмарк, однажды в моем присутствии сказал: «Мы вынесем любого канцлера, но только не профессора». Опять замолчал князь фон Доннерсмарк. Затем со вздохом сказал: «А вот теперь у нас имперский канцлер, который

и то и другое: и бюрократ и профессор». Бюрократическим свойствам Бетмана вполне соответствовало то, что он всецело оставил за собой разрешение вопросов, связанных с ультиматумом, даже после того как это привело к опасному кризису. Он хотел этим, как он сам во время кризиса говорил одному своему сотруднику, представить «образец мастерства» в дипломатическом искусстве. Специально по отношению к телеграммам, отправляемым в Лондон, он не только лично давал директивы, но частично сам составлял эти телеграммы. Профессорская черта проявлялась в нем тогда, когда он с своенравным доктринерством держался того мнения, что своей честностью и лойяльностью он добился прочной дружбы и надежной поддержки со стороны Англии и, опираясь на это, не боялся никаких серьезных осложнений, полагая, что русский самодержавный и православный царь не возьмется за меч в защиту сербских заговорщиков и цареубийц. Когда все эти предположения оказались иллюзиями и грезами и Бетман-Гольвег совершенно для себя неожиданно оказался на краю пропасти, он потерял голову. С этого времени он стал похож на утопающего, который хватается за каждую соломинку, в то время как почва уходит у него из-под ног и он уже захлебывается. Его безрассудность дошла до того, что накануне объявления войны России он пригласил к себе в канцлерский дворец сэра Эдуарда Гошена и «без всяких околичностей» предложил ему «соглашение» между Германией и Англией. За это он тотчас же получил саркастический предварительный ответ посла, а на следующий день — резкую отповедь от английского министра иностранных дел сэра Эдуарда Грея. В ответе английского министра на это своеобразное предложение союза со стороны германского канцлера говорилось о «торгашестве», о барышничестве, которое «могло бы причинить доброму имени нашей страны непоправимый вред».

Бетман-Гольвег, создав своей неловкой дипломатической политикой такую серьезную военную опасность для государства, какой мы не переживали в течение сорока последних лет, в то же время не позаботился ни о каких подготовительных мероприятиях на случай войны. Снова и снова приходится отмечать, что Бетман не хотел войны. У него, как и у его сотрудников, не было умысла, а было слабоумие. Статс-секретарь внутренних дел умный Клеменс Дельбрюк в конце июня 1914 г. вследствие переутомления уезжал в отпуск. 9 июля 1914 г., побуждаемый внутренним беспокойством, которое тревожило его с момента сараевского покушения, он вернулся в Берлин и в тот же вечер посетил Бетмана, который посвятил его в создавшееся общее политическое положение, как он сам его понимал. Это было в тот день, когда статс-секретарь Ягов принимал австрийского посла Сёгени-Мариша, выражавшего ему благодарность австрийского кабинета за ту готовность, с которой германский император и германский канцлер обещали Австрии полную поддержку по отношению к намеченной ими экзекуции против Сер-

бин. Ягов на эту благодарность ответил тем, что рекомендовал австрийцам возможно более энергично действовать. Когда Бетман информировал статс-секретаря Дельбрюка относительно создавшегося положения, он в пояснение добавил, что он *не знает* содержания предположенного австрийского ультиматума Сербии. Но он вместе с Яговом держится того мнения, что в случае военных осложнений между Австрией и Сербией можно будет пожар «локализовать». Когда Дельбрюк спросил канцлера, не следует ли принять те меры, которые давно уже намечались на случай военной опасности, и прежде всего закупить муку и зерно в Роттердаме, Бетман сказал, что неудобно с германской стороны предпринимать какие-либо шаги, которые могли бы быть истолкованы как подготовка к войне. Впрочем Дельбрюк может переговорить об этом с Яговом. На следующий день Дельбрюк посетил статс-секретаря Ягова, который так же, как Бетман, считал какие-либо мероприятия по хозяйственному обеспечению гражданского населения совершенно излишними. И статс-секретарю иностранных дел и канцлеру запросы статс-секретаря внутренних дел очевидно были неприятны. Как вскоре после этого рассказывал мне о том сам Клеменс Дельбрюк, и канцлер и статс-секретарь иностранных дел, когда он в первый раз, в начале июля 1914 г., приезжал в Берлин, намекали ему, что политическое положение отнюдь не требует его присутствия в Берлине. Поэтому Дельбрюк снова уехал в отпуск и лишь 24 июля вернулся в Берлин. Между тем ничего не было сделано относительно закупки хлебных запасов в Роттердаме. Секретарь казначейства Кюн отклонил затребованные кредиты со словами: «Никакой войны не будет». Лишь после повторных настойчивых обращений Дельбрюка к канцлеру Бетману требуемые средства были ассигнованы, но оказалось, что за это время запасы роттердамского рынка были уже раскуплены нашими противниками.

В противоположность Бетману, Клеменс Дельбрюк с самого начала рассчитывал на затяжку войны. Уже поэтому его сильно тревожила наблюдавшаяся в первые месяцы войны расточительность как на фронте, так и внутри страны. Он требовал немедленного учета и рационализирования продуктов питания, но не мог добиться от Бетмана осуществления своих предложений. В Берлине допустили неразумную и во всяком случае крайне рискованную австрийскую акцию с ультиматумом, но не приняли никаких подготовительных мер на случай серьезных осложнений. А в Париже еще в январе 1914 г. городское самоуправление путем значительных затрат, которые оно делило со всеми военными властями, решило настолько увеличить запасы муки в Париже, чтобы город во время закрытия подвоза в случае возможной мобилизации не испытывал никаких лишений. Военный губернатор Парижа генерал Мишель говорил на совещаниях по этому вопросу: «Время не терпит, нынешний год — особенный год. Мы не знаем, что он нам принесет. Мы не знаем

даже, не придется ли нам производить мобилизацию в марте или в апреле».

Если Бетман мог оправдываться тем, что он фактически ничего не понимал в дипломатии и внешней политике, то у статс-секретаря фон Ягова не могло быть и этих смягчающих вину обстоятельств. Он уже двадцать лет находился на дипломатической службе. Совершенно не пытаясь удерживать канцлера от его чудовищных ошибок, он, наоборот, поощрял своего шефа ко всяческим глупостям благодаря своему слепому пристрастию к «аристократической» Австрии. Ягов тоже (horribile dictu[1]) не верил в возможность войны. Он 18 июля 1914 г., за пять дней до вручения ультиматума, написал письмо послу в Лондоне, чтобы ориентировать его относительно предпринимаемой акции против Сербии. В этом письме было сказано, что Австрия желает решительно и окончательно разделаться со своим маленьким соседом и осведомила об этом Берлин. Мы не можем и не желали бы становиться Австрии поперек дороги. Но мы должны позаботиться о том, чтобы локализовать конфликт между Австрией и Сербией. Чем решительнее проявит себя Австрия, чем энергичнее мы ее поддержим, тем больше вероятия, что Россия будет сидеть смирно. Конечно в Петербурге подымется некоторый шум. Но по существу Россия не готова к войне. Франция и Англия в настоящее время не желают никакой войны. Указав еще на давно известные и, несмотря на точку зрения Бисмарка, постоянно повторяемые мнимые основания для превентивной войны, заключающиеся в том, что Россия-де через несколько лет будет более боеспособной, чем теперь, а немецкая группа будет слабее, и славянство станет еще более германофобским, Ягов однако заявлял: «Я не хочу никакой превентивной войны, но если придется биться, мы не попятимся. Но я надеюсь и думаю, что войну можно локализовать». В конце письма Лихновскому предлагалось содействовать тому, чтобы английское общественное мнение не слишком воодушевлялось в пользу Сербии. Нужно делать в этом направлении все возможное, хотя от симпатии или антипатии до разгара мировой войны еще очень далеко. Если сэр Эдуард Грей логичен и добросовестен, он должен помочь императорскому правительству локализовать конфликт. Так Ягов писал Лихновскому 18 июля.

В тот же день баварский поверенный в делах Шен, племянник посла, по поручению баварского правительства сообщилЯгову, что русский посланник в Мюнхене, господин Булацель, поручил через одно доверенное лицо «по-дружески» передать графу Гертлингу, что «Россия не допустит, чтобы Австрия съела маленькую Сербию». Баварский поверенный в делах по долгу службы сообщил в Мюнхен, что по его впечатлению статс-секретарь ответил на это мюнхенское предостережение «улыбкой». Но когда поднявшийся в Петербурге шум превратился в пушечный грохот

[1] Страшно вымолвить.

мировой войны, маленький Ягов больше уже не улыбался. У него как и у его шефа Бетмана совершенно расстроились нервы. Депутат рейхстага Гекшер рассказывал мне, что когда он 2 августа посетил Ягова, тот сказал ему: «У меня душа ушла не в штаны, а в самые пятки»[1].

Рядом с Бетманом и Яговом Циммерман, Штумм и Берген играли более второстепенную роль. Наибольшим влиянием пользовался Вильгельм Штумм, потому что он был в этом совете единственным, кто знал Лондон и Петербург по собственному наблюдению. Когда во время войны в закрытом заседании бюджетной комиссии рейхстага обсуждался вопрос о возникновении войны, один социалист, как мне об этом впоследствии по секрету рассказывал присутствовавший на этом заседании депутат рейхстага принц Генрих Каролат, спросил у представителей правительства: верно ли, что советник иностранного ведомства Вильгельм фон Штумм в конце июля 1914 г. в берлинском клубе «Унион» в присутствии свидетелей сказал: «Завтра утром я поставлю русских на колени». Со стороны представителей правительства ответа на этот вопрос не последовало. Не подлежит никакому сомнению, что Вильгельм Штумм не понимал серьезности создавшегося положения в отличие от своего шефа Бетмана не вследствие ограниченности или неспособности, а вследствие своего самомнения.

Иначе обстояло дело с помощником статс-секретаря Циммерманом. Это был дельный человек, и если бы он остался на консульской службе или был в ведомстве иностранных дел только рабочей пчелой, то он был бы очень полезен. Еще более он был бы уместен на должности верховного прокурора или регирунгс-президента у себя на родине, в Восточной Пруссии. Но в европейской политике Циммерман не очень много смыслил и совсем не знал влиятельных людей Петербурга, Парижа, Лондона и Вены. К тому же он по природе был склонен к «энергичным» выступлениям. Весьма добросовестный, в отличие от Ягова и также Бетмана, враг интриганства, честный и лояльный, он однако своим пагубным образом действий лишь способствовал обострению кризиса.

Докладчик по делам Тройственного союза Диего фон Берген во время вызванного ультиматумом кризиса вообще не осмеливался высказывать собственное мнение. Он на своем влиятельном посту в конце лета 1914 г. ничему не препятствовал и не хотел препятствовать, так как он больше всего заботился о том, чтобы нигде не иметь никаких столкновений. И ему действительно удалось во время мировой войны не только сохранить свое положение при всех своих разнообразных начальниках, но и зарекомендовать себя, что для него было много важнее, в глазах депутата Эрцбергера. Когда могущество этого политикана с течением войны все время усиливалось, он почти ежедневно являлся в ведомство иностранных дел и требовал себе на прочтение входящие и исхо-

[1] «Ich habe das Herz nicht in den Hosen, ich habe es in den Stiefelspitzen».

дящие бумаги. Так как даже слабый Бетман не хотел раскрывать всех государственных тайн нескромному, порой даже совершенно безудержному Матиасу Эрцбергеру, который к тому же имел обыкновение обо всем, о чем он слышал или узнавал, сообщать папскому нунцию в Мюнхен, то тайному советнику Бергену было поручено принимать Эрцбергера, по возможности меньше ему показывать, но зато в течение одного-двух часов выносить его болтовню и празднословие. Берген воспользовался таким сближением с Эрцбергером для того, чтобы при содействии этого при всех его недостатках весьма благодушного патрона достигнуть поста посланника при папском престоле.

Таким образом создалась та обстановка, которая привела Германскую империю и германский народ к мировой войне. Величайшей ошибкой слепых руководителей наших судеб было то, что они, как я уже это отмечал, ни у кого не спрашивали совета, никого не посвящали в свои намерения, в свои неудачные шахматные ходы. Я ни минуты не сомневаюсь в том, что если бы Бетман-Гольвег и его сотрудники после сараевского покушения попросили совета у тогдашнего посланника при папском престоле Мюльберга, раньше в течение многих лет служившего помощником статс-секретаря, или у посла в Вашингтоне Бернсторфа, или у графа Брокдорфа-Ранцау, или у Розена, или у Мумма, или у опытного, особенно опытного во всем, касающемся Англии, спокойно и трезво оценивавшего английскую политику, графа Пауля Меттерниха, то все эти господа удержали бы Бетмана и его сотоварищей и внушили бы им более разумное отношение к делу. Если бы меня, которого Бетман с самого момента моего ухода в течение пяти лет совершенно отстранил от политики и несчастным летом 1914 г. держал в полном неведении относительно своих планов и намерений, запросили о моем мнении, я прежде всего прямо поставил бы вопрос о том, действительно ли в Берлине желают превентивной войны.

Если бы на этот мой вопрос ответили утвердительно, то я сослался бы на то монументальное отношение, которое 16 февраля 1887 г. статс-секретарь граф Бисмарк по поручению имперского канцлера послал императорскому послу в Вене принцу Генриху VII Рейсскому и в котором было сказано следующее: «Господин имперский канцлер с интересом прочел ваше любезное донесение за № 99 от 4 сего месяца и нашел совершенно правильным сообщение вашего сиятельства вашему русскому коллеге о том, что мы никогда не начнем войны на том основании, что впоследствии рано или поздно такая война вероятно приключится. Никто не может настолько предвосхитить божеское предопределение, чтобы утверждать это с безусловной уверенностью. С течением времени могут наступить разного рода неожиданные события, которые могут предотвратить вспышку войны». В этом же духе князь Бисмарк категорически и принципиально отклонял превентивную войну и в своем часто цитировавшемся всеподданнейшем докладе своему престарелому государю. «Так же как в 1867 г. из-за

люксембургского вопроса, — писал здесь князь Бисмарк, — я и теперь никогда не посоветовал бы вашему величеству начинать войну только потому, что впоследствии ее вероятно начнет противник, будучи лучше вооруженным. Пути божественного предопределения никто с уверенностью не может заранее знать».

Я напомнил бы также тот резкий тон, в котором князь Бисмарк призвал к порядку моего старого полкового товарища и друга, бывшего в то время военным атташе в Вене, майора фон Дейнеса, когда он заподозрил его в том, что он побуждал австрийцев к выступлению против русских. Когда такое же подозрение возникло у князя Бисмарка по отношению к начальнику генерального штаба графу Альфреду Вальдерзее, великий канцлер написал начальнику военного кабинета генералу Альбедилю, что германская политика имеет своей задачей, если возможно, совершенно предотвратить войну, а если это невозможно, то оттянуть начало войны. В другой политике он, князь Бисмарк, не стал бы принимать участия.

Я прежде всего снова напомнил бы, что князь Бисмарк всегда считал военный конфликт между Австрией и Россией самой нежелательной для нас из всех разнообразных возможностей. Я допускаю, что Бетман и его сотрудники могли бы ответить мне, что они вовсе не желают превентивной войны. Но они думают, что войну между Австро-Венгрией и Сербией можно «локализовать». Я на это конечно возразил бы им, что такое предположение является очень опасной иллюзией, которая могла возникнуть вследствие незнания русских, французских, английских и вообще мировых отношений. Россия никогда не могла бы позволить Австрии инсценировать карательную экспедицию в Сербию. Если дипломатически будут действовать не очень осторожно, то созданный этим антагонизм между Австро-Венгрией, с одной стороны, и Россией и Сербией — с другой, может привести к тяжелому кризису, этот кризис — к подготовке к войне, *к острой военной опасности*. Франция тотчас же встанет на сторону русских. За последние четверть века никогда не возникало сомнения в том, что если в случае германо-французского столкновения русские пожалуй и будут некоторое время колебаться, прежде чем выступят против нас, то в случае русско-германского конфликта французские ружья сами собой начнут стрелять. А если бы мы — так сказал бы я в заключение — находились в войне с Россией и Францией, то более чем вероятно, что Англия воспользовалась бы такой блестящей конъюнктурой, чтобы без всякого риска задушить своего опаснейшего соперника в торговле, мореходстве и промышленности, тем более что этот экономический соперник в то же время является самым могущественным континентальным государством, следовательно по старому английскому представлению ее традиционным противником. Я спросил бы также, можем ли мы в случае войны быть уверенными в итальянцах и румынах. Подчеркиваю с полной определенностью, что такие вопросы и заявления с моей стороны ни в какой мере не являлись бы доказа-

тельством особенного политического остроумия или большого дипломатического опыта. Повторяю, что Меттерних, Мюльберг, Брокдорф-Ранцау, Бернсторф, Мумм, Розен и вообще всякий нормальный германский дипломат, по моему глубокому убеждению, в июле 1914 г. сказали бы то же самое.

ГЛАВА XIII

Идущим к гибели государственным деятелям и народам, как учит нас история, провидение нередко доставляет последнюю возможность избежать крушения. Князь Бисмарк в восьмидесятых годах однажды рассказывал в моем присутствии, что если бы Эмиль Оливье и герцог Грамон в 1870 г. умело и искусно использовали отказ наследного принца Леопольда Гогенцоллерна [98], то они избежали бы войны и вместе с тем имели бы большой политический успех. Бисмарк полагал, что немедленно по получении телеграммы князя Карла-Антона Гогенцоллерна, заявившего от имени своего сына наследного принца Леопольда отказ от прав на испанский престол, Эмиль Оливье должен был пойти в законодательное собрание и там заявить приблизительно следующее: «Не так давно кандидатура одного прусского принца на трон Карла V имела успех. Франция подняла свой голос, Францию послушались. Хорошие отношения между Францией и ее благородной сестрой — Испанией — никогда не нарушались. Что касается тех, которые своими претензиями и интригами создают опасность для европейского мира, то мы надеемся, и Европа надеется вместе с нами, что они не будут повторять своих попыток». После того как князь Бисмарк приблизительно в таких выражениях набросал эту речь, которую должен был бы произнести Эмиль Оливье, если бы он не был Оливье, т. е. дураком, он продолжал: «Что мог бы я тогда возразить? Я попал бы в очень трудное положение: со мной в то время еще не так считались, как впоследствии. Мой старый государь ни в какой мере не был ни воинственным, ни предприимчивым, точно так же и кронпринц. Августейшие дамы, королева Августа и кронпринцесса, были против меня. Все мои внутренние враги — демократы во всей Германии, северогерманские прогрессисты и южногерманские ультрамонтаны — с воплем набросились бы на меня как на нарушителя мира. Мне думается, что мне пришлось бы уйти в отставку».

Еще 25 июля 1914 г. мы имели возможность избежать войны. Нам нужно было бы лишь заявить Вене, что мы ни при каких обстоятельствах не допустим разрыва отношений между Австро-Венгрией и Сербией, прежде чем мы сами основательно не изучим сербского ответа. Если бы Австро-Венгрия без нашего согласия совершила военное выступление против Сербии, то она сделала бы это на ее собственный риск и страх; мы в этом случае не пришли бы ей на помощь, предоставив ее собственной ее судьбе. После изучения сербского ответа мы должны были бы с

удовлетворением официально констатировать, что сербское правительство, следуя мудрым советам всех великих держав, приняло почти все австрийские требования. Одновременно мы предложили бы оставшиеся спорными пункты передать на рассмотрение Гаагского трибунала. Таким образом было бы девять шансов против одного за сохранение мира. Несчастный император Вильгельм II сознавал это более ясно, чем Бетман и его сотоварищи.

Чтобы без помехи показать «свой образец мастерства дипломатического искусства», Бетман посоветовал своему суверену не отказываться от его обычной поездки на север. И когда кризис все более и более обострялся, Бетман настоятельно просил императора не отзывать германского флота из норвежских вод и самому не возвращаться на родину. Когда далеко на севере в Одде на Утнефиорде ему был представлен сербский ответ, Вильгельм II написал на полях, что он не понимает, чего же еще хотят австрийцы. Они уже добились хорошего дипломатического успеха. Одновременно генерал-адъютант Плессен по поручению императора телеграфировал начальнику генерального штаба Мольтке, что для Австро-Венгрии отпадает всякий повод к войне, так как Сербия признала большинство австрийских требований. Как известно, еще древние греки говорили, что у Фортуны пышные локоны на передней части головы, а сзади у нее гладко выбритый голый затылок. Кто не сумеет быстро схватить ее за локон, тот потом ее уже не поймает. Бетман и Ягов не сумели схватить ее за локон, — они предоставили австрийцам свободу действий. Они с равнодушным спокойствием и полнейшей беспечностью глядели на то, как австро-венгерский посланник почти тотчас по получении сербской ответной ноты, не изучая ее, покинул Белград и прервал дипломатические сношения с Сербией. Они допустили, чтобы австрийцы в тот же вечер объявили частичную мобилизацию против Сербии. В угоду Австрии, чтобы сохранить австрийский «престиж» и не оскорблять самолюбия «его апостолического величества», они упорно отказывались от всех английских предложений созвать конференцию и таким образом навлекли на себя и на нас обвинение в том, что мы были противниками всякого мирного урегулирования конфликта. Разве искусные государственные деятели могли бы упустить все эти возможности для предотвращения назревающего конфликта? Я отвечаю — нет! Германское правительство в 1914 г. плыло по течению, не делая даже попыток поворотом руля в последний момент избежать грозных стремнин, и вот гордый корабль Германской империи разбился!

Император вернулся наконец из Одде в Берлин 27 июня. Он обратился к ожидавшему его с расстроенным лицом и в смиренной позе канцлеру Бетману в резкой форме с тем же самым вопросом, какой я через несколько дней более вежливым тоном поставил моему преемнику: как все это могло произойти? Неудовольствие и гневное раздражение императора были вполне понятны, потому что Бетман до последнего момента уверял его величество, что миру не грозит никакой опасности и что в особенности с Англией он на-

ходится в постоянном общении и в наилучших отношениях. Граф Август Эйленбург, присутствовавший во время этого объяснения императора с канцлером, рассказывал мне, что Бетман-Гольвег, совершенно разбитый, заявил императору, что он во всех отношениях заблуждался, и просил об отставке. Его величество император ответил ему: «Вы заварили эту кашу, теперь вы же должны ее расхлебывать!»

Наш государственный организм, все колеса и пружины государственного механизма выдержали это великое, величайшее испытание. Но наша стратегия оказалась столь же неудачной, как и наша дипломатия. Мольтке был столь же неудачен, как и Бетман-Гольвег. Вместе с ними обоими неудачником был император, который не умел ставить подходящих людей на самые ответственные посты в государстве. Правильно еще две тысячи лет назад говорил один греческий философ, что стадо оленей, предводительствуемое львом, может оказаться сильнее стада львов, если им будет руководить олень. С гордостью, грустью и радостной надеждой взирала вся Германия на войско 1914 г., которое наш самый ожесточенный противник, французский маршал Фош, называл самой лучшей армией в мире. Однако опытный до некоторой степени наблюдатель уже тогда должен был задавать себе вопрос, сможет ли даже такое войско, как германское, парализовать последствия политических ошибок, совершенных руководителями германской государственной политики.

Князь Бисмарк как в 1870, так даже и в 1866 г. умел устраивать дела так, чтобы формальное объявление войны исходило от противника. Так как весь свет судит главным образом по внешности и, как еще говорили греки, видимость иногда бывает более важной, чем действительность, то это давало Бисмарку бесконечно важные «благоприятные невесомые шансы» для его игры. Бетман-Гольвег был достаточно неуклюж и неловок, чтобы возложить на нас одиум нападения. Если до некоторой степени еще понятно, что после того как мы оказались в войне с Россией, мы должны были как можно скорее нанести удар Франции, то уже совершенно неразумным и непонятным является, почему мы должны были объявить войну России. Это создало против нас в глазах всего мира хотя и несправедливое, но во всяком случае трудно опровергаемое обвинение в том, что мы явились поджигателями войны. Генерал Мольтке многократно уверял меня в том, что он не только не хотел преждевременного объявления войны России, но что для него, наоборот, было бы лучше, если бы мы по возможности вообще оттянули наш разрыв с Россией. Точно так же и Тирпиц не настаивал «на стремительном ударе», его вообще не было в Берлине во второй половине июня. Он находился на курорте в Тарапе. Прусский министр внутренних дел Лебель, который одновременно с ним брал ванны и пил воды, рассказывал мне впоследствии, что Тирпиц очень испугался, когда из вывешенных в курзале телеграмм узнал, что считавшаяся такой безобидной австрийская акция с ультиматумом привела к столь серьезному дипло-

матическому кризису. Они с Тирпицем тотчас запросили имперского канцлера, не должны ли они вернуться в Берлин. Бетман ответил им убедительной просьбой не приезжать в Берлин, «так как это может привлечь внимание». Но Тирпиц и Лебель все-таки в конце концов уехали в Берлин против воли канцлера, так как они считали не соответствующим своему служебному долгу оставаться за границей, когда государство находится в столь опасном положении.

Почему же с такой стремительностью мы объявили 1 августа войну России? Причины этого, как и многих других неверных дипломатических шахматных ходов, заключались во внутреннеполитических установках или, вернее сказать, во внутреннеполитических опасениях канцлера. Альберт Баллин наглядно изобразил мне сцену, которая в его присутствии разыгралась в канцлерском дворце в день объявления войны России. Когда Баллин вошел в устроенную прямо на земле садовую гостиную канцлерского дворца, где тогда были приняты такие страшные решения, он увидел, как имперский канцлер, или военный канцлер, как его с этого момента уже начали называть, крупными шагами в большом возбуждении ходил взад и вперед по комнате. Перед ним за столом, заваленным книгами, сидел тайный советник Криге. Криге был примерный, добросовестный, старательный чиновник. Пользуясь выражением Бисмарка, его можно было назвать юристом, который твердо сидел в своем седле; но его политические дарования стояли значительно ниже уровня его юридических знаний. Бетман, так рассказывал мне Баллин, время от времени обращался к Криге с нетерпеливым вопросом: «Ну что же, объявление войны России еще не готово? Мне необходимо сейчас же иметь текст объявления войны России». Криге, имевший совершенно расстроенный вид, между тем искал подходящих прецедентов в наиболее авторитетных учебниках международного и государственного права, начиная с книги Гуго Гроция «О праве войны и мира» и кончая учебниками Блюнчли, Гефтера и Мартенса. Баллин позволил себе спросить имперского канцлера: «Ваше превосходительство, почему вы собственно так ужасно торопитесь объявить войну России?» Бетман, это «длинная никудышность»[1], как его остроумно назвал социалист Франк, ответил: «Иначе социал-демократы не будут со мной». Мы с Баллином дали этому ответу такое психологическое объяснение: Бетман понял, в какое страшное положение он поставил себя и государство; он боялся ответственности. Инстинктивно он прежде всего желал успокоить левые элементы, потому что их он больше всего боялся. Он думал этого достигнуть, направив острие войны, предотвратить которую ему не удалось, против царской России.

Этой неверной тактики Бетман-Гольвег придерживался до самой своей отставки.

Когда 3 августа 1914 г. за объявлением войны России по-

[1] Игра слов — lange Unzulänglichkeit.

следовало объявление нами войны Франции, это было мотивировано ложными основаниями (Unwahrheiten). Французам нетрудно было доказать, что французские летчики не бросали никаких бомб на железнодорожный путь Нюренберг — Ингольштат.

Чтобы ускорить разрыв с Францией, сделавшийся по военным соображениям необходимым после объявления нами войны России [99], к Франции было предъявлено требование предоставить нам в обеспечение Бельфор, Туль и Верден. Такое требование пропаганда Антанты могла раструбить на весь мир как доказательство немецких завоевательных планов и немецкой ненасытности. Наш посол Шен даже не был в состоянии исполнить это телеграфное предписание. Однако эта берлинская телеграмма все-таки попала в руки французам. К сожалению приходится констатировать, что когда разразилась мировая гроза, то спасовали не только Бетман-Гольвег и Ягов, Вильгельм фон Штумм и Диего фон Берген, но и наши послы в иностранных государствах.

К числу наших ошибок в июле 1914 г. нужно также отнести нашу игру в прятки с Италией. Бетман и Ягов опасались, что Италия не станет держать в секрете дело с ультиматумом и что таким образом намеченная против Сербии акция дойдет до сведения Петербурга и вызовет там дипломатический протест. Мимоходом замечу, что это было бы милостью провидения, если бы таким образом начатая вручением ультиматума Сербии безумная акция была бы задушена в самом зародыше. Чтобы провести Италию, статс-секретарь фон Ягов в течение всей недели, предшествовавшей вручению ультиматума, на запросы итальянского посла Боллати, который по поручению своего правительства изо дня в день спрашивал, не предпринимается ли что-либо Австро-Венгрией против Сербии, как об этом ходили слухи в Бухаресте, в Константинополе и в других местах, неизменно отвечал, что об этом не было и речи. Ни в Вене, ни в Берлине нет таких намерений. Совершенно очевидно, что если центральные государства желали иметь на своей стороне Италию на случай серьезных осложнений, к каким легко мог привести ультиматум Сербии, то они должны были бы заблаговременно заручиться сотрудничеством Апеннинского полуострова. Конечно этого нельзя было бы достигнуть без некоторых уступок с австрийской стороны. По ходу вещей они были неизбежны, если мы не хотели, чтобы Италия оказалась в лагере наших противников. Но так как таких уступок не было сделано, то Италия в решающий момент оказалась в таком положении: Тройственный союз был нарушен не только по букве, но и по духу предпринятой Австрией, без предварительного соглашения с Италией, акции. К тому же мы до самого последнего момента держали итальянское правительство в полном неведении. Наконец мы сами объявили войну России и Франции, и это предоставило итальянцам легкую возможность вырваться из сетей договора. Князь Бисмарк весь наш союзный договор основывал на обороне. Он считал немыслимым, чтобы канцлер Германской империи, которая больше всего была заинтересована в мире, был на-

столько глуп, чтобы допустить объявление нами войны Франции или России.

31 июля итальянский совет министров принял постановление *о нейтралитете*. Самый влиятельный и самый надежный наш друг в Италии, не занимавший еще в то время официального положения, Джиованни Джиолитти, заявил после изучения положения премьер-министру Саландра и министру иностранных дел, его близкому другу и политическому единомышленнику Сан Джулиано, что после совершенного Австрией и к сожалению допущенного Германией бессмысленного выступления против Сербии единственно возможной для Италии позицией является нейтралитет. Можно было заранее предвидеть, что здесь ничем не могли помочь письма и телеграммы императора, адресованные им королю Виктору-Эммануилу, которого он лично часто обижал. Объявление Италией нейтралитета доставило Франции громадное преимущество, дав ей возможность перебросить свои войска с итальянской границы, с южных Альп, на германский фронт. Это подготовило благоприятное положение для битвы на Марне, а эта битва, как на это указывают при ретроспективном взгляде все военные критики мировой войны, имела решающее значение для всей мировой войны. Так страшно мстят политические ошибки. Не может быть сомнения в том, что в конце концов войну выигрывает или проигрывает не военная сила, а политическое искусство. Мировая война была проиграна в первую очередь Бетманом и Яговом, а не нашими полководцами.

Нечто подобное произошло и по отношению к Румынии. Здесь король Кароль, который в течение всего своего правления считал своей величайшей задачей удержать свою страну в случае большой войны на стороне Германии и Австро-Венгрии, теперь был поставлен в невозможность присоединиться к нам. Произошло все так, как мне предсказывал это еще весною в Риме Петр Карп. Когда к нему без предварительного уведомления и без какой-либо разумной мотивировки неожиданно было предъявлено требование стать на сторону центральных держав в войне, сделавшейся возможной вследствие легкомыслия австрийской и слабости германской дипломатии, в войне, которая могла превратиться в мировую войну, старый мудрый и достойный король Кароль оказался лицом к лицу с дилеммой: или после почти полувекового правления сложить свою корону и отвернуться от своей приемной родины, или же в качестве Гогенцоллерна и прусского офицера изменить своей родной стране.

Почти ежедневно я встречался с моим старым любимым другом князем Карлом Веделем. Он был убежден, что наша армия будет достойна своей старой славы и что она совершит все человечески возможное, но войска Антанты превосходили войска обоих центральных держав своей численностью. Князь Ведель имел продолжительный разговор с начальником генерального штата генералом фон Мольтке перед его отъездом в главную ставку. По вычислению главного генерального штаба против

трех миллионов солдат обоих центральных государств стояло пять с половиной миллионов солдат Англии, Франции, России, Бельгии и Сербии.

Ведель сожалел о том, что Германия, несмотря на ухудшившееся за последние годы политическое положение, не использовала надлежащим образом своих вспомогательных источников военной силы. Франция с народонаселением на 28 миллионов меньшим, чем в Германии, вступила благодаря закону о трехгодичном сроке военной службы в войну почти с такими же военными силами, как Германская империя. Генеральный штаб имел в виду более широкий военный закон, чем в конце концов ему удалось внести в 1913 г. Мольтке, по словам Веделя, не имел достаточной силы преодолевать препятствия, стоявшие на пути его более широких предложений. В имперском казначействе эти предложения встретили мелочные финансовые возражения, которые при таком жизненном вопросе конечно должны были бы отступить на задний план. Бетман-Гольвег не был канцлером с широким размахом и не умел энергично проводить свои предложения. У наших союзников были еще большие упущения. Австро-Венгрия, в угоду которой мы извлекли меч, вследствие своего внутреннего разложения и при слабом и все более и более ослабевавшем правительстве в своих вооружениях и в увеличении численности войск стояла значительно ниже возможного уровня.

Ведель еще в августе 1914 г. указывал на то, что Антанта, владея морями, имеет больше возможности снабжаться продовольствием, чем густо населенная Германия, требующая значительного подвоза съестных припасов. У Антанты для увеличения и пополнения ее войск и военных припасов были более многочисленные и обильные источники, чем у центральных держав. Ведель, подобно мне, не разделял мнения Бетман-Гольвега, что война не долго будет продолжаться, что разразившаяся мировая война будет только «короткой грозой». Мы оба задавались вопросом о том, сможет ли германское народное хозяйство, построенное на предположении обширного товарного импорта, вынести затянувшуюся войну. Я выражал опасение, что при нашей неповоротливости и при слабости нашего дипломатическо-политического руководства Италия, Румыния и в конце концов даже Соединенные штаты присоединятся к нашим противникам. Ведель очень сожалел о том, что в такое серьезное время между дипломатией и генеральным штабом нет того тесного общения, какое я поддерживал с Шлиффеном, а также и с Мольтке. Отношения между Бетман-Гольвегом и Мольтке были более чем холодными; оба они были обидчивы и больше чем нужно сторонились друг друга.

Во время разговора с начальником генерального штаба Ведель с тревогой заметил, что состояние его здоровья неважно. Мольтке рассказал ему, что с ним приключился серьезный обморок вследствие одного «политического недоразумения», которое во всяком случае самым ужасающим образом обнаруживает безголовье и

сумбурность нашего тогдашнего руководства. 1 августа, т. е. через день после объявления Германии «на положении угрожающей военной опасности» и за несколько часов до объявления окончательной мобилизации, в Берлине была получена телеграмма германского посла в Лондоне. Князь Лихновский сообщал в этой телеграмме, что Англия готова гарантировать нейтралитет Франции, если она не подвергнется нападению со стороны Германии. Это извещение было получено императором Вильгельмом и канцлером Бетманом не только с глубоким вздохом облегчения, но и с почти торжествующей радостью, которая несомненно свидетельствовала как о миролюбии их обоих, так и об их политической невинности. Император тотчас же велел позвать начальника генерального штаба и приказал ему остановить поход на Францию; вся армия немедленно должна обратиться фронтом против России. Когда Мольтке указал на то, что этот акт может вызвать непоправимый беспорядок, привести к непредвиденным последствиям и нарушить весь план мобилизации, император сделал ему резкое внушение и приказал своему флигель-адъютанту передать 16-й дивизии, уже направлявшейся на Люксембург, непосредственный приказ его величества немедленно же остановиться. В согласии с Бетманом, который с триумфом кричал, что вот оказывается, что в англичанах он все-таки не ошибся, император послал телеграмму английскому королю Георгу, извещая его о том, что он с радостью и благодарностью принимает английское предложение. Если Англия своими военными силами гарантирует нейтралитет Франции, то он, император Вильгельм, принимает на себя обязательство до 7 часов вечера 3 августа не переступать французской границы. В ночь с 1 на 2 августа пришел к императору ответ его кузена английского короля. Король Георг заявил, что предложения императора он вообще не понимает; здесь повидимому произошло какое-то крупное недоразумение со стороны германского посольства.

Действительно, оказалось, что князь Лихновский неправильно понял телефонное сообщение английского министерства иностранных дел. Вместо того чтобы, как это требовалось азбукой дипломатического искусства, как можно скорее пойти к сэру Эдуарду Грею и привести вопрос в полную ясность, наш совершенно деморализованный кризисом последних дней посол немедленно же сообщил в Берлин мнимое предложение Англии о нейтралитете. Когда ответ короля Георга пришел в Берлин, император был уже в постели; его разбудил от первого сна этой тревожной телеграммой его кузена его лейб-егерь, замечательный Шульц. Он тотчас же велел позвать Мольтке, принял его в одном нижнем белье и сказал ему, что из английского предложения нейтралитета ничего не получилось и поэтому мобилизация должна продолжаться. Мольтке уверял князя Веделя, что вызванное этим невероятным qui pro quo потрясение страшно поразило его. У него было такое ощущение, что он стоит на краю пропасти, он чувствовал, что с ним как будто приключился удар. Конечно это он

преувеличивал, но все-таки случай этот свидетельствует о том, что бедный Мольтке психически и физически действительно был тяжело болен.

Князь Ведель считал начатый поход на Париж слишком стремительным. К наступавшим войскам предъявлялись такие требования, какие, по его мнению, выходили за пределы человеческих сил. Но мы оба, Ведель и я, радостно приветствовали блестящее начало войны, положенное захватом Люттиха. В пороховом дыму Люттиха германский народ впервые увидел того великого генерала, который в течение всех четырех лет войны покрыл себя неувядаемой славой, украсил германскую армию новыми богатыми лаврами, который, несмотря на тявканье слепых демагогов и детскую критику ничего не понимавших в военном деле и в политике кабинетных ученых, несмотря на свои политические заскоки, как бы печальны они сами по себе ни были, навсегда останется одной из величайших фигур германской истории, — генерала Людендорфа.

В следующие дни мы с Веделем радовались победам при Мюльгаузене, Саарбурге, Нефшато, на Маасе и при Монте, при Шарлеруа, Мобеже и Сен-Кантене. Нам сообщили, что наши уланы уже видят башни Парижа, что они будто бы видят уже Эйфелеву башню. Но вскоре после этого Веделю пришлось говорить с одним младшим офицером, который по делам службы был у Мольтке в начале сентября, когда наше наступление уже расстроилось. Когда он вошел к начальнику генерального штаба, он был поражен, увидев его сидевшим за столом с лицом, закрытым обеими руками. Когда он поднял голову, посетитель увидел бледное лицо, залитое слезами. Через день или два Веделю сообщили из кругов свиты императрицы, что ею была получена телеграмма от ее высочайшего супруга: «*Молитесь за нас!*»

Обширные политические и стратегические планы нельзя заранее так нанести на бумагу, чтобы через несколько лет просто можно было их приводить в исполнение. Такие планы — это не селедочный товар, который можно замариновать на несколько лет вперед. Это особенно часто повторял и подчеркивал Бисмарк. Наполеон I очень часто менял заранее намеченные планы, когда на поле битвы по ходу сражения он замечал, что положение изменилось. Ведение войны и политики было бы значительно проще и легче, чем в действительности, если бы призванные действовать государственные деятели и полководцы могли просто выдвинуть ящик стола и вынуть оттуда подходящие ко всякому случаю и обеспечивающие успех рецепты. Тот план, который за несколько лет до начала мировой войны был составлен гениальным графом Альфредом Шлиффеном, конечно мог давать некоторые указания, он мог даже намечать главную линию ведения войны, но к нему не следовало относиться, как к такому указанию, которое нужно слепо и механически выполнять. По словам апостола, «буква мертвит, а дух живит». Что же касается духа плана Шлиффена, то именно ему Мольтке 2-й [100] во многих существенных пунктах

несомненно изменял, как на это неоднократно указывала военная критика и как это понятно даже простому диллетанту.

Вполне основательными оказались те сомнения и опасения, которые бедный Мольтке высказывал мне еще в сентябре 1906 г., когда мы вместе с ним катались на ипподроме и когда он жаловался мне на то, как тяжело принимать ему на себя обязанности начальника генерального штаба, которые могут быть такими чудовищно ответственными в случае войны. Отсюда совершенно ясно, какими опасностями грозило то, что Вильгельм II по своей личной симпатии или антипатии склонен был смещать людей на таких постах, от правильного обеспечения которых зависели победа или поражение, подъем или падение, горе или радость всей империи. Сам по себе чистый и честный человек с лучшими намерениями, добросовестный, верный, насквозь идеалист, племянник великого старого военного мыслителя, победителя при Садовой и при Седане, однако должен быть отнесен к числу тех несчастных полководцев, которые со времен Мардония и Вара до Бенедека и Трошю возбуждают к себе сострадание человечества, но не выдерживают суда истории.

Когда отступление нашего войска официально было оглашено в виде признания, что мы «отвели назад» наш правый фланг, князь Ведель, у которого были хорошие связи с военными кругами, не сомневался в том, что германский план нападения потерпел неудачу. Мы оба с ним были согласны в том, что при таких условиях наше вторжение в Бельгию было чудовищной ошибкой.

Бывают действия, которые только тогда можно защищать, когда они удаются. Здесь оправдывают себя слова Макиавелли о том, что и дурные деяния могут быть признаны хорошими и почетными, если они удаются. Победителей не судят. Но сомнительные деяния, если они не удаются, очень трудно оправдать. После того как нам не удалось локализовать вызванный ультиматумом серьезный конфликт, как Бетман и Ягов на это рассчитывали, и не удалось путем вторжения в Бельгию быстро и окончательно сломить французское сопротивление, стало совершенно очевидным, что мы оказались кругом неправыми, не извлекши из этого никакой соответствующей реальной политической выгоды. «Когда делают нечистое дело, то нужно, чтобы оно удавалось», — говорила одна моя остроумная петербургская знакомая Мисси Дурново.

Не могло быть сомнения в том, что наше вторжение в Бельгию и сопряженное с этим нарушение суверенитета и нейтралитета Бельгии и подписанных нами и признававшихся всем миром договоров были актами величайшего политического значения.

Эта ошибка была усугублена той чудовищной речью, которую Бетман-Гольвег 4 августа 1914 г. произнес в рейхстаге. Едва ли был когда-нибудь такой случай, чтобы ответственный за безопасность и будущность всего народа государственный деятель в самый решающий момент произносил более неловкую, более

неудачную и более злополучную речь. Перед своей собственной страной и перед всем миром германский — а не французский или бельгийский — руководитель государственной политики заявил, что наше вторжение в Бельгию было несправедливым делом, но что «нужда не знает заповедей». Тот час, когда я прочел эту речь, навсегда остался у меня в памяти, так как редко в жизни приходилось мне испытывать подобное душевное потрясение. Я понимаю теперь, что разумеют простые люди или дети, когда они говорят: «У меня сердце остановилось». Я чувствовал, что вследствие такого официального заявления мы уже априори потеряли все благоприятные для нас «невесомые шансы», что после такой неописуемо глупой речи против нас будет восстановлено общественное мнение всего мира. И вечером того же несчастного дня, 4 августа 1914 г., германский имперский канцлер в своей беседе с английским послом сэром Эдуардом Гошеном назвал международные договоры, которыми обосновывался нейтралитет Бельгии, «клочком бумаги». После 15 июля 1870 г., когда французский премьер-министр Эмиль Оливье произнес во французском законодательном собрании слова о «легком сердце», никто не произносил более злополучных слов. Для Оливье, который в открытом заседании парламента говорил о том, что он с легким сердцем вступает в войну, не оставалось ничего другого, как попытаться, и то довольно неудачно, написать в свое оправдание толстую книгу. Для Бетман-Гольвега, который сказал свою глупость в закрытом заседании, было бы проще и легче исправить ошибку. Не нужно быть Макиавелли, чтобы понять, что если Бетман-Гольвег произнес свое злополучное выражение в момент душевного потрясения, то его разум и высшие интересы нации требовали, чтобы он это немедленно и категорически опроверг. Тогда против утверждения стояло бы такое же утверждение, и отрицание имело бы тот же вес, как и положительное утверждение. Бетман не должен был обременять германский народ тем страшным словом, которым Антанта в течение всей мировой войны вплоть до Версальского мира систематически возбуждала общественное мнение всего света, чтобы представить Германию как нечестного нарушителя договоров и тем мотивировать необходимость принятия особых предохранительных мер по отношению к такому народу.

Разве можно было бы представить себе в таком положении Бисмарка или даже Таллейрана или Меттерниха? Совсем иначе держал себя князь Клеменс Меттерних по отношению к Наполеону во время знаменитого дрезденского разговора в 1813 г. Совсем иным было выступление князя Таллейрана во время его разговора с императором Александром I в 1814 г. во время венского конгресса, как он сам сообщает об этом в своем известном докладе Людовику XVIII. Меттерних был большим барином, который никогда не терял своего самообладания, Таллейран — ловким дипломатом, который с тактом, апломбом и в благовидной форме умел выходить из затруднительного положения.

ГЛАВА XIV

После злополучной речи канцлера от 4 августа 1914 г. я с тревожным чувством прочитал в политической хронике журнала «Revue des Deux Mondes» те соображения, которыми приветствовал начало войны мой старый друг Франсис Шарм, хороший француз, ученик Гамбетты, но спокойный и умеренный политик и публицист. В этой статье было сказано: «Война предстала пред нами при таких благоприятных условиях, каких мы не могли бы вообразить даже в наших грезах. Если бы к нам пришла благодетельная фея и сказала: война непременно будет, она неизбежна и близка; чего хотели бы вы для начала войны? В ответ на это мы могли бы только выразить пожелание, чтобы наша союзница Россия и наш друг Англия с первого же момента решительно выступили вместе с нами; чтобы наша латинская сестра Италия, осуждая совершенное на нас нападение, отказалась принять в нем участие и в ожидании лучшего заявила о своем нейтралитете; чтобы те небольшие державы, маленькие по территории, но великие духом, подверглись такому возмутительному вторжению и насилию в нарушение клятвенно признанных за ними прав, которое побудило бы общественное мнение всего цивилизованного мира отнестись к ним с глубоким сочувствием, отождествить их дело с нашим и возлагать свои надежды на нас. Мы пожелали бы, чтобы на нашей стороне были те тысячи «невесомых сил», значение которых так хорошо понимал Бисмарк. И вот те пожелания, которые казались нам настолько неосуществимыми, что мы не решались даже их высказывать, теперь все полностью осуществились! Мы не знаем, какой дальнейший ход получит война, но она не могла бы начаться при более благоприятных условиях. Мы можем с уверенностью сказать: все шансы на нашей стороне». О, горе! Мы дипломатически и политически проиграли войну *еще прежде, чем раздался первый выстрел.*

Бетман и Ягов летом 1914 г. ошибались решительно во всем. Они ошибались относительно «притягательной силы» сараевского убийства, которая по их неправильному представлению должна была все державы привлечь на сторону Австрии. По отношению к русскому способу мышления, как я это и предсказывал Бетману, эта притягательная сила с самого начала оказалась весьма незначительной. И на западе она не имела успеха, когда там узнали о чрезмерности, резкости и грубости австрийских требований и планов. Руководители нашей внешней политики ошибались также и относительно итальянцев и румын, которых они рассчитывали одурачить или подчинить своей воле, но которые, имея за собой Россию и Францию и опираясь на буквальный смысл союзного договора, не позволили ни перехитрить, ни запугать себя. Но больше всего Бетман и Ягов ошибались относительно *Англии.* Бетман всех и каждого, и императора Вильгельма II, и союзный совет, и австро-венгерского посла, и германских представителей за границей, уверял в том, что мы с

полной определенностью можем рассчитывать на нейтралитет Англии, по крайней мере для первой стадии войны. Фантазия, сплошная фантазия! Как я уже указывал раньше, самая грубая ошибка тех четырех или пяти лиц, которые привели нас к гибели, заключалась в том, что они принимали свои решения столь важного значения в четырех стенах комнаты ведомства иностранных дел, не обращаясь за советом ни к опытным дипломатам, ни к таким умным людям делового мира, как Альберт Баллин, Артур Гвиннер, Эмиль Ратенау, Макс Варбург, Карл Фюрстенберг, Пауль фон Швабах.

На второй год мировой войны Альберт Баллин со вздохом сказал мне: «Если бы я летом 1914 г. знал о том, что замышляли Бетман и Ягов, если бы я имел хотя бы какое-нибудь представление о намеченном ультиматуме и предположенной карательной экспедиции против Сербии, то я на всякий случай полностью накачал бы Германию хлебными запасами». Не поддается никакому описанию та неловкость, с которой наш комитет — не общественного спасения, а комитет общественной катастрофы — пытался разрешить обусловленный ультиматумом мировой кризис. *Английские предложения посредничества с самого начала отклонялись, оттягивались или саботировались.*

Повторяю еще раз: руководители германской политики не желали мировой войны, но они самым глупым образом вообразили себе, что им удастся осуществить австрийскую карательную экспедицию, чтобы «проучить» Сербию, не доводя дела до европейской войны. Этим не только увеличивалась опасность мирового пожара, которого желали Пуанкаре и Делькассэ, Палеолог и Камбон, английские джингоисты и великий князь Николай Николаевич с черногорскими великими княгинями, но и создавалось несправедливое и фактически совершенно не обоснованное подозрение будто мы хотели войны и умышленно ее подготовили. В то время когда немецкий народ совершенно добросовестно был убежден в том, что он стал жертвой коварного нападения, весь мир считал нас поджигателями, которые вместе с сербским ультиматумом швырнули факел в европейскую пороховую бочку и кроме того, посягнув на нейтралитет Бельгии, совершили неслыханное нарушение клятвенных договоров и международного права. В то время как у нас не было ни одного такого лозунга, который мог бы привлечь на нашу сторону общественное мнение мира, мы своей неловкой политикой предоставили нашим врагам два аргумента, с помощью которых они добились благоприятного отношения к себе со стороны мирового общественного мнения, а именно: что большая Австрия напала на маленькую *Сербию* и что Германия своим вторжением в *Бельгию* нарушила международное право. Наша неловкая пропаганда довершила остальное. Мы отрицали тот факт, что содержание ультиматума нам было известно. Но затем мы сами должны были признать, что австро-венгерский министр иностранных дел граф Берхтольд утром 21 июля передал нашему послу Чиршки проект

ноты Сербии. Если Чиршки, который конечно ни минуты не мог сомневаться в громадном значении этой ноты, тотчас же послал ее с курьером в Берлин, то она уже утром 22 июля была доставлена имперскому канцлеру и статс-секретарю иностранных дел.

Следовательно у нас было восемнадцать часов времени на то, чтобы задержать отсылку в Белград ультиматума, который был доставлен туда лишь 23 июля в шесть часов вечера. При этом не нужно забывать следующего. В действительности ведомству иностранных дел содержание ультиматума уже раньше было известно, как это явствует из известного доклада баварского поверенного в делах в Берлине фон Шена и из также известного заявления баварского министра-президента Гертлинга, сделанного им французскому посланнику в Мюнхене господину Аллизе. Впрочем это еще большой вопрос, что было бы хуже с политической точки зрения: разрешить ли венскому кабинету послать подобную ноту Сербии при полном знании с нашей стороны ее содержания или же просто выдать Австро-Венгрии неограниченные полномочия на политику по отношению к Сербии.

Умный Баллин неоднократно говорил мне, что эту вторую альтернативу он считал бы значительно большей глупостью. Если бы он имел намерение разрешить своему компаниону поставить их общий капитал на черное или красное, чет или нечет, в Монте-Карло, то он по меньшей мере считал бы необходимым присутствовать там, где его компанион совершал бы такой рискованный ход. Но он считал бы еще более великой глупостью послать своего компаниона одного в Монте-Карло и все дальнейшее предоставить его усмотрению.

Но еще более непростительным, по моему мнению, было то, что Бетман и Ягов, имевшие достаточно времени, чтобы основательно ознакомиться с ультиматумом, не заявили Вене совершенно категорически, что прекращение дипломатических сношений между Австро-Венгрией и Сербией или военное выступление Австрии против Сербии ни в каком случае не может быть допущено, прежде чем мы не изучим внимательно сербского ответа. А вышло наоборот: чем опаснее заострялось положение, тем в большей мере и Бетман, и Ягов, и Вильгельм Штумм, и Диего Берген попадали в слепую зависимость от венского министерства иностранных дел, где господствовал Леопольд Берхтольд. Для Ягова, как я об этом уже упоминал, имело при этом большое значение его мелкоюнкерское пристрастие «к почтенной и священной» габсбургской монархии. Другим сотрудникам центральных берлинских органов, которые принадлежали к тем, кого дворянское чванство называет «разночинцами» («roturiers»), импонировал такой чистокровный аристократ, кавалер ордена Золотого руна и большой барин, каким был Берхтольд, содержавший скаковую конюшню, устраивавший блестящие охоты и говоривший про себя, что для него как для министра могут существовать только два прият-

ных момента: момент его назначения, когда он в качестве преемника князя Клеменса Меттерниха и князя Феликса Шварценберга принимал поздравления от своих собратьев по дворянскому сословию, и затем момент его ухода в отставку, когда он получит возможность снова посвятить себя охотам и своей скаковой конюшне. И вот такому пустомеле Бетман и его сотрудники позволили втянуть себя в войну и гибель, вовсе не желая войны, просто по глупости.

Лишь один раз за все время этого опасного кризиса Бетман-Гольвег решился сделать Австрии до некоторой степени ясное предостережение, потребовав от нее 29 июля возобновления прерванных прямых переговоров с Петербургом и при этом добавив: «Мы конечно готовы исполнить наш долг согласно союзному договору, но мы не можем допустить, чтобы Вена легкомысленно и без внимания к нашим советам втянула нас в мировой пожар». Но после того как Бетман и Ягов, а вместе с ними к сожалению и Вильгельм II с самого начала уже предоставили Австрии полную свободу действий и в дальнейшем ее поддерживали и поощряли, это на десять дней запоздавшее предостережение должно было остаться безрезультатным.

Повидимому Бетман, допуская вручение ультиматума Сербии, хотел подражать моей тактике во время боснийского кризиса, разыгравшегося почти за шесть лет до начала мировой войны. Но по отношению к иностранной политике нет ничего более опасного, как, говоря словами князя Бисмарка, действовать по аналогии, потому что дипломатические положения никогда не бывают вполне одинаковыми. И обстоятельства, и действующие лица, и настроения, и течения всегда бывают различными. Какой-нибудь начальник полиции, устанавливающий правила рыночного распорядка, конечно может действовать по аналогии. Но тот, кто желает проводить политику, должен руководствоваться собственным умом. Уже Кидерлен впал в эту ошибку, когда он своим прыжком «Пантеры» на Агадир пытался подражать той политике, посредством которой я с помощью императорского посещения Танжера на много лет вперед обезвредил Делькассэ, нашего опаснейшего противника и врага всеобщего мира. Благодаря Танжеру я добился этой цели. А с Агадиром вышла неудача. Произошло нечто подобное тому, что иногда случается при фейерверке: ракета, вместо того чтобы подняться прямо вверх, попадает под ноги собравшейся публики и причиняет вред и смятение.

Еще более ошибочным, чем кидерленовский прыжок «Пантеры», было желание Бетмана в его политике с ультиматумом подражать моей тактике во время боснийского кризиса. Бетман повидимому желал достигнуть политического успеха. Но как правильно отмечал Сазонов в апреле 1914 г. в своем письме русскому послу в Риме, условия 1914 г. были совершенно иные, чем шесть лет назад, в 1908 г. Тогда Россия была связана рядом секретных соглашений и нот, в особенности письмом своего министра иностранных дел Извольского, заключавшим в себе явное

поощрение Австрии. В 1908 г. я крепко держал Австрию в своих руках и мог быть уверенным в том, что она не переступит указанной мною черты. Я поддерживал сношения как с Россией, так и с Италией. Пользуясь французским выражением, могу сказать, что я играл на выигранные деньги. У Бетмана же в 1914 г. не было для его дипломатической игры никаких других козырей, кроме того негодования, которое было вызвано убийством эрцгерцога Франца-Фердинанда, но которое быстро испарилось, когда выяснились подлинные мотивы и действительные цели Берхтольда и Конрада фон Гетцендорфа и когда возникли опасения мирового пожара. «Si duo faciunt idem, non est idem» [1]. Это в особенности правильно по отношению к политике, к области, где все изменчиво.

Мне хорошо известно общераспространенное мнение о том, что если бы в 1914 г. удалось избежать мировой войны, она все равно была бы в 1915 или 1916 гг. Мировая война была предопределена судьбой. Я считаю это совершенно неправильным. Я не верю в неизменное предопределение. Я согласен с Наполеоном, который сказал одному побитому полководцу, когда тот оправдывался «фатализмом», что «на фатализм обыкновенно ссылаются неспособные и бездарные люди». Мы могли бы спокойной и ловкой рукой в 1914 г. столь же успешно охранять мир, как мы поддерживали его в 1888 [101], 1905 и 1909 гг. Во всяком случае для Германской империи не было никакой надобности на поводу у Австрии таким неловким способом ввязываться в эту страшную войну при столь неблагоприятных условиях.

Вполне понятно, что, поскольку я принимал близкое участие в сооружении нашего флота, я с напряжением и большими надеждами следил за тем, как проявит он себя во время войны. Добросовестность и способность наших матросов, интеллигентность и блестящие духовные свойства наших морских офицеров, то доверие, с которым вся страна относилась к нашим морякам, — все это оправдывало возлагавшиеся нами гордые надежды на наш флот. Но как я уже упоминал об этом раньше, при всем моем глубоком уважении к необыкновенным личным качествам адмирала фон Тирпица, к его организаторскому таланту и энергии, я однако с самого начала систематического сооружения флота, совпавшего с назначением фон Тирпица статс-секретарем морского ведомства, а меня — статс-секретарем ведомства иностранных дел, не вполне соглашался с тем, что Тирпиц придавал такое преобладающее значение постройке больших военных судов. Мне больше хотелось бы, чтобы Тирпиц, следуя преподанному ему старым Бисмарком совету, сооружал больше легких крейсеров, а впоследствии, когда появились новые виды оружия, своевременно и в возможно более широких размерах

[1] Если двое делают одно и то же, это не значит, что получается то же самое.

строил подводные лодки и энергично заботился об аэропланах. Не являясь специалистом в этой области и не пытаясь диллетантски вмешиваться в чуждое для меня дело, я однако инстинктивно чувствовал, что форсированным сооружением больших боевых судов мы все более и более вызываем подозрения у англичан и раздражаем их, не будучи в состоянии их обогнать. Моему уму профана подводная лодка представлялась чем-то похожим на ту пращу, с помощью которой маленький Давид, при наличии смелости и счастья, поразил великана Голиафа.

По окончании мировой войны английский адмирал Скотт писал: «Если бы император Вильгельм осенью 1914 г. принял предложение блокировать Англию посредством подводных лодок, то тогда такая блокада в кратчайший же срок привела бы к крушению». Когда император в декабре 1914 г. заставил адмирала Ингеноля, собиравшегося при очень благоприятных обстоятельствах принять бой с английской эскадрой, повернуть назад и уйти в Вильгельмсгафен, адмирал Шеер, впоследствии победитель при Скагерраке, писал: «Осталось впечатление, что упущен редко благоприятный случай, возврата которого едва ли когда-нибудь можно ожидать». А Тирпиц прямо заявил: «16 декабря Ингеноль держал в руках судьбу Германии».

Почему наш военный флот в нужное время бездействовал? Офицеры генерального штаба уверяли меня, что Шлиффен и Мольтке считали существенно необходимым немедленно начать нападение со стороны германского флота. Верховный адмирал Тирпиц держался той же точки зрения и стремился как можно скорее *дать решающий бой на море,* потому что он был уверен в полном успехе и хотел доказать пригодность для военных целей выкованного им оружия. Но иначе относились к этому император, расслабленное ведомство иностранных дел и колеблющийся, боязливый имперский канцлер. Вильгельм II с самого начала, как только приступил к сооружению флота, был далек от мысли использовать этот флот для военных целей. Возможно большее усиление германского морского могущества должно было служить лишь угрозой нарушителям мира. В соответствующих случаях флотом можно было пользоваться также для устройства великолепных маневров. Не больше. Император знал каждое отдельное военное судно. На каждом судне у него была особая каюта, комфортабельно оборудованная, которую заботливо устраивал для него его старательный лейб-егерь папаша Шульц, со всеми возможными туалетными принадлежностями и с его любимыми портретами и картинками на стенах. Он не мог решиться обрекать на погибель эти близкие его сердцу красивые суда. Это представлялось ему похожим на то, как если бы владельцу конюшни предложили отдать самых лучших сказковых лошадей для перевозки снопов и сена, вследствие чего они могли бы захромать. Император хотел «щадить» флот, а Бетман-Гольвег стремился «не раздражать» англичан. Таким образом они оба сошлись на той формуле, что флот до заключения

мира должен оставаться в полной сохранности, чтобы при мирных переговорах его можно было положить на чашу весов. А в результате мы пришли в Скапа Флоу [1].

Я уже упоминал о том, что те упущения генерала Мольтке, которые впоследствии были отмечены военной критикой, мог заметить и тот, кто не носил красных лампасов офицеров генерального штаба. Генерала Мольтке прежде всего следует упрекнуть в том, что он упустил вожжи из рук, не сосредоточил у себя управления всей армией, устроил свою ставку сначала в Кобленце, а затем в Люксембурге, в слишком далеком расстоянии от имевшего решающее значение правого германского фланга, и не позаботился об установлении более тесного общения с главными квартирами правого фланга. Отдельные армии действовали блестяще, но не было централизованного руководства; не было такой единой руки, которая согласовывала бы все отдельные действия. Когда положение на французском фронте становилось все более и более критическим, Мольтке следовало бы самому посетить все три армии правого фланга, непосредственно по личному наблюдению ознакомиться с положением вещей и установить единообразие ведения военных действий. Вместо этого он 8 сентября, в решительный момент, послал к трем армиям правого фланга начальника отдела своего штаба полковника Генча, предоставив ему все вопросы решать по его усмотрению и в последних словесных инструкциях упомянул о возможности отхода, причем даже указал направление отступления, если оно понадобится.

Из всех офицеров генерального штаба Генч отличался именно тем, что он особенно боязливо и неуверенно подходил к разрешению всякого вопроса. Но именно этим он и нравился своему начальнику. Когда этот Генч, которому была вручена судьба битвы, кампании, армии и страны, узнал от главного командования второй армии, что положение у них ненадежно, он рекомендовал командующему этой армией, генерал-фельдмаршалу фон Бюлову, отступать в северо-восточном направлении. Непосредственно после этого он посетил командующего первой армии генерала фон Клука и точно так же побудил его к отступлению. Французы и англичане настолько не чувствовали себя победителями, что не мешали отступлению немцев. Лишь впоследствии французское бахвальство и французская изворотливость сочинили «чудо на Марне», которое, по словам французов, спасло Францию и весь мир от германской алчности и завоевательных стремлений.

Само собой разумеется, что это неожиданное германское отступление должно было показаться чудом французам, правительство которых 2 сентября, через сорок четыре года после дня

[1] Скапа Флоу — бухта на одном из островов близ северо-восточного побережья Великобритании, где во время войны 1914 — 1918 гг. укрывался английский флот, а по окончании войны 21 июня 1919 г. был затоплен весь интернированный германский флот.

Седана, панически покинуло Париж и переехало в Бордо. Удивительно и ужасно было то, что преемник Мольтке 1-го и Шлиффена до такой степени не был на высоте своих предшественников. Он сломился под тяжестью лежавшей на нем ответственности. В решающий момент руководство выскользнуло из его бессильных рук. Войска и их командиры побеждали, а высшее командование не справилось со своей задачей. Мольтке повидимому надеялся на то, что новым наступлением через несколько дней можно было бы восстановить положение правого фланга. Мне передавали, что он предполагал начать наступление третьей, четвертой и пятой армиями. Но уже 10 сентября эта мысль была оставлена, а 11 сентября ему показалось, что нецелесообразно оставлять эти армии в прежнем положении, и он им также предписал отступление.

Император, разочаровавшись в своем давнишнем друге и по своему обыкновению бросаясь из одной крайности в другую, с резкими словами отобрал у него руководство военными операциями и передал его военному министру генералу фон Фалькенхайну. Но чтобы не беспокоить родину, было решено этого не обнаруживать. Таким образом получилось, что фактически совершенно отстраненный Мольтке формально должен был участвовать во всех совещаниях, но его никто ни о чем не спрашивал и на него не обращали никакого внимания. Он должен был безмолвно сидеть рядом со своим прежним соперником и теперешним преемником. «Я не думаю, — говорил мне впоследствии Мольтке, — что среди всех мук ада, описанных у Данте в первой части его «Божественной комедии», была хотя бы одна такая, которая равнялась бы перенесенным мною душевным истязаниям».

Крушение гордых надежд и неудача величайших военных напряжений на западе первоначально не были замечены страной, находившейся тогда под впечатлением победы при Танненберге. Городок Танненберг, где пять столетий назад германский народ понес одно из тягчайших в его истории поражений, теперь стал местом одной из величайших германских побед за все времена.

Обусловленные катастрофическим исходом сражения на Марне изменения в верховном командовании поставили прусского военного министра Фалькенхайна на место генерала Мольтке. Эрих фон Фалькенхайн принадлежал к числу тех, кого Гете и за ним Шпильгаген называли «проблематическими натурами». Я воздержусь от оценки военных заслуг генерала Фалькенхайна. Был ли Верден ошибкой? Был ли Ипр ошибкой? Оба они стоили нам потоков крови и не имели никакого решающего успеха. Представляется несомненным, что Фалькенхайн, у которого не было ни основательности, ни тем более нравственного величия Гинденбурга, должен нести суровую ответственность за то, что он вследствие нерадивости, а может быть и ревнивого малодушия неоднократно отклонял настойчивые требования верховного командования восточного фронта относительно подкрепления. Однако справедливость требует признать, что по отношению к по-

литическим вопросам и опасностям Фалькенхайн нередко обнаруживал более глубокое понимание, чем Людендорф.

К числу крупных ошибок, совершенных нашим политическим руководством в конце лета 1914 г., следует отнести также и его тактику по отношению к Италии. В этом микрокосме совершенно отчетливо проявляются беспомощность и разложение, легкомыслие и необдуманность и представляющая собой странную смесь вероломства с наивностью неудачливость нашей дипломатии 1914 г., втянувшей в войну наш трудолюбивый и миролюбивый народ и заставившей его эту войну проиграть. Как это явствует из опубликованных большевиками секретных донесений, еще в конце мая 1914 г. на совещаниях в русском адмиралтействе относительно заключения русско-английской морской конвенции с русской стороны предъявлялось к англичанам требование, чтобы они в целях воспрепятствования австро-итальянскому нападению на Черное море предоставили в распоряжение русских кораблей английские морские опорные пункты. Следовательно тогда и русские и англичане считались с тем, что в случае войны Италия останется на стороне центральных держав. Но когда появилась на горизонте грозовая туча ультиматума, итальянский министр иностранных дел маркиз Сан Джулиано, политические притязания которого были всегда направлены на расширение итальянского влияния в Средиземном море и в особенности на североафриканском побережье и который вследствие этого раньше был сторонником Тройственного союза и корректных отношений между Италией и Австрией, 14 июля 1914 г. при переговорах с германским послом Флотовом заявил о том, что Италия не сможет поддерживать чрезмерных австро-венгерских требований к Сербии.

Через три дня министр повторил германскому послу, что Италия не допустит территориальных завоеваний Австрии в Сербии. Вместо того чтобы принять во внимание это предостережение, несомненно направленное и по адресу Вены, австро-венгерский посол в Риме господин фон Мерей посоветовал графу Берхтольду поторопиться с выступлением против Сербии и таким образом захватить итальянское правительство врасплох.

Роковое значение несомненно имело то, что и Австро-Венгрия и Германия в начале мировой войны очень плохо были представлены в Риме. Господин фон Мерей был ненавистен всем своими резкими манерами, своей раздражительностью и едва скрываемым отвращением к новой Италии, а также и своей постоянной политикой булавочных уколов. Его личные отношения к светскому и благовоспитанному Сан Джулиано с течением времени стали настолько напряженными, что оба они едва могли переносить друг друга, и итальянский министр задавал себе вопрос, не следует ли ему прекратить личное знакомство с представителем габсбургской монархии.

Германский посол Флотов был слишком боязлив, чтобы действовать агрессивно или оскорбительно. Но зато он ни в по-

литическом, ни в общественном отношении не мог занять никакого положения. Он не решался переносить летнюю жару в Риме, где в 1914 г. считали своим естественным долгом оставаться все три посла Антанты — Баррер, сэр Реннель Родд и Крупенский, и переехал в сравнительно отдаленный от Рима курорт Фиуджи. Он мотивировал это своему другу Ягову и канцлеру Бетману тем, что будто бы в Фиуджи у него будут благоприятные условия для разговоров с Сан Джулиано. Но в действительности было как раз наоборот. Действительно болезненный, даже тяжело больной Сан Джулиано по совету врачей проводил для отдыха ночи в Фиуджи, но он никому не позволял беспокоить себя от 9 часов вечера до 7 часов утра. Каждый вечер Флотов в ресторане пытался подобраться к столу министра, но к увеселению курортной публики Сан Джулиано регулярно отсылал его обратно со словами, что в Риме он в течение всего дня готов к услугам для всех дипломатов, но здесь, в Фиуджи, в вечерние и ночные часы он желает иметь покой. В то время как Флотов не мог даже решиться приехать в начале октября для присутствования при погребении умершего Сан Джулиано, его опаснейший противник француз Баррер ни на один час не покидал Рима, целыми днями делал визиты, обрабатывал сенаторов, депутатов, министров и журналистов.

Вскоре выяснилось, что сотрудничество Италии с центральными державами было бы возможно, если бы Австрия предложила итальянцам компенсации. Я и теперь еще продолжаю думать, что в начале войны такими компенсациями можно было бы побудить Италию выступить на нашей стороне. До марнского наступления наш военный престиж был весьма значителен. Большая часть влиятельных итальянцев нам симпатизировала и была на нашей стороне. Если бы Австрия в то время уступила итальянцам Трентино и согласилась на автономию Триеста и если бы одновременно им были обещаны Тунис и Ницца, то Италия была бы с нами...

Берхтольд поручил австрийскому послу в Риме представить итальянскому правительству лишь «поверхностные» сведения относительно предъявляемых к Сербии требований, не раскрывая содержания отдельных пунктов. Мерей выполнил это поручение в неряшливой, почти обидной форме. В ответ на это итальянский министр-президент и итальянский министр иностранных дел заявили, что они порицают австрийское выступление и сохраняют за собой свободу действий. В то время как это заявление уже заключало в себе зародыш позднейшего провозглашения нейтралитета Италии, а затем объявления Италией войны Австрии, наши берлинцы думали, что они поступают особенно хитроумно, предоставляя Австрии, которая в своих мероприятиях против Сербии всецело от нас зависела, полную свободу действий по отношению к Италии.

Тем временем генеральный секретарь итальянского министерства иностранных дел де Мартино сообщил французскому послу,

что итальянское правительство не одобрило бы австрийской ноты Сербии, если бы она предварительно была ему сообщена. Одновременно де Мартино заявил послу Мерею, что Италия ни в каком отношении не считает себя связанной, так как она не была заранее осведомлена относительно австрийской акции против Сербии. Нисколько не вразумленный этим заявлением, Мерей предложил своему правительству без всяких разговоров отклонить все итальянские требования относительно компенсаций. Под влиянием Мольтке, который по военным соображениям считал существенно необходимым соглашение Австро-Венгрии с Италией, Бетман отважился послать 26 июля телеграмму в Вену, но тотчас же успокоился, когда Берхтольд холодно и высокомерно его осадил. Статс-секретарь Ягов, еще больший австрофил, чем его начальник, сказал австрийскому послу Сегени, что Берхтольд в сущности поступил совершенно правильно, хладнокровно отклонивши итальянские требования.

29 июля Сан Джулиано объяснил австрийскому и германскому послам, что если Австрия немедленно не решится предоставить компенсации Италии, то ее образ действий будет рассматриваться как нарушение интересов Италии и тогда итальянское правительство не будет иметь возможности поддерживать Вену. С хладнокровной откровенностью, с такой «развязностью» (desinvoltura), какая вызвала бы одобрение со стороны Макиавелли, Сан Джулиано далее заявил, что Италия может руководствоваться только своими собственными интересами. Это и Вена и в особенности Берлин должны были бы иметь в виду с самого начала. Таким именно образом итальянское правительство вело себя и во время франко-германской войны, когда оно, не стесняясь ранее принятыми на себя по отношению к Франции обязательствами, покинуло французов, стремясь осуществить итальянские интересы, в то время заключавшиеся в том, чтобы увенчать объединение Италии занятием Рима. «Для дипломата самое существенное знать тот момент, когда нужно снять свою ставку с игры», — любил говорить умный маркиз Эмилио Висконти-Веноста. И Бисмарк, как я об этом уже упоминал ранее, считал обязанностью руководящего министра уметь в возможно более благовидной форме уклониться от исполнения обязанностей по союзному договору, если исполнение этих обязанностей может повредить собственным государственным интересам.

Того же 29 июля частный секретарь Грея мистер Тирелль предостерегающе говорил германскому послу Лихновскому, что в случае расширения конфликта между Австро-Венгрией и Сербией Италия отпадет от Тройственного союза. А двадцать четыре часа спустя австрийский посол Мерей, запрошенный Берхтольдом о его мнении, посоветовал своему шефу не соглашаться ни на какие итальянские требования. Непосредственные телеграммы императора Вильгельма в Вену и в Рим, в которых он одновременно апеллировал к союзнической верности короля Виктора-Эммануила и советовал престарелому императору Францу-

Иосифу быть уступчивым по отношению к Италии, остались безрезультатными. Личные выступления императора Вильгельма II не могли иметь значения, потому что за двадцать шесть лет они слишком часто колебались то в том, то в другом направлении. Не придавая значения императорскому вмешательству, Сан Джулиано заявил послу Флотову, что Италия в данном случае не признает себя связанной договором, так как выступление Австрии носит агрессивный характер и следовательно противоречит основной мысли союзного договора и к тому же оно нарушает итальянские интересы. Министр при этом дал понять, что Румыния, так же как и Италия, считает насильственное выступление Австро-Венгрии против Сербии угрожающим ее интересам.

3 августа король Виктор-Эммануил послал императору Вильгельму телеграмму, в которой окончательно сообщал, что, по мнению его правительства, в данном случае нет тех условий, при которых Италия должна была бы выполнить свои обязанности по союзному договору. Одновременно итальянский посол в Берлине вручил заявление Италии о нейтралитете. Такой же шаг был предпринят в Вене, где граф Берхтольд, пылая гневом, заявил итальянскому послу герцогу Аварна, что Италия ведет «неразумную» политику, в которой она будет «горько» раскаиваться. Но к сожалению вышло совсем наоборот. Когда мы объявили войну России, Вена, теперь уже совершенно спокойная относительно «костей померанских гренадеров», не хотела больше и думать о каких-либо компенсациях для Италии. Граф Берхтольд сообщил канцлеру через австрийского посла в Берлине, что ему вполне достаточно нейтралитета Италии, поэтому относительно компенсаций он больше не будет вести никаких переговоров. На такое резкое заявление повлияла телеграмма посла Мерея, который сообщил в Вену, что Сан Джулиано определенно указывал на ту часть Тироля, где распространен итальянский язык, на прежнее епископство Триент...

ГЛАВА XV

Несмотря на патриотическое настроение, широко захватившее громадное большинство германского народа, и несмотря на блестящие подвиги нашей армии, спокойный и опытный наблюдатель не мог скрывать от себя, какая трудная задача выпала на долю нашей армии и народа благодаря нашей с самого же начала неудачливой дипломатии. Англия, на нейтралитет которой с полнейшей уверенностью рассчитывал Бетман, боролась против нас. Она развернула силы значительно большего размера, чем ожидал бедный Мольтке, который по поводу объявления войны Англией равнодушно говорил, что ему приятнее иметь английскую армию перед собой в качестве противника, которого он без труда может разбить, чем в положении сомнительного и выжидательного нейтралитета. Предусмотрительный политик все с большей и боль-

шей тревогой задумывался над тем, что Италия и Румыния, уклонившиеся от исполнения своих обязанностей по союзному договору, в конце концов могут поднять меч против нас. В широких кругах заметно стало проявляться желание, чтобы правительство послало меня в Рим и сделало бы последнюю попытку удержать Италию от выступления против нашего австрийского союзника.

В рейхстаге на таком пожелании сошлись все партии, от правых до социал-демократов. С другой стороны, Ягов и Бетман делали все, от них зависевшее, чтобы, не обнаруживая себя, помешать моей командировке в Рим... Однако под настойчивым давлением со стороны членов парламента и военных Бетман после продолжительного колебания решился наконец послать мне в Гамбург, где я в то время проживал в отеле «Атлантик», 30 ноября 1914 г. следующее письмо:

«Когда мы вскоре после начала войны обсуждали с вами вопрос о положении в Италии, вы принципиально заявили о своей готовности поехать в Рим и использовать там ваше влияние, если возникнет надобность в посылке туда особой миссии. Такая надобность теперь возникла. Наш посол, слабое здоровье которого, как вы знаете, вследствие волнений и напряжений этого лета еще более расстроилось, сообщил мне, что для восстановления его сил врачи настоятельно требуют от него, чтобы он на несколько месяцев уехал из Рима и отдохнул. Я сам сознаю, что, как бы хорошо господин фон Флотов ни защищал наши интересы в Италии, мы едва ли принесем ему пользу, если отклоним это его ходатайство, так как даже и наилучшее желание и все способности при упадке физических сил оказываются парализованными. При том значении, какое в данный момент имеет римский пост, туда следует назначить особенно подходящее лицо для защиты наших интересов. Не требуется пояснять, что таким подходящим лицом могли бы быть вы, любезный князь, при вашем положении в свете, при вашем знании местных условий и при ваших давнишних связях. Так как я с разных сторон слышу, что вы и в настоящее время готовы исполнить ваш патриотический долг и отправиться с миссией в Италию, то я позволил себе, по получении согласия его величества императора, обратиться к вам с просьбой поехать в Рим в качестве чрезвычайного посла и временно взять на себя ведение дел тамошнего нашего посольства. Я надеюсь, что, несмотря на труды и заботы по исполнению этого поручения, эта жертва в настоящий момент не будет для вас и для княгини особенно тяжелой, так как наступило то время года, когда в прежнее время и при нормальных условиях вы обыкновенно переезжали жить в виллу Мальта. Всего, чего в Италии можно достигнуть, вы конечно достигнете. Могу ли просить вас, любезный князь, телеграфировать мне ваш ответ? В случае принятия вами этого предложения я был бы весьма вам признателен, если бы во время моего краткого пребывания в Бер-

лине приехали сюда для личных переговоров. Так как в течение двух ближайших дней я все время буду занят по делам рейхстага, то разрешите мне пока не назначать дня свидания. Сегодня же я хотел бы отметить только одно: возникла мысль прекратить войну посредством конференции. Но вы сами прекрасно понимаете, что это принесло бы мало пользы нам и нашим австрийским союзникам. Вам во всяком случае будет нетрудно с самого же начала отстранить мысль о конференции, если об этом будут говорить в Риме. Но и относительно этого я хотел бы еще обменяться с вами мнениями при личном разговоре. В полной надежде, что вы, уважаемый князь, не заставите меня напрасно просить вас, а изъявите готовность оказать родине большую услугу в это трудное время, остаюсь с неизменным уважением к вашему сиятельству, всегда преданный фон Бетман-Гольвег».

Я со смешанным чувством прочел эти неискренние и уклончивые изречения моего преемника. Для того, кто умел читать между строк, было совершенно ясно, как неохотно канцлер посылал меня в Рим и как заботливо стремился он щадить наперсника статс-секретаря Ягова и им самим высоко ценимого прежнего посла Флотова. Я заранее предвидел, что при таком настроении берлинского центра мое положение в Риме будет нелегким. Тем не менее я ни минуты не колебался предоставить себя в их распоряжение, и даже, более того, не только себя, но и мое доброе имя, как об этом сказал тогда графу Гертлингу расположенный ко мне король Людвик III Баварский. Первоначально я предполагал при принятии поручения письменно объяснить Бетману, что я вполне сознавал трудность моего положения в Риме и неблагодарность возложенной на меня задачи.

В предназначенном мною для канцлера письме было сказано: «Само собой разумеется, что я следую обращенному ко мне призыву принять на себя управление посольством в Риме. В моих глазах не имеет значения тот факт, что двадцать один год тому назад я уже был послом в Риме и затем девять лет был имперским канцлером. Я далек от личного тщеславия, обидчивости или претензий. Меня не останавливают и получаемые мною из Италии из надежных источников сообщения о том, что за последние два года наше положение там значительно ухудшилось. *Выбор Флотова не был удачным.* Могу говорить об этом с полной откровенностью, так как мы с женой старались устроить ему дружественный прием в Риме и облегчить ему его задачу. Но он не сумел завязать полезные связи, приобрести влияние и занять положение. Когда вспыхнула война между нами и Россией, он со своей супругой, которая по всем своим воспоминаниям, привычкам и традициям долгой жизни, а также и материально была тесно связана с Россией, и со своим пасынком, сражавшимся в русской армии против Германии, оказался по отношению к германской колонии в крайне неловком, а по отношению к итальян-

янскому обществу и своим коллегам в весьма странном положении. Все это в связи с состоянием его здоровья — независимо от того, была ли у него воображаемая или действительная болезнь, — настолько ослабляло его работоспособность, что он не мог справляться с трудностями создавшегося положения. Это в особенности относится к тому критическому времени, когда начиналась война; в это время, как меня уверяли компетентные политики, при большей энергии и при более влиятельном положении нашего представителя в Риме можно было бы добиться активного сотрудничества Италии. Но после этого наше положение в Риме значительно ухудшилось. В этом смысле совершенно определенно высказывался передо мной целый ряд больших знатаков итальянских дел. Повидимому ведутся, если уже не закончены, переговоры между Италией и Англией о том, чтобы Италия под тем предлогом, что турецкое продвижение в Египте нарушает ее интересы в Триполитании, Киренаике и Эритрее, весной объявила войну Турции и таким образом автоматически стала на сторону наших противников. Но я никогда не был пессимистом, и хотя я не скрываю от себя, что таящееся под обманчивой внешностью положение вещей в Италии ни в какой мере не является для нас отрадным или надежным, я с тем большей энергией буду стремиться приложить все свои силы к тому, чтобы обратно завоевать проигранное или во всяком случае предотвратить худшее. При этом я рассчитываю на вашу дружественную поддержку и остаюсь с неизменным уважением искренне вам преданный князь фон Бюлов».

Однако Баллин, которому я показал это уже подписанное письмо, уговорил меня не пугать из-за Италии и без того крайне нерешительного и боязливого канцлера, чтобы его окончательно не деморализовать. Поэтому я ограничился следующей *телеграммой* на имя господина фон Бетмана: «Письмо получил. Разумеется, я готов отказаться от намерения оставаться на время войны на родине, если я могу быть полезен в Риме. Принимая предложение поехать в Рим в качестве чрезвычайного посла, я полагаю, что продолжительность моей командировки не будет зависеть от рапорта господина фон Флотова о восстановлении его здоровья, а будет продолжаться до заключения мира. Для переговоров о деталях, а также о форме и моменте оглашения моего назначения я во всякое время готов приехать в Берлин».

Вышеупомянутое письмо на имя господина фон Бетмана я отдал на хранение моему габсбургскому доверенному господину Генриху Мейнеке, который спрятал его в свой сейф, откуда я получил его только теперь, когда я диктую настоящие мемуары. Отмечу теперь же, что Бетман и Ягов очень неохотно отказались от мысли предоставить усмотрению господина фон Флотова определить момент его возвращения на пост посла в Риме. Им было бы всего приятнее, если бы Флотов через несколько недель объявил себя здоровым и снова взял вожжи посольства в свои мощные руки. Но так как это не выходило, то нужно было

разрешить Флотову по крайней мере оставаться в Италии и в мягком неаполитанском климате близ прекрасного Позилипо выжидать дальнейшего течения дел. Оттуда Флотов за все время моей деятельности в Риме посылал частные письма Ягову и Бетману. Основным содержанием его писем было следующее: Италия вовсе не думает браться за оружие. Князь Бюлов изображает положение более опасным, чем оно есть в действительности, для того чтобы таким образом создать себе легкий и удобный успех. Ягов по мере сил вторил своему любимому другу.

Когда наша добрая императрица в присутствии своей обер-гофмейстерины моей кузины графини Терезы Брокдорф в день моего отъезда в Рим выразила попрощавшемуся у нее аудиенцию господину фон Ягову надежду на то, что мне удастся удержать Италию нейтральной, статс-секретарь ведомства иностранных дел сказал ей: «Но ведь это, ваше величество, такая легкая задача. Мы положили Трентино князю Бюлову в чемодан на дорогу. Посредством этого всякий сможет удержать Италию от войны».

Это была неправда. Относительно Трентино мы еще не получили от Вены никакого определенного сообщения. Наоборот, Ягов и впоследствии за все время моей деятельности в Риме пытался удерживать австрийцев от добросовестной и безотлагательной уступчивости по отношению к итальянским требованиям относительно компенсаций посредством устных переговоров с австрийским послом в Берлине, посредством писем к германскому послу в Вене и наконец посредством командировки в Вену заядлого врага итальянцев графа Антона Монгса, который по отношению ко мне был вдвойне враждебно настроен ввиду того, что раньше он льстил мне самым недостойным образом. Господин фон Флотов действовал конечно в духе своего шефа и друга статс-секретаря Ягова, когда перед отъездом из Рима в прекрасный Неаполь он сказал советнику посольства фон Гинденбургу, благородно мыслящему, добросовестному и правдивому человеку, буквально следующее: «Князь Бюлов посредством всевозможных интриг добился посылки его в Рим. Но и канцлер и статс-секретарь очень неохотно уступили неразумным настояниям безответственных членов парламента и журналистов. В качестве вашего друга я обращаю ваше внимание на то, что берлинский центр не особенно будет обрадован успеху князя Бюлова». Когда Гинденбург с удивлением и смущением заметил ему, что он не знает, как это нужно понимать, потому что долг службы и порядочности требует от него, чтобы он поддерживал своего нового шефа, Флотов с улыбкой сказал ему: «Вы не хотите меня понять, любезнейший Гинденбург. Я знаю свет и говорю вам это как ваш старший друг. Главное, не слишком много усердия на службе у князя Бюлова. Это не принесет пользы вашей карьере». Итальянцам Флотов говорил, что будто бы в Берлине я обязался не только удержать Италию нейтральной, но и склонить ее к участию на нашей стороне в войне против Франции и Англии, о чем после сражения на Марне не могло быть и речи, так как в Италии

никто об этом и думать не хотел. Когда меня посылали в Рим, перед нами стояла лишь такая дилемма: продолжение итальянского нейтралитета или военное выступление итальянцев против Австрии.

Перед моим отъездом в Берлин из Гамбурга, где меня застало приглашение канцлера Бетмана, я написал моему другу Альберту Баллину доверительное письмо, в котором выражал убеждение в том, что если меня желали послать в Рим, то это в достойной форме должны были бы сделать еще в августе месяце. С тех пор многое нами было потеряно. И за время между отсылкой ультиматума и объявлением нами войны России было бы не бесполезно запросить меня о том, как нужно было ставить дело, чтобы сохранить за нами Италию. Вообще не повредило бы, если бы меня в то время запросили относительно общего положения. Я тогда указал бы перстом на те пункты ультиматума, которые следовало бы изменить, если мы — конечно с сохранением полного достоинства — желали избавиться от этой страшной войны; и я указал бы также и те пути, которыми мы даже после вручения ультиматума могли бы поддержать мир без всякого умаления нашего или австрийского престижа и даже с некоторым дипломатическим успехом (как это было в 1908/09 г.). Я не ждал практического результата от этого письма, но у меня была потребность облегчить сердце изложением тех мыслей и тревожных чувств, которые мучили меня уже в течение нескольких месяцев.

Альберт Баллин, хотя он по природе был большим оптимистом, с самого начала войны был склонен к пессимистическому взгляду на наше положение. Он писал мне перед моим отъездом в Рим: «Я был у императора и нашел его спокойным и уверенным, хотя и преисполненным гнева против англичан, в каковом настроении его усиленно поддерживает императрица. В политику вносится страстность и частные чувства, что я считаю очень опасным. И у императора и у канцлера я заметил слишком розовое представление о нашем военном положении. Но, по моему мнению, положение сторон приблизительно одинаковое. У нас — Бельгия, у англичан — Северное море, у русских — Галиция, у японцев — Киаочао и т. д. Конечно даже и при сознании того, что могло бы быть значительно лучше, если бы в ведении войны не было совершено ошибок, надлежит признать большой заслугой нашей армии, что нам удалось, если не считать небольших вторжений в Восточную Пруссию и в Эльзас, перенести войну на территорию врагов и что мы вообще так прекрасно держимся против всего враждебного мира и благодаря последним успехам Гинденбурга перед нами раскрываются дальнейшие благоприятные перспективы. Но для меня является совершенно загадочным, как оформится заключение мира. Конечно в этом направлении мы могли бы продвинуться вперед только путем заключения сепаратного мира с отдельными сторонами, и из них, мне думается, легче всего можно было бы склонить *Россию* к отпадению от блока с Англией. Такое соглашение с Россией, даже

если бы оно в дальнейшем не повлекло за собой соглашения и с Францией, предоставило бы нам возможность освободить на востоке Гинденбурга и большую часть его армии и довести дело на западе до благополучного конца. Но это было бы слишком хорошо; трудно рассчитывать на осуществление всего этого, поэтому я пока об этом не думаю. Нам правильнее будет готовиться к тому, что нас принудят продолжать эту войну».

Приехав в Берлин, я застал канцлера Бетмана в смущенном, тревожном настроении. Очевидно мое появление на политической арене было для него всего менее желательным. Почти с наивностью справился он у меня, не намерен ли я перед отъездом в Рим принять журналистов и депутатов рейхстага, и, как он выражался, «с неизменной преданностью и уважением» посоветовал мне воздержаться от этого, чтобы не оживлять «к сожалению» продолжающейся обидчивости его величества. Поэтому он, канцлер, и хотел придать моей поездке в Рим характер лишь *временного* заместительства заболевшего посла Флотова. Что обидчивость императора, которую мой преемник по мере своих сил старался поддерживать, вовсе не была настолько значительна, как он ее изображал, явствовало из того, что я еще в Гамбурге получил непосредственно от его величества такую телеграмму: «Очень был бы рад приветствовать скорейший отъезд вашего сиятельства в Рим, чтобы вы могли воздействовать на итальянцев вашим большим личным влиянием в наших интересах. Привет вашей супруге княгине». С другой стороны, Бетман боязливо старался уверить меня, что я могу рассчитывать на его добросовестную поддержку.

Маленького Ягова я застал в ядовитом настроении. Незадолго перед этим он сказал князю Веделю, высказавшемуся перед ним в пользу моей командировки в Рим, что никто не может требовать от него, чтобы он причинил своему любимейшему другу Гансу фон Флотову сердечное огорчение. Мне самому он заявил, что едва ли возложенная на меня задача может быть мне по душе. Успешнее Флотова никто не может действовать; это недавно констатировала газета «Corriere della Sera», высказавшаяся за оставление Флотова. Когда я заметил, что названная газета является самой немененавистнической во всей Италии, Ягов замолчал, и его лицо приняло до комизма растерянное выражение...

ГЛАВА XVI

Перед отъездом я был принят императором в замке Бельвю. Здесь, четыре года спустя, когда с неудачей нашего последнего большого наступления на западе начала сбываться трагическая судьба Германии, император Вильгельм в жестких и грубых выражениях дал отставку генералу Людендорфу. Но в данное время император был в приподнятом и уверенном настроении. Дружелюбным тоном, как будто между нами никогда не было никаких разногласий и трений, он развивал передо мною свой

взгляд на возникновение войны: его двоюродный брат английский король и другой его двоюродный брат русский император составили против него заговор в мае 1913 г. во время празднеств по поводу бракосочетания принцессы Виктории-Луизы с герцогом Брауншвейгским. Большей низости не было никогда в истории всех времен. С коварством и изменой в сердцах эти «двоюродные братья и коллеги» вели бедное дитя к божьему алтарю. За это поразит их *божья кара*. Когда он в день свадьбы неожиданно вошел в помещение английского короля в берлинском дворце, он застал его наедине с царем. Оба они испуганно вскочили. Очевидно они вели тогда последние переговоры относительно нападения на Германию. Неблагодарность царя, по отношению к которому он всегда был добрым другом и давал ему хорошие советы, вопиет к небу. Что же касается поведения «Джорджи», то их общая бабушка королева Виктория наверное перевернулась у себя в гробу, когда ее английский внук бросил перчатку ее немецкому внуку.

Мне было тяжело сознавать, что даже горькие уроки первых военных месяцев не научили Вильгельма II более здраво и деловито оценивать события. Когда я указал на то, что в Англии именно с момента восшествия на престол короля Георга V иностранная политика осуществляется министрами и парламентом, император обиженно взглянул на меня, но затем опять дружелюбно взял меня под руку и сказал, что теперь мы пойдем к его жене, которая очень желает меня видеть.

14 декабря 1914 г. я приехал в Рим. Там я через несколько дней получил письмо от одного близко стоявшего к ведомству иностранных дел журналиста, который писал мне следующее: «Немедленно после вашего отъезда из Берлина статс-секретарь фон Ягов говорил всем и каждому, что теперь мы можем быть совершенно спокойны за Италию. Она выступит на германской стороне. В этом не может быть никакого сомнения». Совершенно очевидно, это делалось с намерением подложить мне свинью. В Риме на вокзале меня поджидал персонал посольства, но без посла Флотова. Я остановился в моей вилле Мальта, а не в палаццо Кафарелли, который сорок лет назад принял меня в качестве атташе посольства, а двадцать лет назад — в качестве посла. В полдень ко мне явился Флотов. Он держал себя так, что для любого актера мог послужить образцом для роли секретаря Вурма в пьесе Шиллера «Коварство и любовь». Он подчеркнуто заявил мне, что с определенно выраженного согласия имперского канцлера и статс-секретаря он не покинет Италии, а проведет там свой отпуск и «впредь до дальнейшего» будет проживать в Неаполе.

Через несколько дней в Рим приехал депутат Эрцбергер. С момента моего разрыва с центром никто из членов этой партии так резко на меня не нападал, как он. От него исходила подхваченная впоследствии бывшим правительственным чиновником Мартином и главным редактором парижской газеты «Figaro» Га-

стоном Кальметтом басня о том, что будто бы у меня был план заставить императора отречься и провозгласить себя президентом германской республики. Лично с Эрцбергером я еще не был знаком. Когда он явился ко мне в мой рабочий кабинет и мы разговорились, он оказался человеком, способным все быстро схватывать, не особенно одаренным, мало образованным, но во всяком случае не глупым.

Эрцбергер начал с заявления, что он нападал на меня лишь по партийным соображениям, но при этом не имел никаких дурных намерений, а теперь относится ко мне с уважением и восхищением. Я могу вполне положиться на его честность. Бетман и Ягов направили его в Рим, дали ему особый шифр и поручили ему все свои наблюдения над моими поступками и действиями без утайки сообщать им. Конечно при этом и канцлер и статссекретарь не имели особенно дружелюбных намерений по отношению ко мне. Но он ничего не будет ни писать, ни телеграфировать в Берлин, не показавши предварительно мне. Это свое обещание Эрцбергер честно выполнял. Он предварительно показывал мне все свои доклады и сообщения в Берлин, а также информировал меня относительно тех политических разговоров, которые он вел в Риме. Так как он не без основания опасался за свою личную безопасность, потому что итальянская пресса злобно критиковала его частые визиты в Ватикан, я предложил ему поселиться у меня в вилле Мальта и одновременно официально объявил о том, что депутат Эрцбергер временно причислен к посольству в качестве атташе.

В Риме в тяжелую зиму 1914/15 г., когда мне при плохой помощи со стороны Берлина и еще меньшей поддержке со стороны Вены приходилось вести борьбу против многочисленных враждебных и противодействующих влияний, я время от времени получал письма от Мольтке, свидетельствовавшие об его дружественном расположении и об его патриотизме. Мне думается, что очень немногие так искренно и горячо желали успеха моему римскому делу, как Гелльмут Мольтке. Такие пожелания и молитвы действительно мне были нужны. При моем первом разговоре с советником посольства Гинденбургом я сравнил себя с врачом, которого слишком поздно призвали к постели больного. Это сравнение было подходящим. Если в июле 1914 г. при ловкой политике со стороны Германии представлялось возможным военное сотрудничество Италии, если перед отступлением от Марны по меньшей мере был возможен полный и надежный нейтралитет, то теперь даже лишь для сохранения нейтралитета требовалось, чтобы Австрия немедленно, безоговорочно и с красивым жестом пожертвовала *Трентино* и согласилась на автономию *Триеста*. Но австрийцы не решались на такие неизбежные уступки, а Бетман и Ягов не отваживались оказать энергичное давление на венский кабинет. После того как мы без колебания безусловно дали наше согласие на карательную экспедицию Австрии против Сербии и предоставили венскому

кабинету выбор средств, австрийцы были абсолютно уверены в нашей поддержке и не считали себя связанными какими-либо условиями по отношению к нам. Имея от нас в кармане неограниченные полномочия, они уселись за игорный стол, за которым к сожалению разыгрывались не только их, но и наши деньги. Мы с самого начала разрешили им вести дело против Сербии до крайних пределов, вплоть до войны со всеми ее последствиями.

В Риме я нашел в делах письмо советника венского посольства принца Штольберга, который во время краткого отсутствия своего шефа посла Чиршки приблизительно за неделю до вручения ультиматума, в середине июля 1914 г., сообщал в Берлин, что во исполнение возложенного на него поручения он спрашивал графа Берхтольда, продолжает ли венский кабинет считать необходимым предъявить сербскому правительству резкие искупительные требования по поводу сараевского убийства. По получении утвердительного ответа министра он в том же порядке дальше спросил: что случится, если Сербия примет все австрийские требования? С улыбкой (и Берхтольд и Ягов любили улыбаться) императорский и королевский министр заявил, что он считает невозможным, чтобы даже такое правительство, как сербское, проглотило такие требования. Но если бы это случилось, то не оставалось бы ничего другого, как и после принятия всех требований продолжать раздражать Сербию до тех пор, пока Австрия не получит возможности вступить в Сербию военной силой. Далее, при делах в Риме оказались копии двух писем статс-секретаря Ягова, адресованных из главной ставки помощнику статс-секретаря Циммерману; эти письма дали мне повод к меланхолическим мыслям относительно глупости и неустойчивости нашего ведомства иностранных дел в конце лета 1914 г. В одном из этих писем, написанном еще до отступления на Марне, Ягов предписывал ведомству иностранных дел и императорскому посольству в Риме не давать Италии никаких обещаний и даже не вести никаких переговоров относительно каких-либо компенсаций. Ввиду будущих мирных переговоров нам не следовало ни в какой мере связывать себе руки по отношению к Италии. Это напомнило мне слова французского министра иностранных дел в 1870 г. герцога Грамона, который по поводу сделанного ему сообщения о том, что южногерманские государства собираются выступить вместе с Пруссией против Франции, весело и спокойно сказал: «Тем лучше. Нашим армиям будет удобнее располагаться в долинах Южной Германии, и у нас будет больше простора при мирных переговорах». Через несколько недель после марнского отступления Ягов прислал в Рим отчаянное письмо, в котором просил предложить Италии все, что угодно, лишь бы она только присоединилась к нам.

Если я, как и всякий общественный деятель, иногда ошибался и даже быть может, как говорят мои противники, очень часто

ошибался, то во всяком случае я могу сказать со спокойной совестью, что у меня никогда не было иной путеводной звезды, кроме *государственной пользы*. С тех пор как я добровольцем поступил в боннский королевский гусарский полк и принес присягу на верность королю и родине, я никогда с большей сознательностью и беззаветностью, не щадя себя самого, не отдавал своих телесных и душевных сил на служение своей родной стране, как во время моей римской миссии зимой 1914/15 г. Именно потому, что у меня не было никаких иллюзий относительно того крайне опасного положения, в каком мы оказались через пять лет после моей отставки вследствие неспособности моего преемника и его сотрудников, я напрягал все свои нервы, для того чтобы окруженную многочисленными и сильными врагами и со всех сторон утесняемую Германскую империю избавить еще от одного противника, которого нельзя было недооценивать. Доходившие до меня известия с родины укрепляли мое мнение о серьезности создавшегося положения.

Альберт Баллин писал мне вскоре после моего приезда в Рим следующее: «Я не могу радостно взирать на общее положение. Мысль о подводной блокаде, которая дала бы нам в случае удачного осуществления возможность совершенно парализовать Англию, встречает у юристов и у руководителей ведомства иностранных дел сотню возражений. В Турции далеко не все для нас радостно. Там нехватает припасов и амуниции вследствие того, что Румыния не пропускает от нас грузов. Ни на Суэцком канале, ни в Египте нет никаких объектов для успешных операций. Как бы ни складывались обстоятельства, совершенно непонятно, почему мы не оказываем сильнейшего давления на Вену, чтобы заставить ее хотя бы ценою значительных жертв вступить в соглашение с Италией. Для Австрии было бы крайне необходимо освободить находящиеся на итальянской границе военные силы, чтобы окончательно одолеть сербов. Тот факт, что Австрии не удалось быстро справиться с сербами, по моему мнению, значительно ухудшил наше военное положение. Если бы австрийцы быстро опрокинули сербов, они могли бы посредством некоторых уступок заключить союз с этой маленькой, но крепкой державой и таким образом создать положение, которое могло бы дать повод царю заключить сепаратный мир. Да поможет нам бог. Я через некоторое время поеду в Берлин и буду настоятельно советовать Циммерману оказать энергичное воздействие на Австрию, чтобы побудить ее договориться с Италией. Наши военные успехи побудили бы Тройственное согласие к новым усиленным ухаживаниям за Румынией и Италией. Военные же неудачи усилили бы и без того существующие как в Италии, так и в Бухаресте тенденции выступить против Австрии. Таким образом мы оказываемся в тупике, и нам необходимо позаботиться о скорейшем почетном мире. То, что нами достигнуто, уже грандиозно. Вести войну против целого враждебного мира на вражеской земле и так блестяще держаться — это действительно огромная заслуга».

Главный директор издательства Шерля Евгений Циммерман, постоянно бывавший в главной ставке и позднее, три года спустя, помогавший Вильгельму II при составлении его книги «События и люди», писал мне еще до моего отъезда в Вечный город следующее: «Всюду замечается пессимистический взгляд на военное положение. Мы продвигаемся вперед крайне медленно и с огромными потерями. Противники выигрывают время для принятия контрмер. Русская артиллерия пополняется японской. Французы подвозят все больше и больше цветных войск. Англичане лихорадочно готовятся. На Изере мы потеряли к 1 ноября круглым счетом пятьдесят тысяч офицеров и солдат. Пятидесятилетние лейтенанты и полковники теперь на фронте уже не редкость. Решающее значение для битвы все более и более приобретает грубая сила. Военное искусство отступает на задний план. Нет признаков оперативного превосходства. Наш численный перевес на западе (приблизительно триста пятьдесят тысяч человек) не дает осязательных результатов. Но несмотря на все это, можно и нужно надеяться на конечный успех. Но чем больше он будет приписываться армии, народу или отдельным людям, а не искусному руководству, тем сильнее будут требования демократии после войны. Когда здесь приходится говорить с высшими представителями власти, то удивляешься непониманию ими того, что происходит в народе»...

В противоположность этим серьезным предостережениям и патриотическим опасениям состоявший при особе императора генерал-адъютант фон Хелиус писал мне относительно настроения его величества следующее: «Император все еще не хочет верить, что Италия серьезно собирается поссориться с Австрией, и надеется, что Румыния, где повидимому нарастает настроение в пользу центральных держав, удержит Италию от этого рокового шага. Особо доверительно могу сообщить еще о распространенном здесь мнении, что весною папа выступит с предложением мира и возьмет на себя посредничество. Эта мысль очень симпатична его величеству. Само собой разумеется, что это может последовать лишь на основе военного status quo. Такой путь вполне возможен, так как и во Франции и в Англии несомненно сказывается потребность в мире. Англии трудно приходится с флотом; существует опасность для подвоза, в особенности для Бельгии. Его величество в бодром настроении и с уверенностью ожидает успеха от операций на востоке, что весьма возможно явится поворотным пунктом как в военном, так и в политическом отношении».

Когда я принимал дела посольства, господин фон Мерей был только что отозван, так как его личные отношения с итальянскими министрами с течением времени стали совершенно невозможными. Его преемник, бывший начальник первого отдела венского министерства иностранных дел, господин фон Маккио был типичнейший австрийский чиновник старинной школы: медлительный в движениях и в особенности в мыслях, насквозь формалист, с ленцой, без инициативы и без самостоятельного мнения.

При всех переговорах, которые я во время моей римской миссии вел с министром иностранных дел Соннино, я говорил ему, что приложу все свои усилия к тому, чтобы склонить австрийцев к уступке Трентино. Но когда министр спрашивал барона Маккио, приходившего к нему после меня, имеет ли он что-нибудь сказать ему относительно Трентино, императорский и королевский посол с каменным лицом отвечал ему, что он не понимает вопроса министра. У Маккио была своего рода система, основанная вне всякого сомнения на венских директивах, говорить итальянскому правительству противоположное тому, что я излагал Соннино. Такое поведение императорского и королевского посла обусловливалось еще и тем, что Ягов, как я узнал об этом впоследствии, доставлял себе удовольствие показывать мои секретные доклады, где я по долгу службы откровенно высказывался относительно неудовлетворительной организации австрийского представительства в Риме, австрийскому послу в Берлине принцу Готфриду Гогенлоэ или через посла Чиршки сообщать в Вену. Против такого союза даже и полубогу трудно было бы бороться.

ГЛАВА XVII

В день моего приезда в Рим я посетил в Консульте министра иностранных дел Сиднея Соннино. В этом роскошном дворце тогда помещалось министерство иностранных дел. Когда я вошел в приемную министра, я очутился там лицом к лицу с тремя послами Антанты: Баррером, сэром Реннелем Роддом и Крупенским. Их отношение ко мне было характерно для духа их народов. Добрый Крупенский бросился ко мне и стал заверять меня, что его личное чувство дружбы ко мне нисколько не изменилось. Умный и утонченный Родд протянул мне руку и сказал по-английски: «Жму вашу руку и прошу вас передать мои наилучшие пожелания княгине Бюлов». Из всех троих послов Антанты Камилл Баррер был моим самым старым другом. Но когда он увидел меня, он с присущим всем французам актерским талантом с ужасом посмотрел на меня, затем закрыл глаза руками и отвернулся. Французский зритель наверное сказал бы: «Это была сама Франция, демонстрировавшая свою непримиримость перед врагом».

С министром Сиднеем Соннино я в течение многих лет находился в дружественных отношениях. Он родился в Леванте[102] от итальянского еврея и англичанки и сочетал в себе британскую настойчивость и британское упрямство с еврейской остротой ума и диалектикой. Соннино с самого начала войны был сторонником выступления Италии на стороне центральных держав. Он прежде всего желал, чтобы Италия вышла из мировой войны с территориальными приобретениями. Она и в 1866 и в 1870 гг. извлекла выгоду из чужих войн; того же хотела она и теперь.

Наряду с Соннино министр-президент Саландра играл срав-

нительно второстепенную роль. У него не было ни остроты ума, ни серьезности, ни твердости характера министра иностранных дел. Он просто хотел в большой мировой заворухе что-нибудь заработать для своей страны.

Соннино с самого же начала ясно и откровенно изложил мне свой взгляд на создавшееся положение. Антанта предлагает Италии в качестве военной награды все населенные итальянцами австрийские области. Чтобы избежать военного столкновения между Италией и габсбургской монархией, Австрия также должна со своей стороны предложить уступки в конкретной, связывающей ее форме. Эти уступки должны быть предложены приличным образом. Их нельзя бросать Италии как подачку надоедливому нищему. Они должны служить выражением искреннего желания установить между двумя старинными противниками, Австрией и Италией, прочные, надежные, ясные и длительные дружественные отношения. И прежде всего это нужно сделать как можно скорее. *Минимумом таких уступок* было бы Трентино, которое раньше не принадлежало к габсбургским владениям, а до венского конгресса являлось сначала самостоятельным епископством, а затем частью итальянского королевства, находившегося под властью вице-короля Евгения Богарнэ. Конечно многие итальянцы требуют также присоединения города Триеста, где преобладает итальянское население. Но против присоединения к Италии города Триеста имеются и некоторые возражения: цветущий Триест может повредить соседней с ним Венеции, на развитие торговли которой итальянское правительство за последние годы затратило много труда и средств; но возможен и упадок Триеста, так как от него отпадает его прежний хинтерланд. Против присоединения Истрии и в особенности Далмации говорят те соображения, что в этих частях габсбургской монархии итальянский элемент находится в значительном меньшинстве сравнительно с сербо-кроатским. Немедленная, безоговорочная уступка чисто итальянской части Тироля, т. е. Трентино, автономия Триеста в рамках габсбургской монархии и улучшение положения итальянцев в Истрии и Далмации являются безусловно необходимыми.

По этому поводу Соннино напомнил мне, что незадолго до начала мировой войны австрийцы внезапно выслали из Триеста в Италию большое количество итальянских граждан, и этот неловкий австрийский акт вызвал в Италии большое неудовольствие, отголоски которого чувствовались и в начале войны. Действительно, каждое австрийское мероприятие свидетельствовало о распущенности австрийской политики и о склоке и интригах при венском дворе.

Принц Готфрид Гогенлоэ принадлежал к тем австрийским аристократам, которые своим легкомыслием и неспособностью много содействовали крушению габсбургской монархии. Весьма притязательный, но ни к чему не пригодный, он восстановил против себя несдержанного и гневного эрцгерцога Франца-

Фердинанда. Он часто задумывался над тем, чтобы найти выход из этого тяжелого положения, и вот однажды ему пришла в голову одна спасительная мысль. У него был брат, Конрад Гогенлоэ, впоследствии ставший обергофмейстером, а в то время состоявший штатгальтером города Триеста. Оба брата хорошо знали доходившую до идиосинкразии ненависть эрцгерцога Франца-Фердинанда к современной Италии. Поэтому Готфрид посоветовал своему брату Конраду в качестве штатгальтера Триеста воспользоваться первым же случаем и ударить по итальянцам с возможно большим шумом и треском. Штатгальтер Конрад Гогенлоэ так и поступил и притом именно в такой момент, когда отношения между Италией и Австрией действительно начали улучшаться и с итальянской стороны на юбилей австрийской военной академии в Винер-Нейштате был послан в качестве специального представителя короля Италии один итальянский генерал, получивший военное образование в этой академии и произнесший на этом празднестве лестную речь об императорском войске. Последовавший за этой итальянской любезностью поступок штатгальтера Гогенлоэ естественно был встречен в Италии как афронт и вызвал серьезное раздражение. Но эрцгерцог Франц-Фердинанд был восхищен этим поступком Конрада Гогенлоэ. «Вот Конрад поступил молоддом», — в течение трех дней в хорошем настроении говорил он всем и каждому, и улучшение его отношения к семье Гогенлоэ привело эту семью в блаженное состояние. Но политические последствия этой мальчишеской выходки были печальны, вдвойне печальны потому, что это произошло незадолго до истории с ультиматумом.

Из всех моих переговоров с министром Соннино и из всех разговоров с моими римскими друзьями и знакомыми я вынес впечатление, что необходимо действовать безотлагательно, чтобы в этот последний момент воспрепятствовать выступлению Италии против Австрии. «Bis dat, qui cito dat» [1], часто говорил я австрийскому послу Маккио и писал в моих письмах и докладах в Берлин. Я не знал в точности, в какой мере и главное насколько прочно Италия до моего приезда связала себя по отношению к Антанте. Я чувствовал, что предварительные переговоры зашли уже очень далеко, но еще не было окончательного, не подлежащего изменению обязательства. Следовательно нужно было как можно скорее внушить влиятельным итальянским государственным деятелям убеждение в том, что Австрия без всяких задних мыслей выполнит минимум итальянских требований, и одновременно вызвать в итальянском народе такое движение, которое предпочитало бы удовлетворение итальянских вожделений посредством мирных переговоров, а не путем военного риска. Все то, что я в этом направлении делал, та решительность, с которой я использовал мое личное влияние, чтобы предотвратить войну между Италией и Австрией, — все это делалось не в интересах габсбургской монархии, а

[1] Вдвойне дает тот, кто дает быстро.

в интересах моей германской родины, которая уже боролась против столь многочисленных врагов.

Я заранее предвидел, что война между Италией и Австрией обременит нас необходимостью оказать тяжелую военную помощь. Я до сих пор держусь того мнения, что Италия, если бы она в 1915 г. не вступила в войну с Австрией, впоследствии имела бы полную возможность без борьбы, без жертв и без кровопролития добиться присоединения Трентино, автономии Триеста и улучшения положения итальянцев в Австрии. Если бы Италия оставалась нейтральной, она во время мировой войны могла бы всем предоставлять убежище и во все страны могла бы экспортировать свои товары. В этом случае ее лира теперь стояла бы так же высоко, как швейцарский франк. Мне думается также, что Италия, получив по Версальскому миру из рук Антанты большие области, заселенные немцами и югославами, нарушила не только тот национальный принцип, на который раньше сама она часто ссылалась, но и свои собственные истинные интересы. Без вступления Италии в войну дело едва ли дошло бы до Версальского мира, который привел если не к полному уничтожению, то к искалечению, к несказанному ослаблению Германии, к уничтожению европейского равновесия и к установлению гегемонии Франции на европейском континенте, на Средиземном море и в Северной Африке. Эти печальные последствия Версальского договора не соответствуют правильно понимаемым интересам Италии. Ни Криспи, ни Мингетти, ни Кавур не были бы довольны таким результатом, купленным ценою понесенных Италией тяжелых жертв деньгами и человеческой кровью.

Пропаганда Антанты действовала в Риме не только энергично, но и ловко. Ее самым сильным оружием было и оставалось нарушение нами *бельгийского нейтралитета*, сопряженное, как это постоянно усиленно подчеркивалось, с несоблюдением и попранием старинных торжественных договоров. Когда я вскоре по приезде в Рим проходил через площадь Спагна, я заметил в окне одного книжного магазина на выставленном на показ листе картона свой родовой герб. Над картоном была надпись красными буквами: «Клочок бумаги». Когда я ближе присмотрелся, оказалось, что это был экземпляр того параграфа лондонского протокола 1831 г., которым гарантировались независимость и нейтралитет Бельгии. Это соглашение было подписано тогдашними представителями великих держав в Лондоне, приложившими свои печати. За Россию, если не ошибаюсь, подписался Поццо ди Борго, за Францию — Таллейран, за Австрию — Аппоньи, за Великобританию — Пальмерстон и за Пруссию — брат моего деда Генрих Бюлов. Бельгийская пропаганда пользовалась однако и грубыми средствами, рассчитанными на психику низов наивного народа. Так, распространялись статуэтки мадонны, перед которой стоит на коленях ребенок с отрубленными руками. «Святая богоматерь, повели вырасти моим рукам, которые отрубили у меня свирепые варвары-немцы». Само собою разумеется, что ни один немецкий

солдат никогда не увечил ни одного бельгийского или французского ребенка.

Но несоблюдение нами договоров и международного права, усугубленное нескладной речью Бетмана от 4 августа 1914 г. и его идиотским поношением международных договоров, которые он назвал «клочками бумаги», всюду, в частности и в Италии, причинило нам неизмеримый вред. Для бельгийских агитаторов, среди которых одновременно выделялись своим ораторским талантом и один из красноречивейших вождей социалистов и знаменитый патер-проповедник, нетрудно было вызывать сочувствие к «подвергшейся нападению» Бельгии и сомнение в справедливости немецкого дела.

Когда я был принят королем Виктором-Эммануилом III для вручения моих верительных грамот, он приветствовал меня следующими словами: «Если бы вы оставались у власти, то все эти глупости не были бы совершены». В дальнейшем разговоре король спокойно и деловито изложил мне, что после того как Италия была застигнута врасплох австрийской акцией с ультиматумом, никакое итальянское правительство не имело бы возможности вступить в войну на стороне центральных держав. К тому же Германия сама объявила войну Франции и России, после того как, допустив австрийское выступление, она уже нарушила дух союзного договора. Он хорошо знает, что при этом со стороны Германии не было никакого коварства. Это постоянно подчеркивал и итальянский посол в Берлине господин Боллати. Но в политике неловкость иногда бывает вреднее злостности. При этом король из вежливости говорил не о «неловкости», а о «некотором недостатке искусства». Теперь самое важное, чтобы Австрия как можно скорее сделала нужные уступки. «Торопитесь».

Итальянское общество отличалось той тактичностью, какая свойственна народам с древней культурой. За все пять месяцев моей деятельности в Риме и сторонники войны с Австрией и противники войны одинаково относились ко мне вежливо и с уважением. Это соответствовало и отношению народа. Даже в те дни, когда и в прессе, и в парламенте, и на улице вопрос о войне горячо и страстно обсуждался, я во время моих ежедневных прогулок по Корсо, в Вилла Боргезе или на Пинчио не только никогда не замечал ничего угрожающего, но даже и не чувствовал назойливого любопытства.

Считаю нужным с полной определенностью подчеркнуть, что не только в итальянском обществе, но и во всей стране было много патриотов, высказывавшихся за сохранение нейтралитета. Воинственно настроенные элементы шумели больше, но сторонники политики нейтралитета по существу были в большинстве. Еще в середине мая 1915 г. один дружественно ко мне расположенный депутат передавал мне слова министра внутренних дел о том, что при народном голосовании большинство высказалось бы против войны. Самым крупным политиком Италии за последние годы был Джиованни Джиолитти. Он, как и все наши друзья за грани-

цей, считал нашу политику с ультиматумом исключительно неудачной. Когда вспыхнула война, Джиолитти тоже желал и требовал присоединения Трентино и гарантирования лучшего обращения с итальянцами в Австрии. Но он надеялся, что эти требования могут быть осуществлены без тяжких жертв деньгами и кровью и без громадного риска. Он также с самого начала держался того взгляда, что войны можно избежать лишь в том случае, если Австрия сделает нужные уступки без всяких задних мыслей, в благовидной форме и быстро. Чем больше медлила Австрия, чем более колеблющейся, неуверенной и запутанной становилась наша политика, тем ближе надвигалась опасность войны.

Я всегда буду с гордостью вспоминать, что Бенедикт XV горячо поддерживал мои усилия, направленные на сохранение мира. Он желал сохранения габсбургской империи, этой последней католической великой державы. Он ясно сознавал, что войны можно было избежать лишь при условии, чтобы Австрия больше не медлила пожертвовать по меньшей мере Трентино. Папа, любивший Италию, желал осуществления итальянских национальных стремлений, но лишь в таких пределах, какие совместимы с дальнейшим существованием габсбургской империи. Но прежде всего он считал своей обязанностью содействовать возможно более скорому прекращению ужасного кровопролития мировой войны и во всяком случае препятствовать тому, чтобы мировой пожар распространялся дальше. Он поручил венскому архиепископу кардиналу Пиффлю в этом смысле переговорить со старым императором Францем-Иосифом. Но восьмидесятичетырехлетний император не дал кардиналу даже высказаться, когда он скромно и боязливо стал исполнять желание святого отца. Краска гнева залила его старческое лицо. Он взял кардинала за руку и буквально выставил его за дверь. Император Франц-Иосиф был верным сыном своей церкви, правила которой он добросовестно исполнял. Но его царственное самосознание было в нем сильнее, чем его религиозное чувство.

16 марта 1915 г. господин фон Бетман-Гольвег писал мне: «Собравшись писать вам, я получил вашу интересную телеграмму относительно ваших переговоров с господином Соннино. К сожалению поведение итальянского правительства повидимому до некоторой степени оправдывает те опасения, которые постоянно высказываются с австрийской стороны, отмечающей, что уступчивость по отношению к итальянским желаниям влечет за собой постоянное повышение требований Италии. Требование немедленного проведения в жизнь договора об уступке территорий как для Австро-Венгрии, так и для нас — я это усиленно подчеркиваю — является конечно *неприемлемым*. Даже по отношению к тем уступкам, которые мы могли бы сделать итальянской политике беспримерного в истории вымогательства, имеется граница, перейти за которую нельзя без значительного умаления национального достоинства и международного авторитета обеих союзных империй, ведущих победоносную борьбу. Вполне уверен, что ваше

спительство разделяете эту точку зрения, и не сомневаюсь в том, что вы приложите всю вашу энергию и все ваше испытанное в течение всей вашей жизни дипломатическое искусство к тому, чтобы побудить итальянское правительство к отказу от его требований, без чего — я этого не отрицаю — присоединение Италии к нашим противникам окажется неизбежным. Нами здесь сделано все человечески возможное, чтобы заставить венский кабинет отказаться от той неуступчивой позиции, которую он первоначально занял по отношения к трентинскому вопросу и которую он сохранял с величайшим упорством. Достигнутый в конце концов успех свидетельствует о правильности и целесообразности принятых нами мер. Если результат наступил не так скоро, как того можно было бы желать ввиду создавшегося политического положения, то причины этого должны быть вам ясны. Они заключались в тех известных австро-итальянских противоречиях, при наличности которых принесение жертвы в пользу Италии являлось для австрийской гордости и самомнения особенно мучительным. Они заключались в совершенно извращенных и обманчивых донесениях австро-венгерского посла в Риме. Они заключались наконец в чрезмерно преувеличенных надеждах, сопряженных с военными успехами союзных армий на востоке.

В наших переговорах с Веной мы дошли до последнего предела, допустимого по отношению к союзнику, которого угрозы в конце концов могут довести до того, что он швырнет свое ружье в кусты и оставит нас одних в борьбе с нашими противниками. Я лично в Тешене всеми мерами пытался воздействовать на барона Буриана, но все мои усилия остались безрезультатными, тем более что точку зрения министра поддерживал и присутствовавший при переговорах начальник австро-венгерского штаба, несмотря на то, что он солидарно со своим германским коллегой высказывался в том смысле, что выступление Италии и Румынии на стороне наших противников окажется для нас равносильным потере нами всей военной кампании».

Господин фон Бетман-Гольвег повидимому не сознавал, какое суровое осуждение всей его политики с сербским ультиматумом заключалось в высказываемом им опасении, что Австрия при дальнейшем давлении со стороны Германии может «швырнуть ружье в кусты» и «оставить нас одних в борьбе с нашими противниками», в той страшной борьбе, в которую он втянул нас ради Австрии. И если германский и австро-венгерский начальники генеральных штабов солидарно заявляли, что выступление Италии и Румынии на стороне наших противников окажется для нас равнозначущим потере нами всей военной кампании, то германский канцлер должен был бы принять все меры к тому, чтобы предотвратить эту возможность любой ценой.

В конце марта неожиданно Флотов приехал из Неаполя в Рим. Он остановился во дворце Кафарелли, где он велел показать ему мои доклады и на основании их делал себе заметки, очевидно для того чтобы в своих частных письмах статс-секретарю Ягову

критиковать мои соображения, советы и требования. Он нанес два продолжительных визита австрийскому послу господину фон Маккио и, как мне сообщили потом чиновники посольства, постоянно общавшиеся со своими австрийскими коллегами, настоятельно разъяснял ему, что у итальянского правительства нехватит смелости объявить войну могучей Австро-Венгрии. То, что говорят Соннино и Саландра, это, по его мнению, «очковтирательство», а то, о чем кричат в итальянских газетах, — это «театральный бутафорский гром». Господин фон Флотов намекнул императорскому и королевскому послу на то, что его правительство и в особенности его императорское и королевское апостолическое величество никогда не простят ему, если он примет какое-нибудь участие в деле уступки Трентино Италии или даже только даст совет в этом направлении. Меня господин фон Флотов за все десять дней его пребывания в Риме *вообще не посетил*, а ограничился распространением выдумки о том, что будто бы я в своих действиях и заявлениях не имею за собой поддержки моего правительства.

Задним числом я считаю большой ошибкой со своей стороны, что в ответ на такие недостойные выходки я не протелеграфировал в Берлин заявления о своей отставке. Во всяком случае я в настоящее время удивляюсь моему тогдашнему долготерпению. Но приученный моим покойным отцом и школой Бисмарка к безусловному исполнению моего долга перед страной при отстранении всех личных соображений, я хотел, после того как я так долго находился на верхах дипломатической службы, и при исполнении этого последнего поручения дать образец неуклонной верности служебному долгу. Однако я уже заранее предвидел последствия образа действия Флотова и Ягова и поэтому секретно разослал всем императорским консулам циркулярное предписание, чтобы они предупредили проживающих в Италии германских подданных о возможности войны Италии с центральными державами.

Через две недели я повторил это настойчивое предостережение.

В конце апреля из моих разговоров с министром Соннино я вынес впечатление, *что он уже перешел через Рубикон*. Я не мог бы доказать этого, но я слышал это в тоне его голоса, читал в его глазах. Но я всегда помнил старинный бюловский девиз «Nil desperandum»[1], вспоминал также прекрасные слова французского морского героя Жана Барта, написанные на его памятнике в Дюнкирхене: «Если остается хотя бы еще одна пуля в ружье, нужно выстрелить». 9 мая я заставил императорского и королевского посла барона Маккио у себя на вилле Мальта, куда я пригласил его для переговоров, написать под мою диктовку заявление, которое в тот же день должно было быть секретным порядком переслано итальянскому правительству и в котором было сказано,

[1] Никогда не отчаиваться.

что Австро-Венгрия готова уступить населенную итальянцами часть Тироля, а также Градиску и западный берег Изонцо, где имеется чисто итальянское народонаселение; Триест должен стать имперским свободным городом с итальянским университетом и итальянским муниципалитетом; Австрия признает суверенитет Италии над Валоной и заявляет о своей политической незаинтересованности в Албании.

Мне пришлось применить сильное давление, чтобы заставить боязливого Маккио совершить тот шаг, который еще в январе мог бы иметь желательные последствия. Однако известные слова великого Наполеона о том, что Австрия всегда отстает и всюду опаздывает, и на этот раз вполне подтвердились. Итальянское правительство уже 24 апреля 1915 г. секретно приняло на себя обязательства по отношению к Антанте[103]. Через восемь дней оно нотой от 3 мая официально денонсировало договор Тройственного союза. Произведенное австрийскими предложениями впечатление на широкие массы итальянского народа было значительным, но не настолько сильным, чтобы создать действительное народное движение, а военная партия между тем с каждым днем удваивала свои усилия и уже мобилизовала улицу. Дошло до того, что Маккио, после того как он, перепуганный, под моим личным давлением опубликовал вышеупомянутое австрийское согласие на уступки, стал раскаиваться в своей уступчивости, объяснял свой шаг недоразумением и подчеркивал, что у него не было предварительного согласия его правительства и что оно и до сих пор не последовало. Весь трентинский вопрос окончательно должен быть урегулирован лишь при будущих мирных переговорах. Секретари обоих австрийских посольств всюду, где только им предоставлялась возможность проявить свою мудрость, высказывались в том же смысле.

Из Берлина я получил предписание испросить еще раз аудиенцию у короля Виктора-Эммануила, чтобы передать ему письмо императора Вильгельма II, заключавшее в себе последнее обращение к его союзнической верности и личной дружбе. Я испросил и тотчас получил эту аудиенцию. Король дружелюбно принял меня. Он был в спокойном и явно решительном настроении. Не было никакого сомнения в том, что он сжег за собой свои корабли. Он сказал мне, что бывает такое положение, когда конституционный монарх не может действовать вопреки тщательно обдуманному мнению своих министров, имеющему на своей стороне, по их убеждению, не только большинство парламента, но также и общественное мнение, традиции и высшие интересы страны. Король поблагодарил меня за ту лойяльность, с которой я осуществлял свою миссию. «Во всяком случае вы тут не при чем, если дело дойдет до войны».

А между тем австрийский посол барон Маккио все еще не хотел верить в возможность войны. Когда я ему на первой неделе мая сказал, что объявление войны Италией Австро-Венгрии несомненно последует в течение ближайших двух недель, он сказал:

«Ах, итальянцы всегда такие возбужденные. Но они конечно опять успокоятся».

Берлинское ведомство иностранных дел в такой же мере оставалось слепым. За несколько дней до объявления войны Италией Австро-Венгрии оно прислало мне для ориентировки и руководства путевые впечатления одного повидимому очень остроумного и интеллигентного немецкого путешественника, который на всем пути от итальянско-австрийской границы до Неаполя нигде не заметил никаких признаков воинственных намерений итальянцев. А это были те тревожные дни, когда по улицам итальянских городов с утра и до поздней ночи двигались отряды солдат и повозки с амуницией и в столице господствовало такое военное оживление, какое бывает при больших маневрах или во время мобилизации.

За три дня до объявления Италией войны Австрии один из старших чиновников венского министерства иностранных дел граф Немес, только что приехавший из Вены в Рим, спросил меня по телефону, когда он мог бы посетить меня. Я пригласил его к завтраку. Граф Немес, здороваясь со мной, заметил, что он крайне смущен. Австрийский министр иностранных дел граф Буриан поручил ему передать мне его привет и его пожелание, чтобы я проявил самопожертвование и остался на лето в Риме, чтобы продолжать мою «доблестную работу в пользу мира». Министр не сомневается, что моей «удивительной диалектике» удастся постепенно успокоить итальянцев. Таково настроение в Вене, подчеркнул граф Немес. А в Риме настроение повидимому совершенно иное. Граф Немес виделся со своей тещей графиней Габриэль Спалетти, у которой он остановился на ее римской загородной вилле. Она со слезами обняла его и спросила, что ему собственно нужно в Риме, когда война стоит уже непосредственно у дверей. Она посоветовала своему зятю не распаковывать его чемоданов. Я мог только рекомендовать графу Немесу последовать совету его тещи.

Депутат Эрцбергер не только добросовестно помогал мне в Риме своими связями с Ватиканом в моих усилиях, направленных на сохранение мира, но и в своих донесениях в Берлин отстаивал мои пожелания и в высшей степени похвально отзывался о моей деятельности. У него были самые лучшие намерения, но его политическое безрассудство и здесь было налицо. Несмотря на мои возражения, он писал в Берлин, что я спас мир и все обстоит в блестящем порядке. Когда он за несколько дней до итальянского объявления войны проезжал через Мюнхен, он посетил проживавшую там мать моего замечательного сотрудника, советника посольства фон Штокгаммерна. Вихрем влетел он в приемную генеральши. «Я привез вам привет от вашего сына. Через два дня он сам будет здесь. Он помог сохранению мира, который теперь вполне обеспечен». Когда умная старая дама на следующий день прочла в газете «Münchener Neueste Nachrichten» об объявлении Италией войны Австрии, она писала своему

сыну: «Совершенно не могу сообразить, как может такой сумбурный человек, как этот взбалмошный шваб, играть в настоящее время такую крупную роль в Берлине».

25 мая я покинул Рим вместе с персоналом имперского посольства. Все секретные дела еще за две недели были отосланы мною с курьером в Берлин.

При моем отъезде не было никаких инцидентов. Люди, стоявшие вокруг виллы Мальта или встречавшиеся мне на улицах, по которым я проезжал на вокзал, раскланивались со мной самым вежливым образом.

Я покидал Италию крайне расстроенный тем, что мне не удалось предотвратить войны Италии с центральными державами. Оглядываясь назад, я ясно видел, что то положение, которое в декабре при большей энергии и — к сожалению должен добавить — при большей лойяльности со стороны Берлина еще можно было бы спасти, впоследствии окончательно было испорчено колебаниями Бетмана, Бертольда и Буриана и тактикой Ягова и Флотова. Как при допущении безумного выступления против Сербии, так и после начала войны берлинцы в угоду старческой обидчивости трактовали своего итальянского союзника как «ничтожную величину», и лишь после того как Италия связала себя Лондонским договором, предоставили мне свободу действий. Но было уже поздно.

ГЛАВА XVIII

В берлинском ведомстве иностранных дел господствовало иное настроение. Еще когда я был на службе, появилась книга под заглавием «Император Вильгельм II и пессимисты», которая содержала немало правильных замечаний. После войны было выпущено новое издание этой книги. Автором этой книги, говорят, был видный публицист господин Небель, часто бывавший в берлинском ведомстве иностранных дел, а зимою 1914/15 г. в течение ряда недель проживавший в Риме. Не помню, встречался ли я с ним и был ли я с ним лично знаком. В новом издании его книги, вышедшей в свет в 1919 г., о моей римской миссии было сказано следующее: «Особенно знаменательным для характеристики духа ведомства иностранных дел является тот факт, что за все время войны на Вильгельмштрассе никогда не паблюдалось такой радости и веселья, как в тот день, когда Италия выступила против нас и тем предоставила ведомственной клике возможность окончательно избавиться от князя Бюлова, который всего себя и все свои значительные связи в Риме посвятил тому, чтобы по крайней мере предохранить Германию от этого нового врага, в то время как Вильгельмштрассе по мелочным личным соображениям самым бессовестным образом не оказывала ему ни малейшего содействия». Вполне правильно этот «пессимист» далее отмечает, что германское ведомство иностранных дел во время мировой войны стало добычей ничтожной клики второстепенных чиновников, которые при ведении внеш-

ней политики империи заботились исключительно лишь о том, чтобы расширять свое личное влияние и власть и добиваться почестей, почетных званий и титулов. Один французский дипломат и историк, Раймонд Рекули, в конце мировой войны опубликовал статью под заглавием «Дуэль Бюлова с Баррером». Здесь было сказано: «Дуэль была весьма ожесточенная. Мы должны теперь признать, что политически Бюлов пожалуй мог бы выиграть партию, но психологически она с самого начала была проигранной. При созданном венской и берлинской дипломатией положении даже дипломатический гений князя Бюлова должен был пропасть даром».

В Берлине статс-секретарь Ягов распространил слух о том, что я приеду еще не скоро. Он сделал это очевидно для того, чтобы меня не встречали с приветствиями на Ангальтском вокзале, чего и сам я не желал. На следующий день ведомство иностранных дел поместило в доступных для него газетах насмешливую заметку о том, что меня встречали на вокзале только содержатель отеля «Адлон» и один рассыльный. Евгений Циммерман еще раньше писал мне: «Статс-секретарь Ягов говорил по поводу слухов о вашем возможном возвращении на канцлерский пост, что этого не будет, так как вам никто не доверяет. Это он между прочим говорил графу Шверин-Лёвитцу. Эти глупые слова тем более излишни, что ведь и сами вы не имеете желания возвращаться на службу. Из того, что господин фон Ягов рассказывает о вас, чтобы вам повредить, я отмечу лишь самое потешное: по его словам, вы в течение дня можете работать самое большее только полчаса, а в остальное время вы спите на кушетке». Евгений Циммерман добавлял, что над такими сплетнями можно только смеяться, но все-таки мне лучше знать об этих пошлостях, чем оставаться по отношению к ним совершенно беззащитным.

Эти сплетни о состоянии моего здоровья и об образе моей жизни очевидно исходили от Флотова и распространялись в Берлине Яговым. В действительности никогда за всю мою трудовую жизнь я так много не работал и не принимал так много людей для переговоров, как именно в Риме зимой 1914/15 г. Таких предметов, как халат и кушетка, у меня никогда не было. Если бы они у меня имелись, я не постыдился бы признать это. Не кто иной, как князь Бисмарк, любил в преклонном возрасте лежать на кушетке и в таком положении спокойно курить свою трубку. В молодые годы он в дообеденное время любил надевать халат, и притом расшитый цветами. У него при этом был несколько старомодный вид, но столь же внушительный, как и в форме гальберштадтского кирасира. Посол Швейниц рассказывал мне, что Бисмарк вскоре после назначения его министром-президентом и министром иностранных дел принял его в халате. Играя кистями халата, он изложил ему свою правительственную программу в следующих словах: «Во внутренней политике я роялист до мозга костей. Если понадобится, я пойду

за короля в Вандею и буду биться за него вместе с старокрестьянами из старой марки. Во внешней политике я не остановлюсь и перед революционными средствами. «Flectere si nequeo superos, Acheronta movebo»[1].

Я не стал бы обременять описанием подпольных интриг и передачей недостойных сплетен этих моих записей, посвященных тем великим и для Германии чреватым бедствиями событиям, которые происходили во время моей римской миссии, если бы это касалось только моей *личности*. Но эти выходки являлись симптомами зла более глубокого, симптомами того морального разложения, которое разъедало служебные помещения берлинского ведомства иностранных дел и ставило жалкие интересы мелочного карьеризма выше блага страны в такое время, когда на фронте офицеры и солдаты тысячами и тысячами героически жертвовали своей жизнью.

Вечером в день моего приезда в Берлин я был приглашен на ужин к канцлеру Бетману. Господин фон Бетман с большим пафосом, пожалуй даже чрезмерно, благодарил меня за мои «беззаветные труды». А Ягов, сидевший рядом с моей женой, говорил ей, что он не понимает, как мог я советовать Австрии уступить Трентино. Когда моя жена ответила, что я был твердо убежден в возможности предотвратить войну между Италией и Германией посредством своевременных австрийских уступок, господин фон Ягов сказал: «Но вы забываете, что уступка Трентино разбила бы сердце почтенному императору Францу-Иосифу, его апостолическому величеству, старейшему суверену в Европе. Вы забываете, что Австрия — это последний оплот консервативных принципов и истинно благородных традиций, а Италия — это демократическая и революционная тварь». После ужина Ягов, которого я раньше не замечал, попытался подойти ко мне, сгорбившись и с таким смущенным лицом, которое ясно свидетельствовало о его нечистой совести. Но я при всех присутствовавших повернулся к нему спиной. Признаюсь, что редко я испытывал большее внутреннее удовлетворение. Это изысканное наслаждение — проявить во-вне перед неприятным человеком те чувства, которые он в нас вызывает. На следующий день господин фон Ягов просил моего друга князя Карла Веделя, у которого он в течение нескольких лет служил секретарем, замолвить за него передо мною доброе слово. Он хорошо сознавал, что он был именно мне обязан всей своей карьерой. Я был его «благодетелем», но Флотов был его «сердечным другом». Это паломничество Ягова осталось безуспешным. Я и в дальнейшем его всюду осаживал, в частности и в палате господ, куда его посадил император по предложению Бетмана, хотя он в этой палате с ее великими патриотическими традициями был столь же уместен, как Пилат при «литургии верных».

Вскоре после моего приезда в Берлин один из флигель-адъю-

[1] Если я не смогу склонить небеса, я приведу в движение адские силы.

тантов под большим секретом сообщил мне, что император по моем возвращении из Рима хотел принять меня, чтобы поблагодарить меня за мои труды. Но Бетман и Ягов сказали его величеству, что такой прием и проявление по отношению ко мне монаршей милости произведут дурное впечатление в Вене. Нетрудно догадаться, с каким удовольствием австрийский посол Готфрид Гогенлоэ, которого гофмаршал Рейшах постоянно держал в курсе текущих дел, сообщил об этом в Вену и в какой мере такая трусливость Бетмана укрепила дерзость венского кабинета.

Вскоре после этого я получил от Бетмана следующее письмо: «Уважаемый князь, во время разговора, который недавно был у меня с вами в моем доме, я отмечал некоторые подробности, касающиеся того давления, какое мы оказывали на венский кабинет во время итальянского кризиса. После того как этот кризис окончился неудачно, политическая критика естественно ищет виновного, и, как мне передавали, склонна отыскивать его не в Вене и не в Риме, а в Берлине. Я опасаюсь, что такого рода изыскания не послужат на пользу отечества. То прочное положение, какое ваше сиятельство занимаете в глазах общественного мнения, как об этом свидетельствует отношение всей прессы и сочувствие рейхстага, громко выраженное по поводу моей речи, защищает вашу неутомимую деятельность в Риме от каких-либо нареканий. Она и не требует защиты. Публично приписывать венскому кабинету полноту той ответственности, какая выпадает на его долю, не позволяют мне, пока длится война, простые соображения политической целесообразности. В настоящее время я не могу указывать ни на те грубые ошибки австрийской политики по отношению к Италии, которые были совершены за последние десятилетия, ни на тот предел, который был поставлен нашему давлению на Вену, после того как Австрия, пожертвовав Восточной Галицией, передвинула значительные массы войск для защиты Силезии. Не могу также указывать на тупоумие австрийских министров, которые всем нашим представлениям противопоставляли несовместимые с сообщениями вашего сиятельства доклады своих представителей, и на абсолютную неподатливость императора Франца-Иосифа, совершенно игнорировавшего письма и послания нашего всемилостивейшего государя и даже личные обращения папы. Таким образом Берлин в настоящее время обречен молчаливо выслушивать все обращенные к нему упреки, пока в более поздпее время ему не разрешено будет говорить. Но тот вред, который причиняется моральным силам сопротивления Германии, когда образуются группировки, пытающиеся поставить войну с Италией в вину мпе и моим сотрудникам, может принять опасные размеры, если критика пойдет дальше по тому же пути и с такой же тенденцией будет углубляться в довоенную историю. Делаемые ею утверждения вроде того, что можно было бы избежать войны или начать ее в более благоприятной обстановке, или что она очень походит на превентивную войну, не

проходят бесследно для маловдумчивых людей и тем легче к ним прививаются, чем меньше при этом обращается внимание на большие линии исторического развития. То, что относится к более отдаленному прошлому, что по нашей вине, или без нее, привело к возникновению большой коалиции против нас; все то, что при прогрессировавшем упадке Австрии и при постоянном усилении Антанты угрожающе изолировало силы Германии; то, что вынуждало нас, начиная с 1905 г., в марокканском вопросе, затем при боснийско-герцеговинском кризисе, затем опять в марокканском вопросе к политике крайнего риска и притом с каждым повторением все более и более усиливавшегося риска, — все эти события тонут в захватывающих впечатлениях настоящего времени, и так это будет продолжаться до тех пор, пока не наступит мирное время и постепенно будут выясняться действительные причины мировой катастрофы, которая слишком грандиозна, чтобы ее могли вызвать какие-либо единичные события. Если я позволяю себе говорить о таких вещах, которые вашему сиятельству при ваших обширных политических и исторических знаниях еще более известны и понятны, чем мне, то к этому побуждает меня патриотическая тревога, вызываемая во мне теми пересудами и рассуждениями, которые широко захватывают даже более серьезные политические круги. При том влиянии, какое ваше сиятельство оказываете на людей своей личностью и своим словом, вы конечно прекрасно понимаете, как нужно управлять и руководить мыслями и чувствами народа и общественности. Это дает мне все основания надеяться, что ваше сиятельство уважите мою просьбу и окажете содействие тому, чтобы *преждевременная критика,* которая в настоящее время еще не может осуществляться открыто и свободно, а лишь частично и следовательно фальшиво, не ослабила сил нашего единства и сплоченности, в которых мы особенно нуждаемся, для того чтобы победоносно выдержать войну. С неизменной преданностью и уважением к вашему сиятельству фон Бетман-Гольвег».

На это письмо, которое свидетельствовало и об обидчивости, и о трусливости, и о неспокойной совести писавшего, я отвечал так: «Уважаемый друг, из вашего вчера мною полученного письма я к сожалению усматриваю, что те пересуды, которые мне неоднократно приходилось замечать еще во время моей служебной деятельности в Риме, повторяются и теперь, когда я вернулся к частной жизни. За все почти шесть лет, прошедшие со времени моей отставки, я с величайшей добросовестностью и тщательностью старался держаться в стороне от политики. Вы сами знаете, что так поступал я и тогда, когда я был предметом бессмысленных и недостойных клеветнических нападок. И теперь при разговорах о ходе итальянских событий я ни об Австрии, ни об австрийской политике ни в Риме, ни здесь не говорил ничего такого, что могло бы тревожить наши политические круги. В том порукой не только мое личное чувство такта, которое никогда в жизни меня не покидало, но и моя правильная политическая

оценка нашего союза с Австрией, который, как вы вероятно охотно согласитесь, за время моей службы не только принес значительный успех, но и внутренне оживился и укрепился, хотя я тогда уже заботился о том, чтобы внутри германо-австрийского союза за нами оставалась *руководящая роль*. И в Риме я не только с большой энергией отстаивал политически разумные австрийские точки зрения, но и считал существенной частью моей задачи избавление Австрии от ущерба и обеспечение австрийских жизненных интересов, хотя, само собой разумеется, руководящей звездой являлись для меня соображения государственной пользы Пруссии и Германии. Но я сохраняю за собой право высказывать свое мнение относительно тех происшествий, которые совершенно открыто обсуждаются всеми знатоками итальянских условий, как членами наших миссий в Риме, так и представителями нейтральных стран, или постоянно или временно проживающими в Риме германскими гражданами, или дружественно настроенными по отношению к Германии итальянцами. Что это всегда осуществлялось и осуществляется с необходимым дипломатическим чутьем и с соблюдением требующейся дипломатической сдержанности, в том, я надеюсь, вы не можете сомневаться, зная меня как сына статс-секретаря иностранных дел и как дипломата, с двадцатичетырехлетнего возраста поступившего на дипломатическую службу, оставшегося на ней в течение тридцати шести лет и стоявшего в течение двенадцати лет во главе дипломатического ведомства. При соблюдении этой осторожности я выступил против распространявшихся с хорошо известной мне стороны тенденциозных и неверных утверждений о том, что будто бы я по приезде в Рим описывал итальянские дела в слишком мрачных красках, когда я по долгу службы указывал на грозившую опасность итальянского выступления против Австрии. Тот факт, что, несмотря на величайшие затруднения и на все то, что до моего приезда в Рим было упущено или испорчено, мне все-таки удалось на несколько месяцев задержать итальянское выступление, может служить доказательством того, что мое личное положение в Риме, которое я беззаветно отдал на служение родине, было лучше, чем о нем перед моей посылкой в Рим и письменно и устно распространялись слухи с другой, вам также хорошо известной, стороны.

Если вы, любезный господин фон Бетман, намекаете на приписываемые мне выражения относительно предшествовавших войне событий, то я прошу вас *назвать мне то лицо*, которое осмелилось утверждать, что в моих словах именно об этих событиях было что-нибудь неправильное или выходящее за пределы тех границ, которые поставлены передо мною моим патриотизмом, моим прошлым и моим сознанием личного достоинства. Я с величайшей решительностью отклоняю подобные инсинуации. Мне не нужно напоминать, что для той страшной борьбы, в которую вовлечена наша нация, единство и сплоченность являются существенно необходимыми. Что такая сплоченность и единство

безусловно необходимы и для победы и для почетного мира, это я прекрасно сознаю и всегда это подчеркивал, когда в том встречалась надобность. Если вам передавали, что я называл эту войну похожей на превентивную войну, то доносчик или был неспособен понимать значение политических выражений, или сознательно говорил неправду. Что касается моего собственного управления, то об этом я не буду подробно распространяться и ограничусь лишь указанием на то, что вы естественно не можете более близко знать событий 1905 и 1908/09 гг. Я напомню только о том, что при сохранении мира с Францией, Японией и в особенности с Англией, добрых отношений с Россией, сохранении державного положения Австрии и неприкосновенности Турции мне удалось создать благоприятные условия для сооружения нашего флота в течение двенадцати критических лет, причем благосостояние и могущество империи достигло пышного расцвета. Это вы должны признать, так как вы сами за пять лет, от июня 1909 г. до июля 1914 г., часто отмечали, что мы, несмотря на случайные разногласия по отдельным вопросам, находились в мирных и дружественных отношениях с Россией, Англией и даже Францией, что подтверждалось свиданием в Потсдаме, вашей поездкой в Россию, договором с Францией о Конго и намечавшимися соглашениями с Англией и что открывало благоприятные перспективы на будущее.

Причины ужасной войны, разразившейся после всего этого, отчасти конечно лежат далеко позади. Англо-германские противоречия должны были обостриться, после того как наша промышленность и наша торговля развились в невиданной ранее степени, после того как мы вышли на море и построили наш флот. Германо-русские отношения после большого восточного кризиса, приведшего к берлинскому конгрессу и к обострению противоречий между Австро-Венгрией и Россией, нередко подвергались тяжелым испытаниям, и франко-германские противоречия после Франкфуртского мира и присоединения Эльзас-Лотарингии также не были совершенно устранены. Но и обремененная таким тяжелым грузом германская политика однако в течение многих лет могла сохранить мир. Вопрос о том, *нужно ли было* порывать с такой политикой, трудно будет устранить навсегда. Но я вполне соглашаюсь с вами в том, что в настоящее время все наши чувства и мысли должны быть направлены на победу и на мир, достойный столь героического напряжения и тех колоссальных жертв, какие несет наш народ в его изумительной самоотверженности. Будьте уверены, что никто в такой мере не проникнут этим, как я, и что при всяком предоставляющемся мне случае я сделаю все для меня возможное, чтобы содействовать достижению этой цели».

Летом 1915 г. успехи нашей армии наполняли меня восторгом. На западном театре военных действий в битве при Лоретто наши войска, находившиеся в значительном меньшинстве, героически отбили предпринятую с огромными средствами по-

пытку маршала Жоффра прорвать наш фронт. В Шампани и в Артуа все атаки французов и англичан оставались безрезультатными. Но тревожные опасения вызывало во мне отношение канцлера Бетмана *к польскому вопросу*. Еще в августе 1915 г. он в своей речи в рейхстаге без всякой надобности выразил надежду, что оккупация нами восточных границ Польши является началом такого развития, при котором исчезнут прежние противоречия между немцами и поляками, и для освобожденного от русского ига польского государства настанет счастливое время, когда оно будет иметь возможность развивать особенности своей национальной жизни. Такое развитие казалось господину фон Бетману благороднейшей военной целью Германии. Но это им подготовленное «счастливое развитие» привело к тому, что мы у себя на восточной границе искусственно создали и вырастили смертельного врага, который отнял у нас обширные и богатые области, более столетия принадлежавшие Германии, грабит и насилует немцев и в качестве наемника Франции готов нас задушить. Я еще в 1915 г. слышал, что Бетман эту свою неразумную и злополучную полонофильскую речь произнес вопреки возражениям всех прусских министров и вопреки протестам консерваторов, национал-либералов, а также предусмотрительных представителей свободомыслящих и центра[104].

По своей дурной привычке Бетман и Ягов, как только выяснились отрицательные результаты образования самостоятельного польского государства, попытались ответственность за свои неразумные действия переложить на других, в данном случае на фельдмаршала Гинденбурга и его начальника генерального штаба Людендорфа. Когда мой старинный друг министр культов Штудт письменно запросил фельдмаршала о том, соответствует ли действительности такая ссылка на него, Гинденбург 24 сентября 1917 г. прислал ему нижеследующее письмо, которое в оригинале было у меня в руках и с которого я с согласия министра Штудта снял копию:

«Как я слышал, в Берлине распространяется слух о том, что образование Польского королевства последовало по моему и Людендорфа желанию. Прошу опровергнуть эту неправду. Образование Польского королевства было решено при переговорах между Бетманом и Бурианом 12 и 13 августа 1916 г. Я стал начальником генерального штаба лишь 29 августа и узнал о создании этого исчадия еще позднее, когда Безелер приехал в Плесс. Он обещал, что после образования королевства Польского мы могли бы получить пять дивизий при добровольной службе и миллион при всеобщей воинской повинности. Такое подкрепление к 1917 г. конечно было для нас желательным, и мы только в отношении этих новых формирований и оказывали свое давление. До какой степени Безелер заблуждался, об этом свидетельствует тот факт, что этим летом в польском легионе было только три тысячи поляков, а остальные девять тысяч были подсунутыми Австрией галичанами, которые могли быть использованы только в тылу. От

такого общества я естественно отказался. В этом единственно и заключалось все мое и Людендорфа отношение к Польскому королевству. На высшее военное командование всегда ссылались, когда чувствовали, что сами совершили какую-то глупость. А когда мы требовали восстановления истины через прессу, нам говорили, что высшее военное командование нельзя подвергать публичной критике».

Со своей стороны замечу, что назначенный нами генерал-губернатор Варшавы генерал Безелер действительно попал в сети поляков и был ими опутан. Он не дорос до того, чтобы противостоять польской хитрости и двуличности. Однако и Безелер подпал всецело под польское влияние лишь после того, как его направил на этот путь имперский канцлер Бетман. Надеюсь, что Безелер понял свою ошибку и в ней раскаялся, когда нам изменило военное счастье и поляки, до того постоянно ему льстившие, сразу перекинулись в лагерь Антанты, с которой они давно уже вели переговоры за нашей спиной. Опять оказался прав князь Бисмарк, который с первого до последнего дня своей политической карьеры считал поляков прирожденными, неисправимыми и опаснейшими врагами прусского государства и германизма.

Впрочем я должен признать, что и сам бедный Бетман в его бессмысленной польской политике поддерживался и поощрялся двумя его близкими друзьями — тайным советником Рицлером (он же Руедорфер) и доктором Гансом Дельбрюком. Рицлер руководствовался тем положением, что то дурное впечатление, которое было произведено на общественное мнение мира нашим вторжением в Бельгию в нарушение международного права, может быть «морально» исправлено восстановлением Польши. О докторе Дельбрюке я уже неоднократно упоминал. Лучше всего он был охарактеризован следующими словами несчастной вдовы императора Фридриха: «Он не плохой человек, но ужасно бестактен».

Но к сожалению еще более опасными, чем его общественная бестактность, были его политическая бесхребетность и отсутствие политического чутья, политической предусмотрительности и здравого рассудка.

ГЛАВА XIX

В декабре 1915 г. я ездил в Швейцарию вместе со своей женой, которой врачи предписали продолжительное пребывание на чистом горном воздухе.

Во время нашего пребывания в Люцерне я воздерживался от всякой политической деятельности. Опасения Бетмана, который вследствие своей природной трусливости, а также потому, что его совесть не была чиста передо мной, боялся меня, оказались неосновательными. Но я внимательно следил за ходом событий по большим европейским газетам. Чтобы быть в курсе общественных настроений в Англии и Франции, я читал «Times»

и «Temps». И вообще можно было узнать много интересного в этой нейтральной стране, куда из всех стран стекались сообщения о текущих событиях и настроениях. Так, мне по секрету сообщили о взглядах и суждениях графа Ледоховского, генерала ордена иезуитов, который в начале войны организовал свое центральное управление в Цицерсе, близ Хура. Когда в феврале 1916 г. царь назначил председателем совета министров заядлого консерватора члена государственного совета Штюрмера, граф Ледоховский сказал одному моему швейцарскому знакомому: «Теперь повидимому представляется возможность заключения мира. Я слышал, что император Николай горячо желает мира, конечно не из любви к центральным государствам, а потому, что при дальнейшей затяжке войны он опасается за свой трон и даже за свою жизнь. Штюрмер, являющийся несмотря на свою немецкую фамилию чистокровным русским, разделяет взгляд своего суверена. Штюрмер также убежден, что если война затянется, то крушение дома Романовых будет неизбежно». Отсюда граф Ледоховский заключал: «Теперь все будет зависеть от того, чтобы Берлин и, разумеется, также и Вена быстро и ловко воспользовались этим крупным благоприятным шансом».

Об этом мнении графа Ледоховского, сведениям которого в Берлине по понятным соображениям должны были придавать большое значение, было обстоятельно сообщено господину фон Бетман-Гольвегу. Это было в феврале 1916 г. Но два месяца спустя, когда русский председатель совета министров едва еще успел усесться в свое седло, Бетман с упрямством неисправимого доктринера произнес 2 апреля в рейхстаге такую речь: «Та Польша, из которой удалился русский чиновник, торопливо сорвавший последнюю взятку, и ушли русские казаки, грабители и погромщики, эта старая порабощенная русскими Польша теперь отошла в область прошлого. После таких великих событий прежнее положение вещей не может быть восстановлено. Сами русские должны будут признать, что возврат русского чиновника на то место, где за это время немец, австриец и поляк честно работали на благо несчастной Польши, совершенно немыслим. Никогда Германия освобожденных ею народов на всем пространстве от Балтийского моря до Волынских болот не выдаст реакционному русскому режиму, будь то поляки, эстонцы, литовцы или латыши».

После такого щелчка Штюрмеру и его несчастному монарху через полгода, 5 ноября 1916 г., последовало совместное заявление Германии и Австро-Венгрии относительно образования самостоятельного Польского государства. Через две недели после этого, вследствие вызванного этим событием негодования не только в Государственной думе, но и во всей России, император Николай сместил председателя совета министров. Из достоверного источника мне сообщили, что в это время Николай II сказал одному приближенному к нему лицу, сторонника мира, следующее: «После такого пинка ногой со стороны Вильгельма за-

ключение мира становится невозможным». Преемником мирно настроенного Штюрмера был сторонник военной партии генерал Трепов. Когда умный граф Ледоховский узнал о таком обороте дел, он сказал: «В Берлине потеряли голову или нервы, или и то и другое вместе». Это суждение не было слишком суровым. Как известно, Таллейран охарактеризовал учиненный Наполеоном расстрел герцога Энгиенского следующими словами: «Это хуже, чем преступление, это — ошибка». Восстановление Польши и притом в такой момент, когда существовала возможность разумного мира с Россией, с одной стороны, было неописуемой глупостью, а с другой стороны — преступлением против отечества. С разных сторон мне впоследствии подтверждали, что и царь и его председатель совета министров Штюрмер во время его пребывания в должности искренне и честно стремились к миру.

Через восемь лет после этого мне представился случай познакомиться в Риме с графом Ледоховским. Он повидимому прекрасно был осведомлен относительно взаимоотношений всех стран и политических течений среди народов. Его слова обнаруживали его наблюдательность и оригинальное мышление. Меня особенно поразило его замечание о том, что в конечном итоге идеи оказываются более сильными, чем материальные силы. Это относится и к таким ошибочным и разрушительным идеям, как марксистские. У меня было такое впечатление, что передо мной стоит человек с широкими горизонтами. И мне стало понятно, почему все генералы ордена иезуитов отказываются от кардинальского пурпура. Этот пост более интересен и влиятелен, чем пост большинства римских кардиналов.

Образование самостоятельного Польского государства, означавшее в то же время крушение надежд на заключение сепаратного мира с Россией, вскоре обнаружилось как страшнейшая ошибка. Без преувеличения могу сказать, что это была *величайшая* политическая ошибка, какую когда-либо совершал государственный деятель. Наше мирное предложение от 12 декабря 1916 г. было несвоевременным и неловким. Собственноручное письмо императора Вильгельма II к Бетману от 31 октября 1916 г., имевшее целью содействовать наступлению мира, не было лишено добрых намерений, но было слишком сентиментальным, слишком наивным, почти что детским. Но в политике детское не всегда является, как в трагедии Шиллера «Дон Карлос», «божественно прекрасным». К тому же это письмо германского императора, как и большинство заявлений Вильгельма II, носило слишком тщеславный характер: «Для такого дела требуется властелин, который обладает совестью, чувством своей ответственности перед богом и сердечным отношением к своим и к чуждым людям, который, не боясь кривотолков, хочет освободить мир от его страданий. У меня есть на то смелость. С божьей помощью я дерзаю на это. Поскорее представьте мне проекты нот и все подготовьте». Так государственные деятели не пишут. Та

радость, какую вызвали в Германии это императорское письмо и последовавшее 12 декабря 1916 г. *предложение мира со стороны центральных держав,* и то легкомыслие, с которым даже в Берлине широкие круги общества приняли это за предзнаменование близкого конца войны, обнаружили перед нашими противниками, что в той Германии, которая до тех пор считалась твердой, решительной и непреклонной, уже появляются утомление войной и внутреннее разложение в таких размерах, какие ранее не предполагались; с другой стороны, это публичное мелодраматическое заявление не являлось правильным подходом к соглашению с холодными и решительными врагами.

Я уже упоминал о том, что после моей командировки в Рим в декабре 1914 г. я всего лишь один раз имел честь быть принятым императором Вильгельмом. Это было поздней осенью 1916 г., когда я получил предписание провести вечер в Новом дворце в Потсдаме. Каждый раз, приезжая в Берлин, я обычным порядком докладывал о себе его величеству, но мне регулярно отвечали, что важные дела к сожалению лишают императора возможности видеться со мной. Но в то же время мои друзья из свиты государя с тревогой сообщали мне, что он и в военное время ведет свой привычный образ жизни: мало работает, по возможности развлекается и слишком много занимается пустяками.

При этом единственном приглашении, которое я получил за последние четыре военных года, я встретил императора одного без императрицы и без кого-либо из его свиты. Кроме меня был еще приглашен генерал-губернатор Бельгии, генерал-от-кавалерии барон фон Биссинг. Император был в хорошем настроении. У меня было такое впечатление, что он хотел казаться мне человеком с сильной волей. Высказав мне, как я об этом упоминал уже ранее, свое мнение о том, что народ не желает больше никакого парламентаризма, что рейхстаг «сидит у него на шее» и что он более всего желал бы, чтобы им управляли командующие генералы, государь, очевидно воодушевленный присутствием Биссинга, стал говорить о своем отношении к бельгийскому вопросу. Он развивал перед генералом фон Биссингом, который считался сторонником аннексии Бельгии и таковым был в действительности, свою мысль о том, что он не собирается лишать престола бельгийского короля. Он прежде всего легитимист. Он сожалеет о том, что его дед под влиянием злого старика Бисмарка в 1866 г. лишил престолов законных властителей Ганновера, Кургессена и Нассау. Монарх божьей милостью, собственно говоря, никогда не должен быть свергаем. Когда мы с Биссингом удивленно взглянули на императора, который в течение уже десятилетий чувствовал себя полным властителем Ганновера и охотно посещал Висбаден и Вильгельмсхее, его величество сказал: «Что было, то было. В Ганновере, Гессене и Нассау все остается по-старому. Но Альберт должен оставаться в Бельгии, потому что он тоже государь божьей ми-

лостью. Конечно он должен будет плясать под мою дудку. Я представляю себе его будущее отношение ко мне приблизительно как отношение египетского хедива к английскому королю». Это были последние политические изречения, которые мне пришлось в моей жизни услыхать от императора Вильгельма II. После этого император перевел разговор на приятные впечатления, которые он вынес из замка Плесс, великолепной резиденции князя Ганса-Генриха Плесса. Князь все умывальные столики своего замка отделал изящной бахромой, которую он, император, собирается ввести и в своих многочисленных замках. Мы с Биссингом сравнительно рано были отпущены.

С грустью приходится констатировать, что в Германии и *только* в Германии оказались такие люди, которые трусливо и предательски напали с тыла на свой народ, который вел борьбу не на живот, а на смерть. Среди них в первом ряду стоит Греллинг с его книгой «J'accuse» («Я обвиняю»), которую Антанта в сотнях тысяч экземпляров распространяла во враждебных и нейтральных странах и по возможности в Германии.

Было бы несправедливо ставить на одну доску с такими памфлетами брошюру князя Лихновского «Моя лондонская миссия». Он не хотел, чтобы она опубликовывалась. Но такого произведения ему вообще не следовало писать, так как независимо от его направления содержание было лишено всякой ценности. Когда в палате господ обсуждался вопрос об исключении князя Лихновского, против него выдвигались серьезные обвинения. Но и в его оправдание было сказано многое, что заслуживало внимания. Особенный эффект в этом последнем направлении имело выступление ныне умершего князя Александра Мюнстера, сына нашего многолетнего посла в Лондоне и в Париже, который вместо какой-либо апологии просто прочел вступительные строки брошюры Лихновского. Эта брошюра приблизительно начиналась так: «К ошибкам князя Бисмарка в его внешней политике следует отнести берлинский конгресс, без которого не было бы и мировой войны. Посылку барона Маршалля послом в Лондон нельзя считать особенно удачным актом ведомства иностранных дел, но зато прекрасной идеей была мысль императора послать его, князя Лихновского, на этот важнейший пост».

Когда князь Александр Мюнстер дочитал брошюру до этого места, его прервал всеобщий хохот, и когда он закончил свою речь выражением надежды на то, что палата не будет столь жестокой, чтобы налагать позорящее наказание на члена палаты, чье политическое легкомыслие столь очевидно, большое число достойных людей, среди которых находился и я, решили положить в урну белый шар. Однако большинство высказалось за исключение бедного Лихновского, который вследствие этого утратил право и на ношение своего прусского военного мундира.

Можно было заранее предвидеть, что в Германии, в этой стране, где издавна существовала тенденция ставить часть выше

целого, партийные интересы выше всеобщего блага, война, и притом такая тяжелая и трудная война, значительно повысит требовательность партий. В ответ на это нужно было немедленно сделать все совместимые со всеобщим благом уступки и призвать на ответственные посты представителей всех партий, включая свободомыслящих, клерикалов и социал-демократов, но с тем, чтобы в дальнейшем управление производилось твердой рукой.

Я находил совершенно правильной состоявшуюся 4 августа 1914 г. отмену всех исключительных законов, в особенности закона об иезуитах и закона о принудительном отчуждении. Такая *новая ориентировка нашей внутренней политики* являлась естественным следствием и лучшей иллюстрацией прекрасных слов императора о том, что он, глава государства и вождь нации, не знает больше никаких партий. В то же время было необходимо по примеру Англии и Франции с величайшей заботливостью и в нужных случаях с непреклонной энергией противоборствовать всем стремлениям ослабить воинственный дух и обороноспособность нации и подготовить внутренний переворот. Нужно было провести резкую черту между патриотически настроенными социалистами, которых было немало, и теми социал-демократами, которые были преисполнены желанием извлечь из мировой войны пользу для своекорыстных партийных стремлений. В то время как Вольфганг Гейне, Зюдекум, Давид, Носке и много других дельных и способных социалистов беззаветно посвятили себя служению родине и огромное большинство немецких рабочих с немецкой верностью и мужеством стали под германские знамена, достаточно скоро обнаружилось, что среди немецких социал-демократов, и только среди них, а не среди французских, английских, бельгийских или итальянских социалистов, оказались предатели отечества.

Карл Либкнехт был единственным депутатом рейхстага, голосовавшим 2 декабря 1914 г. против военных кредитов. В то время это было изолированное выступление фанатика. Однако вскоре после этого председатель социал-демократической партии депутат Гаазе заявил: «Мы подкопаемся под армию и приведем в движение мировую революцию». И действительно, Гаазе и его соучастникам удалось подорвать дисциплину в некоторых войсковых частях и в части военного флота. Но вызвать мировую революцию этим негодяям не удалось; вместо этого они в конце концов повергли свою собственную страну к ногам французских генералов и английских адмиралов. В феврале 1915 г. социал-демократический депутат Штрёбель, редактор газеты «Vorwärts», заявил в прусском ландтаге: «Заявляю открыто, что полная победа Германской империи не соответствовала бы интересам социал-демократов». За все время мировой войны никогда ни один французский, английский, итальянский или бельгийский социалист не делал такого заявления. Заявления Гаазе и Штрёбеля были сделаны в такое время, когда во Франции, Бельгии, Италии и Англии вся демократия вместе с ее крайними левыми флан-

гами оставила в стороне все партийные требования и желания, так как у нее тогда была лишь одна цель: полная победа своей страны.

20 марта 1915 г. в рейхстаге уже два депутата, Либкнехт и еще один близкий к коммунизму саксонец, Отто Рюле, молодой писатель, голосовали против вторых военных кредитов. В январе 1916 г. благомысляще настроенное в то время большинство социалистической партии постановило исключить депутата Либкнехта из социал-демократической фракции. Совместно с Розой Люксембург он издавал нелегально «Письма Спартака», в которых они пропагандировали коммунистические идеи. Весной Либкнехт устроил на Потсдамской площади в Берлине революционную демонстрацию под лозунгом «Долой войну! Долой правительство!» Он был приговорен к заключению на два с половиной года в каторжной тюрьме. Но его сторонники продолжали устраивать в Берлине и в других городах *демонстрации* против голода и за мир. Открыто говорилось, что вспыхнет революция, когда положение на фронте станет угрожающим. А для того чтобы оно поскорее стало угрожающим, усиленно велась агитация в запасных частях, в лазаретах, в санаториях для выздоравливающих, на улицах и просто из уст в уста. Со стороны правительства ничего не предпринималось. Господин фон Бетман-Гольвег был занят исключительно самозащитой против тех брошюр, которые писали о нем директор земельного банка Капп и некоторые другие незначительные пангерманисты и которые совершенно расстраивали этого обидчивого человека. Он произнес в парламенте против «пиратов общественного мнения», как он их называл (это выражение было подсказано ему Рицлером-Руедорфером, который немало этим гордился), сильнейшую речь, какую он когда-либо произносил, единственную речь, преисполненную подъема и даже пожалуй страстности. «Бетман принадлежит к числу тех министров, — сказал мне тогда один либеральный депутат, — которые только тогда вылезают из кожи, когда их собственную драгоценную кожицу поцарапают». Никогда Бетман таким энергичным языком не говорил о наших внешних или внутренних врагах, стремившихся к государственному перевороту.

К числу тех уступок, какие необходимо было сделать, как только началась война, относилась реформа прусского избирательного права, которая давно уже назрела, но после моей отставки постоянно задерживалась Бетманом. В последний год моей службы разумная реорганизация прусского ландтага была вполне возможна при поддержке не только национал-либералов, но и свободомыслящих. После начала войны следовало немедленно допустить всеобщие и тайные выборы прусских депутатов, быть может с некоторыми поправками в отношении возраста для активного и пассивного избирательного права и относительно продолжительности проживания избирателей в месте их оседлости. Но Бетман за все три первых года войны по отношению к вопросу о прусском избирательном праве не пошевелил даже паль-

цем. Лишь весною 1917 г., когда вода почти уже подступила к его горлу, миру представилось такое зрелище, что тот самый государственный деятель, который в качестве прусского министра-президента дебютировал патетической филиппикой против «втягивания Пруссии в лагерь парламентаризма» и против скромного расширения избирательного права, теперь сразу посредством торжественного «пасхального послания» короля объявил удивленной стране о прямом и тайном избирательном праве для прусского ландтага.

Как и во многих других случаях, это решение Бетмана было обусловлено его страхом, который в политическом отношении является самым дурным советником. Бетман в этой уступчивости и полном отступлении усматривал единственное средство еще на некоторое время сдержать социал-демократов. Но он достиг этим только того, что социал-демократический левый фланг конституировался как «независимая социал-демократическая партия Германии», та самая прославленная НСПГ, которая тотчас же стороной начала вести борьбу против продолжения войны и за государственный переворот и которая стоит в первом ряду гробокопателей германского могущества, блага и величия[105]. Не довольствуясь «пасхальным посланием», Бетман устроил еще «июльское послание» короля, которым объявлялось, что законопроект об изменении прусского избирательного права должен быть разработан на основе равного избирательного права, причем этот проект во всяком случае должен быть представлен настолько заблаговременно, чтобы уже ближайшие выборы производились на основании нового избирательного права.

В то время как у нас делались эти опрометчивые уступки, не производившие надлежащего впечатления, так как было слишком очевидно, что Бетман делает их лишь с целью удержать за собой еще на некоторое время власть, *во Франции* правители государства все туже и туже натягивали вожжи. Там, на Сене, снова оживились дух и твердая воля конвента и великого Наполеона. В мае 1917 г. вследствие опустошительного действия неудачного весеннего наступления генерала Нивеля, этого «кровопийцы», как его называли солдаты, во французском войске вспыхнули серьезные волнения. Солдаты отказались повиноваться, организовали по русскому образцу советы солдатских депутатов, забаррикадировались в своих окопах и выкинули красные флаги с призывом «Долой войну!»

Французское правительство тотчас же реагировало на это с величайшей энергией. Были произведены массовые расстрелы, и движение быстро было подавлено. Одновременно правительство внесло законопроект о «пораженческой мирной пропаганде», угрожавший самыми суровыми наказаниями. Руководитель пацифистского социалистического листка «Красный колпак» Альмерейда был арестован и через несколько дней найден мертвым в тюрьме. Вероятно он был задушен. Французский министр внутренних дел Мальви, которого Клемансо обвинял в том, что он недостаточно

энергично боролся с пацифистской пропагандой, был выслан. Бывший министр иностранных дел и министр-президент Кайо был арестован как пораженец и в течении долгого времени не без оснований опасался за свою жизнь. Боло паша, разбогатевший в Египте банкир, брат высокопоставленного прелата, человек с видным положением, был арестован по (несправедливому) обвинению в том, что он, подкупленный Германией, вел пацифистскую пропаганду. Военный суд при бурном сочувствии зрителей вынес ему смертный приговор, и через двадцать четыре часа он был расстрелян в Винсене.

Когда господин фон Бетман склонил императора к его «пасхальному посланию», Альберт Баллин сказал мне: «Канцлер Бетман представляется мне чем-то похожим на купца, который знает, что он несостоятелен, но не хочет объявлять о своем банкротстве и, чтобы еще на несколько недель сохранить перед людьми свое положение, прибегает к расходованию находящихся у него на хранении сумм». Когда я приезжал в Берлин из Флотбека или из Люцерна, куда я ездил навещать мою жену, я каждый раз регулярно посещал Бетмана. Он знал, что я ему, канцлеру, так же как и императору, в любое время и по любому вопросу готов оказать свое содействие, но никогда не обращался ко мне за советом. Он лишь рассказывал мне о положении дел, и из этих его рассказов, точнее докладов, я выносил такое впечатление, что он все еще надеется на соглашение с Англией. «Англичане будут первыми, с кем мы сойдемся». Так он неоднократно говорил. «А мне кажется, — говорил я ему, — что при правильно поставленной политике можно было бы сохранить мир с Англией, но если Англия вступила в войну с нами, она сразу нас не отпустит. Англичанин похож на своего бульдога».

Бедный Бетман не мог обойтись без того, чтобы время от времени не ссылаться на то «тяжелое политическое наследство», которое досталось ему при принятии им дел. Я конечно не оставлял без возражений такого извращения истории. Я говорил ему, что пожалуй удобно перекладывать свои ошибки на своего предшественника, но это несолидно и несправедливо. «Разве я в качестве статс-секретаря или имперского канцлера ссылался когда-нибудь по поводу тех затруднений, с которыми и мне приходилось встречаться, на ошибки моих предшественников, например на обусловленный невозобновлением договора перестраховки русско-французский союз или на телеграмму Крюгеру, или на восточноазиатский тройственный союз? Я просто старался возможно лучше воспользоваться данным положением. К тому же, если я не ошибаюсь, вы не так давно, любезнейший Бетман, указывали в разосланном газетам циркуляре, что внешняя политика ведется его величеством и что следовательно критика этой политики была бы направлена против высочайшей особы. Я не касаюсь вопроса о том, насколько это утверждение само по себе правильно, но полагаю, что его нельзя приводить в защиту только одного единственного имперского канцлера. Во всяком слу-

чае я не могу согласиться с тем, что ваши неблагоприятные отзывы о доставшемся вам *наследстве* имеют какое-либо фактическое обоснование. При этом наследстве и благодаря этому наследству у вас в течение полных пяти лет — а пять лет, это, любезный Бетман, и в жизни народов является некоторым промежутком времени — продолжались хорошие отношения с Россией, проявлявшиеся и в потсдамском свидании и в вашей поездке в Петербург и Москву, чем вы так громко хвастались. После договора о Марокко и Конго вы говорили мне о таком улучшении германо-французских отношений, которое создавало возможность даже заключения союза между этими странами; и с англичанами мы непосредственно перед войной еще вели переговоры по таким двум важным вопросам, как Багдадская железная дорога и португальские колонии. Относящиеся к этому договоры, для которых основа была создана мною, в конце июля 1914 г. были готовы к ратификации. Об улучшении наших отношений с западными державами именно в последние годы перед войной вы постоянно настойчиво твердили».

Бетман молчал и слушал меня с обиженным и вместе с тем смущенным выражением лица, когда я в дружественном тоне благожелательного покровителя просил его при представлении отчета о войне не списывать со своего счета посредством обременения счетов других людей. Но его лицо просветлело, когда я сказал, что к сожалению не считаю исключенной возможность перехода Англии ко всеобщей воинской повинности. Он так участливо на меня посмотрел, как будто хотел сказать: «Добрый князь начинает основательно стареть, у него ум заходит за разум». Затем, обратившись ко мне, он сказал: «Но, уважаемый князь, разве вы не читали английской истории вашего гамбургского земляка Иоганна Мартина Лаппенберга? Или Маколея? Или фундаментальные произведения Гнейста? Никогда английский народ не наденет на себя ярма всеобщей воинской повинности».

Серьезные швейцарские финансовые круги и представители римской курии, во время войны проживавшие в Швейцарии, уже тогда были информированы о том, что Англия переходит к всеобщей воинской повинности, и нисколько не сомневались в правильности сообщений, как об этом мне говорили в Люцерне. Но ответственному руководителю германской политики, опирающемуся на мудрость пыльных книжных полок, суждено было ошибочно оценивать Англию даже в такой поворотный период войны. Через несколько недель после нашего разговора всеобщая воинская повинность стала в Англии законом.

ГЛАВА XX

Господин фон Бетман надеялся посредством дальнейших уступок левым удержаться на поверхности. Через своего друга Валентини он внушил императору, что он, канцлер Бетман, — самая

лучшая, даже единственная плотина, защищающая его величество от революционного потопа. Особенно роковое значение имели колебания Бетмана в вопросе о подводной войне. Именно в этом отношении к нему применимы слова Апокалипсиса в послании к ангелу Лаодикей: «О, если бы ты был холодным или горячим. Но так как ты не холоден и не горяч, а тепел, то извергаю тебя из уст моих».

Для всех было ясно, что по поводу подводной войны имелись серьезные возражения. Но если тем не менее на нее решились, то по меньшей мере следовало отдать ведение этой войны в руки создателя нашего флота, верховного адмирала Тирпица, нашего лучшего авторитета в области морской техники. Вместо этого Бетман с помощью свойственников-адмиралов Мюллера и Гольтцендорфа повел подпольную борьбу против Тирпица, которая в середине войны привела к тому, что император по телеграфу в немилостивой форме дал Тирпицу отставку. После того как подходящий момент для начала подводной войны был упущен, этот опасный шаг был совершен не только слишком поздно, но и крайне неловким образом. Бетман, post factum узнав о том, что в замке Плесс в его отсутствие была решена неограниченная подводная война, подал в отставку, но охотно и быстро согласился на предложение императора взять свое прошение об отставке обратно [106].

Когда вопрос о том, должны ли мы были решиться на обостренную подводную войну или нет, вплотную подошел в своему разрешению, я завтракал с Альбертом Баллином в берлинском отеле «Континенталь». Во время завтрака Баллина куда-то вызвали. Через четверть часа он вернулся с встревоженным лицом и сказал: «Ну вот, обостренная подводная война решена. Слишком поздно это сделано. Если уж хотели подводной войны, то ее следовало начать значительно раньше. Тогда следовало бы также оставить Тирпица. А теперь у Англии было два года времени, чтобы вооружить почти все свои пароходы и организовать защиту против подводных лодок истребителями, сетями, капканами, моторными лодками, воздушными шарами и сторожевыми судами, бомбами и минами». Когда я спросил Баллина, останется ли при таких условиях канцлером Бетман, который так долго боролся против подводной войны, Баллин ответил: «Представьте себе, этот несчастный человек остается. Он только что поручил сказать мне, что в интересах отечества он должен оставаться». Господин фон Бетман никогда не проявлял столько силы воли, как летом 1917 г., когда он цеплялся за свой пост. Должен признать, что император действительно весьма неохотно с ним расставался не столько потому, что он считал Бетмана единственным, кто может спасти его от переворота, революции и отречения, сколько потому, что ему нелегко было бы подыскать себе другого такого же послушного канцлера.

В заседании *коронного совета*, где обсуждалась прусская избирательная реформа, сторонники и противники этой реформы

излагали свои точки зрения в длинных докладах. Император настолько был восхищен речами своих министров, что громко воскликнул: «Я и не знал, что у меня такие умные министры». Особенно умно говорил министр внутренних дел фон Лёбель, который отмечал, что избирательная реформа является серьезным и трудным мероприятием, но что при правильной оценке общего положения она оказывается необходимой. Но только это мероприятие не должно проводиться утомленными руками теперешнего министра-президента Бетмана. Не следует новое вино наливать в старые мехи. Определенно утверждаю, что господин фон Лёбель ни в какой мере не согласовывал и даже не обсуждал со мной тех заявлений, какие им были сделаны на заседании коронного совета, а действовал и говорил совершенно самостоятельно, по собственной инициативе. Он лишь впоследствии рассказал мне об этом заседании. По закрытии коронного совета господствовало мнение, что господин фон Бетман выиграл партию. Он сам в течение дня принимал поздравления от своих друзей, а своим менее расположенным к нему коллегам, в особенности господину фон Лёбелю, он выражал свое сожаление, что им придется расстаться.

Но кто же в конце концов дал толчок к окончательному отстранению Бетмана? Кронпринц понял, что с Бетманом мы не можем ни выиграть войны, ни достигнуть мира. Верховное командование, Гинденбург и Людендорф, были того же мнения. По существу и партии думали то же самое. Об этом кронпринц узнал из переговоров, которые он в начале июля вел с влиятельными членами парламента, которым он очень понравился своим тактом и умными вопросами. Эрцбергер на этих совещаниях недурно сформулировал свое мнение в следующих словах: «Невозможно, чтобы Бетман в своем совершенно перепачканном жилете уселся за стол мирной конференции». Этим именно Матиас Эрцбергер нанес Теобальду Бетману последний, решительный, смертельный удар. Когда Бетман узнал, что император допустил его падение, он не воскликнул подобно Бисмарку: «Король еще вспомнит обо мне», а сказал со вздохом: «Ну, теперь революция неизбежна».

Когда выяснилось, что Бетман должен уйти в отставку, император сказал графу Августу Эйленбургу: «Подите к моей жене и скажите ей, что она опять получает своего Бюлова». Император знал, что как его супруга, так и его министр двора граф Эйленбург желали моего возврата к государственным делам. Но было ли бы это счастьем для меня? Или, точнее, — так как здесь речь шла, разумеется, не о моем личном счастье, а об общественной пользе, — соответствовало ли назначение меня опять имперским канцлером интересам государства? Конечно, если бы я опять стал имперским канцлером, я считал бы своей задачей достижение приемлемого мира. До бессмысленного восстановления Польши был возможен сепаратный мир с Россией и следовательно или успешное дальнейшее ведение войны с западными державами, или, что было бы еще лучше, общий добрый мир. До польской

глупости я ни одной минуты не колебался бы начать переговоры с русским правительством на основе возвращения царской империи всех наших завоеваний в Польше за время мировой войны. Если бы со стороны венского правительства были какие-либо затруднения, я поставил бы русским на вид еще Галицию и стал бы выжидать дальнейшего. Имея в тылу замиренную Россию, мы могли бы быть спокойными за румын и итальянцев. В 1917 г. общее положение было много труднее, но все-таки оно не было безнадежным. Не углубляясь в мир политических предположений, я замечу: и в 1917 г. мир был бы возможен, если бы мы не обнаруживали никакой слабости, никакой заметной жажды мира, не устраивали бы детских мирных демонстраций и не выносили бы наивных мирных резолюций. Во-вне мы должны были бы в полной мере сохранять наше серьезное, твердое, даже упрямое лицо, которому должна была бы соответствовать и наша внутренняя решимость. Одновременно через подходящего *посредника* мы должны были бы сообщить Антанте о нашей готовности заключить разумный и справедливый мир.

Лучшим посредником для мирных переговоров мог бы быть папа Бенедикт XV, в чьем дружественном расположении к Германии и к ее австро-венгерскому союзнику нельзя было сомневаться, так же как и в его искренней любви к миру и в его просвещенной мудрости. Но от этой мысли пришлось бы отказаться, после того как итальянскому правительству по Лондонскому договору, по которому оно присоединилось к Антанте, было обещано, что папа ни в каком случае не будет привлечен к участию в мирных переговорах. Но у нас еще оставался выбор между королевой голландской, президентом швейцарского союза и королями испанским, шведским и датским. Во всяком случае нужно было внести серьезное мирное предложение обычным дипломатическим порядком, ибо в попытках зондирования относительно мира у Бетмана не было недостатка. К сожалению это были попытки с негодными средствами, т. е. при содействии политически и дипломатически неопытных посредников, которые своей неловкостью с самого начала компрометировали то дело, за которое они брались.

Я бы предложил примерно следующие условия: полное восстановление независимости, целостности и самостоятельности Бельгии, новое торжественное подтверждение бельгийского нейтралитета с щедрым возмещением убытков Бельгии, уступка Трентино Италии и автономия Триеста, восстановление и новое подтверждение независимости и нейтралитета герцогства Люксембург. В случае надобности — уступка французской Лотарингии после снесения крепости Мец. В крайнем случае — образование из Эльзас-Лотарингии самостоятельного, международно признанного, демилитаризованного буферного государства. На основании многочисленных разговоров, какие я имел с нейтральными, а также и с политиками враждебных стран, я думаю, что на *таком* базисе мир был бы возможен. Но, правда, я еще более убежден в том, что если бы мне удалось достигнуть такого мира, то меня в

Германии забросали бы гнилыми яблоками. В сотнях газетных статей писали бы о том, что я своим расточительным пером погубил то, что со славою приобрел победоносный меч. Но все эти газетные статьи я легко переварил бы, и гнилые яблоки я легко перенес бы, если бы мне только удалось предохранить отечество от полного и окончательного поражения, от революции и внутреннего развала [107].

Прежде чем я расстанусь в этих моих воспоминаниях с господином фон Бетманом, я приведу еще те последние его политические рассуждения, которые мне довелось от него слышать. Незадолго до его отставки я, возвратившись однажды с прогулки по Тиргартену в отель «Адлон», в котором мы останавливались, застал Бетмана у моей жены, которой он любезно нанес визит. Когда я вошел, он рассказал нам о следующем наблюдении, сделанном им во время его поездки на фронт. В Шарлевилле он посетил одну почтенную гражданку, у которой он квартировал в первый год войны. «Приезжайте к нам почаще, господин канцлер, когда будет заключен мир, — сказала она ему, — вы всегда найдете у нас руки, готовые пожать вашу руку, и сердца, которые вас ценят и любят». Теобальд фон Бетман добавил к этому: «Это говорит мне больше, чем все газетные писания, о действительном, внутреннем настроении французов. И в Англии и в Бельгии мы видим то же самое».

В одной старой французской комедии сказано: «Faut de la naïveté, pas trop n'en faut» [1].

Почему император Вильгельм решил в особенно ответственный момент назначить канцлером Германской империи помощника статс-секретаря Михаэлиса, которого член коронного совета Луканус, многолетний и основательный знаток прусской административной службы, несколько лет назад считал недорослым даже до должности оберрегирунгсрата в Бреслау? Один из господ из свиты его величества рассказывал мне следующее: «Мы, флигель-адъютанты, обсуждали в Мраморном зале вопрос о том, кто мог бы быть преемником ставшего невыносимым Бетмана. Высказывались разные предположения, когда генерал-адъютант фон Плессен распахнул дверь и крикнул в зал: «Я нашел имперского канцлера. Как его зовут, я забыл. Кажется Михель или что-то вроде этого. Он производит хлебные поставки и недавно произнес замечательную речь, в которой заявил, что он пронзит мечом всякого, кто станет ему поперек дороги». Тогда поднялся молчаливо сидевший в глубине Валентини и сказал: «Человека этого зовут не Михель, а Михаэлис, он не занимается хлебными поставками, а состоит статс-секретарем по продовольствию в Пруссии. Он не говорил, что он всякого пронзит мечом, а сказал, что у него в руках оружие закона и он неукоснительно будет его применять. Сделать его имперским канцлером — это не плохая мысль. Я сейчас поеду к его величеству в замок Бельвью. Император будет

[1] Наивность не мешает, но не через край.

доволен, если я избавлю его от необходимости опять назначить Бюлова». Через четверть часа Валентини стоял в историческом замке Белльвю перед Вильгельмом II и предлагал его величеству младшего статс-секретаря Михаэлиса в качестве имперского канцлера. Император в хорошем настроении ответил ему: «Мне будет очень интересно с ним познакомиться. А пока я не имею никакого представления о том, что он такое и каков он». Тотчас был вызван намеченный пятым преемником Бисмарка доктор Михаэлис. Император пожал ему руку и спросил, нет ли у него желания занять высший пост в империи. Михаэлис на несколько мгновений закрыл глаза рукой и затем торжественным голосом заявил: «Я чувствую, что *в поддержке свыше* мне не будет отказано. Я принимаю предложение».

Михаэлис был порядочнейшим человеком. В качестве помощника статс-секретаря в министерстве финансов он обратил на себя мое внимание своей скромностью. Помощник статс-секретаря принимал участие в заседаниях членов правительства лишь в том случае, когда его шеф, статс-секретарь, почему-либо не мог присутствовать. Когда доктор Михаэлис заменял своего министра барона Райнбабена и я предоставлял ему слово, он вставал, держа руки по швам. Затем он начинал говорить несколько картавящим голосом: «С милостивого разрешения его сиятельства князя имперского канцлера и от лица моего высокого шефа его превосходительства министра финансов имею честь почтительнейше доложить нижеследующее». Как относились к доктору Михаэлису в кругах союзного совета, об этом наглядно свидетельствует следующий маленький эпизод. Граф Гертлинг, находившийся в то критическое время в Берлине для участия в заседаниях союзного совета, завтракал вместе с баварским посланником графом Гуго Лерхенфельдом и несколькими другими господами в ресторане Борхард, когда один младший чиновник баварской миссии подошел к графу Лерхенфельду и доложил ему, что его величество император назначил помощника статс-секретаря Михаэлиса имперским канцлером. Граф Гертлинг спросил своего друга Лерхенфельда, что это собственно за человек, о котором он никогда ничего не слыхал. Граф Лерхенфельд к всеобщему увеселению сказал на своем баварском диалекте: «Этот доктор Михаэлис, как мы, мюнхенцы, выражаемся, «ist ein Vieh mit Haxn». Больше я о нем ничего не знаю». Помощник статс-секретаря Михаэлис был не только исправным чиновником, но и благочестивым человеком. Он состоял членом общества «истинного христианства»[1], пиэтистского объединения верных христиан, у которых и на пуговицах и на бланках их писем стояли буквы «Е. С.». Но о внешней политике, о международных отношениях и условиях и о большом свете он не имел никакого представления.

Император даровал члену коронного совета Валентини в благодарность за то, что ему не пришлось снова обратиться ко мне,

[1] Entschiedenes Christentum.

высокий орден Черного орла. Ведомство иностранных дел особенно энергично противодействовало моему возвращению на пост канцлера. Для этой цели была приведена в движение и Вена. Как только положение Бетмана пошатнулось, ведомство иностранных дел телефонировало венскому посольству:

Во-первых, желает ли императорское и королевское посольство, чтобы канцлером оставался Бетман.

Во-вторых, желает ли оно, чтобы снова был призван к власти князь Бюлов.

Посол Бото Ведель охотно передал следующий ответ венцев:

На первый вопрос: да.

На второй вопрос: нет.

Именно потому, что в Вене все больше и больше проявлялась тенденция вступить в соглашение с Антантой за наш счет, там особенно не желали моего возвращения на канцлерский пост. Вена знала, что я замечу ее игру и всеми силами буду ей противодействовать. Как высочайшие дамы, которые после вступления на престол императора Карла заняли там господствующее положение, так и императорский и королевский министры иностранных дел в глубине души относились ко мне подозрительно. Одни потому, что чувствовали, другие потому, что знали, что я в двадцать четыре часа взнуздал бы Австро-Венгрию. Мать простоватого императора Карла, эрцгерцогиня Мария-Иозефа, саксонская принцесса, его теща, герцогиня Пармская, и его супруга Цита — все они одинаково преисполнены были ненависти к Германской империи, к Пруссии и Гогенцоллернам. Баварский посланник в Вене барон фон Тухер так характеризовал мне этих трех дам, которые после смерти престарелого императора Франца-Иосифа 21 ноября 1916 г. заняли при венском дворе первенствующее положение: «Мария-Иозефа глупа, как пробка. Цита — ловкая маленькая интриганка, а ее мать — просто скотина».

В старинном помещении австрийского министерства иностранных дел на венской Балльплатц во время войны одного из главных виновников ультиматума графа Берхтольда сменил венгерец, барон, впоследствии граф Буриан. Берхтольд был легкомысленным и неспособным светским человеком, Буриан — способным и добросовестным чиновником, но в политическом отношении — посредственность. В декабре 1916 г. Буриан был заменен графом Оттокаром Черниным, который духовно несомненно превосходил обоих своих предшественников. В бессмысленном выступлении с ультиматумом он не стал бы принимать участия. Выйдя из интимного круга эрцгерцога Франца-Фердинанда, он хорошо сознавал те опасности, которые таило в себе чрезмерное преобладание мадьярского влияния во внешней политике двойственной монархии. После многолетнего пребывания в качестве посланника в Бухаресте он уяснил себе, что Австрия должна стремиться к тому, чтобы по возможности уменьшить трения между двойственной монархией и Румынией. Он знал этот «конгломерат», как австрийцы в шутку называли свое отечество, и знал, что опасно

было полагаться на поляков, чехов и югославов. Он желал как можно скорее добиться мира, но не иначе как совместно с Германией. Он был бы рад, если бы мы посредством уступки Эльзас-Лотарингии Франции создали возможность для заключения мира. Но голой измены своему союзнику, который попал в эту страшную войну из-за Австрии, Чернин не желал. Он не доверял ни императору Карлу, ни царственным дамам, под влиянием которых находился этот глуповатый наследник старого императора Франца-Иосифа. Но граф Чернин допустил крупную ошибку, решив воспользоваться услугами депутата Эрцбергера, чтобы довести свои мирные пожелания до сведения Берлина. Он устроил так, что Эрцбергера пригласили к самому чопорному европейскому двору. Матиас Эрцбергер был ошеломлен, когда он оказался в венском Гофбурге. Когда красивая императрица Цита, которую граф Чернин предупредил, что ей на короткое время придется потерпеть присутствие «простого шваба», так как этого требуют интересы габсбургского дома, дала ему поцеловать свою руку, он был поражен. А когда ему разрешили вместе с их габсбургскими величествами присутствовать на обедне в дворцовой капелле, он окончательно растаял.

Чернин незадолго до приезда Эрцбергера в Вену изложил императору в своем всеподданнейшем докладе свое мнение, что Австрия не в состоянии долго продолжать войну. У нее остается только один выбор — или немедленно заключить мир, или совершенно погибнуть. Этот доклад предназначался только для императора Карла и через него для императора Вильгельма II и для германского верховного командования, чтобы склонить их к разумному миру. Нельзя сомневаться в том, что герцогиня Пармская подсунула Эрцбергеру этот доклад Чернина, сообщенный ей ее зятем. Эрцбергер прочел этот доклад в собрании членов партии центра, состоявшемся во Франкфурте на Майне. Хотя Эрцбергер подчеркивал строго секретный характер своего сообщения и запрещал делать какие-либо заметки, тем не менее некоторым слушателям удалось застенографировать некоторые части этого доклада. Эти записи попали в Швейцарию и оттуда дошли до сведения Антанты, чем в высокой степени была укреплена ее уверенность в победе. А когда впоследствии рейхстаг большинством 214 голосов центра, свободомыслящих и социал-демократов против 116 голосов при 17 воздержавшихся принял мирную резолюцию, в которой заявлял, что рейхстаг стремится к миру, устанавливающему согласие и прочное примирение между народами, — к такому миру, с которым несовместимы насильственные территориальные захваты и политическое, экономическое и финансовое угнетение, — во Франции и Англии окончательно окрепло решение продолжать войну с Германией до полного победного конца. Мирная резолюция 1917 г. расчистила путь к Версальскому миру, который в полную противоположность детским ожиданиям трех «правящих» партий — социал-демократии, свободомыслящих и центра — не привел «к прочному примирению народов», а оторвал

от Германии обширные, ей принадлежащие области и подверг наш бедный народ позорному политическому, экономическому и финансовому угнетению.

Уже в июле 1917 г. в германском флоте произошли *матросские восстания*. Не подлежит никакому сомнению, что они уже давно планомерно подготовлялись независимой социал-демократической рабочей партией. Опытные и вдумчивые морские офицеры держатся той точки зрения, что таких восстаний не было бы, если бы флот тотчас после начала войны был пущен в дело. Продолжительная бездеятельность и скучная, проводившаяся часто с ненужным педантизмом служба мирного времени во время величайшей войны подготовили мятежное настроение матросов и во всяком случае значительно облегчили ту подкопную работу, которую вела независимая социал-демократическая рабочая партия и ее вожди Гаазе, Фогтер и Дитман.

В ведомстве иностранных дел перед падением канцлера Бетмана произошли перемены. Готлиб Ягов в ноябре 1916 г. наконец был смещен с должности статс-секретаря иностранных дел, на которой он причинил так много вреда. Его преемником был назначен помощник статс-секретаря Циммерман. Преисполненный наилучшими намерениями, человек чести и патриот, этот Циммерман однако с недостаточным искусством относился к нашим взаимоотношениям с Америкой, приобретавшим для нас все более и более важное значение. Он принадлежал к числу тех немцев, которые при доброй воле и бесспорной основательности однако не понимают, что дипломат в первую очередь должен быть ловким и должен знать, «как нужно делать дело». Это говорил в январе 1874 г. в моем присутствии, через три месяца после того как я поступил на службу в ведомство иностранных дел, имперский канцлер князь Бисмарк моему отцу, и это же самое сказал мне Леон Гамбетта за обедом, на который в 1879 г. меня пригласил в Париже добрейший граф Роже дю Норд.

Скромный Циммерман убедил американского посла Джерарда, что Германия не объявит неограниченной подводной войны без предварительного соглашения с Америкой. Этим он побудил посла заявить на парадном обеде американской торговой палаты в Берлине в торжественной речи, что отношения между Германией и Америкой никогда не были лучшими, чем теперь. «До тех пор пока такие люди, как доктор Зольф и Гельферих, Гинденбург и Людендорф, адмиралы фон Мюллер, фон Капелле и фон Гольцендорф и статс-секретарь Циммерман, будут находиться во главе гражданского, военного и морского управления Германией, вполне будет возможно сохранять эти добрые отношения». А через три недели после этого нами была объявлена неограниченная подводная война без своевременного уведомления американского правительства. Одновременно статс-секретарь Циммерман отправил германскому посланнику в Мексике приказ приложить этой разорванной на части внутренними междоусобиями, наполовину, если не полностью, прогнившей республике, ко-

торая давно уже находилась в полной зависимости от Соединенных штатов, союз на следующем базисе: Мексика должна получить обратно отнятые у нее Америкой области Техаса, Новой Мексики и Аризоны, в общей сложности пятьсот тысяч английских квадратных миль с народонаселением почти в пять миллионов, а за это должна попытаться склонить Японию к германо-мексиканскому союзу; совместное ведение войны, совместное заключение мира, широкая финансовая поддержка Мексики со стороны Германии. Когда это забавное предложение, которое к тому же и технически недостаточно надежно было зашифровано, попало в руки американцам и было ими расшифровано и опубликовано, один мой швейцарский друг, с которым я в то время, находясь опять в Люцерне, гулял по берегу Фирвальдштетского озера, сказал мне: «Эта мысль сразить американского колосса с помощью мексиканского карлика представляется мне чем-то похожим на то, как если бы я предложил вам уничтожить английский флот вот этими тремя пароходиками, которые здесь на наших глазах плавают между Люцерном и Флюеленом».

Циммермана в качестве статс-секретаря иностранных дел сменил 5 августа 1917 г. фон Кюльман, покоривший, как я упоминал в связи с поездкой императора в Танжер, сердце его величества той ловкостью, с которой он взбирался и спускался по веревочному трапу яхты «Гогенцоллерн». Эта впрочем лишь временная симпатия императора к молодому дипломату послужила последнему источником злоключений, совратив его на полное подчинение своей статс-секретарской деятельности не всегда счастливым затеям его величества. Когда Михаэлис поставил себя не только в невозможное, но и прямо-таки смешное положение, Вильгельм II был вынужден снова приняться за поиски нового канцлера, уже шестого после Бисмарка. Император, который чувствовал себя счастливым, отделавшись от Бисмарка, не проливший по Каприви ни единой слезы, равнодушно отпустивший Гогенлоэ и с удовольствием меня, лишь с большой неохотой расстался с Михаэлисом. В сущности после Бетман-Гольвега ни один канцлер не был ему так симпатичен. Михаэлис ему так нравился, что он, как мне передавал непосредственный свидетель, спустя несколько недель после водворения Михаэлиса в кресле Бисмарка в прекрасном настроении сказал саксонскому королю: «С Михаэлисом можешь меня поздравить! Это лучший канцлер за все время моего царствования!» Вильгельм II пытался даже сохранить Михаэлиса хотя бы в качестве прусского премьера, но встретил при этом такое дружное противодействие, что оставил эту мысль. Но кому же было занять место Георга Михаэлиса, которого «Times» в статье, посвященной его назначению, приветствовал примерно в таких выражениях: «Когда фон Бетман с тою же неуклюжей (clumsy) неловкостью, с которой он влетел в войну, вылетел из рейхсканцлеров, Вильгельм призвал совершенно неизвестного, посредственного чиновника, не занимавшего ни в парламенте, ни в стране какого-либо по-

ложения, и сказал ему: «Я произвожу вас в майоры, этого достаточно, чтобы вы с божией помощью стали отменным рейхсканцлером». К сожалению производство в майоры ландвера, действительно последовавшее за его возведением в канцлеры, не смогло предохранить Михаэлиса от преждевременной политической смерти.

Вильгельм II снова должен был найти кормчего для государственного корабля, который так и кидало по волнам грозной военной бури. Руководимый опять упрямым желанием избежать меня, император обрушился на баварского премьера Гертлинга, к которому приступали уже в июле 1917 г., но который, ссылаясь тогда на плохое состояние здоровья, просил не рассчитывать на него. Это был тот самый Гертлинг, которого два десятилетия назад император лишь скрепя сердце удостоил коротенького приглашения на придворный бал, и к сожалению тот самый Гертлинг, которого его товарищи на месте его протекавшей до сего времени в Мюнхене деятельности считали неспособным более справляться со своей тамошней, не слишком обременительной должностью, во всяком случае гораздо более покойной, чем пост рейхсканцлера. Мне бы не хотелось быть неверно понятым. Гертлинг до своего последнего часа оставался не только добросовестным, серьезным, благородно мыслящим, но и умным и опытным государственным деятелем, но он преждевременно состарился. Вследствие прогрессирующего артериосклероза он пришел к физическому одряхлению. Уже в Мюнхене он не был в состоянии принимать доклады более одного часа. Поэтому назначение Гертлинга вызвало там, где его физическое состояние было известно, большое удивление. Вскоре после вступления его в должность я был у него с довольно продолжительным визитом. Он рассказал мне, что уже несколько месяцев назад писал из Мюнхена в Берлин, что если бы его призвали на пост рейхсканцлера, то он не сможет уже дать на это своего согласия. Тем не менее таковое приглашение со стороны императора последовало. Когда он прибыл в Берлин, граф Лерхенфельд сказал ему, чтобы он ни в каком случае не предлагал императору кабинета из парламентских деятелей, об этом-де его величество и знать не хочет. Он ответил: «В таком случае я именно это и сделаю». Когда он на всемилостивейше данной ему аудиенции начал с того, что подчеркнул необходимость парламентаризации правительства, император ответил: «Делайте то, без чего нельзя обойтись». Когда он далее сказал его величеству, что лично он именно в качестве старого парламентского деятеля в основе является противником парламентских министерств, равно как и господства любой партии, так как и то и другое не подходит для Германии, но что вследствие создавшегося положения ничего другого не остается, император только кивнул головой и все дальнейшее предоставил ему.

Император согласился даже с предложением, чтобы Гертлинг заручился предварительной поддержкой всех партий, —

идея, которую до сего времени его величество рассматривал как нестерпимое унижение короны. Переговоры между Гертлингом и партийными лидерами состоялись. Все партийные лидеры за исключением одного, которого Гертлинг не назвал, обещали ему, старому коллеге, свою поддержку. Лишь один откровенно заявил, что его партия при всей личной симпатии к долголетнему товарищу по рейхстагу должна будет встать к нему в политическую оппозицию. Этому коллеге он тепло пожал руку и сказал: «Вас лично я всегда любил, а теперь полюбил еще больше, так как вы пробуждаете во мне надежду, что горькая чаша меня минует». После этого он просил передать его величеству, что должен окончательно отказаться от принятия поста рейхсканцлера, и одновременно обратился с просьбой в имперскую канцелярию о любезном предоставлении ему для обратной поездки салон-вагона, в котором он прибыл из Мюнхена.

Затем к нему явился статс-секретарь иностранных дел фон Кюльман и совместно с графом Лерхенфельдом так энергично разъяснил, что он не должен покидать императора, что оставление им Берлина равносильно измене, что в конце концов он принял пост рейхсканцлера. Больше всех о назначении Гертлинга хлопотал Кюльман.

Сам он не попал после него в большое здание Вильгельмштрассе, 77. Но и за короткое время своей службы в качестве статс-секретаря он не один раз доказал, что у него несчастливая рука. Брестский мир был тяжелой ошибкой. Не трудное дело было вырвать у большевиков совершенно невероятные уступки, частью потому, что они желали мира во что бы то ни стало, чтобы получить возможность беспрепятственно приняться за основательное искоренение своих внутренних противников, частью же потому, что Троцкий с товарищами считали себя стоящими накануне мировой революции, которую ожидали с полной уверенностью, и рассматривали поэтому заключение мира как временную меру.

Брестский мир повредил нам в двух отношениях. Он вызвал во всем мире впечатление о германской жестокости и ненасытности. Он дал возможность французской и английской пропаганде распространять подтвержденную новыми мнимыми основаниями сказку о германских планах мирового господства. Этот мир со своими неустойчивыми контурами и неограниченными возможностями на будущее пробудил в Германии у слишком многих надежду на территориальные приобретения. Вюртембергский герцог фон Урах хотел заделаться с помощью своего друга Матиаса Эрцбергера литовским королем, мысль, которая почти так же интересовала депутата от Бибераха, как установление нейтральной зоны для римского папы между Citta Leona и Civita-Vecchia с целью вполне свободного сообщения папского престола с внешним миром. Принц Фридрих-Карл Гессенский, шурин императора, претендовал на финляндскую корону. Император Вильгельм, которому рассказали о великолеп-

ных зубрах курляндских лесов, желал приобрести для себя в виде поместья и охотничьего угодья герцогство Курляндию. Император довольно мило рисовал и уже набросал герб, который он должен был получить в качестве герцога Курляндского.

Так же и на западе предъявлялись династические претензии: Бавария желала раздела Эльзас-Лотарингии так, чтобы Лотарингия отошла Пруссии, а Эльзас — Баварии. Вюртемберг объявил, что претендует в этом случае на Зигмаринген. Саксония не хотела оставаться в долгу и давала понять, что управление Верхним Эльзасом могло бы совершенно свободно производиться из Дрездена. Казалось, что в германских династиях незадолго до их падения еще раз как запоздалое влечение проявилась их вековая жажда расширения и страсть к территориальным захватам. Я с огорчением наблюдал зимой 1917/18 г. в Берлине, как, несмотря на чрезвычайную серьезность нашего положения, для многих, для слишком многих стояли на первом плане эгоистические стремления и мелочные претензии... При германских дворах раздавались княжеские короны, как за столом генералов Валленштейна в драматической поэме Шиллера «Пикколомини».

Со всех сторон мне рассказывают, что за моими сношениями с людьми производилось тщательное наблюдение. Когда Тирпиц посетил меня зимой 1915/16 г. в гостинице «Адлон», Бетман сказал ему на следующий день с лицом полным упрека: «Вы уж опять были у князя Бюлова!» На заседании совета министров Бетман показал министру внутренних дел, господину фон Лёбелю французскую иллюстрированную газету, поместившую мою фотографию во время прогулки по Люцернской набережной. Старательный репортер незаметно снял меня. Рейхсканцлер озабоченно спросил своего коллегу Лёбеля: «Чем объяснить, что заграничная пресса все еще занимается князем Бюловым? Ведь обычно же это не имеет места по отношению к отставным министрам».

Когда Лёбель стал уверять канцлера, что я не гонюсь за его постом, Бетман меланхолически покачал головой: «Все они хотят на мое место, но при этом я все же единственный, к которому Европа и особенно Англия, несмотря ни на что, все еще питает доверие».

ГЛАВА XXI

Между тем тучи на политическом горизонте все сгущались. Известия из Австрии и об Австрии приходили все более мрачные. Лишь наш германский посол в Вене граф Бото Ведель, как и прежде, все видел в розовом свете. Его отчеты составляли беспрерывное подтверждение той оптимистической информации, которую он дал ничего не понимавшему Михаэлису и одряхлевшему Гертлингу во время их визитов венскому двору и которая, на горе Германии, усыпляя бдительность ответственных руководителей нашей политики, поддерживала их уверенность относительно союзнической верности Австро-Венгрии.

Тем временем император Карл предал Германию, дав через своего шурина принца Сикста Пармского обещание президенту французской республики Пуанкаре поддержать всеми средствами, пустив в ход все свое личное влияние, «справедливые» притязания Франции относительно возвращения ей Эльзас-Лотарингии. Одновременно император Карл просил о заключении сепаратного мира. Он хотел было отрицать существование этого письма и попытки предать Германию, однако Клемансо совершенно открыто изобличил его в наглой лжи, опубликовав факсимиле этого письма.

Вот к чему привело слепое доверие Бетмана и Ягова Австрии и неверно понятое рыцарство императора Вильгельма по отношению к престарелому императору Францу-Иосифу. Тем, что уже в 1917 г. дело не дошло до отпадения Габсбургов, Берлин был обязан лишь тому упорству, с которым Соннино держался итальянских требований относительно Трентино и города Триеста. Император Карл хотел, правда, чтобы мы уступили Эльзас-Лотарингию, но сам не был склонен отдать Триент и Триест «безбожным» итальянцам.

Вступление в войну Румынии так же значительно затруднило положение центральных держав. Венгерское правительство и после 1914 г. не могло решиться гарантировать для почти трехмиллионного румынского населения Венгрии лучшее обращение и хоть сколько-нибудь соответствующее его численности представительство в венгерском парламенте. Берлинская политика как за год до этого в отношении Италии, так и теперь в отношении Румынии оказалась несостоятельной. Она не сумела добиться в Вене ставших неизбежными уступок Италии; она была столь же неспособна побудить Венгрию к более дружественной позиции к Румынии. Напрасно и храбрый Карп в Бухаресте, и румынский посланник в Берлине, преданный своему делу Бельдиман, боролись путем непосредственных докладов румынскому королю за германское дело. Сторонники Антанты во главе с Такэ Ионеску и Николаем Филипеску победили: они могли сослаться на то, что, в то время как центральные державы никак не шли навстречу интересам Румынии, Антанта обещала королевству все Семиградье, Буковину и Банат. За переменой фронта со стороны Италии последовала измена Румынии. 27 августа 1916 г. румынский король Фердинанд объявил войну Австро-Венгрии. Он, Гогенцоллерн, служивший в первом гвардейском пехотном полку, предал Пруссию, армию, свое отечество. Гинденбург и Людендорф, которым после объявления войны Румынией Вильгельм II поручил наконец высшее военное командование, позаботились о том, чтобы не только парализовать румынское наступление, но и дать новые импульсы всей немецкой стратегии.

В то время как распространялась не замеченная нашими политиками язва предательства в венском королевском замке, а внутри Германии проводимая исподтишка, но упорная пропаганда подтачивала боеспособность нации, германские армии под

верховным командованием Гинденбурга одерживали на всех фронтах бессмертные победы. Под знаком трагического контраста развивался для Германии 1918 год: несравненные военные достижения на фронте и какое-то жутко охватывающее уныние, постепенно развивающееся истощение в тылу. Военная история едва ли знает более грандиозные подвиги, чем германское наступление в марте 1918 г., руководя которым, Гинденбург преследовал цель посредством частичных, но тесно связанных между собой ударов так потрясти неприятельское здание, чтобы в конце концов оно все-таки рухнуло. В стремительном победном шествии прорвала германская пехота под прикрытием катящегося «огневого вала» английские позиции. Она вырвала у англичан, захватив большую добычу, Боном, где я, молодым гусаром, сражался почти полстолетия назад, она достигла Мондидье и Альбера, куда я в те времена не раз ездил дозором. Но до Амьена мы на этот раз не дошли. Хотя две английские армии были разбиты и наши храбрецы забрали почти сто тысяч пленных, захватив свыше тысячи орудий, достигнуть стратегического эффекта не удалось. Слишком велико было превосходство противника, который располагал человеческим и военным материалом почти всего мира. Дело окончательно решили переправленные в Европу американские войска.

Перед такими героическими подвигами германской армии замолкает всякая критика. Но все же я не скрою, что в те дни я себя часто спрашивал: правильно ли было, что мы стояли у Соммы и у Вислы, в Вогезах и Карпатах, в Курляндии и на Украине, у Изонцо и у Евфрата, что мы сражались в Румынии и в Палестине? Я неоднократно говорил тогда и писал в Берлин, что Наполеон, несмотря на свой гений и почти неисчерпаемый человеческий материал, который ему поставляли покоренные народы — немцы и итальянцы, голландцы и бельгийцы, в конце концов все же был побежден, когда им были заняты Москва и Мадрид, Рим и Амстердам. Qui trop embrasse, mal étreint[1]. Было бы лучше, если бы, оставив восток, мы целиком сконцентрировались на западе. С крайним напряжением, с замиранием сердца следил я за вторым германским наступлением во Франции, за битвой при Лисе, третьим наступлением, взятием Суассона нашим храбрым кронпринцем.

Четвертое германское наступление, имевшее своей целью Реймс, который вследствие взятия Эпэрнэ на западе и Шалонсюр-Марн на востоке оказался охваченным и сам собой должен был достаться нам, вызвало военный, а вместе с ним, в связи с общим положением вещей, всемирноисторический поворот. Переход Марны блестящим образом удался. Но германские планы были выданы. Неприятель, зная наши планы, перенес защиту во вторую линию позиций.

Я слышал тогда же, что в те дни стали впервые замечаться

[1] Кто слишком много охватывает, плохо удерживает.

признаки морального разложения армии. Некоторые воинские части отказывали в повиновении. Храбро выступавшие полки встречались частями, пораженными социалистической заразой, позорной кличкой «штрейкбрехеры». Общеизвестны слова одного видного английского генерала, заявившего вскоре после войны, что германская армия была побеждена «ударом кинжала в спину», а не стоявшим перед ней противником. Германская социал-демократия энергично протестовала против этого упрека и энергичнее всех те из социал-демократических лидеров и публицистов, которые больше всего заслужили этот упрек. С полной беспристрастностью следует сказать: насколько верно то, что социал-демократически настроенные солдаты в своем огромном большинстве столь же храбро сражались, как и настроенные не социал-демократически, настолько неоспоримо и то, что лидеры, по крайней мере левого крыла социал-демократии, которые сами никогда не покидали теплой печки, вели себя совершенно иначе, чем их товарищи на фронте. Радикалы с тем большим ослеплением работали в пользу катастрофы, чем ближе надвигалась развязка мировой войны, тем наглее, чем больше ослабляли поводья сменявшие друг друга слабые рейхсканцлеры.

В то время как во Франции, как я уже упоминал, против пораженцев и пацифистов действовали ссылкой и тюрьмой, порохом и свинцом — и это радикальные и социалистические министры! — в то время как в Англии либеральное правительство подавляло кровью ирландское синфейнерское движение, производило множество казней, казнило ирландского лидера сэра Роджера Кезмента в лондонском Тоуэре, являвшемся ареной далеко не одной кровавой сцены английской истории, в то время как в западных государствах уголовное законодательство в отношении не только государственной измены, но и пораженческих и пацифистских интриг неуклонно обострялось, — в Германии выступала тенденция или притупить средства государственной обороны и защиты или же применять их по возможности редко. Решающие партии — социал-демократия, центр и буржуазная демократия — старались превзойти себя в этом отношении с каким-то возможным лишь у нас мещанским и оторванным от жизни доктринерством. В момент величайшего бедствия, когда на карту было поставлено все, торжествовала «точка зрения филистера», как называл Бисмарк это направление, против которого он так часто выступал в течение тридцати лет. Вся скорбь германского народа начинала звучать во мне при чтении в парижском «Temps» подробностей о приговорах, по которым было видно, как мало требовалось во Франции для того, чтобы предстать перед военным судом, в то время как у нас пораженчество и пацифизм въедались, как отвратительный нарост. В то же самое время, когда во Франции этот нарост с корнем выкорчевывался и растаптывался, как гнусный гад, один неплохой чиновник ведомства иностранных дел на мое письмо, в котором я высказывал мнение, что едва ли в эту годину величайшего бедствия и опасности он находит

время для покоя и отдыха, совершенно серьезно ответил мне следующее: «У нас теперь действительно много дела. Мы главным образом заняты выработкой пригодных германских предложений для Лиги наций, которая, надо надеяться, будет самым лучшим достижением этой войны».

В Флоттбеке, где я с 1915 г. каждое лето проводил по нескольку месяцев, меня, особенно осенью 1918 г., часто навещал Баллин. Он по просьбе верховного командования был в конце августа в главной квартире, чтобы открыть наконец его величеству глаза на серьезность положения, чего Гинденбургу и Людендорфу до сих пор не удавалось сделать. Но Баллин не имел возможности побеседовать с императором без свидетелей. Императрица и советник кабинета фон Берг пресекли всякие попытки такого рода. Баллин, такой чуткий к другим, рассказывая мне о своей неудаче в главной квартире, высказался так: «Я не упрекаю ни императрицу, ни Берга. Императрица — лучшая в мире женщина, идеал немецкой хозяйки. Берг — порядочный и патриотически настроенный человек. Но оба полагают, что император, узнав истинное положение вещей, окончательно бы упал духом, и они оба спрашивают: «Какая польза была бы в такой катастрофе?» В результате император продолжает более, чем когда-либо, пребывать в блаженном неведении и вместе с ним большая часть германского народа».

Это был наш последний разговор с Альбертом Баллином, с которым я часто обменивался мнениями в течение двух десятков лет, с которым многое вместе переживал. Мало кто мне был так симпатичен, мало к кому я чувствовал такое искреннее уважение. Баллин был очень умен; он имел не только острый ум, но и ум в высшей степени находчивый, что в Германии встречается реже, чем в Италии. Он искал и почти всегда находил выход из положения. Il était plein d'expédients [1], как говорят французы. Он был практичен до мозга костей, что у немца встречается реже, чем у англичанина, чем у американца и даже чем у француза. И прежде всего он имел золотое сердце, и велико число тех, кому он помог словом и делом, не требуя ничего взамен и не делая из этого никакого шума.

Когда вспыхнула революция, Баллин внезапно умер.

За пять недель до кончины Альберта Баллина я получил в Флоттбеке следующее письмо от либерального депутата рейхстага доктора Зигфрида Гекшера: «Многоуважаемый князь! 30 сентября 1918 г., как всем уже ясно, прозвонил похоронный звон Германской империи, созданной Бисмарком и приведенной Бюловом в состояние расцвета [108]. К сожалению даже верховное командование предавалось в суждении о силах неприятеля роковому оптимизму. Но все же решающую роль сыграло преступно позорное политическое руководство, начиная с июльских дней 1914 г. и кончая последними проявлениями гертлинговского режима.

[1] Он был очень находчив.

И все же можно было задержать опасную скачку государственной колесницы, если бы хотя бы в сентябре этого года корону окружали сильные характерами, опытные в государственных делах, благоразумные советчики. Но фон Берг оказался совершенно несостоятельным. Сначала он был *за* Бюлова, затем *против* него, так как Бюлов хотел будто бы работать вместе с Шейдеманом, а Берг был сторонником диктатуры; затем он без боя сдал конституционные права короны и наконец предпринял дилетантскую попытку вернуть невозвратно потерянное. Судьба Стюарта, в которую я когда-то с любовью погружался в поэтическом творчестве, предстала предо мной. Разница в том только, что к борьбе между английским парламентом и Карлом первым присоединился теперь тот ужасный факт, что мы проиграли мировую войну. Переворот в Германии столь катастрофичен, что люди за немногими исключениями потеряли головы. Но я не хочу, чтобы и теперь могло возникнуть какое-либо сомнение в том, что я — искренний сторонник парламентской системы и что таковым я и останусь. Но о чем я сожалею и в чем усматриваю главную опасность, это в том, что она была введена революционным путем. Вероятно завтра новый рейхсканцлер оповестит германский народ и весь мир как о совершившемся факте, что мы отправили Вильсону мирное предложение, а завтра вечером над германским народом нависнет темная туча национального траура. Кое-где, где ужасный конец предпочитали все-таки ужасу без конца, может быть и почувствуют первое время некоторое облегчение. Но очень скоро раздастся крик о выдаче виновных. И настоящая опасность наступит тогда, когда герои устремятся из окопов на родину, в поисках жилища, работы и хлеба. На этот момент все осмотрительные люди уже сейчас должны обратить свое внимание, чтобы предупредить внутреннюю катастрофу».

Дочитав письмо депутата Гекшера, я разрыдался. И не только сознание нашего поражения потрясло меня, не только предстоящая капитуляция после четырех лет героической борьбы, после таких подвигов самой храброй и самой прекрасной армии во всем мире, не только поражение армии Фербеллина, Лейпцига и Ватерлоо, Садовы и Седана. Еще сильнее поражало с молниеносной быстротой пробудившееся во мне сознание, что наступил день, когда сбудутся опасения, жившие во мне уже в течение девяти лет, предчувствие, что наступил день, когда падет священный Илион. Я знал наших врагов, мстительность, властолюбие, садическую жестокость французов, французских генералов и французских адвокатов, холодную черствость англичан. Приходившие за последние недели вести из Вашингтона не оставляли во мне сомнения в том, что президент Вильсон, столкнувшись с европейскими делами и запутанными условиями, будет смотреть на них с наивностью и легковерием вольтеровского Гурона в бессмертной комедии «Ingénu» [1]. Я слишком хорошо знал немецкий

[1] Простак.

партийный дух, мелочность и эгоизм, убожество наших фракций, незначительную политическую сознательность среднего немца, слабость национального чувства, чтобы верить в сопротивление, которое, как сулила часть немецкой демократической прессы, окажет немецкая демократия в тот день, когда она примет бразды правления.

Под влиянием момента я написал 7 октября Гекшеру длинное письмо, при передаче которого я выпускаю кое-что из того, что относилось к критике немецкой политики последних лет, как бы эта критика сама по себе ни была справедлива: .

«С третьего дня лежит на моем письменном столе ваше письмо, принесшее мне потрясающее известие о предстоящей германской капитуляции. Вы слишком хорошо меня знаете, чтобы мне нужно было описывать вам чувства, охватившие меня при этом известии. Зачем я дожил до этого дня и бог не отозвал меня в то время, когда Германия занимала еще в мире свое высокое положение! Когда в июле этого года мне из осведомленного источника сообщили о желании верховного командования заключить мир, я ответил, что в таком случае все сводится к тому, чтобы достигнуть соглашения путем умелой дипломатии, *пока за границей наше положение на театре войны еще не кажется безнадежным*. Что сделано тем временем в этом направлении? Высшие представители правительства произнесли ряд противоречащих друг другу речей, и если затем предпринимались дипломатические шаги и зондирования, то они не были доведены до конца. Почему наш народ не подготовили своевременно к предстоявшей катастрофе в Болгарии и не предупредили таким образом вызванную ею панику? За много недель я слышал о высказываниях короля Фердинанда, по меньшей мере указывающих, что он едва ли сможет удержаться на троне, если будет держаться за наш союз. Для всех сколько-нибудь разбирающихся в восточных делах не могло оставаться сомнений, что уже уход Радославова и замена его Малиновым являлись серьезным предостережением. Что мне больнее всего, так это проявляющееся у многих малодушие и всеобщая растерянность. Неужели мы в самом деле дошли до того, что нам остается только побросать винтовки? Разве французы не продолжали храбро сражаться, когда они терпели поражение за поражением и мы угрожали Парижу? Разве неприятель занял уже левый берег Рейна, Эльзас-Лотарингию и Баден, разве Аахен и Кобленц, Фрейбург и Маннгейм лежат в развалинах, разве обстреливается Кельнский собор? Это соответствовало бы приблизительно положению, в котором французы находились в течение четырех лет. Разве даже маленькая, побежденная при Иене Пруссия не продолжала сражаться? Разве был прав американский посол Джерард, когда год назад писал в своей злой книге «Face to Face with Kaiserism»; «The nerve of Germany will breake. There is a suicide point in the German character»[1]?

[1] «Лицом к лицу с кайзеризмом»: «Нервы Германии не выдержат. В немецком характере есть склонность к самоубийству».

Если теперь положение на фронте стало вдруг безнадежным, то менее чем когда-либо следовало внешне обнаруживать ослабление нашего положения. Образование нового правительства кажется мне целесообразным. Было бы еще лучше, если бы 4 августа 1914 г., после заявления императора, что для него нет больше партий, а есть только немцы, было сформировано коалиционное правительство, как во Франции, Англии, Бельгии и позднее в Италии, которое провело бы нас через всю войну. Вы знаете, что с самого первого дня войны я держался мнения, что такую войну можно вести лишь при полной поддержке широких масс, следовательно в первую очередь организованных рабочих, с привлечением в правительство социал-демократических лидеров. Если демократия нам даст вождей, каких сорок восемь лет назад Франция нашла в лице Гамбетты, а сейчас в лице Клемансо, то я первый благословлю их как знаменосцев нации. Не берусь предсказывать, какой прием встретит наше мирное выступление. Несговорчивее всех будут французы, которым кажется, что Страсбургский и Мецкий соборы уже находятся в пределах осязаемости и которым четырехлетняя оккупация стала уже невмоготу».

Через несколько дней я снова переехал в Берлин на нашу обычную квартиру в гостинице «Адлон» с видом на Парижскую площадь. Гуляя вечером в день нашего прибытия по Унтер ден Линден, я был удивлен, увидев первый этаж русского посольства ярко освещенным. Это русские и немецкие коммунисты справляли праздник братания.

Что-то совсем странное слышал я в первые дни моего пребывания в Берлине о поведении и настроении императора. Депутат рейхстага Гекшер рассказал мне, что он встретился на Кениггрецкой улице с императором, шедшим из сада министерства двора, где он в то время имел почти ежедневные совещания с министром двора Эйленбургом. Император посмотрел на него пронизывающим взглядом и крикнул ему с пафосом в голосе: «Защитите мои императорские права!»

Еще более странную вещь рассказал мне под секретом один сотрудник испанского посольства. Уполномоченный императора обратился с запросом в испанское посольство, сможет ли его величество в случае, если ему придется покинуть Германию, рассчитывать на дружественный прием в Испании. От посольства был получен ответ, что испанский король и народ, не скрывавшие во время войны своих симпатий к Германии, готовы оказать гостеприимство германскому императору, что соответствует рыцарскому духу испанской нации. Но как мыслит себе его величество путешествие из Берлина в Испанию? Ведь обычным путем через Париж и Эндай-Ирун он ехать не сможет, столь же мало приемлем и морской путь через Италию и Барселону. Последовал ответ, что император намерен *в подводной лодке достигнуть Сан-Себастьяна*, что незадолго до этого удалось сделать одному смелому командиру подводной лодки. Этот план был повидимому мыльным пузырем, лопнувшим так же скоро, как он образовался. Несом-

ненным было однако то, что берлинская почва горела у его величества под ногами.

С момента конца царя Николая II германский император находился под впечатлением этого события. Царь, по мнению императора, погиб оттого, что слишком долго медлил с отъездом из столицы в ставку: это дало возможность мятежникам арестовать его в дороге, принудить к отречению и затем с ним покончить. Император не видел разницы между русскими и немецкими условиями, немецким и иностранным духом и традицией. Ни один германский государь не всходил на эшафот, подобно Людовику XVI и Карлу I во Франции и Англии, ни один властитель Германии не был убит, как это бывало в Италии, Швеции и не один раз в России.

Во всяком случае оставление императором осенью 1918 г. своей столицы было с его стороны большой политической ошибкой. Ему следовало оставаться в Берлине, поддерживать связь с министрами, привлечь серьезных людей, не выпускать из рук бразды правления и прежде всего позаботиться о военной безопасности столицы. И в худшем случае Вильгельм II должен был, следуя совету князя Бисмарка, пасть, сражаясь у подножия трона. Революция вовсе не была непредотвратима.

ГЛАВА XXII

3 октября принц Макс Баденский сменил графа Гертлинга, склероз которого так быстро развивался, что дальнейшее пребывание его на посту рейхсканцлера стало совершенно невозможным.

Я полагаю, что могу объективно судить о принце, никогда особенно мне не импонировавшем, но который не был мне несимпатичен и с которым связывали меня долголетние отношения. Принц Макс был прежде всего дилетант, владетельный дилетант. Не обладая особыми знаниями, он стал почетным доктором прав. Прослужив всего два-три года в гвардейских кирасирах и прокомандовав временно драгунским полком, он стал генерал-от-кавалерии. Выбранный в качестве местного принца председателем первой баденской палаты депутатов, он каждые два года, приступая к председательствованию, так как баденский ландтаг благоразумно собирался лишь раз в два года, держал небольшую речь. За несколько месяцев до открытия ландтага принц поручал кому-нибудь из гейдельбергских или фрейбургских профессоров разработку своей речи и всегда успевал выучить ее наизусть. Безукоризненно произнесенная речь, состоявшая из общих либеральных оборотов, возбуждала всегда то дружелюбное одобрение, какое подобного рода безобидное красноречие постоянно находит в Германии. Стоит вспомнить господина Вилли Гельпаха, который после кончины в 1925 г. честного Фрица Эберта в своих мечтах уже видел себя президентом республики. Во время мировой войны принц Макс Баденский занимался делами интернированных в

Швейцарии немцев, проявив себя в сношениях с швейцарскими властями и интернированными всех воюющих держав как любезный и очень тактичный человек. Я и теперь думаю, что, имей он как руководитель комиссии по перемирию осенью 1918 г. в своем распоряжении опытного генштабиста и умелого чиновника ведомства иностранных дел, он бы очень хорошо справился со своим делом. Для переговоров с иностранными дипломатами, министрами и генералами он был гораздо пригоднее, чем «независимые немцы», добровольно выехавшие в Версаль, где они играли жалкую роль, или еще чем Матиас Эрцбергер, которого мы послали в Компьенский лес.

Повторяю еще раз: связи «Бадемакса», как он прозывался у гвардейских кирасиров, его характер и личные свойства делали его отличным дипломатическим представителем и посредником даже в большом стиле. Он не обладал никакими данными, чтобы быть рейхсканцлером, да еще при таких исключительно трудных обстоятельствах. Имея дело с Вильсоном, он обнаружил полную несостоятельность, попадался со своими советниками-демократами на все фразы, которые только ни раздавались из Вашингтона. Когда согласно традиции великий герцог Баденский Фридрих II был запрошен императором, дает ли он свое полномочие на занятие его двоюродным братом принцем Максом поста рейхсканцлера, последовал встречный запрос, имеет ли в данном случае место ошибочная зашифровка или несерьезная затея его величества. Ответ гласил, что налицо вполне обдуманное решение. Уже поэтому был неправ Вильгельм II, когда через несколько недель снабдил избранного и назначенного им канцлера всеми заимствованными из зоологии ласкательными именами, которыми пользовался император, когда он бывал разгневан.

Один мой долголетний друг, к которому император благоволил, два месяца спустя после бегства императора посетил их величества в Бентинском замке Амеронгена. Он рассказывал мне, что однажды за ужином император был особенно мрачен. Он не говорил ни слова. Озабоченно смотрела бедная императрица на своего высокого супруга. Вдруг Вильгельм II ударил кулаком по столу и воскликнул: «Бадемакс *предатель!* Негодяй!» Тогда императрица прошептала со вздохом облегчения: «Слава богу. Он снова заговорил». Упрек его величества был преувеличен. Бадемакс мог бы ответить его величеству словами Вольтера: «Tu l'as voulu, Georges Dandin, tu l'as voulu!»[1].

При переговорах с партийными лидерами, которые по поручению императора вел господин фон Берг о преемнике графа Гертлинга, — под давлением обстоятельств правительство отказалось от тактики ошарашивания парламента, — как я слышал от участников, в том числе и от депутата Эрцбергера, называлось и мое имя, так как в рейхстаге повидимому полагали, что мой опыт в области внешней политики мог бы быть использован

[1] Ты этого желал, Жорж Дандэн, ты этого желал!

при заключении мира. Эти объяснения поставили фон Берга в неприятное положение. Заметно нервничая, он возразил, что чувствует к князю Бюлову искреннее уважение и лично находится с ним в хороших отношениях. Он даже считает его назначение рейхсканцлером правильным разрешением вопроса. «Но, — сказал он, — назначение князя Бюлова мне не провести у императора. Это совершенно исключается». Эта точка зрения советника кабинета его величества сама по себе была понятной. Успешное сотрудничество с Вильгельмом II при тех грозных обстоятельствах было возможно лишь при полном, безграничном взаимном доверии.

Император был окружен людьми, полагавшими, что они оказывают ему услугу и сохранят его благоволение, поддерживая в нем нерасположение и недоверие ко мне. Для преодоления мелочного чувства вражды, которое в нем всеми средствами поддерживалось и разжигалось почти целое десятилетие, требовалось самообладание и чувство долга, а их ему недоставало.

Не знаю, удалось ли бы мне спасти Вильгельма II или хотя бы династию. Что бы я так сразу пошел на предложения Вильсона, подобно принцу Максу и новичкам типа Гаусмана и Эрцбергера, этого я не думаю. Мне бы хотелось гарантировать себя от упреков в дешевых политических прогнозах. Но для меня, как и для всякого честного пруссака и политически ясно мыслящего политика, в октябрьские дни 1918 г. был возможен только один выход: мы должны были воевать, воевать дальше. Другого выбора у нас не было. Внутри страны следовало крепче натянуть вожжи, тыл основательно вычистить, всех наличных мужчин отправить на западный фронт. Еще можно было, как уверяли меня здравомыслящие военные, продержаться в различных местах, во всяком случае на Рейне. Это будто бы выяснилось с полной очевидностью из заявлений полковых командиров, вызванных в большом числе со всех участков фронта в главную квартиру для отчета верховному командованию о настроении на передовых линиях. В противоположность своему начальству полковые и бригадные командиры высказались за продолжение борьбы и ручались за непоколебимый воинский дух своих частей. Что мы в то время, когда наше правительство капитулировало, вполне еще были в состоянии продолжать войну и даже при условиях в военном отношении не слишком неблагоприятных, после окончания войны не раз заявлял маршал Фош. В интервью, данном в июле 1928 г. сотруднику венской «Neue Freie Presse», наш крупнейший противник заявил своему собеседнику, что в сентябре 1918 г. Германия могла бы держаться на Рейне. «Если бы германский народ имел своего Гамбетту, война могла бы быть продолжена, и кто знает...» На замечание, что пример Гамбетты доказал, что героическое сопротивление побежденного народа приводит лишь к бессмысленному затягиванию войны, маршал Фош возразил: «А все-таки я думаю, что народ, не желающий быть побежденным, не должен быть побежден. Разумеется, в ноябре 1918 г. Германия не имела уже никаких шансов на победу. Однако, если бы ее армии продер-

жались на Рейне, многое обернулось бы иначе». Если бы генерал Людендорф мне сказал, что считает исключенным всякое военное сопротивление, я бы ему ответил: «Я понимаю, что после таких колоссальных подвигов, неслыханных напряжений ваши нервы на одну минуту подались. Даже Наполеон, даже наш великий король знал такие минуты. Выспитесь двадцать четыре часа, и тогда будем говорить дальше». Я убежден, что через двадцать четыре часа генерал стал бы опять прежним и мы бы продолжали сражаться, продолжали воевать, как до сих пор воевали Людендорф и Гинденбург все время, пока верховное командование находилось в их руках. Во всяком случае я бы заставил императора вернуться в Берлин. Я бы *не допустил его бегства за границу*. И я бы уже позаботился о поддержании порядка в Берлине. Мы могли бы быть побеждены, но мы не смели допустить развала.

Принц Макс конечно не был предателем, каким его считают не только император Вильгельм, но и многие благомыслящие люди. Но и он, как до него Бетман-Гольвег, был слишком слаб, чтобы быть действительно искренним. Он несомненно принял дела с целью выбросить за борт императора ради спасения судьбы прусской, а с нею и других германских династий. Он уже за несколько месяцев до принятия своего поста писал кронпринцу Рупрехту Баварскому, с которым состоял в длительной переписке, что отречение императора неизбежно. Король Людвиг Баварский, полагавший вероятно, что то, что началось бы с императора, могло бы быть продолжено и на него, сделал своему сыну строгий выговор за то, что тот мог вообще обсуждать такую возможность. Под давлением становившихся все яснее намеков Вильсона принц Макс высказался перед баварским премьер-министром фон Дандлем с полной определенностью, что считает неотложнейшей частью своей задачи убедить императора в необходимости отречения. Господин фон Дандль счел своим долгом доложить своему высочайшему повелителю об этой возмутившей его точке зрения принца, что не улучшило в Мюнхене отношения к принцу Максу. Позднее принц Макс пытался побудить великого герцога Эрнста Гессенского склонить императора к отречению. Великий герцог попытку отклонил, ссылаясь на то, что он кузен императора.

Наконец принцу Максу удалось уговорить тогдашнего прусского министра внутренних дел г. Древса попытаться со своей стороны разъяснить императору, что ему нельзя долее оставаться. Едва только министр начал свой тщательно приготовленный доклад, как императору, в котором при виде этого довольно мелкого бюрократа возмутилась наконец княжеская гордость, указал ему на дверь. Что в парламенте и даже в недрах его собственного правительства работали на его отречение, что оно рассматривалось как облегчение для дела заключения мира, для императора и без последнего доклада министра внутренних дел не оставалось секретом. Оставляя Берлин с тем, чтобы направиться в ставку в Спа, он знал, что его судьба неопределенна, что судьба династии в опасности. Но он старался создать видимость, что он не уступит.

Еще 6 или 7 ноября генерал-адъютант Левенфельд рассказывал мне, что император телеграфировал ему из Спа, чтобы тот довел до сведения «верноподданных во всей стране», что прусский король и германский император будет стойко держаться «до последней капли крови». Когда пришло известие о мятеже в Киле, революции в Мюнхене и Берлине и одновременно разнеслись по городу слухи, что на западе армия отказывает в повиновении, меня посетил граф Август Эйленбург и сказал: «Теперь мы должны молить бога, чтобы наш государь нашел в себе мужество пасть на фронте». Это действительно было последним средством обернуть положение в пользу династии.

Принц Макс, работоспособность которого зависела от брома и хлорала, лишился остатка своей нервной энергии и окончательно потерял голову. Ссылаясь на возможность кровавых столкновений, он сначала телеграфно, а под конец и по телефону настаивал в Спа, чтобы император как можно скорее отрекся. Вильгельм II уже не имел возможности проверить указания своего последнего канцлера и установить, насколько они соответствовали действительности и насколько они были продиктованы неврастенией. Опрометчиво подписанное отречение по распоряжению принца Макса тотчас же было обнародовано в Берлине. Известие об отречении, лишавшем верные воинские части их верховного вождя, на дух фронта подействовало катастрофически. Вскоре затем в Берлине получилось известие, что Вильгельм II бежал через голландскую границу и нашел приют у графа Годарда Бентинка, в замке Амеронген. Из всех сообщений о прибытии императора в Голландию больше всего заслуживающим доверия кажется мне свидетельство близкой родственницы хозяина лэди Норы Бентинк, которая в момент прибытия его величества находилась у своих родственников в замке Амеронген и которая описывает его следующим образом: «Пока император под дождем ехал в Амеронген, он почти не разговаривал. По всему было видно, что он до потери рассудка еще ошеломлен внезапной катастрофой, к тому же устал после сорока часов бегства, пути, ожидания. Он видимо мечтал о возможности поскорее притти в себя в спокойной обстановке. Лишь когда экипаж, оставив позади себя мост через внутренний ров, достиг главного подъезда, император глубоко вздохнул. Видно было, что это был вздох глубокого облегчения. «Теперь, — сказал он графу Годарду, потирая руки, — вы должны дать мне чашку горячего, хорошего, настоящего английского чаю». Граф с улыбкой обещал тотчас же об этом позаботиться, и император получил просимый чай».

Кто знал императора Вильгельма, не будет сомневаться, что это описание очевидицы соответствует действительности. Он, который со дня отставки Бисмарка слишком часто переоценивал себя, с наступлением тяжелых времен осекся. Он хотел быть верховным вождем армии и часто, слишком часто подчеркивал это в мирное время. На войне он ограничивался ролью наблюдателя, редко бывал на фронте, еще реже в своей столице, но тем чаще в велико-

ленных замках, как Плесс, Гомбург и Кобленц. Он, игравший в мирное время первую роль во всех событиях, во время войны уклонялся от всяких решений. Он не мог даже поддерживать гармонию между верховным командованием армии и политическим руководством. Он хотел самостоятельно все определять и решать, хотел выбирать себе высших советчиков только по своей личной склонности, но и в этом отношении ему не везло. Мольтке, Бетман, Михаэлис, Гертлинг, принц Макс Баденский — ряд жестоких ошибок, из которых каждая в своем роде подготовляла катастрофу 1918 г. Вильгельм II объявил себя орудием неба, властелином, который поведет Германию навстречу прекрасным дням, а кончил бегством за границу.

Передо мной лежит и второй документ о тех днях, из строк которого слышится голос Вильгельма II. Это письмо, с которым он в момент своего бегства в Голландию обратился к своему сыну, кронпринцу: «Милый мальчик! *Так как фельдмаршал не может больше гарантировать моей безопасности* и не ручается за надежность воинских частей, я, после тяжелой внутренней борьбы, принял решение оставить развалившееся войско. Берлин окончательно потерян, находится в руках социалистов, причем там образовались два правительства — одно во главе с рейхсканцлером Эбертом, и тут же другое — из независимых. До возвращения войск на родину рекомендую тебе оставаться на твоем посту и сдерживать войска! Итак, с богом, до свидания! Генерал фон Маршалль сообщит тебе о дальнейшем. Твой глубоко удрученный отец Вильгельм». Только Вильгельм II был способен так просто, с такой наивностью выразить истинную причину своего перехода через голландскую границу, а именно страх перед опасностями, которые неврастенику рисовало его воображение. Этот страх заглушал мысль о будущем приговоре истории, о славных традициях его дома, воспоминания об отце и деде, о великом короле и великом курфюрсте.

Отставка князя Бисмарка в начале царствования и бегство за границу в его конце — это больше чем могли выдержать плечи Вильгельма II, это больше того, что может простить история. Ни одна из попыток, сделанных даже с лучшими намерениями, свалить вину за бегство за границу с императора на других не выдерживает серьезной критики. В жизни каждого человека бывают положения, когда он предоставляется исключительно самому себе. Больше чем к кому бы то ни было эта истина относится к государю. В такой момент никто не мог снять с императора и короля ответственности, он сам должен был принять решение. Наследник великого курфюрста, великого короля и великого императора сам должен был отыскать правильный путь. Силу и волю для отыскания правильного пути должен был проявить именно Вильгельм II, сотни раз громко и открыто заявлявший, что как монарх он чувствует себя ответственным только перед богом и что этой ответственности не снимет с него никто другой, никакой советник, никакой министр, никакой парламент. Кто тридцать лет

говорил таким образом и возвещал это с такой торжественностью и повидимому с таким убеждением, не смеет при первом же испытании оправдываться ссылками на других, не смеет говорить, что адмирал Гинтце ему посоветовал то-то, генерал Гренер другое, советник посольства Грюнау третье. Еще менее он вправе прикрываться крупной фигурой генерал-фельдмаршала Гинденбурга. Должен ли он был бежать или нет — этот вопрос мог разрешить только сам император. Ответственности за бегство в Голландию не смоют с Вильгельма II, говоря языком леди Макбэт, никакие благовония Аравий.

Еще до 9 ноября, этого черного дня германской истории, я слышал, что непригодность принца Макса Баденского проявляется самым прискорбным образом. Даже физически он не в силах справиться со своей задачей. Управление государственным кораблем в такую бурю было во всяком случае гораздо труднее, чем забота об интернированных, гораздо труднее, чем воображал добрый принц. Под влиянием непривычного напряжения и волнений он вскоре лишился сна. Пришлось обратиться к наркотикам, что в свою очередь лишало его работоспособности до середины следующего дня. Его коллеги по кабинету, социалисты Шейдеман и Бауэр, клерикалы Эрцбергер, Гребер и Тримборн, демократы Гаусман и Пайер, не были французскими якобинцами, не были революционерами крупного стиля. Они, слава богу, не воздвигли гильотину, но и не объявили Levée en masse, не вызвали точно из-под земли четырнадцать армий, впереди них не неслись звуки «Марсельезы». Однако при некоторой твердости и кое-каком умении справиться с положением могли бы и они.

Когда я, встретившись незадолго до переворота с одним лево, даже очень лево настроенным депутатом, спросил его, что, по его мнению, предпочел бы Шейдеман — сделаться ли министром германской республики или же остаться министром императора Вильгельма II, он, немного подумав, ответил: «Надо полагать, последнее, особенно если с этим были связаны шансы на получение «превосходительства», а может быть даже и орденской ленты». Эрцбергер сиял, заделавшись действительным тайным советником, а следовательно и «превосходительством», и после переворота в качестве республиканского министра следил за тем, чтобы его именовали «превосходительством». Добрый Пайер был очень обрадован, когда после своего назначения статс-секретарем получил от своего милостивого суверена короля Вильгельма Вюртембергского большой крест вюртембергского ордена Фридриха и связанное с ним личное дворянство. А Конрад Гаусман поверял мне сам о том, как он счастлив, что дослужился до министра. К сожалению можно предвидеть, что в новой Германии министерское величие продлится недолго — сознание, несколько омрачавшее радость бытия этих добрых людей. Его живейшим желанием было бы отпраздновать по окончании министерской карьеры свое возрождение на дипломатическом поприще. Как южный германец он чувствует себя особенно призванным к занятию поста германского

посла в Вене. Если надежда его сбудется и он перейдет когда-нибудь на дипломатическую службу, то придет ко мне за советом как к «мастеру дипломатии», как он добавил с поклоном.

Тем временем *группа Спартака*, руководимая выпущенными из тюрьмы Карлом Либкнехтом, Розой Люксембург и Паулем Леви, занималась революционной агитацией. Также и орган социалистического большинства «Vorwärts» осмеливался объявлять на первой странице, что «Германия, такова наша твердая воля, должна навсегда спустить свой военный флаг, не вернувшись с ним в последний раз в качестве победительницы». Неосведомленность не только трех руководящих партий и их лидеров, но и широчайших кругов германского народа о настроении враждебных нам народов и намерениях их самых влиятельных государственных деятелей непостижима. В то же самое время, когда в Германии господствовали такая глупость и подлость, Жорж Клемансо высмеивал в парижской палате блеющих баранов пацифизма, «les moutons bêlants du pacifisme», и гремел: «Я выступаю перед вами с единственным помышлением о ничем не ограниченной войне. Всех пораженцев — к военному суду! Никакой пацифистской кампании! Ни измены, ни полуизмены! Мой девиз: «везде я веду войну, во внутренней политике я веду войну, во внешней политике я веду войну. Я продолжаю вести войну и буду продолжать вести ее до последних минут, которые будут принадлежать нам».

Когда эти последние минуты пришли, когда Германия капитулировала, Жорж Клемансо, держа в руках последнюю телеграмму, радостно воскликнул:

«Enfin! Il est arrivé ce jour que j'attends depuis un demisiècle! Il est arrivé le jour de la revanche! Nous leur reprendrons l'Alsace et la Lorraine, nous rétablirons la Polonge, nous forcerons les Boches à nous payer dix, vingt, cinquante milliards. Est-ce assez? Non! Nous leur fouterons la république»[1].

Так рассказал мне один мой долголетний французский друг, бывший с ним в самых близких отношениях. И это Клемансо удалось. Крушение принесло нам республиканскую форму правления, которая нам непригодна. И Клемансо, передовой боец и главный представитель «guerre à outrance», войны на смерть, мог по праву гордиться заслуженной честью, когда после подписания продиктованного нам позорного Версальского мира во всех французских школах были прибиты дощечки со словами: «Georges Clémenceau a bien mérité de la France»[2].

Беспомощная слабость правительства, разумеется, увеличила дерзость спартаковцев. В последние дни октября начался мятеж во флоте в Киле, вызванный с помощью русских денег левым крылом социал-демократии. 4 ноября революция в Киле побе-

[1] Наконец-то! Он пришел, тот день, которого я дожидаюсь полвека. Он пришел, день реванша! Мы отберем у них Эльзас и Лотарингию, мы восстановим Польшу. Мы заставим бошей заплатить нам десять, двадцать, пятьдесят миллиардов. Этого довольно? Нет! Мы им навяжем республику».

[2] Жорж Клемансо имеет перед Францией большие заслуги.

дила. На всех кораблях был вывешен красный флаг. Гарнизон встал на сторону мятежников. Принц Генрих и принц Адальберт оставили Киль. 5 ноября советский посол Иоффе был наконец выслан из Берлина.

Из Киля огонь перекинулся в Гамбург, Бремен и Любек, распространился оттуда по всему побережью и дальше в Северную, Западную и Среднюю Германию. По своей безголовости баварский премьер-министр Дандль поверил заверениям социалиста Ауэра, что массовое собрание, созываемое радикалами 8 ноября, сойдет спокойно, совершенно упустив из виду, что Ауэр в мюнхенском движении потерял уже всякую почву. Благодаря этому чужеземному, галицийскому авантюристу, перекочевавшему через Нюренберг в Мюнхен, бывшему когда-то редактором берлинского «Vorwärts», Курту Эйснеру удалось увлечь за собой именно это массовое собрание, провозгласить в Мюнхене *баварскую республику* и объявить династию Виттельсбахов низложенной, династию, которая правила в Баварии более тысячи лет и к которой несомненно с верностью и благодарностью было привержено огромное большинство баварского народа.

Мюнхенские государственные деятели Дандль и Бреттрейх проявили какую-то гротескную наивность, настояв за несколько дней до этого перед верховным прокурором в Лейпциге об освобождении Эйснера из дома предварительного заключения в Стадельгейме, где он сидел по обвинению в государственной измене. Встретившись с отрицательным отношением к этому верховного прокурора, господин фон Бреттрейх передал по телефону, что, по его и господина фон Дандля убеждению, освобождение Эйснера «успокаивающе» подействует на возбужденное мюнхенское население.

Король Людвиг III неспособности своих министров обязан тем, что он первым из немецких государей, спасаясь бегством, должен был оставить трон своих отцов и притом при обстоятельствах, совершенно исключавших понятие о достоинстве. Не нашлось никого, кто бы осмелился принять его и тяжело больную королеву. Его приближенные отправили его ночью в автомобиле. Автомобиль свалился в канаву. Пришлось обратиться к одному крестьянину, который при помощи коровы вытащил экипаж. Вскоре затем один баварский помещик, которого их величества просили о приюте, объявил им, чтобы они ехали дальше, так как не может их принять ввиду угрожающего поведения населения.

ГЛАВА XXIII

Совершенно в духе жалкого характера принца Макса, последнего рейхсканцлера, назначенного императором, было то, что он, не переговорив со своими коллегами или военными властями, ожидавшими в течение двадцати четырех часов приказа об активном вмешательстве, в письменной форме передал дела германского государства председателю социал-демократической фракции Фрицу

Эберту, предоставив социал-демократической партии встать во главе нового режима.

Эберт прежде всего объявил себя и некоторых руководящих представителей берлинского революционного движения народными уполномоченными и взял затем в руки бразды правления. Энергия, с которой он и особенно Носке сумели посадить на место спартаковцев, могла бы послужить принцу Максу хорошим примером. Сам принц Макс, не интересуясь тем, как будут развиваться дела в Берлине, уехал в Баден, династические интересы которого для него были важнее, чем судьбы империи. Если бы в роковые дни октября Вильгельм II взял себе в рейхсканцлеры какого-нибудь генерала, дипломата, представителя ведомства внутренних дел, парламентского деятеля, никто бы в этот момент величайшей опасности не поставил свои личные, эгоистические, свои фамильные интересы до такой степени выше всех других соображений, как этот княжеский неврастеник. Принц Макс ошибся, рассчитывая спасти своим уходом свои интересы и дела своей династии.

Я уже отмечал, что если германская революция и вышедшая из нее республика носили характерные признаки филистерской мелкобуржуазности, а ее вожди — характер законченной посредственности, то зато в Берлине дело не дошло по крайней мере до еще худших эксцессов. Я сам имел не один случай наблюдать безобидность и добродушие берлинца. Я ежедневно делал далекие прогулки во все части города, причем, хотя меня и многие знают, мне удавалось оставаться незамеченным. Мне вспоминается лишь один случай, который мог бы плохо кончиться. Когда я после прогулки в Шарлоттенбург намеревался перейти улицу Унтер ден Линден, какой-то большой широкоплечий мужчина с мало привлекательным выражением лица ткнул в мою сторону пальцем и заорал во все горло: «Да ведь это князь Бюлов! И он осмеливается после победы народа показываться на улице?!» Я спокойно иду своей дорогой, не оборачиваясь, пока не дошел до Унтер ден Линден. Тем временем мой приятель исчез. Этого человека я увидел несколько недель спустя перед гостиницей «Эдэн» при других обстоятельствах. Он был связан, и солдаты вели его в гостиницу, где заседал военный суд гвардейской артиллерийской дивизии. Он бросил на меня, нельзя сказать, чтоб очень любезный взгляд, в котором, я должен это признать, не сквозило никакого страха, а только упорство. Я спросил об его имени и узнал, что он коммунист по фамилии Йогихес. Говорят, что на следующий день он был застрелен при попытке к бегству.

Час рождения германской республики совпадает с *компьенским* перемирием, заключенным 11 ноября 1918 г., наложившим на нас первые цепи гнета и подготовившим позорный Версальский мир. Эрцбергер, который во время войны совершал частые поездки за границу по служебным делам, а также и без служебных поручений и слыл поэтому в кругу новых правителей чело-

веком, опытным в делах внешней политики, отправился в Компьень с нелепой мыслью, что сможет там в связи с военной частью переговоров поставить вопрос о прелиминарном мире. Идею прелиминарного мира, как и идею Лиги наций, он пропагандировал и в своих писаниях. Он был убежден, что его брошюры, почти не замеченные за границей, откроют противной стороне глаза на то, в чем заключаются ее интересы. Немилитаристическая, демократическая, республиканская Германия являлась, по его мнению, по мнению его коллег и друзей, для всех желанным членом Лиги наций и могла вполне рассчитывать на всеобщую поддержку и восстановление. Его оптимизм, его полное незнание иностранных условий и настроения наших врагов заставили его жестоко обмануться. Маршал Фош открыл переговоры тем, что передал через офицера генерального штаба германскому парламентарию объемистое дело, заготовленное в двух экземплярах, по которому Эрцбергеру было предложено высказаться до шести часов вечера. Часы были скупо рассчитаны даже для парламентера, который в совершенстве владеет французским языком и мог бы потому, прочитав текст про себя, обсудить его затем со своими сотрудниками. В этом бедный Матвей Эрцбергер оказался к сожалению совершенно несостоятельным. Он, не понимавший ни слова по-французски, не умевший даже прочитать коротенького сообщения из «Temps», стоял совершенно беспомощный перед этими сложными текстами. Весь материал был позже опубликован, и страшно подумать, что в те горестные дни по предложениям Антанты должен был высказываться человек, который вообще не мог составить себе какого-либо представления о требованиях противника, прежде чем его канцелярией будет проделана кропотливая работа по переводу. При этом терялось драгоценное время.

То, что маршалом Фошем было начато в Компьене, стало при дальнейших переговорах в Трире, Майнце и Спа системой: давать противнику короткие сроки и немедленно уезжать по истечении срока. Вред, причиненный абсолютной неспособностью Эрцбергера к ведению такого рода переговоров, неизмерим, и дело непоправимо. Он полагал, что как штатский человек, как демократ он внушит доверие французскому маршалу, а встретил с его стороны лишь высокомерное и оскорбительное отношение. Под давлением Фоша, которому беспомощность и беззащитность немецкого парламентария доставляла своего рода садическое удовольствие, Эрцбергер делал уступку за уступкой.

Потребовалось немало времени, прежде чем о непригодности Эрцбергера узнали за пределами салон-вагона, доставлявшего его не раз в те месяцы к маршалу Фошу. Первые основательные жалобы раздались из кругов пароходства и судоходства, интересы которых Эрцбергер представлял слишком легкомысленно, для того чтобы они могли спокойно молчать. На приглашение маршала Фоша на три дня прибыть в Трир для переговоров Эрцбергер со свойственным ему легкомыслием и недомыслием договорился до того, что ему достаточно двух дней переговоров. Этот

странный образ действия был вызван желанием попасть в Трир обходным путем через Швейцарию, где он намеревался повидаться с одним из своих агентов, который, получая свое жалованье, жил припеваючи, ничего в сущности не делая. Когда комиссия по перемирию прибыла в Трир, выяснилось, что Фош, предлагая трехдневный срок переговоров, имел к этому все основания. Он желал обсудить вопрос о подробностях передачи немецкого торгового флота и полагал, что для этого необходимо привлечь экспертов из кругов пароходчиков. Так как Фош не имел обыкновения заранее уточнять предмет переговоров, это явилось полной неожиданностью, и спешно вызванные эксперты прибыли вследствие опрометчивости Эрцбергера за час до назначенного для подписания соглашения срока, от продления которого маршал Фош категорически отказался.

При таких обстоятельствах неудивительно, что Эрцбергер своим неумелым ведением дела вызвал постепенно также недовольство Эберта и Шейдемана, которые, воспользовавшись поездкой Эрцбергера в Швейцарию, уполномочили графа Брокдорфа-Ранцау на подготовку мирных переговоров. Для юркого и тщеславного Матиаса, видевшего себя уже в Париже центром внимания всего мира, это было тяжелым ударом. Но он не падал духом. Если ему не удалось блистать в Париже, он старался зато чинить в Берлине затруднения Брокдорфу-Ранцау. Он всеми доступными ему средствами старался убедить Антанту, что руководимое им большинство рейхстага в конечном итоге проглотит какой угодно мир. Я не оспариваю, что Эрцбергер по своей политической несостоятельности воображал, что доверчивостью и покорностью он улучшит наше положение. Я не оспариваю, что он энергично боролся за принцип: нет жертвы, которая была бы слишком большой для сохранения единства нации. Но тем усердием, с которым он пропагандировал свои идеи, он очень повредил германскому делу, так как у Антанты в лице журналистов и агентов было в Веймаре достаточно каналов, чтобы в любой момент знать мнение «великого Матиаса» по тому или другому вопросу.

ГЛАВА XXIV

Мне слишком тяжело заставить себя снова пережить те годы ужаса и позора, чужеземного гнета, третирования беспощадным врагом, годы внутреннего неустройства и беспомощности. Наш упадок лучше всего характеризуется тем, что, по моему убеждению, из десяти немцев сегодня ни один не смог бы перечислить имена рейхсканцлеров, сменявших друг друга после переворота. Ни одна песня, ни одно сказание не сообщит грядущим поколениям имен Густава Бауэра, Германа Мюллера, Константина Ференбаха и Иосифа Вирта. Уже в 1925 г., через семь лет после переворота, в Германии было двести пятьдесят настоящих и бывших министров. Их качество не стояло к сожалению на высоте их количества. С тех пор как мы имеем счастье жить в рес-

публике, каждый двухсотпятидесятитысячный немец — министр. Частая смена не останавливала длившихся месяцами ползучих кризисов.

Было ли демократическое государство, сменившее благодаря революции государство бюрократическое, способно разрешить огромные задачи, ставшие перед ним в результате несчастного исхода мировой войны? Было ли оно способно после катастрофы энергично взять в свои руки судьбы государства и, внушая уважение всему миру даже в дни национального упадка, показать себя достойным великого прошлого Германии? Ответ гласит: нет. Однако справедливость требует признать, что мир тех государственных и политических идей, в котором германский народ в сознании своей силы пребывал до начала войны, слишком быстро, слишком внезапно рухнул, чтобы народ мог найти путь к новому порядку вещей с той политической обдуманностью, которая была необходима учредительному собранию в Веймаре и республике в первые годы ее существования. Предоставленные самим себе, как это случилось в Веймаре, люди, захватившие власть, плохо знали, что с нею делать. Виновен в этом без сомнения и старый режим, который слишком отрицательно относился к парламентаризму. Это привело к тому, что тот, кто принадлежал к парламенту, этим самым с большим вероятием исключался из возможных кандидатов на занятие сколько-нибудь высокого государственного поста. Кто хотел в это время сделать карьеру, кто хотел стать министром, тому следовало подальше держаться от парламента. Следствием этого было то положение, что правительственные круги и парламент как две изолированные касты смотрели друг на друга с недоверием и враждебно. Даже отставные министры, которым не на что было уже надеяться и нечего бояться, держались в стороне от парламентской деятельности. Критика правительственных мероприятий, которую им как народным представителям пришлось бы проводить, казалась им бунтом против императора и империи. Это были не субъективные соображения отдельных лиц, а соображения, обоснованные всей системой. В Англии и Франции отставной премьер-министр беспощадно нападает на своего преемника, если, по его мнению, это соответствует интересам государства. В Германии отставной министр обрекался на молчание. Приобретенный им опыт, знакомство с государственными делами, которыми он овладел, не могли быть использованы парламентом. Несомненно это было нездоровым положением.

Я говорил уже о затруднениях, которые мне как рейхсканцлеру пришлось преодолевать при неоднократных попытках склонить Вильгельма II к привлечению парламентских деятелей на руководящие государственные посты. Крайне малое число парламентских деятелей, ставших в прежней Германии министрами, в качестве исключений лишь подтверждают правило. Поэтому, когда германский народ выбирал в Учредительное собрание, а позже в первый новый рейхстаг, не было политически подкован-

ных людей, которые бы из собственного опыта были знакомы с техникой государственного управления, работой государственного аппарата и ведением государственных дел. Политики, которые вырабатывали характер новой Германии при самом ее возникновении, были сплошь новичками, которые неумелыми руками взялись за большую государственную машину. Они привыкли до сих пор относиться к вопросам государственной жизни с точки зрения бесплодной критики и беззаботной оппозиции. Государственная идея, понятие общественного блага стояли в сознании этих homines novi[1], лишь позади партийного интереса, лишь позади тех точек зрения, которые вырабатывались в них муштровкой в школе партийной жизни. Переход к власти был слишком непосредственный. Так как в них не жило сознание государственного достоинства, его не было и в их внешних выступлениях, а отчасти и в самом их представлении о достоинстве. Живым доказательством этого служит черно-красно-золотой флаг, навязанный германскому народу в Веймаре в минуту морального упадка. Старый имперский флаг, цвета которого с честью красовались во всем мире в течение полувека, черно-бело-красный флаг, который гордо развевался на всех морях, был принесен в жертву духу Веймара, причем не понимали даже, какое убогое зрелище представляет Германия, в припадке недостойного саморазрушения рвущая в клочки этот знак своего блеска и своей славы. Впечатление, которое производили кабинеты первого года германской республики за границей даже на расположенные к нам круги, особенно нейтральных стран, было жалкое. При всей корректности, с которой высказывались иностранные дипломаты, сохранившие со мной с прежних лет дружеские отношения, я с болью узнавал из их слов, что в симпатизирующих нам заграничных кругах не понимали, каким образом Германия до такой степени бедна политиками, которые с достоинством могли бы представлять интересы своей страны. Как радовались такому положению Париж и Лондон!

Когда я оглядываюсь на создание и на конец славной Германской империи бисмарковской чеканки, во мне возникает вопрос, не слишком ли много власти сконцентрировал величайший германский деятель в прусском королевстве и вместе с тем в германском императоре и не слишком ли мало влияния он предоставил парламенту. Как и в большинстве случаев, Бисмарк и по этому важному вопросу составил свое суждение по собственному опыту, согласное со своими собственными воззрениями. По своему рождению, укладу жизни, по традиции своего рода и той среды, в которой он вырос, он, может быть еще больше чувством, чем разумом, был до мозга костей роялистом, прусским роялистом.

Главное, что Бисмарк, в течение почти тридцати лет работая совместно с Вильгельмом I, на деле до последней черточки изучил такого правителя, короля, который, как никто другой, со-

[1] Новых людей.

четал истинное благородство с внутренней скромностью, строгое чувство долга с нежной добротой, который никогда не бывал неискренним, бестактным, который никогда не забывал, что он король, но никогда не злоупотреблял своим положением, никогда не бывал неблагодарным и мстительным, чью доблестную храбрость и развитое чувство национальной гордости, чью верность долгу и любовь к отечеству князь Бисмарк справедливо восхвалял в бессмертном прощальном слове в рейхстаге, через несколько часов после кончины старого императора. Внука этого действительно великого императора, императора Вильгельма II, князь Бисмарк знал в сущности лишь очень поверхностно. Он как-то не мог понять этого странного правителя, он не мог разобраться в этом прусском короле, мало унаследовавшем от своего отца, ничего от деда, ничего от прадеда, кое-что от матери и много, слишком много от своего двоюродного деда, герцога Эрнста II Кобургского. Характеристика, которую дает ему великий канцлер в третьем томе своих «Мыслей и воспоминаний», показывает, что он, которого отделяла от Вильгельма II разница в возрасте в сорок четыре года, не проник в его сложную психику. Незрелость, которую он видел в Вильгельме II, ему не казалась возможной. На этого короля и императора Бисмарк, закладывая фундамент новой Германской империи, не рассчитывал. Но если бы даже, предчувствуя третьего германского императора, Бисмарк не придал положению императора такой высоты, ему было бы очень нелегко предоставить парламенту, германскому парламенту, бо́льшие права и сделать демократии, германской демократии, большие уступки. Его пренебрежение к германскому парламентскому деятелю во многих отношениях было заслуженное, но он шел слишком далеко. Своей честностью, но и своей беспомощностью и оторванностью от жизни германский парламентский деятель напоминал ему оба типа политиканствующей Германии — профессора и окружного судью, которых Бисмарк до конца жизни так мало уважал. Князь Бисмарк был величайшим из всех юнкеров, но он был юнкером, прусским юнкером. Он был дворянином с головы до ног, он был офицером до мозга костей, прусским офицером.

К несчастью после отставки Бисмарка Вильгельм II не принял решения не действовать отныне на свой риск, а перестроить политику в либеральном и парламентском духе. Вместо этого молодой император тешил себя иллюзией, что сможет быть своим собственным канцлером и принять на себя в Германии и во всем мире роль, которую так гениально и с таким истинным величием играл Бисмарк в течение двадцати восьми лет. К несчастью Вильгельм II не понял моего намерения приступить после победоносных выборов в рейхстаг в 1907 г. к реформе прусского избирательного права, перейти к назначению статс-секретарей и министров из среды парламентских деятелей и этим подготовить и осуществить переход к более парламентской системе управления, возлить побольше демократического елея на голову нашей матери Гер-

мании. Когда он почувствовал, куда я хотел вести его и страну, он порвал со мной и после моей отставки не допустил намеченной мною вполне целесообразной эволюции. Мировая война, допущенная благодаря неспособности Бетмана и его сотрудников, кончилась вследствие убожества нашей политики революцией, которая вызвала небывалую дотоле внешнюю изоляцию и внутреннюю дезорганизацию, превратившую нас из страны с лучшим в Европе управлением в страну, плохо управляемую. И все же даже в самое тяжелое время и в самые мрачные дни мы должны сказать вместе с величайшим из апостолов Павлом: «У нас повсюду скорбь, но мы не страшимся; нам страшно, но мы не унываем».

Оглянемся на другие народы. Сто лет назад австрийский государственный канцлер князь Клеменс Меттерних, правивший тогда не только Австрией, но в известном смысле и всей Европой, cocher de l'Europe[1], как его называли, торжественно объявил, что Италия — не государство, даже не нация, она только географическое понятие. Сейчас габсбургская монархия разбита и повержена. Италия — великая держава и осуществила все свои национальные стремления. Франция полвека назад была нами побеждена, ее император взят в плен. Следуя совету Гамбетты возможно меньше говорить о реванше, но всегда о нем помнить, она — я пишу об этом с глубокой скорбью — водрузила свой флаг на знаменитом монастыре, построенном мастером Эрвином, она теснит нас на Рейне и Мозеле. Польша полтораста лет назад была разделена между тремя империями, тремя великими державами; теперь она встала из могилы, обирает и мучает нас на востоке. Балканские государства — сербы и болгары, греки и румыны, армяне — в течение веков порабощались, убивались, подвергались унижениям. Они пережили своего прежнего поработителя. В жизни народов все находится в постоянном движении. Народы падают, но и снова поднимаются.

Когда я, кончив запись моих воспоминаний, снова погружался в эти заметки, передо мною снова проходила эпоха, в которой мне суждено было жить. Я старался проверить, был ли я справедлив в оценке германского народа и людей, руководивших его судьбами до и после моей государственной деятельности, не была ли моя критика того периода, когда я руководил политикой страны, менее строгой, чем критика последующей эпохи, приведшей к войне и кончившейся катастрофой. Я стремился при этой самопроверке освободиться от пережитого и виденного мною и быть объективным. Жизненный путь, на который я оглядываюсь, вполне объясняет, почему светлые воспоминания во мне преобладают; тени настоящего мрачно ложатся на меня. Мои воспоминания, обогащенные духовным наследием, переданным мне моим отцом, охватывают времена, когда германский народ не знал внутреннего единства и был бессилен во внешнеполитическом отношении, они охватывают эпоху создания государства и

[1] Возничий Европы.

объединения нации в результате беспримерных военных и политических успехов, они охватывают десятилетия, когда германский народ в мирной обстановке развивал свои хозяйственные силы, они охватывают наконец годы, когда Германия пала, доблестно защищаясь от объединившегося против нее мира.

Я не закрывал глаза на ошибки старого режима. Их причины лежали частью, как я неоднократно и подробно объяснял, в системе, а частью, как я тоже в свою очередь указывал, в людях. Монархический образ правления сам по себе германскому народу очень подходил. Его слабость обнаружилась лишь при Вильгельме II. После долгих лет неустанных трудов, направленных на поддержание высоких качеств армии, расширение и развитие флота, на поднятие науки и искусства, поддержание экономических интересов Германии, на оживление и укрепление национального духа германского народа Вильгельм II вдруг очутился перед лицом вспыхнувшей мировой войны, имея около себя двоих людей. Одним из этих приближенных был Мольтке, сам себя объявивший не способным справиться с обязанностями начальника генерального штаба в условиях войны, другим был Бетман, который на горе империи слишком явно обнаружил свою неспособность справиться с международным кризисом. Оба они ввергли Германию в пучину бедствий. Михаэлис и Гертлинг, как тот, так и другой выбранные самим Вильгельмом II под его личной ответственностью, ускорили катастрофу, принц Макс ее скрепил. То, что было завоевано Гинденбургом и Людендорфом, что было добыто кровью наших армий, не сумели использовать, даже разбазарили бесталанные политики, которых навязал император великому и совершеннолетнему народу.

С другой стороны, само собой разумеется, что неспособность, а еще больше отсутствие чувства национального достоинства, проявленные правящими кругами новой Германии в дни катастрофы, нашли с моей стороны не менее суровую оценку, чем злосчастные последствия неправильного понимания Вильгельмом II своей роли как государя. Поведение демократии, объединенной в веймарскую коалицию, в первые годы опьянения властью должно быть осуждено со всей суровостью. Достояния, которые и побежденному народу подобает оберегать, как святыню, она выкинула за борт. Чувство преклонения перед гордым величием нашего прошлого она систематически подавляла. Она не заботилась о воспитании добродетелей, которые лишь одни могут дать гарантию лучшего будущего, о поддержании храбрости, готовой на жертвы любви к отечеству. Алчная погоня за должностями и окладами, имевшая место при первых правительствах, грубость, с которой мелочные интересы фракций толкали их на главную арену общественной жизни, скандальные процессы, сопутствовавшие и осквернявшие утро республики, должны были действовать отталкивающе.

Чувство справедливости требует, чтобы позорные стороны политической жизни новой, республиканской Германии нашли са-

мую суровую оценку. Продолжая внимательно наблюдать за текущими событиями, поддерживая связь со многими иностранцами и теперь еще изо дня в день следя за прессой всех направлений и всех стран, я с удовлетворением замечаю первые робкие проблески улучшения, которые можно видеть в области государственной жизни и народного хозяйства. Внутри страны воды захлестнувшего нас ноябрьского переворота начинают понемногу убывать. Горизонт внешней политики как будто проясняется. Рассудок снова заговорил, и надежда снова расцветает. Серьезный, в основе спокойный и разумный характер немца постепенно одолевает поток, грозивший вначале прорвать плотину и разрушить порядок. Типы, не обремененные знаниями и образованием, которые в первые годы оспаривали друг у друга власть, овладевая ею с переменным успехом, исчезли. Они уступили место людям, соединяющим знания с серьезностью, людям, из которых иные могли бы занимать министерский пост и в старой Германии. Из них в первую очередь я назову Густава Штреземана, сумевшего своим руководством внешней политикой в труднейших условиях приобрести доверие за границей и уважение прежних врагов, а этим самым и возможность для нас постепенного возрождения. С тех пор как Гинденбург взял в свои руки судьбы государства, с тех пор как он блеск своего имени и силу своей личности отдал делу возрождения германского народа, престиж Германии за границей поднялся.

Доживу ли я до того дня, когда Германия снова займет в мире подобающее ей место, когда она снова будет окружена былым почетом, я не знаю. Но я умру в надежде и уверенности, что этот день придет. Свои последние мысли, молитвы и желания я отдам будущему Германии.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1]. В 1890 г., тотчас после отставки Бисмарка, его преемник Каприви и новый статс-секретарь иностранного ведомства Маршалль главным образом под влиянием Гольштейна отказались возобновить истекавший договор с Россией, заключенный Бисмарком в 1887 г. взамен распавшегося соглашения „трех императоров". Согласно этому договору царское правительство гарантировало свой нейтралитет в случае франко-германской войны при условии, что она начнется из-за нападения Франции на Германию, „страхуя" последнюю от французского реванша. В обмен за это германское правительство гарантировало России такой же нейтралитет в случае нападения на нее Австрии, обещало не препятствовать ей, если она решится захватить проливы, а пока это не случилось, обязывалось поддерживать принцип закрытия проливов для военных судов (что мешало английскому флоту нанести в случае чего России удар со стороны Черного моря). Отказ Германии от договора „перестраховки" был одним из важных толчков, побудивших царское правительство пойти на союз с Францией.

[2]. Согласно австро-венгерскому соглашению 1867 г. Австрия и Венгрия получили полную самостоятельность в своих внутренних делах. Общими у них были только армия и внешняя политика. В соответствии с этим Австрия и Венгрия, имея одного монарха, имели особые правительства и только три общих министерства: военное, иностранных дел и финансов. Последнее распоряжалось теми средствами, которые были нужны на содержание двух других общих австро-венгерских ведомств. Периодически возобновляемое соглашение устанавливало долю обеих частей государства в общих расходах. Между Австрией и Венгрией шла непрерывная борьба, осложнявшая национальную борьбу внутри каждой из них. Мадьярские националисты стремились к уничтожению общих военных сил, так чтобы личность монарха („личная уния") осталась единственной связью Венгрии с Австрией. Высказываемые Монтсом опасения перед „аншлюссом" характерны для прусского юнкерства (к которому Монтс принадлежал, несмотря на известный либерализм), опасавшегося, что это уменьшит его роль в Германии.

[3]. Под „Zwei Eisen" Бисмарк разумел Россию и Англию, взаимные противоречия которых он старался использовать в своих интересах, разыгрывая Англию против России и Россию против Англии, чтобы, пугая их друг другом, заставить обеих искать благоволения Германии.

[4]. „Королевства", протестовавшие против возобновления исключительного закона против социалистов, — Бавария, Вюртемберг и Саксония.

[5]. После успешного отражения бурами налета английского отряда, руководимого агентом Сесиля Родса Джемсоном, Вильгельм II отправил Крюгеру поздравительную телеграмму. Этот шаг вызвал в Англии бурю негодования против Германии.

[6]. Под „политикой в Восточной Азии" Монтс разумеет совместное выступление Германии, России и Франции против Японии в 1895 г., когда они заставили Японию смягчить условия продиктованного ею Китаю мирного договора, отказавшись от захвата Ляодунского полуострова в обмен на увеличение контрибуции. Ляодун с Порт-Артуром был в 1898 г. захвачен Россией.

[7]. „Позиция Германии на Золотом Роге" сводилась к предотвращению всякого вмешательства держав во внутренние дела Турции под предлогом защиты

христиан-армян, славян и греков. Такие попытки делались главным образом Англией на протяжении ближневосточного кризиса 1894—1897 гг., вызванного армянской резней, восстанием против турок на Крите и волнениями в Македонии. Английская политика была направлена на расчленение Турции. Германия и Россия противодействовали ей совместно (хотя и из различных соображений). В 1897 г. в связи с критским вопросом их политические линии на Ближнем Востоке разошлись.

[8]. В начале 1896 г. русское правительство признало Фердинанда Кобургского болгарским князем и возобновило дипломатические отношения с Болгарией. Оно сделало это, видя бесплодность попыток устранить Фердинанда, избранного князем в 1887 г. вопреки желанию русского правительства. Вместе с тем возобновление русско-болгарских отношений клало конец монопольному политическому влиянию Австрии в Болгарии. Признанию Фердинанда предшествовал переход его наследника в православие.

[9]. Проект Каница сводился к введению государственной монополии на торговлю импортным хлебом с целью повышения цен в интересах аграриев.

[10]. В Баварии главной опорой национального единства в кругах господствующих классов были либералы, в то время как клерикалы отстаивали если и не отделение от империи, то во всяком случае всяческое укрепление баварского сепаратизма внутри ее. Под „нашими врагами“ Монте подразумевает баварских сепаратистов.

[11]. „Kreuzzeitung“ — орган правого крыла консервативной партии.

[12]. Под заигрываниями императора с Францией подразумеваются разного рода внешние любезности, которые Вильгельм II проявлял по адресу Франции в первые годы после отставки Бисмарка, как например сочувственная телеграмма жене умершего художника Мессонье, поездка матери Вильгельма II в Париж в 1891 г. и т. д.

[13]. Итальянское правительство Криспи (1887 — 1891 гг.) было склонно начать войну с Францией ради колониальных приобретений в Северной Африке. Помимо колониальных проблем отношения между Францией и Италией были очень напряженными из-за начавшейся между ними таможенной войны, которая жестоко била по экономике Италии, уже и без того расшатанной.

[14]. Гапаг — гамбургско-американское пароходное акционерное общество — крупнейшее пароходное предприятие в Германии.

[15]. Северогерманский Ллойд (в Бремене) — второе по величине германское пароходное общество после Гапага.

[16]. „Флотский ферейн“ — организация, созданная под покровительством правительства для пропаганды необходимости сооружения военного флота.

[17]. В 1897 г. во время греко-турецкой войны и накануне ее начала существовала опасность, что против Турции выступят также Сербия и Болгария. Ввиду этого Австрия и Россия договорились о поддержании status quo в Турции и обратились с совместными нотами к балканским правительствам с предложением соблюдать спокойствие.

[18]. В 1916 г. при Скагерраке произошло сражение между английским и германским флотами. Несмотря на значительный перевес в силах, англичане понесли бо́льшие потери, чем немцы. Но несмотря на это, большой стратегической задачи — прорыва блокады — немецкий флот решить не смог.

[19]. Гоффбург — императорская резиденция под Веной.

[20]. Бюлов отправился в Рим после визита к канцлеру Гогенлоэ в замке Шиллингсфюрст.

[21]. Описываемые парламентские прения были посвящены обсуждению закона о флоте.

[22]. Утверждение Бюлова, что главной причиной отставки Бисмарка были расхождения с императором в области отношений с Россией, является неправильным. Но в своем прошении об отставке канцлер действительно сделал ударение именно на этот момент. Фактически основной конфликт разыгрался в области внутренней политики.

[23]. Острова Каролинские, Марианские и Палау были приобретены у Испании путем покупки.

[24]. Конфликт из-за Фашоды возник между Англией и Францией осенью 1898 г., когда английская экспедиция Китченера, отправленная для покорения

Судана, встретила около местечка Фашода на Ниле французский отряд капитана Маршана, прошедший через всю Африку с запада на восток.

Британский империализм стремился овладеть целиком всем течением Нила. Китченер предложил Маршану очистить Фашоду. Маршан запросил свое правительство. Англия пригрозила последнему войной. Франция уступила, и Маршан получил предписание отступить.

[25]. Бюлов стремится умалить роль англо-германского антагонизма в возникновении мировой войны и свести все дело к австро-сербскому конфликту, чтобы таким образом отвести от себя ответственность за войну, поскольку именно в его канцлерство было начато сооружение военного флота, обострившее отношения с Англией.

[26]. „Девяносто девять дней печального 1888 г." — 99 дней царствования Фридриха III, отца Вильгельма II.

[27]. Дело идет о переговорах относительно поручения германскому генералу командования международным отрядом, подавлявшим боксерское восстание.

[28]. Аграрии резко возражали против сооружения канала, который соединил бы дешевой водной дорогой восточную и западную Германию, опасаясь, что это вызовет падение хлебных цен. Борьба вокруг канала составляла в конце 90-х годов один из важнейших вопросов германской внутренней политики. Некоторым промышленным кругам сооружение канала сулило, наоборот, большие выгоды.

Еще более резкими были расхождения между аграриями и промышленной и торговой буржуазией (за исключением однако тяжелой промышленности) в вопросе о таможенной политике.

Заинтересованные в экспорте отрасли германской промышленности нуждались в заключении торговых договоров, которые предоставляли бы облегчения для германского экспорта. Эти уступки конечно не могли быть получены даром, и платить за них Германия могла лишь понижением своих собственных пошлин — прежде всего на сельскохозяйственные продукты. Аграрии же не только не шли на это, но, напротив, требовали их дальнейшего повышения. Это ставило под угрозу возможность возобновления торговых договоров на желательных для промышленности основаниях. Затруднения, которые испытывала Россия из-за конфликта с Японией, дали Бюлову возможность пробить самую высокую из таможенных стен, стоявших на пути германского экспорта, а именно русскую, невзирая на только что произведенное им повышение немецких аграрных пошлин в интересах помещиков. Русско-германский торговый договор был подписан в июле 1904 г.

[29]. Соглашение с Англией о политике в китайском вопросе (так называемое Янцзыцзянское соглашение от 16 октября 1900 г.) предусматривало совместное поддержание целости Китая и „системы открытых дверей", т. е. равных прав для торговли всех наций. Соглашение оказалось непрочным, так как германское правительство, не желая ссориться с Россией, стало толковать его так, что оно не распространяется на Манчжурию — на ту область, где практически в то время и грозила главная опасность территориальной целости Китая ввиду оккупации ее русскими войсками со времени боксерского восстания.

[30]. Антигерманская партия в Австрии. Австрийские (отнюдь не венгерские) феодально-клерикальные круги были готовы несколько увеличить политическую роль славян, чтобы таким образом сломить влияние венгров. Не разделяя страха этих последних, а также немецких либералов собственно Австрии перед славянством, они были меньше заинтересованы в поддержке со стороны Германии. Связь с клерикалами и Ватиканом порождала их враждебное отношение к Италии и следовательно к тройственному союзу. Вдобавок именно в этих кругах были еще живы воспоминания о поражении, нанесенном Пруссией Австрии в 1866 г., о потере первенства в Германии и т. д. Франц-Фердинанд уже в силу своего клерикализма и вражды к венграм был близок к этим кругам, лишь постепенно примирившись с Германией. В противовес Венгрии и обеспечивавшей ее фактическое преобладание системе дуализма феодально-клерикальная партия выдвигала план преобразования монархии Габсбургов на основе федерализма или триализма (создание третьего славянского политического центра наряду с немецким и венгерским).

[31]. Дополнительный закон о флоте, внесенный в рейхстаг в 1900 г., приблизительно удваивал программу строительства судов, предусмотренную первым

морским законом. Согласно закону 1900 г. германский флот к 1920 г. должен был насчитывать 41 линейный корабль и соответствующее количество крейсеров и миноносцев.

[32]. Делагоа-бай — бухта в португальском Мозамбике. В этой бухте расположен город Лоренцо-Маркес, служивший портом для бурских республик. Занзибар — важный торговый пункт у восточного побережья Африки. Германия согласилась на его переход под английское владычество по англо-германскому соглашению 1890 г.

[33]. 29 июня 1900 г. германское правительство отклонило английское предложение о вызове к Пекину против боксеров 30-тысячного японского отряда.

[34]. Имеется в виду страх республиканских кругов перед переворотом бонапартистского порядка. Как раз в конце 90-х годов этот страх был усилен делом Дрейфуса.

[35]. В Японии вплоть до 90-х годов существовал режим капитуляций; иностранные подданные не подлежали юрисдикции обычных японских судов и их дела разбирались их консулами.

[36]. Имеются в виду попытки составить коалицию континентальных держав против Англии, пользуясь ее затруднениями во время англо-бурской войны. Подобного рода попытки делались как с франко-русской, так и с германской стороны. Попытки эти разбились о противоречия между самими континентальными государствами, прежде всего — Францией и Германией. Однако в английских правящих кругах они вызывали большие опасения, которые и являлись наряду с царскими захватами в Китае той почвой, на которой выросли переговоры об англо-германском союзе, довольно подробно описываемые Бюловым. Английская сторона при этих переговорах преследовала прежде всего две цели: обеспечить благожелательный нейтралитет Германии в англо-бурской войне и по возможности использовать ее против русской экспансии на Дальнем Востоке, перед которой английский империализм, будучи занят в Южной Африке, чувствовал себя в те годы бессильным. Германское правительство предпочитало, наоборот, подталкивать русскую агрессию на Дальнем Востоке. Причины этого разъяснил Бюлов: это отвлекало силы царской России с германской границы и с Ближнего Востока, где они были гораздо опаснее для Германии.

[37]. См. прим. 49.

[38]. Это утверждение Эйленбурга вовсе не инсинуация, а довольно близко к исторической истине. Бисмарк предполагал предложить рейхстагу заведомо неприемлемый для него исключительный закон против социалистического движения. При отклонении закона рейхстагом он готов был итти на повторный роспуск последнего и наконец на насильственное изменение конституции в реакционном духе, не останавливаясь перед возможностью крупных народных волнений и их кровавого подавления. Вильгельм склонился тогда к политике уступок рабочему движению с тем впрочем, чтобы уже через три-четыре года под влиянием представителей тяжелой промышленности вернуться если не к фактическому проведению, то во всяком случае к мечтам о новом исключительном законе. Эти проекты привели между прочим к падению преемника Бисмарка Каприви. Последнее событие описано в одном из писем Монтса, приводимых Бюловым в его мемуарах.

[39]. Раздражение Вильгельма II против консерваторов объясняется рядом причин. Прежде всего невыгодные для аграриев торговые договоры, заключеные Каприви поставили их в резкую оппозицию против правительства и побудили стать ярыми приверженцами отставного Бисмарка, который вел жестокую борьбу против Вильгельма II и его правительства. Кроме того Вильгельм был раздражен оппозицией консерваторов в вопросе о сооружении канала.

[40]. Центральный союз германских промышленников объединял преимущественно протекционистски настроенную их часть, главным образом тяжелую индустрию. Он был очень влиятельной организацией.

[41]. Пангерманский союз был основан в 1891 г. Он начал свою деятельность с протеста против колониальных уступок, сделанных Англии Каприви по договору 1890 г. (когда Германия уступила Англии Занзибар, Уганду и другие местности в Восточной Африке). В дальнейшем он занимался пропагандой самой безудержной экспансии как в колониях, так и в Европе, где „пангерманцы" требовали присоединения Бельгии, Голландии, Швейцарии, Дании, Прибалтики

и т. д. Мемуары Бюлова показывают, что вопреки утверждениям современных немецких историков Вильгельм II вовсе не был чужд влиянию пангерманской агитации и сам думал например об аннексии Прибалтики, о фактическом (если не формальном) поглощении Дании и т. д.

[42]. Мюнхен — столица Баварии, Штутгарт — Вюртемберга, Дармштадт — Гессена, Карлсруэ — Бадена, Дрезден — Саксонии.

[43]. Порт в португальской колонии Мозамбик.

[44]. Бюлов имеет в виду родственные связи Экардштейна с английским капиталистом Блундль-Маплем. Экардштейн был женат на его дочери.

[45]. В связи с протестом против усиления там русских войск.

[46]. Бюлов видимо имеет в виду англо-германский спор относительно распространения на Манчжурию англо-германского соглашения 1900 г. о политике по отношению к Китаю (см. прим. 29).

[47]. Под двойными ставками разумеется установление минимальных пошлин для государств, заключивших торговые договоры, и максимальных — для таких государств, с которыми торговый договор не был достигнут.

[48]. На деле бюловский тариф 1902 г. означал тяжелую дань, которую широкие массы населения вынуждены были платить аграриям. Тариф этот получил кличку „ростовщического".

[49]. Внутренняя политика Бюлова была направлена прежде всего на то, чтобы зацементировать ту брешь, которая была создана между юнкерством и частью буржуазии благодаря экономической политике Каприви. Буржуазия должна была получить флот и колонии, юнкера — тариф 1902 г. На этой почве Бюлов думал восстановить блок господствующих классов и направить его против социал-демократии (Sammlungspolitik). Удовлетворению партийных интересов центра и католической церкви должно было служить произведенное Бюловым смягчение закона против иезуитов. В то же самое время Бюлов стремился не допускать решительного преобладания той или иной партии в рейхстаге, ибо это могло бы поставить правительство в исключительную зависимость от одной партии и направить политическое развитие в сторону парламентаризма. Последнего Бюлов не хотел, несмотря на ряд замечаний противоположного характера, рассеянных в его мемуарах. Он стремился к улучшению отношений с парламентом, к привлечению отдельных парламентариев в правительство, но не к изменению самой системы государственного устройства.

[50]. В 1888 г. Deutsche Bank приобрел небольшую железнодорожную линию в Турции, начинавшуюся на азиатском берегу Босфора против Константинополя, протяжением всего в несколько десятков километров. К 1892 г. дорога была продолжена до Ангоры. К 1896 г. было закончено другое ответвление — на Конию. Во время пребывания Вильгельма II в Турции начались переговоры о предоставлении Deutsche Bank (точнее, его дочернему обществу) концессии на железную дорогу до Багдада. В 1899 г. султан дал формальное обещание предоставить Deutsche Bank эту концессию. Окончательно она была оформлена в 1903 г.

[51]. В 1900 г. между Францией и Италией было заключено соглашение, в силу которого Италия обязалась не препятствовать французам поглотить Марокко, но оставляла за собой право в этом случае захватить под свое влияние Триполи. Франция в свою очередь изъявляла на это свое согласие.

В 1902 г. в связи с возобновлением тройственного союза Италия и Франция обещали друг другу сохранять нейтралитет не только в случае, если одна из них подвергнется нападению (это еще можно было согласовать с текстом тройственного союза), но и в том случае, если кто-либо из них „в результате прямого вызова будет вынужден в защиту своей чести и безопасности взять на себя инициативу в объявлении войны". Вопреки утверждению Бюлова это соглашение выхолащивало из тройственного союза значительную долю его содержания.

[52]. Ирредентизм — течение, выступавшее за присоединение к Италии населенных итальянцами областей Австро-Венгрии. Ирредентисты были противниками союза с Австрией и Германией и требовали сближения с Францией.

[53]. Роминтен — охотничий заказ Вильгельма II.

[54]. Т. е. кельнский и бреславльский.

[55]. Камерленго — высшая должность при папском дворе и папский министр финансов. Камерленго председательствовал в коллегии кардиналов и после смерти папы выполнял папские функции до выборов нового папы.

[56]. После неудач, понесенных на Берлинском конгрессе 1878 г., и затем в Болгарии, которая в 1885—1887 гг. освободилась от русского засилья, русская политика на Ближнем Востоке действительно приняла оборонительный характер. Она стремилась поддерживать status quo (существующее положение) и, не стремясь к немедленному захвату проливов, ограничивалась поддержанием строгого закрытия их для чужих военных судов. Вначале эта политика диктовалась невозможностью для России рисковать новой войной из-за финансовой и военной неподготовленности. Так было в 80-х годах; но в то время, о котором говорится здесь у Бюлова, такая политика царизма объясняется уже другими причинами: ввязавшись в дальневосточную авантюру, царизм не мог проводить агрессивную политику еще на втором фронте.

[57]. Летом 1903 г. произошло восстание в Македонии. 20 сентября 1903 г. при свидании Николая II с Францем-Иосифом в Мюрцштеге (в Австрии) была принята программа реформ в Македонии („Мюрцштегская программа"), которая должна была быть совместно предложена Австрией и Россией султану. Программа предусматривала значительное ограничение турецкого суверенитета над Македонией путем назначения Россией и Австрией двух агентов при генерал-инспекторе Македонии (тоже назначавшемся султаном не самостоятельно), иностранного руководства жандармерией и т. д. Затем от Турции предполагалось потребовать реформы судебных и административных учреждений, компенсации пострадавшего при подавлении восстания христианского населения и т. п.

[58]. Гереро — негритянское племя в Германской юго-западной Африке.

[59]. Сущность новой дислокации английского флота, изображенной у Бюлова не совсем точно, заключалась в том, что его главные силы были переведены в Северное море против Германии.

[60]. Чтобы понять причины такого уважения Бисмарка к бельгийскому нейтралитету, нужно также иметь в виду, что его нарушение было в то время совершенно ненужным с точки зрения планов германского генштаба, который тогда (в 80-х годах) предполагал первый удар нанести не Франции, а России.

[61]. Стачка горняков в Руре началась в январе 1905 г. и продолжалась шесть недель, став почти всеобщей. Она закончилась поражением рабочих. Под влиянием стачки правительство сочло целесообразным внести в ландтаг проекты двух законов, о которых рассказывается в тексте.

[62]. Джингоистами в Англии назывались крайние шовинисты среди английских империалистов. Кличка эта утвердилась во время бурской войны.

[63]. У Доггербанки в Северном море русская эскадра адмирала Рожественского, шедшая на театр военных действий на Дальний Восток, по ошибке расстреляла в октябре 1904 г. несколько английских рыболовных судов, приняв их за японские истребители.

[64]. § 1 Бьоркского договора предусматривал, что в случае, если одна из договаривающихся сторон подвергнется нападению со стороны одного из европейских государств, союзница ее придет ей на помощь всеми своими сухопутными и морскими силами. Вильгельм II ограничил сферу действия договора добавлением „в Европе".

[65]. Портсмутским миром, подписанным 5 сентября 1905 г., закончилась русско-японская война. Портсмут — город в Соединенных штатах Америки.

[66]. См. прим. 51.

[67]. Партия центра в лице главным образом Эрцбергера и Рёрена, представлявших ее левое крыло, повела атаку на колониальную политику правительства в связи с восстанием гереро и отказывалась утвердить испрошенные правительством кредиты на содержание войск в Германской юго-западной Африке.

[68]. Последовавшие за роспуском выборы были проведены Бюловым под лозунгом „против красных и черных", т. е. против социал-демократии и центра. Под этим лозунгом и на основе поддержки колониальной политики правительства Бюлову удалось составить блок из консерваторов, национал-либералов и свободомыслящих. Этот блок получил название „бюловского" или „готтентотского" блока (последняя кличка указывала на его „колониальное" происхождение). Между перечисленными партиями было заключено избирательное соглашение, благодаря которому они избежали распыления голосов. Таким образом блок нанес поражение социал-демократии, добившись уменьшения полученных ею мандатов с 79 до 43. Однако количество поданных за социал-демократию голо-

сов нисколько не упало, а наоборот, возросло. Таким образом победа блока доставила правительству более реакционный и удобный рейхстаг, но вовсе не свидетельствовала об ослаблении социал-демократии, как хотел изобразить дело Бюлов.

[69]. После обморока в рейхстаге. См. выше, стр. 319.

[70]. По обвинению Гардена в клевете. Мольтке выиграл процесс. Гарден был присужден к штрафу за клевету. На этом процессе Эйленбург, вызванный в качестве свидетеля, под присягой заявил о своей невиновности. Вскоре против него было возбуждено дело по обвинению в ложной присяге. В 1909 г. дело было отложено ввиду болезни Эйленбурга, и таким путем процесс был замят.

[71]. Дочь Эйленбурга против воли своих родителей вышла замуж за секретаря своего отца.

[72]. Свидание Николая II с Эдуардом VII в Ревеле имело место в июле 1908 г. Свидание и сопутствовавшие ему переговоры между Извольским, Столыпиным, Гердингом и адмиралом Фишером составили важный этап на пути англо-русского сближения и носили резко враждебный Германии характер.

[73]. На основании постановления Берлинского конгресса турецкие провинции Босния и Герцеговина были в 1878 г. оккупированы Австро-Венгрией и в них была введена австро-венгерская администрация. Формальной аннексии тогда не последовало, и они продолжали номинально считаться турецкими.

[74]. Болгария номинально считалась княжеством, состоящим в вассальной зависимости от Турции.

[75]. Тронная речь возвещала реформу избирательного права в прусский ландтаг. В Пруссии действовала так называемая трехклассная избирательная система. Все избиратели разделялись на классы по размерам платимого ими налога. Каждый класс посылал в ландтаг равное количество депутатов, хотя в первый класс входила ничтожная кучка наиболее состоятельных людей, а в третий — вся масса населения. В большом количестве избирательных округов первый класс составлял лишь один единственный избиратель. Эта избирательная система обеспечивала консерваторам прочное преобладание в прусском ландтаге и совершенно исключительное влияние на весь прусский государственный аппарат. Она вызывала недовольство даже и умеренно либеральной буржуазии. Эта последняя, не думая о введении в Пруссии всеобщего избирательного права, была склонна провести некоторое изменение избирательной системы для ослабления влияния консерваторов. К этому же в основном стремился и Бюлов. Определенной программы избирательной реформы он не выставил, заявив лишь (в январе 1908 г.), что не собирается вводить в Пруссии не только всеобщего, но и тайного избирательного права.

[76]. В статье излагалось содержание беседы, которую Вильгельм II вел во время своего пребывания в Англии с английским полковником Уортлеем в поместье Хайклифф.

[77]. Бюлов умалчивает, что по этому соглашению он отказался от большей части тех стеснений, которые были наложены на Францию согласно алжезирасскому трактату. По февральскому соглашению 1909 г. германское правительство определенно признало за Францией право поддерживать внутренний порядок в Марокко, т. е., иначе говоря, производить там вооруженную интервенцию. В последующие годы французы под предлогом подавления беспорядков оккупировали большую часть Марокко и в 1911 г. заняли столицу Марокко Фец.

[78]. Имеется в виду установление соотношения боевых сил германского и английского флотов как 3:4. Фактическое соотношение сил обоих флотов в 1909 г. было иным — гораздо более выгодным для Англии.

[79]. В 1912 г. предполагалось внести новое добавление (новеллу) в основной закон 1900 г., определявший план постройки германского военного флота. По этому последнему с 1912 г. надлежало ежегодно строить только по два линейных корабля (вместо четырех, строившихся ежегодно до этого времени). Новелла предусматривала закладку до 1917 г. еще трех добавочных кораблей.

[80]. См. прим. 76.

[81]. Имеются в виду более крупные государства, входившие в состав Германской империи: Пруссия, Бавария, Вюртемберг, Саксония, Баден, Гессен.

[82]. Национал-либералы не считали возможным блокироваться с центром.

Сущность борьбы вокруг финансовой реформы сводится к следующему. В имперском бюджете уже долгое время имелся дефицит, который рос, в особенности благодаря увеличению вооружений. Осенью 1908 г. правительство внесло проект большой финансовой реформы, которая должна была дать полмиллиарда новых налогов. Большую часть этой суммы предполагалось получить от косвенных налогов, падавших на широкие народные массы. Еще большее повышение косвенных налогов было сочтено уже невозможным, тем более, что это наталкивалось и на сопротивление промышленников, связанных с отраслями, производящими соответствующие предметы потребления. Либералы отвергали еще большее повышение косвенных налогов, боясь растерять остатки мелкобуржуазных избирателей, голосовавших за обе либеральные партии (национал-либералов и свободомыслящих.) Вставал вопрос, откуда взять оставшуюся непокрытой косвенными налогами сумму. Правительство предлагало налог на наследства, который отвергался консерваторами и стоявшим за ними союзом сельских хозяев. Консерваторы предлагали (в согласии с центром) налог на прирост ценности имущества, который сильнее задевал движимый капитал (ценные бумаги). Однако этот налог отвергался связанными с буржуазией либеральными партиями. Бюлов, дорожа „блоком" и боясь попасть в полную зависимость от консераторов и центра, не соглашался на такие уступки этим последним, которые оказывались неприемлемыми для национал-либералов и свободомыслящих.

[83]. Коалиция центра, свободомыслящих и социал-демократии.

[84]. См. прим. 49.

[85]. Рудольф Мартин между прочим доказывал в своей брошюре, что Бюлов вопреки его заявлениям читал статью, предназначавшуюся для „Daily Telegraph", и умышленно пропустил ее, чтобы скомпрометировать императора.

[86]. Это было в 1894 г. На место Вальдерзее был назначен Шлиффен.

[87]. Бюлов умалчивает, что как раз в 1909 г. (в октябре) между Извольским и Титтони было заключено в Ракониджи (в Италии) соглашение, смысл которого сводился к тому, что итальянское правительство обещало не возражать против разрешения вопроса о проливах в интересах России, в то время как последняя обязалась не препятствовать захвату Триполи Италией. Это соглашение было прямым последствием поражения России в боснийском кризисе.

[88]. Перед тем как отправить это письмо Бюлов говорил по затронутым в данном письме вопросам по телефону с Шеном.

[89]. После того как в мае 1911 г. французские войска оккупировали столицу Марокко Фец, германское правительство неожиданно отправило канонерскую лодку „Пантера" в марокканский порт Агадир на Атлантическом океане („прыжок пантеры"). Оккупация этого важного порта германским военным судном должна была, по мысли германских дипломатов (главным образом Кидерлена), служить средством давления на французское правительство при последующих переговорах, чтобы побудить его к уступчивости в смысле предоставления германскому империализму компенсаций за его согласие на поглощение Марокко Францией. Кидерлен потребовал от французского правительства в качестве такой компенсации все Французское Конго. Во Франции такие претензии были признаны неприемлемыми. Угрожающая позиция Германии побудила выступить английское правительство. 21 июля 1911 г. Ллойд-Джордж по поручению кабинета произнес речь, в которой недвусмысленно пригрозил Германии войной. После долгих переговоров было наконец 4 ноября 1911 г. подписано франко-германское соглашение. Германия соглашалась на установление французского протектората над Марокко. За это Франция делала Германии уступки в Конго, но уже далеко не все Французское Конго целиком, как того добивались немцы, а лишь меньшую его часть пространством в 100 тыс. кв. миль.

[90]. Осенью 1911 г. Италия начала войну против Турции ради захвата Триполи. Толчком к этому был захват Марокко Францией, что, согласно франко-итальянскому соглашению 1900 г., обеспечивало Италии поддержку Франции в Триполи. Согласие России было гарантировано сделкой в Ракониджи в 1909 г. Для Германии итальянское выступление было крайне неприятно, так как ослабляло Турцию, в которой германский империализм видел как полезную военную силу против России, так и поле широчайшей экономической экспансии. Итало-турецкая война в свою очередь была сигналом для дальнейшего раздела Турции, побудив созданный в 1912 г. под эгидой русского царизма блок бал-

канских государств (Сербии, Болгарии, Греции и Черногории) начать в октябре 1912 г. войну против Турции.

[91]. Во время греко-турецкой войны. Война эта кончилась полным поражением греков.

[92]. При Верте и Мецце прусские войска одержали победы над французскими в войне 1870—1871 гг.

[93]. Невыгодные для Германии и в особенности для ее союзницы Австрии последствия балканских войн заключались в ослаблении Турции и Болгарии и в усилении Сербии и Румынии. Турция была тесно связана с германским империализмом. Болгария была тем балканским государством, с которым у Австро-Венгрии не было никаких противоречий. Наоборот, Сербия и Румыния не могли завершить своего национального объединения иначе как путем раздела Австро-Венгрии.

[94]. Т. е. до вручения ультиматума Сербии (23 июня) и до объявления войны России (1 августа).

[95] Вельфы — династия, правившая в Ганновере и лишившаяся престол после присоединения Бисмарком Ганновера к Пруссии после австро-прусской войны. Конфликт с Вельфами имел определенное политическое значение как благодаря их связям с рядом европейских царствующих домов, так и благодаря тому, что они установили контакт с партией центра.

[96]. Во время свидания Николая II с Вильгельмом II в Потсдаме в ноябре 1910 г. наметилось известное сближение между Россией и Германией. Бетман заверял Сазонова (который сопровождал царя), что Германия преследует в Турции чисто экономические цели и не имеет никаких обязательств в отношении поддержки австрийской политики на Балканах. Сазонов уверял Бетмана в миролюбии России. Однако, когда Бетман попытался побудить Сазонова (уже после его возвращения домой) зафиксировать на бумаге, что Германия и Россия не станут принимать участия „ни в каких комбинациях, которые могут иметь агрессивные тенденции против одного из этих государств“, то Сазонов уклонился от этого. Из вопросов, служивших темой переговоров в Потсдаме, только вопросы экономического порядка стали предметом формального соглашения, подписанного осенью следующего 1911 г. Германия обязалась не искать концессий в той части Ирана (тогдашней Персии), которая составляла сферу влияния России. Россия обязалась не препятствовать постройке Багдадской железной дороги и ветки от последней до иранской границы (до города Ханекина, который в свою очередь должен был быть соединен дорогой с Тегераном). Это открывало германскому экспорту путь в Иран.

[97]. Это было не весной, а в начале июля, накануне второй балканской войны.

[98]. В 1868 г. в Испании произошел революционный переворот. Королева Изабелла бежала за границу, и встал вопрос о кандидате на испанский престол. Среди других была выдвинута кандидатура принца Леопольда Гогенцоллерна. Французское правительство заявило однако решительный протест, бонапартистская пресса угрожала Пруссии войной. Принц Леопольд снял свою кандидатуру, но правительство Наполеона III, не удовольствовавшись отказом принца, потребовало от прусского короля Вильгельма I через своего посла Бенедетти официального заявления, что он одобряет отказ и обещает и впредь никогда не давать согласия на занятие принцем Гогенцоллерном испанского престола. Это последнее требование Вильгельм I отверг и отказал Бенедетти в аудиенции, когда тот пожелал еще раз обратиться к королю с этим требованием. Это произошло 13 июля 1870 г. на курорте Эмс. Вильгельм I в тот же день известил о случившемся находившегося в Берлине Бисмарка. Последний тотчас так переделал телеграмму короля („эмскую депешу“), что она приняла резко-оскорбительный для Франции характер, и опубликовал ее. 19 июля французское правительство ответило объявлением войны.

[99]. План кампании, выработанный германским генеральным штабом, предполагал, что первый удар будет нанесен Франции и притом с возможно большей быстротой. Автором плана был Шлиффен.

[100]. Мольтке „второй“ был племянником фельдмаршала Мольтке, командовавшего прусской армией в австро-прусской войне 1866 г. и, франко-прусской войне 1870—1871 гг.

[101]. Еще с осени 1887 г. германский генеральный штаб требовал превентивной войны, указывая, что в дальнейшем соотношение сил будет меняться в невыгодную для Германии сторону. Международная обстановка была накалена, с одной стороны, конфликтом между Россией и Австрией из-за Болгарии, с другой стороны, из-за усиления идеи реванша во Франции в связи с буланжизмом. К 1888 г. во франко-германских отношениях было заметно известное улучшение ввиду краха буланжизма. Отношения с Россией продолжали оставаться очень острыми.

[102]. Левантом называются страны восточной части бассейна Средиземного моря.

[103]. Соглашение между Италией и странами Антанты было заключено в результате длительных переговоров, которые завязались тотчас после начала мировой войны и в дальнейшем велись итальянским правительством параллельно с переговорами с центральными державами, описанными Бюловым.

[104]. Мысль о создании польского государства из отнятых у России польских областей явилась в германских правительственных кругах в ответ на требование австрийского правительства присоединить русскую Польшу к Австро-Венгрии. 11 и 12 августа 1916 г. Бетман договорился с Бурианом о создании вместо этого особого польского королевства. Окончательная конституция его должна была быть выработана после войны. В его состав не только не должны были войти германская и австрийская Польша, но Германия даже решила аннексировать кусок русской Польши для „исправления“ границы Восточной и Западной Пруссии в стратегических целях. Зато восточная граница Польши должна была пройти возможно дальше на восток. Польское королевство не должно было иметь ни самостоятельной внешней политики, ни армии. В экономическом отношении Польша ставилась в тесную связь с Германией и Австрией. 5 ноября 1916 г. польская „независимость“ была прокламирована.

[105]. Бюлов изображает независимую социал-демократию как революционную партию. На деле вожди этой партии (Гаазе, Каутский и др.) занимали чисто центристскую позицию. Но в массах, которые шли за независимой социал-демократией, было много действительно революционных элементов.

[106]. С начала 1915 г. Германия начала неограниченную подводную войну, нанося огромный ущерб английскому и нейтральному торговым флотам. Протест Америки заставил Бетмана при поддержке начальника морского кабинета адмирала Мюллера выступить за ограничение подводной войны. Тирпиц возражал. Конфликт кончился поражением и отставкой Тирпица. С 1 февраля 1917 г. Германия снова начала „неограниченную“ подводную войну, объявив, что она будет топить любое судно в пределах определенной зоны.

[107]. В современное описываемым событиям время Бюлов никак не обнаруживал своего сочувствия подобной программе.

[108]. 28 сентября верховное командование заявило Гертлингу о необходимости начать мирные переговоры. 29 сентября иностранное ведомство обратилось к Австрии и Турции с предложением начать мирные переговоры. 5 октября было отправлено Вильсону предложение германского правительства начать переговоры о мире.

[109]. Фербеллин — город в прусской провинции Бранденбург, при котором 28 июня 1675 г. произошло сражение между шведами и войсками великого курфюрста Бранденбургского Фридриха-Вильгельма, в котором шведская армия была разбита наголову. При Лейпциге 16—19 октября 1813 г. произошло сражение между Наполеоном I и союзными русской, прусской и австрийской армиями.

Ватерлоо — селение в Бельгии, при котором в июне 1815 г. Наполеон I был разбит соединенными силами англичан и пруссаков. При Седане 2 сентября 1870 г. пруссаки наголову разбили французскую армию, взяв в плен императора Наполеона III.

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ

ПРИВОДИМЫХ БЮЛОВЫМ В ЕГО «ВОСПОМИНАНИЯХ» И ПОДВЕРГНУТЫХ ПРИ ПЕРЕВОДЕ СОКРАЩЕНИЮ

1. Письмо графа Антона Монтса Бюлову от 16 августа 1891 г., стр. 41.
2. Письмо Монтса Бюлову от 20 мая 1895 г., стр. 47.
3. Письмо Николая II Вильгельму II от 2 декабря 1898 г., стр. 133.
4. Письмо посла в Лондоне графа Пауля Гацфельда Бюлову от 11 ноября 1899 г., стр. 143.
5. Письмо Пауля Гацфельда Бюлову от 19 ноября 1899 г., стр. 143.
6. Письмо генерала Швейница Бюлову, стр. 175.
7. Письмо кардинала Коппа Бюлову от 4 августа 1903 г., стр. 250.
8. Разговор императора с папой Львом XIII в 1903 г., стр. 246.
9. Письмо посла в Лондоне Меттерниха Бюлову от 4 октября 1903 г., стр. 264.
10. Письмо Меттерниха Бюлову 4 октября 1903 г., стр. 264.
11. Докладная записка Бюлова императору по поводу соглашения в Бьорке 3 августа 1905 г., стр. 304.
12. Ответ императора Бюлову, стр. 307.
13. Письмо Риктгофена Бюлову (осень 1905 г.), стр. 310.
14. Письмо Ф. Эйленбурга Бюлову 26 сентября 1905 г., стр. 34.
15. Письмо Меттерниха Бюлову 25 января 1909 г., стр. 359.
16. Протокол совещания 3 июня 1909 г. по вопросу о соглашении с Англией о морских вооружениях, стр. 362.
17. Отчет о совещании между Бюловым, Отто фон Мантейфелем, фон Гейдебрандом и фон Норманном в конце апреля 1909 г., стр. 369.
18. Запись беседы Бюлова с Валентини 27 июня 1909 г., стр. 381.
19. Запись разговора Бюлова с императором 27 июня 1909 г., стр. 382.
20. Запись из дневника жены Бюлова о беседе с императором 15 июля 1909 г., стр. 383.
21. Письмо Бюлова Бетману (1909 г.), стр. 398.
22. Письмо Бетмана Бюлову (1910 г.), стр. 401.
23. Письмо Бетмана Бюлову 16 марта 1915 г., стр. 475.
24. Письмо Зигфрида Гекшера Бюлову (1918 г.), стр. 514.
25. Ответ Бюлова Гекшеру 7 октября 1918 г., стр. 516.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ [1]

Абдул-Азис, турецкий султан. Свергнут и убит в 1876 г.

Абдул-Гамид II, 1876 — 1909 турецкий султан, свергнут после младотурецкой революции (ум. 1912).

Аварна, герцог, 1904 — 1915 итальянский посол в Вене.

Август-Вильгельм, принц прусский, сын Вильгельма II.

Августа, императрица, супруга Вильгельма I.

Августа-Виктория, германская императрица, жена Вильгельма II (ум. 1921).

Адальберт, принц прусский, сын Вильгельма II.

Александр, принц баттенбергский, 1879 — 1886 князь болгарский.

Александр I (Обренович), 1889 — 1903 король сербский.

Александр Михайлович, двоюродный брат Александра III.

Александра Федоровна, урожденная принцесса Алиса гессенская, жена Николая II.

Александра, королева английская, урожд. принцесса датская, жена Эдуарда VII.

Алексеев, Евгений Иванович, адмирал, наместник Дальнего Востока.

Альведиль, Эмиль, фон, генерал, 1871 — 1888 начальник императорского военного кабинета.

Альберт, король саксонский (1873 — 1902).

Альберт, принц саксен-кобург-готский, супруг английской королевы Виктории (ум. 1861).

Альберт, принц голштинский.

Альбрехт, австрийский эрцгерцог, фельдмаршал. Принимал видное участие в борьбе против революции 1848 г. и в последующей реакции. Командовал австрийской армией, боровшейся против Италии в 1816 г. Разбил итальянцев при Кустоцце (ум. 1895).

Альбрехт, герцог вюртембергский, 1916 генерал-фельдмаршал.

Альвенслебен, граф, *Фридрих-Иоганн*, фон, 1900 — 1905 немецкий посол в Петербурге.

Андраши, граф *Юлий* (Гьюла) (отец), 1871 — 1879 австро-венгерский министр иностранных дел.

Андраши, граф *Юлий* (Гьюла) (сын). Возглавлял в годы войны оппозицию против правительства Тиссы. С 24/X по I/XI 1918 г. австро-венгерский министр иностранных дел.

Аппоньи, Альберт, венгерский политический деятель, лидер „национальной" партии, в 1904 г. слившейся с руководимой Кошутом (младшим) партией независимости.

Ауэр, Игнатий, депутат социал-демократической партии (от Баварии), реформист.

Баллин, Альберт, главный директор Гамбургско-американской пароходной компании, один из главных представителей политики германского империализма (1918).

Баллестрем, граф, вождь партии центра; 1898 — 1906 председатель рейхстага (ум. 1910).

Бальфур, Артур-Джемс, 1902 — 1905 глава консервативного кабинета; 1916 — 1920 министр иностранных дел в коалиционном кабинете Ллойд-Джорджа (ум. 1930).

Бамбергер, Людвиг, один из лидеров партии свободомыслящих.

Банфи, Дезидер, граф, 1895 — 1899 венгерский министр-президент.

Баррер, Камил. С 1897 французский посол в Риме (ум. 1923).

[1] В указателе за отдельными исключениями отмечено общественное положение упомянутых в книге лиц лишь в период времени, охватываемый „Воспоминаниями" Бюлова.

Барт, Теодор, один из лидеров партии свободомыслящих (ум. 1909).

Барту, Луи, французский политик. Неоднократно был министром. С марта по декабрь 1913 министр-президент.

Бассерман, Эрнст, вождь национал-либералов (ум. 1917).

Бауэр, Густав, один из лидеров германской социал-демократии, с 1908 заместитель председателя генеральной комиссии „свободных" (социал-демократических) профсоюзов; министр труда в кабинетах Макса баденского и Шейдемана. После отставки последнего—рейхсканцлер.

Бебель, Август, вождь германской социал-демократии (ум. 1912).

Бейст, Фридрих-Фердинанд, граф саксонский, политический деятель. После поражения Саксонии в 1866 г. и ее вступления в Северогерманский союз перешел на ав трийскую службу. Ярый враг Германской империи и Бисмарка.

Бейненс, Евгений, барон, 1912 — 1914 бельгийский посланник в Берлине, затем бельгийский министр иностранных дел.

Безелер, Ганс-Гартвиг, генерал, германский губернатор Варшавы в годы мировой войны.

Бельдиман, румынский посланник в Берлине 1896 — 1916.

Бенедикт XV, 1914—1922 римский папа.

Бенкендорф, граф *Александр Константинович*. С 1903 русский посол в Лондоне (ум. 1917).

Бентинк, граф, голландский помещик.

Берг, Фридрих, фон, чиновник императорского кабинета по гражданским делам. Затем с 1918 г. начальник кабинета по гражданским делам.

Берген, Дитго, фон, чиновник германского иностранного ведомства, позднее посланник при Ватикане.

Бергер, Альфред, фон, барон, директор венского Немецкого театра (ум.1912).

Бернсторфф, Иоган, граф, 1902 советник посольства в Лондоне, 1906 генеральный консул в Каире, 1908 — 1917 посол в Вашингтоне, 1917 — 1918 — в Константинополе.

Берти, Френсис, лорд, был младшим статс-секретарем иностранного ведомства. 1903 — 1905 посол в Риме, 1905 — 1918 — в Париже (ум. 1919).

Берто, французский военный министр в кабинете Монтса в 1911 г.

Бетман-Гольвег, Теобальд, фон, обер-президент Бранденбурга, с 1905 прусский министр внутренних дел, с 1907 имперский статс-секретарь внутренних дел, с 1909 по 1917 рейхсканцлер (ум. 1921).

Беттихер, Карл-Генрих, фон, 1880 — 1897 прусский министр внутренних дел, затем до 1906 обер-президент прусской Саксонии (ум. 1907).

Бирилев, Алексей, русский адмирал, 1905 — 1907 морской министр.

Бисмарк, Отто, князь, фон. С 1862 прусский министр-президент; создатель Германской империи и с 1871 ее первый канцлер, уволен в отставку Вильгельмом II в 1890 (ум. 1898).

Бисмарк, Герберт, граф, сын предыдущего. Был статс-секретарем иностранного ведомства в последние годы канцлерства своего отца (ум. 1904).

Бисмарк, Вильгельм, второй сын канцлера. Обер-президент в Кенигсберге (ум. 1901).

Биссинг, Моритц-Фердинанд, барон, фон, генерал от кавалерии, во время войны был генерал-губернатором Бельгии (ум. 1917).

Блейхредер, Герзон, банкир. Вел личные финансовые дела Бисмарка (ум. 1893).

Блох, русский банкир. Известный деятель пацифистского движения.

Блундль-Мапль, сэр, *Джон*, английский фабрикант. Тесть секретаря германского посольства в Лондоне Экардштейна.

Бобриков, 1898 — 1904 русский генерал-губернатор Финляндии.

Бок унд Полах, Макс, фон, командир гвардейского корпуса (ум. 1915).

Боллати, генеральный секретарь в итальянском министерстве иностранных дел в 1908, 1910, 1911 и 1912; 1913 — 1915 итальянский посол в Берлине.

Боло-паша, банкир.

Бонналь, французский генерал.

Борис, наследный принц болгарский; с октября 1918 король Борис III.

Боссе, Роберт, 1892 - 1899 прусский министр вероисповеданий (ум. 1901).

Брайт, английский политический деятель. Входил в либеральную партию, лидер ее радикального крыла, один из виднейших представителей движения за свободу торговли (манчестерство).

Бреттрейх, Максимилиан-Фридрих, фон, 1907 — 1912 и 1916 — 1918 баварский министр внутренних дел.

Бриан, Аристид, французский политик, начал свою карьеру как анархо-синдикалист, затем эволюционировал вправо. Неоднократно был министром и премьер-министром.

Брин, адмирал, итальянский морской министр в кабинетах Депретиса и Криспи с 1884 по 1891.

Брокдорф-Ранцау, Ульрих, граф, 1912 посланник в Гааге, с декабря 1918 статс-секретарь иностранного ведомства, в 1919 возглавлял германскую делегацию на Версальской мирной конференции; с 1922 посол в Москве. Сторонник сближения Германии с Советским союзом.

Буриан, Стефан, барон (затем граф). Австро-венгерский министр финансов с 1903 по 1912. В 1915—1916 и с апреля по октябрь 1918 австро-венгерский министр иностранных дел (ум. 1922).

Бух, Лео, фон, вождь консерваторов.

Бюк, депутат рейхстага; секретарь центрального союза германских промышленников.

Бюлов, Адольф, фон, брат канцлера, флигель-адъютант, затем командир бригады во Франкфурте на Майне.

Бюлов, Альфред, брат канцлера, германский посланник в Швейцарии.

Бюлов, Ганс-Адольф, фон, прусский посланник в Гамбурге.

Бюлов, Карл, фон, генерал, командир 3 арм. корпуса; командовал во время войны 2-й армией, фельдмаршал.

Бюлов, Карл-Ульрих, фон, военный атташе в Вене, затем флигель-адъютант.

Бюлова, Мария (графиня, затем княгиня), жена канцлера, итальянка, урожд. принцесса Кампореале, падчерица итальянского политического деятеля Марко Мингетти, разведенная графиня Денгоф (ум. 1929).

Валентини, фон, 1908—1918 начальник германского императорского кабинета по гражданским делам.

Валльвиц, Николай, граф, германский посланник в Брюсселе.

Вальдерзее, Альфред, граф, 1888—1891 начальник генерального штаба; затем командир корпуса в Альтоне; в 1900 командовал международным экспедиционным корпусом, подавлявшим боксерское восстание; с 1900 генерал-фельдмаршал (ум. 1904).

Вальтгаузен, фон, 1912—1914 германский посланник в Бухаресте.

Вангенгейм, барон, фон, 1909—1912 германский посланник в Афинах; затем 1912—1915 посол в Константинополе.

Вандаль, Альбер, французский историк.

Варбург, Макс, гамбургский банкир.

Варнбюллер, Аксель, барон, вюртембергский посланник в Берлине.

Ведель, Карл, граф (с 1913 князь), генерал свиты императора, посланник в Стокгольме, затем 1899—1902 посол в Риме, с 1902 по 1907—в Вене, с 1907 по 1914 штатгальтер Эльзас-Лотарингии (ум. 1919).

Веллингтон, герцог, командовал английскими армиями в борьбе против Наполеона I на Пиренейском полуострове и при Ватерлоо. Позже лидер консерваторов.

Вердер, фон, генерал, 1892—1895 посол в Петербурге.

Вёрман, Адольф, крупный гамбургский купец.

Вестар, граф *Куно*, вождь консерваторов.

Вет, де, бурский генерал.

Виганд, директор Северогерманского Ллойда.

Виктория, английская королева (1837—1901).

Виктор-Эммануил III. С июля 1900 итальянский король.

Виктория (императрица Фридрих), вдова Фридриха III, мать Вильгельма II (ум. 1901).

Виктория, принцесса Шаумбург-Липпе, урожд. принцесса прусская.

Виктория-Луиза, принцесса прусская, герцогиня брауншвейгская, дочь Вильгельма II.

Вильгельм I, король прусский, затем с 1871 германский император (ум 1888).

Вильгельм II, германский император (1888—1918).

Вильмовский, фон (отец), начальник кабинета Вильгельма I.

Вильмовский, фон (сын), начальник имперской канцелярии.

Вильсон, Вудро, 1913—1921 президент Соединенных штатов; лидер демократической партии.

Виндгорст, вождь партии центра, противник Бисмарка в годы культуркампфа (ум. 1891).

Вирт, Иосиф, депутат партии центра от Бадена, впоследствии после революции неоднократно был министром; в 1920 и 1921—1922 был рейхсканцлером.

Висконти-Веноста, Эмилио, маркиз, итальянский государственный деятель. Вначале сторонник Мадзини,

затем перешел к консерваторам. Был неоднократно министром иностранных дел. К Тройственному союзу относился довольно холодно.

Витте, Сергей Юльевич, позднее граф, русский министр финансов (1892 — 1903), затем в 1905 — 1906 председатель совета министров (ум. 1915).

Вицтум, Фридрих, граф, обергофмаршал саксонского двора; президент верхней палаты в Саксонии.

Владимир Александрович, великий князь, брат Александра III.

Вольф, Теодор, корреспондент, позднее главный редактор газеты „Berliner Tageblat".

Гаазе, Гуго, социал-демократ, после раскола германской социал-демократии вождь „независимых". Входил с ноября по декабрь 1918 в совет народных уполномоченных.

Гамбетта, Леон, французский политический деятель, республиканец. Был ярым противником Второй империи. В 1870 член правительства национальной обороны; протестовал против Франкфуртского мира с Германией. При Третьей республике лидер умеренных республиканцев (ум. 1882).

Гамман, Отто, тайный советник, заведующий отделом печати в иностранном ведомстве.

Гаммерштейн, Эрнст, фон, 1894 — 1901 прусский министр сельского хозяйства.

Ганке, Вильгельм, фон, генерал-адъютант. 1905 генерал-фельдмаршал; 1888 — 1901 начальник императорского военного кабинета (ум. 1912).

Гарден, Максимилиан, журналист, издатель журнала „Zukunft". Резко критиковал правительство Вильгельма II справа, в частности за недостаточное следование традициям Бисмарка.

Гардинг, Чарльз, сэр, 1906 — 1910 младший статс-секретарь английского иностранного ведомства, затем вице-король Индии (1910 — 1916).

Гарнак, Адольф, профессор, теолог (ум. 1930).

Гассан, паша, турецкий морской министр.

Гаусман, Фридрих, депутат рейхстага, южногерманский демократ.

Гацфельд-Трахтенберг, Герман, князь (с 1900 герцог). Крупный силезский помещик, оберпрезидент Силезии.

Гацфельд, Павел, граф. 1885 — 1901 посол в Лондоне (ум. 1901).

Гвинер, Артур, фон, директор Deutsche Bank после смерти Сименса.

Гевелер, Готтлиб, граф, генерал-фельдмаршал (ум. 1919).

Гейдебранд, Эрнст, фон (Гейдебранд Клейн-Чункаве), вождь консерваторов (ум. 1924).

Гейкинг, барон, немецкий дипломат.

Гейне, Вольфганг, социал-демократ, ярый социал-шовинист, депутат рейхстага, после революции был прусским министром юстиции и министром внутренних дел (1919 — 1920).

Гекшер, Зигфрид, д-р, депутат рейхстага, член партии свободомыслящих.

Гельпах, Вилли, профессор и политический деятель демократической партии, в 1922 — 1925 баденский министр просвещения, 1924 — 1925 президент Бадена.

Гельдерлин, Фридрих (род. 1770, ум. 1843), немецкий поэт.

Гельферих, Карл, директор Deutsche Bank, с 1915 статс-секретарь финансов, затем с 1916 статс-секретарь внутренних дел, в 1918 посланник в Москве. После революции вождь партии националистов (ум. 1924).

Генке, социал-демократ, депутат рейхстага от Бремена.

Генкель-Доннерсмарк, Гвидо, граф (с 1901 князь). Крупный силезский помещик, друг Вильгельма II (ум. 1916).

Генрих, принц прусский, брат Вильгельма II.

Генч, Рихард, офицер генерального штаба.

Георг I, король греческий (1863 — 1913).

Гертлинг, фон, барон, депутат рейхстага от партии центра, один из лидеров этой партии; 1912 — 1917 баварский министр-президент; 1917—1918 рейхсканцлер (ум. 1919).

Гизль, австро-венгерский посланник в Белграде.

Гинденбург, Пауль, фон, с 1914 командовал восточным фронтом, 1916 начальник генерального штаба (формально главнокомандующим числился император); генерал-фельдмаршал, с 1924 президент германской республики (ум. 1934).

Гинце, Пауль, фон, морской атташе в Петербурге, посланник в Мексике, Пекине, Христиании; в 1918 статс-секретарь иностранного ведомства.

Гинцпетер, Георг, воспитатель Вильгельма II.

Гирс, Николай Карлович, 1882—1895 русский министр иностранных дел.

Гискра, Карл, австрийский политический деятель, в партийном отношении принадлежал к немецким либералам.

Гогенберг, София, герцогиня, морганатическая супруга эрцгерцога Франца-Фердинанда, урожд. графиня Хотек.

Гогенлоэ, принц *Александр* цу *Гогенлоэ-Шиллингсфюрст,* сын Хлодвига Гогенлоэ, бецирксе-президенг в Кольмаре.

Гогенлоэ, Хлодвиг, князь *Гогенлоэ* цу *Шиллингсфюрст,* 1866—1870 баварский министр-президент, 1874—1885 посол в Париже, 1885—1894 штатгальтер Эльзас-Лотарингии, 1894—1900 рейхсканцлер.

Гогенлоэ-Эринген, князь *Христиан Крафft.*

Гогенлоэ-Готфрид, принц, австрийский военный атташе в Петербурге; с 1914 австро-венгерский посол в Берлине.

Гогенлоэ, Конрад, принц, брат предыдущего, наместник Триеста, затем обергофмейстер.

Голлебен, Теодор, фон, 1891 — 1893 и 1897—1903 германский посол в Вашингтоне.

Гольман, Фриц, фон, адмирал, 1890—1897 статс-секретарь морского ведомства (ум. 1913).

Гольштейн, Фридрих, фон, с 1880 по 1906 советник иностранного ведомства. После отставки Бисмарка Гольштейн играл огромную роль, оставаясь формально на скромных постах.

Гольцендорф, Геннинг, фон, адмирал, с 1915 начальник морского штаба.

Гольц, Кольмар, фон дер, прусский генерал-фельдмаршал, инструктор турецкой армии, турецкий паша (ум. 1916).

Гольц, Карл, граф, фон дер, генерал-адъютант.

Голуховский, Агенор, граф, 1895—1906 австро-венгерский министр иностранных дел (ум. 1921).

Горчаков, князь, русский дипломат, с 1856 по 1881 министр иностранных дел; возглавлял русскую делегацию на Берлинском конгрессе в 1878.

Гошен, Эдуард, сэр, английский посол в Вене (1905—1908) и в Берлине (1908—1914).

Грамон, герцог, французский министр иностранных дел в 1870. При нем началась франко-прусская война.

Гребер, вождь партии центра в Вюртемберге.

Грей, Эдуард, сэр, 1905—1916 британский министр иностранных дел в либеральных кабинетах Кемпелл-Баннермана и Асквита.

Грелллинг, Рихард, автор пацифистского памфлета „J'accuse", появившегося во время войны и направленного против германского правительства.

Гренвиль, лорд (род. 1815, ум. 1891), английский государственный деятель. Принадлежал к либеральной партии. Неоднократно был министром.

Гризингер, фон, 1911—1914 немецкий посланник в Белграде.

Гудриан, Тете, ван, нидерландский посланник в Берлине, затем нидерландский министр иностранных дел.

Гуиччиардини, маркиз, 1909—1910 итальянский министр иностранных дел.

Гумберт, с 1878 король Италии, убит в 1900.

Гумбольд, Вильгельм (1767—1835), ученый, литературный критик и прусский государственный деятель эпохи либеральных реформ времени наполеоновских войн.

Гюльзен, Дитрих, фон (затем граф фон *Гюльзен-Гезелер*), 1901—1908 начальник императорского военного кабинета (ум. 1908).

Гюндель, полковник, начальник штаба экспедиционного корпуса во время боксерского движения, затем генерал от инфантерии.

Давид, Эдуард, социал-демократ, реформист, депутат рейхстага, с 3/X по 9/XI 1918 младший статс-секретарь иностранного ведомства.

Дандль, фон, баварский министр-президент (1917—1918).

Деак, Франц, венгерский политический деятель, активный участник венгерской революции 1848, в 60-х годах лидер умеренной национальной партии (ум. 1876).

Девей, Георг, американский адмирал, в 1898 разбил испанскую эскадру близ Манилы.

Дейнес, Густав-Адольф, фон, генерал, друг Бюлова (ум. 1911).

Деларей, Якобус-Герклаас, бурский генерал.

Дельбрик, Клеменс, 1905 прусский министр торговли, с 1909 имперский статс-секретарь внутренних дел, вышел в отставку в 1916 (ум. 1921).

Дельбрик, Ганс, профессор, историк (ум. 1929).

Делькассе, Теофиль, с 1898 французский министр иностранных дел, вышел в отставку в 1905, в 1913—1914

посол в Петербурге, в 1914 министр иностранных дел в кабинете Рибо (ум. 1923). Ярый сторонник „реванша". Один из создателей Антанты.

Денгоф-Фридрихштейн, Август, граф, крупный помещик.

Дернберг, барон, с 1890 секретарь миссии в Бухаресте, друг Филиппа Эйленбурга.

Дурнбург, Бернгард, директор Дармштадтского банка, 1906 управляющий колониальным ведомством, 1907—1910 статс-секретарь колониального ведомства, с апреля до июня 1919 министр финансов.

Деруледе, Поль, французский политический деятель; вождь лиги патриотов (шовинистическая организация, пропагандировавшая реванш).

Дешанель, Поль, 1898—1902 и 1912—1920 президент палаты депутатов, 1920 президент республики (ум. 1922).

Джемсон, Линдер Стар, сэр, правитель Родезии, организатор набега на Трансвааль в 1895.

Дизраэли, граф *Биконсфильд*, знаменитый английский политический деятель, лидер консерваторов, 1874—1880 премьер-министр.

Диллон, петербургский корреспондент „Times".

Диттман, Вильгельм, социал-демократ, после раскола социал-демократии независимый. С ноября по декабрь 1918 член совета народных уполномоченных.

Дона-Шлобиттен, Рихард, граф, с 1900 князь. Силезский крупный помещик.

Древс, Биль, 1917—1918 прусский министр внутренних дел, с 1921 председатель высшего административного суда в Пруссии.

Дрейфус, Альфред, французский офицер. На Дрейфуса было возведено ложное обвинение в шпионаже в пользу Германии. Начался процесс, вокруг которого правые круги французской буржуазии развили бешеную антисемитскую (Дрейфус был евреем) и монархическую пропаганду. В ответ на это произошло сплочение всех сил, поддерживавших во Франции буржуазную республику. Процесс Дрейфуса потряс в конце 90-х годов всю политическую жизнь Франции.

Евгений, австрийский эрцгерцог. Во время войны командовал австрийскими армиями на сербском (1915) и (с осени того же года) итальянском фронтах.

Елена, королева итальянская, жена Виктора-Эммануила III, урожд. княжна черногорская.

Енни, фон, представитель иностранного ведомства при императоре.

Енсен, германский консул в Христиании.

Жорес, Жан, вождь французских социалистов, убит шовинистами в Париже 31/VII 1914.

Жоффр, французский маршал. Командовал французской армией в начале мировой войны.

Зенден-Бибран, барон *Густав*, адмирал, 1889—1906 начальник императорского морского кабинета (ум. 1909).

Зингер, Пауль, один из лидеров германской социал-демократии (ум. 1911).

Зольф, Вильгельм, 1911 статс-секретарь колониального ведомства, с октября по декабрь 1918 статс-секретарь иностранного ведомства.

Зомбарт, Вернер, профессор, экономист.

Зюдекум, Альберт, социал-демократ, депутат рейхстага, реформист, в 1919—1920 прусский министр финансов.

Игнатьев, Николай Павлович, граф (род. 1832, ум. 1908), генерал, 1864—1878 русский посол в Константинополе, в 1881—1882 министр внутренних дел.

Извольский, Александр Петрович, 1906—1910 русский министр иностранных дел, 1910—1917 посол в Париже.

Ингеноль, германский адмирал.

Ионеску, Таке, румынский государственный деятель. Сначала либерал, с 80-х годов консерватор. Неоднократно был министром. Во время войны занимал позицию, враждебную центральным державам (ум. 1922).

Кавур, Камил, граф, знаменитый итальянский политик, один из создателей объединенного итальянского королевства. Умеренный либерал, с 1852 до своей смерти в 1861 почти без перерыва был премьером сначала Сардинского королевства, затем Италии.

Каллай, Венцамин, фон, австро-венгерский министр финансов.

Каль, Вильгельм, профессор, специалист по государственному праву.

Кальметт, Гастон, главный редактор газеты „Figaro".

Камбон, Поль, французский посол в Константинополе, затем (1898—1920) в Лондоне.

Камбон, Жюль, 1907—1914 французский посол в Берлине. Брат предыдущего.

Каприви, Лео, фон, генерал, 1890—1894 рейхсканцлер (ум. 1899).

Карл-Фердинанд, австрийский эрцгерцог.

Карл-Стефан, австрийский эрцгерцог.

Карл I (Карл-Франц-Иосиф), 1916—1918 австрийский император (ум. 1922).

Каролат, Генрих, князь, крупный силезский земельный магнат, политический деятель, национал-либерал.

Кароль I (Карл), король румынский (1866—1914).

Карп, Петр, румынский политический деятель, 1900—1901 и 1911—1912 премьер.

Кассель, Эрнст, сэр, английский банкир.

Келлер, Эрнст-Маттиас, фон. 1894—1895 прусский министр внутренних дел, затем обер-президент Шлезвиг-Гольштинии.

Кемпбелл-Баннерман, английский политический деятель, вождь либеральной партии, 1905—1908 премьер-министр (ум. 1908).

Кессель, Густав, фон, генерал императорской свиты, затем командующий гвардейским корпусом и губернатор Берлина.

Кидерлен-Вехтер, Альфред, фон, германский дипломат; посланник в Копенгагене, затем с 1900 в Бухаресте, с 1910 статс-секретарь иностранного ведомства (ум. 1912).

Кинский, Евгений, граф, крупный австрийский помещик.

Китченер, Герберт, английский генерал, участник ряда колониальных войн, в частности был начальником штаба при Робертсе во время бурской войны. 1914—1915 военный министр.

Клаузевиц, Карл, фон, прусский генерал (род. 1780, ум. 1831), крупный военный теоретик.

Клемансо, Жорж, французский политический деятель, радикал, 1906—1909 и 1917—1920 французский министр-президент.

Клемет, советник германского иностранного ведомства.

Клук, Александр, фон, генерал-полковник.

Кобден, Ричард, английский политический деятель, входил в либеральную партию. Лидер ее радикального крыла. Один из виднейших представителей движения за свободу торговли (манчестерство).

Коковцев, Владимир Николаевич, 1903—1911 русский министр финансов, затем 1911—1914 председатель совета министров.

Конрад фон Гетцендорф, Франц, начальник австро-венгерского генерального штаба.

Константин, греческий наследный принц, затем с 1913 по 1917 король Греции, шурин Вильгельма II.

Копп, кардинал, архиепископ бреславльский.

Котце, Стефан, писатель (ум. 1909).

Крайльсгейм, Фридрих-Август, баварский государственный деятель. 1880—1890 баварский министр двора, 1890—1903 министр-президент. Вышел в отставку из-за интриг клерикальной партии.

Кривошеин, р сский министр земледелия (1906—1915).

Криге, советник иностранного ведомства.

Криспи, Франческо, итальянский политический деятель, участник революции 1848 г. и экспедиции Гарибальди в Сицилию, позже умеренный либерал, 1887—1891 и 1893—1896 премьер.

Крупенский, Анатолий, русский посол в Риме (1912—1917).

Крупп, Фридрих-Альфред, крупный промышленник, директор знаменитых круповских заводов (ум. 1902).

Крюгер, Пауль, 1883—1899 президент Трансвааля.

Куно, Вильгельм, главный директор Гамбурско-американской компании после смерти Баллина.

Куропаткин, 1898—1904 военный министр, командовал русскими войсками в Манчжурии в первый период русско-японской войны.

Курсель, де, барон, французский посол в Лондоне (1898).

Кэзмент, Роджер сэр, один из вождей ирландского национального движения. Казнен английским правительством в 1916.

Кюльман, Рихард, фон, посланник в Танжере, 1917 статс-секретарь иностранных дел, участник брестских переговоров.

Кюн, в 1912—1915 статс-секретарь финансов.

Лакруа, французский генерал.

Ламсдорф, Владимир Николаевич, граф, 1900—1906 русский министр иностранных дел.

Ленсдоун, Генри-Чарльз, маркиз, 1888—1893 вице-король Индии, 1895—1900 военный министр, 1900—1905 министр иностранных дел.

Ланца, Карло, граф, 1892—1906 итальянский посол в Берлине.

Лассон, Адольф, профессор философии в Берлинском университете.

Лассель, Франк Кавендиш, сэр, 1895—1908 английский посол в Берлине.

Лебель, Фридрих-Вильгельм, фон, начальник импер кой канцелярии при Бюлове, обер-президент Бранденбурга, затем прусский министр внутренних дел.

Лев XIII (раньше кардинал *Печчи*), римский папа 1878—1903.

Левенфельд, фон, генерал, флигель-адъютант.

Легин, Карл, социал-демократ, председатель генеральной комиссии свободных профсоюзов.

Ледоховский, граф, генерал ордена иезуитов.

Лендорф, граф, генерал-адъютант Вильгельма I.

Леопольд II, король бельгийский (1865—1909).

Лерхенфельд, Гуго, граф, 1880—1918 баварский посланник в Берлине и представитель Баварии в союзном совете.

Ли, Артур, сэр, гражданский лорд адмиралтейства в кабинете Бальфура.

Либерман фон *Зонненберг*, член „германской социальной партии" (антисемиты), депутат рейхстага.

Либкнехт, Карл, социал-демократ, один из основателей союза „Спартак" и германской компартии. Депутат рейхстага с 1908. Убит кровавыми предателями германской революции в 1919.

Лиман фон *Сандерс, Отто*, генерал, 1913 начальник германской военной миссии в Турции, 1914 командующий турецким корпусом, расположенным у Дарданелл.

Лимбург-Штирум, Фридрих-Вильгельм, граф, один из лидеров консервативной партии, депутат рейхстага.

Липтон, Эдуард, сэр, крупный чайный торговец, личный друг Эдуарда VII.

Лихновский, Карл-Макс, князь, до 1904 личный докладчик при канцлере, 1912—1914 посол в Лондоне (ум. 1928).

Ллойд-Джордж, английский политический деятель, либерал, с 1905 министр торговли, с 1908 канцлер казначейства, в годы войны сначала министр снабжения, затем военный министр, а с 1916 премьер коалиционного министерства, представитель Великобритании на Версальской мирной конференции.

Лобанов, русский дипломат, посол в Вене, 1895—1896 министр иностранных дел (ум. 1896).

Лобкович, князь, один из крупнейших австрийских земельных магнатов.

Лонсдаль, граф, друг Вильгельма II.

Лубе, Эмиль, 1899—1906 президент французской республики. Умеренный республиканец.

Луиза, прусская королева (род. 1776, ум. 1810), жена Фридриха-Вильгельма III. Была сторонницей теснейшего сближения Пруссии с Россией, влияя в этом смысле на прусскую политику.

Луканус, Фридрих, фон, с 1888 по 1908 начальник императорского кабинета по гражданским делам (ум. 1908).

Луццатти, Луиджи, в 1891—1892, 1896—1898, 1903—1905, 1906 итальянский министр финансов. 1909—1910 министр сельского хозяйства, торговли и промышленности, 1909—1911 министр-президент.

Людвиг, принц баварский, затем 1913—1918 баварский король Людвиг III.

Людендорф, Эрих, генерал, 1914 начальник штаба восточного фронта, 1916 первый генерал-квартирмейстер генерального штаба. Ближайший сотрудник Гинденбурга в годы войны.

Люксембург, Роза, вождь левого крыла германской социал-демократии, одна из основательниц германской компартии. Убита вместе с К. Либкнехтом после подавления революции в 1919.

Люциус фон *Бальхаузен, Роберт*, барон, 1879—1890 прусский министр сельского хозяйства.

Макс, принц баденский, с 3/X по 9/XI 1918 рейхсканцлер.

Малинов, Александр, 1908—1911 и затем с июня по октябрь 1918 болгарский министр-президент.

Мальви, Луи-Жан, 1914—1917 французский министр внутренних дел, в 1918 приговорен к пятилетнему заключению.

Мантейфель, Отто, фон, 1908—1911 президент прусской палаты господ.

Мария Павловна, русская великая княгиня, урожд. принцесса мекленбургская, жена великого князя Владимира.

Мария-Христина, с 1885 по 1902 королева-регентша Испании.

Мария-Жозефа, жена эрцгерцога Отто, урожд. принцесса саксонская, мать императора Карла австрийского.

Мария Федоровна, жена Александра III, урожд. принцесса Дагмара датская.

Маркс, Эрих, профессор, историк.

Мартин, Рудольф, саксонский чиновник, затем журналист.

Мартино, де, генеральный секретарь в итальянском министерстве иностранных дел.

Маршалль фон Биберштейн, Адольф, барон, 1890—1897 статс-секретарь иностранного ведомства, затем 1897—1912 посол в Константинополе, 1912—в Лондоне (ум. 1912).

Машин, Драга, королева сербская, жена короля Александра, вместе с ним убита в 1903 г.

Меллер, коммерции советник, национал-либеральный парламентарий, 1901 прусский министр торговли.

Мендельсон, Эрнст, банкир.

Менсдорф-Пуилли, Альберт, граф, австро-венгерский посол в Лондоне.

Мерей, фон, австро-венгерский посол в Риме 1910—1915.

Меттерних, Пауль, граф, прусский посланник в Гамбурге, позднее (1901—1912) германский посол в Лондоне.

Меттерних, Клемент, князь (род. 1773, ум. 1859), австрийский государственный деятель. Руководил австрийской политикой с 1809 по 1848. Был главой австрийской, а в известной мере и общеевропейской реакции.

Микель, Иоганнес, фон, политический деятель. Национал-либеральный парламентарий; 1890—1901 прусский министр финансов, 1898—1901 вице-президент прусского министерства (ум. 1901).

Милан (Обренович), король сербский (1854—1889), австрофил (ум. 1901).

Мильеран, Александр, начал свою карьеру как один из лидеров оппортунистического крыла французского социализма. Затем эволюционировал вправо. Неоднократно был министром. 1922 избран президентом республики.

Мингетти, Лаура, теща Бюлова.

Мингетти, Марко, итальянский политический деятель, тесть Бюлова.

Мирбах-Зорквиттен, Юлий, граф, член палаты господ, вождь консерваторов (ум. 1921).

Михаелис, Георг, советник обер-президенства в Бреславле, во время войны прусский статс-секретарь продовольствия, затем помощник статс-секретаря финансов, 1917 рейхсканцлер.

Мой, Карл, граф, баварский посланник в Штутгарте (Вюртемберг).

Мольтке, Фридрих, фон, обер-президент Восточной Пруссии, 1907 прусский министр внутренних дел.

Мольтке, Куно, граф, фон, флигель-адъютант, комендант Берлина. Был замешан в скандальном процессе Филиппа Эйленбурга.

Мольтке, Гельмут, граф, начальник генерального штаба с 1858 по 1888, фельдмаршал, выдающийся стратег (ум. 1891).

Мольтке, Гельмут, фон, племянник предыдущего, генерал-полковник, начальник генерального штаба с 1906 по 1914.

Монтс, Антон, граф, 1895 прусский посланник в Мюнхене, 1902—1909 посол в Риме (ум. 1930).

Мюльберг, фон, директор торгово-политического отдела, затем младший статс-секретарь в иностранном ведомстве, позднее посланник при Ватикане.

Мюллер, Герман (Мюллер-Франкен), один из лидеров социал-демократии, министр иностранных дел в кабинете Бауэра (1919—1920); в качестве такового подписал Версальский договор; впоследствии рейхсканцлер.

Мюллер, Фелике, фон, германский дипломат; посланник в Гааге (1908—1915).

Мюллер, Георг-Александр, фон, адмирал, 1906—1918 начальник императорского морского кабинета.

Мумм фон Шварценштейн, секретарь миссии в Бухаресте, 1900 германский посланник в Пекине, 1906—1911 посол в Токио.

Мунир, паша, секретарь султана Абдул-Гамида.

Муравьев, Михаил Николаевич, граф, 1897—1901 русский министр иностранных дел.

Мюнстер, Александр, князь, сын следующего.

Мюнстер-Дернебург, граф, с 1899 князь *Георг Герберт*, германский посол в Лондоне, затем в Париже (ум. 1902).

Мэкерт, вождь саксонских консерваторов.

Наполеон III, французский император.

Наталья (Кечко), королева сербская, жена короля Милана.

Науман, Фридрих, протестантский пастор, политический деятель, основал в 1896 г. „национал-социальную“ партию.

Нелидов, Александр Иванович, русский дипломат, посол в Константинополе (1883—1897), посол в Риме (1897—1903), затем—в Париже (1903—1910).

Нигра, Константино, граф, итальянский посол в Вене (1885—1904).

Нивель, французский генерал, в 1917 сменил Жоффра на посту главнокомандующего.

Николай Николаевич, великий князь, главнокомандующий русской армией во время мировой войны (1914—1915), затем наместник Кавказа (1915—1917).

Никольсон, Артур, 1906—1910 английский посол в Петербурге, 1910–1916 младший статс-секретарь министерства иностранных дел.

Норман, фон, депутат рейхстага, консерватор.

Носке, Густав, социал-демократ, депутат рейхстага. После революции член совета народных уполномоченных, затем министр рейхсвера. Один из руководителей подавления германской революции в 1918—1919 и организаторов убийства Розы Люксембург и Карла Либкнехта.

Обреновичи и Карагеоргиевичи — две соперничавшие в Сербии династии. Обреновичи занимали сербский престол до 1842 и затем с 1859 до 1903. Карагеоргиевичи с 1842 по 1859 и с 1903 по настоящее время. Борьба обеих династий обычно являлась отражением борьбы русского и австрийского влияния в Сербии.

Оливье, Эмиль, 1870 французский министр-президент. При нем началась франко-прусская война.

Онкен, Герман, профессор, историк.

Остен-Сакен, Николай Дмитриевич, граф, 1895–1912 русский посол в Берлине.

Отто, фон, брауншвейгский министр-президент.

Пайер, Фридрих, германский политический деятель, демократ, 1917—1918 вице-канцлер в кабинете Гертлинга.

Палеолог, Морис, 1913—1917 французский посол в Петербурге.

Пальмерстон, лорд (род. 1784, ум. 1865). Английский государственный деятель. Первоначально консерватор, затем либерал. Неоднократно был министром, в 1855–1858 и снова 1859—1865 премьер (ум. 1865).

Панса, Альберто, итальянский дипломат, посол в Берлине (1907—1913).

Пармская, герцогиня, мать императрицы Циты, жены австрийского императора Карла.

Паули, Георг, режиссер.

Пашич, Никола, сербский политический деятель, лидер старорадикалов, неоднократно был министром президентом, в частности на всем протяжении империалистической войны.

Петерс, Карл, исследователь Африки и организатор германских колониальных владений в Восточной Африке.

Пий X (раньше кардинал *Сарто*), папа с 1903 по 1914.

Пикар, французский генерал, 1906–1909 французский военный министр.

Пифль, кардинал, венский архиепископ.

Пихлер, Франц-Серафим, католический патер. Депутат партии центра.

Плесс, Ганс-Генрих XV, князь, фон, крупнейший силезский помещик.

Плессен, Ганс-Георг-Герман, фон, генерал-полковник, 1892–1918 начальник императорской главной квартиры.

Плюсков, фон, полковник.

Подбельский, Виктор, фон, офицер генерального штаба, 1897—1901 статс-секретарь почтового ведомства, 1901–1906 прусский министр сельского хозяйства.

Подевильс, Клеменс, граф, 1903—1912 баварский министр иностранных дел и министр-президент.

Позадовский, граф *Артур* фон *Позадовский-Венер*, 1893—1897 статс-секретарь финансов, 1897–1906 — внутренних дел.

Поццо ди Борго, граф (род. 1764, ум. 1842), русский дипломат (из французских эмигрантов), 1814—1832 русский посол в Париже, 1833–1839 — в Лондоне.

Пресенсэ, Франси, де, французский политический деятель.

Принетти, Джулио, итальянский министр иностранных дел в кабинете Цанарделли (1901–1903).

Пуанкаре, Раймонд, 1912—1913 французский министр-президент, 1913–1920 президент Французской республики.

Пурталес, Фридрих, граф, 1907—1914 посол в Петербурге.

Путткамер, Роберт, фон, 1881—1888 прусский министр внутренних дел, крайний консерватор.

Рабен, граф, датский министр иностранных дел.

Радолин, Гуго, князь.

Радославов, Василий, болгарский политический деятель. С 1913 по июнь 1918 г. был министром-президентом. Сторонник союза с центральными державами. Обергофмаршал Фридриха III, 1895—1900 посол в Петербурге, 1900—1910—в Париже.

Рамполла, кардинал, статс-секретарь (папский министр иностранных дел) 1887—1903.

Ранцау, Куно, граф, зять Бисмарка, прусский посланник в Мюнхене, затем посланник в Гааге.

Ранцау, Мария, графиня, дочь Бисмарка.

Рат, фон, германский дипломат, чиновник иностранного ведомства.

Ратенау, Эмиль, главный директор AEG (всеобщей компании электричества).

Ратенау, Вальтер, сын предыдущего, с мая по октябрь 1921 министр „по восстановлению", с февраля 1922 министр иностранных дел, убит 24/VI 1922.

Ратибор, Карл, принц, регирунгспрезидент в Аурихе, затем оберпрезидент Вестфалии.

Раффауф, германский консул в Киеве.

Рейнбабен, Георг, барон, фон, 1899 прусский министр внутренних дел, 1901—1910 министр финансов.

Рейс, принц *Генрих VII*, 1867—1876 германский посол в Петербурге, 1876—1894 — в Вене.

Рейс, принц *Генрих XXVIII*, кандидат в оберпрезиденты Силезии.

Рекули, Раймонд, французский историк.

Ренверс, фон, профессор, друг и врач Бюлова.

Ререн, депутат центра.

Рехберг, Иоганн-Бернгард, граф, 1859—1864 австрийский министр иностранных дел.

Риве, Шарль, журналист, корреспондент „Temps" в Петербурге.

Риккерт, Генрих, философ и политический деятель. Член партии свободомыслящих. В 1891 вышел из нее в связи с разногласиями по поводу усиления армии. Риккерт стоял за принятие нового военного закона. С группой депутатов он образовал „свободомыслящее объединение". В 1910 г „свободномыслящая народная партиян" и „свободомыслящее объединение" снова соединились, образовав вместе с южногерманской народной партией „прогрессивную народную партию".

Рихтгофен, Освальд, барон, фон, директор колониального отдела иностранного ведомства, затем младший статс-секретарь, позднее (1900—1906) статс-секретарь иностранного ведомства.

Рихтер, Евгений, вождь партии свободомыслящих.

Рицлер (псевдоним Рюдорфер), публицист.

Роберте, лорд, фельдмаршал, главнокомандующий английскими войсками в бурской войне.

Родд, Реннель, сэр, британский посол в Риме (1908—1919).

Родс, Сесиль, крупный капиталист, владелец алмазных и золотых россыпей в Южной Африке, один из инициаторов британской колониальной экспансии в Южной Африке в 90-х годах прошлого века, премьер Капланда.

Рожественский, адмирал, командующий второй русской эскадрой, погибшей при Цусиме.

Розбери, лорд, 1886—1892 британский министр иностранных дел в кабинете Гладстона, 1894—1895 премьер-министр, принадлежал к группе „либералов-империалистов".

Розен, Фридрих, советник миссии, затем посланник в Танжере (1905—1910), Бухаресте (1910—1912), Лиссабоне (1912—1916) и Гааге (1916—1918), в 1921 министр иностранных дел.

Роон, Вальдемар, фон, сын известного военного министра Вильгельма I.

Ротенхан, барон, фон, младший статс-секретарь иностранного ведомства, затем прусский посланник при Ватикане.

Рувье, французский политический деятель 1881—1882; 1884—1885 министр торговли, 1889—1892 и 1902—1905 министр финансов, в 1887 и 1905—1906 министр-президент и (с 6 июня 1905 г.) министр иностранных дел.

Рудини, маркиз, итальянский политик, консерватор, неоднократно был министром. 1891—1893 и 1896—1898 премьер.

Рузвельт, Теодор, 1901—1909 президент США, лидер республиканской партии.

Рупрехт, кронпринц баварский.

Рюле, Отто, социал-демократ, депутат рейхстага.

Сабуров, Петр Александрович, русский дипломат. С 1880 по 1884 был послом в Берлине.

Сазонов, Сергей Дмитриевич, 1910—1916 русский министр иностранных дел (ум. 1927).

Саландра, Антонио, с марта 1914 по июнь 1916 итальянский министр-президент.

Сандерс, корреспондент „Times" в Берлине.

Сарто, кардинал, позднее (с 1903 по 1914) папа под именем Пия X.

Секкендорф, граф *Гетц*, камергер и обергофмейстер жены императора Фридриха.

Сегени-Марии, граф *Ласло*, 1892—1914 австро-венгерский посол в Берлине (ум. 1916).

Селл, Коломан, фон, венгерский политический деятель.

Сельборн, граф, оф, первый лорд британского адмиралтейства в кабинете Сольсбери и Бальфура (1900—1905).

Сан-Джулиано, Антонио, маркиз, де, с 1905 по 1906 и с 1909 по 1914 итальянский министр иностранных дел.

Сен-Рене-Талландье, французский посланник в Феце (Марокко).

Сергей, великий князь, четвертый сын Александра II, убит 17/II 1905.

Сидов, Рейнгольд, с февраля 1908 статс-секретарь финансового ведомства, до того младший статс-секретарь финансового ведомства, 1909—1910 прусский министр торговли.

Сикст, Бурбон принц *Пармский*, принц, брат императрицы Циты. По поручению императора Карла австрийского пытался подготовить сепаратный мир Австрии с Антантой.

Сименс, Георг, фон, директор Deutsche Bank, депутат рейхстага от партии свободомыслящих (ум. 1901).

Скотт, английский адмирал

Соверал, маркиз, португальский посланник в Лондоне.

Сольсбери, Роберт, лорд, английский политический деятель, премьер-министр трех консервативных кабинетов (в 1886, 1887—1892 и 1895—1902) (ум. 1903).

Сонино, Сидней, в 1906 и 1909—1910 был премьером. С ноября 1914 по июнь 1919 итальянский министр иностранных дел (ум. 1922).

Сорель, Альбер, французский историк.

Сталь, Е. Е., барон, русский дипломат, 1884—1903 посол в Лондоне.

Стаблевский, Флорисен, архиепископ познанский.

Таафе, Эдуард, граф, австрийский политический деятель, австрийский министр-президент с 1879 по 1893.

Талейран, французский политический деятель эпохи революции и Наполеона I (род. 1754, ум. 1838). Был до революции епископом, сложил сан, стал вождем третьего сословия в Национальном собрании. При якобинцах эмигрировал, затем служил на руководящих постах при всех сменявшихся во Франции режимах.

Таттенбах, Христиан, граф, 1890—1896 посланник в Феце (Марокко), с 1900 — в Лиссабоне.

Тиле-Винклер, граф, силезский магнат, выставлялся императором в качестве кандидата в оберпрезиденты Силезии.

Тильман, фон, 1897—1903 статс-секретарь финансового ведомства.

Тирпиц, Альфред, фон, адмирал, 1897—1916 статс-секретарь морского ведомства.

Тиррель, Вильям, сэр, частный секретарь Грея (1907—1915).

Титтони, Томмазо, итальянский посол в Лондоне, затем (1910—1917) — в Париже, 1906—1909 и 1919 министр иностранных дел.

Тисса, Стефан, граф, венгерский политический деятель, 1903—1905 и 1913—1917 министр-президент (убит 31/X 1918).

Трейчке, Генрих, фон, известный немецкий историк, шовинист.

Тримборн, Карл, депутат партии центра.

Троян, Иоганн, главный редактор юмористического журнала „Kladerradatsch".

Трота, Лотар, фон, генерал, командующий войсками в германской Юго-западной Африке во время восстания герреро.

Уланд, Людвиг (род. 1787, ум. 1862), германский поэт, романтик.

Урах, герцог, фон, вюртембергский помещик. Кандидат на литовский престол в период оккупации Литвы германскими войсками.

Фалькенгейм, Эрих, фон, генерал; 1913—1915 военный министр, 1914—1916 начальник генерального штаба (фактически главнокомандующий), 1916—1917 командовал армией, разбившей румын, в 1917—1918 — армией в Палестине (ум. 1922).

Феервари, венгерский политический деятель; военный министр и министр-президент.

Фердинанд (кобургский), 1887—1918 князь (с 1908 царь) болгарский.

Фердинанд I, 1914—1927 король румынский.

Ференбах, Константин, депутат партии центра от Бадена. После революции был канцлером (1920—1921) (ум. 1926).

Филипеску, Николай, румынский политический деятель. Неоднократно был министром. Во время войны сторонник Антанты (ум. 1916).

Фитгер, Эмиль, драматург и лирик, главный редактор „Weser Zeitung“ в Бремене.

Фишер, Джон, сэр, адмирал; 1904—1910 и 1914—1915 первый лорд адмиралтейства.

Флотов, Иоганнес, фон, германский дипломат, советник посольства в Париже, личный докладчик Бюлова, посланник в Брюсселе (1910—1913), затем посол в Риме (1913—1915).

Фогтер, „независимый“ социал-демократ.

Фош, Фердинанд, французский маршал, с марта 1918 командовал военными силами союзников.

Фольмар, Георг, социал-демократ, реформист (ум. 1922).

Франц-Фердинанд, австрийский эрцгерцог, наследник престола, убит в Сараеве 28/VI 1914.

Франчи, Алессандро, кардинал; в 1878 назначен кардиналом статс-секретарем (папским министром иностранных дел). Умер в том же году.

Франц-Иосиф, австрийский император (1848 по 21 XI 1916).

Фридберг, Роберт, профессор, лидер национал-либералов в прусской палате депутатов, вице-президент прусского министерства при Гертлинге (ум. 1920).

Фридрих II, великий герцог Баденский (1852—1907).

Фридрих II, великий герцог Баденский (1907—1918); сын предыдущего.

Фридрих-Вильгельм III, король прусский 1797—1840.

Фридрих-Вильгельм IV, король прусский 1840—1858 (ум. 1861).

Фридрих-Вильгельм, германский кронпринц, сын Вильгельма II.

Фридрих-Карл, принц Гессенский, шурин Вильгельма II.

Фридрих-Карл, принц прусский, сын принца Карла, младшего брата императора Вильгельма I (род. 1828, ум. 1885), фельдмаршал, участник датской, австро-прусской и франко-прусской войн.

Фридрих-Леопольд, принц прусский, двоюродный брат Вильгельма II.

Фюрстенберг, банкир, директор банка Handelsgesellschaft в Берлине.

Фюрстемберг, Макс-Эгон, князь, друг Вильгельма II.

Хармсворт, Альфред, сэр (позднее лорд Нортклифф), английский „газетный король“, собственник газеты „Daily Mail“ и ряда других газет.

Хейль, Корнелий, фабрикант, национал-либеральный депутат рейхстага.

Христиан IX, король датский (1863—1906).

Цанарделли, Джузеппе, итальянский политический деятель, либерал, 1901—1903 министр-президент.

Циммерман, Альфред, 1910—1911 директор политического отдела иностранного ведомства, 1911—1916 младший статс-секретарь иностранного ведомства, с ноября 1916 по август 1917 статс-секретарь иностранного ведомства.

Цита, урожденная принцесса Пармская, жена императора Карла австрийского.

Чемберлен, Джозеф, прежде либерал, затем с группой так называемых либералов-унионистов откололся от либеральной партии и блокировался с консерваторами. Ярый империалист и протекционист, 1895—1905 министр колоний.

Чернин, Оттокар, граф, 1913—1916 австро-венгерский посланник в Бухаресте, друг Франца-Фердинанда, противник мадьяр.

Чироль, английский журналист, редактор иностранного отдела „Times“, германофоб.

Шарлотта, императрица Александра Федоровна, жена Николая I, урожденная принцесса Прусская, дочь Фридриха-Вильгельма III.

Шарлотта, наследная принцесса Саксен-мейнингенская, старшая сестра императора Вильгельма II.

Шарм, французский публицист, сенатор, редактор журнала „Revue des deux Mondes“.

Шарнгорст, Георг, прусский генерал (род. 1755, ум. 1813), после Тильзитского мира был назначен (1807) военным министром и начальником генерального штаба. Реорганизатор прусской армии.

Швабах, Пауль, банкир, директор банкирского дома Блейхредер в Берлине.

Шварценберг, Феликс, князь (1848—1852) австрийский министр-президент в годы реакции после революции 1848.

Швенингер, Эрнст, профессор, личный врач Бисмарка.

Шверин-Левиц, Ганс, граф, вождь консерваторов, президент прусской палаты депутатов.

Швейниц, Ганс-Лотар, фон, генерал, 1871—1876 посол в Вене, затем до 1893 — в Петербурге.

Швейниц, Вильгельм, фон, майор, военный атташе в Риме, сын предыдущего.

Шедлер, Франц-Ксавер, католический патер в Бамберге, депутат партии центра.

Шеер, Рейнгард, адмирал, 1916 командующий германским флотом, с августа по ноябрь 1918 начальник морского штаба.

Шейдеман, Филипп, социал-демократ, ярый социал-шовинист; в 1918 участвовал в кабинете Макса Баденского; после революции член совета народных уполномоченных, с февраля по июнь 1919 министр-президент, в качестве такового руководил подавлением германской революции.

Шен, Вильгельм, фон, посланник в Копенгагене, с 1905 по 1907 посол в Петербурге, 1907—1909 статс-секретарь иностранного ведомства, 1910—1914 посол в Париже.

Шен, фон, племянник предыдущего, поверенный в делах в Мюнхене.

Шенк цу Швейнсберг, поверенный в делах в Пекине.

Шенланк, Бруно, социал-демократ, видный с.-д. журналист (ум. 1902).

Шерер-Кестнер, французский сенатор, крупный промышленник, был одним из застрельщиков борьбы за оправдание Дрейфуса (ум. 1899).

Шефер, Дитрих, профессор, историк.

Шиман, Теодор, профессор, историк, сотрудник „Kreuzzeitung“.

Шлиффен, Альфред, граф, с 1891 (после отставки Вальдерзее) до 1905 начальник генерального штаба.

Шмидт-Эльберфельд, Рейнгард, член партии свободомыслящих, первый, затем второй вице-президент рейхстага.

Шнейдер, крупнейшая металлургическая фирма во Франции в г. Крезо. Одна из крупнейших в Европе. В частности известна производством военных материалов.

Шпан, Петер, один из вождей партии центра.

Шпиценберг, Гильдегард, фон, жена вюртембергского посланника в Берлине.

Шрат, Екатерина, приятельница Франца-Иосифа, венская артистка.

Штейн, Август, берлинский корреспондент „Frankfurter Zeitung“.

Штемрих, младший статс-секретарь иностранного ведомства 1907—1911.

Штокгаммерн, Франц-Ксаверий, советник баварской миссии в Риме в 1915 г., до этого начальник канцелярии баварского министра-президента.

Штольберг-Вернигероде, принц, советник посольства в Риме (1909—1911), затем в Вене.

Штребель, Генрих, социал-демократ, после раскола германской социал-демократии „независимый“, в 1919 вернулся к шейдемановцам.

Штреземан, Густав, национал-либерал, ярый империалист, после революции лидер народной партии; в 1923 был некоторое время канцлером, затем до самой смерти министром иностранных дел (ум. 1929).

Штудт, Конрад, младший статс-секретарь в Эльзас-Лотарингии, затем обербрезидент Вестфалии, 1899—1907 прусский министр культов.

Штумм, Фердинанд, барон, фон, посланник в Дармштадте, затем 1879—1892 посол в Мадриде.

Штюрмер, Борис Владимирович, с февраля по ноябрь 1916 г. председатель русского совета министров.

Шувалов, Павел, граф, русский посол в Берлине (1885—1894).

Шувалов, Петр, граф, брат предыдущего; 1874—1877 русский посол в Лондоне, второй русский уполномоченный на Берлинском конгрессе.

Эберт, Фридрих, социал-демократ. С 9 ноября 1918 председатель совета народных уполномоченных, деятельно подавлял германскую революцию; 1919—1925 президент германской республики.

Эдуард VII, принц Уэльский, затем с 22/I 1901 английский король (ум. 1910).

Эйзендехер, фон, прусский посланник в Карлсруэ (1884—1914).

Эйленбург, Август, граф, обергофмаршал, затем министр двора.

Эйленбург, Бото, граф, 1892—1894 прусс ий министр-президент. Крайний консерватор (ум. 1912).

Эйленбург, Филипп, граф, с 1900 князь, 1894—1902 германский посол в Вене. Ближайший друг Вильгельма II. Вследствие разоблачений Гардена был обвинен в педерастии. Процесс ярко выявил разложение ближайшего окружения Вильгельма II. Эйленбург, ссылаясь на болезнь, добился того, что процесс остался незаконченным.

Экхардштейн, Герман, барон, фон, 1899—1902 секретарь германского посольства в Лондоне.

Элленборо, лорд, английский государственный деятель (род. 1790, ум. 1871). Консерватор. Неоднократно был министром.

Энгельбрехт, военный атташе в Риме в бытность Бюлова послом в Италии.

Эренталь, барон (позже граф) *Алоиз* фон *Лекса*, посланник в Бухаресте, затем (1899—1906) посол в Петербурге, с октября 1906 по 1912 австро-венгерский министр иностранных дел (ум. 1912).

Эрнст II, герцог Кобург-готский, двоюродный дед Вильгельма II.

Эрнст Гюнтер, герцог Шлезвиг-голштинский, брат жены Вильгельма II.

Эрцбергер, *Маттиас*, один из лидеров партии центра, депутат рейхстага.

Эстергази, французский майор; он был действительным автором „бордеро“, которое судом было приписано Дрейфусу.

Эстергази, австрийский аристократический род. Крупнейшие земельные магнаты.

Ягеман, фон, баденский представитель в союзном совете.

Ягов, *Готтлиб*, фон, 1907—1909 посланник в Люксембурге, 1909—1912 посол в Риме, в 1913—1916 статс секретарь иностранного ведомства.

ОБЪЕДИНЕННАЯ БИБЛИОТЕКА И. К. П.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

Предисловие 3

Книга первая

От назначения статс-секретарем до марокканского кризиса 29

Книга вторая

От марокканского кризиса до отставки 261

Книга третья

Мировая война и крушение империи 385

Примечания 537
Список документов, приводимых Бюловым в его „Воспоминаниях“ 547
Именной указатель 549

137